

84D4  
C 16-45

5.









THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

4 21 1954

PHYSICS DEPARTMENT

CHICAGO, ILL.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ

СОЧИНЕНИЙ

М. Е. САЛТЫКОВА

[Н. ЩЕДРИНА]

---

ТОМЪ ПЯТЫЙ.

---

ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ.

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

---

1895.

Щ, 36.

М. Е. Салтыковъ

[Н. Щедринъ]

# МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

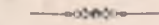
[1886—1887 гг.]

## СБОРНИКЪ

[1869—1879 гг.]

239  
ПАРТІИ ЖЕЛ  
ПЛАТИТЕЛЬСКОЕ  
ОБЩЕСТВО ЖЕЛ. ДОР.

6719  
Управление  
М. М. Салтыковъ  
Н. Щедринъ



ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ.

~~Управление Делами  
Управление м. м. ж. д.  
1950 г, Инв № 1469~~



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, В. О., 5 л., 28.

1895.



1290

43

ОМСКАЯ  
ЦБ кн. Ленина

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
Система государственных  
массовых библиотек

94767-1 97

# СОДЕРЖАНІЕ.

## Мелочи жизни.

	стр.
Введеніе . . . . .	1 - 43
Часть первая:	
I.—НА ЛОНЪ ПРИРОДЫ И СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВ. УХИЩРЕНІЙ.	
1. Хозяиственный мужичокъ . . . . .	44
2. Сельскій священникъ . . . . .	53
3. Помѣщикъ . . . . .	62
4. Миробды . . . . .	82
II.—МОЛОДЫЕ ЛЮДИ.	
1. Сережа Ростокинъ . . . . .	92
2. Евгеній Люберцевъ . . . . .	106
3. Черезовы мужъ и жена . . . . .	119
4. Чудиновъ . . . . .	132
III.—ЧИТАТЕЛЬ.	
Нѣсколько велишнихъ характеристикъ . . . . .	145
1. Читатель-ненавистникъ . . . . .	147
2. Солидный читатель . . . . .	154
3. Читатель-простецъ . . . . .	162
4. Читатель-другъ . . . . .	169
Часть вторая:	
I.—ДѢВУШКИ.	
1. Ангелочекъ . . . . .	170
2. Христова невѣста . . . . .	181
3. Сельская учительница . . . . .	206
4. Полковницкая дочь . . . . .	217

II.—ВЪ СФЕРЪ СЪЯНІЯ.	
1. Газетчикъ . . . . .	231
2. Адвокатъ . . . . .	247
3. Земскій дѣятель . . . . .	263
4. Правдошатающійся . . . . .	279
III.—ПОРТНОЙ ГРИШКА. . . . .	292
IV.—СЧАСТЛИВЕЦЪ . . . . .	324
V.—ИМЯРЕКЪ . . . . .	352—365

### Сборникъ.

Сонъ въ лѣтнюю ночь . . . . .	369
Дѣти Москвы . . . . .	409
Похороны . . . . .	444
Старческое горе . . . . .	476
Дворянская хандра . . . . .	522
Больное мѣсто . . . . .	593





I.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

[1886—1887 гг.]



## ВВЕДЕНІЕ.

---

### I.

Всякій истый петербуржець на три мѣсяца въ годъ обрекаетъ себя на нечеловѣческое житье. Конечно, я говорю не о „барахъ“, которые развѣзжаются по собственнымъ деревнямъ и за границу, а о простыхъ смертныхъ, которые расползаются по дачамъ, потому что за зиму Петербургъ ихъ задавилъ. Кто поэкономнѣе, тотъ забираетъ изъ заднихъ комнатъ мебелишку и старую, разнокалиберную посуду, увязываетъ на воза, садитъ сверху кухарку и ѣдетъ. Другіе нанимаютъ дачи съ мебелью и посудой и находятъ обломки и черепки. Постелей нѣтъ, или такія, что привыкать надо. вмѣсто простора — тѣснота, вмѣсто тишины — судаченье сосѣдей, вмѣсто воздуха — сырость, вмѣсто возстановляющихъ солнечныхъ лучей — туманъ и дожди.

Именно такъ было поступлено и со мной, больнымъ, почти умирающимъ. вмѣсто того, чтобы везти меня за границу, куда, впрочемъ, я и самъ не чаялъ доѣхать, повезли меня въ Финляндію. Дача — на берегу озера, которое во время вѣтра невыносимо гудитъ, а въ прочее время разливаеъ окрестъ пріятную сырость. Домикъ маленькій, но веселенькій, мебель сносная, но о зеркалѣ и въ поминѣ нѣтъ. Поэтому, утромъ, я наливаю въ рукомойникъ воды и причесываюся надъ нимъ. Простору довольно, и большой садъ для прогулокъ.

Боленъ я — могу безъ хвастовства сказать — невыносимо. Недугъ впился въ меня всѣми когтями и не выпускаетъ изъ нихъ. Руки и ноги дрожатъ, въ головѣ — цѣлдневное гудѣніе, по всему организму

пробѣгаетъ судорога. Несмотря на врачебную помощь, изможденное тѣло не можетъ ничего противопоставить недугу. Ночи провожу въ тревожномъ снѣ, пишу рѣдко и съ большимъ мученьемъ, читать не могу вовсе и даже — слышать чтеніе. По временамъ самый голосъ человѣческій мнѣ нестерпимъ.

Что это такое, какъ не мучительное и ежеминутное умираніе, которому, по горькой насмѣшкѣ судьбы, нѣтъ конца?

Знаетъ ли читатель, что такое значить „пять минутъ“? — Конечно, знаетъ. Нѣтъ того русскаго человѣка, который многократно не отсчиталъ бы эти „пять минутъ“, сидя въ пріемной въ ожиданіи нужнаго человѣка. Но вотъ наконецъ нужный человѣкъ появился въ дверяхъ, — сказалъ мимоходомъ два-три слова, — и все забыто. Теперь помножьте эти пять минутъ на часы, на сутки, мѣсяцы, на годъ — что это такое? Сидишь и смотришь, какъ одна минута ползетъ за другой. Вотъ наконецъ доползла; начинаются слѣдующія пять минутъ... ужасно! Нѣчто подобное долженъ испытывать сидящій въ одиночномъ заключеніи...

Что привело меня къ этому положенію? — на этотъ вопросъ не обинуясь и увѣренно отвѣчаю: писательство. Ахъ, это писательское ремесло! Это не только мука, но цѣлый душевный адъ. Капля по каплѣ сочится писательская кровь, прежде нежели попадетъ подъ печатный станокъ. Чего со мною ни дѣлали! И вырѣзывали, и урѣзывали, и перетолковывали, и цѣликомъ запрещали, и всенародно объявляли, что я — вредный, вредный, вредный. Трудно повѣрить, а въ провинціи власть имущіе дѣлали гримасы, встрѣтивъ гдѣ-нибудь мою книгу. „Какимъ образомъ этотъ вредный писатель попалъ сюда?“ — вотъ вопросъ, который считался самымъ натуральнымъ относительно моихъ сочиненій, встрѣченныхъ гдѣ-нибудь въ библіотекѣ или въ клубѣ. Одинъ газетчикъ, которому я не мало помогъ своимъ сотрудничествомъ при началѣ его журнальнаго поприща, теперь прямо называетъ меня не только вреднымъ, но *наскуднымъ* писателемъ. Мало того: въ родномъ городѣ нѣкто пожертвовалъ въ мѣстный музей мой бюстъ. Стоялъ-стоялъ этотъ бюстъ годъ или два благополучно — и вдругъ его куда-то вынесли. Оказалось, что я — вредный...

Надѣюсь, что этого достаточно для самой богатой надгробной эпитафіи...

Итакъ, я провелъ лѣто въ Финляндіи. Финляндія — это та са-

мая страна, гдѣ, по свидѣтельству Пушкина, жила злая волшебница Наина и добрый волшебникъ Финнъ. Финнъ долго боролся съ Наиной, но потомъ махнулъ рукой и уѣхалъ въ Швейцарію доить симентальскихъ коровъ. Наина осталась одна, и сколько она дѣлаетъ всякихъ пакостей своему отечеству—этого ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать. Наводитъ тучи, изъ которыхъ въ продолженіе цѣлыхъ мѣсяцевъ льютъ дожди; наполняетъ страну вѣтрами, наворачиваетъ камни на камни, зарываетъ деревни на восемь мѣсяцевъ въ снѣга и наконецъ въ послѣднее время выслала сюда тьму-тьмушую русскихъ піонеровъ.

Здѣшніе русскіе піонеры—люди интеллигенціи по преимуществу. Провозятъ изъ Петербурга чай, сахаръ, апельсины, табакъ и, миновавши теріокскую таможду, крестятся и повѣряютъ другъ другу:

— Вы чтò провезли?

— Папирсы для мужа.

— А я—цѣлую голову сахару... Угадайте—гдѣ она у меня была?

Шопотъ.

— Ахъ, проказница!

Я не имѣю свѣдѣній, какъ идетъ дѣло въ глубинѣ Финляндіи, проникли ли и туда обрусители, но, начиная отъ Теріокъ и Выборга, верстъ на двадцать по побережью Финскаго залива, нѣтъ того ничтожнаго озера, кругомъ котораго не засѣли бы русскіе землевладельцы. И всѣ изъ всѣхъ силъ стараются. Деньги бросаютъ пригоршнями, несутъ явные и значительные убытки, и въ концѣ концовъ все-таки только и слышишь, что то одинъ, то другой—мечтаютъ о продажѣ своихъ дачъ. Правда, что на мѣсто убывающихъ являются новые заселенцы; но выйдетъ ли когда-нибудь изъ этого толкъ—трудно сказать. Уходитъ масса денегъ—вотъ все, чтò до сихъ поръ ясно. И все—благодаря пущеннымъ слухамъ о необыкновенной живительности здѣшняго воздуха, — репутация, далеко не на всѣхъ оправдывающаяся.

Мнѣ кажется, что еслибы лѣтъ сто тому назадъ (тогда и „разговаривать“ было легче) пустили сюда русскихъ сторообрядцевъ и дали имъ полную свободу относительно богослуженія, русское дѣло вообще на всѣхъ окраинахъ шло бы толковѣе. Старообрядцы—это цвѣтъ русскаго простолюдья. Они трудолюбивы, предприимчивы,



трезвы, живутъ союзно и — что всего важнѣе — имѣютъ замѣчательную способность къ пропагандѣ. Въ настоящее время они имѣли бы здѣсь массу прозелитовъ, какъ имѣютъ ихъ среди зырянъ, пермяковъ и прочихъ инородцевъ отдаленнаго сѣвера. Укрываясь отъ преслѣдованій вглубь лѣсовъ, несмотря на „выгонки“, они сумѣли покорить сердца полудикихъ людей и сдѣлать ихъ почти солидарными съ собою...

Но вмѣсто того, чтобы воспользоваться ихъ колонизаторскими способностями, ихъ били кнутомъ, рвали ноздри, урѣзывали языки и вызвали (такъ сказать, создали) ужасный обрядъ самосожженія.

За это, даже на томъ недалекомъ финскомъ побережьи, гдѣ я живу, о русскомъ языкѣ между финнами и слыхомъ не слышать. А новѣйшіе русскіе колонизаторы выучили ихъ только тремъ словамъ: „риби“ (грибы), „ривенникъ“ (гривенникъ) и „двуривенникъ“. Тѣмъ не менѣе, въ селѣ Новая-Кирка есть финны изъ толстосумовъ (торговцы), которые говорятъ по-русски довольно внятно.

Финны живутъ разрозненно и селятся починками въ два-три дома. Есть однако большое село — Новая-Кирка, которое впрочемъ составляетъ тоже груды починковъ. Народъ трудолюбивъ и любитъ страстно свою землю. Работаетъ неутомимо, хотя частыя непогоды мѣшаютъ земледѣльческому труду. Землю удобряютъ исправно и держатъ достаточно скота, въ особенности овецъ и свиней. Но коровы здѣшнія малорослы, потому что въ Финляндію, по какому-то недоразумѣнію, безусловно запрещено ввозить скотъ изъ другихъ странъ, а слѣдовательно и совершенствовать мѣстную породу трудно. Нынѣшній годъ все уродилось прекрасно, но съ полей убрать было нелегко: цѣлый мѣсяцъ лили дожди. Мастеровыхъ кругомъ совѣмъ нѣтъ, кромѣ одного пекаря, который продаетъ въ-разносъ выборгскіе крендели. Отхожихъ промысловъ тоже нѣтъ, а стало-быть нѣтъ и бывалыхъ людей. Финнъ замуrowался въ своей деревнѣ, зарылся въ снѣгахъ на двѣ трети года и не двигается ни направо, ни налево. Есть впрочемъ въ нашемъ сосѣдствѣ два-три хозяина, которые скупаютъ брусику и ѣздятъ, въ сентябрѣ, въ Петербургъ продавать ее.

О честности финской составилаь proverbialная репутація, нынче и въ ней стали сомнѣваться. По крайней мѣрѣ русскіхъ пионеровъ они обманываютъ охотно, а нерѣдко даже и поворовываютъ. Въ петербургскихъ процессахъ о воровствахъ слишкомъ часто стали



попадать финскія имена—стало-быть, способность есть. Защитники Финляндіи (изъ русскихъ же) удостовѣряютъ, что финновъ научили воровать проникшіе сюда вмѣстѣ съ пионерами русскіе рабочіе—но вѣдь клеветать на невинныхъ легко!

Есть у финновъ и способность къ пьянству, хотя вина здѣсь совсемъ нѣтъ, за рѣдкимъ исключеніемъ корчемства, строго преслѣдуемаго. Но, дорвавшись до Петербурга, финнъ наливается до самозабвенія, теряетъ деньги, лошадь, сбрую и возвращается домой голъ какъ соколъ.

Талантливы ли финны—сказать не умѣю. Кажется, скорѣе, что нѣтъ, потому что у громаднаго большинства ихъ вы видите въ золотушныхъ глазахъ только недоумѣніе. Да и о выдающихся людяхъ не слышать. Если бы что-нибудь было въ запасѣ, все-таки кто-нибудь да создалъ бы себѣ извѣстность.

О финскихъ пѣсняхъ знаю мало. Мальчишки-пастухи что-то поютъ, но тоскливое и все на одинъ и тотъ же мотивъ. Можетъ быть, это такія же пѣсни, какъ у ихъ соплеменниковъ, вотяковъ, которые, увидѣвъ заборъ, поютъ (вотяки по крайней мѣрѣ русскимъ языкомъ щеголяютъ): „ахъ, забѣрь!“, увидавъ корову—поютъ: „ахъ, корова!“ Впрочемъ одну финскую пѣсню мнѣ перевели. Вотъ она:

Давидовой коровѣ Богъ послалъ теленка,

Ахъ, теленка!

А на другой годъ она принесла другого теленка,

Ахъ, другого!

А на третій годъ принесла третьяго теленка,

Ахъ, третьяго!

Когда принесла трехъ телятъ, то пасторъ узналъ объ этомъ,

Ахъ, узналъ!

И сказалъ Давиду: ты, Давидъ, забылъ своего пастора,

Ахъ, забылъ!

И за это увелъ къ себѣ самаго большаго теленка,

Ахъ, самаго большаго!

А Давидъ остался только съ двумя телятами,

Ахъ, съ двумя!

Я впрочемъ не ручаюсь за вѣрность перевода. Можетъ быть, даже самый текстъ вымышленъ, но во всякомъ случаѣ онъ близокъ къ „перлу созданія“ и характеризуетъ роль, которую играютъ здѣсь пасторы.

О наукѣ финской я ничего не знаю; ей отгорожено мѣсто въ Гельсингфорсѣ, а что она тамъ дѣлаетъ — неизвѣстно.

Исправниковъ и станovýchъ здѣсь днемъ съ огнемъ не сыщешь. Но паспорта у русскихъ дачниковъ съ нѣкотораго времени начали требовать.

Но обращаюсь къ „мелочамъ жизни“.

Напрасно пренебрегаютъ ими: въ основѣ современной жизни лежитъ почти исключительно мелочь. Испугъ и недоумѣніе нависли надъ всею Европой; а что же такое испугъ, какъ не сцѣпленіе обидныхъ и деморализирующихъ мелочей?

Вотъ уже сколько лѣтъ сряду, какъ каникулярное время посвящается преимущественно распространенію испуговъ. Съѣзжаются, пьютъ „молчаливые“ тосты. „Графъ Кальноки былъ съ визитомъ у князя Бисмарка, а черезъ полчаса князь Бисмаркъ отдалъ ему визитъ“; „графъ Кальноки прѣхалъ въ Варцинь, куда ожидали также представителя отъ Италіи“, — вотъ что читаешь въ газетахъ. Король Миланъ тоже ѣздитъ, кланяется и пользуется „сердечнымъ“ приемомъ. Даже черногорскій князь удосужился и съѣздилъ въ Вѣну, гдѣ тоже былъ „сердечно“ принятъ.

Что все это означаетъ, какъ не фабрикацію испуговъ въ умахъ и безъ того взбурораженныхъ простецовъ? Зачѣмъ это понадобилось? съ какого права признано необходимымъ, чтобы Сербія, Болгарія, Боснія не смѣли устраиваться по своему, а непременно при вмѣшательствѣ Австріи? Съ какой стати Германія берется помогать Австріи въ этомъ дѣлѣ? Почему допускается вопіющая несправедливость къ выгудѣ сильному и въ ущербъ слабому? Зачѣмъ нужно держать въ страхѣ сосѣдей?

Добрые гени пролагаютъ желѣзные пути, изобрѣтаютъ телеграфы, прорываютъ громадныя каналы, мечтаютъ о воздухоплаваніи, однимъ словомъ, дѣлаютъ все, чтобы смягчить международную рознь; злые, напротивъ, употребляютъ всѣ усилія, чтобы обострить эту рознь. Политиканство давитъ успѣхи науки и мысли и самыя существенныя побѣды послѣднихъ умѣетъ обращать исключительно въ свою пользу.

Потомъ: „нѣмецкіе фабриканты совсѣмъ завладѣли Лодземъ“: „нѣмецкіе офицеры живутъ въ Смоленскѣ“; нѣмецкіе офицеры генеральнаго штаба появились у Троицы-Сергія, изучаютъ русскій языкъ

и ярославское шоссе, собираютъ статистическія свѣдѣнія, дѣлаютъ съѣмки“ и т. д. Чтѣ имъ понадобилось? Ужели они мечтаютъ, что германское знамя появится на ярославскомъ шоссе и село Братовщина будетъ примежевано къ германской имперіи?

Вотъ какія постыдныя мелочи наполняютъ современную жизнь...

Это по части нѣмцевъ; а по части россіянъ еще лучше.

„Фабриканты и заводчики разсчитываются съ рабочими купонами девяностыхъ годовъ“...

„Фабриканты и заводчики ходатайствуютъ объ увеличеніи ввозныхъ пошлинъ“...

„Фирма X проникла въ земство и распоряжается по произволу выборами мировыхъ судей“...

„Фирма Z скупила чуть-ли не цѣлую губернію“...

„Лѣса наши гибнутъ, рѣки мелѣютъ“...

„Крестьяне годъ отъ году бѣднѣютъ, помѣщики также; а рядомъ съ этимъ всеобщимъ обѣднѣніемъ вырастаютъ милліоны, сосредоточенные въ немногихъ рукахъ“.

Это ужъ мелочи горькія, но куда никто ихъ еще не пугается; а когда наступитъ очередь для испуга, — можетъ быть, дѣло будетъ уже несправимо.

Всѣ мы каждодневно читаемъ эти извѣстія, но едва-ли многимъ приходитъ на мысль спросить себя: въ силу чего же живетъ современный человѣкъ? и какимъ образомъ не входитъ онъ въ идиотизмъ отъ испуга?

Еще одна характеристическая мелочь. Въ послѣднее время многіе огульно обвиняли нашу интеллигенцію во всѣхъ неурядицахъ и неурействахъ и предлагали противъ нея по истинѣ неслыханныя, по своей нелѣпости, мѣры. Въ числѣ ихъ немалую роль игралъ самосудъ живорѣзовъ московскаго Охотнаго ряда, а нѣкоторые не отступали даже передъ топлениемъ въ Москвѣ-рѣкѣ. Разумѣется, все это было говорено на-вѣтеръ, но все-таки даетъ понятіе о степени злопыхательства. И никому не пришло на мысль сказать во всеуслышаніе хотя бы умѣренное слово въ защиту интеллигенціи. Хотя бы то, на-примѣръ, что единичные факты слѣдуетъ судить единично же; что обобщенія въ подобныхъ случаяхъ неумѣстны и вредны; что, наконецъ, если и можно забить интеллигенцію въ грязь — чтѣ же тогда останется?

Не будь интеллигенціи, мы не имѣли бы ни понятія о чести, ни вѣры въ убѣжденія, ни даже представленія о человѣческомъ образѣ. Остались бы „чумазы“ съ ихъ исконнымъ стремленіемъ расщипать общественный карманъ до послѣдней нитки.

Идетъ чумазый, идетъ! Я не разъ говорилъ это и теперь повторяю: идетъ, и даже уже пришелъ! Идетъ съ фальшивою мѣрою, съ фальшивымъ аршиномъ и съ неутолимою алчностью глотать, глотать, глотать...

Интеллигенція наша ничего не противопоставитъ ему, ибо она ни откуда не защищена, и гибнетъ безпомощно, какъ быліе въ полѣ...

Скучно и тяжело смотрѣть, какъ умы, вмѣсто того, чтобы питаться здоровою пищею, постепенно заполняются испугомъ. Испугъ до того вѣлся въ насъ, что мы даже совсѣмъ не сознаемъ его. Это уже не явленіе, приходящее извнѣ, а вторая природа. Мы пересчитываемъ всевозможныя загадочности и безусловно вѣримъ, что таинственная ихъ сила управляетъ міромъ, и что судьбы исторіи всецѣло отданы имъ во власть. Но еще мучительнѣе думать, что этому мыслительному плѣну не предвидится конца, потому что и подростающее поколѣніе, прислушиваясь къ непрерывному голошенію старшихъ, незамѣтно заражается имъ. Простую мелочь, которая исчезла бы отъ одного дуновенія здороваго, освѣжающаго воздуха, мы съумѣли превратить въ мелочь изнуряющую.

Стѣдуетъ прислушаться къ говору невольныхъ плѣнниковъ, возвращающихся изъ душнаго Петербурга на дачи, чтобы убѣдиться, до какой степени всѣми овладѣла вѣра въ загадочность будущаго.

— Слышали? — раздается въ вагонахъ: — графъ Кальноки былъ съ визитомъ у Бисмарка?

— А черезъ полчаса князь Бисмаркъ отдалъ визитъ Кальноки, и опять оба имѣли продолжительное совѣщаніе...

— И при семъ присутствовалъ итальянскій министръ Лампонд...

— Ну, ужъ и Лампонд?..

— Всѣ они тамъ Лампонд... всѣхъ бы ихъ...

— А слышали вы, что прусскіе офицеры у Сергія-Троицы живмя-живуть?

— Зачѣмъ ихъ нелегкая принесла?

— Утереть бы имъ носъ, этимъ паршивцамъ-нѣмцамъ, — вотъ и вся недолга...



— То-то, что платковъ нѣтъ...

— А слышали вы, какъ купецъ Z съ рабочими купонами 90-го года разсчитался?

— Вотъ такъ съ праздникомъ едѣлалъ!

— Крестьяне, разумѣется, жаловаться; однако...

— А слышали вы, какъ купецъ X все земство въ своемъ уѣздѣ своими людьми заполонилъ?

— Неужто? а я еще его дворовымъ мальчикомъ помню...

— Да, батюшка, нынче хамы—сила!

— Станція Теріоки! — провозглашаетъ кондукторъ.

Плѣнники вскакиваютъ съ мѣсть и разбѣгаются по дачамъ. А на дачѣ мать семейства, встрѣчая своего главу, сообщаетъ:

— А вѣдь графъ-то Кальноки... каковъ! Вотъ „наши“ такъ не умѣютъ... У Троицы, сказываютъ, нѣмца видѣли...

— Ну, ну, ладно, матушка! Какіе-такіе тамъ „наши“! Тоже... туда же... Велика подавать супъ и будемъ обѣдать!

## II.

А съ Баттенбергомъ творится что-то неладное. Его начали „возить“. Сначала увезли, потомъ опять привезли. Съ какою цѣлью? для чего лишній расходъ? чего смотрѣлъ маіоръ Пановъ?

Вѣдннй маіоръ Пановъ! Сдается мнѣ, что долго не быть ему подполковникомъ. Развѣ новый Баттенбергъ пріѣдетъ и напишетъ: „Въ воздаяніе вашихъ заслугъ по увозу Баттенберга I-го жалую васъ“... Да и тутъ наврядъ-ли отдадутъ ему старшинство, потому что вѣдь эти Баттенберги подозрительны. Скажетъ: одного ужъ увезъ, — пожалуй, увезетъ и другого...

И зачѣмъ Баттенбергъ воротился?! Пожилъ въ княжескомъ конакѣ, пожуировалъ — и будетъ. Наконецъ, совсѣмъ-было уѣхалъ — вдругъ телеграмма: „возвращайтесь! нашли надежную прислугу“. — И онъ возвратился. Даже не спросилъ себя: достаточно ли надежна прислуга и долго ли ему придется опять пожуировать? Жить бы да поживать ему гдѣ-нибудь въ Касселѣ или Гомбургѣ, на хлѣбахъ у нѣсколькихъ монарховъ —

А онъ, мятежный, ищетъ бури,  
Какъ будто въ буряхъ есть покой!..

Вотъ гдѣ нужно искать дѣйствительныхъ космополитовъ; въ средѣ Баттенберговъ, Меренберговъ и прочихъ штабъ- и оберъ-офицеровъ прусской арміи, которыхъ обездолилъ князь Бисмаркъ. Рыщутъ по бѣлу свѣту, теплыхъ мѣстечекъ подыскиваютъ. Слушайте! вѣдь онъ, этотъ Баттенбергъ, такъ и говоритъ: „Болгарія — любезное наше отечество!“ — и языкъ у него не заплелся, выговаривая это слово! Отечество? Какимъ родомъ очутилось оно для него въ Болгаріи, о которой онъ и во снѣ не видалъ? Вотъ ужъ именно: не было ни гроша — и вдругъ алтынъ.

А болгары чтò? — „Они съ такимъ же восторгомъ привѣтствовали возвращеніе князя, съ какимъ, за нѣсколько дней передъ тѣмъ, встрѣтили вѣсть объ его низложеніи“. Вотъ чтò пишутъ въ газетахъ. Скажите: ну, чѣмъ они плоше древнихъ афинянъ? Только вотъ насчетъ аттической соли у нихъ плоховато.

Конечно, Баттенбергъ можетъ сказать: моему возвращенію рукоплескали. Но такихъ ли рукоплесканій я былъ свидѣтелемъ въ молодости! Пріѣдешь, бывало, въ Михайловскій театръ, да выйдетъ на сцену Луиза Майеръ въ китайскомъ костюмѣ (водевиль „La fille de Dominique“), да запоетъ:

Je suis Tchinn-ka la blonde,  
Esclave du Sultan,  
Et je parcours le monde  
En dansant, en chantant...

какъ весь театръ Михайловскій словно облутѣетъ. „Bis! bis!“ — залятся хоромъ люди всѣхъ вѣдомствъ и всѣхъ оружій. Вотъ еслибы эти рукоплесканія слышалъ Баттенбергъ, онъ навѣрное сказалъ бы себѣ: теперь я знаю, какъ надо пріобрѣтать народную любовь!

И находятся еще антики, которые увѣряютъ, что весь этотъ хламъ исторія запишетъ на свои скрижали... Хороши будутъ скрижали! Нѣтъ, время такой исторіи ужъ прошло. Я увѣренъ, что даже современные болгары скоро забудутъ о Баттенберговыхъ проказахъ и вспомнятъ о нихъ лишь тогда, когда его во второй разъ увезутъ: „Ба! — скажутъ они: — да вѣдь это ужъ, кажется, во второй разъ! Какъ бы опять его къ намъ не привезли!“



Помните ли вы, читатель, Наполеона III-го? — навѣрное позабыли! Между тѣмъ онъ почти 20 лѣтъ сряду громилъ не одну Францію, но и всю Европу — и никто не замѣчалъ праха, который до краевъ наполнялъ этого человѣка. Все преклонялось передъ нимъ, все считало его серьезною силою. Новогодніе приемы его представляли собой какъ бы политическую программу на цѣлый годъ, — программу, которая принималась безоговорочно къ исполненію. Но наконецъ пробилъ-таки часъ, какъ гноище, на которомъ онъ возлежалъ, раскрылось само собой. И чтѣ же? Съ послѣднимъ громомъ пушекъ — все смолкло, точно ничего и не было! Несмотря на его паденіе и смерть, событія продолжали идти своимъ чередомъ, какъ будто онъ, никогда никакимъ „концертомъ“ не дирижировалъ. И теперь имя его до того погрузилось въ мракъ, что не только никто о немъ не говоритъ, но даже и не помнитъ его существованія. Концерты европейскіе продолжаютъ разыгрываться безъ него, какъ бы разыгрывались при немъ, а жизнь народная продолжаетъ по прежнему свое теченіе, особо отъ концертовъ.

Имена Ньютоновъ, Франклиновъ, Галилеевъ, Ломоносовыхъ будутъ переходить изъ вѣка въ вѣкъ; имена Наполеоновъ и другихъ концертантовъ потонутъ въ болотныхъ топяхъ. Таковъ законъ вещей, и никакое насиліе не поможетъ его обойти. Не обойдетъ его и исторія.

Правда, что Наполеонъ III-й оставилъ по себѣ цѣлое чужеядное племя Баттенберговъ, въ видѣ Наполеонидовъ, Орлеановъ и проч. Всѣ они бодрствуютъ и ищутъ глазами, всегда готовые броситься на добычу. Но исторія сумѣетъ разобраться въ этомъ наносномъ хламѣ и отыщеть, гдѣ находится дѣйствительный центръ тяжести жизни. Если же она и упомянетъ о хламѣ, то для того только, чтобы сказать: было время такой громадной душевной боли, когда всякій авантюристъ овладѣвалъ человѣчествомъ безъ труда!

Скажетъ она это потому, что душевная боль не давала человѣчеству ни развиваться, ни совершать плодотворныхъ дѣлъ, а слѣдовательно и въ самой жизни человѣческихъ обществъ произошелъ какъ бы перерывъ, который нельзя же не объяснить. Но, сказавши, — обведетъ эти строки черною каймою и болѣе не возвратится къ этому предмету.

Ахъ, эти мелочи! Какъ чесоточный зудень, впиваются онѣ въ организмъ человѣка, и точатъ, и жгутъ его. Сколько всевозможныхъ „союзовъ“ опутало человѣка со всѣхъ сторонъ; сколько каждый индивидуумъ ухитряется придумать лично для себя всякихъ стѣсненій! И всему этому, и пришедшему извнѣ, и придуманному ради удовлетворенія личной мнительности, онѣ обязывается послужить, т.-е. отдать всю свою жизнь. Нѣтъ мѣста для работы здоровой мысли, нѣтъ свободной минуты для плодотворнаго труда! Мелочи, мелочи, мелочи — заполнили всю жизнь.

Возьмемъ для примѣра хоть страхъ завтрашняго дня. Сколько постыднаго заключается въ этой трехъ-словной мелочи! Какимъ образомъ она могла вѣѣться въ существованіе человѣка, существа по преимуществу предусмотрительнаго, обладающаго вѣждительною силою? Чтѣ придавило его? чтѣ заставило такъ безусловно подчиниться простой и постыдной мелочи?

Встрѣчаете на улицѣ пріятеля и видите, что онѣ задумчивъ и угнетенъ,

— Чтѣ такъ задумались?

— Да какъ-то не по себѣ... Боюсь.

— Бойтесь? чего же?

— Да завтрашняго дня. Все думается: что-то завтра будетъ! Не то боязнь, не то раздраженіе чувствуешь... смутное что-то. Стараюсь вникнуть, но до сихъ поръ еще не разобрался. Точно находишься въ обществѣ, въ которомъ собравшіеся всѣ разбрелись по угламъ и шушукуются, а ты сидишь одинъ у стола и пересматриваешь лежащіе на немъ и давно надоѣвшіе альбомы... Вотъ это какое ощущеніе!

— Ахъ, пустяки какіе!

— Пустяки — это вѣрно. Но въ томъ-то и сила, что одолѣли насъ эти пустяки. Плывутъ со всѣхъ сторонъ, впиваются, рвутъ сердце на части.

— Но чтѣ же можетъ быть завтра такого страшнаго?

— То-то что ничего неизвѣстно. Будетъ — не будетъ, будетъ — не будетъ? — только на эту тему и работаетъ голова. Слышишь шопоты, далекое урчанье, а яснаго — ничего.

— Все-таки я не вижу, чтѣ же тутъ общаго съ завтрашнимъ днемъ?

— И завтра, и сегодня, и сейчас, сию минуту,—развѣ это не все равно? Голова заполонена; кругомъ — пустота, неизвѣстность или нелѣпая и разнорѣчивая болтовня; опускаются руки и самъ незамѣтно погружаешься въ омутъ попотовъ или нахальной болтовни... Вотъ это-то и омерзительно.

И дѣйствительно, кругомъ слышатся только шопоты да гулъ какой-то загадочной работы при замкнутыхъ дверяхъ. По-неволѣ вспомнятся стихи Пушкина:

Смутно всюду, темно всюду.  
Быть тутъ чуду! Быть тутъ чуду!

Только не „чудо“ является въ результатѣ, а простой изнуряющій вздоръ.

Возьмемъ теперь другой примѣръ: образованіе. Не о высшей культурѣ идетъ здѣсь рѣчь, а просто о школѣ. Школа готовится къ воспринятію знанія; она даетъ ему основные элементы его. Это достаточно указываетъ, какая тѣсная связь существуетъ между школой и знаніемъ.

Извѣстно и даже за аксіому всѣми принято, что знаніе освѣщаетъ не только того, кто непосредственно его воспринимаетъ, но черезъ посредство школы распространяетъ лучистый свѣтъ и на темныя массы. Извѣстно также, что люди одаряются стѣ природы различными способностями и различною степенью воспримчивости; что ежели практически и трудно провести эту послѣднюю истину во всеемъ ея объемѣ, то во всякомъ случаѣ непроситительно не принимать ея въ соображеніе. Наконецъ, признано всѣми, что насильственно служить предѣлы знанія вредно, а еще вреднѣе наполнять содержаніе его всякими случайными примѣсами.

Посмотримъ же, въ какой мѣрѣ примѣняются эти истины къ школьному дѣлу.

Прежде всего надъ всей школой тяготѣетъ нивеллирующая рука циркуляра. Опредѣляются во всей подробности не только предѣлы и содержаніе знанія, но и число годовыхъ часовъ, посвящаемыхъ каждой отрасли его. Не стремленіе къ распространенію знанія стоитъ на первомъ планѣ, а глухая боязнь этого распространенія. О характеристическихъ особенностяхъ учащихся забыто вовсе: всѣ предполагаются скроенными по одной мѣрѣ, для всѣхъ преподается одинъ и тотъ



же обязательный масштаб. Переводный или неперево́дный баллъ — вотъ единственное мѣрило для оцѣнки, причемъ не берется въ соображеніе, насколько въ этомъ баллѣ принимаетъ участіе слѣпая случайность. О личности педагога тоже забыто. Онъ не можетъ ни остановиться лишнихъ пять минутъ на такомъ эпизодѣ знанія, который признаетъ важнымъ, ни посвятить пять минутъ меньше такому эпизоду, который представляется ему недостаточно важнымъ или преждевременнымъ. Онъ обязывается выполнить букву циркуляра — и больше ничего.

Но въ такомъ случаѣ для чего же не прибѣгнуть къ помощи телефона? Набрать бы въ центрѣ отборныхъ и вполне подходящихъ къ уровню современныхъ требованій педагоговъ, которые и распространяли бы по телефону свѣтъ знанія по лицу вселенной, а на мѣстахъ содержать только тьюторовъ, которые наблюдали бы, чтобы ученики не повѣсничали...

Мало того: при самомъ входѣ въ школу о всякомъ жаждущемъ знанія наводится справка.

Дворянинъ или мѣщанинъ?

Какого вѣроисповѣданія: православный, католикъ или, наконецъ, еврей?

Для послѣднихъ въ особенности школа — время тяжелого и жгучаго испытанія. Съ юношескихъ лѣтъ еврей воспитываетъ въ себѣ сердечную боль, проходитъ все степени неправды, униженія и рабства. Чтò же можетъ выработаться изъ него въ будущемъ?

Нѣтъ ни общей для всехъ справедливости, ни признанія чело-вѣческой личности, ни живого слова. Ничего, кромѣ задачника Буренина и Малинина и учебниковъ грамматики всевозможныхъ сортовъ.

Чтò можетъ дать такая школа? Чтò, кромѣ *tabula rasa* и особенной болѣзни, къ которой слѣдуетъ примѣнить специальное наименованіе „школьнаго худосочія“?

Сонливые и безсильные высыплютъ массы юношей и юницъ изъ школъ на арену жизни, сонливо отбудутъ жизненную повинность и сонливо же сойдутъ въ преждевременныя могилы...

А вотъ и третій примѣръ. Представьте себѣ, что студентъ Хорьковъ женился на Липочкѣ Большой (извѣстная лица изъ комедій Островскаго). Липочка вышла заму́жъ, потому что случайно отда-

лась Хорькову, и надо же „прикрыть грѣхъ“; Хорьковъ женился, потому что принялъ Липочкину наглость за „святую простоту“. При этомъ, само собой разумѣется, старикъ Большовъ надулъ Хорькова и не далъ за Липочкой никакого приданаго, кромѣ тряпокъ. И вотъ они невдолгѣ опознали другъ друга. Липочка увѣрилась, что Хорьковъ не въ состоянїи дарить ей трепрашельчатыхъ платьевъ; Хорьковъ убѣдился, что мечты его о „святой простотѣ“, при первомъ же столкновенїи съ дѣйствительностью, разбились въ прахъ.

Что можетъ выйти изъ этого сожитїя? Что, кромѣ клѣтки, въ которой сидятъ два звѣря, прикованные каждый къ своему углу и готовые растерзать другъ друга при первой возможности?

И, наконецъ, четвертый примѣръ. Передъ вами человекъ вполне независимый, обеспеченный и культурный. Онъ могъ бы жить совершенно свободно, удовлетворяя потребностямъ своей развитости. Но его такъ и подмываетъ отдать себя въ рабство. Онъ чувствуетъ своимъ извращеннымъ умомъ, что есть гдѣ-то лѣстница, которая ведетъ къ почестямъ и власти. И вотъ онъ взбирается на нее. Скользить, оступается и летитъ стремглавъ назадъ. Это однакожъ не останавливаетъ его. Онъ вновь начинаетъ взбираться медленно, мучительно, ступень за ступенью, и наконецъ успѣваетъ придти къ цѣли. Тутъ его встрѣчаютъ щелчки за щелчками, потому что онъ чуженинъ въ этой средѣ, чужого поля ягода. Тѣмъ не менѣе руководители среды очень хорошо понимаютъ, что отъ этого чуженина отдѣлаться не легко, что онъ упоренъ и не уйдетъ назадъ съ одними щелчками. Его наконецъ пристраиваютъ, даютъ прїютъ и мало-по-малу привыкаютъ звать „своимъ“. Въ отвѣтъ на это вынужденное радушіе, онъ ходко впрягается въ плугъ и начинаетъ работать съ ревностью прозелита. Идеалы, свобода, порывы души—все забыто, все принесено въ жертву рабству. А черезъ короткое время въ результатъ получается заправскїй рабъ, въ которомъ все сгнило, кромѣ гнучкой спины и лгущаго языка во рту.

Довольно ли этихъ примѣровъ?

Я не знаю, какъ отнесется читатель къ написанному выше, но что касается до меня, то при одной мысли о „мелочахъ жизни“ сердце мое болитъ невыносимо.

Несомнѣнно, что весь этотъ угаръ, эта разнокалиберная фантасмагорія устраняется сама собой; но спрашивается: сколько увлекутъ за собой жертвъ одни усилія, направленныя съ цѣлью этого устраненія?

Мнѣ скажутъ, быть можетъ, что я смѣшалъ въ одну кучу „мелочи“ совсѣмъ различныхъ категорій: Баттенберговы приключенія—со школою и т. д. Я и самъ понимаю, что въ существѣ это явленія вполне разнородныя, но и за всѣмъ тѣмъ не могу не признать хотя косвенной, но очень тѣсной связи между ними. Дѣло въ томъ, что Баттенберговы проказы не сами по себѣ важны, а потому что, несмотря на свое ничтожество, заслоняютъ тѣ горькія „мелочи“, которыя заправскимъ образомъ отравляютъ жизнь. Подъ шумъ всевозможныхъ совѣщаній, концертовъ, тостовъ и другихъ политическихъ сюрпризовъ прекращается русловое теченіе жизни, и вся она уходитъ внутрь, но не для работы самоусовершенствованія, а для того, чтобы переполниться внутренними болями. И умственный, и матеріальный уровень страны несомнѣнно понижается; исчезаетъ предусмотрительность; разрывается связь между людьми, и вмѣсто всего на арену появляется существованіе въ одиночку и страхъ передъ завтрашнимъ днемъ. Все это, конечно, равносильно доброй войнѣ.

Войну клянутъ; собираютъ митинги, пишутъ трактаты объ устраненіи поводовъ къ ней или о замѣнѣ ея другимъ судомъ, менѣе безчеловѣчнымъ. Но забываютъ, что прелиминаріи войны гораздо мучительнѣе, нежели самая война. Война открываетъ доступъ самымъ дурнымъ страстямъ (одни подрядчики и казнокрады чего стоятъ!); она изнуряетъ страну матеріально; прелиминаріи къ войнѣ производятъ въ странѣ умственное и нравственное разложеніе, погружаютъ ее въ мракъ ничтожества. Все дурное, неправое и безнравственное назрѣваетъ подъ вліяніемъ смуты, заставляющей общество метаться изъ стороны въ сторону безъ руководящей цѣли, безъ всякаго сознанія сущности этихъ беспорядочныхъ метаній.

Общество, не знающее иного содержанія, кромѣ сплетенъ и насильственно созданныхъ путей, можетъ быть способно лишь къ прозябанію. Спрашивается однакожь: возможно ли безсрочное прозябаніе и не должно ли оно постепенно перейти въ гніеніе?

Признаюсь откровенно: какъ ни мучителенъ для меня утвердительный отвѣтъ, но я вынужденъ сказать: да, прозябаніе не безсрочно.



## III.

Чтобы вполне оцѣнить гнетущее вліяніе „мелочей“, чтобы ощутить ихъ во всей осязаемости, перенесемся изъ большихъ центровъ въ глубь провинціи. И чѣмъ глубже, тѣмъ яснѣе и яснѣе выступитъ ненормальность условій, въ которыя поставлено человѣческое существованіе \*).

Въ губерніи вы прежде всего встрѣтите человѣка, у котораго сердце не на мѣстѣ. Не потому оно не на мѣстѣ, чтобы было переполнено заботами объ общественномъ дѣлѣ, а потому, что все содержаніе настоящей минуты исчерпывается однимъ предметомъ: огражденіемъ прерогативъ власти отъ дѣйствительныхъ и мнимыхъ нарушеній.

Прерогативы власти—это такого рода вещь, которая почти недоступна вполне строгому опредѣленію. Здѣсь настоящее гнѣздилище чисто личныхъ воззрѣній и оцѣнокъ, такъ что ежели взять два крайнихъ полюса этихъ воззрѣній, то между ними найдется очень мало общаго. Все тутъ неясно и смутно: и предѣлы, и степень, и содержаніе. Одно только прямо бросается въ глаза—это власть для власти, и, само собой разумѣется, только одна эта цѣль и преслѣдуется съ полными сознаниемъ.

Въ спокойное время на помощь къ этой разнокалиберщинѣ является циркуляръ. Онъ старается съютить противоположные полюсы личныхъ воззрѣній, приводитъ примѣры, одно одобряетъ, другое порицаетъ, и въ заключеніе все-таки призываетъ къ усмотрѣнію. Но вѣдь въ спокойное время человѣкъ, у котораго сердце не на мѣстѣ, и самъ сидитъ спокойно. Онъ равнодушно прочитываетъ полученную рацею и говоритъ себѣ: „у меня и безъ того смиро—чего еще больше?.. Иванъ Ивановичъ!—обращается онъ къ приближенному лицу:—кажется, у насъ ничего такого нѣтъ?“—И есть ли, нѣтъ ли циркуляръ подшивается къ числу прошлыхъ—и дѣлу конецъ.

Совсѣмъ въ другомъ видѣ представляется дѣло въ такъ-называемыя переходныя эпохи, когда общество объято недоумѣніями

\*) Прошу читателя не брать въ виду, что я говорю не объ одной Россіи: почти всѣ европейскія государства въ настоящее время настроены на одинъ образецъ.—Авт.

страхомъ завтрашняго дня и исканіемъ новыхъ жизненныхъ основъ. Это — время „строгости и скорости“. Тутъ циркуляръ не только теряетъ свое разъяснительное значеніе, но положительно запутываетъ. — Что такое: „а посему“? Почему „посему“? — безпокойно спрашиваетъ себя адресатъ. И вотъ начинаются утягиванья, натягиванья, и наконецъ личное усмотрѣніе вступаетъ въ свои права. „Строгости и скорость“ — только и всего. Власть для власти, подозрительность, вмѣшательства, — все призывается на помощь, лишь бы успокоить встревоженное сердце.

Наступаетъ истинный переполохъ. И у себя дома, и въ канцеляріяхъ, и въ гостяхъ у частныхъ лицъ, и въ общественныхъ мѣстахъ — вездѣ чудятся дурныя страсти, безначаліе и подрывы основъ, подь которыми, за неясностью этого выраженія, разумются тѣ же излюбленныя прерогативы власти. Пускаются въ ходъ благосклонныя или язвительныя улыбки (смотри по обстоятельствамъ), нахмуренныя брови, воркотня; поднимается самъ собой указательный палецъ и грозитъ въ пространство. Уже не циркуляръ является руководителемъ, а газета, съ ея толками и инсинуаціями...

Все это я не во снѣ видѣлъ, а во очію. Я слышалъ, какъ провинція наполнялась крикомъ, перекатывавшимся изъ края въ край; я видѣлъ и улыбки, и нахмуренныя брови; я ощущалъ ихъ дѣйствіе на самомъ себѣ. Я помню такъ-называемыя „столкновенія“, въ которыхъ одинъ толкался, а другой думалъ единственно о томъ, какъ бы его не затолкали вконецъ. Я не только ничего не преувеличиваю, но скорѣе не нахожу настоящихъ красокъ.

Я не говорю уже о томъ, какъ мучительно жить подь условіемъ такихъ метаній, но спрашиваю: какое горькое сознаніе униженія должно всплыть со дна души при видѣ одного этого неустанно угрожающаго указательнаго перста?

— Иванъ Ивановичъ! кажется, къ намъ затесался анархистъ... Вотъ этотъ, черноватый, съ длинными волосами... И видъ у него такой, точно съѣсть хочетъ...

— Это у него отъ природы-съ, — робко пытается разубѣдить Иванъ Ивановичъ.

— Природа! знаемъ мы эту природу! Не природа, а порода. Природу нужно смягчать; торжествовать надъ ней надо. Нѣтъ, знаете ли что? лучше намъ подальше отъ этихъ лохматыхъ! пускай

онъ идетъ съ своей природой куда пожелаетъ. А вы между тѣмъ шепните ему, чтобъ онъ держалъ ухо вострѣ!

Указательный палецъ поднимается самъ собой, а „лохматый“, къ немалому своему испугу и удивленію товарищей, обязывается исчезнуть съ лица земли.

Или:

— А вѣдь у васъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, въ вѣдомствѣ не со-  
всѣмъ-то благополучно.

— Чтò такое? — озабоченно спрашиваетъ Ѳедоръ Ѳедоро-  
вичъ.

— Да такъ... не скажу, чтобъ явное противодѣйствіе, а ду-  
шѣеъ проявляется-таки. И при этомъ не безъ ироніи...

— Помилуйте-съ!

— А вы припомните, какъ вы мнѣ отвѣтили на мой запросъ о  
необходимости имѣть въ сердцахъ страхъ Божій? Конечно, я васъ  
лично не обвиняю, по письмоводитель вашъ — шпилька!

— Но чтò же я такое отвѣтилъ?

— А отвѣтили: „въ моемъ вѣдомствѣ страха Божія очень до-  
статочно“ ... н-да-съ...

Къ счастью, въ это время подвертывается Емельянъ Семеновичъ  
съ колодой картъ.

— Повинтить-съ?

— Съ удовольствіемъ.

Человѣкъ, у котораго сердце не на мѣстѣ, усаживается за винтъ;  
но когда кончается условленное число роверовъ, онъ все-таки не пре-  
минетъ напомнить Ѳедору Ѳедоровичу:

— А насчетъ письмоводителя вы все-таки имѣйте въ виду. Я  
давно въ немъ замѣчаю. Нѣтъ у него этой теплоты чувства, этой,  
такъ сказать...

Таковъ человѣкъ, у котораго сердце не на мѣстѣ; а за нимъ  
слѣдуетъ цѣлая свита людей, у которыхъ тоже сердце не на мѣстѣ,  
у cadaго по своему вѣдомству. И опять появляются на сцену лохма-  
тые, опять слышатся слова: „противодѣйствіе“, „иронія“.

Мнѣ скажутъ, что все это мелочи, что въ извѣстныя эпохи от-  
дѣльныя личности имѣютъ значеніе настолько относительное, что  
нельзя формализироваться тѣмъ, что они исчезаютъ безслѣдно въ  
круговоротѣ жизни. Да вѣдь я и самъ съ того началъ, что всѣ по-



добныя явленія назвалъ мелочами. Но мелочами, которыя опутываютъ и подавляютъ...

Такимъ образомъ губернія постепенно приводится къ тому томительному однообразію, которое не допускаетъ ни обмѣна мыслей, ни живой дѣятельности. Вся она твердитъ одни и тѣ же подневольныя слова, не сознавая ихъ значенія и только руководствуясь однимъ соображеніемъ: что эти слова идутъ ходко на жизненномъ рынкѣ.

Канутъ ли эти мелочи въ вѣчность безслѣдно, или будутъ имѣть какія-нибудь послѣдствія?—не знаю. Одно могу сказать съ нѣкоторою достовѣрностью, что есть мелочи, которыя, подобно свѣжному шару, чѣмъ дальше катятся, тѣмъ больше нарастаютъ, и наконецъ образуютъ изъ себя глыбу.

Ежели мы спустимся ступенью ниже—въ уѣздъ, то увидимъ, что тамъ мелочи жизни выражаются еще грубѣе и еще меньше встрѣчаютъ отпора. Уѣздъ изстари былъ вмѣстилищемъ людей одинаковой степени развитія и одинаковаго отсутствія образа мыслей. Теперь, при готовыхъ девизахъ изъ губерніи, разномысліе исчезло окончательно. Даже жены чиновниковъ не ссорятся, но единомысленно подвываютъ: „ахъ, какой циркуляръ!“

Была минута, когда мировыя и земскія учрежденія внесли нѣкоторое оживленіе въ эту омертвѣлую среду, но время это памятно уже очень немногимъ современникамъ. Нынче и мировые, и земскіе дѣятели одинаково погрузились въ общую пучину единомыслія и одинаково твердятъ одни и тѣ же завѣтныя слова. Пришли новые люди и принесли съ собой сознаніе о вредѣ такъ-называемыхъ пререканій и о необходимости безусловно покориться вѣяніямъ минуты. А ежели и остались немногіе изъ недавнихъ „старыхъ“, то они такъ легко выдержали процессъ переодѣванія, что опознать въ нихъ людей, которые еще наканунѣ плели лапти съ подковыркою, совсѣмъ невозможно.

Главная цѣль, къ которой нынѣ направлены всѣ усилія уѣздной административной дѣятельности—это справляться дома, своими средствами, и какъ можно меньше беспокоить начальство. Но такъ какъ выраженіе: „свои средства“, есть не что иное, какъ вольный переводъ выраженія: „произволь“, то для подкрѣпленія его явилось къ услугамъ и еще выраженіе: „въ законахъ нѣтъ“. Цѣлыхъ пятнадцать томовъ законовъ написано, а все отыскать закона не могутъ!

Стоять эти томы въ шкапу и безмолвствуютъ, а ключъ отъ шкапа заброшенъ въ колодезь, чтобъ прочиѣ дѣло было.

Соберутся увѣздные дѣятели на воскресномъ пирогѣ у соборнаго протоіерея (нынѣ и онъ играетъ очень немаловажную роль) и ведутъ единомысленную бесѣду.

— Я въ своемъ участкѣ одного человѣка запримѣтилъ, — ораторствуетъ мировой судья: — надо бы къ нему легонечко подойти.

— А у насъ тутъ мѣщаниншко въ городѣ завелся, — подхватываетъ непремѣнный членъ: — газету выписываетъ, книжки читаетъ... да и поговариваетъ. Въ базарные дни всякій народъ около его лавочки толпится, а онъ сидитъ и газету въ рукахъ держать... долго ли до грѣха!

Исправникъ слушаетъ и безмолвствуетъ, только усами шевелить.

— Сократить бы! — изрекаетъ отецъ-протопопъ.

— Всенепремѣнно-сь, — подтверждаетъ предсѣдатель земской управы: — и я за однимъ человѣкомъ примѣчаю... Я ужъ и говорилъ ему: мы, братъ, тебя безъ шуму, своими средствами... И представьте себѣ, какой нахаль: „попробуйте!“ говоритъ!

— Чтожъ, попробовать можно! — вставляетъ свое слово городской голова, усмѣхаясь въ бороду.

— И попробуемъ! — рѣшаетъ предводитель.

— И по-про-бу-емъ! — восклицаетъ исправникъ, вставая изъ-за стола.

Пирогъ съѣденъ, гости разошлись по домамъ, а на другой день „свое средство“ уже въ ходу.

Такъ, изо дня въ день, течетъ эта безразсвѣтная жизнь, вся поглощенная мелочами, чего-то отыскивающая и ничего не обрѣтающая, кромѣ усмотрѣнія.

Недаромъ же такъ давно идутъ толки о децентрализаціи, смѣшиваемой съ сатрапствомъ, и о расширеніи власти, смѣшиваемомъ съ разнузданностью. Плоды этихъ толковъ, до сихъ поръ впрочемъ остававшихся подъ спудомъ, уже достаточно выяснились. „Эти толки не даромъ! въ нихъ-то и скрывается настоящая интимная мысль!“ — разсуждаетъ провинція и, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, начинаетъ приводить въ исполненіе не законъ и даже не циркуляръ, а простые газетные толки, не предвидя впереди никакой отвѣтственности...

Спустимся еще ступенью ниже — въ деревню, и мы найдемъ ее всецѣло отданною въ жертву мелочамъ. Тутъ мы прежде всего встрѣтимся съ „чумазымъ“, который всюду проникъ съ сонмищами своихъ агентовъ. Эти агенты рыщутъ по деревнямъ, устанавливають цѣны, скупають, обвѣшиваютъ, обмѣриваютъ, обесчѣиваютъ, платятъ несуществующими деньгами, являются на аукціоны, отъ которыхъ плачетъ недоимщикъ, чутко прислушиваются къ бабьимъ стонамъ и цѣлыми обществами закабаляють людей, считающихся свободными. Словомъ сказать, вездѣ, гдѣ чуется нужда, горе, слезы — тамъ и „чумазый“ съ своимъ кошелемъ. Мало того: чумазый вѣдрился въ самую деревню въ видѣ кабатчика, прасола, кулака, міроѣда. Эти ужъ дѣйствуютъ не наѣздомъ, а постоянно и не торопясь. Что касается до мірскихъ властей, то онѣ безусловно отдались въ руки чумазому и думаютъ только объ исполненіи его прихотей.

Затѣмъ мы встрѣчаемся съ общиной, которая не только не защищаетъ деревенскаго мужика отъ вѣшнихъ и внутреннихъ неурядиць, но сковываетъ его по рукамъ и ногамъ. Она не даетъ простора ни личному труду, ни личной инициативѣ, губить въ самомъ зародышѣ всякое проявленіе самостоятельности и, въ заключеніе, отдаетъ въ кабалу или выгоняетъ на улицу слабыхъ, не успѣвшихъ заручиться благорасположеніемъ міроѣда. Было время, когда надѣялись, что община обезпечитъ хоть кусокъ хлѣба слабому члену, но нынче и эти надежды разсѣялись. Оставленные надѣлы, покинутыя и заколоченныя избы достаточно свидѣтельствуютъ о сладостяхъ деревенской жизни. Куда дѣвались обитатели этихъ опустѣлыхъ избъ? Увы! скоро самая память о нихъ исчезнетъ въ деревнѣ. Они получили паспорта и „ушли“ — вотъ все, что извѣстно; а удастся ли имъ вѣ родного гнѣзда разрѣшить поставленный покойнымъ Рѣшетниковымъ вопросъ: „Гдѣ лучше?“ — на это все прошлое достаточно ясно отвѣчаетъ: нѣтъ, не удастся.

Наконецъ мы встрѣчаемся съ крестьянской избой, переполненной сварой, семейными счетами и непрестаннымъ галдѣніемъ. Въ этомъ миниатюрномъ ковчегѣ нерѣдко ютится нѣсколько поколѣній, отъ грудного младенца до ветхаго старика, который много лѣтъ, не испуская жалобы, лежитъ на печи и не можетъ дожидаться смерти. Всевозможныя насѣкомыя ползутъ по стѣнкамъ и сыплются съ потолка; всевозможные звуки раздаются съ утра до вечера: тутъ и



крикъ младенца, и назойливое гоношеніе подростковъ, и брань взрослыхъ, и бляеніе объягнувшейся овцы, и мычаніе теленка, и вздохи старика. Цѣлый адъ, который только лѣтомъ, когда изба остается цѣлый день пустою, нѣсколько смягчаетъ свои сатанинскіе крики.

Ахъ, этотъ жалкій старикъ! Помнится, читаль я въ одномъ изъ сборниковъ Льва Толстого сказку о старомъ коршунѣ. Вздумалось ему переселиться изъ родной стороны за море — вотъ онъ и сталъ переносить по-очереди своихъ коршунятъ на новое мѣсто. Понесъ одного, долетѣлъ до середины морской пучины и началъ допрашивать птенца: „будешь ли меня кормить?“ — Естественно, птенецъ испугался и запищалъ: „буду“. Тогда старый коршунъ бросилъ его въ пучину водную и возвратился назадъ. Полетѣлъ онъ съ другимъ коршуненкомъ, и опять повторилась та же сцена. Опять вопросъ: „будешь ли меня кормить?“ — и отвѣтъ: „буду!“ Бросилъ старый коршунъ и этого птенца въ пучину и полетѣлъ за третьимъ. Но третій былъ настоящій коршунъ, безопадный и жестокій. На вопросъ: „будешь ли меня на старости лѣтъ кормить?“ — онъ отвѣчалъ прямо: „не буду!“ И старый коршунъ бережно донесъ его до новаго мѣста, воспиталъ и улетѣлъ прочь умирать.

Точно то же и тутъ. Выкормилъ-выноилъ старый Кузьма своихъ коршунуновъ и полѣзъ на печку умирать. Сколько ужъ лѣтъ онъ мретъ, и все окончанія этому умираиію нѣтъ. Кости да кожа, ноги мозгать, всего знобить, спину до ранъ пролежалъ, и когда-то когда влѣзетъ къ нему на печь молодуха и обрядитъ его.

— Долго ли, батюшка, намъ съ тобой маяться? — нетерпѣливо спрашиваетъ его большакъ-коршунъ.

— Видно уже, пока смерть... — чуть слышно вздыхаетъ въ отвѣтъ старикъ. — Тюрки бы мнѣ... ноѣсть хочется!

Въ такой обстановкѣ человекъ по-неволѣ дѣлается жестокъ. Куда скрыться отъ домашняго гвалта? на улицу — но тамъ тоже гвалтъ: сходъ собрался — судятъ, рядятъ, сбькутъ. Со всѣхъ сторонъ, купно съ мироѣдами, обступило сельское и волостное начальство; всякій спрашиваетъ, и передъ всякимъ отвѣтъ надо держать... А вотъ и кабакъ! Слышите, какъ Ванюха Безчастный на гармоникѣ заливается?

. . . . .

Какъ живутъ массы при такихъ условіяхъ?—Еще недавно на этотъ вопросъ я отвѣчалъ бы: они живутъ особливою жизнью, независимо отъ культурныхъ ухищреній. Но теперь, разобравшись ближе въ тинѣ мелочей, я не могу остаться при прежнемъ объясненіи. Культурный человѣкъ сдѣлался проницателенъ; онъ понялъ свою зависимость отъ жизни массъ, и потому приспособляетъ послѣднюю такъ, чтобы будущее было для него обезпечено. Отсюда такая безконечная масса проектовъ, трактующихъ объ упрощеніи и устраненіи. Семейная жизнь крестьянина, его отношеніе къ землѣ, къ промысламъ, къ нанятому, къ начальству—все выступило на арену и всему предполагается учинить отчетливую и безвыходную регламентацію. Конечно, все это покуда „толки“, но, какъ я сказалъ выше, въ извѣстной средѣ „толкамъ“ дается даже большее значеніе, нежели ясно высказанному слову. Культурный глазъ проникаетъ въ мельчайшія подробности крестьянской жизни, а культурныя намѣренія несомнѣнно дадутъ ей соотвѣтствующую окраску. Самая возможность самостоятельнаго развитія исчезнетъ надолго, а сумма мелочей не только не удалится, но увеличится. И будетъ катиться эта глыба впередъ и впередъ, покуда не застрянетъ среди дороги и не сдѣлаетъ ее непроходимую.

И много породитъ несчастливцевъ эта глыба, много—въ своемъ наростаніи—увлечетъ она жертвъ въ могилы.

Вотъ настоящія удручающія мелочи жизни. Сравните ихъ съ приключеніями Наполеоновъ, Орлеановъ, Баттенберговъ и пр. Сопоставьте съ европейскими концертами—и отвѣтите сами: какія изъ нихъ, по всей справедливости, должны сдѣлаться достояніемъ исторіи и какія будутъ отмечены ею. Что до меня, то я даже ни на минуту не сомнѣваюсь въ ея выборѣ.

Говорятъ, будто Баттенбергъ прослезился, когда ему доложили: „каре́та готова!“ Еще бы! Все лучше быть какимъ-ни-на-есть державцемъ, нежели играть на бильярдѣ въ берлинскихъ кофейняхъ. Притомъ же, на первыхъ порахъ, его беспокоитъ вопросъ: что скажутъ свои? папенька съ маменькой, тетеньки, дяденьки, братцы и сестрицы?—какъ-то встрѣтятъ его прочіе Баттенберги и Орлеаны? Наконецъ, вѣдь ему придется отвыкать говорить: „Болгарія—любезное отечество наше!“ Нѣтъ у него теперь отечества, нѣтъ и не будетъ!

Но всё эти тревоги скоро пройдутъ. Забудется Болгарія, забудется война съ Сербіей, и начнетъ Баттенбергъ переходить изъ кофейни „Золотого Оленя“ въ кофейню „Золотого Рога“, всюду, гдѣ въ окнѣ вывѣшено объявленіе: „продается пиво прямо изъ бочки“. Русскую ли партію онъ будетъ играть на бильярдѣ—съ засаживаніемъ шаровъ въ лузу, или нѣмецкую—съ одними карамболями?—Нужно полагать, что, несмотря на неудачный конецъ, онъ все-таки сохранить благодарную память и предпочтетъ русскую партію всякой другой. А впрочемъ... кто можетъ измѣрить глубину будущаго?—кто можетъ сказать заранѣе, осунется ли Баттенбергъ навсегда въ кофейнѣ „Золотого Оленя“, или... А вдругъ состоится новый концертъ, и привезутъ его опять въ Болгарію, и опять онъ обрѣтетъ „любезное отечество“!

Случайно или не-случайно, по съ окончаніемъ Баттенберговскихъ похожденій затихли и европейскіе концерты. Визиты, встрѣчи и совѣщанія прекратились, и всё разъѣхались по домамъ. Начинается зимняя работа; настаетъ время собирать матеріалы и готовиться къ концертамъ будущаго лѣта. Такъ оно и пойдетъ колесомъ, покуда есть на-лицо человекъ (имя рекъ), который держитъ всю Европу въ испугѣ и смутѣ. А исчезнетъ со сцены этотъ имя рекъ, на мѣстѣ его появится другой, третій.

„Шаны дерутся, а у холоповъ чубы болятъ“, говоритъ старая малороссійская пословица, и въ настоящемъ случаѣ она съ удивительною пунктуальностью примѣняется на практикѣ. Но только понимаетъ ли заманиловскій Авдѣй, что его злополучіе имѣетъ какую-то связь съ „молчаливымъ тостомъ“? что отъ этого зависитъ война и миръ, повышеніе или пониженіе курса, дороговизна или дешевизна, наличность баланса или отсутствіе его?

— А нутко, Авдѣй, отвѣчай, знаешь ли ты, чтѣ такое балансъ?

#### IV.

Вспомнимъ сравнительно недавнее прошлое, — и мы почувствуемъ себя среди цѣлой сѣти самыхъ вопіющихъ мелочей.

Я выросъ на лонѣ крѣпостного права, вскормленъ молокомъ крѣпостной кормилицы, воспитанъ крѣпостными мамками и, наконецъ,



обучень грамотѣ крѣпостнымъ грамотѣемъ. Всѣ ужасы этой вѣковой кабалы я видѣлъ въ ихъ наготѣ.

Самые разнообразныя виды рабской купли и продажи существовали тогда. Людей продавали и дарили, и цѣлыми деревнями, и поодиночкѣ; отдавали въ услуженіе друзьямъ и знакомымъ; законтрактовывали партіями на фабрики, заводы, въ судовую работу (бурлачество); торговали рекрутскими квитанціями и проч. Въ особенности жестоко было крѣпостное право относительно дворовыхъ людей: даже волосы крѣпостныхъ дѣвокъ эксплуатировали, продавая ихъ косы парикмахерамъ. Хотя законъ, изданный впрочемъ уже въ нынѣшнемъ столѣтіи, и воспрещалъ продажу людей въ-одиночку, но находили средства обходить его. Не дозволяли дворовымъ вступать въ браки, и продавали мужчинъ (особенно поваровъ, кучеровъ, выѣздныхъ лакеевъ и вообще людей, обученныхъ какому-нибудь мастерству) поодиночкѣ, съ придачею стариковъ, отца и матери—это называлось продажей цѣлымъ семействомъ; выдавали дѣвокъ замужъ въ чужія вотчины—это называлось: продать дѣвку на выводъ. Женскій персоналъ помѣщичій былъ по преимуществу выдумчивъ по этой части. Не въ рѣдкость было въ то время слышать такіе разговоры:

— Что же, сударыня, продадите, что-ли, дѣвку-то?—спрашивалъ сосѣдъ-помѣщикъ помѣщицу-кулака, черезъ-чуръ дорожившуюся живымъ товаромъ.

— Да дешево ужъ очень даете.

— Помилюйте!—шестьдесятъ рублей (на ассигнаціи)! — ихъ нынче по сорока рублей за штуку—сколько угодно!

— А вы за кого ее замужъ хотите отдать?

— Есть у меня, видите ли, вдовецъ. Не старъ еще, да дѣтей буча, тягла править не въ силахъ. Своихъ дѣвокъ на выданье у меня во всей вотчинѣ хоть шаромъ покати, —по-неволѣ въ люди идешь!

— Вотъ видите ли, за вдовца! За шестьдесятъ рублей я дѣвку несчастною должна сдѣлать!

— Да прибавь ей, сударь, пять рубликовъ!—вступается мужъ помѣщицы-кулака.

— Ну, видно, нечего съ вами дѣлать. Извольте шестьдесятъ пять рублей.

— Хорошо, я согласна. Хоть и дешевенько, да для сосѣда.

Торгъ заключался. За шестьдесятъ рублей дѣвку не соглашались

сдѣлать несчастной, а за шестьдесятъ-пять — согласились. Синенькую бумажку ея несчастье стоило. На другой день дѣвкѣ объявляли через старосту, что она — невѣста вдовца и должна навсегда покинуть родной домъ и родную деревню. Поднимался вой, плачь, но „задатокъ“ былъ уже взятъ — не отдавать же назадъ!

То же продѣлывалось съ рекрутчиной, которая представляла уже серьезную статью дохода. Торговать рекрутами законъ не дозволялъ, но продавать зачетныя рекрутскія квитанціи было разрѣшено. Главный контингентъ для этого рода эксплуатаціи доставляли тѣ же дворовые люди. Встарину помѣщики охотно переводили крестьянъ въ дворовые, особливо ежели крестьянское семейство приходило почему-либо въ упадокъ. Дворовые люди представляли несомнѣнную выгоду. Во-первыхъ, имъ не нужно было давать „дней“ для работы на себя, а можно было каждодневно томить на барской работѣ; во-вторыхъ, при ихъ посредствѣ можно было исправлять рекрутчину, не нарушая цѣлости и благосостоянія крестьянскихъ семей.

Я помню, какъ еще при первыхъ слухахъ о предстоящемъ наборѣ помѣщичьи гнѣзда наполнялись шумуваньемъ. Помѣщики и помѣщички, во время обѣда, чая и ужина, начинали говорить по-французски; лакеи настороживали уши, усиливаясь понять, на кого падеть жребій. Вообще весь воздухъ, начиная отъ конюшенъ и кончая барскими хоромами, наполнялся томительнымъ ожиданьемъ. За всеѣмъ тѣмъ нужно замѣтить, что въ крестьянской средѣ рекрутская очередь велась неупустительно, и всякая крестьянская семья обязана была отбыть ее своевременно; но это была только проформа, или, лучше сказать, средство для вымогательства денегъ. Зажиточныя семьи, въ большинствѣ случаевъ, откупались, и тутъ-то, вотъ, и шли въ ходъ зачетныя квитанціи. Бѣдная часть ихъ расходилась между своими, излишнія — продавались на сторону.

Передъ отвозомъ людей въ рекрутское присутствіе сохранялась глубокая тайна относительно назначенныхъ въ рекруты. Послѣднихъ даже приголубливали, выказывали имъ удовольствіе. („Ванька! да никакъ ты ужъ и пить пересталъ! Молодецъ, братъ!“) Но нѣкоторые чутьемъ угадывали ожидающую ихъ участь, и скрывались, несмотря на строгій надзоръ. Большинство не уходило дальше своего же лѣса и скиталось тамъ, несмотря на зимній холодъ, все время, покуда длилась процедура отвоза. Тѣмъ, которыхъ застигали врасплохъ



или излавливали, набивали на ноги колодки, надѣвали желѣзные поручни или приковывали къ „стулу“ (такъ называлось толстое бревно, сквозь которое продѣта была желѣзная цѣпь, оканчивавшаяся желѣзнымъ ошейникомъ). Я думаю, что въ нѣкоторыхъ старинныхъ помѣщичьихъ гнѣздахъ эти орудія пытки сохранились и по-днесь, во свидѣтельство прошлаго.

Самая барщина представляла рядъ распоряженій, которыя даже въ то не знавшее законовъ время считались незаконными. Законъ требовалъ, чтобы три дня въ недѣлю крестьянинъ работалъ на помѣщика, а остальные три дня предоставлялъ ему для собственныхъ работъ. Но у рѣдкихъ помѣщиковъ барщина отбывалась „братъ на брата“; у большинства—совсѣмъ не велось никакого учета, или же послѣдній велся смотря по состоянію погоды и по другимъ хозяйственнымъ соображеніямъ. При продолжительномъ ненастьи первые ведренныя дни отдавались исключительно барщинѣ, причемъ предполагалось, что крестьяне уже воспользовались „своими днями“ прежде, и т. д. Словомъ сказать, нельзя было не только разобраться въ этомъ хаосѣ, но и опредѣлить, какъ изворачивается крестьянинъ, какъ онъ устраивается на зиму и чѣмъ живетъ. Но онъ жилъ—это считалось достаточнымъ.

И было время, когда всѣ эти ужасающія картины никого не приводили въ удивленіе, никого не пугали. Это были „мелочи“, обыкновенный жизненный обиходъ—и ничего больше; а тѣ, которыхъ они возмущали, считались подрывателями основъ, потрясателями законнаго порядка вещей.

Да, видно, каждая эпоха имѣетъ свои мелочи, свой собственный мучительный аппаратъ, при посредствѣ котораго люди безъ особыхъ усилій доводятся до изступленія.

Но чтѣ всего замѣчательнѣе: даже тогда, когда само правительство обращало вниманіе на злоупотребленія помѣщичьей власти и подвергало ихъ изслѣдованію,—даже тогда помѣщики рѣшались хоть косвеннымъ образомъ протестовать въ пользу „мелочей“. При такъ-называемыхъ повальныхъ обыскахъ сосѣди-помѣщики заявляли, что поступки злоупотребителя не выходятъ изъ категоріи дѣйствій, безъ которыхъ немислимы ни порядокъ, ни доброе хозяйство; а депутатское собраніе, основываясь на этихъ отзывахъ, оставляло дѣло безъ послѣдствій. Такимъ образомъ, и тѣ рѣдкія попытки, которыя

предпринимались для смягченія крѣпостныхъ узъ, пропадали даромъ.

Это до такой степени вѣрно, что въ позднѣйшія времена мнѣ случилось слышать отъ нѣкоторыхъ помѣщиковъ, уже захудалыхъ и безпріютныхъ, такого рода наивныя ретроспективныя жалобы:

— Кабы мы въ то время были умнѣе, да не мирволили бы своихъ расходившимся собратамъ, такъ, можетъ быть, и теперь крѣпостное право существовало бы попрежнему!

Какъ же, ожидайтесь!

Наканунъ крестьянскаго освобожденія, когда въ наболѣвшія сердца началъ уже проникать лучъ надежды, случилось нѣчто въ высшей степени странное. Правительственныя намѣренія были уже заявлены; мѣстные комитеты уже начали свою тревожную работу; но старые порядки, даже въ самыхъ вопіющихъ своихъ чертахъ, еще не были упразднены. Благодаря этому упущенію, несмотря на неизбежность грядущей „катастрофы“, какъ тогда называли освобожденіе, крѣпостныя отношенія не только не смягчились, но еще болѣе обострились.

Помѣщики потеряли всякую почву подъ ногами и взамѣнъ того приобрѣли даръ прозорливости. Провидѣли будущихъ грубіяновъ и смутителей, припоминали прежнія провинности, слѣдили за выраженіемъ фізіономій, истолковывали тѣлодвиженія и улыбки, видѣли тревожные сны, вѣрили въ гаданья и т. д. Словомъ сказать, образовался цѣлый помѣщичій бредъ, имѣвшій цѣлью обезпечить спокойствіе въ будущемъ. И такъ какъ старый законъ не былъ упраздненъ, то обезпеченіе представлялось дѣломъ легкимъ и удобоисполнимымъ. А именно, въ распоряженіи помѣщика находились два очень простыхъ средства: рекрутчина и ссылка въ Сибирь „по волѣ помѣщика“ (такъ эта операція и называлась).

На этотъ разъ помѣщики дѣйствовали уже вполне безкорыстно. Прежде отдавали людей въ рекруты, потому что это представляло хорошую статью дохода (въ Сибирь ссылали рѣдко и въ крайнихъ случаяхъ, когда уже, за старостыя лѣтъ, провинившагося нельзя было сдать въ солдаты); теперь они потеряли уже всякій расчетъ. Даже тратили собственныя деньги, лишь бы успокоить взбурораженныя паникою сердца.

Это было уже въ 1859 году, и я служилъ тогда въ одной изъ ближайшихъ къ Москвѣ губерній. Въ то же время въ одномъ изъ уѣздныхъ городовъ процвѣталъ и имѣлъ фабрику купецъ Чумазый. Онъ очень ловко воспользовался паникою, овладѣвшею помѣщичьей средою, и предлагалъ желающимъ очень выгодную сдѣлку. Сдѣлка состояла въ томъ, что крестьянамъ и дворовымъ людямъ, тайно отъ нихъ, давалась „вольная“ и затѣмъ, тоже безъ ихъ вѣдома, отъ имени каждаго, въ качествѣ уже вольноотпущеннаго, заключался долгосрочный контрактъ съ хитроумнымъ фабрикантомъ. Все это за дешевую плату легко оборудовалъ мѣстный уѣздный судъ, несмотря на то, что въ числѣ закабалившихъ себя были и грамотные \*). И вольная, и контракты прямо отданы были въ руки фабриканту; закабаленные же полагали, что надъ ними продѣлываются остатки старыхъ порядковъ, и что помѣщикъ просто отдалъ ихъ въ работы, какъ это дѣлывалось и прежде. Затѣмъ, разумѣется, они надѣялись, что завтрашняя свобода сама собой сниметъ съ нихъ оковы сегодняшняго рабства и освободитъ отъ насильственныхъ обязательствъ.

Для помѣщиковъ эта операція была несомнѣнно выгодна. Во-первыхъ, Чумазый уплачивалъ хорошую цѣну за одни крестьянскія тѣла; во-вторыхъ, оставался задаромъ крестьянскій земельный надѣлъ, который въ тѣхъ мѣстахъ имѣетъ значительную цѣнность. Для Чумазаго выгода заключалась въ томъ, что онъ на долгое время обезпечивалъ себя дешевой рабочей силой. Что касается до закабаляемыхъ, то имъ оставалась въ удѣлъ надежда, что невзгода настигаетъ ихъ... въ *последній* разъ!

Однакожъ дѣло раскрылось раньше, нежели на это рассчитывали. Объявлена была девятая народная перепись, и всѣ такъ-называемые вольные немедленно обязаны были приобрести себѣ права состоянія и приписаться къ какому-нибудь обществу. Можно себѣ представить удивленіе закабаленныхъ, когда фабричное начальство погнало ихъ приписываться къ мѣщанскому обществу города Z.

— Мы не вольноотпущенные! — возопили они въ одинъ голосъ: — мы на дняхъ сами будемъ свободные... съ землей! Не хотимъ въ мѣщане!

\*) По закону, уѣздный судъ обязанъ былъ вручить вольную каждому отпускаемому лично, въ присутствіи суда, и опросить, *желаетъ ли онъ быть вольнымъ.*



И вельдъ за этимъ нагрянули цѣлой толпой въ губернской городъ съ жалобами на то, что наканунѣ освобожденія ихъ сдѣлали вольными помимо ихъ желанія.

Началось слѣдствіе, и тутъ-то раскрылись поползновенія Чумазого, въ то время только-что начинавшаго раскидывать сѣти на всю Россію.

Дѣло надѣлало шума; но даже въ самый разгаръ эмансипаціонныхъ надеждъ рѣдко кто усмотрѣлъ его вопіющую сущность. Большинство культурныхъ людей отнеслось къ нему какъ къ „мелочи“, болѣе или менѣе остроумной.

Въ клубѣ раздавался неудержимый хохотъ.

— Однако, догадливъ-таки Петръ Ивановичъ! — говорилъ одинъ про кого-нибудь изъ участвовавшихъ въ этой драмѣ: — сдалъ деревню Чумазому — и правъ... ха-ха-ха!

— Ну, да и Чумазому это дѣло не обойдется даромъ! — подхватываль другой: — тутъ всѣ канцелярскія крысы добудутъ ребл-тишкамъ на молочишко... ха-ха-ха!

Выискивались и такіе, которые даже въ самой попыткѣ защищать закабаленныхъ увидѣли вредный примѣръ посягательства на освященныя вѣками права на чужую собственность, чуть не потрясеніе основъ.

— Шутка сказать! — восклицали они: — наканунѣ самой „катастрофы“ и какое дѣло затѣяли! Не смѣте, изволите видѣть, помѣщикъ оградить себя отъ будущихъ возмутителей! не смѣте распорядиться своею собственностью! Слава Богу, права-то еще не отняли! чтò хочю, тò съ своимъ Ванькой и дѣлаю! Вотъ завтра, какъ нарушите права — будетъ другой разговоръ, а покуда аттанде-сь!

Чумазый тоже горько жаловался на постигшее его злоключеніе.

— Помилуйте! — говорилъ онъ: — мы испоконъ вѣка такіа дѣла дѣлали, завсегда у господъ людей скупали — иначе гдѣ же бы намъ работниковъ для фабрики добыть? А теперь, натко, чтò случилось. И во снѣ не гадалъ!

Само начальство, возбудившее преслѣдованіе, едва-ли не раскаивалось: все-таки хлопоты.

Чѣмъ кончилось это дѣло, я не знаю, такъ какъ вскорѣ я оставилъ названную губернію. Вѣроятно Чумазый порядочно поплатился, но затѣмъ, включивъ свои траты въ графу: „издержки производ-



ства“, успокоился. Возвратились ли закабаленные въ „первобытное состояніе“ и были ли вновь освобождены на основаніи Положенія 19-го февраля, или и по-днесь скитаются между небомъ и землей, сторванные отъ семей и питаются горькимъ хлѣбомъ поденщины?

Разсказывая изложенное выше, я не разъ задавался вопросомъ: какъ смотрѣли народныя массы на опутывавшія ихъ со всѣхъ сторонъ бѣдствія?—и долженъ сознаться, что пришелъ къ убѣжденію, что и въ ихъ глазахъ это были не болѣе, какъ „мелочи“, какъ искони установившійся обиходъ. Въ этомъ отношеніи онѣ были вполне солидарны со всѣми кабальными людьми, выросшими и состарѣвшимися подъ ярмомъ, какъ бы оно ни гнело ихъ. Онѣ *привыкли*.

Было время, когда люди выкрикивали на площадяхъ; „слово и дѣло“, зная, что ихъ ожидаетъ впереди застѣнокъ со всѣми ужасами пытки. Нерѣдко они возвращались изъ застѣнокъ въ „первобытное состояніе“, живые, но искалѣченные и обезображенные; однако это нимало не мѣшало тому, чтобы у нихъ во множествѣ отыскивались подражатели. И опять появлялось на сцену „слово и дѣло“, опять застѣнки и пытки... Словомъ сказать, цѣлое повѣтріе своеобразныхъ „мелочей“.

Правда, что массы безмолвны, и мы знаемъ очень мало о томъ внутреннемъ жизненномъ процессѣ, который совершается въ нихъ. Быть можетъ, что придавившее ихъ ярмо совсѣмъ не представлялось имъ мелочью; быть можетъ, онѣ выносили его далѣко не такъ безучастно и тупо, какъ это кажется по наружности... Прекрасно; но ежели это такъ, то какимъ же образомъ онѣ не вымирали сейчасъ же, немедленно, какъ только сознаніе коснулось ихъ? Одно сознаніе подобныя муки должно убить, а онѣ жили.

Поколѣнія нарастали за поколѣніями; старики населяли сельскіе погосты, молодые хоронили стариковъ и выступали на арену мучительства... Ужели все это было бы возможно, ежели бы на помощь не приходило иѣчто смягчающее, въ формѣ исконнаго обихода, привычки и представленія о неизбывныхъ „мелочахъ“?

Шли въ Сибирь, шли въ солдаты, шли въ работы на заводы и фабрики; лили слезы, но шли... Развѣ такая солидарность съ злочастіемъ мыслима, ежели послѣднее не представляется обыденною

мелочью жизни? И развѣ не правы были жестокія сердца, говоря: „Помилуйте! или вы не видите, что эти люди живы? А коли живы — стало быть, имъ ничего другого и не нужно“ ...

Я могъ бы привести здѣсь примѣры изумительнѣйшей выносливости, но воздерживаюсь отъ этого, зная, что частные случаи очень мало доказываютъ. Общее настроеніе общества и массъ — вотъ главное, что меня занимаетъ, и это главное свидѣтельствуешь вполнѣ убѣдительно, что мелочи управляютъ и будутъ управлять міромъ до тѣхъ поръ, пока человѣческое сознаніе не вступитъ въ свои права и не научится различать терзающія мелочи отъ Баттенберговскихъ.

Когда наступитъ пора для этого различенія? — кто можетъ это угадать! Но сдается, что придется еще пережить эпоху чумазовскаго торжества, чтобы понять всю глубину обступившаго массы злосчастія. А что чумазый будетъ держаться за свое торжество упорно — за это ручаются его откровенно-нахальныя замашки и самоувѣренная безсовѣстность.

Нѣтъ опаснѣе человѣка, которому чуждо человѣческое, который равнодушенъ къ судьбамъ родной страны, къ судьбамъ ближняго, ко всему, кромѣ судебъ пущеннаго имъ въ оборотъ алтына. Таковъ современный чумазый. Повторяю, то, что я уже сказалъ въ предыдущей главѣ: русскій чумазый перенялъ отъ своего западнаго собрата его алчность и жалкую страсть къ вышнимъ отличіямъ, но не усвоилъ себѣ ни его подготовки, ни трудолюбія. Либо панъ, либо пропаль, — говоритъ онъ себѣ, и ежели легкая нажива не удастся ему, то онъ не особенно ропщетъ, попадая вмѣсто хоромъ въ навозную кучу.

Русскій крестьянинъ, который такъ терпѣливо вынесъ на своихъ плечахъ иго крѣпостнаго права, мечталъ, что съ наступленіемъ момента освобожденія онъ поживетъ въ мирѣ и тишинѣ и во всякомъ благомъ успѣшеніи; но онъ ошибся въ своихъ скромныхъ надеждахъ: кабала словно приросла къ нему. Чумазый приподнесъ ее ему на новоселье въ новой формѣ, но съ содержаніемъ горшимъ противъ старой. Старая форма давала раны, новая — даетъ скорпіоны; старая — томила барщиной и произволомъ (былъ впрочемъ очень значительный разрядъ помѣщичьихъ имѣній, оброчныхъ, гдѣ крестьянинъ не зналъ барщины и жилъ, сравнительно, довольно льготно), новая — донимаетъ голодомъ. Чумазый вторгся въ самое сердце деревни и преслѣдуетъ мужика и на деревенской улицѣ, и за околицей. Обстав-

ленный кабакомъ, лавочкой и грошовой кассой ссудъ, онъ обмѣриваетъ, обвѣшиваетъ, обсчитываетъ, доводитъ питаніе мужика до минимума и, въ заключеніе, взываетъ къ властямъ объ укрощеніи людей, взволнованныхъ его же неправдами. Поле деревенскаго кулака не нуждается въ наемныхъ рабочихъ: мужикъ обработаетъ его не за деньги, а за процентъ или въ благодарность за „одолженіе“. Вонъ онъ, домъ кулака! вонъ онъ высится тесовой крышей надъ почернѣвшими хижинами односельцевъ; издалека видно, куда скрылся паукъ и откуда онъ денно и нощно стелеть свою паутину.

Хирѣетъ русская деревня, съ каждымъ годомъ все больше и больше бѣднѣетъ. О „добрыхъ щакъ и братъ“, когда-то воспѣтыхъ Державинымъ, нѣтъ и въ поминѣ. Толокно да тюря; даже гречневая каша въ рѣдкость. Населеніе растетъ, а границы земельного надѣла остаются тѣ же. Отхожіе промыслы, благодаря благосклонному участию чумазаго, не представляютъ почти никакого подспорья.

Періодъ помѣщичьяго закрѣпощенія канулъ въ вѣчность; наступилъ періодъ закрѣпощенія чумазовскаго...

## V.

И нельзя сказать, чтобы не было дѣлаемо усилій къ огражденію массъ отъ давленія жизненныхъ мелочей. Конечно, не мелочей нравственнаго порядка, для признанія которыхъ еще и теперь не наступило время, а для мелочей матеріальныхъ, для всѣхъ одинаково осязаемыхъ и наглядныхъ. И за то спасибо.

Вспомните до-реформенное административное устройство (я не говорю о судахъ, которые были безобразны), и вы найдете, что въ немъ была своего рода стройность. Не скажу, чтобы въ результатѣ этого строя лежала правда, но что вся совокупность этого сложнаго и искусственно-соображеннаго механизма была направлена къ огражденію отъ неправды — это несомнѣнно. Жандармъ утиралъ слезы; прокуроръ съ цѣлою арміей стряпчихъ собиралъ слезы въ урны. Затѣмъ, и платки, и урны отсылались по начальству; начиналась переписка, запросы; требовались объясненія; нерѣдко оказывались и видимыя послѣдствія этихъ объясненій въ формѣ увольненій, отдачи подъ судъ и т. д. Самая администрація имѣла организацію коллегіальную, каждый членъ которой тоже утиралъ слезы и собиралъ ихъ



въ урну. Не больше какъ лѣтъ тридцать тому назадъ, даже было строго воспрещено производить дѣла единолично и не въ коллегіи. Словомъ сказать, сказывалось безспорное усиліе оградить провинцію отъ скверны личнаго произвола.

Сколько тогда однихъ ревизоровъ было—страшно вспомнить. И для каждаго нужно было дѣлать обѣды, устраивать пикники, катанья, танцевальныя вечера. А уѣдетъ ревизоръ — смотришь, черезъ мѣсяць, записка въ три пальца толщиной, и въ ней все неправды изложены, а правды ни одной, словно ея и не бывало. Почесываютъ себѣ затылокъ губернскіе властелины и начинаютъ изворачиваться.

— Это въ благодарность за мои обѣды!—молвить одинъ.

— А я еще ему на дорогу цѣлый коробокъ съ провизіей послать!—отзовется другой.

Но, дѣлать нечего, отписываться все-таки приходилось. И отписывались...

Каждые два года пріѣзжалъ къ набору флигель-адъютантъ, и тоже утиралъ слезы и подавалъ отчетъ. И отчеты не объ одномъ наборѣ, но и обо всемъ видѣнномъ и слышанномъ, объ управленіи вообще. Существуетъ ли въ губерніи правда, или нѣтъ ея, и что нужно сдѣлать, чтобы она существовала не на бумагѣ только, но и на дѣлѣ. И опять запросы, опять отписки...

Я не говорю уже о сенаторскихъ ревизіяхъ, которыя назначались лишь въ крайнихъ случаяхъ и производили суцій погромъ. Ни одна метла не мела такъ чисто, какъ мель ревизующій сенаторъ. Камня на камень не оставалось; чины, начиная отъ губернатора до писца низшихъ инстанцій, увольнялись и отдавались подъ судъ массами, хотя обѣды, вечера и пикники шли своимъ чередомъ. Сенаторъ пріѣзжалъ съ цѣлою свитою, и каждый членъ этой свиты старался что-нибудь запримѣтить, кого-нибудь подсадить. Иногда даже безъ особенной надобности, а только чтобы выполнить задачу утиранія слезъ... и, можетъ быть, чтобы положить основаніе своей будущей карьерѣ.

И вдобавокъ въ тѣ времена не было рѣчи ни о благонамѣренности, ни объ образѣ мыслей, ни о подрываніи основъ и т. д. Ничего подобнаго и не подозрѣвали. Просто прислушивались, не плачетъ ли кто, и ежели до слуха доходило нѣчто похожее на плачь, то посидѣли на помощь. „Рекрутство сопровождается несправедли-



востями и подкупомъ; повинности выполняются неправильно и безпорядочно; слѣдственные дѣла представляютъ картину сплошного взяточничества — вотъ и все, о чемъ тогда говорилось и писалось. Но развѣ этого мало? Помируйте! да еслибы ко всему этому прибавить еще „неблагонадежность“, то вышло бы настоящее вавилонское столпотвореніе...

Однакожь все-таки оказывалось, что мало, даже въ смыслѣ простого утиранія слезъ; до такой степени мало, что нынче отъ этой хитросплетенной организаціи не осталось и воспоминаній. Ревизоры пріѣзжали и уѣзжали; на мѣсто ихъ пріѣзжали другіе ревизоры и тоже уѣзжали; губернскіе чиновные кадры убывали и вновь пополнялись, а слезы все капали да капали... Нынѣ и платки, и урны сданы въ архивъ, гдѣ они и хранятся на полкахъ, въ ожиданіи, что когда-нибудь найдется любитель, который заглянетъ въ нихъ и напишетъ два-три анекдота о томъ, какъ утираніе слезъ постепенно превращалось въ наплеваніе въ глаза. Словно бѣлка въ колесѣ, вертѣлся этотъ взаимный административный контроль, ничего не защищая и не обезпечивая, кромѣ формъ и обрядовъ. Въ результатѣ оказывалось нѣчто въ родѣ игры въ *casse-tête*, гдѣ каждая фигурка плотно вкладывается въ другую, покуда не образуется нѣчто цѣлое, долженствующее выполнить изъ кучи кусочковъ нарисованную въ книжкѣ фигуру, не имѣющую никакого значенія внѣ процесса игры. Кончилась игра, надоѣла; спрятали кусочки въ коробку — и будетъ.

Я слишкомъ достаточно говорилъ выше (III) о современной административной организаціи, чтобы возвращаться къ этому предмету, но думаю, что она основана на тѣхъ же началахъ, какъ и въ былыя времена, за исключеніемъ коллегій, платковъ и урнъ. Къ послѣднимъ административнымъ приемамъ нынѣ относятся уже иронически, предпочитая строгость и скорость, и оправдывая это предпочтеніе рожденіемъ неблагонадежныхъ элементовъ. Но такъ какъ законъ упоминаетъ о татяхъ, разбойникахъ, расхитителяхъ, мздоимцахъ и проч., а неблагонадежные элементы игнорируетъ, то можно себѣ представить, какимъ разнообразнымъ и неожиданнымъ толкованіямъ подвергается это новоявленное выраженіе.

Впрочемъ я отнюдь не хочу утверждать, чтобы нынѣшняя администрація была плоха, нерасторопна и неспособна къ утиранію слезъ;

я говорю только, что она, подобно своей предшественницѣ, лишена творческой силы.

Не утверждаю также, что такъ-называемые неблагонадежные элементы существуютъ только въ взбурораженныхъ воображеніяхъ. Всякій порядокъ вещей хранить въ своихъ нѣдрахъ и споспѣшествующіе элементы, и неспоспѣшествующіе. Первые прозываются — благонадежными; вторымъ присвоиваютъ наименованіе неблагонадежныхъ. Все это не только не противорѣчитъ истинѣ, но и вполне естественно. Поэтому примириться съ этимъ явленіемъ необходимо, и вся претензія современнаго человѣка должна заключаться единственно въ томъ, чтобы оцѣнка подлежащихъ элементовъ производилась спокойно и не черезъ-чуръ расторопно. Недостаточно сказать: вотъ (имя рекъ) неблагонадежный элементъ! — надо еще доказать, дѣйствительно ли онъ неблагонадеженъ и по отношенію къ чему.

Можетъ быть, самъ по себѣ взятый, онъ совсѣмъ не такъ неблагонадеженъ, какъ кажется впопыхахъ. Въ до-реформенное время, по крайней мѣрѣ, не въ рѣдкость бывало встрѣтить такого рода аттестацію: „человѣкъ образа мыслей благороднаго, но въ исполненіи служебныхъ обязанностей весьма усерденъ“. Вотъ видите ли, какъ тогда правильно и спокойно оцѣнивали человѣческую дѣятельность: и благороденъ, и казеннаго интереса не чуждъ... Какая же въ томъ бѣда, что человѣкъ благороденъ?

Очевидно, что надежда на внѣшнюю помощь, въ смыслѣ удаленія терзающихъ мелочей, навсегда останется тщетною. Все въ этомъ дѣлѣ зависить отъ подъема уровня общественнаго сознанія, отъ кореннаго преобразованія жизненныхъ формъ и, наконецъ, отъ тѣхъ внутреннихъ и матеріальныхъ преуспѣяній, которыя должны представлять собой постепенное раскрытіе находящихся подъ спудомъ силъ природы и усвоеніе человѣкомъ результатовъ этого раскрытія. Исчезновеніе призраковъ — вотъ существеннѣйшая задача, къ осуществленію которой естественно и неизбежно должно идти человѣчество, чтобы обезпечить себѣ спокойное развитіе въ будущемъ.

Старинные утописты были вполне правы, утверждая, что для новой жизни и основанія должны быть даны новыя, и что только при этомъ условіи человѣчество освободится отъ удручающихъ его золъ. Они наглядно рисовали картины новой жизни, вводили въ самыя нѣдра ея, показывали ее въ полномъ дѣйствіи. Вліяніе утопистовъ

на общество чувствуется и теперь, хотя и до сихъ поръ задача о новыхъ основаніяхъ заставляетъ метаться человѣчество въ уныніи и безнадежности. Жажда жизни пожираетъ сердца, но въ концѣ концовъ даетъ очень мало удовлетворенія и требуетъ слишкомъ много жертвъ.

Ошибка утопистовъ заключалась въ томъ, что они, такъ сказать, учитывали будущее, уснащая его мельчайшими подробностями. Стоя почти исключительно на почвѣ психологической, они думали, что человѣкъ самъ собой, независимо отъ вѣшной природы и ея тайнъ, при помощи одной доброй воли, можетъ создать свое конечное благополучіе. Между тѣмъ человѣчество искони связано съ природой неразрывной связью и, сверхъ того, обладаетъ прикладной наукой, которая съ каждымъ днемъ приноситъ новыя открытія. Фурье провидѣлъ ненужныхъ анти-львовъ и анти-акулъ и не провидѣлъ ни желѣзныхъ дорогъ, ни телеграфа, ни телефона, которые несравненно радикальнѣе вліяютъ на ходъ человѣческаго развитія, нежели антильвы. Его смущалъ вопросъ объ удаленіи нечистотъ изъ помѣщений фаланстеровъ, и для разрѣшенія его онъ прибѣгнулъ къ когортамъ самоотверженныхъ, тогда какъ въ недалекомъ будущемъ дѣло устроилось проще — при помощи ватѣрклозетовъ, дренажа, сточныхъ трубъ и, наконецъ, дѣлаго подземнаго города, образецъ котораго мы видимъ въ катакомбахъ Парижа. Въ заключеніе, онъ думалъ, что комбинированная имъ форма общежитія можетъ существовать во всякой средѣ, не только не рискуя быть подавленною, но и подготавливая своимъ примѣромъ къ воспріятію новой жизни самыхъ закоренѣлыхъ профановъ — и тоже ошибся въ расчетахъ. Затѣмъ большинство его послѣдователей было таково, что придерживалось именно буквы ученія и въ особенности настаивало на его подробностяхъ. Въ результатѣ оказалось явное противорѣчіе съ непрерывно нарастающими жизненными требованіями, а за противорѣчіемъ послѣдовало недовѣріе, смѣхъ, надругательства. Великія основныя идеи о привлекательности труда, о гармоніи страстей, объ общедоступности жизненныхъ благъ, и проч., были заслонены провидѣніями, регламентаціей и, въ концѣ концовъ, забыты или по крайней мѣрѣ разсыпались по мелочамъ.

Тѣмъ не менѣе идея новыхъ основаній для новой жизни, идея освобожденія жизни — исключительно при помощи этихъ новыхъ основаній — отъ мелочей, дѣлающихъ ее постылою, остается пока во всей своей силѣ и продолжаетъ волновать мыслящіе умы. Но къ ней



прибавилась и еще бесспорная истина, что жизнь не может и не должна оставаться неподвижною, какъ бы ни совершенны казались, въ данную минуту, придуманныя для нея формы; что она идетъ впередъ и развивается, вѣрная общему принципу, въ силу котораго всякій новый успѣхъ, какъ въ области прикладныхъ наукъ, такъ и въ области социологіи, долженъ принести за собою новое благо, а отнюдь не новый недугъ, какъ это слишкомъ часто оказывалось донинѣ.

Что исторія изобрѣтеній, открытій и вообще борьбы человѣка съ природой и донинѣ представляетъ собой сплошной мартирологъ — съ этимъ согласится каждый современный человѣкъ, если въ немъ есть хоть капля правдивости. Желѣзныя дороги уничтожаютъ на протяженіи своемъ цѣлую серію промысловъ, дававшихъ цвѣтеніе и жизнь. Села и деревни пустѣютъ; населеніе бѣжитъ; дома, дававшіе пріютъ массѣ путниковъ, уныло стоятъ съ заколоченными ставнями; лошади и другой скотъ сбываются за безцѣнокъ; наконецъ, появляется особая категорія дотолѣ неизвѣстныхъ преступныхъ дѣланій. Новая ткацкая машина, новый плугъ, сѣнокосилка, жнея — все это угоняетъ меньшинство и обездоливаетъ цѣлыя массы рабочихъ силъ. Конечно, пройдутъ десятки лѣтъ, и массы пріобыкнутъ, найдутъ новые источники существованія, такъ что, въ общемъ, измѣненіе произойдетъ даже къ лучшему. Но вѣдь эти десятки лѣтъ надо прожить.

И такимъ образомъ идетъ изо дня въ день съ той самой минуты, когда человѣкъ освободился отъ ига фатализма и открыто заявилъ о своемъ правѣ проникать въ завѣтнѣйшіе тайники природы. Всякій день непредвидимый недугъ настигаетъ сотни и тысячи людей, и всякій день „благополучный человѣкъ“ продолжаетъ твердить одну и ту же пословицу: „перемелется — мука будетъ“. Онъ твердитъ ее даже на крайнемъ Западѣ, среди ужасовъ отщепенія, все глубже и шире раздвигающаго свои предѣлы.

Ясно, что идетъ какая-то знаменательная внутренняя работа, что народились новые подземные ключи, которые кипятъ и хлопочутъ съ очевидной рѣшимостью пробиться наружу. Исконное теченіе жизни все больше и больше заглушается этимъ подземнымъ гудѣніемъ; трудная пора еще не наступила, но близость ея признается уже всѣми.

Въ особенности на Западѣ (во Франціи, въ Англіи) попытки от-



далить моментъ общественнаго разложенія ведутся очень дѣятельно. Предпринимаются обезпечивающія мѣры; устраиваются компромиссы и соглашенія; раздаются призывы къ самопожертвованію, къ уступкамъ, къ удовлетворенію наиболѣе вопіющихъ нуждъ; наконецъ, имѣются на-готовѣ войска. Словомъ сказать, въ усиліяхъ огордиться или устроить хотя временно примиреніе съ „дикимъ“ чело-вѣкомъ недостатка нѣтъ. Весь вопросъ—будутъ ли тѣ усилія имѣть успѣхъ?

На мой взглядъ, желанный успѣхъ не только сомнителенъ, но и прямо невозможенъ. Выражу здѣсь мою мысль вполнѣ откровенно. Чѣмъ больше дѣлается попытокъ въ смелѣ компромиссовъ, чѣмъ больше возлагается надеждъ на примиреніе, тѣмъ выше становится уровень требованій противной стороны. Это аксіома, быть можетъ, очень неутѣшительная, но все-таки аксіома. По-неволѣ приходится отказаться отъ попытокъ и оставить дѣло въ томъ видѣ, въ какомъ застала его минута.

Но, съ другой стороны, и оставить мудрено. Нутро заинтересовано, — поймите: нутро! Сердце бьется, весь организмъ болитъ — какъ тутъ не заговорить! А при этомъ приличіе требуетъ оставаться хоть наружно спокойнымъ. казаться доброжелательнымъ, дѣйствительно жаждущимъ примиренія безъ задней мысли: — завтра, дескать, посмотримъ! — Тщетно! завтрашній день настанетъ при тѣхъ же условіяхъ, какъ и сегодняшний; завтра выступятъ тѣ же требованія и та же безконечная канитель переговоровъ... Эта перспектива раздражаетъ еще сильнѣе.

Спрашивается однакожь: что дѣлать, чтобъ устранить грядущую смуту?

Повторяю: я выражаю здѣсь свое убѣжденіе, не желая ни прать противъ рожна, ни тѣмъ менѣе дразнить кого бы то ни было. И сущность этого убѣжденія заключается въ томъ, что чело-вѣчество безсрочно будетъ томиться подъ игомъ мелочей, ежели заблаговременно не получится полной свободы въ обсужденіи идеаловъ будущаго. Только одно это средство и можетъ дать ощутительные результаты.

Господствующее мнѣніе, руководимое политиками, не только у насъ, но и въ цѣлой Европѣ, не признаетъ однакожь этой истины. Политиканы охотнѣе допускаютъ расширеніе свободы въ обсужденіи задачъ политическихъ, нежели соціальныхъ. Послѣднія считаются не

только преждевременными и ни къ чему не ведущими, но и положительно опасными. Самая постановка ихъ будто бы равносильна послѣдствію на существующій порядокъ вещей, возбужденію дурныхъ страстей и несбыточныхъ надеждъ. Ежели и политическія новшества влекутъ за собой зло, не легко поправимое, то по крайней мѣрѣ они скользятъ по поверхности, не затрагивая коренныхъ основъ, на которыхъ искони зиждутся общество и государство. Напротивъ того, новшества социальныя проникаютъ въ самую глубь массъ, порождаютъ въ нихъ озлобленіе, будятъ инстинкты зависти и алчности и, наконецъ, вызываютъ на открытую борьбу. Однимъ словомъ, вредъ, принесенный старинными утопистами и ихъ позднѣйшими послѣдователями, сдѣлался, въ глазахъ политиковъ, настолько ясенъ, что поощрять утопію и даже оставаться къ ней равнодушнымъ не представляется никакой возможности.

Нельзя не признать, что въ этомъ сужденіи есть извѣстная доля правды, и именно въ томъ, что касается политическихъ новшествъ. Послѣднія дѣйствительно только скользятъ по поверхности, перемѣщая центръ власти изъ однѣхъ рукъ въ другія (отъ Баттенберга къ Меренбергу и т. д.) и отчасти расширяя (впрочемъ очень умеренно) кадры правящихъ классовъ. Въ массы народныя они проникаютъ въ видѣ отдаленнаго гула, не измѣняя ни одной черты ни въ ихъ бытѣ, ни въ ихъ благосостояніи. Поэтому массы относятся къ подобнымъ новшествамъ не только равнодушно, но и съ удивленіемъ, не понимая, почему у кормила понадобился въ данную минуту Гизо, а Тьеръ оказался ненужнымъ.

Напротивъ, то же господствующее мнѣніе оказывается совершенно неправымъ относительно новшествъ социологическихъ. И неправо оно, во-первыхъ, потому, что въ основаніи социологическихъ изысканій лежитъ предусмотрительность, которая всегда была главнымъ и существеннымъ основаніемъ развитія человѣческихъ обществъ, и, во-вторыхъ, потому, что ежели и справедливо, что утопіи производили въ массахъ извѣстный переполохъ, то причину этого нужно искать не въ открытомъ обсужденіи идеаловъ будущаго, а скорѣе въ стѣсненіяхъ и преслѣдованіяхъ, которыми постоянно сопровождалось это обсужденіе.

Встрѣчаются и понынѣ люди, на которыхъ простое напоминаніе о правѣ человѣка массъ на участіе въ благахъ жизни производить

дѣйствию пытки. Но это уже дѣло личнаго темперамента или стариннаго, вкоренившася предразсудка — и ничего больше. Еслибъ эти люди умѣли разсуждать, еслибъ они были въ состояніи проникать въ тайны человѣческой природы, то они поняли бы, что одну изъ неизбѣжныхъ принадлежностей этой природы составляетъ развитіе и повышеніе уровня нравственныхъ и матеріальныхъ потребностей. Немыслимо, чтобы человѣкъ смотрѣлъ и не видѣлъ, слушалъ и не слышалъ, чтобы онъ жилъ какъ растеніе, цвѣтя или увядая, смотря по уходу, который ему дается, независимо отъ его дѣятельнаго участія въ немъ.

Самая наглядная очевидность требуетъ, чтобы общественные вопросы всегда стояли на очереди и постоянно подвергались разработкѣ. Нѣтъ нужды, что разработка эта не обойдется безъ ошибокъ и заблужденій, — при открытомъ обсужденіи не только ошибки, но и самыя нелѣпости легко устраняются при помощи полемики. Во всякомъ случаѣ, такое обсужденіе представляетъ гораздо менѣе риска, нежели тайныя общества и подземная работа нарождающихся общественныхъ элементовъ, которые, при отсутствіи свѣта и воздуха, невольнымъ образомъ обостряются и приобрѣтаютъ угрожающій характеръ.

Затѣмъ естественно возникаетъ вопросъ: если ужъ нельзя не ощущать паники при одномъ словѣ „новшества“, то какія изъ нихъ заключаютъ въ себѣ наибольшую сумму угрозъ: политическія или социальныя?

На мой взглядъ — первыя. Прежде всего, они почти всегда достигаютъ общество внезапно: сверхъ того, сравнительно бѣдныя результатами, они непосредственно затрогиваютъ личные интересы и уязвляютъ личныя честолюбія. Повторяю: они перемѣщаютъ центры власти, въ ущербъ или къ выгодѣ немногихъ заинтересованныхъ личностей, но безъ существенной пользы для массъ. Напротивъ того, социальныя новшества ежели и не влекутъ за собой прямого освобожденія массъ отъ удручающихъ мелочей, то представляютъ собой непрерывную подготовку къ такому освобожденію.

Подготовка эта, безъ сомнѣнія, получить вполне спокойное развитіе, если при этомъ не будетъ встрѣчаться внѣшнихъ усложненій. А для этого нужно только терпѣніе и свобода отъ предразсудковъ — ничего больше.

Сами массы совсѣмъ не такъ нетерпѣливы и не представляютъ черезъ-чуръ несоразмѣрныхъ требованій, какъ объ этомъ привыкли вопіять встревоженные умы. Прислушайтесь къ этимъ требованіямъ, и вы безъ труда убѣдитесь, что даже тахішимъ ихъ, сравнительно, не очень великъ. И причина этой умѣренности очень проста: чело-вѣку массъ не откуда взять идеаловъ, роскоши пресыщенія или даже простого довольства, — онъ не знаетъ ихъ. Всѣ его желанія по части новшествъ ограничиваются лишь тѣмъ, что составляетъ дѣйстви-тельную и неотложную нужду. Парижскій рабочій не мечтаетъ ни о ракахъ à la bordelaise, ни о житѣ въ пространныхъ палаццо, среди роскошной обстановки; но онъ, конечно, не откажется ни отъ chou-groute, ни отъ свѣтлаго и хорошо вентилированнаго помѣщенія. Не-притязательность этой претензіи уже начинаетъ уясняться для са-михъ политикановъ, и предусмотрительнѣйшіе изъ нихъ не отказы-ваются отъ попытокъ въ смыслѣ ихъ удовлетворенія. Только попытки эти представляютъ собой каплю въ морѣ, и потому достигаютъ лишь очень немногихъ частныхъ результатовъ.

Само собой, впрочемъ, разумѣется, что я говорю здѣсь вообще, а отнюдь не примѣнительно къ Россіи. Послѣдняя такъ еще молода и имѣетъ такъ много задатковъ здороваго развитія, что относительно ея не можетъ быть и рѣчи о какихъ-либо новшествахъ.

Итакъ, терпѣніе, милостивые государи! Терпѣніе съ небольшою прибавкой доброжелательства и рѣшимости разрѣшать назрѣвающіе вопросы жизни не одной постановкой обнаженнаго *fin de non recevoir*, но и съ участіемъ свободнаго анализа.



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

---

## I.

### НА ЛОНѢ ПРИРОДЫ

и

### СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ УХИЩРЕНІЙ.

---

#### 1.—Хозяйственный мужичокъ.

Извѣстно ли читателю, какъ поступаетъ хозяйственный мужикъ, чтобъ обезпечить сытость для себя и своего семейства?—О! это цѣлая наука. Тутъ и хитрость змія, и изворотливость дипломата, и тщательное знакомство съ окружающею средою, ея обычаями и преданіями, и, наконецъ, глубокое знаніе человѣческаго сердца.

Прежде всего, онъ начинаетъ съ самого себя, съ своей семьи, съ работника или работницы, ежели у него есть, съ людей, созываемыхъ на помочи, и т. д. И главная забота его заключается въ томъ, чтобъ этотъ рабочій улей какъ можно умѣреннѣе потреблялъ ѣды и, въ то же время, былъ достаточно сытъ, чтобъ устоять въ непрерывной работѣ. Первый предметъ, представляющійся его вниманію — хлѣбъ. Онъ не подаетъ на столъ мягкаго хлѣба, а непременно черствый — почему? — потому что черствый хлѣбъ спорѣе; мягкаго хлѣба вдвое съѣшь. Затѣмъ, онъ круглый годъ льетъ въ кашу не коровье масло, а конопляное, хотя первое можно найти дома, а второе нужно купить, и оно обойдется почти не дешевле коровьяго — почему? — потому что налей мужику коровьяго масла — онъ вдвое каши съѣстъ. Свѣжую

убоину онъ употребляетъ только по самымъ большимъ праздникамъ, потому что она дорога, да въ деревнѣ ея, пожалуй, и не найдешь. Но главное потому, что тутъ ему ужъ не сладить съ расчетомъ: каково бы ни было качество убоины, мужикъ набрасывается на нее и ѣдается до пресыщенія. Одно средство—за рѣдкими исключеніями, совсѣмъ изгнать ее изъ насыщающаго обихода.

Не менѣе мудро поступаетъ онъ и съ гостями во время пированій, которыя приходится на большіе праздники, какъ Рождество, Пасха или престольные, и на такія семейныя торжества, какъ свадьба, крестины, именины хозяйки и хозяина. Онъ прямо подноситъ приходящему гостю большой стаканъ водки, чтобы онъ сразу захмелѣлъ.

— Какъ поднесу я ему стаканъ,—говоритъ онъ:—его сразу ошеломитъ; ни пить, ни ѣсть потомъ не захочется. А коли будетъ онъ съ самаго начала по рюмочкамъ пить, такъ онъ одинъ всю водку сожретъ, да и ѣды на него не напасешься.

Скотину онъ тоже закармливаетъ съ осени. Осенью она и сѣна съ сырцой поѣстъ, да и тѣло скорѣе нагуляетъ. Какъ нагуляетъ тѣло, она ужъ зимой не много корму запроситъ, а къ веснѣ, когда кормы у всѣхъ къ концу подойдутъ, подкинешь ей соломенной рѣзки—и на томъ Богъ проститъ. Все-таки она до новой травы выдержать, съ цѣлыми ногами въ поле выйдетъ.

Таковы характеристическія черты крестьянскаго хозяйственнаго быта, тѣ черты, которыми опредѣляется дальнѣйшее его жизнеустройство. Голова скромнаго хозяйственнаго мужичка не знаетъ отдыха; съ утра до вечера она занята всевозможными устроительными подробностями. Много лежитъ на немъ обязанностей: прежде всего нужно, конечно, опредѣлить крайній minimum, чтобы прокормить себя и семью; потомъ—подумать объ уплатѣ денежныхъ сборовъ и отыскать средства для выполненія этой обузы; наконецъ, ежели окажутся лишки, то помечтать о такъ-называемой „полной чашѣ“. Но расчеты его черезъ-чуръ часто нарушаются. Безпрестанно встрѣчаются экстренные расходы: то свадьба въ домѣ, то крестины—все это составляетъ предметъ мучительныхъ заботъ. Мужикъ все нужно; но главнѣе всего нужна предусмотрительность, умѣнье заблаговременно приготовить и запастись, способность изнуряться, не жалѣть личного труда, лишь бы какъ можно меньше истратить денегъ.

Деньги—это кровная язва крестьянскаго быта. Дома крестья-

нинъ очень мало въ нихъ нуждается — только на соль да вино, да на праздничную убоину. Отъ времени до времени требуется шить дѣвущкѣ-невѣстѣ ситцевый сарафанъ, купить платокъ, готовый шу-гайчикъ; по возвращеніи изъ поѣздки въ городъ, хочется побаловать ребятъ калачомъ или баранками. Въ кои-то вѣки онъ купитъ праздничный армякъ синяго сукна для себя и недорогой матеріи на сарафанъ для жены. Вотъ и вся его домашняя денежная трата. Остальное онъ долженъ добыть на уплату всевозможныхъ сборовъ.

Ради нихъ онъ обязывается урвать отъ своего куска нѣчто, считающееся „лишнимъ“, и свезти это лишнее на продажу въ городъ; ради нихъ онъ лишаетъ семью молока и отпаяваетъ теленка, котораго тоже везетъ въ городъ; ради нихъ онъ, въ дождь и стужу, идетъ за тридцать-сорокъ верстъ въ городъ пѣшкомъ съ возомъ „лишняго“ сѣна; ради нихъ его обсчитываетъ, обмѣриваетъ и ругаетъ скверными словами купецъ или кулакъ; ради нихъ въ самой деревнѣ его держитъ въ ежовыхъ рукавицахъ міроѣдъ. Самого его не только не тянетъ къ міроѣдству, но онъ и способностей къ нему не имѣетъ: онъ просто толковый и хозяйственный мужикъ.

Неудивительно, стало быть, что онъ весь погруженъ въ одну думу: спасти себя и присныхъ.

И онъ настолько привыкъ къ этой думѣ, настолько усвоилъ ее съ молодыхъ ногтей, что не можетъ представить себѣ жизнь въ иныхъ условіяхъ, чѣмъ тѣ, которыя какъ будто сами собой создались для него. Онъ идетъ за возомъ въ городъ, думаетъ и въ то же время ищетъ глазами. Подкова на дорогѣ валится — онъ ее за пазуху спрячетъ (найденная подкова предвѣщаетъ счастье); бумажку кто-нибудь обронилъ, окурокъ папироски — онъ и ихъ поднимаетъ; даже клочекъ навоза кинетъ въ телѣгу и привезетъ домой. Сегодня клочокъ, завтра клочокъ — смотришь, анъ и цѣлый возокъ наберется. Въ городѣ онъ отстаиваетъ себя до послѣдней крайности, но почти всегда безъ успѣха, потому что городская обстановка ошеломляетъ его; тамъ все бары живутъ да кушцы, которые тоже барами смотрятъ — чуть что, и городской къ нимъ на помощь подоспѣветъ, въ кутузку его, сиволанаго, потащатъ. Гдѣ ему, темному и безграмотному мужику, спастись отъ всѣхъ ловушекъ, которыя специально для него разставлены? Поэтому онъ продаетъ свой товаръ по произвольно-установленной цѣнѣ, на-скоро кормитъ лошадей и, сдѣлавши необходимыя



закупки, спѣшить за-свѣтло доѣхать домой. Здѣсь онъ разсчитываетъ себя, откладываетъ гроши къ грошамъ, разглаживаетъ и рассматриваетъ на свѣтъ скомканныя ассигнаціи и прячетъ выручку въ завѣтную кубышку. Въ большинствѣ случаевъ оказывается, что подучка далеко не оправдываетъ ожиданій.

Подобныя неудачи встрѣчаются очень часто и до боли его трогаютъ. Но онъ отъ него не зависятъ: все равно, застигнуть ли онъ его, или благополучно пройдутъ мимо, — все равно, ему и еще, и еще придется идти имъ на встрѣчу и подчиниться. Надо, стало быть, забыть о неудачахъ и стараться наверстать на чемъ-нибудь другомъ. И онъ, не успѣвши отдохнуть съ дороги, обходить дворъ, осматриваетъ, все ли вездѣ въ порядкѣ, заданъ ли скоту кормъ, жирѣетъ ли поросенокъ, котораго откармливаютъ на продажу, не стерлась ли ось въ телѣгѣ, на мѣстѣ ли чеки, не подгнили ли слезы на крышѣ двора, можно ли надѣяться, что вонъ этотъ столбъ, одинъ изъ тѣхъ, которые поддерживаютъ дворъ, нѣкоторое время еще простоятъ. Онъ беретъ въ руки топоръ и до самаго ужина стучитъ имъ и облаживаетъ замѣченные огрѣхи. Словомъ сказать, спасаетъ себя.

Въ свое время онъ припасается, стараясь прежде всего вырвать то, что достается задаромъ, а потомъ ужъ думаетъ о томъ, чтобы какъ можно дешевле приобрести то, чего нельзя достать иначе какъ за деньги. Лѣтомъ оврагъ, раздѣляющій деревню на двѣ половины, совсѣмъ засыхаетъ; но въ весеннее половодье онъ наполняется до краевъ водою, бурлитъ и шумитъ. Изъ сосѣдней рѣчки Пишковки заходитъ туда рыба: головли, ерши, язи, плотва, окуни, щуки. Заботливый хозяинъ пользуется этимъ даровымъ прибыткомъ и ставитъ вѣрши. Онъ больше всего радуется щука, которая хоть и костлява, но за то попадаетъ крупныхъ размѣровъ и притомъ годна къ солкѣ впрокъ. Онъ наполняетъ ею всѣ кадочки и бочонки, какіе только найдутся въ домѣ, и въ продолженіе всего лѣта лакомить себя, семью и домочадцевъ соленою рыбкой. Рыба тверда, почти несъѣдобна, но за то она спора, ее меньше съѣдятъ—и это все, что требуется доказать. Притомъ же на столъ ставится чашка не съ пустыми щами, а щи съ рыбой; а это означаетъ тароватость. Про такого мужика говорятъ: „онъ живетъ таровато, у него щи съ рыбой ѣдятъ“. И работники идутъ къ нему охотнѣе, и пѣмочь онъ скорѣе ебереть.



Весной же онъ запасается солониной. Прослышеть, что гдѣ-нибудь корова отъ безкормицы еле-жива, а владѣльца этой коровы сборами нажимаютъ, устроится съ тремя-четырьмя другими заботливыми хозяевами въ складчину и купятъ коровью мясную тушу за пять рублей. Въ ней больше костей, нежели мяса, да и мясо неуваристое, точно мочало, а все-таки мало-мало двѣнадцать пудовъ этого мяса найдется—пудъ-то обойдется какихъ-нибудь сорокъ копѣекъ. И вотъ у него на все лѣто солонины хватитъ. За неимѣніемъ погребовъ, солонина зарывается въ землю, но къ наступленію лѣтняго мясоѣда все-таки сильно припахиваетъ; но это дѣлаетъ ее еще спорѣе. Мужикъ и съ запашкомъ убоину съѣсть, но, разумѣется, меньше, нежели еслибъ она была совсѣмъ свѣжая. Стало быть, и тутъ выгода.

Главное, поддержать въ исправности силы, необходимыя для лѣтней страды. Не наѣдаться, а именно только въ мѣру себя поддерживать. А какъ и чѣмъ этого достигнуть—вопросъ второстепенный.

Лѣтомъ мужикъ весь въ работѣ. Лѣнливый и захудалый мужичонко—и тотъ не сходить съ полосы, а хозяйственный мужичокъ просто-на-просто мретъ на ней. Онъ почти не спитъ; ложится поздно, встаетъ съ зарей (по вечерней и утренней зарѣ косить траву спорѣе) и спѣшитъ на работу. Вѣчно тревожимый думою о насущномъ хлѣбѣ, онъ набралъ у сосѣдняго помѣщика пустошныхъ покосовъ исполу и даже изъ третьей копны, косить до глубокой осени и только съ большою натугою успѣваетъ справиться съ работой. И жена, и взрослая дѣти—всѣ мучатся хуже каторги; даже подростки—и тѣ раздѣляютъ общую страдную муку. За то въ концѣ августа онъ уже можетъ разсчитать, что своего хлѣба у него хватитъ до масляной. Но сѣна вдоволь: есть чѣмъ и скотину прокормить, и на сторону продать можно. Сѣно—главная его надежда. Земельный надѣлъ такъ ограниченъ, что зернового хлѣба сѣется малость; сѣна же онъ можетъ добыть задаромъ, то-есть только потративъ не жалѣючи свой личный трудъ на уборку. Мало его личнаго труда—онъ ходитъ по сосѣдямъ, собираетъ помочи. Обыкновенно на помочи выходятъ въ праздники, а это тоже доставляетъ своего рода спорость: прогульныхъ дней меньше. Всѣ знаютъ, что у него и рыбы, и мяса насолено, и коноплянаго масла непочатый боченокъ стоитъ, и чарка водки найдется—и идутъ къ нему. Идутъ весело, съ пѣснями, работаютъ споро;

сть въ первой косѣ. Хотя съ работы возвращаются не поздно, но на ширѣ работа идетъ вдвое спорѣе; все-таки угощенье наполовину дешевле обойдется, нежели ту же пустошь наемными рабочими убрать. Да и хозяину веселѣе, когда кругомъ все кипитъ и спорится. Это, можетъ быть, однѣ изъ рѣдкихъ минутъ, когда въ немъ сердце въ правду играетъ.

Однако къ концу страды даже онъ начинаетъ тошачь на работѣ. Лицо у него почернѣло подѣ слоемъ въѣвшейся пыли: домашніе еде бродятъ. Къ счастью, страда кончается: и съ озимымъ отсѣялись, и снопы съ поля свезены и сложены въ скирды, и послѣднее, себѣ же убрали. Наступаетъ осень, иногда румяная, иногда сопровождаемая ливнями. Осень тоже имѣетъ свою страду, но ужъ болѣе снисходительную. Работаютъ преимущественно подѣ крышей или вблизи дома, на гумнѣ, на огородѣ. Слышится стукъ цѣповъ; воздухъ насыщается запахомъ созрѣвшихъ овощей. Но хозяйственный мужичокъ не слѣдуетъ за атмосферическими измѣненіями, потому что и сѣнош- румяная осень можетъ повредить, и отъ слишкомъ частыхъ дождей хозяйство, пожалуй, пострадаетъ. Всего лучше, ежели погода пере- лежающаяся—тогда его сердце успокаивается до весны. Онъ ходитъ въ поле и любитъ на ростъ озими. Но и тутъ ужъ мелькаетъ въ его головѣ предательская мысль: осень включетъ, да какъ-то весна захочетъ! Что, ежели вдругъ весна придетъ бездождная, или сѣнош переполненная дождями?—Пойдутъ на низинахъ вымочки, свое зерно не соберешь; или на низинахъ хорошо взойдетъ, да на верху сгорить!—мучительно думается ему.

Но загадывать до весны далеко: какъ-нибудь изворачиваются прежде, изворотимся и впередъ. На то онъ и слыветъ въ околоткѣ умнымъ и хозяйственнымъ мужикомъ. Рожь не удастся—овесъ родится. Ежели совсѣмъ неурожайный годъ будетъ, онъ кого-нибудь изъ сыновей на фабрику пошлетъ, а самъ въ извозъ уѣдетъ, или дрова пилить найметъ. Нужда, конечно, будетъ, но вѣдь крестьянину нужду знать никогда не лишнее.

Осенью онъ запасается на зиму. Самъ съ взрослыми сыновьями цѣлый день въ лѣсу, готовить дрова и сучья, или молотить на гумнѣ, справляетъ на зиму сбрую. Ежели найдется досугъ, то для наполненія его у него есть и ремесло. Дуги на продажу готовить, бондарничаетъ, веревки на продажу вьетъ. Женскій персоналъ между тѣмъ

занимается зимнимъ припасомъ. Стучать сѣтки о корыто, наполненное ядрѣной капустой; солится небольшой запасъ огурцовъ, въ видѣ лакомства, на праздники; ходнемъ-ходить ткацкѣй станокъ, заготовляя краснѣ и шерстяную рѣдину, которыми зимой обшиваютъ семью. Минуты нѣтъ отдохнуть. Даже съ наступленіемъ сумерекъ, при свѣтѣ керосиновой лампочки (такое освѣщеніе дешевле лучины стоять)—и тутъ дѣло найдется. Большакъ новый лапоть плететь или старый починиваетъ; старуха шерстяные чулки и карпетки вяжетъ; молодухи прядутъ. Благословенный трудъ не покидаетъ этой семьи; онъ не кажется ей каторгой, а составляетъ естественный жизненный процессъ. Поздно вечеромъ (сидятъ долго, но за то встаютъ позднѣе—гдѣ еще до свѣту!) ужинаютъ и ложатся спать. Временно каторга прекращается.

Ночью изба представляетъ собою нѣчто въ родѣ нестерпимой клоаки. Домочадцевъ скучилось такъ много, что и полъ занять, и палаты, и лавки по стѣнамъ. Изба полна смрадомъ и стонами этого замученнаго хозяйственностью люда. У мужика есть, кромѣ избы, и „чистая“ горница, но она не топится, ради сбереженія дровъ, и вообще въ ней даже лѣтомъ рѣдко живутъ; она существуетъ на показъ и открывается только въ праздники. Хорошо еще, что жилая изба топится по „черному“; утромъ, чуть свѣтъ, затопить хозяйка печку, и дымъ поглотитъ скопившіеся въ избѣ мѣзмы. Этотъ дымъ выѣдаетъ глаза, щекочетъ ноздри. Въ безпрестанно отворяемую дверь врывается холодный воздухъ. Сонные домочадцы, разбуженные запахомъ гари и холодомъ, вскакиваютъ какъ встрепанные и бѣгутъ на крыльцо, гдѣ на веревкѣ качается рукомойникъ. За то, часа черезъ два, когда семейный обѣдъ готовъ, хозяйка заботливо закутываетъ печь, и въ избѣ дѣлается свѣтло и тепло. „Точно въ раю!“—говоритъ она довольнымъ голосомъ.

Только въ короткѣй рождественскѣй мясоѣдъ жизнь становится какъ будто льготнѣе. Молодежь отдыхаетъ; даже старики позволяютъ себѣ относительную свободу, хотя хозяйственный мужичокъ и тутъ не упускаетъ случая, дающаго возможность съ выгодой употребить свой трудъ. Днемъ, около сумерекъ, деревенская улица полна катающимися. Парни, усадивъ въ сани гурьбы дѣвушекъ, настегиваютъ лошадей и мчатся во всю прыть. Слышатся гиканья, крики, смѣхъ. Накатаются до-сыта, иззябнуть, но въ избу заходятъ не надолго.



Зажгутся въ избахъ огни—пора на посѣдки. Соберутся въ очередную избу, играютъ пѣсни и веселятся до пѣтуховъ. Тутъ парни высматриваютъ невѣсть; завязываются сватовства на красную горку; любовь вступаетъ въ свои права.

Въ это же время, по преимуществу, хозяйственный мужичокъ играетъ свадьбы.

Женитьба сына не требуетъ особенныхъ приготовленій. Сынъ беретъ бабу въ домъ, а дома все идетъ своимъ чередомъ; прибавляется только лишняя работница. Присмотрѣть невѣсту, уговориться насчетъ приданого, установить норму расходовъ для пированій и на плату за вѣнчаніе—вотъ все, что требуется. Но къ свадьбѣ дочери готовятся издалека и исподволь, чтобъ расходъ не былъ чувствителенъ. Дочь имѣетъ собственную коробью, въ которую сама собираетъ свое приданое. Ей каждый годъ отдѣляется небольшой клочокъ земли и дается горсточка льну на посѣвъ; этотъ ленъ она сама сѣетъ, обдѣлываетъ и затѣмъ готовитъ изъ него для себя краснѣ. Все заготовленное она прячетъ въ коробью, вмѣстѣ съ полученными въ разное время подарками: платками, бусами, нарядными сарафанами и т. д.

Съ наступленіемъ времени выхода въ замужество — приданое готово; остается только выбрать корову или тѣлку, смотря по достаткамъ. Еслибы мужичокъ не предусмотрѣлъ загодя вѣхъ этихъ мелочей, онъ навѣрное почувствовалъ бы значительный уронъ въ своемъ хозяйствѣ. А теперь словно ничего не случилось; отдали любимое дѣтище въ чужіе люди, отпировали свадьбу, какъ быть надлежитъ — только и всего.

Выше я сказалъ, что хозяйственный мужичокъ играетъ домашнія свадьбы (или, точнѣе, женить сына, потому что дочь выдается, когда женихъ найдется) преимущественно къ концу рождественскаго мясоѣда. Въ этомъ дѣлѣ имъ тоже руководитъ мудрость змія и твердая рѣшимость не потерпѣть ущерба въ жизнестроительномъ обиходѣ. Своевременно приведенная въ домъ сноха родить, при такомъ расчетѣ, не раньше осени; слѣдовательно всю лѣтнюю страду она отбудетъ свободно. И не только будущую страду, но и предбудущую, потому что ребенокъ, родившійся съ осени, успеетъ маломальски окрѣпнуть и не будетъ слишкомъ часто отрывать мать отъ работы. Женить на красную горку тоже удобно, съ точки зрѣнія ближайшей



страды, но за то предбудущая уже не даетъ достаточнаго обезпеченія: ребенокъ будетъ малъ и слабъ.

Какъ видитъ читатель, никакихъ думъ у хозяйственнаго мужика нѣтъ, кромѣ думы о жизнестроительствѣ. Ради нея онъ отдаетъ себя и семью въ жертву каторгѣ, ради нея терпѣливо выноситъ всякія неожиданности. Она затемняетъ въ немъ даже любовь къ семьѣ. Онъ всецѣло отдаетъ ей самого себя, но—и только. Той любви, которая заставляетъ видѣть въ женѣ, сынѣ, дочери нѣчто ненаглядное, неприкосновенное для обидъ, не существуетъ для него. И всю семью онъ успѣлъ на свой ладъ дисциплинировать; и жена, и дѣти видятъ въ немъ главу семьи, котораго слѣдуетъ безпрекословно слушаться, но горячее чувство любви замѣнилось для нихъ простою формальностью—и не согрѣваетъ ихъ сердце.

Наконецъ идеаль „полной чаши“ достигнутъ. Изба прочна и хорошо ухичена; запасу вдоволь, скотины въ избыткѣ, дѣти — въ порядкѣ. Въ домѣ царствуютъ миръ и согласіе; даже въ кубышкѣ деньга, на черный день, водится. Въ такомъ положеніи до міроѣдства—одинъ только шагъ. Но хозяйственный мужикъ отъ природы чуждъ кровопивства; его не соблазняетъ ни лавочка, ни кабакъ. Непрерывнымъ трудомъ и думою о будущемъ онъ достигъ извѣстной степени зажиточности—и будетъ съ него. По прежнему—онъ отказывается отъ чайничества, по прежнему—ѣсть хлѣбъ черствый, а не мягкій, по прежнему — осторожно обращается съ свѣжей убоиной. Еслибъ онъ поступилъ иначе, ему было бы не по себѣ, онъ пересталъ бы быть самимъ собой.

Но съ „полною чашей“ приходитъ и старость. Мало-помалу силы слабѣютъ; онъ не можетъ уже идти сорокъ верстъ за возомъ въ городъ и не выносить тяжелой работы. Старческое недомоганіе обступаетъ со всѣхъ сторонъ; онъ долго перемогаеть себя, но наконецъ влѣзаетъ на печь и замолкаетъ.

На арену хозяйственности выступаетъ большакъ-сынъ. Если онъ удался, вся семья слѣдуетъ его указаніямъ и по крайней мѣрѣ при жизни старика не выказываетъ розни. Но по временамъ стремленіе къ особничеству все-таки прорывается. Младшіе сыновья припрятаваютъ деньги,—не все на общее дѣло отдаютъ, чтд выработаютъ на сторонѣ. Между снохами появляются „занозы“, которыя разстраи-

— Умру, все растащатъ! — думается старику, и болить, ахъ, болить его хозяйственное сердце!

Наконецъ онъ умираетъ. Умираетъ тихо, честно, почти свято. За гробомъ слѣдуетъ жена съ толпою сыновей, дочерей, снохъ и звучать. Послѣ погребенья совершаютъ поминки, въ которыхъ участвуетъ вся деревня. Всѣ поминаютъ добромъ покойника. „Честный былъ, трудовой мужикъ — настоящій хрестьянинъ!“

Да, это былъ дѣйствительно честный и разумный мужикъ. Онъ достигъ своей цѣли: довель свой домъ до полной чаши. Но спрашивается: съ какой стороны подойти къ этому разумному мужику? какимъ образомъ увѣрить его, что не о хлѣбѣ единомъ живъ бываетъ человѣкъ?

## 2.—Сельскій священникъ.

Въ основѣ существованія сельскаго священника лежитъ та же мысль, какъ и у хозяйственнаго мужика: обезпечить себя и семью отъ вторженія нужды. Та же мучительная дума о завтрашнемъ днѣ, то же неотступное желаніе заблаговременно опредѣлить мельчайшія подробности жизнестроительства, съ цѣлью избѣгать неожиданностей. Впрочемъ оговариваюсь: я говорю исключительно о священникѣ бѣднаго прихода и, притомъ, держащагося старозавѣтныхъ преданій — словомъ сказать, о священникѣ, не отказавшемся отъ личнаго сельско-хозяйственнаго труда. О священникахъ новой формаціи я знаю очень мало, хотя слышалъ, что большинство ихъ уже относится, напримѣръ, къ полеводству довольно холодно (отдаютъ свой земельный участокъ въ кортому). Какой типъ священника лучше и любезнѣе для народа, это покажетъ время; но личныя мои симпатіи несомнѣнно тянутъ къ прежнему типу, и я очень радъ, что онъ исчезаетъ настолько медленно, что и теперь еще составляетъ большинство. Но даже и тамъ, гдѣ уже появился новый „батюшка“, рядомъ съ нимъ живутъ дьячокъ или пономарь, которымъ ужъ никакъ нельзя существовать иначе, какъ существовали ихъ отцы и дѣды.

Поэтому все, что я скажу дальше о сельскомъ священникѣ, вполне примѣнимо и къ причетническому быту, но, разумѣется, въ удвоенной

степени, потому что и нужда здѣсь двойная, и размѣры обезпечивающихъ средствъ вдвое и втрое меньше.

Нужда сельскаго священника значительно превышаетъ нужды хозяйственнаго мужика. Священникъ живетъ шире не потому, чтобъ это была его прихоть, а по необходимости: поповская обстановка изстари такъ сложилась. У него домъ больше — такой достался ему при поступленіи на мѣсто; въ этомъ домѣ, не считая стряпущей, по крайней мѣрѣ двѣ горницы, которыя отапливаются зимой „по чистому“, и это требуетъ лишнихъ дровъ; онъ круглый годъ нанимаетъ работницу, а на лѣто и работника, потому что земли у него больше, а стало быть больше и скота — одному съ попадѣй за всемъ не доглядѣть; одежда его и жены дороже стоитъ, хотя бы ни онъ, ни она не имѣли никакихъ поползновеній къ франтовству; для него самоваръ почти обязателенъ, да и закуска въ запасъ имѣется, потому что его во всякое время можетъ посѣтить нечаянный гость: благочинный, ревизоръ изъ уѣзднаго духовнаго правленія, чиновникъ, пріѣхавшій на слѣдствіе или по другимъ казеннымъ дѣламъ, становой приставъ, волостной старшина, наконецъ просто проѣзжій человекъ, за мятежью или вѣногодой не рѣшающійся продолжать путь. Куда толкнуться? — на постояломъ дворѣ пьянство, холодъ, вонь — айда къ попу! И священникъ, волей-неволей, заказываетъ работницѣ самоваръ и подаетъ угощенье. Но чтò всего больше угнетаетъ священника — это дѣти. Ихъ надо воспитать, а воспитать — значитъ подносить подарки, прилично одѣвать, содержать на наемной квартирѣ и покупныхъ хлѣбахъ, сначала въ уѣздномъ городѣ, а потомъ и въ губернскомъ. Язва, которую вносятъ съ собой деньги въ обиходъ хозяйственнаго мужика, въ священническомъ обиходѣ оказывается двойною и тройною. Вездѣ дыры, вездѣ заткнуть надо. И домъ достался ему — только слово, что домъ! стѣны ветхія, накаты подъ поломъ сгнили, половицы колеблются. Всюду дуетъ, вездѣ надо заплату поставить — надолго ли! И дворъ, того гляди, повалится — хоть новый строй. У дочери-невѣсты платья подошли, а по близости, у сосѣда священника, скоро свадьбу играть будутъ: ежели не ѣхать — люди осудятъ, а ежели ѣхать — надо и самому приформиться, и семью обшить. Въ старомъ-то сарафанѣ и пригожую дѣвку никто за себя не возьметъ. Сидитъ багюшка, поздно вечеромъ, за приходскими книгами и думаетъ крѣпкую думу: „никакъ не извернусь!“ Придется ему вытянуться въ струну, урѣ-



зять себя, отказаться отъ куска, лишь бы уговорить женскій персоналъ, который уже загодя предвѣушаетъ удовольствіе предстоящаго свадебнаго пируванія.

Приходъ малъ и бѣденъ. Съ праздничнымъ причтъ ходитъ разъ пять въ годъ, причемъ мужики отдѣлываются трешницами или пятишницами; даже мѣстный міроѣдъ больше двугривеннаго не даетъ. Сколько съ сорока-пятидесяти дворовъ такихъ грошей наберешь? Церковь пустуетъ; еле хватаетъ церковныхъ доходовъ на покупку муки для просфоръ и краснаго вина. Молебны рѣдкіе, за потребу — плата ничтожная, свадебъ мало. Соберется въ годъ рублей сотни полторы — и тѣ надо съ причетниками подѣлить; очистится ли, нѣтъ ли, послѣ дѣлеза, на его пай сотня рублей? Жалованье тоже несообразное — и не увидишь, какъ оно между пальцевъ уйдетъ. Единственная прочная надежда — на землю и на личный трудъ. Да и то еще какъ Богъ совершитъ.

Извѣстно, что къ церквамъ обязательно прирѣзывается до тридцати-трехъ десятинъ земли. Въ иныхъ приходахъ бывають и жертвованныя земли, но это встрѣчается рѣдко. Двѣ трети этой земли (ежели нѣтъ дьякона) составляютъ долю священника; остальная треть отдается двумъ причетникамъ. Вотъ на этихъ-то двадцати-двухъ десятинахъ и сосредоточиваетъ священникъ свои упованія. Изъ нихъ до шести десятинъ на его долю подѣломъ приходится, десятины двѣ подѣломъ, около десятины уйдетъ подѣломъ съ огородомъ, подѣломъ церковь, подѣломъ площадь. Десятинъ, приблизительно, двѣнадцать священникъ распахиваетъ да съ четверть десятины удѣляетъ подѣломъ женѣ и дочерямъ.

Хорошо еще, что церковная земля лежитъ въ сторонкѣ, а то не уберечься бы попу отъ погравъ. Но и теперь въ церковномъ лѣсу постоянно плѣшки оказываются. Напрасно пономарь Филагичъ встаетъ ночью и крадется въ лѣсъ, чтобы изловить порубщиковъ, напрасно разглядываетъ онъ слѣды телѣги или саней, и нерѣдко даже доходитъ до самаго двора, куда привезенъ похищенный лѣсъ, — порубщикъ всегда съумѣетъ отпереться, да и односельцы покроютъ его.

Въ полеводствѣ священникъ (назову его отцомъ Николаемъ) держится старой, трехпольной системы. Новшества — не въ характерѣ духовенства, да и не съ чѣмъ къ нимъ приступить. Нужны усовер-



шенствованныя орудія, а у него въ распоряженіи только соха да борона. Но главная бѣда — удобренія мало. Скота — двѣ коровы, штукъ пять-шесть овецъ да лошадь — тутъ, вмѣстѣ съ небольшимъ огородцемъ, и одной десятины поля какъ слѣдуетъ не удобрить, а ему приходится удобрять четыре. Поэтому земля удобряется кой-какъ, и даетъ соотвѣтственный урожай. Рѣдко послѣдній достигаетъ размѣра самъ-четверть для ржи и самъ-третьей для овса. Тутъ и на сѣмена отложить надо, и самому продовольствоваться, и на сторону хоть немного продать.

Хозяйственный священникъ самъ пашетъ и боронитъ, чередуясь съ работникомъ, ежели такой у него есть. Въ воспоминаніяхъ моего дѣтства неизгладимо запечатлѣлась фигура нашего стараго батюшки, въ бѣлой рубашкѣ на-выпускъ, съ волосами, заплетенными въ косичку. Онъ бодро напираетъ всей грудью на соху и понукаетъ лошадь, и сряду около двухъ недѣль безъ отдыха проводить въ этомъ тяжкомъ трудѣ, смѣняя соху бороной. А заборонить — смотришь, черезъ двѣ недѣли опять или подъ овесъ запахивать нужно, или подъ озимь двойть.

Помочи при пашнѣ не въ обычаѣ. Міряне, еслибы и собрались на помочь, то не вспахали бы, а только взболтали бы землю, каждый на свой образецъ. При крѣпостномъ правѣ, обратится, бывало, священникъ къ помѣщику: „позвольте дня на два работничка“ — тотъ и даетъ. А нынче, даже если и есть въ селѣ господская экономія, то въ ней хоть шаромъ покати. Впрочемъ ежели церковный староста дружить съ священникомъ, то иногда уговоритъ двухъ-трехъ особенно набожныхъ прихожанъ — самъ-четверть урвутъ часа по три собственной пашни и вспашутъ батюшкѣ десятинку. Такой помочи священникъ особенно радъ: ни „подносить“, ни угощать помощниковъ не нужно, на ласковомъ словѣ довольны.

Сѣнокосъ обыкновенно убирается помочью; но между этою помочью и тою, которую устраиваетъ хозяйственный мужичокъ, существуетъ громадная разница. Мужичокъ приглашаетъ такихъ же хозяйственныхъ мужиковъ сосѣдей, какъ онъ самъ; работа у нихъ кипитъ, потому что они взаимно другъ съ другомъ чередуются. Нынѣшнее воскресенье у него помочь; въ слѣдующій праздничный день онъ самъ идетъ на помочь къ сосѣду. Священникъ обращается за помочью ко всему міру; всѣ общаются, а на-завтра добрая половина не явится.

— Припасу на сорокъ чловѣкъ наготовлено, — горюетъ батюшка, — а пришло двадцать чловѣкъ! хоть въ навозъ выливай щи!

Народъ собрался разнокалиберный, работа идетъ вяло. Попъ самъ въ первой косѣ идетъ, но прихожане не торопятся, смотрять на солнышко, и часа черезъ полтора уже намекають, что обѣдать пора. Ужъ обнесли однажды по стакану водки и по ломтю хлѣба съ солью — приходится по другому обнести, лишь бы отдалить часъ обѣда. Но работа даже и послѣ этого идетъ все вялѣе и вялѣе; нѣкоторые и косы побросали.

— Не каторжные! — раздается въ толпѣ.

Дѣлать нечего, надо собирать обѣдъ. Священникъ и вся семья еуетятся, потчуютъ. Въ кашу льется то же постное масло, во щи наръзывается та же солонина съ запашкомъ; но то, чтд сходить съ рукъ своему брату, крестьянину, ставится священнику въ укорь. „Работали до седьмого пота, а онъ гнилятиной кормить!“

Наконецъ обѣдъ конченъ. Священникъ съ вымученной улыбкой говоритъ:

— А ну-те, господа міряне, на дорожку еще часикъ бы покосили!

Но половина мірянъ уже разошлась и молча, безъ пѣсенъ, возвращается по домамъ.

Хорошо, что къ сѣнокосу подоспѣли на каникулы сыновья. Старшій уже кончаетъ семинарію и басомъ читаетъ за обѣдней апостола; младшіе тоже, по крестьянскому выраженію, гогочуть. Съ ихъ помощью батюшка успѣваетъ покончить съ остальнымъ сѣнокосомъ.

Понадья и съ своей стороны собираетъ помочь: на сушку сѣна, на жнитво. Тутъ та же процедура, та же вялость и неспорость въ работѣ.

— Смотрѣть на этихъ бабъ тошно! — мучительно думаетъ понадья, но вслухъ говоритъ: — А вы, бабыньки, для отца-то духовнаго постарайтесь; не шибко соломой трясите: неравно половина зерна на полосѣ останется.

Къ половинѣ сентября начинаетъ сводить священникъ полевые счета и только вздрагиваетъ отъ боли. Оказывается, что ежели отложить на сѣмена, то останется ржи четвертей десять-двѣнадцать, да овса четвертей двадцать. Тутъ — и на собственное продовольствіе, и на кормъ скоту, и на продажу.

Нѣкоторые священники пчелами занимаются, колодь по двадцати, тридцати держать. Это занятіе выгодное. Пчела работает даромъ, но надо умѣть съ ней отваживаться. Ежели есть въ домѣ старикъ-отець или тесть (оставшійся за штатомъ), то обыкновенно онъ занимается пчелами и во время роенья не отходитъ отъ ульевъ. Ежели нѣтъ такого старика, то и эта забота падаетъ на долю священника, мѣшая его полевымъ работамъ, потому что пчела капризна: какъ разъ не усмотришь — и новый рой на глазахъ улетѣлъ. Однако все-таки тутъ довольно чувствительное подспорье. Около перваго Спаса пріѣдетъ прасоль, который скунаетъ медъ и воскъ — пожалуй, рублей двадцать-тридцать и наберется.

Есть у священника и еще подспорье — это сборы съ прихожанъ натуральными произведеніями. О Пасхѣ каждымъ прихожаниномъ удѣляется ему на заутрени, при христосываньи, нѣсколько яицъ; при освященіи пасхъ (вмѣсто которыхъ употребляются ватрушки) тоже вырѣзывается кусокъ. Священникъ стоитъ съ крестомъ въ рукахъ, а сбоку, на столикѣ, лукошко, наполняемое яйцами. И у причетниковъ по лукошку, и у дѣтей священника, и у причетниковъ — каждаго одѣляютъ; кто одно, кто два яйца положить. То же самое повторяется и на славеніи, которое производится цѣлой гурьбой. А на другой день матушка по приходу съ лукошкомъ ходитъ — опять яйца. Ежели славить идутъ въ дальнюю деревню, то запрягаютъ лошадь и нагружаютъ телѣгу лукошками. Яицъ набирается много, дѣвать некуда; кусковъ — тоже. Ъдятъ цѣлую недѣлю, всего пріѣсть не могутъ. Поэтому солятъ яйца впрокъ, а куски ватрушекъ сушатъ. Хоть и не-вѣсть какая пища, а все же годится для наполненія желудка.

Другое подспорье — поминальные пироги и блины. И отъ нихъ удѣляется часть священнику и церковному причту. Недаромъ сложилась пословица: поповское брюхо, что бѣрдо, все мнетъ. Горькая это пословица, обидная, а дѣлать нечего: изъ пѣсни слѣва не выкинешь. Третье и самое значительное подспорье — новь. Около Воздвиженья, священникъ ѣздитъ по приходу въ телѣгѣ и собираетъ новую рожь и овесъ. Кто насыплетъ въ мѣшокъ того и другого по гарнцу, а кто и на два расщедрится. Слѣдомъ за батюшкой является и матушка — ей тоже по горсточкѣ льняного сѣмени кинуть.

Какъ и хозяйственный мужичокъ, священникъ на круглый годъ



запасается съ осени. Въ это время весь его домашній обиходъ опредѣляется вполнѣ точно. Чтò успѣлъ наготовить и собрать къ Покрову—больше этого не будетъ. Въ это же время и покупной запасъ можно дешевле купить: и въ городѣ, и по деревнямъ—всего въ изобиліи. Упустишь минуту, когда, напримѣръ, крупа или пшеничная мука на пятакъ за пудъ дешевле, — кайся потомъ весь годъ.

Питается священникъ въ своей семьѣ совершенно такъ же, какъ и хозяйственный мужичокъ. Точно такъ же осторожно обходится съ убойной; ѣсть кашу не всякій день и лить въ нее не коровье масло, а постное; хлѣбъ подаетъ на столъ черствый и солить похлебку не во время варки ея (соляныхъ частицъ много улетучивается), а тогда, когда она уже стоитъ на столѣ. „Недосоль на столѣ, пересоль на спинѣ“, — шутить онъ, ради оправданія своихъ черезъ-чуръ уже экономическихъ соображеній. За то „на показъ“ онъ и самоваръ шѣветъ, и закуску держитъ, — чтобы гость понималъ, что онъ, какъ и прочіе, по-людски живетъ.

Однако хозяйственный мужичокъ позволяетъ себѣ думать о „полной чашѣ“, и нерѣдко даже достигаетъ ея, а священнику никогда на мысль представленіе о „полной чашѣ“ не приходитъ. Единственное, чего онъ добивается, это свести у года концы съ концами. И вполнѣ доволенъ, ежели это ему удастся.

— Мужичокъ въ стократъ лучше нашего живетъ, — говоритъ онъ попадѣ: — у него, по крайности, руки не связаны, да и семья въ сборѣ. Какъ хочеть, такъ и распорядится, и собой, и семьей.

— Вонъ на Петра Матвѣева посмотрѣть любо! — вторитъ ему попадѣ: — старшаго сына въ запрошломъ году женилъ, другого — по осени женить собирается. Двѣ новыхъ работницы въ домъ придутъ. Самъ и въ городъ возокъ сѣна свезеть, самъ и купить, и продать — на этомъ одномъ сколько выгадаетъ! А мы, словно прикованные, сидимъ у окошка да ждемъ барышника: какую онъ цѣну назначить — на томъ и спасибо.

— А старость придетъ — въ заштатъ отчислять, землю отберутъ... Ахъ, старость! старость!

Голова отца Николая осаждается невеселыми думами, сердце — въ постоянной тревогѣ.

Основа, на которой зиждется его существованіе, до того тонка, что малѣйшій неосторожный шагъ неминуемо повлечетъ за собой



нужду. Сыновья у него съ дѣтскихъ лѣтъ въ разбродѣ, да и не воротятся домой, потому что, по окончаніи курса, пристроятся на столы. Только дочери дома: ихъ и радъ бы сбыть, да съ безприданницами придется еще подождать.

Ни поговорить по душѣ не съ кѣмъ, ни посовѣтоваться. Какъ ни просто держать себя священникъ, все же онъ не свой братъ, — безъ нужды мужикъ къ нему не пойдетъ. Сиди дома, думай думу, дѣла не дѣлай, а отъ дѣла не бѣгай. Зимніе долгіе вечера наполнить нечѣмъ: нѣтъ у него ремесла. Ежели поученія сочинять, такъ не всякій на то способность имѣеть, а сверхъ того — вонь! — ихъ цѣлая книга на всякіе случаи готова. Ходитъ отецъ Николай по горницѣ; портреты епархіальныхъ архіереевъ разсматриваетъ; радъ радѣхонекъ, когда пробѣтъ наконецъ девять часовъ. Поставятъ на столъ пустые щи, а тамъ, по молитвѣ, и спать. Во снѣ онъ видитъ, что комиссія объ улучшеніи быта духовенства устраивается.

— А я во снѣ видѣлъ, что намъ жалованья прибавили, — общаетъ онъ женѣ: — а чтѣ, ежели сонъ-то вѣщій?

— Добро! ступай-ка скотинѣ кормъ задавать. Уждь на картахъ погадаемъ, прибавятъ ли тебѣ жалованья, или нѣтъ.

Годы тянутся за годами, сѣрые, полные тоски. Священникъ мечтаетъ о другомъ приходѣ, гдѣ больше доходовъ, но мечты его сбываются рѣдко. Онъ и бѣдень, и протекціи не имѣеть. Хорошо, ежели и старое-то мѣсто успѣваетъ за собой закрѣпить до тѣхъ поръ, покуда силы не оставили. Старшую дочь онъ наконецъ успѣлъ выдать замужъ — ничего, живетъ хорошо. Одной заботой меньше. Но какихъ хлопотъ ему это стоило! Нужно было и къ прихожанамъ обращаться, какихъ-то старыхъ „благодѣтелей“ вспомнить, просить, кланяться, за каждый грошъ благодарить. Ради этого онъ въ городъ съѣздилъ, всѣхъ кунцовъ обошелъ, всѣхъ назвалъ ревнителями и истинными сынами церкви. И вездѣ слышалъ: „выньемъ, батя!“ — и хорошо, хорошо, если въ результатѣ оказывалась зелененькая. А изъясня, причиненный этимъ событіемъ въ собственномъ хозяйствѣ, — самъ по себѣ. Пришлось корову продать, въ долги влѣзть. Будетъ памятна отцу Николаю эта свадьба.

А невзгоды между тѣмъ идутъ своимъ чередомъ. То капли дождя не канеть — сгорѣло все; то ливни льютъ — все сопрѣло, сгнило. Вотъ онъ, подноясанный, въ бѣлой рубашкѣ на-выпускъ, идетъ съ лукош-

зомъ въ рукахъ. На дворѣ—который день дождикъ льетъ, отъ работъ совсѣмъ отбило. Снопы съ поля убирать бы надо, да погода не пускаетъ, а снопы ужъ проростать начали. „Сѣмянъ не соберемъ!“ говоритъ онъ себѣ, и страхъ передъ завтрашнимъ днемъ ни на минуту не покидаетъ его. Дождливая погода приводитъ урожай на грибы, и онъ все время проводить въ лѣсу. Беретъ батюшка грибы и на небо посматриваетъ, не прояснится ли гдѣ хоть кусочекъ. Вотъ, слава Богу, въ сторонкѣ слой облаковъ какъ будто потоньше становится; вотъ и синевы клочокъ показался... слава Богу! завтра, можетъ быть, и солнышко выглянетъ.

Выглянетъ солнышко—деревня оживетъ. Священникъ со всею семьей спѣшитъ возить снопы, складывать ихъ въ скирды и начинаетъ волотить. И все-таки оказывается, что дожди свое дѣло сдѣлали: и зерно вышло легкое, и меньше его. На цѣлыхъ двадцать-пять процентовъ урожай вышелъ меньше противъ прошлогодняго.

Ни одного дня, который не отравлялся бы думою о кускѣ, ни одной радости. Куда ни оглянется батюшка, все ему или чуждо, или на всѣ голоса кричить: нужда! нужда! нужда! Сынъ ли окончилъ курсъ—и это не радуетъ: онъ совсѣмъ исчезнетъ для него, а можетъ быть и забудетъ о старикѣ-отцѣ. Дочь ли выдастъ замужъ—и она уйдетъ въ люди, и ее онъ не увидитъ. Всякая минута, приближающаяся его къ старости, приноситъ ему горе.

И вотъ, старость ужъ за плечами стоитъ. Священникъ начинаетъ плохо разбирать печатное; рука его еле держитъ потиръ; о тяжелыхъ полевыхъ работахъ онъ и не помышляетъ. Семья его разбрелась окончательно. Старшій сынъ ужъ лѣтъ десять профессорствуетъ въ дальней епархіальной семинаріи; второй сынъ священствуетъ гдѣ-то въ Сибири; третій — не задался: не кончилъ курса и опредѣлился писцомъ въ одно изъ губернскихъ присутственныхъ мѣстъ. Дочери тоже повданы замужъ, а одна ушла въ монастырь. Помощи ждать не откуда, потому что у всѣхъ свои заботы, свои семьи. Землю батюшка сдалъ въ короткому, и одинъ-на-одинъ съ попадѣй коротаетъ старческій вѣкъ. Вдвоемъ имъ не много нужно, но впереди идетъ неминуемый „заштатъ“...

Наконецъ грозная минута настала: старикъ отчисленъ за штатъ. Приѣзжаетъ молодой священникъ, для котораго, въ свою очередь, начинается сказка объ изнурительномъ жизнестроительствѣ. На вы-

рученныя деньги за старый домъ заштатный священникъ ставить себѣ нѣчто въ родѣ сторожки и удаляется въ нее, питаясь крохами, падающими со скудной трапезы своего замѣстителя, ежели послѣдній, по добротѣ сердца или по добровольно принятому обязательству, соглашается что-нибудь удѣлить.

По старой привычкѣ, а отчасти и по необходимости, отецъ Николай ходитъ въ свитѣ причетниковъ по приходу за лѣями, за новью; но его надѣляютъ ужь скупо...

Горькое начало, горькое существованіе, горькій конецъ!

### 3.— Помѣщикъ.

Я буду говорить собственно о средней полосѣ Россіи, и притомъ о помѣщикѣ средней руки, не очень крупномъ и не совсѣмъ мелко-помѣстномъ.

Крупные землевладѣльцы встрѣчаются рѣдко. Они избрали благую часть: отрѣзали крестьянамъ въ надѣль пахатную землю, а сами остались при такъ-называемыхъ оброчныхъ статьяхъ: лѣсахъ, лугахъ, рыбныхъ ловляхъ и т. п. Пашню, какая осталась въ излишествѣ, запустили подъ пастбище и тоже обратили въ оброчную статью. Скота держатъ малость, только на случай прѣзда; старинныя каменные хозяйственныя постройки отчасти распроданы, отчасти пустѣютъ и приходятъ въ ветхость. Очевидно, что при такихъ условіяхъ требуется не хозяйство, а только конторскій надзоръ и счетоводство. Въ определенное время сдаются въ конторѣ съ торговъ участки лѣса, луговъ, мельницы, постоянныя дворы, пастбища и прочія статьи. Доходъ получается безъ хлопотъ, издержки по управленію незначительны. Живетъ себѣ владѣлецъ припѣваючи въ столицѣ или за границей, и много-много, ежели на мѣсяцъ, на два, заглядываетъ лѣтомъ съ семьей въ усадьбу, чтобъ убѣдиться, все ли на своемъ мѣстѣ, не кривитъ ли душой управляющій и въ порядкѣ ли садъ.

Но, кромѣ того, есть и еще соображеніе: эти посѣщенія напоминаютъ дѣтямъ, что они—русскіе, а гувернерамъ и гувернанткамъ, ихъ окружающимъ, свидѣтельствуютъ, что и въ Россіи возможна



своего рода *vie de château*. Дѣти заходятъ въ деревни и видятъ крестьянскихъ дѣтей, о которыхъ имъ говорятъ: „они такіе же, какъ и вы!“ Но французенка-гувернантка никакъ не хочетъ съ ними согласиться, и восклицаетъ: „*c'est une race d'hommes tout-à-fait à part!*“ И затѣмъ, воротившись съ экскурсіи домой, ѣстъ персики, вишни и прочіе фрукты, подаваемые въ изобиліи за завтракомъ и обѣдомъ, и опять восклицаетъ: „*ah! que c'est beau! que c'est succulent! cela me rappelle les fruits de ma chère Touraine!*“

Повторяю: это не хозяйство, а конторское управленіе.

Что касается до мелкопомѣстныхъ дворянъ, то они уже въ самомъ началѣ крестьянской реформы почти совсѣмъ исчезли съ сельско-хозяйственной арены. Продали оставшіеся за надѣломъ отрѣзки крестьянамъ позажиточнѣе (изъ нихъ въ скоромъ времени образовались нирѣды) и разбѣжались, куда глаза глядятъ. Вообще судьба этихъ людей представляетъ изрядную загадку: никто не слѣдилъ за ихъ исчезновеніемъ, никто не помнитъ о нихъ, не знаетъ, чтѣ съ ними случилось. Такого-то видѣли въ Москвѣ — „совсѣмъ обносился“; такого-то встрѣтили на желѣзной дорогѣ — въ кондукторахъ служить. А большинство совсѣмъ какъ въ воду кануло. Во всякомъ случаѣ эта помѣщичья разновидность встрѣчается въ настоящее время какъ рѣдкое исключеніе. Ее замѣнилъ разночинецъ, который хозяйствуетъ на свой образецъ.

Помѣщикъ средней руки обладаетъ очень неважными средствами. Въ старину у него было душъ двѣсти-триста крестьянъ, а за надѣломъ ихъ въ его распоряженіи осталось отъ шести до семи сотъ десятинъ земли. Усадьба некрасивая, въ захолустьи, домъ — похожій на крохотную казарму; службы ветшаютъ; о „заведеніяхъ“, паркѣ, уѣлкѣ и въ поминѣ нѣтъ. Рѣдко гдѣ встрѣтишь ручеекъ, на которомъ, для вида, поставлена мельница, а воды и на одинъ поставъ не хватаетъ. Небольшой садишко съ яблонями да огородецъ сбоку, а при въѣздѣ въ усадьбу — прудокъ, похожій на помойную яму. Кругомъ ровное мѣсто, безъ малѣйшаго пригорка, такъ что нѣтъ и признака такъ-называемаго „красиваго мѣстоположенія“. Земля тоже не особенно чивая. Половина подъ пустошами, десятинъ съ сотню подъ



лѣсомъ, о заливныхъ лугахъ и слыхомъ не слыхать. Природа ничего не дала здѣсь даромъ, все приходится съ бою брать.

Жить въ такой обстановкѣ непривлекательно, ежели на первомъ планѣ не стоитъ сельско-хозяйственный интересъ. Сосѣдство ограниченное, а ежели и есть, то разнокалиберное, несимпатичное; матеріальныя средства небольшія; однообразіе, и въ природѣ, и въ людяхъ, изумительное: порадовать взоры не на чемъ. Чтобы не почувствовать, какъ часъ за часомъ тянется сѣрая жизнь, нужно, чтобы человѣка со всѣхъ сторонъ охватили мелочи, чтобы онѣ съ утра до вечера не давали ему опомниться. Тогда онъ не увидитъ, какъ пролетѣлъ день, и когда настанетъ время отдыха, то заснетъ какъ убитый. „Я ни разу боленъ не былъ, съ тѣхъ поръ какъ поселился въ деревнѣ!“ — говоритъ онъ, съ гордостью вытягивая мускулистыя руки; — „да и не скучалъ никогда; времени нѣтъ!“

Помѣщиковъ средней руки имѣется три типа: во-первыхъ — равнодушный, во-вторыхъ — убѣжденный и въ-третьихъ — изворачивающійся съ помощью прижимки.

О равнодушномъ помѣщикѣ въ этомъ этюдѣ не будетъ рѣчи, по тѣмъ же соображеніямъ, какъ и о крупномъ землевладѣльцѣ: ни тотъ, ни другой хозяйственнымъ дѣломъ не занимаются. Равнодушный помѣщикъ на скорую руку устроился съ крестьянами, оставилъ за собой пустошъ, небольшой кусокъ лѣсу, пашню запустилъ, окна въ домѣ заколотилъ досками, скотъ распродалъ и, поставивъ во главѣ выморочнаго имущества не то управителя, не то сторожа (преимущественно изъ отставныхъ солдатъ), уѣхалъ.

— Ты за лѣсомъ смотри, паче глазу его береги! — сказалъ онъ сторожу на прощанье: — буду наѣзжать; ежели замѣчу порубку — не спущу! Да мебель изъ дома чтобы не растащили!

— Будьте покойны, вашескородіе!

— Пустошъ сдавай въ коротому; пашню, вѣроятно, крестьяне подъ скотину наймутъ: имъ скотъ выгнать некуда. Жалованье тебѣ назначаю въ годъ двѣсти рублей, на твоихъ харчахъ. Разсчитывай себя изъ доходовъ, а чтѣ больше выручишь — присылай. Вотъ здѣсь, во флигелькѣ и живи. А для протопленія можешь сучьями пользоваться.

— Много доволенъ, вашескородіе!

Затѣмъ онъ пріискалъ въ Петербургѣ мѣстечко и живетъ на

жалованье да на проценты выкупного свидѣтельства. Изрѣдка получаетъ изъ деревни то двѣсти, то триста рублей, и говоритъ знающимъ: — Я сегодня доходъ изъ деревни получилъ.

Въ теченіе десяти лѣтъ онъ только однажды посѣтилъ родное селеніе. Вошелъ въ домъ, понюхалъ и сказалъ:

— У, да какъ здѣсь пахнетъ!

Потомъ обошелъ лѣсъ и, замѣтивъ мѣстами порубки, пригрозилъ сторожу („Безъ этого, вашескородіе, невозможно!“). Узналъ, что съ пустошами дѣло идетъ плохо: крестьяне совѣмъ ихъ не разбираютъ.

— Кои загрубѣли, кои березничкомъ поросли, — жаловался сторожъ.

— Тѣмъ лучше; со временемъ лѣсъ будетъ!

— И лѣсу не будетъ; крестьяне роста не даютъ. Вскочить безрѣзка — сейчасъ вершину на вѣники срѣжутъ.

Въ два дня онъ осмотрѣлъ и въ заключеніе сказалъ:

— Ну, чортъ съ вами! Вотъ сынъ у меня ростеть; можетъ быть, онъ хозяйничать захочеть. Дамъ ему тогда денегъ на обзаведеніе, и пускай онъ хлопочеть. Только вотъ лѣсъ пуще всего береги, старикъ! Ежели еще разъ порубку замѣчу — спуску не дамъ!

Убѣжденный помѣщикъ (быть можетъ, тотъ самый сынъ „равнодушнаго“, о которомъ сейчасъ упомянуто) вѣритъ, что сельское хозяйство составляетъ главную основу благосостоянія страны. Это — теоретическая сторона его міросозерцанія. Съ практической стороны онъ убѣжденъ, что нигдѣ такъ выгодно нельзя помѣстить капиталъ. Но, разумѣется, надо терпѣніе, настойчивость, соотвѣтственный капиталъ и извѣстный запасъ свѣдѣній.

Терпѣніемъ и настойчивостью онъ обладаетъ; капиталъ, хотя и небольшой, у него есть. Свѣдѣніями онъ тоже запасся. Кое-что онъ за границей видѣлъ, кое-чему научился изъ книгъ, кое-что слышалъ отъ опытныхъ сельскихъ хозяевъ. Но главному, разумѣется, научить сама практика, сближеніе съ разумнымъ мужикомъ и наглядное знакомство съ сосѣдними хозяйствами. Хотя онъ еще молодъ и не жила въ подолгу въ деревнѣ, но увѣренъ, что предстоящая задача совѣмъ не такъ головоломна, какъ увѣряютъ. Не боги горшки обжигаютъ — и простые смертные, при помощи доброй воли, сумѣютъ это сдѣлать.

Теперешнее его убѣжденіе таково: надо какъ можно больше производить молока. Большое количество молока предполагаетъ большое стадо коровъ. Кромѣ молока, стадо дастъ ему удобреніе; удобреніе повлечетъ за собой большее количество зерна и достаточно сѣна для продовольствія рогатаго скота и лошадей. Молочное хозяйство должно окупить всѣ текущіе расходы по полевой операціи; зерно должно представлять собой чистый доходъ. Вотъ цѣль, къ которой должны быть направлены всѣ усилія.

— И я достигну этой цѣли, — говоритъ онъ. — Вездѣ, въ цѣломъ мірѣ, полеводство даетъ хотя и не блестящій, но вполне вѣрный барышъ: не можетъ быть, чтобы мы одни составляли исключеніе!

Съ такими намѣреніями онъ пріѣзжаетъ на хозяйство, и повсюду застаётъ запустѣніе. Прежде нежели приступить къ полеводству, надо собственную обстановку устроить такъ, чтобы и ему, и семьѣ существовать было можно. Жену онъ тоже успѣлъ настроить въ своемъ направленіи, такъ что и во снѣ она коровъ видитъ; за дѣтей заранѣе радуется, какія они выростутъ крѣпкія и здоровыя на вольномъ деревенскомъ воздухѣ. Но и жена, и дѣти прежде всего нуждаются въ обстановкѣ, въ хорошо защищенномъ домѣ, не представляющемъ риска для простуды и вообще имѣющемъ видъ жилого помѣщенія.

Ежели имѣніе досталось ему по наслѣдству — разумѣется, онъ по-неволѣ мирится съ неудачами первыхъ шаговъ; но ежели онъ купилъ имѣніе, то въ его сердце заползаютъ червь сомнѣнія. Дѣло въ томъ, что онъ былъ слишкомъ довѣрчивъ; смотрѣлъ и не доглядѣлъ. Начать съ того, что онъ купилъ имѣніе ранней весной (никто въ это время не осматриваетъ имѣній), когда поля еще покрыты снѣгомъ, дороги въ лѣсъ завалены и домъ стоитъ нетопленный; когда годовой запасъ зерна и сѣна подходитъ къ концу, а скотъ, по самому ходу вещей, тощъ („увидите, какъ за лѣто онъ отгуляется!“). Слѣдовательно ничего доскопальнымъ образомъ ни осмотрѣть, ни опредѣлить невозможно.

И точно: вездѣ, куда онъ теперь ни оглянется, продавецъ обманулъ его. Домъ протекаетъ; накаты подъ поломъ ветхи; фундаментъ на одномъ мѣстѣ осѣлъ; корму до новой травы не хватитъ; наконецъ мѣленка, которая, покуда онъ осматривалъ имѣніе, работала на оба постава и была завалена мѣшками съ зерномъ, — молчитъ.



— Воды только на одинъ поставъ и хватаетъ, да и для одного-то помольцевъ нѣтъ, — говоритъ мельникъ. — Какая это мельница! Только горе съ ней!

— Какъ же при миѣ она на два постава работала, да и зерна было навезено вдоволь?

— А мы дня два передъ тѣмъ воду копили, да мужичкамъ по округу объявили, что за полцѣны молоть будемъ... вотъ и работала мельница.

— Мы и сами въ ту пору дивились, — сообщаетъ, въ свою очередь, староста (изъ мѣстныхъ мужичковъ), котораго онъ на время своего отсутствія, по случаю совершенія купчей и первыхъ закупокъ, оставилъ присмотрѣть за усадьбой: — видите — въ полѣ еще снѣгъ не тронулся, въ лѣсъ проѣзду нѣтъ, а вы осматривать пріѣхали. Старый-то баринъ садовнику Пётрѣ цалковый-рунь посулилъ, чтобъ васъ въ лѣсъ провезъ по межѣ: и направо, и налево — все, дескать, его лѣсъ!

И батюшка, пришедшій съ просвирой поздравить его съ пріѣздомъ, присовокупляетъ:

— И у меня, грѣшнымъ дѣломъ, вертѣлось на языкѣ: погодите до тепла, не поспѣшайте! Но при семъ думалось и такъ: ежели господинъ поспѣшаетъ — стало быть, ему надобно.

Словомъ сказать, совсѣмъ онъ не то купилъ, чтò смотрѣлъ.

Но повторяю: наслѣдственное ли имѣніе, или благопріобрѣтенное, во всякомъ случаѣ надо начать съ домашней обстановки, отложивъ на время мечты объ усовершенствованныхъ пріемахъ полеводства, объ улучшеніи породы скота и т. п. Все въ упадкѣ: и домъ, и скотный дворъ, и службы, все требуетъ коренного, серьезнаго ремонта.

Цѣлое лѣто кипитъ въ домѣ работа. Помѣщикъ перебрался на одну половину дома, а другую предоставилъ въ распоряженіе плотниковъ и маляровъ. Съ зарею раздается стукъ топоровъ, пѣніе пѣсенъ, а изъ отворенныхъ оконъ валитъ ѣдая пыль. Плотники подняли полы и рубятъ новые накаты; кровельщики влѣзли на крышу, звенятъ желѣзными листами, вбиваютъ гвозди. На дняхъ пріѣдутъ штукатуры и маляры — и адъ будетъ въ полной формѣ. У дѣтей съ утра до вечера головки болятъ; днемъ, въ хорошую погоду, они на воздухѣ, въ саду, но въ дождь пріюта найти не могутъ.



— Надо же примириться съ этимъ, — утѣшаетъ помѣщикъ: — вѣдь мы не на одинъ годъ устраиваемся!

Но что всего чувствительнѣе — уходитъ масса денегъ, и нѣтъ увѣренности, что онѣ уходятъ производительно. Не успѣли покончить одну работу, какъ въ перспективѣ уже виднѣется другая. И все такія работы, которыя представляютъ только безвозвратную трату. Вездѣ — подлость, мерзость, обманъ. Плотники работаютъ кое-какъ, маляры на цѣлую недѣлю запоздали. Помѣщикъ за всѣмъ смотритъ самъ, но его обманываютъ въ глаза. Онъ и понимаетъ, что его обманываютъ, но что-то въ этомъ обманѣ есть такое, чего онъ раскрыть и объяснить не можетъ. Приходится махнуть рукой и сказать себѣ: ахъ, хоть бы поскорѣе кончилось!

Покуда въ домѣ идетъ содомъ, онъ осматриваетъ свои владѣнія. Освѣдомляется, гдѣ въ послѣдній разъ сѣяли озимъ (пашня ужъ два года сряду пустоеть), и нанимаетъ топографа, чтобы снялъ полевою землю на планъ и разбилъ на шесть участковъ, по числу полей. Оказывается, что въ каждомъ полѣ придется по двадцати десятинъ, и онъ спѣшитъ посѣять овесъ съ клеверомъ на томъ мѣстѣ, гдѣ было старое озимое.

— А впереди у меня будетъ паровое поле, которое я лѣтомъ приготовлю подъ озимъ, — толкуетъ онъ топографу: — надо не сразу, а постепенно работать.

— Поспѣшность потребна только блохъ ловить! — развязно откликается топографъ.

— Гм... блохъ... да! — задумчиво вторитъ ему хозяинъ и, обращаясь къ старостѣ, спрашиваетъ: — давно ли со скотнаго двора навоза не вывозили?

— Да года два уже не возимъ: скотина пд-уши въ грязи стоитъ.

— Ну, видишь ли, хоть скота у меня и немного, но такъ какъ удобрение два года копилось, то и достаточно будетъ подъ озимъ! А съ будущей осени заведу скота сколько слѣдуетъ, и тогда ужъ...

Осмотрѣвши поля, ѣдетъ на бѣговыхъ дрожкахъ въ лѣсъ. Тамъ куртинка, то тутъ. Есть куртинки частыя, а есть и рѣдичь. Лѣсъ по преимуществу дровяной — кое-гдѣ деревцо на холостую постройку годно. Но, въ совокупности, десятинъ съ сотню наберется.

— Въ случаѣ надобности, можно будетъ и тово... — нашептываетъ ему тайный голосъ.

А староста точно слышитъ этотъ голосъ и говоритъ:

— Вотъ эту куртинку старый баринъ еще съ осени собирався продать.

— Съ осени—машинально вторить помѣщикъ.

— Точно такъ. Мнѣ, говоритъ, она не къ мѣсту, а между тѣмъ за нее хорошія деньги дадутъ. Березнякъ здѣсь крупный, стеколистый; саженой сто швырка съ десятины наберется.

— Гм... однакожъ!

Осмотрѣвши лѣсъ, ѣдутъ на пустошъ.

— Вотъ на этой пустоши бываетъ трава, мужички даже исполу съ охотой берутъ. Болотце вонъ тамъ въ уголку, такъ острець растетъ, лошади его ѣдятъ. А вонъ въ Лисей-Норѣ—тамъ и вовсе ничего не растетъ: ни травы, ни лѣсу. Продать бы вамъ, сударь, эту пустошь!

— А мы попробуемъ обработать ее.

— Какъ ее обработаешь! Земля въ ней какъ камень скипѣлась, лишаями поросла. Тронуть ее, такъ всѣ сохи переломаешь, да и навозу она пропасть сожретъ. А навозъ-то за пять верстъ возить нужно.

— А сколько за нее дадутъ, если продать?

— Рублей сто дадутъ, кому нужно.

— Помилуй! въ ней слишкомъ сорокъ десятинъ!

— Какая земля, такая и цѣна. И сто рублей на дорогѣ не валяются. Со стами-то рублями мужичокъ все хозяйство оборудуетъ, да еще останется.

Невесело возвращаться домой съ такими результатами, а дома барыня чуть не плачетъ.

— Помилуй!—жалуется она:—когда же ты навозъ вывезишь? вѣдь коровы пѣ-уши въ грязи вязнуть.

— Погоди, душа моя, дай отсѣяться съ яровымъ.

— Нечего годить: скоро мы совсѣмъ безъ молока будемъ. Двадцать коровъ па дворѣ, а для дома недостаетъ. Давеча Володя сливокъ просить, послала на скотную—нѣтъ сливокъ; принесли молока, да и то жидкаго.

— Должно быть, прислуга...

— Помилуй! въ деревнѣ жить да прислугѣ въ молоко отказыв-

вать! Извѣстно, по бутылкѣ на человѣка берутъ. Шестъ человѣкъ — шесть бутылокъ.

— Однако!

— Нѣтъ, это коровы такія... Одна корова два года ялова ходитъ, чайную чашечку въ день доить, коровъ съ семь перестарки, остальные — запущены. Всѣхъ надо на мясо продать, все стадо возобновить, да и скотницу прогнать. И быка другого необходимо купить — теперешняго коровы не любятъ.

— А я надѣялся постепенно усовершенствовать стадо. Конечно, нужно и прикупить, да не все же вдругъ...

Заранѣ принятія рѣшенія оказываются построенными на песокъ. Дѣйствительность представляется въ такомъ видѣ: стройка валится; коровы запущены, — не даютъ достаточно молока даже для продовольствія; прислуга, привезенная изъ города, извольничилась; а глядя на нее, и мѣстная прислуга начинаетъ пошалить; лошади тощи, никогда не видятъ овса. Даже пошла хорошаго нѣтъ, потому что единственный въ усадьбѣ прудъ съ незапамятныхъ временъ не чищенъ („вотъ осенью вычищу — сколько я изъ него наилку на десятины вывезу!“ мечтаетъ баринъ). Все надо припасти и исправить разомъ, какъ бы по мановенію волшебства, потому что въ жизнестроительствѣ всѣ подробности связаны: запусти одинъ — и все остальное въ упадокъ придетъ. Малѣйшая оплошность, словно червоточина, проникнетъ всюду и всѣ заботы приведетъ къ нулю. Какая масса денегъ потребуется, чтобъ все это исполнить?! Гдѣ ихъ взять?

Но помѣщикъ не даромъ называетъ себя убѣжденнымъ. Онъ принимаетъ героическое рѣшеніе и откладываетъ добрую часть капитала на хозяйственныя реформы. Для деревенской жизни ему за глаза достаточно процентовъ съ остальной части капитала („масло свое, живность своя, хлѣбъ свой“, и т. д.). Настоящаго сѣвооборота онъ, конечно не дождется раньше трехъ лѣтъ, но за то къ тому времени у него все будетъ готово, все на чеку: и постройки, и стадо, и усовершенствованныя орудія — словомъ сказать, весь живой и мертвый сельскохозяйственный инвентарь. И на одной изъ пустошей онъ мечтаетъ самостоятельный хуторокъ завести. Выстроить скотный дворъ и при немъ небольшой флигелекъ для рабочихъ, съ чистою комнатою на случай приѣзда. Прудокъ выроетъ, огородецъ разведетъ.

— Мы туда чай пить будемъ ѣздить, — сообщаетъ онъ женѣ.



— Это дѣтямъ удовольствіе доставить, а мы между тѣмъ присмотримъ...

Черезъ три года—хозяйство въ полномъ ходу. Поля удобрены („вонъ на ту десятину гуано положили“), клеверъ въ обоихъ поляхъ вскопиль густо; стадо большое, больше ста головъ (хорошій хозяинъ не менѣе 1 1/3 штуки на десятину пашни держать); коровы сытыя, породистыя; скотный дворъ содержится опрятно, каждая корова имѣетъ свой кондуктнй списокъ: чуть начала давать молока меньше—сейчасъ соберутъ совѣтъ, и начинаютъ добиваться, какимъ образомъ и отчего. И добьются. Главная скотница—отъ Широкова; молочница—ученица Верещагина; обѣ получаютъ хорошее жалованье; работники—тоже исправные, обходятся съ орудіями умѣючи. Кормить онъ ихъ сытно, хотя по-крестьянски, т.-е. льетъ въ кашу не скоромное, а постное масло и солонину даетъ съ заправкою. Во всякомъ случаѣ ропота на плохую пищу не слышитъ, а это только и нужно. И домъ, и службы, послѣ капитальнаго ремонта, особенныхъ затратъ не требуютъ. И въ довершеніе всего—по каждой отрасли заведена двойная бухгалтерія. Словомъ сказать, хозяйство идетъ по маслу. Правда, что половины капитала какъ не бывало, но со временемъ она возвратится съ лихвою. Терпѣніе и настойчивость—вотъ главное.

Ни въ томъ, ни въ другомъ у него недостатка нѣтъ. Убѣжденный хозяинъ съ утра до вечера хлопочетъ; встаетъ въ одно время съ рабочими и въ одно время съ ними полдничаютъ, обѣдаетъ и отдыхаетъ. Вездѣ—онъ самъ; на пашнѣ ни малѣйшаго огрѣха не пропустить; на сѣнокосѣ сейчасъ замѣтитъ, который работникъ не чисто коситъ. А на скотномъ дворѣ хлопочетъ жена. При себѣ заставляетъ коровъ доить, при себѣ приказываетъ кормъ задавать. Добрую корову погладить, велитъ кусокъ чернаго хлѣба съ солью принести и изъ своихъ рукъ накормить; худой, не бегущей о хозяйской выгодѣ, коровѣ пальцемъ погрозитъ. Заглянетъ въ молочную—и сама засучить рукава, попробуетъ масло бить. И удовольствіе, и выгода—все вмѣстѣ.

Дѣти между тѣмъ здоровѣютъ на чистомъ воздухѣ; старшій сынъ уже учиться началъ—того гляди, и вплотную придется заняться имъ.

Послѣ цѣлаго года работы и неустанныхъ хлопотъ приводится



въ дѣйствіе двойная бухгалтерія. Сводятся счета. Оказывается—доходъ ужъ есть, но маленькій, около двухсотъ рублей.

— Маловато, — соглашается помѣщикъ, — но на будущій годъ...

— На службѣ ты куда больше получилъ бы! — замѣчаетъ жена.

На будущій годъ доходъ увеличивается до трехсотъ рублей. Работаль-работаль, суетился-суетился, капиталъ растратилъ, трудъ положилъ, и все-таки меньше рубля въ день осталось. За то масло—свое, картофель—свой, живность—своя... А впрочемъ вѣдь и это не такъ. По двойной бухгалтеріи, и за масло, и за живность деньги заплатили...

Кромѣ того: хотя все устроено капитально и прочно, но кто же можетъ поручиться за будущее? Вѣдь не вѣчны же, въ самомъ дѣлѣ, накаты; нельзя же думать, чтобы на крышѣ краска никогда не выгорѣла... Вонъ въ молочной на крышу-то понадѣялись, старую оставили, а она мохомъ ужъ поросла!

Наконецъ нельзя терять изъ вида и того, что старшій сынъ со-всѣмъ ужъ поспѣлъ—хоть сейчасъ вези въ гимназію. Убѣжденный помѣщикъ начинаетъ задумываться и все больше и больше обращается къ прошлому. У него много товарищей; нѣкоторые изъ нихъ ужъ дѣйствительные статскіе совѣтники, а одинъ даже тайный совѣтникъ есть. Всѣ получаютъ содержаніе, которое ихъ обезпечиваетъ; сверхъ того, большинство участвуетъ въ промышленныхъ компаніяхъ, пользуется учредительскими паями...

А онъ чтѣ? Какъ вышелъ изъ „заведенія“ коллежскимъ секретаремъ (лѣтъ двѣнадцать за границей потомъ прожилъ, все хозяйству учился), такъ и теперь коллежскій секретарь. Даже земскія собранія ни разу не посѣтилъ, въ мировые не баллотировался. Связи всѣ растерялъ, съ бывшими товарищами переписки прекратилъ, съ деревенскими сосѣдями не познакомился. Только и побывалъ, однажды въ три года, у „интеллигентнаго работника“, полюбопытствовалъ, какъ у него хозяйство идетъ.

Интеллигентный работникъ, Анпетовъ, поселился, года четыре тому назадъ, въ десяти верстахъ отъ убѣжденнаго помѣщика, вмѣстѣ съ отставнымъ солдатомъ, Финагеичемъ. Купилъ Анпетовъ за-дешево небольшую пустошь, пріобрѣлъ двѣ коровы, лошадь, нѣсколько овецъ, запаса орудіями, выстроилъ избу на крестьянскій манеръ и началъ работать. Солдатъ былъ женатый и жилъ не въ качествѣ наемника,

а на правах пайщика — и убытки, и барыши пополамъ; только прожить на затраченный капиталъ предполагался къ зачету изъ дохода. Но покуда еще ничего у пайщиковъ не выяснилось, кромѣ пустыхъ словъ да хлѣба, который они ѣли. Но, разумѣется, они надѣялись, что въ будущемъ трудъ прокормитъ ихъ.

— Какъ дѣла? — спрашивалъ его помѣщикъ.

Въ отвѣтъ на это интеллигентный рабочій показалъ мозолистыя руки.

— Вотъ покуда что въ результатѣ получилось, — молвилъ онъ: — ну, да вѣдь мы съ Финагеичемъ не отстанемъ. Теперь только коровы и выручаютъ насъ. Сами молоко не ѣдимъ, такъ Финагеичъ въ ведѣлю разъ-другой на сыроварню возить. Но потомъ...

И въ заключеніе не удержался и обругалъ посѣтителя.

— Вы бѣлоручки, — сказала онъ: — по пашнѣ да по сѣнокосу съ тросточкой похаживаете. Попробовали бы вы сами десятину вспахать или восемь часовъ косою помахать, какъ мы... небось, пропала бы охота баловаться хозяйствомъ!

Разумѣется, онъ не попробовалъ; напелъ, что довольно и того, что онъ за всѣмъ самъ слѣдить, всему даетъ тонъ. Кабы не его неустанный руководящій трудъ — развѣ цвѣли бы клеверомъ его поля? развѣ давала бы розь самъ-двѣнадцать? развѣ заготовлялось бы на скотномъ дворѣ такое количество масла? Стало-быть, Анпетовъ сохранилъ, назвавши его „бѣлоручкой“. И онъ работаетъ, только трудъ его называется „руководящимъ“.

Однако на другой день онъ пожелалъ провѣрить оцѣнку Анпетова. Выйдя изъ дому, онъ увидѣлъ, что работникъ Семень ужъ похаживаетъ по полю съ плужкомъ. Лошадь — бѣлая, Семень въ бѣлой рубашкѣ — издали кажетъ, точно бѣлый лебедь разсѣкаетъ волны. Но по мѣрѣ приближенія къ пашнѣ оказывалось, что рубашка на Семень не совсѣмъ бѣлая, а пропитанная потомъ.

— Дай-ко, я попахаяю! — предложилъ помѣщикъ Семену.

— Куда же вамъ! только ручки себѣ намозолите!

— Нѣтъ, дай!

Онъ всталъ за плугомъ, но не успѣлъ пройти и двухъ сажень, какъ уже задохся; плугъ выскочилъ у него изъ рукъ, и лошадь побѣжала по пашнѣ, цѣпляясь лемехомъ за землю.

— Стой, каторжная! — кричалъ Семень на лошадь.

А баринъ между тѣмъ стоялъ на мѣстѣ и покачивался словно пьяный.

„Дѣйствительно, — думалъ онъ: — пахать — это... Но все-таки Анпетовъ совралъ. Пахать я, конечно, не могу, но въ сущности, это и не мое дѣло. Мое дѣло — руководить, вдохнуть душу, а все остальное“ ...

Такъ на этомъ онъ и успокоился. И даже, возвратясь домой, сказалъ женѣ:

— Пробовалъ я сегодня пахать — не могу. Это не мое дѣло. Мое дѣло — вдохнуть душу, распорядиться, руководить. Это тоже трудъ, и не маленькій!

— Еще бы! — отозвалась жена.

Словомъ сказать, погружаясь въ море хозяйственныхъ мелочей, убѣжденный помѣщикъ душу свою мало-по-малу истратилъ на вытягиванье гроша за грошомъ. Онъ ничего не читалъ, ничѣмъ не интересовался, потерялъ понятіе о комфортѣ и красотѣ. Яма, въ которой стояла усадьба, вполнѣ удовлетворяла его; онъ находилъ, что зимою въ ней теплѣе. Онъ одичалъ, потерялъ разговоръ. Однажды заѣхалъ къ нему исправникъ и завелъ разговоръ о сербскихъ дѣлахъ. Онъ слушалъ, но только изъ учтивости не зѣвалъ. Въ головѣ у него совѣтъ не сербскія дѣла были, а бычокъ, котораго онъ недавно купилъ.

— Хотите, я вамъ бычка своего покажу? — не выдержалъ онъ.

— Съ удовольствіемъ.

Пошли на скотный дворъ, вывели бычка — красавецъ! грудь широкая, ноги крѣпкія и, несмотря на дѣтскій возрастъ (всего шесть мѣсяцевъ), — ужъ сердится.

— Вотъ такъ бычокъ! — не выдержалъ, въ свою очередь, исправникъ.

— Это — надежда моего скотнаго двора! — это — столпъ, на которомъ зиждется все будущее моего молочнаго хозяйства! Четыре мѣсяца тому назадъ восемьдесятъ рублей за него заплатилъ, а теперь и за полтораста не отдамъ...

Словомъ сказать, совѣтъ всякую способность къ общежитію утратилъ.

А въ результатѣ оказывалось чистой прибылью все-таки триста рублей. Хорошо, что еще помѣщеніе, въ которомъ онъ ютился съ



сѣмьей, не попало въ двойную бухгалтерію, а то быть бы убытку рублей въ семьсотъ-восемьсотъ.

— Ты думаешь, мало такая квартирка стоитъ?—не разъ говорилъ онъ женѣ:—да кухня отдѣльная, да флигель... Ежели все-то сосчитать...

— Ну, что тутъ! надо же гдѣ-нибудь жить!

Однако сынъ все растетъ да растетъ: поэтому самая естественная родительская обязанность заставляетъ позаботиться о его воспитаніи. Убѣжденный помѣщикъ понимаетъ это и начинаетъ заглядывать въ будущее.

— Надо же какъ-нибудь насчетъ Володи порѣшить, — осторожно заговариваетъ онъ.

— Надо,—соглашается съ нимъ жена.

— Я думаю, не написать ли къ Звѣркову? Онъ, по-товарищески, приметъ его на свое попеченіе, опредѣлить...

— Что твой Звѣрковъ! Онъ и думать забылъ о тебѣ! Звѣрковъ! — вотъ окомъ вспомнилъ! Надо самимъ ѣхать въ Петербургъ. Поселишься тамъ—и товарищи о тебѣ вспомнятъ. И сына опредѣлишь, и самъ мѣсто найдешь. Опять человѣкомъ сдѣлаешься.

Наболѣвшее слово вырвалось, и высказала его, по обыкновенію, жена. Высказала рѣзко, безъ подготовленій, забывъ, что вчера говорила совсѣмъ другое. Во всякомъ случаѣ, мужу остается только рѣшить: да или нѣтъ. Но какой отличный предлогъ: сынъ! Не по капризу они бросаютъ деревню, а во имя священныхъ обязанностей.

— Ты думаешь?—цѣдитъ онъ сквозь зубы.

— Чего думать! Цѣлый день съ утра до вечера точно въ огнѣ горимъ. И въ слякоть, и въ жару—никогда покоя не знаемъ. Посмотри, на чтò я похожа стала! на чтò ты самъ похожъ! А доходовъ все нѣтъ. Рожь самъ-двѣнадцать, въ молоко хоть купайся, все въ полномъ ходу—хоть на выставку, а въ результатъ... триста рублей!

— Да, есть тутъ загадка какая-то.

— Никакой загадки нѣтъ. Баловство одно—это хозяйство со всѣми затѣями и усовершенствованіями. Только деньги словно въ пронасть бросили. Уѣдемъ, пока въ конецъ не разорились.

— Ну, все-таки... Знаешь, я рассчитывалъ, кромѣ того, и на окружающихъ влияніе имѣть...

— Лучше бы ты о себѣ думалъ, а другимъ предоставилъ бы



жить, какъ сами хотять. Никто на тебя не смотритъ, никто примѣра съ тебя не беретъ. Самъ видишь! Стало быть, никому и не нужно!

Разговоръ возобновляется чаще и чаще и съ каждымъ днемъ пріобрѣтаетъ болѣе и болѣе опредѣленный характеръ. Подстрекательницей является все-таки жена.

— Вотъ чтò я тебѣ скажу, — говоритъ она однажды: — хозяйство у насъ такъ поставлено, что и безъ личнаго надзора можетъ идти. Староста у насъ честный; а ежели ты сто рублей въ годъ ему прибавишь, то онъ вполнѣ тебя замѣнитъ. Но если ты захочешь, то можешь и самъ съ апрѣля до октября здѣсь жить, а я съ дѣтьми на каникулы буду пріѣзжать. Вотъ чтò я сдѣлаю. Теперь іюль мѣсяцъ въ концѣ, а въ августѣ пріемные экзамены начнутся. Черезъ недѣлю я уѣду съ Володей въ Петербургъ. Съѣзжу къ твоимъ товарищамъ, — ты мнѣ письма дашь, — подыщу квартиру и опредѣлю Володю, а ты къ октябрю уберешься съ хлѣбомъ и пріѣдешь къ намъ съ Вѣрочкой и съ Анной Ивановной (гувернантка). Анна Ивановна! вѣдь вы безъ меня на скотномъ присмотрите?

— Съ удовольствіемъ.

— Ну, такъ вотъ...

Сказано — сдѣлано. Черезъ недѣлю жена собрала сына и уѣхала въ Петербургъ. Къ концу августа, убѣжденный помѣщикъ получилъ извѣстіе, что сынъ выдержалъ экзаменъ въ гимназію, а Звѣрковъ, Жизнѣевъ, Эльманъ и другіе товарищи дали слово опредѣлить къ дѣлу и отца.

Въ началѣ октября онъ уѣхалъ изъ деревни, наказавъ старостѣ вести хозяйство по заведенному порядку.

Теперь онъ состоитъ гдѣ-то чиновникомъ особыхъ порученій, а сверхъ того имѣетъ выгодныя частныя занятія. Въ одной компаніи директорствуетъ, въ другой выбранъ членомъ ревизіонной комиссіи. Пробуетъ и самъ сочинять проекты новыхъ предпріятій, и, быть можетъ, будетъ имѣть успѣхъ. Словомъ сказать, хлопочетъ и суетится такъ же, какъ и въ деревнѣ, но уже около болѣе прибыльныхъ мелочей.

Въ деревню онъ заглядываетъ недѣли на двѣ въ теченіе года: больше разживаться некогда. Но жена съ дѣтьми проводитъ тамъ каникулы, и — упаси Богъ ежели чтò замѣтить! А впрочемъ она не ошиблась въ старостѣ: хозяйство идетъ хоть и не такъ красиво, какъ прежде, но стоитъ дешевле. Дохода очищается триста рублей.

Рядомъ съ убѣжденнымъ помѣщикомъ процвѣтаетъ другой помѣщикъ, Коновъ Лукичъ Лобковъ, и процвѣтаетъ достаточно удовлетворительно. Подобно сосѣду своему, онъ надѣется на землю и вѣрить, что она дастъ ему возможность существовать; но возможность эту онъ ставитъ въ зависимость отъ множества подспорьевъ, которыя къ полеводству вовсе не относятся.

Земли у него не много, десятинъ пятьсотъ съ небольшимъ. Изъ нихъ сто подъ пашней въ трехъ поляхъ (онъ держится отцовскихъ порядковъ), около полтораста подъ лѣсомъ, слишкомъ двѣсти подъ пустошами да около пятидесяти подъ лугомъ; болотце есть, острецъ въ немъ хорошо растетъ, а кругомъ, по мокрому мѣсту, травка мякненькая. Но нѣтъ той пяди, изъ которой онъ не извлекалъ бы пользу, кромѣ лѣса, который онъ до поры до времени бережетъ. И, благодаря Создателю, живетъ, — не роскошествуетъ, но и на недостатки не жалуется.

Лобковъ не заботится ни о томъ, чтобъ хозяйство его считалось образцовымъ, ни о томъ, чтобъ примѣръ его влялъ на сосѣдей, побуждалъ ихъ къ признанію пользы усовершенствованныхъ пріемовъ земледѣлія, и т. д. Онъ разсуждаетъ просто и ясно: лучше случить прибыли четыре зерна изъ пяти, нежели одно изъ десяти. Очевидно, онъ не столько разсчитываетъ на силу урожая, сколько на дешевизну и даже на безвозмездность необходимаго для обработки земли труда.

Вотъ съ этою-то цѣлью и изобрѣтена имъ цѣлая хитросплетенная система подспорьевъ.

Первое мѣсто въ ряду подспорьевъ занимаетъ прижимка. Коновъ Лукичъ подкрадывался къ ней издалека, еще въ то время, когда только-что пошли слухи о предстоящей крестьянской перестройкѣ (такъ называетъ онъ упраздненіе крѣпостной зависимости). Въ то время онъ всячески ласкалъ крестьянъ и обнадеживалъ ихъ: „Вотъ ужъ, будете вольные, и заживемъ мы по-сосѣдски миркомъ да ладкомъ. Ни вы меня, ни я васъ — все у насъ будетъ по хорошему“. Такъ что когда наступилъ срокъ для составленія уставной грамоты, то онъ безъ малѣйшаго труда опуталъ будущихъ „сосѣдушекъ“ со всѣхъ сторонъ. И себя, и крестьянъ раздѣлилъ дорогою: по одну сторону дороги — его земля (пахатная), по другую — надѣльная; по одну сторону — его усадьба, по другую — крестьянскій порядокъ. А сзади

деревни — крестьянское поле, и кругомъ, куда ни взгляни, — господскій лѣсъ.

— Вы пашни больше берите, — увѣщеваль онъ крестьянъ: — въ ней вся наша надежда. За лѣсомъ не гонитесь, я и сучьевъ на протопленіе, и валѣжнику на лучину, хоть задаромъ, добрымъ сосѣдямъ отпущу! Луговъ тоже немного вамъ нужно — у меня пустошей сколько угодно есть. На кой мнѣ ихъ шутъ! только горе одно... хоть даромъ косите!

Словомъ сказать, такъ обставилъ дѣло, что мужичку курицы выпустить некуда. Курица глупа, не разсуждаетъ, что свое и что чужое, бредеть туда, гдѣ лучше, — за это ее сейчасъ въ супъ. Ищеть баба курицу, съ ногъ сбилась, а Кононъ Лукичъ молчить.

— Вы, что-ли, Кононъ Лукичъ, курицу взяли? — пристаётъ она къ барину.

— Не знаю; видѣлъ я давеча курицу у себя въ огородѣ, а твоя ли, моя ли — Христось ихъ разбереть.

— Куда же она дѣвалась?

— Должно быть, въ супъ ко мнѣ попала. Не ходи въ огородъ! — за это я не только чужой, но и своей курицѣ потачки не дамъ.

Что бабѣ дѣлать? Не судиться же изъ-за курицы! Обругаетъ барина, да онъ уже обтерпѣлся. Въ глаза его „мучителемъ“ зовутъ, а онъ только опояску на халатѣ одергиваетъ.

И полеводство свое онъ расположилъ съ расчетомъ. Когда у крестьянъ земля подъ паромъ, у него черезъ дорогу овесъ посѣянь. Видитъ скотина — на пару ей взять нечего, а тутъ же, чуть не подъ самымъ рыломъ, цѣлое море зелени. Нѣтъ-нѣтъ, да и забредеть въ господскіе овсы, а ее оттуда кнутьями, да съ хозяина — штрафъ. Потравила скотина на гривенникъ, а штрафу — рубль. „Хоть все поле стравите — мнѣ же лучше! — ухмыляется Кононъ Лукичъ: — ни градобитіевъ бояться не нужно, ни бабамъ за жнитво платить!“

Однако онъ настолько добръ, что денегъ за штрафы не требуетъ.

— Мнѣ на что деньги! — говоритъ онъ: — на свѣчку Богу да на лампадное маслице у меня и своихъ хватить! А ты вотъ что, другъ: съ тебя за потраву слѣдуетъ рубль, такъ ты мнѣ, вмѣсто того, полдесятинки венаши да сдвой, а ужъ посѣю я самъ. Такъ мы съ тобой по хорошему и разойдемся.

— Мучитель вы нашъ, Кононъ Лукичъ!



— Ты говоришь: „мучитель“, а я говорю: правило такое есть — на чужую собственность не заглядывайся. Я къ тебѣ не хожу, ты ко мнѣ не ходи. Знаешь ли ты, что такое собственность? Ею, другъ, государство держится. Потому всякому своего жаль; а коли своего жаль, такъ, стало быть, и чужого касаться не слѣдуетъ. Всѣ другъ по дружкѣ живутъ; я тебя берегу, ты — меня... потому что у каждаго есть собственность. А ежели кто это забываетъ — значить, тотъ и государству измѣнникъ, да и вообще... ну, просто, значить ничего нестоящій человѣкъ!

Словомъ сказать, и потравы, и порубки не печалятъ его, а радуютъ. Всякій нанесенный ему ущербъ оцѣненъ заблаговременно, на все установлена опредѣленная такса. Цѣлый день онъ бродитъ по полямъ, по лугамъ, по лѣсу, ничего не пропуститъ и словно чутьемъ угадаетъ виновнаго. Даже ночью — однимъ ухомъ спитъ, а другимъ — прислушивается.

На первыхъ порахъ послѣ освобожденія онъ завалилъ мирового посредника жалобами, и постоянно судился, хотя почти всегда проигрывалъ дѣла; но крестьянамъ даже выигрывать надоѣло: выиграешь мѣдный пятакъ; а времени прогуляешь на рубль. Постепенно они подчинялись; отводили душу, ругая Лобкова въ глаза, но назначенныя десятины обрабатывали исправно, не кривя душой. Чего еще лучше!

Другое подспорье — это система такъ-называемыхъ одолженій. У мужичка къ веснѣ и хлѣбъ, и сѣно подошли, а Кононъ Лукичъ всегда готовъ, по-сосѣдски, одолжить.

— Одолжили бы, сударь, пудика два мучки до осени? — кланяется мужичокъ.

— Съ удовольствіемъ, другъ. И процента не возьму: я тебѣ два пуда, и ты мнѣ два пуда — святое дѣло! Извѣстно, за благодарность ты что нибудь поработаешь... Что бы, наприимѣръ? — ну, наприимѣръ, хозяйка твоя съ сношеньками полдесятинки овса мнѣ сжечь. Ахъ, хороша у тебя старшая сноха... я-адрѣная!

— Помилуйте, Кононъ Лукичъ? — полдесятины-то овса сжечь мало-мальски два съ полтиной отдать нужно!

— Это ежели деньгами платить, а мнѣ — за благодарность. Я жѣдь не неволю; мнѣ и гуляючи отработаете. Наступитъ время, по-



сѣбѣтъ овесъ — бабыньки-то твои и не увидятъ, какъ шутя полдесятинки сожнутъ!

За первымъ мужичкомъ слѣдуетъ другой, за другимъ — третій и такъ далѣе. У всѣхъ нужда, и всѣхъ Кононъ Лукичъ готовъ надѣлать. Весной онъ обезпечиваетъ себѣ обработку и уборку полей. Съ наступленіемъ лѣта онъ точно такъ же обезпечиваетъ уборку сѣнокоса.

Здѣсь ему приходитъ на помощь третье отличнѣйшее подспорье — пустошъ...

— Берите у меня пустошъ! — совѣтуетъ онъ мужичкамъ: — я съ васъ ни денегъ, ни сѣна не возьму — на чтѣ мнѣ! Вотъ лужокъ мой всѣмъ міромъ уберете — я и за то благодаренъ буду! Вы это тутъ на гулянкахъ сдѣлаете, а мнѣ — подспорье!

— Все на гулянкахъ да на гулянкахъ! — и то круглый годъ гуляемъ у васъ, словно на барщинѣ! — возражаютъ мужички: — вы бы лучше, какъ и другіе, Кононъ Лукичъ, за деньги, либо исполу...

— Чтѣ вы, Христось съ вами! — да мнѣ стыдно будетъ въ люди глаза показать, если я съ сосѣдями на деньги пойду! Я — вамъ, вы — мнѣ; вотъ какъ по-христіански слѣдуетъ. А какъ скосите мнѣ лужокъ, — я вамъ ведерко поставлю да пирожкомъ обдѣлю — это само собой.

Словомъ сказать, благодаря подспорьямъ, гуляютъ у него мужички на работѣ, а онъ пропитывается.

Скота онъ держитъ немного и стада своего не совершенствуетъ, хотя отъ покупки доброй коровы-ярославки — не прочь: удой отъ нея хорошъ, да и ухода изысканнаго не требуетъ. Это онъ даже въ патриотизмъ себѣ вмѣняетъ.

— Чѣмъ по заграницамъ деньги транжирить, — говоритъ онъ, — лучше свое, отечественное поощрять... такъ ли?

Но чтобъ получить достаточное количество навоза, онъ придумалъ опять своего рода подспорье. Осенью ѣздитъ по ярмаркамъ и сельскимъ аукціонамъ и скупааетъ лошадей-палошницъ. Рублей по десяти за голову, штукъ шестьдесятъ онъ такихъ одровъ накупить и поставить на зиму на мякину да на соломенную рѣзку, чтобъ только не подохла скотина. Къ веснѣ слегка овсецомъ подправить — и продаетъ. Ту же лошадь, въ виду наступленія рабочаго времени, мужичокъ за сорокъ рублей купитъ — смотришь, рублей десять-пятнадцать

барышка съ каждой головы наберется. А навозъ самъ по себѣ... конскій навозъ!

Тутъ барышокъ, тамъ барышокъ, вездѣ, за чтò онъ ни возьмется — вездѣ барышокъ. Правда, что онъ съ утра до вечера мается, ма-клячить, мелочничаетъ, но за то сытъ. Живетъ онъ одиноко; многіе даже думаютъ, что у него совсѣмъ семьи нѣтъ. Но это не такъ: есть у него семья, да только не удалась она. Есть жена, да полудурье, и притомъ попиваетъ, — никому онъ ея не кажетъ. Есть два сына: одинъ — на Кавказѣ ротнымъ командиромъ служитъ, другой — въ моряхахъ. Оба лѣтъ двадцать къ нему глазъ не кажутъ — очень ужъ онъ въ дѣтствѣ тиранилъ — и даже не пишутъ. Есть и дочь, да онъ ее проклялъ. Но онъ до такой степени „изворовался“ въ сельско-хозяйственныхъ ухищреніяхъ, что даже не замѣчаетъ отсутствія семьи.

Однажды, послѣ одного изъ судьбищъ, заѣхалъ къ нему мировой посредникъ и разговорился.

— Изъ чего только вы хлопочете, Кононъ Лукичъ? — спросилъ посредникъ.

— А вы изъ чего?

— Я... какъ же возможно! Я — служу, посильную пользу обществу приношу.

— Всѣ мы изъ-за одного бьемся... кормиться хотимъ. Вы глядите въ книгу и видите фигу — за это деньги получаете; я — около хозяйства колочусь. Сытъ — и слава Богу!

Посредникъ обидѣлся (передъ нимъ дѣйствительно какъ будто фигу вдругъ выросла) и уѣхалъ, а Кононъ Лукичъ остался дома и продолжалъ „колотиться“ по-старому. Зайдетъ въ лѣсъ — бабу поймаетъ, лукошко съ грибами отниметъ; заглянетъ въ поле — скотину выгонитъ и штрафъ возьметъ. Съ утра до вечера все въ маятѣ да въ маятѣ. Только въ праздникъ къ обѣднѣ сходить, и какъ ударять къ „Достойно“ — непременно падетъ на колѣни, вынетъ платокъ и отъ избытка чувствъ сморкнется.

Зимой ему посвободнѣе. Но и тутъ онъ нашелъ себѣ занятіе: лбеды писать. Доноситъ на священника, что онъ въ такой-то царскій день молебень не служилъ; на Анпетова — что онъ своимъ приѣздомъ въ смущеніе приводитъ; на сельскаго старосту — что онъ, будучи вызванъ въ воскресенье къ исправнику, такъ отважно выразился, что даже міряне потушили очи.

Словомъ сказать, совершенно доволенъ, что его со всѣхъ сторонъ обступили мелочи, — ни дыхнуть, ни подумать ни о чемъ не даютъ. Цѣною этого онъ сытъ и здоровъ, а больше ему ничего и не требуется.

#### 4. — Міроѣды.

И міроѣдъ не чуждъ природѣ. Разумѣется, не въ смыслѣ сельскохозяйственномъ, а въ томъ, что и онъ производитъ свой чужеядный промыселъ на лонѣ природы, въ вольномъ воздухѣ, въ виду луговъ, лѣсовъ и болотъ.

Міроѣды — порожденіе новѣйшихъ временъ; хотя и въ до-реформенное время этотъ терминъ существовалъ, но означалъ онъ совсѣмъ не то, что теперь означаетъ. Собственно говоря, былъ и тогда міроѣдъ, въ современномъ значеніи этого слова, но онъ ютился въ области крѣпостного права и, конечно, не назывался міроѣдомъ. Затѣмъ, въ средѣ государственныхъ крестьянъ, міроѣдами прозывались „коштаны“, т.-е. горлопаны, волновавшіе мірскія сходки и находившіеся на замѣчаніи у начальства, какъ бунтовщики; въ средѣ мѣщанъ, подъ этой же фирмой процвѣтали „кулаки“, которые подстерегали у заставъ крестьянъ, ѣдущихъ въ городъ съ продуктами, и почти силой уводили ихъ въ купеческіе дворы, гдѣ ихъ обсчитывали, обмѣривали и обвѣшивали. Наконецъ, были прасолы, ѣздившіе по усадьбамъ и деревнямъ и скупавшіе и продававшіе всякій сельскій продуктъ. По тогдашнему простому времени, и этого было довольно.

Истинный міроѣдъ зачался одновременно съ упраздненіемъ крѣпостного права, но настоящимъ образомъ онъ оперился, оформился и расцвѣлъ, благодаря сивушной реформѣ.

Крестьянская реформа создала обстановку. Она дала деревенскому люду общину, но общину своеобразную, содержаніе которой исчерпывалось круговою порукой, облегчавшей исправный платежъ податей и повинностей. Ни въ какомъ другомъ отношеніи эта новая явленная община ни обезпеченія, ни ручательства не представляла. Для захудалаго мужика она еще могла бы представлять нѣкоторое



обезпеченіе въ смыслѣ болѣе равномѣрнаго распредѣленія денежныхъ сборовъ; но вѣдь для подобныхъ платежныхъ единицъ (имъ присвоивается кличка „нерадивыхъ“) существуютъ соотвѣтствующія мѣры побужденія,—стало-быть, тутъ и безъ равномѣрности можно обойтись. Для мужика сильнаго, успѣвшаго „забраться“ еще при крѣпостномъ правѣ, община представляла выгоду лишь въ томъ случаѣ, если рядомъ съ нею шло порабощеніе болѣе слабыхъ платежныхъ единицъ. Человѣку сильному и предпріимчивому тяжело подчиниться общиннымъ порядкамъ, которые прежде всего обезличиваютъ его, налагаютъ путы на всю его дѣятельность, вторгаются въ его жизненную обстановку и вообще держатъ подъ угрозой „сравненія съ прочими“. Идеалы сильнаго деревенскаго мужика не особенно высоки; онъ крѣпко держится за нихъ, употребляя на осуществленіе ихъ весь запасъ хитрости, лукавства и умѣлости, который находится въ его распоряженіи. Чтобы достигнуть этого, надобно прежде всего ослабить до минимума путы, связывающія его дѣятельность, устроиться такъ, чтобы стоять въ сторонѣ отъ прочей „гольтепы“, чтобы порядки послѣдней не были для него обязательны, чтобы за нимъ обезпечена была личная свобода дѣйствій; словомъ сказать, чтобы имя его пользовалось почетомъ въ мѣрѣ сельскихъ властей и черезъ посредство ихъ производило давленіе на голь мірскую. Затѣмъ, по сущей справедливости, не лишнее извлечь и осязательную выгоду изъ созданнаго такимъ образомъ привилегированнаго положенія. Потому что, какъ бы ни были ослаблены узы его зависимости отъ общины, все-таки онъ числится членомъ ея, слѣдовательно — привязанъ къ извѣстному мѣсту, стѣсненъ въ передвиженіяхъ. Надо вознаграждать себя за это. По зрѣломъ размышленіи, такое вознагражденіе онъ можетъ добыть, не ходя далеко, въ нѣдрахъ той „гольтепы“, которая окружаетъ его. Надо только предварительно самого себя освободить отъ путъ совѣсти и съ легкимъ сердцемъ приступить къ задачѣ, которая ему предстоитъ и формулируется двумя словами: „ѣсть мѣръ“. И онъ рѣшается на этотъ подвигъ тѣмъ съ меньшимъ затрудненіемъ, что слово „совѣсть“ имѣетъ для него значеніе, обнимающее очень ограниченныя кругъ нравственныхъ представленій самаго ходячаго свойства. Онъ разсуждаетъ такъ:—Я выбрался изъ нужды — стало-быть, и другіе имѣютъ возможность выбраться; а если они не дѣлаютъ этого, то это происходитъ оттого, что они не умѣютъ управ-



лять собою. Учитъ ихъ некогда, да и незачѣмъ, а надо просто-на-просто ѣсть ихъ, хотя бы ради того, чтобы личный ихъ трудъ не растрчивался на вѣтеръ, а гдѣ-нибудь производилъ накопленіе. „Гдѣ-нибудь“ — это у него. Отсюда названіе: „міроѣдъ“.

Наицѣлесообразнѣйшее средство для удовлетворенія алчности дала ему сивушная реформа. Она каждую деревню наградила кабакомъ и отъ кабатчика потребовала только соблюденія двухъ условій: приговора общества и нравственнаго ценза. Приговоръ общества міроѣду достать очень легко: стѣдуетъ только выставить „гольтепѣ“ ведро или два (смотря по величинѣ деревни) — и приговоръ готовъ. Въ большинствѣ случаевъ, кромѣ официальнаго приговора, давался еще дополнительный, которымъ постановлялось: никому другому въ деревнѣ другого кабака не разрѣшать и никому изъ членовъ общества въ кабакахъ сосѣднихъ деревень не пить, подъ опасеніемъ штрафа, а пить исключительно у него, имя рекъ, міроѣда. Что же касается до нравственнаго ценза, то добыть его еще легче. Мужикъ онъ обстоятельный, исправный, никого явно не убилъ, не ограбилъ, а стало быть и подъ сѣдомъ не бывалъ. Онъ міроѣдъ, — только и всего; но развѣ міроѣдство подлежитъ компетенціи суда?

Дешевизна водки произвела оглушающее дѣйствіе. „Гольтена“ массой потянулась въ кабакъ. Какъ будто она сразу хотѣла вознаграждать себя за долгіиі искусы лишенія продукта, который, въ виду ея одичалости, представлялъ для нея громадныи соблазнъ. Но сверхъ того ей необходимо было забыться, угорѣть. Обида преслѣдуетъ ее всюду: и дома, и на улицѣ. Только кабакъ — въ лицѣ своего властелина — видитъ въ немъ равноправнаго потребителя и ограждаетъ эту равноправность. Только въ кабакѣ онъ самъ-большой и можетъ прикрикнуть даже на самого міроѣда: „Ты чтѣ озорничаетъ? наливай до краевъ!“ — И міроѣдъ не отвѣтитъ на его окрикъ, а только ухмыльнется въ бороду.

„Разоренье“ вошло въ полный фазисъ своего развитія. Пропивались заработанныя тяжкимъ трудомъ деньги, и ежели денегъ не доставало — пропивалась самая жизнь. Рабочія орудія, скоть, одежда, личный трудъ, будущій урожай — все потянулось къ кабаку и словно пропадало въ утробѣ кабатчика. А рядомъ съ кабакомъ стояла лавочка, гдѣ весь деревенскій товаръ былъ на-лицо, начиная отъ гвоздя до женскаго головного платка. Зачѣмъ запасаться дома, зачѣмъ ко-

пить, коль скоро все въ лавочкѣ найти можно?! И денегъ не нужно — знай, хребтомъ шевели: міроѣдъ своего не упустишь! онъ, братъ, укажетъ, гдѣ и какъ шевелить!

И дѣйствительно: онъ укажетъ. Онъ знаетъ каждаго члена окружающей „гольтепы“ и можетъ во всякое время опредѣлить, кто чего стоитъ. Вотъ этотъ хребетъ еще долго выдержитъ, а вонъ тотъ ужъ надламывается. Первому можно безъ риска вѣрить; что касается до второго, то не лишнее и остеречься. И изба, и клѣтъ, и соха, и всякій гвоздь въ избѣ — все на виду у міроѣда и все принимается имъ въ расчетъ. Даже семейное положеніе: у кого сынъ на фабрикѣ, у кого дочь въ казачкахъ — въ крайнемъ случаѣ, они и отработать могутъ. Мужичья изба словно фонарь — все въ ней наружу. Вотъ она стоитъ оголивши ребра, словно остовъ звѣря. Тамъ бревно изъ пазовъ вышло, тутъ — истрепало совѣмъ; солома на крышѣ гніетъ, вѣтромъ ее истрепало, на кормъ скотинѣ клочья весной повытаскали. Но и изъ этой груды полустлѣвшаго хлама пользишку извлечь можно. Вонъ онъ! вонъ! около телѣги копошится! Э, да онъ, видно, остатки сѣна на возъ навѣвать хочетъ!..

— Авдѣй, а Авдѣй! никакъ ты сѣно-то въ городъ везешь? — кричитъ міроѣдъ на всю улицу.

— Собрался-было, Петръ Матвѣичъ, — робко откликается Авдѣй, чувствуя угрозу.

— Вези лучше ко мнѣ — тѣ же деньги, да и въ городъ ѣздить не нужно. А коли искупить чтò въ городѣ хотѣлъ, такъ и у меня въ лавкѣ товару довольно.

Авдѣй не прекословитъ. Вязанку за вязанкой онъ перетаскиваетъ сѣно во дворъ къ міроѣду и получаетъ расчетъ. Въ городѣ сѣно тридцать копѣекъ стоитъ, міроѣдъ даетъ двадцать-пять: — „экой ты братецъ! поѣхалъ бы въ городъ — навѣрное больше пяти копѣекъ на пудъ истрясъ бы!“

— Чтой-то, Петръ Матвѣичъ, словно бы маловато вѣсу у васъ выходитъ! Надо быть, сѣна у меня тридцать пудовъ было, а у васъ двадцать-семь вѣсы показываютъ...

— Чудакъ, братецъ, ты! развѣ я вѣшало? стрѣлка вѣшаетъ! Вонъ смотри стрѣлку-то — прямо стоитъ? А коли прямо — значитъ, вѣрно.

— У Петра Матвѣича вѣсы живые: сколько ему захочется,

столько и вѣсятъ!—шутить сосѣдъ, тоже членъ мірской гольтены, случайно проходя мимо.

Попутиль прохожій, попутиль и самъ продавецъ, пошутить и міроѣдъ — такъ на шуткѣ и помирятся. Расчетъ будетъ сдѣланъ все-таки какъ міроѣду хочется; но въ добрый часъ онъ и косушку поднести не прочь.

— Вотъ на этомъ спасибо!—благодарить Авдѣй:—добѣръ ты, Петръ Матвѣичъ! это такъ только вороги твои клепятъ, будто ты крестьянское горе сосешь... Ишь вѣдь! и денежки до копѣчки заплатилъ, и косушку поднесъ; кто, кромѣ Петра Матвѣича, такъ сдѣлаеть? — Ну, а теперь пойти къ старостѣ, хоть пятишницу въ недоимку отдать. И то намеднись стегать меня собирался.

Съ утра до ночи голова міроѣда занята расчетами; съ утра до ночи взоръ его вглядывается въ деревенскую даль. Заручившись деревенской статистикой, онъ мало того, что знаетъ хозяйственное положеніе каждаго однообщественника, какъ свое собственное, но можетъ даже напомнить односельцу о такихъ предметахъ, о которыхъ тотъ и самъ позабылъ.

— А помнишь, дядя Семень, рыдванъ у тебя телѣжный старенькій былъ — гдѣ онъ теперь?

— Ахъ, прахъ-те поberi! — спохватывается дядя Семень: — и взаправду вѣдь былъ! гдѣ онъ теперь? Вотъ ловко находку нашель!

И бѣжить домой, обшариваетъ дворъ и наконецъ гдѣ-нибудь въ пустомъ хлѣву, гдѣ осенью поросенка откармливали, находитъ остовъ телѣжнаго рыдвана.

— Нашель!—радуется онъ на всю улицу:—ишь ты, починить его мало-мальски, и опять за новый пойдетъ! И съ чего это я его бросилъ!

— За новый онъ не пойдетъ—это ты вздоръ мелешь!—резонно говоритъ Петръ Матвѣичъ:—и бросилъ ты его оттого, что онъ ужъ совсѣмъ изрѣшетился. А коли хочешь за него полштофъ—бери!

— Получай! — соглашается дядя Семень: — чтожъ! кабы не ты, я и не вспомнилъ бы, что у меня на дворѣ кладъ есть. Ахъ, добѣръ ты, Петръ Матвѣичъ, ужъ такъ ты добѣръ, такъ добѣръ!

Дяди Семень доволенъ, потому что онъ сутки пьянъ. Петръ Матвѣичъ тоже доволенъ, потому что онъ почистилъ телѣжный



рыдванъ, обиль его изнутри рогожей, — и будетъ онъ ему еще долго служить наравнѣ съ новыми.

Мірофды по происхожденію бываютъ двухъ сортовъ: аборигены и наѣзжіе.

Мірофдъ-аборигенъ ѣсть своихъ однообщественниковъ, а потому для него обязательна извѣстная доля осмотрительности. Онъ зачался еще при крѣпостномъ правѣ и принадлежитъ къ числу тѣхъ благомысленныхъ мужиковъ, которыми такъ любили хвастаться помѣщики. Во всей округѣ онъ былъ извѣстенъ подъ именемъ „министра“, и помѣщикъ не только не препятствовалъ ему разживаться, но даже помогалъ, — участвовалъ въ его торговыхъ операціяхъ или просто ссужалъ за проценты деньгами. Односельцевъ благомысленный мужикъ не трогалъ, такъ какъ это было бы въ ущербъ помѣщику; онъ велъ свои обороты на сторонѣ, посѣщая базары и ярмарки. И покупалъ, и продавалъ все, что представлялось въ данную минуту выгоднымъ, не держа съ спеціальности; но въ результатѣ нерѣдко образовывался значительный капиталъ. Съ паденіемъ крѣпостного права, нѣкоторые изъ „благомысленныхъ“ выписались въ купцы, но большинство, по естественному ходу вещей, превратилось въ мірофдовъ. Такое прошлое, не представляя особенныхъ задатковъ дѣйствительной благомысленности, все-таки свидѣтельствовало о недюжинномъ умѣ и о способности извлекать пользу изъ окружающей среды и тѣхъ условій, въ которыхъ она живетъ. И точно: никто зорче его не присмотрится, никто основательнѣе не взвѣситъ. Онъ неизрѣнно возьметъ „свое“, но возьметъ въ-время и именно столько, сколько можно.

Выше я сказалъ, что онъ напомнитъ дядѣ Семену о существованіи заброшеннаго телѣжнаго рыдвана, но одновременно съ этимъ онъ прочтетъ дядѣ Авдѣю наставленіе, что вести на базаръ послѣднюю животиною — значитъ окончательно разорить домъ, что можно потерпѣть, оборотиться и т. д. Вообще гдѣ слѣдуетъ онъ нажметъ, а гдѣ слѣдуетъ и отдохнуть дастъ. Дать мужику безъ резону потачку — онъ носъ задеретъ, но, съ другой стороны, дать захудалому отдохнуть — онъ и опять исподволь обростетъ. И опять его стриги, сколько хочется.

На этомъ умѣнни — взять въ-время и сколько можно — основанъ весь расчетъ мірофда-аборигена. „Гольтепа“ мірская знаетъ это и



не скрываетъ отъ себя, что отъ помѣщика она попала въ крѣпость міроѣду. Но процессъ этого перехода произошелъ такъ незамѣтно и естественно, и отношенія, которыя изъ него вытекли, такъ чужды насильственности, что приходится только подчиниться имъ. И дѣйствительно, „гольтепа“ подчинилась, и не только въ силу тяготящаго надъ ней рока, но и не безъ нѣкоторой доли сознательности. Она понимаетъ, что къ ней присосалось нѣчто чужеродное, благодаря которому она постепенно опускается все глубже и глубже, но не чувствуетъ тисковъ, не нащупываетъ дна. Существова лишь въ качествѣ живого рабочаго инвентаря, она только тѣмъ и имѣетъ, чтò въ обрѣзъ необходимо для поддержанія этого инвентаря въ надлежащей исправности.

Что касается до сельско-хозяйственныхъ оборотовъ міроѣда-аборигена, то онъ ведетъ свое полеводство тѣмъ же порядкомъ, какъ и „хозяйственный мужичокъ“. Онъ любитъ и холить землю, какъ настоящій крестьянинъ, но уже не работаетъ ее самъ, а предпочитаетъ пользоваться дешевымъ или даровымъ трудомъ кабальной гольтепы. Сколько находится у него въ распоряженіи этого труда, столько беретъ онъ и земли. Онъ не гонится за большими сельско-хозяйственными предпріятіями, ибо знаетъ, что сила его не тутъ, а въ той неприступной крѣпости, которую онъ создалъ себѣ, благодаря кабаку и торговымъ оборотамъ. Такъ что всѣ его требованія относительно земли, какъ надѣльной, такъ и арендуемой, ограничиваются тѣмъ, чтобъ результаты ея производительности доставались ему даромъ, составляли чистую прибыль.

Кромѣ міроѣда-аборигена, въ деревняхъ нерѣдко встрѣчается міроѣдъ наѣзжій. Послѣдній является на мѣсто уже вполне свободнымъ отъ тѣхъ сложныхъ соображеній, которыя отъ времени до времени волнуютъ міроѣда-аборигена. Онъ, собственно говоря, человѣкъ выморочный. Не будучи членомъ общины, онъ не чувствуетъ себя связаннымъ ни съ ея интересами, ни съ ея людомъ. Въ его глазахъ община есть объектъ для эксплуатаціи—и ничего больше. Онъ беретъ съ этого объекта все, чтò можетъ, беретъ нагло, ни передъ чѣмъ не задумываясь, и зная, что сегодня онъ тутъ, а завтра—въ иномъ мѣстѣ. Быть можетъ, онъ присасывается не такъ солидно, какъ мѣстный аборигенъ, но за то всѣ его прижимки наглядны, безстыдны и ненавистны. Міроѣдъ-аборигенъ возбуждаетъ страхъ; міроѣдъ на-

ѣзжій—ненависть. Онъ самъ это отлично понимаетъ, и потому находится въ вѣчномъ трепетѣ краснаго пѣтуха.

Наѣзжій мироѣдъ—разночинецъ; это или бывший дворовый человѣкъ, или мѣщанинъ изъ сосѣдняго города, соблазнившійся барышами, которые сулила сивушная реформа, или, наконецъ, оставшійся безъ мѣста, по случаю реформъ, чиновникъ. Иногда (впрочемъ, какъ рѣдкое исключеніе) мироѣдомъ является и самъ бывший помѣщикъ.

Бывшій дворовый человѣкъ непремѣнно возлежалъ на лонѣ у своего помѣщика. То-есть, служилъ камердинеромъ, выполнялъ негласныя порученія, подлаживался къ барскимъ привычкамъ, изучалъ барскіе вкусы и вообще пользовался довѣріемъ настолько, что имѣлъ право обшаривать барскіе карманы и входить, въ отсутствіе барина, въ комнату, гдѣ находился незапертый ящикъ съ деньгами. Онъ воровалъ господскія сигары и потчивалъ ими друзей, ѣлъ съ господскаго стола, ходилъ въ гости въ господскомъ платьѣ и вообще получилъ вкусъ къ барской жизни. Друзья барина величали его по имени и по отчеству; нѣкоторые занимали у него деньги и жали ему руку.

Ежели баринъ велъ картежную игру, то камердинеру представлялась доходная статья настолько значительная, что устраняла всякія подозрѣнія относительно его честности. При картахъ—вино, бутылки неслитанныя; наворачиваются счастливые игроки, которымъ и сто рублей выбросить на водку расторопному лакею ничего не стоитъ. Правда, что онъ ночей не спалъ, ногъ подъ собой не слышалъ, но за то у него скопился настолько значительный капиталъ, что онъ уже при первомъ слухѣ о предстоящей эмансипаціи началъ тосковать о самостоятельности. И когда роковой часъ наступилъ, то онъ, давъ барину время раздѣлаться съ крестьянами, въ самый день полученія выкупной ссуды, бросилъ его на произволь судьбы.

— Наворовалъ довольно?—внезапно прозрѣлъ баринъ.

— Послужилъ—и будетъ,—отвѣчалъ скромно вчерашній довѣренный слуга.

И что же! несмотря на прозрѣніе, барина сейчасъ же начала угнетать тоска: „Куда я теперь дѣвусь? Все былъ Иванъ Ѳомичъ—и вдругъ его нѣтъ! все у него на рукахъ было; все онъ зналъ, и подать, и принять; зналъ привычки каждаго гостя, чѣмъ кому угодить—когда все это опять наладится?“ — И долго тосковалъ баринъ,

долго пересчитывалъ оставшуюся послѣ Ивана Ѳомича посуду, бѣлье, вспоминалъ о какихъ-то исчезнувшихъ пиджакахъ, галстукахъ, жилетахъ; но наконецъ махнулъ рукой и зажилъ по старому.

Между тѣмъ Иванъ Ѳомичъ ужъ облюбовалъ себѣ мѣстечко въ деревенскомъ посѣлкѣ. Ахъ, хорошо мѣстечко! Въ самой серединѣ деревни, на берегу обрыва, на днѣ котораго пробился ключъ! Кстати, тутъ оказалась и упалая изба. Владѣлецъ ея, зажиточный легковой извозчикъ, вслѣдъ за объявленіемъ воли, собралъ семейство, заколотилъ окна избы досками и совсѣмъ переселился въ Москву.

Иванъ Ѳомичъ выставилъ міру два ведра и получилъ приговоръ, затѣмъ сошелся за-дешево съ хозяиномъ упалой избы и открылъ „постоялый дворъ“, пристроивъ сбоку небольшой флигелекъ подъ лавочку. Не принявъ еще окончательнаго рѣшенія насчетъ своего будущаго, — въ головѣ его мелькалъ городъ съ его шумомъ, суетою и соблазнами, — онъ устроилъ себѣ въ деревнѣ лишь временное гнѣздо, которое однакожъ было вполне достаточно для начатія атаки. И онъ повелъ эту атаку быстро, нагло и горячо.

Въ сельско-хозяйственномъ смыслѣ дѣйствія Ивана Ѳомича имѣютъ тотъ же временный характеръ. Онъ охотно снимаетъ въ краткосрочную аренду земельные участки, въ особенности запущенныя старыя пашни, поросшія мелкимъ лѣсомъ; поросль выжжетъ, землю распашетъ „за благодарность“, сниметъ хлѣбъ-другой, ограбитъ землю и уйдетъ. Еще охотнѣе онъ занимается лѣснымъ дѣломъ. Купить лѣсочекъ подъ вырубку, срубить все до послѣдней годовалой березки, а голое мѣсто отдать въ кортому подъ пастбу скота. Такъ что, когда, по окончаніи аренднаго срока, вырубка возвратится къ владѣльцу, то послѣдній можетъ быть увѣренъ, что тутъ ужъ никогда даже осинка не выростетъ.

И благо Ивану Ѳомичу, что онъ устраивается въ деревнѣ лишь временно. Деревенскій постоянный дворъ для него только школа, въ которой онъ пріобрѣтаетъ знанія и навыкъ, необходимыя для грабительства въ болѣе широкихъ размѣрахъ. Но, кромѣ того, годы, проведенныя въ деревнѣ, полезны и въ томъ отношеніи, что они даютъ время забыть его лакейское прошлое. Въ сущности, онъ ни на минуту не спускаетъ глазъ съ Петербурга, и уже видитъ себя настоящимъ торговцемъ, владѣльцемъ, на первое время, хоть табачнаго магазина. И кто знаетъ, что ему сулитъ будущее? Быть можетъ, онъ



будеть членомъ санитарной комиссіи, водопроводной субкомиссіи и проч. — вообще, необходимою спицей въ колесницѣ. Можетъ быть, на груди его будетъ блистать медаль, а можетъ быть...

О прочихъ наѣзжихъ міроѣдахъ распространяться я не буду. Они ведутъ свое дѣло съ тою же наглостью и горячностью, какъ и Иванъ Ѳомичъ, — только размахъ у нихъ не такъ широкъ и перспективы уже. И чиновникъ, и мѣщанинъ навсегда завѣкуютъ въ деревнѣ, безъ малѣйшей надежды попасть въ члены суб-субкомиссіи для вывозки изъ города нечистотъ.

Подобно хозяйственному мужику, сельскому священнику и помѣщику, міроѣдъ всю жизнь колотится около крохъ, не чувствуя подъ ногами иной почвы и не усматривая впереди ничего, кромѣ крохъ. Всѣхъ одинаково обступили мелочи, всѣ одинаково въ нихъ однѣхъ видятъ обезпеченіе противъ угрозъ завтрашняго дня. Но поэтому-то именно мелочи, на общепринятомъ языкѣ, и называются „дѣломъ“, а все остальное — мечтаніемъ, угрозою...





## II.

# МОЛОДЫЕ ЛЮДИ.

---

### 1.—Сережа Ростокинъ.

Русскому читателю достаточно извѣстно значеніе слова: „шало-най“. Это—человѣкъ, всѣмъ существомъ своимъ преданный праздности, это—идолъ портныхъ, содержателей ресторановъ и кокотокъ, покуда не запутается въ неоплатныхъ долгахъ. Предвидя неминуемое банкротство и долговую тюрьму, онъ нерѣдко дѣлается воромъ, составителемъ фальшивыхъ документовъ и является дѣйствующимъ лицомъ въ крупныхъ уголовныхъ процессахъ. Но иногда благополучно ускользаетъ отъ скандала, исчезая куда-нибудь въ деревню на пріятельскіе хлѣба. Процвѣтаетъ онъ исключительно въ большихъ городахъ.

Такъ впрочемъ было въ сравнительно недавнее время, когда шало-най былъ только бесполезенъ и оскорблялъ нравственное чувство единственно своею ненужностью. Безъ думы, не умѣя различить добра отъ зла, не понимая уроковъ прошлаго и не имѣя цѣли въ будущемъ, онъ жилъ со дня на день, веселый, праздный и счастливый своею невѣжественностью. Просыпался утромъ поздно и посвистывалъ; сидѣлъ битый часъ или два за туалетомъ, чистилъ ногти, холилъ щеки, вертѣлся передъ зеркаломъ, не рѣшаясь, какой надѣть жилетъ, галстухъ, и опять посвистывалъ. Въ два часа садился въ собственную эгоистку и фхаль завтракать къ Дюсо; тамъ встрѣчался со стаею такихъ же шалопаевъ и условливался насчетъ остального дня; въ четыре часа выходилъ на Невскій, улыбался проѣзжавшимъ мимо ко-

коткамъ и жалъ руки знакомымъ; въ шесть часовъ обѣдалъ у того же неизмѣннаго Дюсо, а въ праздники — у *ma tante*; вечеръ проводилъ въ балетѣ, а оттуда, купно съ прочими шалопаями, закатывался на долгое ночное бдѣніе туда же къ Дюсо. Говорилъ мало, мыслилъ еще меньше, ибо былъ человекъ къ тѣлодвиженію по преимуществу.

Такъ протекала эта бездумная жизнь со дня выхода изъ „заведенія“ вплоть до сѣдыхъ волосъ. Надѣвши сѣдые волосы, шалопаи впервые задумывался. Онъ еще продолжалъ гулять въ урочный часъ по Невскому, распахнувъ на груди пальто въ трескучій морозъ, но уже начиналъ чувствовать нѣкоторые тѣлесные изъяны. То ногу волочить приходится, то лопатка заноситъ, да и руки начинаютъ трястись (стаканъ съ виномъ рискуетъ расплескаться, покуда донесетъ до рта). Кромѣ того, вслѣдствіе усиленныхъ настояній содержателей ресторановъ, портныхъ и проч., ему пришлось разсчитаться. Кое-что ему простили, но все-таки вышла сумма настолько изрядная, что онъ и самъ не подозрѣвалъ. Разсчитавшись, онъ увидѣлъ себя въ обладаніи такой скромной фортуны, что продолжать жить по прежнему оказывалось немислимымъ. Но, разъ попавши въ праздничную колею, онъ уже не имѣлъ возможности сойти съ нея, даже еслибы хотѣлъ. Онъ не зналъ ничего другого; ни умъ, ни чувство, ни воображеніе — ничто не говорило ему объ иной жизни. Тогда онъ или дѣлался героемъ уголовныхъ процессовъ, или же изъ шалопаи дѣятельнаго постепенно превращался въ скромнаго *riche assiett'a*. Пристраивался къ кружку только-что вылупившихся шалопаевъ и менторствовалъ въ немъ. Пилъ и ѣлъ на счетъ молодыхъ людей, разсказывалъ до цинизма отвратительные анекдоты, пѣлъ поганья пѣсни, паясничалъ; словомъ сказать, продѣлывалъ все гнусности, которыя радуютъ и заставляютъ заливаться неистовымъ хохотомъ жеребачьи сердца. Наконецъ наступало еще болѣе трудное время. Его щелкали въ носъ, мазали по лицу селедкой, заставляли брать въ ротъ сигару зажженнымъ концомъ, выпивать подлую смѣсь оцивковъ и проч. И хохотали при этомъ, хохотали до слезъ. Затѣмъ, что дальше, то труднѣе и труднѣе. Онъ уже не смѣлъ войти въ ту комнату, гдѣ раздавался хохотъ его неблагодарныхъ учениковъ, и скромно становился у буфета, гдѣ татаринъ буфетчикъ, изъ жалости, наливалъ ему рюмку водки и давалъ бутербродъ *задаромъ*. Постоявши въ буфетѣ, онъ, по привычкѣ, отправлялся на Невскій и подолгу застаивался передъ витри-

нами братьевъ Елисеевыхъ, любяся выставкой гастрономическихъ повинокъ. Желудокъ страстно ныль, зубы машинально жевали; наконецъ онъ не выдерживаль, нащупываль въ карманъ рублевку и покупаль четверть фунта икры. Это былъ его обѣдъ. Измаявшись и измучившись, онъ какъ-то внезапно совѣмъ исчезаль. Въ одно прекрасное утро въ газетахъ появлялся его некрологъ:

„На дняхъ умеръ Иванъ Ивановичъ Обносковъ, извѣстный въ нашемъ свѣтскомъ обществѣ какъ милый и неистощимый собесѣдникъ. До конца жизни онъ сохраниль веселость и добродушный юморъ, который нерѣдко впрочемъ заставляль призадумываться. Никто и не подозрѣваль, что ему ужъ семьдесятъ лѣтъ — до такой степени всѣ привыкли видѣть его въ урочный часъ на Невскомъ проспектѣ бодрымъ и пріятливымъ. Еще наканунѣ его тамъ видѣли. Миръ праху твоему, незлобивый старикъ!“

Таковъ былъ шалопай недавняго прошлаго; такимъ же остался онъ и теперь, ежели взглянуть на него исключительно со стороны его внутренняго ничтожества. То же празднолюбіе, та же бездумность, то же безцѣльное прожиганіе жизни въ чаду ресторановъ, въ плѣну у портныхъ и кокотокъ. Но къ этому прибавилась одна черта, которая дѣлаеть его не только нравственно-оголѣлымъ, но и вреднымъ. Онъ заразился честолюбіемъ и пытается проникнуть въ тайны внутренней политики, которая, такимъ образомъ, дѣлается однимъ изъ видовъ высшаго шалопайства. Mon oncle и ma tante успѣли его убѣдить, что нынче такіе люди нужны, и онъ охотно повѣрилъ имъ. Онъ шляется уже не по однимъ ресторанамъ, но заглядываетъ и въ канцеляріи и предлагаетъ свои услуги. Иногда даже, въ самомъ разгарѣ оргіи, онъ задумывается и начинаетъ бормотать что-то гнѣвное. Онъ недоволенъ, онъ утверждаетъ que tout est à refaire, и инстинктивно грозитъ пальцемъ въ пространство. Спросите его: кто тебя, дурашка? кому ты грозить? — онъ навѣрное повторить ту же стереотипную фразу: tout est à refaire. Онъ слышалъ, что эта фраза въ ходу на жизненномъ рынкѣ, что она сама по себѣ представляетъ залогъ, и чувствуетъ себя взбурораженнымъ ею, ждетъ, что она дастъ ему нѣчто въ будущемъ. Mon oncle и ma tante, съ своей стороны, ходатайствуютъ. И очень часто, съ ихъ помощью, а также при содѣйствіи другихъ, уже успѣвшихъ заручиться, шалопаяевъ, онъ обрѣтаетъ же-



лаемое сокровище, такъ что старость не застаётъ его врасплохъ, какъ шалопая прежнихъ временъ.

Таковъ именно герой настоящаго этюда, Сережа Ростокинъ.

Онъ, такъ сказать, шалопай высшей школы. Ему не больше двадцати-пяти лѣтъ, и еще памятна скамья „заведенія“, въ которомъ онъ воспитывался и обучался краткимъ наукамъ. Онъ имѣетъ хорошія матеріальныя средства, живетъ въ удобной квартирѣ, держитъ собственный экипажъ, ходитъ въ безукоризненномъ бѣлѣ и одѣвается у лучшаго портного. Всегда душой, свѣжій и бодрый, онъ приводитъ въ умиленіе кокотокъ, къ вящей зависти дамочекъ и дѣвицъ, посѣщающихъ салоны *mon oncle* и *ma tante*. Послѣдніе возлагаютъ на него большія надежды (они бездѣтны, и имѣніе ихъ должно перейти Сережѣ) и исподволь подыскиваютъ ему приличную партію; но онъ покуда еще уклоняется отъ брачныхъ оковъ. Вообще онъ появляется въ салонахъ лишь мелькомъ и предпочитаетъ проводить время въ ресторанахъ, въ обществѣ кокотокъ, у которыхъ и тѣлодвиженія свободнѣе, и всегда отыщется на языкѣ *le mot pour rire*.

Заглянемте утромъ въ его квартиру: Это очень уютное гнѣздышко, которое французъ лакей Шарль содержитъ въ величайшей опрятности. Это для него тѣмъ легче, что хозяина почти цѣлый день нѣтъ дома, и, стало быть, обязанности его не идутъ дальше утра и возобновляются только къ ночи. Остальное время онъ свободенъ и шалопайничаетъ не плоше самого Ростокина.

До десяти часовъ въ квартирѣ царствуетъ тишина. Шарль пьетъ кофе и перемигивается черезъ дворъ съ мастерицами швейнаго магазина. Но въ то же время онъ чутко прислушивается.

Вьетъ половина одиннадцатаго; Шарль осторожно стучится въ дверь Серезиной спальни. Слышится позѣвыванье, потягиванье и наконецъ раздается громкое: „*entrez!*“ Начинается туалетъ...

Я не буду описывать подробностей и тайнъ этого сложнаго процесса: не имѣю для этого ни достаточныхъ данныхъ, ни надлежащаго искусства. Въ спальнѣ раздается то посвистыванье, то тихое мурлыканье — это Сережа вспоминаетъ видѣнное и слышанное наканунѣ. Онъ сидитъ передъ зеркаломъ, препарируетъ себя и улыбается. Именно только улыбается, улыбается безотносительно, безъ всякой мысли. Въ головѣ его пробѣгаютъ какіе-то обрывки безъ связи и послѣдовательности, такъ что, въ сущности, онъ, если можно такъ



выразиться, не сознаетъ себя сущимъ. Хорошо ему—вотъ и все. Онъ, слава Богу, проснулся, и впереди его ждетъ совсѣмъ бѣлый день, безъ точекъ, безъ пестрины, однимъ словомъ, день, въ который, какъ и вчера, *ничего не можетъ случиться*. А ежели и предстоитъ какая-нибудь особенность, въ родѣ, на примѣръ, привоза свѣжихъ устрицъ и заранѣе даннаго обѣщанія собраться у Одинцова, то и эта неголовомная подробность уже зараньше занесена имъ въ *sagnet*, такъ что стоитъ только заглянуть туда и весь день какъ на ладони. Во всякомъ случаѣ думать ему нѣтъ надобности, а можно только улыбаться. Улыбается онъ и безъ повода, просто самому себѣ, и случайно припоминая какую-нибудь легонькую проказу, въ которой онъ былъ дѣйствующимъ лицомъ. Покуда онъ улыбается и препарируетъ себя, Шарль летаетъ какъ муха, приготавливая кофе и легкій завтракъ и раскладывая по стульямъ столовой нѣсколько паръ платья для выбора.

Подкрѣпившись и рѣшивъ вопросъ о панталонахъ, галстухѣ и проч., Сережа начинаетъ одѣваться. Опять посвистыванье, опять улыбки и опять ни одной мысли. Время летитъ незамѣтно среди колебаній и переговоровъ съ Шарлемъ, раздается облегчительное: „*enfin, me voici en règle!*“ — и великій процессъ одѣванья конченъ. Часы показываютъ два; Сережа надѣваетъ шляпу, натягиваетъ перчатки и въ послѣдній разъ останавливается передъ зеркаломъ. Тутъ онъ осматриваетъ себя съ ногъ до головы, сзади, съ боковъ, и, довольный собой, выходитъ на крыльцо, гдѣ ужъ его ожидаетъ экипажъ. Онъ ѣдетъ... куда?

Старозавѣтный шалопаи отвѣтилъ бы на этотъ вопросъ: „мой кучеръ ужъ знаетъ“ — и пріѣхалъ бы прямо къ Дюсо. Сережа отступилъ отъ завѣщаннаго преданія и прежде всего отправляется... въ канцелярію! Здѣсь онъ справляется у швейцара: „Петръ Николаичъ пріѣхалъ?“ — и, выслушавъ отвѣтъ: „сейчасъ пріѣдутъ, курьеръ ужъ привезъ портфель“, — направляетъ шаги въ помещеніе, гдѣ ютятся чиновники. Накурено, насорено, а по мѣстамъ и наплевано. Но Сережа не формализуется этимъ; онъ понимаетъ, что находится здѣсь не для того, чтобы рвать цвѣты удовольствія, а потому, что обязанъ исполнить свой „долгъ“ (*un devoir à remplir*). Канцелярскіе чиновники сидятъ по мѣстамъ и скребутъ перьями; среднее чиновничество, въ родѣ столоначальниковъ и ихъ помощниковъ, разсѣлось, гдѣ попало, верхомъ на стульяхъ, куритъ папиросы, раска-

зываетъ ходящіе въ городѣ слухи и вообще занимается празднословіемъ; начальники отдѣленій—читаютъ газеты или поглядываютъ то на дверь, то на лежащія передъ ними папки съ бумагами, въ ожиданіи Петра Николаича.

— Скоро ли же вы съ этимъ безобразіемъ покончите?—спрашиваетъ Сережа, поочередно пожимая руки начальникамъ отдѣленій:—эти суды, это земство, эта печать... ахъ, господа, господа!

— Прятки вы очень! У насъ-то ужъ давно написано и готово, да первый же Петръ Николаичъ по полугоду въ наши проекты не заглядываетъ. А тамъ найдутся и другіе разсматриватели... цѣлая вѣдь лѣстница впереди! А напомнишь Петру Николаичу—онъ отвѣчаетъ: „моментъ, любезный другъ, не такой! надо моментъ уловить, —тогда у насъ разомъ все проекты какъ по маслу пройдутъ!“

— Да; но согласитесь, что ждать ужасно! Все кругомъ рушится, *tout est à refaire*,—а тутъ моментъ уловить не могутъ!

— Э! проживемъ какъ-нибудь. Можетъ быть, и совсѣмъ момента не изловимъ, и все-таки проживемъ. Вѣдь еще бабушка на-двое сказала, что лучше. По крайней мѣрѣ, то, что есть, ужъ извѣстно... А тутъ пойдутъ ломки да передѣлки, однихъ вопросовъ не оберешься... Вы думаете, намъ сладки вопросы-то?

Собесѣдникъ меланхолически посматриваетъ въ окно, какъ бы не желая продолжать разговора о матеріи, набившей ему оскомину. Вся его фигура выражаетъ одну мысль: наплевать! я, что приказано, сдѣлалъ,—а тамъ хоть чортъ родись... надоѣло!

Но Сережа совсѣмъ не того мнѣнія. Онъ продолжаетъ утверждать, *que tout est à refaire* и что настоящее положеніе вещей невыносимо. Картавя и рисуясь, онъ бормочетъ слова: „суды, земство... и эта шутовская печать!.. ахъ, господа, господа!“ Онъ, видимо, всѣмъ надоѣлъ въ канцеляріи; но такъ какъ никто не говоритъ этого ему въ глаза, то онъ остается при убѣжденіи, что исполняетъ свой долгъ, и продолжаетъ надоѣдать.

Наконецъ въ сосѣдней комнатѣ раздается передвижанье стульевъ и слышатся торопливые шаги: Это слѣшитъ самъ Петръ Николаичъ, предшествуемый курьеромъ.

Сережа обдергивается, пріосанивается и приказываетъ доложить о себѣ.

— Ахъ, шутъ гороховый! опять задержать! — ропщутъ начальники отдѣленій.

Въ кабинетѣ между тѣмъ происходитъ сцена.

— Pierre! да когда же вы кончите съ этимъ безобразіемъ? — пристааетъ Сережа: — все рушится, все страдаетъ, tout est à refaire, а вы пальца о палець не хотите ударить!

Петръ Николаичъ глубокомысленно почесываетъ носъ.

— Моментъ еще не пришелъ, — отвѣчаетъ онъ: — ты слишкомъ нетерпѣливъ, душа моя. Когда наступитъ моментъ, — повѣрь, онъ застанетъ насъ во всеоружіи, и тогда всякая штука проскочитъ у насъ *comme bonjour!* Но куда мы только боремся съ противоположными теченіями и подготавливаемъ почву. Вѣдь это не дешево намъ обходится.

— Но когда же? когда? — стараетъ нетерпѣніемъ Сережа: — мнѣ изъ деревни пишутъ... *mais c'est horrible ce qui s'y passe!*

— Это же самое мнѣ вчера графиня Крымцева говорила. И всѣхъ васъ, добрыхъ и преданныхъ, приходится успокоивать! Разумѣется, я такъ и сдѣлалъ. — Графиня! — сказалъ я ей: — повѣрьте, что, когда наступитъ моментъ, мы будемъ готовы! И чтѣ же, ты думаешь, она мнѣ на это отвѣтила: „А у меня, между тѣмъ, хлѣбъ въ полѣ не убранъ!“ — Я такъ и развелъ руками!

И Петръ Николаичъ показываетъ на дѣлѣ, какъ онъ развелъ руками.

— Сентябрь ужъ на дворѣ, а у нея хлѣбъ еще въ полѣ... понимаешь ли ты это? Приходится однакоже мириться и не съ такими безобразіями, но за то... Ахъ, душа моя! у насъ и безъ того дѣла до зарѣзу, — печально продолжаетъ онъ: — не надо затруднять нашъ путь преждевременными сѣтованіями! Хоть вы-то, видящіе насъ въ самомъ сердцѣ дѣла, пожалѣйте насъ! Успокойся же! все въ свое время придетъ, и когда наступитъ моментъ, мы не пропустимъ его. Когда-нибудь мы съ тобою переговоримъ объ этомъ серьезно, а теперь... скажи, куда ты отсюда?

— Къ Одинцову; свѣжія устрицы привезли.

— Ахъ, какъ я тебѣ завидую, и тебѣ, и всѣмъ вамъ, благороднымъ и преданнымъ... но только немножко нетерпѣливымъ!.. Съ какимъ бы удовольствіемъ я сопровождалъ тебя, и вотъ... Долгъ приковалъ меня здѣсь, и до шести часовъ я нахожусь въ плѣну... Ты думаешь, мнѣ дешево достается мое возвышеніе?



— О!

— Да, не сладко мнѣ, не на розахъ я сплю. Но до свиданія. Меня ждуть. Ахъ, устрицы, устрицы! Кстати: вчера меня о тебѣ спрашивали, и можетъ быть... Enfin, qui vivra, verra.

— Я не спѣшу, но, конечно, не прочь пристроиться.

— И не спѣши; мы за тебя поспѣшимъ. Намъ люди нужны: и не простые канцелярскіе исполнители, а люди съ искрой, съ убѣжденіемъ. До свиданья, душа моя!

Раздается звонокъ и приказаніе: „попросите Егора Ивановича!“

Сережа почтительно удаляется.

Покуда онъ еще не имѣетъ опредѣленной должности; онъ просто „состоитъ“. Не начинать же ему карьеру съ помощника столоначальника... Фу! не для того онъ краткимъ наукамъ обученъ, чтобы „корить“: онъ прямо мѣтитъ“. Родители не разъ заманивали его въ родной городъ, обѣщая предводительство, но онъ и тутъ не соблазнился, хотя быть двадцати-пяти лѣтъ предводителемъ очень недурно, да и шансы на будущую карьеру несомнѣнны. Это онъ хорошо понимаетъ; но ему еще жаль Петербурга съ его ресторанами, закусочными и кокетками. Въ немъ еще слишкомъ живо говоритъ молодая кровь, чтобы рѣшиться хоть на время закупорить себя въ захолустьи. Онъ боится обрюзгнуть, растолстѣть, разлѣниться. Нѣтъ, онъ лучше здѣсь подождетъ, на глазахъ у однокашниковъ—это хоть и медленно, но вѣрнѣе. Кстати, его взялъ подъ свое руководство Петръ Николаичъ Лопасинъ, который не далѣе какъ три года тому назадъ разыгрывалъ такую же роль, какъ и Сережа, а теперь по дѣльмъ годамъ проекты подъ сукномъ держать и все момента ждетъ. Мудреного нѣтъ, что и Сережа... вѣдь онъ малый съ „искрой“! Вдругъ понадобятся „люди“, а онъ и тутъ какъ тутъ! Въ головѣ у него, правда, настолько смутно, что никакого, даже вреднаго проекта онъ не сочинить; но на это есть дѣльцы, есть приказная челядь, а его дѣло—руководить. Онъ знаетъ, что tout est à recommencer—и будетъ съ него. Но чтѣ всего замѣчательнѣе—не только „съ него будетъ“, но и съ тѣхъ, которые слушаютъ его пустопорожнее бормотанье. И mon oncle, и ma tante, и Петръ Николаичъ—всѣ отъ него въ восхищеніи, всѣмъ онъ угодилъ своею невозмутимостью и благороднымъ образомъ мыслей.

Я не поведу читателя ни къ Одинцову, ни на Невскій, гдѣ онъ



гуляетъ, *entre chien et loup*, ради обостренія аппетита и встрѣчи съ безчисленными шалопаями, ни даже къ Борелю, гдѣ онъ обѣдаетъ въ веселой компаніи. Вездѣ слышатся однѣ и тѣ же неосмысленныя рѣчи, вездѣ производятся одни и тѣ же паскудные тѣлодвиженія. И все это, вмѣстѣ взятое, составляетъ то, чтó у порядочныхъ людей извѣстно подъ выраженіемъ: „отдавать дань молодости“.

— Ничего, мой другъ, веселись! это свойственно молодости, — поощряетъ Серезу *mon oncle*: — еще будетъ время остепениться. Когда я былъ молодъ, то княгиня Любинская называла меня: *le démon de la nuit*... Не спалось и мнѣ тогда почти ночи напролетъ; за то теперь крѣпко спишь.

Вечеръ заканчивается, по преимуществу, въ балетѣ или у французовъ, а потомъ опять къ Борелю, гдѣ ждетъ ужинъ, который длится до двухъ или до трехъ часовъ ночи. Но къ этому времени Сереза ужъ непременно дома, въ своемъ гнѣздышкѣ, и торопливо дѣлаетъ ночной туалетъ. Нерѣдко онъ даже негодуетъ на себя за слишкомъ поздній сонъ; потому что боится потерять свои краски и бодрый видъ. Но чтó прикажете дѣлать? *à la guerre comme à la guerre!* — приходится урвать часъ-другой отъ сна, чтобъ не огорчить друзей. Всѣ они сплелись между собой, всѣ дали слово поддерживать другъ друга, — стало быть, надо идти рука въ руку, куда хватить силъ...

А на завтра опять *блглый* день, съ новымъ повтореніемъ тѣхъ же подробностей и того же празднословія. И это не надоѣдаетъ... напротивъ! Встрѣчаешься съ этимъ днемъ точно съ старымъ другомъ, съ которымъ всегда есть о чемъ поговорить, или какъ съ насиженымъ мѣстомъ, гдѣ знаешь навѣрное, куда идти, и гдѣ всякая мелочь говорить о какомъ-нибудь пріятномъ воспоминаніи.

Приближаясь къ тридцати годамъ, Сереза мало-по-малу остепеняется. Онъ по прежнему остается шалопаемъ, по прежнему твердить неосмысленныя слова, но уже выжидаетъ момента. Не знаю, вполне ли онъ самостоятельно дѣйствуетъ, или только еще приобщенъ, въ видѣ компаньона, но во всякомъ случаѣ уже близокъ къ самостоятельности. Онъ безповоротно рѣшилъ, *que tout est à recommencer*, и стоитъ на стражѣ во всеоружіи. — *Mais, au nom de Dieu*, не торопитесь, господа! Но осложняйте преждевременною рьяностью нашего, и безъ того нелегкаго, труда! Все придетъ въ свое время — ручательствомъ служить вотъ эта куча проектовъ, которая лежитъ у него на

столѣ. Изрѣдка, на досугѣ, онъ перечитываетъ то одинъ, то другой проектъ и отъ времени до времени глубокомысленно восклицаетъ:

— C'est ça! Именно то самое, что я хотѣлъ сказать!

Изъ провинціи чуть не каждый день наѣзжаютъ всевозможныхъ сортовъ добровольцы, смотрятъ ему въ глаза и любопытствуютъ.

— Сергѣй Семенычъ! да когда же вы, наконецъ, приступите?

И онъ, подобно своему ментору и другу, спѣшитъ успокоить нетерпѣливцевъ:

— Мы готовы, мы ждемъ только сигнала, — говоритъ онъ: — но прежде всего необходимо уловить благопріятный моментъ. Коль скоро моментъ будетъ благопріятенъ — и все совершится благопріятно; а ежели мы начнемъ въ неблагопріятный моментъ, то и все остальное совершится неблагопріятно. Вѣдь вы этого не желаете, господа?

— Помилуйте! зачѣмъ же?

— И я тоже не желаю, а потому и стою покаместъ во всеоружіи. Слѣдовательно возвращайтесь каждый къ своимъ обязанностямъ, исполняйте вашъ долгъ и будьте терпѣливы. *Tout est à refaire* — вотъ девизъ нашего времени и всѣхъ людей порядка; но задача такъ обширна и обставлена такими трудностями, что нельзя думать о выполненіи ея, покуда не наступитъ моментъ. Моментъ — это сила, это *conditio sine qua non*. Правду ли я говорю?

— Что правда, то правда. Хоть и горько, а приходится согласиться.

— Вамъ горько, а намъ, вы полагаете, легче? Въ одномъ мѣстѣ хлѣбъ не убранъ, въ другомъ — не засеянъ; тамъ молотѣба прекратилась, тутъ льютъ дожди, хлѣбъ гниетъ на корню — развѣ это пріятно? Со страхомъ спрашиваешь себя: куда мы, наконецъ, идемъ? какой получится въ результатѣ балансъ? И такимъ образомъ каждый день. Каждый день мы слышимъ эти lamentаціи — и все-таки ждемъ! Ждите же и вы, господа! и будьте увѣрены, что здѣсь заботятся не только о васъ, но и обо всѣхъ вообще... И объ тѣхъ, которые пострадали, и объ тѣхъ, которымъ угрожаетъ страданіе въ будущемъ... Мы и объ мужичкахъ думаемъ... Да! *Nous sommes nulle-part et partout* — вотъ сколько у насъ заботъ! Прощайте, господа!

И длится эта изнурительная канитель цѣлыми годами, и находить доступъ въ публику то при помощи уличныхъ слуховъ, то при посредствѣ газетныхъ извѣстій. У Подхалимова дыханье въ зобу

сперло отъ внутренняго ликованья; онъ со всѣми курьерами передурился, лишь бы подслушивали у дверей и сообщали ему самыя свѣжія новости.

Слухи эти въ существѣ своемъ настолько нелѣпы, что можно было бы и не упоминать о нихъ, тѣмъ болѣе, что большинство такъ и остается на степени слуховъ. Но, къ сожалѣнію, мы такъ приучены къ нелѣпостямъ, до такой степени онѣ всосались въ насъ, что мы принимаемъ всякую нескладицу за чистую монету и приходимъ въ волненіе по ея поводу. Добровольцы развѣзжаются по своимъ мѣстамъ и тамъ грозятъ: погодите! вотъ ужъ! И все притихаетъ передъ этимъ „ужъ“; дѣятельность, и безъ того не черезъ-чуръ яркая, окончательно вялѣтъ; зачатки жизни превращаются въ умираніе. Точно на другой день ожидается свѣтопреставленіе.

Разумѣется, Сережа ничего этого не знаетъ, да и звать ему, призываться, не нужно. Да и вообще ничего ему не нужно, ровно ничего. Никакой интересъ его не тревожитъ, потому что онъ даже не понимаетъ значенія слова: „интересъ“; никакой истины онъ не ищетъ, потому что съ самаго дня выхода изъ школы не слышалъ даже, чтобъ кто-нибудь произнесъ при немъ это слово. Развѣ у Бореля и у Дюнона говорятъ объ истинѣ? Развѣ въ „Кипрской красавицѣ“ или въ „Дочери Фараона“ идетъ рѣчь объ убѣжденіяхъ, о честности, о любви къ родной странѣ?

Никогда!

Между тридцатью-пятью годами и сорока Сережа начинаетъ склонять слухъ къ увѣщаніямъ *mon oncle* и *ma tante*. Давно уже они отыскиваютъ ему подходящую партію, давно убѣждаютъ устроиться собственнымъ гнѣздышкомъ, но до сихъ поръ Сережа отстаиваетъ свою независимость и свободу.

— *La liberté et l'indépendance* — *je ne connais que ça!* — говоритъ онъ въ отвѣтъ на родственныя увѣщанія, и старики грустно покачивали головами и ужъ почти отчаялись когда-нибудь видѣть милаго *Serge'a* во главѣ семейства.

Однакожь теперь онъ начинаетъ понимать, что роковой моментъ недалеко. Онъ уже отростил брюшко, на головѣ у него появились подозрительные взлизы; онъ сдѣбался какъ будто вялѣе въ своихъ



движеніяхъ, и его все болѣе и болѣе тянетъ... домой! Приѣдетъ въ свое гнѣздышко, разсчитывая отдохнуть и помечтать... такъ, ни объ чемъ! А тамъ — Шарль угощаетъ свою бѣлошвейку сладкими пирожками изъ сосѣдней булочной. Скрѣпя сердце, онъ опять ѣдетъ къ Донону, но уже безъ прежняго внутренняго ликованія, которое заставляло, при входѣ его, улыбаться во весь ротъ дооновскихъ татаръ.

Вообще, становится скучно; только и отводишь душу съ Петромъ Николаичемъ въ умной бесѣдѣ: *que tout est à recommencer* и что вчера ужъ думали, что моментъ наступилъ, а сегодня опять...

Наконецъ выдается очень солидная партія. Именно какъ разъ по немъ.

Она — дочь „свѣдущаго человѣка“ и премилая особа. Красива, стройна, говоритъ отлично по-французски, знаетъ *un peu d'arithmétique, un peu de géographie et un peu de mythologie* (чутьку!), изрядно играетъ на фортепьяно и умѣетъ держать себя въ обществѣ. Сверхъ того, она богата. За нею три тысячи десятивъ земли въ одной изъ черноземныхъ губерній, прекрасная усадьба и сахарный заводъ, не говоря уже о надеждахъ въ будущемъ (еще сахарный заводъ), потому что она — единственная дочь и наслѣдница у своихъ родителей. Но этого мало: у нея есть дядя, старый холостякъ, и ежели онъ не женится — куда ему, старику! — то и его имѣнье (третій сахарный заводъ) со временемъ перейдетъ къ ней. Отецъ ея, Иванъ Петровичъ Грифьовъ, приѣхалъ въ Петербургъ, въ качествѣ свѣдущаго человѣка, и ѣздитъ на совѣщанія въ какую-то субкоммисію, въ которой дѣятельно ведутся переговоры объ упраздненіи. Сережа уже познакомился съ нимъ и даже близко сошелся, потому что оба они того мѣнія *que tout à refaire*, и оба съ нетерпѣніемъ ждутъ момента.

— Не упускай этого случая, мой другъ! — твердитъ ему *ma tante*: — такихъ завидныхъ партій нынче въ цѣлой Россіи немного сыщешь!

— Подумаемъ, *ma tante*, подумаемъ! — отвѣчалъ онъ, улыбаясь и покручивая усны, которые у него всегда въ порядкѣ: не очень длинны и не очень коротки.

— У тебя будетъ свой собственный сахарный заводъ, да у нея въ перспективѣ три, — продолжаетъ *mon oncle*: — у тебя отличная усадьба, да у нея три... Ежели у васъ даже четверо дѣтей будетъ — вотъ ужъ каждому по усадьбѣ готово.



— Ну, зачѣмъ четверо! съ насъ будетъ довольно и двоихъ! Баранъ да ярочка — красная парочка! — шутить Сережа.

— Ну, тамъ видно будетъ; Христось съ тобой, начинай!

Въ сущности онъ ужъ рѣшился. Онъ уже намекнулъ отцу молодой особы да и ей самой о своихъ намѣреніяхъ. Ей онъ открылся во время мазурки. Она ничего положительнаго ему не сказала, а только загадочно спросила:

— Вы можете любить?

— О! — началъ-было онъ, но въ это время одна изъ танцующихъ дамъ подвела ей двухъ кавалеровъ:

— Гиацинтъ или рододендронъ?

— Гиацинтъ, — отвѣтила она и умчалась скользить по паркету.

Черезъ три мѣсяца, на красную горку, была ихъ свадьба. Они поселились на Сергіевской въ такомъ гнѣздышкѣ, что и родители, и тетеньки съ дяденьками не могли достаточно налюбоваться на нихъ. Подъ вѣнцомъ она была удивительно мила; вся въ бѣломъ, съ бѣлымъ вѣнкомъ на головѣ, она походила на бѣлораморную статую, сошедшую съ пьедестала, чтобы обойти завѣтное число разъ кругомъ аналоя. Онъ тоже былъ какъ разъ подъ пару и нашептывалъ ей во время обряда страстные слова. Но она не смущалась этими словами и смотрѣла какъ-то черезъ-чуръ ужъ свѣтло и самоувѣренно впередъ.

На коврикъ она вступила первая.

Цѣлый мѣсяцъ послѣ свадьбы они ѣздили съ визитами и принимали у себя, въ своемъ гнѣздышкѣ. Потомъ уѣхали въ усадьбу къ ней, и тамъ началась настоящая роѣте d'amour. Но даже въ деревнѣ, среди изъявленій любви, они успѣвали повеселиться; ѣздили по сосѣдямъ, приглашали къ себѣ, устраивали охоты, пикники, кавалькады. Словомъ сказать, не видали, какъ пролетѣло время и настала минута возвратиться изъ деревенскаго гнѣздышка въ петербургское.

Черезъ полгода онъ уже занимаетъ хорошіи посты и пишетъ циркуляры, въ которыхъ напоминаетъ, истолковываетъ свою мысль и побуждаетъ. Въ тоже время онъ — членъ англійскаго клуба, который и посѣщаетъ почти каждый вечеръ. Ведетъ среднюю игру; по преимуществу же бесѣдуетъ съ наѣзжими добровольцами о томъ que tout est à recommencer, но моментъ еще не наступилъ.

— Будьте терпѣливы, господа! — убѣждаетъ онъ своихъ еди-

номышленниковъ:—когда наступитъ моментъ, онъ найдетъ насъ во всеоружіи; вы думаете, намъ сладко—ахъ! только грудь да подо-плѣка знаютъ, чего намъ стоятъ эти проволочки! Однакожъ мы ждемъ,—ждите и вы!

Къ Борелю онъ заѣзжаетъ лишь изрѣдка, чтобъ мелькомъ полюбоваться на эту бодрую и сильную молодежь, которая, даже среди винныхъ паровъ, табачнаго дыма и кокотокъ, не забываетъ *que tout est à refaire*. Нечего и говорить, что его принимаютъ—и татары, и молодые люди—какъ дорогого и желаннаго гостя.

Съ своей стороны, Ирина Ивановна принимаетъ по вечерамъ въ своей гостиной. Хотя мужъ очень рѣдко бываетъ дома, но ей живется не скучно. Навѣщаютъ ея салонъ большею частью люди съ вѣсомъ, пожилые, но бываютъ и молодые люди. Она пополнѣла, сдѣлалась вполне самостоятельной и ведетъ себя съ большимъ апломбомъ, такъ что опасаться за нее нечего. Подъ конецъ вечера Сережа заѣзжаетъ на минутку домой, бесѣдуетъ съ наиболѣе вліятельными гостями на тему *que tout est à refaire*, и когда старички уѣзжаютъ, онъ опять исчезаетъ въ клубъ, оставляя жену коротать остатки вечера въ обществѣ молодыхъ людей.

Къ веснѣ она собирается родить. Будетъ ли у нихъ красная парочка, баранъ да ярочка, какъ предсказывалъ себѣ самъ Сережа, или число дѣтей увеличится до четырехъ—каждому по усадьбѣ и по сахарному заводу—это покажетъ будущее.

Вообще жизнь его устроилась, попала въ окончательную колею, изъ которой уже не выйдетъ. Ни тревогъ, ни волненій, ничего впереди, кромѣ неосмысленной фразы: *que tout est à recommencer*.

Въ свое время онъ умретъ и прахъ его съ надлежащею помпой отвезутъ на варшавскій вокзалъ, а потомъ въ родовое имѣніе, гдѣ похоронены останки его предковъ. А на другой день въ газетахъ появится его некрологъ:

„Вчера скончался Сергѣй Семеновичъ Ростѣкинъ, одинъ изъ самыхъ ревностныхъ реформаторовъ послѣдняго времени. Еще наканунѣ онъ бесѣдовалъ съ друзьями объ одномъ проектѣ, который составлялъ предметъ его постоянныхъ заботъ, и въ этой бесѣдѣ, внезапно, на порвавшемся словѣ, застигла его смерть... Миръ праху твоему, честный труженикъ!“

## 2. — Евгений Люберцевъ.

Онъ — товарищъ Сережи Ростокина по школь, но какая разница! Сережа учился болѣе нежели плохо и слылъ между товарищами глупенькимъ; Люберцевъ учился отлично (вышелъ съ золотою медалью) и уже на школьной скамьѣ выглядывалъ мужемъ совѣта.

— Oh, celui-là ne manquera pas sa carrière! — говорилъ про него французъ-воспитатель, ласково держа его за подбородокъ и проницательно вглядываясь ему въ глаза.

А русскій воспитатель прибавлялъ:

— Современемъ бразды правленія въ рукахъ держать будетъ. И не безъ пользы для себя... и для другихъ.

Евгеній Филиппычъ былъ сынъ чиновника изъ второстепенныхъ, но пользовавшагося отличною репутаціею. Филиппъ Андреичъ занималъ не блестящій, но довольно солидный постъ, на которомъ надѣялся и покончить свою служебную карьеру. Многое отъ него зависѣло, хотя онъ скромно объ этомъ умалчивалъ. Никогда онъ не мѣтилъ высоко, держался средней линіи и паче всего заботился о томъ, чтобы начальнику даже въ голову не пришло, что онъ, честный и старый служака Люберцевъ, кому-нибудь ножку подставить хочетъ. За то все его любили, все обращались къ нему съ довѣріемъ, дружелюбно жали ему руку, какъ равному, и никогда не отказывали въ маленькихъ послугахъ, въ родѣ опредѣленія дѣтей на казенный счетъ, выдачи пособія на случай поѣздки куда-нибудь на воды и проч. Однимъ словомъ, Евгений Филиппычъ принадлежалъ къ одной изъ тѣхъ солидныхъ чиновничьихъ семей, которыя считаютъ въ прошломъ нѣсколько поколѣній начальниковъ отдѣленія и одного вице-директора (Филиппъ Андреичъ).

Евгеній любилъ отца, видѣлъ его трудовую жизнь, сочувствовалъ ей и готовился идти по родительскимъ стопамъ. Сходство между ними было поразительное во всехъ отношеніяхъ. По наружному виду, онъ былъ такого же высокаго роста, такъ же плотенъ и расположенъ къ дебелости, какъ и отецъ. Въ нравственномъ отношеніи, оба выросли въ понятіяхъ „долга“, оба знали цѣну „послушанію“, оба были трудолюбивы, толковиты и прямо отыскивали суть дѣла. Но существовала и разница: отецъ былъ человекъкъ себѣ на умѣ, а сынъ



былъ тоже себѣ на умѣ, но, кромѣ того, и съ „искрой“. Впрочемъ, это послѣднее качество проявилось въ немъ какъ результатъ новыхъ вѣяній.

Вышедши изъ школы, Люберцевъ поселился не вмѣстѣ съ роднымъ семействомъ, а на отдѣльной квартирѣ, и отецъ вполне согласился, что онъ поступаетъ правильно. Старикъ жилъ старозавѣтной жизнью и понималъ, что сыну нужна совсѣмъ другая обстановка. Нужны товарищи, болѣе или менѣе шумныя собесѣдованія, а по временамъ и сосредоточенность, которую не могла бы нарушить семейная сутолока. Словомъ сказать, нужно молодому человѣку развязать руки, доставить самостоятельность. А семьи онъ не позабудетъ; онъ слишкомъ солиденъ и честенъ, чтобы поставить себя въ сомнительныя отношенія къ отцу и матери.

— Пускай его поживетъ на своихъ ногахъ!—утѣшаль Филиппъ Андреичъ огорченную жену:—въ школѣ довольно поводили на помочахъ—теперь пусть самъ собой попробуетъ ходить!

Наняли для Генички скромную квартиру (всего двѣ комнаты), чистенько убрали, назначили на первое время небольшое пособіе, справили новоселье, и затѣмъ молодой Люберцевъ началъ новую жизнь подъ личною отвѣтственностью, но съ сознаніемъ, что отцовскій глазъ зорко слѣдитъ за нимъ, и что, на случай нужды, ему всегда будетъ оказана помощь и данъ добрый совѣтъ.

— Главное, другъ мой, береги здоровье!—твердилъ ему отецъ:—*mens sana in corpore sano*. Будешь здоровъ, и житья будетъ веселѣе, и все пойдетъ у тебя ладкомъ да миркомъ!

— Не правда ли, папенька?—соглашался Евгенийъ съ отцомъ.

— Здоровье—это первое наше благо!—подтверждалъ отецъ.  
—Ну, Христось съ тобой! живи; я на тебя надѣюсь!

Какъ я сказалъ выше, Люберцевъ уже на школьной скамьѣ выглядывалъ дѣльцомъ. По выходѣ изъ школы, онъ быстро втянулся въ служебный круговоротъ (благо служба была обязательная и мѣсто ужъ въ перспективѣ имѣлось готовое), и даже усвоилъ себѣ извѣстную терминологію, которою однакожъ покажѣсть пользовался какъ бы шутя. Такъ, улыбаясь, онъ называлъ себя государственнымъ подслушникомъ,—не опричникомъ, фуй! а именно подслушникомъ,—а иногда рисковалъ даже, тоже улыбаясь, говорить: „мы, государственные доктринеры“... Вообще, на первыхъ порахъ, трудно было разо-



братъ, серьезно ли онъ говорить. или иронически. Большинство видѣло впрочемъ скорѣе тонкую иронию, и это дало ему не мало друзей изъ молодыхъ людей съ нѣскольکو пылкимъ темпераментомъ.

У него не было француза-слуги, а выписанъ былъ изъ деревни для прислугъ сынъ родительской кухарки, мальчикъ лѣтъ 14-ти, неумѣльный и неловкій, котораго онъ однакожь скоро такъ вышколилъ, что въ квартирѣ его все блестѣло, сапоги были хорошо вычищены и на платѣ ни соринки.

День его протекалъ очень просто, безъ всякихъ вычуръ. Все онъ дѣлалъ систематически, не торопясь; съ вечера расписывалъ завтрашнiе шестнадцать часовъ на клѣтки и вездѣ поснѣввалъ въ свое время. Случались отступленiя отъ расписанiя, но рѣдко, да и то исключительно въ формѣ начальственныхъ приглашенiй, отъ которыхъ уклониться было нельзя. Вставалъ аккуратно въ девять часовъ и самъ дѣлалъ свой несложный туалетъ. Въ девять съ половиной онъ былъ ужь у самовара, самъ разливалъ себѣ чай и брался за книгу. Процессъ чаепитiя (это былъ въ то же время и завтракъ его) длился довольно долго; но такъ какъ онъ сопровождался чтенiемъ, то Люберцевъ не старался объ его сокращенiи. До одиннадцати часовъ онъ читалъ. Любимыми авторами его были французскiе доктринеры временъ Луи-Филиппа: Гизо, Дюшатель, Вильменъ и проч.; изъ журналовъ онъ читалъ только „Revue des deux Mondes“, удивляясь олимпийскому спокойствию мысли и логичности выводовъ и не подозревая, что эта логичность представляетъ собой не больше какъ бѣлице колесо. Бисмарку онъ тоже удивлялся, но, по его мнѣнiю, онъ былъ слишкомъ смѣлъ и, такъ сказать, внезапно въ своей политикѣ. Нельзя было заранѣе изъ предыдущаго поступка предусмотрѣть послѣдующiй, хотя сущность этихъ поступковъ имѣла одну и ту же подкладку. Втайнѣ онъ даже былъ увѣренъ, что „раскусилъ“ Бисмарка, и каждый его шагъ можетъ предсказать впередъ. „Францiя — это только отводъ, — говорилъ онъ: — съ Францiей онъ на Бельгiю помирится или выброситъ ей кусокъ Лотарингiи — не Эльзасъ, нѣтъ! — а главнымъ образомъ взоры его устремлены на Россiю — это узелъ его политики, — вотъ увидите!“ По его мнѣнiю, будь наше время нѣскольکو менѣе тревожно, и дѣятельность Бисмарка имѣла бы менѣе тревожный характеръ: онъ просто представлялъ бы собой повторенiе твердаго, спокойнаго и строго-логическаго Гизо.

Въ одиннадцатъ часовъ онъ выходилъ на прогулку. Помня за-вѣтъ отца, онъ охранялъ свое здоровье отъ всякихъ случайностей. Онъ инстинктивно любилъ жизнь, хотя еще не зналъ ея. Поэтому онъ былъ въ высшей степени аккуратенъ и умѣренъ въ гигиеническомъ смыслѣ, и считалъ часовую утреннюю прогулку однимъ изъ главныхъ предохранительныхъ условій въ этомъ отношеніи. На прогулкѣ онъ нерѣдко встрѣчался съ отцомъ (онъ даже искалъ этихъ встрѣчъ), которому тоже предписаны были ежедневныя прогулки для предупрежденія излишняго расположенія къ дебелости.

— Здоровъ?—спрашивалъ отецъ.

— Слава Богу! вы какъ, папенька?

— Мнѣ—что дѣлается! я ужъ старъ, и умру, такъ удивительно не будетъ... А ты береги свое здоровье, мой другъ! это—первое наше благо. Умру, такъ вся семья на твоихъ рукахъ останется. Ну, а по службѣ какъ?

— Понемножку. Но скучаю, что настоящаго дѣла нѣтъ. Впрочемъ на дняхъ записку составить поручили; я въ два дня кончилъ и подалъ свой трудъ, да что-то молчатъ. Должно быть, дѣло-то не очень нужное; такъ, для пробы пера, дали, чтобъ испытать, способенъ ли я.

— Это и всегда такъ бываетъ на первыхъ порахъ. Все равно какъ у портныхъ: сначала на доскуткахъ шить пріучаютъ, а потомъ и настоящее дѣло дадутъ. Потерпи, не сомнѣвайся. Въ свое время будешь и шить, и кроить, и утюжить.

— Ахъ, папенька, какъ же такъ можно выражаться!..

— Ну, ну, пошутить-то вѣдь не грѣхъ. Не все же серьезно-чать; шутка тоже, въ свое время, не лишняя. Жизнь она смазываетъ. Начнутъ колеса скрипѣть—возьмешь и смажешь. Такъ-то, голубчикъ. Христось съ тобой! Главное—здоровье береги!

Въ полдень Люберцевъ уже на службѣ, серьезный и сосредоточенный. Покуда у него нѣтъ опредѣленной должности; но швейцаръ Никита, который тридцать лѣтъ стоитъ съ булавою въ департаментскихъ сѣняхъ, уже угадалъ его, и выражается прямо, что Евгений Филиппычъ изъ молодыхъ да ранній.

— Вотъ, погодите, щелкопѣры!—говоритъ онъ чиновникамъ:—онъ вамъ ужъ, какъ начальникомъ будетъ, задастъ перцу! Забудете папироски курить да посвистывать!

Люберцевъ сидитъ за пустымъ столомъ и отъ нечего дѣлать перелистываетъ старое дѣло. Исподволь онъ пріучается къ формамъ и обрядамъ (пріучается на лоскуткахъ шить), а между тѣмъ присматривается и къ канцелярскому быту. Чиновники, по его мнѣнію, распущены и имѣютъ лишь смутное понятіе о государственномъ интересѣ; начальники отдѣленій смотрятъ вяло, пишутъ-не-пишутъ, вообще ведутъ себя—словно имъ до смерти вся эта канитель надоѣла. Многіе даже откровенно зубоскалятъ; критикуютъ начальственныя распоряженія, радуются, когда въ газетахъ появится колкая замѣтка или намекъ, сами собираются что-нибудь тиснуть. Директоръ департамента приходитъ поздно, засиживается у „своей“ (такъ, по крайней мѣрѣ, говорятъ чиновники) и совершенно понапрасну задерживаетъ подчиненныхъ. И у него на лицѣ написаны усталость и равнодушіе.

— А все-таки машина не останавливается!—размышляетъ про себя Геничка: — вотъ чтò значитъ разъ пустить ее въ ходъ! вотъ какую силу представляетъ собой идея государства! Покуда она не тронута, всѣ функціи государства совершаются сами собой!

Въ этихъ присматриваньяхъ идетъ время до шести часовъ. Скучное, тягучее время, но Люберцевъ бодро высиживаетъ его, и не потому, что — кто знаетъ! вдругъ случится въ немъ надобность!— а просто потому, что онъ сознаетъ себя одною изъ составныхъ частей этой машины, функціи которой совершаются сами собой. Затѣмъ, не лишне, конечно, чтобы и директоръ видѣлъ, что онъ готовъ и ждетъ только мановенія.

— А! вы здѣсь?—изрѣдка говоритъ ему, проходя мимо, директоръ, который знаетъ его отца и не прочь оказать протекцію сыну:—это очень любезно съ вашей стороны. Скоро мы и для васъ настоящее дѣло найдемъ, къ мѣсту васъ пристроимъ! Я вашу записку читалъ... сдѣлана умно, но, разумѣется, молодо. Разсужденій много, теорія преобладаетъ—сейчасъ видно, что школьная скамья еще не простыла... Ну-съ, а покуда прощайте!

Люберцевъ не держитъ дома обѣда, а обѣдаетъ или у своихъ (два раза въ недѣлю), или въ скромномъ отельчикѣ за рубль серебромъ. Дѣла ему было бы пріятнѣе обѣдать, но онъ не хочетъ баловать себя и боится утратить хотя частичку той выдержки, которую поставилъ цѣлью всей своей жизни. Два раза въ недѣлю—это, конечно, даже необходимо; въ эти дни его нетерпѣливо поджидаетъ



мать и заказываетъ его любимыя блюда—совѣстно ее огорчить отсутствіемъ. За обѣдомъ онъ сообщаетъ отцу о своихъ дѣлахъ.

— Директоръ недавно видѣлъ меня и упоминалъ о моей запискѣ,—разсказываетъ онъ:—говорилъ, что составлена недурно, но разсужденій много, теорія преобладаетъ...

— Да, мой другъ, въ дѣлахъ службы разсужденія только мѣшаютъ. Нужно быть краткимъ, держаться фактовъ, а факты уже сами собой покажутъ, куда слѣдуетъ идти.

— Но нельзя же, папенька, не разсуждать. Вѣдь не даромъ насъ теоріи учили.

— Разсуждать ты можешь про себя, а объ теоріяхъ въ частныхъ разговорахъ бесѣдовать можно. Ну, и на службѣ, пожалуй, ими руководись, только чтобъ не бросалось въ глаза, не замедляло, такъ сказать, изложенія. Теорія, мой другъ, окраску человѣку даетъ, клеймо кладетъ на его дѣятельность—ну, и смотри на дѣло съ точки зрѣнія этой окраски, только не выставляй ея. Я самъ въ молодости теоріямъ обучался, а потому вышелъ изъ меня Филиппъ Андреичъ Люберцевъ, а не Андрей Филиппычъ. И всякій знаетъ мою работу, всякій сразу скажетъ: эту записку писалъ не Андрей Филиппычъ, а Филиппъ Андреевъ, сынъ Люберцевъ. Ех ungue leonem, если можно, безъ хвастовства, такъ выразиться. Вотъ объ чемъ я говорю.

Вечеръ, часовъ съ девяти, Люберцевъ проводитъ въ кругу товарищей, но не такихъ шалопаевъ, какъ Ростокинъ (онъ съ нимъ почти не встрѣчается), а такихъ же основательныхъ и солидныхъ, какъ и онъ самъ. Разъ въ недѣлю онъ принимаетъ у себя; остальные вечера переходитъ отъ одного товарища къ другому и изрѣдка посѣщаетъ театръ. Когда собираются у него, онъ очень мило разыгрываетъ роль хозяина, потчуетъ чаемъ съ сдобными булками, а подъ конецъ появляется и очень приличная закуска. Несмотря на солидность, между товарищами поднимаются шумные споры. Говорятъ по преимуществу о государствѣ, его функціяхъ и отношеніяхъ къ отдѣльному индивидууму. Какъ люди, готовящіеся къ занятію „постовъ“, юноши задорно стоятъ на сторонѣ государства и защищаютъ неприкосновенность его правъ.

— Государство—это все,—ораторствуетъ Геничка:—наука о государствѣ — это современный палладіумъ. Это цѣлое вѣрованіе. Никакой отдѣльный индивидуумъ немислимъ внѣ государства, по-



тому что только послѣднее можетъ дать защиту, оградить не только отъ вѣшнихъ вторженій, но и отъ самого себя.

Однако бывають и противорѣчія, не то чтобы очень радикальныя, а все-таки не столь всецѣло отдающія индивидуума въ жертву государству. Середка на половинѣ. Но Люберцевъ не формализуется противорѣчїями, ибо знаетъ, что *du choc les opinions jaillit la vérité*. Терпимость—это одно изъ достоинствъ, которымъ онъ особенно дорожить, но, конечно, въ предѣлахъ. Самъ онъ не отступитъ ни на пядь, но выслушаетъ всегда благосклонно.

— И прекрасно, мой другъ, дѣлаешь, — хвалить его отецъ: — и я выслушиваю, когда начальникъ отдѣленія мнѣ возражаетъ, а иногда и соглашаюсь съ нимъ. И директоръ мои возраженія благосклонно выслушиваетъ. Ну, не захочетъ по моему сдѣлать—его воля! Стало быть, онъ правъ, а я виноватъ, — изъ-за чего тутъ горячку пороть! А чаще всего такъ бываетъ, что поспоримъ-поспоримъ, да на чемъ-нибудь среднемъ и сойдемся!

— Не правда ли, папенька?

— Говорю тебѣ, что хорошо дѣлаешь, что не горячишься. Въ жизни и все такъ бываетъ. Иногда идешь на Гороховую, да прозѣваешь переулочекъ и очутишься на Вознесенской. Такъ что же такое! И воротись, — не Богъ знаетъ чего стоитъ. Излишняя горячность здоровью вредитъ, а оно намъ нужнѣе всего. Ты здоровъ?

— Слава Богу, папенька.

— Ну, и Христосъ съ тобой! Посѣщай товарищей, не пренебрегай ими! Иной разъ пренебрежешь человѣкомъ, а онъ потомъ въ самонужнѣйшихъ окажется!

На одинъ изъ дружескихъ вечеровъ совсѣмъ неожиданно явился Сережа Ростѣкинъ. Онъ слышалъ, что у Генички происходятъ въ опредѣленные дни умные разговоры, и пожелалъ полюбопытствовать, а при случаѣ, съ своей стороны, словечко вставить, доказать *que tout est à refaire*. Онъ прїѣхалъ на-веселѣ, прямо отъ Ворея, и появленіе его такъ всѣхъ удивило, что вдругъ все смолкло. Люберцевъ хотѣлъ разыграть радушнаго хозяина и не могъ: голосъ у него потухъ. Гости сидѣли какъ на иголкахъ; нѣкоторые даже искали глазами свои шляпы. Съ своей стороны, и Сережа молчалъ и удивленно хлопалъ глазами, не видя нигдѣ ни вина, ни объѣдковъ, ни залитой и загаженной скатерти.

— Выпито! — бессмысленно пробормоталъ онъ наконецъ, щелкая себя въ галстухъ. — Да, было-таки... Но какую мы свѣжую икру ѣли... сливки!

Пробормотавши это, онъ опять замолчалъ, и черезъ четверть часа всталъ и направился къ выходу. Но тутъ обернулся и крикнулъ:

— Засушины вы! всѣ вы еще въ пеленкахъ высохли!.. Государство... туда же! Вотъ мы когда-нибудь, съ Петромъ Николаичемъ... разберемъ!

И исчезъ.

Споры возобновились, но Люберцевъ былъ слегка задумчивъ. Онъ вспомнилъ вѣщія слова отца: иной разъ пренебрежешь человѣкомъ, а онъ въ самонужнѣйшихъ окажется...

— Чтò, ежели этотъ шалопай, въ самомъ дѣлѣ... — тревожился онъ.

И на другой день, урвавши четверть часа у прогулки, онъ зашелъ къ Серожѣ и засталъ его въ самомъ разгарѣ туалетной дѣятельности.

— А! Люберцевъ! — воскликнулъ Ростокинъ, слегка удивленный: — какимъ добрымъ вѣтромъ тебя занесло?

Оказалось, что онъ дѣйствительно былъ такъ пьянъ наканунѣ, что все забылъ.

— Да такъ, повидаться захотѣлось. Давно ужъ...

— И я давно собираюсь къ тебѣ. У тебя, говорятъ, умные вечера завелись... Надо, надо послушать, чтò умные люди говорятъ. Вѣдь и я съ своей стороны... Вмѣстѣ бы... unitibus... какъ это?

И онъ началъ, по обыкновенію, твердить que tout est à refaire. Твердилъ безтолково вращая зрачками, грозя пальцемъ и ссылаясь на Петра Николаича.

— Ежели вы, господа, на этой же почвѣ стоите, — говорилъ онъ: — то я съ вами сойдусь. Буду ѣздить на ваши совѣщанія, пить чай съ булками, и общими усилиями намъ, быть можетъ, удастся подвинуть дѣло впередъ. Помилуй! tout croule, tout roule — а у насъ полезнѣйшіе проекты подъ сукномъ по полугоду лежать, и никто ни о чемъ подумать не хочетъ! Моментъ, говорятъ не наступилъ: половите же, наконецъ, этотъ моментъ... sacrebleu!..

Геничка слушалъ терпѣливо и отъ времени до времени качалъ

головой. Онъ радъ былъ, что вчерашняя исторія кончилась такъ благополучно.

Такъ проводить свой день государственный подслушникъ Евгеній Филиппычъ Люберцевъ, и кончаетъ его пунктуально въ часъ ночи, когда мирно отходить ко сну.

Немного спустя, ему дали составить другую записку. Давно уже начали собирать данныя о необходимости возстановить заставы и шлагбаумы, и наконецъ отовсюду получены были отвѣтственные донесенія. Оказывалось, что заставы и шлагбаумы не только полезны, но и самое возстановленіе ихъ можетъ совершиться легко, безъ потрясеній. Столбы старыхъ шлагбаумовъ еще доселѣ стоятъ невредимы, слѣдовательно стѣитъ только купить новыя цѣпи и нанять сторсжа (буде военное вѣдомство не дастъ караула)—и города вновь украсятся и процвѣтутъ. При семъ прилагались и штаты. Геничка разсмотрѣлъ это дѣло очень внимательно. Онъ воздержался отъ разсужденій и только въ одномъ мѣстѣ упомянулъ объ обывательскихъ страстяхъ, къ огражденію отъ коихъ преимущественно должны служить заставы. Штаты онъ нашелъ умѣренными, и съ помощью первыхъ четырехъ правилъ ариѳметики легко вывелъ среднюю сумму предстоящихъ издержекъ. Оставалось только найти источникъ для удовлетворенія новаго расхода. Люберцевъ сходилъ за справкой въ министерство финансовъ, но тамъ ему сказали, что государственное казначейство и безъ того черезъ-чуръ обременено. Слышалъ онъ мелькомъ, что гдѣ-то существуетъ калмыцкій капиталъ, толкнулся и туда, но тамъ встрѣтилъ почти враждебный отпоръ („вамъ какое дѣло?“). Предстояло одно изъ двухъ: или обратить дѣло къ дополнительнымъ запросамъ,—но тогда оно затянулось бы на неопредѣленное время,—или же огражденіе обывателей отъ собственныхъ ихъ страстей произвести на счетъ ихъ самихъ.

Геничка рѣшилъ въ послѣднемъ смыслѣ: и короче, да и вполне справедливо. Дѣло не залежится, а между тѣмъ идея государственности будетъ соблюдена. Затѣмъ онъ составилъ сводъ мнѣній, включилъ справку о недостаточности средствъ казны и неприкосновенности калмыцкаго капитала, разлиновалъ штаты, закруглил—и подалъ.

Директоръ одобрилъ записку всецѣло, только тираду о страстяхъ вычеркнулъ, найдя, что въ дѣловой бумагѣ поэзіи и вообще вымы-



слово допустить нельзя. Затѣмъ положилъ докладъ въ ящикъ, щелкнулъ замкомъ и сказалъ, что когда наступитъ моментъ, тогда все, что хранится въ ящикѣ, само собой выйдетъ оттуда и увидитъ свѣтъ.

Шагъ этотъ былъ важенъ для Люберцева въ томъ отношеніи, что открывалъ ему настежь двери въ будущее. Ему дали мѣсто помощника столоначальника. Это было первое звено той цѣпи, которую ему предстояло пройти. Сравнительно, новое его положеніе досталось ему довольно легко. Прѣшло лишь семь-восемь мѣсяцевъ по выходѣ изъ школы, и онъ, двадцатилѣтній юноша, ужъ находился въ служебномъ круговоротѣ, въ качествѣ рычага государственной машины. Рычага маленькаго, почти незамѣтнаго, а все-таки...

По этому случаю у стариковъ Люберцевыхъ былъ экстраординарный обѣдъ. Подавали шампанское и пили здоровье новобранца. Филиппъ Андреичъ сіялъ; Анна Яковлевна (мать) плакала отъ умиленія; сестрицы и братцы говорили: „je vous félicite“. Геничка былъ нѣсколько взволнованъ, но сдерживался.

— Я въ немъ увѣренъ, — говорилъ старикъ Люберцевъ: — въ немъ наша, Люберцевская кровь. Батюшка у меня умеръ на службѣ, я — на службѣ умру, и онъ пойдетъ по нашимъ слѣдамъ. Старайся, мой другъ, воздерживаться отъ теорій, а паче всего отъ поэзіи... ну ее! Держись фактовъ — это въ нашемъ дѣлѣ главное. А пуще всего пейись объ здоровьи. Береги себя, другъ мой, не искушайся! Въдѣ ты здоровъ?

— Здоровъ, папенька.

— Ну, и слава Богу. А теперь, на радостяхъ, еще по бокальчику выпьемъ — вонъ, я вижу, въ бутылкѣ еще осталось. Не привыкъ я къ шампанскому, хотя и случалось въ постороннихъ домахъ полакомиться. Ну, да на этотъ разъ, ежели и сверхъ обыкновеннаго веселья буду, такъ Аннушка проститъ.

И, вновь выпивъ здоровье новобранца, Филиппъ Андреичъ продолжалъ:

— Ты обо мнѣ не суди по теперешнему; я тоже повеселиться мастеръ былъ. Однажды даже настоящимъ образомъ былъ пьянъ. Зазвалъ меня къ себѣ начальникъ, да въ шутку, должно быть — выпьемте да выпьемте! — и накатилъ! Да такъ накатилъ, что воротился я домой — зги божьей не вижу! Сестра Аннушкина въ ту пору у насъ росила, такъ я Аннушку отъ нея отличить не могу: пойдѣмъ, — го-



ворю! Мѣсяца два послѣ этого Анята меня все пьяницей звала. На-силу оправдался.

— Такъ вотъ вы какой, папенька!

Съ полученіемъ штатнаго мѣста пришлось нѣсколько видоизмѣнить *modus vivendi*. Люберцевъ продолжалъ принимать у себя развѣ въ недѣлю, но товарищей посѣщалъ уже рѣже, потому что приходилось и по вечерамъ работать дома. Дружескій кружокъ рѣдѣлъ; между членами его мало-по-малу образовался расколъ. Нѣкоторые члены заразились фантазіями, оказались черезъ-чуръ рьяными — и отдѣлились.

Люберцевъ быстро втягивался въ службу, и по мѣрѣ того какъ онъ проникалъ въ ея сердце, идея государственности замѣнялась идеей о бюрократіи, а интересъ государства превращался въ интересъ казны. Слова и мнѣнія старика-отца съ каждымъ днемъ все больше принимали для сына значеніе непререкаемости. Онъ вполне усвоилъ себѣ идею главенства фактовъ и устранилъ вымыселъ и теорію навсегда. Если рѣчь идетъ о снабженіи городскихъ свистками, то только о свисткахъ и писалось, а разсужденія на тему о безопасности допускались лишь настолько, насколько это нужно для оправданія свистковъ. „Въ видахъ огражденія безопасности обывателей, необходимо снабдить городскихъ свистками“ — только и всего. Потому что ежели начать съ того, что главная забота государства заключается въ томъ.... — то это ужъ будетъ не докладъ, а бредъ. За-лѣзешь въ такую трущобу, что потомъ и не вылѣзешь. Вѣдь идея государственности и въ обнаженномъ изложеніи фактовъ просочится сама собой — стало быть, ничего другого и не требуется. Это складка, которую онъ получилъ уже на школьной скамьѣ и которая никогда его не оставитъ; зачѣмъ же выставлять ее на показъ и замедлять стройное и логическое изложеніе экскурсіями по сторонамъ?

— Ты не очень однако въ канцелярщину затягивайся! — предостерегалъ его отецъ: — надеяться будешь — пожалуй, и на шею сядутъ. Начальство тоже себѣ на умѣ; скажетъ: вотъ настоящій помощникъ столоначальника! — и останешься ты аридовы вѣки въ помощникахъ. Дѣйствуй вольно, показывай видъ, что не очень дорожишь, что тебя вездѣ съ удовольствіемъ пріютятъ. Тогда тобой дорожить станутъ, настоящимъ образомъ трудъ твой будутъ цѣнить. Я десять лѣтъ вице-директоромъ состою, да то — я, а тебѣ я этого не желаю.

Связей не упускай, посѣщай людей, разсматривай. И старыхъ знакомыхъ, которые полезны, не упускай, и новыхъ знакомствъ не бѣги. Мудреная, братъ, это наука—жизнь! Ну, да, Богъ дастъ, ты справишься.

Геничка послѣдовалъ и этому совѣту. Онъ даже сошелся съ Ростокинымъ, хотя долженъ былъ, такъ сказать, привыкать къ его обществу. Черезъ Ростокина онъ надѣялся проникнуть дальше, устроить такія связи, о какихъ отецъ и не мечталъ. Однакожъ сердце все-таки тревожилось воспоминаніемъ о товарищахъ, на глазахъ которыхъ онъ вегупилъ въ жизнь и изъ которыхъ значительная часть уже отшатнулась отъ него. Съ однимъ изъ нихъ онъ однажды встрѣтился.

— А помнишь, какъ Ростокинъ всѣхъ насъ обозвалъ засушинами?—спросилъ прежній сочленъ по „умнымъ“ вечерамъ:—глуп-глупъ, а правду сказалъ. Ты не совсѣмъ еще засохъ?

Люберцовъ кисло улыбнулся въ отвѣтъ.

— Засохнешь—въ этомъ не сомнѣвайся,—продолжалъ товарищъ.—Смотри, какъ бы, вмѣсто государственныхъ-то людей, въ простыхъ подъячихъ не очутиться!

Но Геничка этого не опасался и продолжалъ преуспѣвать. Ему еще тридцати лѣтъ не было, а уже самыя лестныя предложенія сыпались на него со всѣхъ сторонъ. Онъ не разъ могъ бы получить въ провинціи хорошо оплаченное и отвѣтственное мѣсто, но уклонялся отъ такихъ предложеній, предпочитая служить въ Петербургѣ, на глазахъ у начальства. Много проектовъ онъ уже выработалъ, а еще больше имѣлъ въ виду выработать въ непродолжительномъ времени. Словомъ сказать, ему предстояло пролить свѣтъ...

Хотя свѣтъ этотъ начиналъ уже походить на тусклое освѣщеніе, разливаемое сальной свѣчей подъячаго, но отъ окончательнаго подъячества его спасли связи и старая складка государственности, приобрѣтенная еще въ школѣ. Тѣмъ не менѣе, онъ и отъ чада сальной свѣчки былъ бы не прочь, еслибъ убѣдился, что этотъ чадъ ведетъ къ цѣли.

Тридцати лѣтъ онъ уже занималъ полуотвѣтственный постъ, наравнѣ съ Сережей Ростокинымъ. Мысль, что служебный круговоротъ совершенно тождественъ съ круговоротомъ жизненнымъ, и что успѣхъ невозможенъ, покуда представленіе этой тождественности не будетъ усвоено во всей его полнотѣ, все яснѣе и яснѣе обрисовывалась передъ

его умственнымъ взоромъ. И онъ, не торопясь, но настойчиво, началъ готовить себя къ примѣненію этой мысли на практикѣ.

Къ этому времени отецъ его совсѣмъ состарѣлся, но все еще занималъ прежнюю должность. Онъ съ любовью слѣдилъ за успѣхами сына, хотя, признаться, многого уже не понималъ въ его поступкахъ. Его радовало, что сынъ здоровъ, что онъ на виду—ничего другого онъ не желалъ. Старуха-мать заботливо прискивала сыну приличную партію, и однажды даже совсѣмъ-было высватала ему богатенькую купеческую дочь, Пѣхотневу, и Геничка чуть не соблазнился блестящимъ приданымъ, и даже рѣшилъ въ умѣ, что неловко звучащую фамилію „Пѣхотневъ“ можно безъ труда измѣнить на „Пахѣтневъ“ (madame de Lubertzeff, née de Pakhotneff). Но, по зрѣломъ разсужденіи, нашелъ, что еще рано садиться въ гнѣздо, и предпочелъ сохранить независимость.

Въ настоящее время служебная его карьера настолько опредѣлилась, что до него рукой не достать. Онъ вполне измѣнилъ свой взглядъ на служебный трудъ. Оставилъ при себѣ только государственную складку, а трудъ предоставилъ подчиненнымъ. Съ утра до вечера онъ въ движеніи: ѣздитъ по вліятельнымъ знакомымъ, совѣщается, шушукается, подставляетъ ножки и всячески ограждаетъ свою карьеру отъ случайности.

— Связи—вотъ главное!—говоритъ онъ отцу:—а какъ будетъ такой-то служебный вопросъ рѣшенъ, за или противъ—это для меня безразлично. Перемелется—все мука будетъ. Заручившись связями, я спокоенъ, да мнѣ и пріятно находиться въ постоянномъ движеніи. Высшія сферы имѣютъ чарующую, притягательную силу. Тутъ и роскошь обстановки, и непрерывная изворотливость мысли, и интересъ неожиданныхъ поворотовъ служебнаго вѣтра, то радующихъ, то пугающихъ, и роскошныя женщины. Женщина выхолненная, выдрессированная, сама по себѣ уже представляетъ для глазъ неисчерпаемый источникъ наслажденій, а на любомъ раутѣ передъ вами дефилируютъ десятки такихъ женщинъ. Свѣтъ, благоуханье, обнаженные плечи... Помилуйте! зачѣмъ я буду корпѣть дома и перебирать бюрократическую ветошь, которая, все равно, ни къ чему не поведетъ!

Старикъ выслушиваетъ эти рѣчи съ нѣкоторымъ удивленіемъ, но не противорѣчитъ. Онъ просто думаетъ, что, за старостью лѣтъ,



отсталъ отъ времени, и что, стало быть, все это нужно, ежели Геничка не можетъ иначе поступать.

Отъ времени до времени Люберцеву приходитъ на мысль, что теперь самая пора обзавестись своимъ семействомъ. Онъ тщательно приглядывается, разсматриваетъ, разузнаетъ, но дѣлаетъ это самъ, не прибѣгая къ постороннему посредничеству. Вообще подходить къ этому вопросу съ осторожностью и надѣется въ непродолжительномъ времени разрѣшить его.

### 3.—Черезовы мужъ и жена.

Оба молоды и оба безъ усталы работаютъ.

Женились они всего три мѣсяца назадъ, и только брачный день позволили себѣ провести праздно. Сватовство было недолгое. Семень Александрычъ въ первый разъ увидѣлъ Надежду Владиміровну въ конторѣ, гдѣ она работала и куда онъ заходилъ за справкой. Затѣмъ разъ пять имъ пришлось сидѣть рядомъ за общимъ столомъ въ кухмистерской. Разговорились: оказалось, что оба работаютъ. Оба одинокі, знакомыхъ не имѣютъ, кромѣ тѣхъ, съ которыми встрѣчаются за общимъ трудомъ, и оба до того втянулись въ эту одинокую, не знающую отдыха жизнь, что даже утратили ясное сознаніе, живутъ они или нѣтъ.

— Хоть въ праздники-то вы свободны ли? — однажды спросилъ онъ у нея.

— Да, но безъ работы скверно; не знаешь, куда дѣваться. Въ номерѣ у себя сидѣть, сложивши руки, — тоска! На улицу выйдешь — еще пуще тоска! Словно улица-то новая; въ обыкновенное время идешь и не примѣчаешь, а тутъ вдругъ... магазины, экипажи, народъ... Къ товаркѣ одной — вмѣстѣ работаемъ — иногда захожу, да и она ужъ одичала. Посидимъ, помолчимъ и разоидемя.

— Это ужъ въ родѣ схимы...

— А что вы думаете? именно схима! Даже вериги чувствовать начинаю.

— Вы бы что-нибудь читали въ праздникъ...



— Отвыкла. Ничто не интересуешь. Говорю вамъ, совсѣмъ одичала. Въ театрѣ изрѣдка въ воскресенье схожу — и будетъ! А вы? Онъ безнадежно махнулъ рукойъ въ отвѣтъ.

— Тоже недалеко отъ схимы?

— Чего недалеко! весь веригами опутанъ... какимъ образомъ? изъ-за чего?

— Какъ изъ-за чего? Жизнь-то не достается даромъ. Вотъ и теперь мы здѣсь роскошествуемъ, а уходя все-таки сорокъ-пять копѣекъ придется отдать. Здѣсь сорокъ-пять, въ другомъ мѣстѣ сорокъ-пять, а въ третьемъ и цѣлый рубль... надо же добыть!

— И такимъ образомъ проходитъ вся жизнь?

— Жизнь только еще начинается. Потому она будетъ продолжаться, а затѣмъ и конецъ.

— Именно такъ: начинается, продолжается и кончается — только и всего. Но неужто вы совсѣмъ однѣ? ни родныхъ, ни знакомыхъ?

— Одна. Отецъ давно умеръ, мать — въ прошломъ году. Очень намъ трудно было съ матерью жить — всего она пенсіи десять рублей въ мѣсяцъ получала. Тутъ и на нее, и на меня; приходилось хоть милостыню просить. Я, сравнительно, теперь лучше живу. Меня счастливицей называютъ. Случай какъ-то помогъ, работу нашла. Могу комнату отдѣльную имѣть, обѣдъ; хоть голодомъ не сижу. А вы?

— И я одинъ; ни отца, ни матери не помню; воспитывался на какія-то пожертвованія. Меня начальникъ школы и на службу опредѣлили. И тоже хоть голодомъ не сижу, а близко-таки... Когда приходится туго, призываю на помощь терпѣніе, изворачиваюсь, удваиваю старанія, — и вотъ какъ видите!

— Скучно вамъ?

— Скучать некогда. Даже о будущемъ подумать нѣтъ времени. Иногда и мелькнетъ въ головѣ: надо что-нибудь... не всегда же... да только рукою махнешь. Авось какъ-нибудь, день за день, и пройдетъ... жизнь.

— Да; трудно что-нибудь выдумать. Жить надо — только и всего.

Спустя нѣкоторое время, послѣ одного изъ такихъ разговоровъ, онъ спросилъ ее:

— А что, если мы вместе будем работать?

Она на минуту смутилась и поблѣла. Но затѣмъ щеки у нея заалѣли румянцемъ, она подала ему руку и бодро отвѣтила:

— Будемте.

Черезъ мѣсяцъ они были мужъ и жена, и, какъ я сказалъ выше, позволили себѣ въ праздности провести будничныи день. Но на завтра оба ужъ были въ работѣ.

Ей посчастливилось. Утромъ она работала въ банкирской конторѣ, вечеромъ — имѣла урокъ. Все это вместе давало ей около восьми-сотъ рублей въ годъ. Въ лѣтнее время доходъ уменьшался, за отъѣздомъ ученицы; но тогда она пріискивала другую работу, хотя и подешевле. Вообще вопросъ о безработицѣ не коснулся ея. Онъ тоже успѣлъ довольно прочно устроиться; утромъ ходилъ въ департаментъ, гдѣ служилъ помощникомъ столоначальника; вечеромъ — имѣлъ занятія въ одномъ изъ желѣзнодорожныхъ правленій. Доходъ его простирался до полутора тысячъ, такъ что оба вместе они получали въ годъ до двухъ тысячъ пятисотъ рублей.

Имъ завидовали и говорили, что на эти деньги вдвоемъ прожить можно не только безъ нужды, но даже позволяя себѣ нѣкоторыя прихоти. И они соглашались съ этимъ. Кругомъ они видѣли столько бѣдности и наготы, что заработокъ ихъ дѣйствительно представлялся суммою очень достаточною. Несмотря на это, они никогда не испытывали даже слабаго довольства. Продолжали жить, по прежнему, со дня на день, съ трудомъ сводя концы съ концами, и — что всего хуже — постоянно испытывали то чувство страха передъ будущимъ, которое свойственно всѣмъ людямъ, живущимъ исключительно личнымъ трудомъ. Что, ежели вдругъ случится заболѣть? что, ежели въ урокѣ не будетъ надобности? что, ежели частная служба измѣнитъ? соперникъ явится, мѣсто упразднится, въ работѣ окажется недосмотръ, начальникъ неудовольствіе выкажетъ? Всѣ эти вопросы даже усиленною работою не заглушались, а волновали и мучили съ утра до вечера. Некогда было подумать о томъ, зачѣмъ пришла и куда идетъ эта безразсвѣтная жизнь... Но о томъ, что эта жизнь можетъ мгновенно порваться, думалось ежемгновенно, безъ отдыха.

Въ сущности неправы были тѣ, которые удивлялись, что они, при своемъ заработкѣ, не умѣютъ прожить иначе, какъ съ величайшею осторожностью. Еслибы эти деньги являлись, на примѣръ, въ видѣ

заработка главы семейства, а она пользовалась хоть относительным досугомъ, тогда, дѣйствительно, жизнь не представляла бы особенныхъ недостатъ съ матеріальной стороны. Личный домостроительный трудъ помогаетъ сокращать издержки на добрую треть. Можно въ-время распорядиться, въ-время закупить, — былъ бы досугъ. Стѣбитъ только сходить за четыре версты — ноги-то свои, не купленыя! — за курицей, за сигомъ, стѣбитъ выждать часа два у окна, пока появится на дворѣ знакомый разносчикъ — и дѣло въ шляпѣ. Рубля двоимъ на обѣдъ за глаза достаточно, даже и съ дѣтьми, ежели ихъ немного; пожалуй, и пирога въ праздникъ будетъ. И прислуга заведется, и опять-таки дешевенькая... Гдѣ-нибудь въ колоніи, изъ-за хлѣба, молодую дѣвчонку отыщутъ и приучатъ ее понемногу. Въ концѣ года, смотришь, окажется даже экономія. Мужъ доволенъ, что сытъ; жена довольна, что Богъ ихъ и съ семьею за рубль прокормилъ; у дѣтей щеки отъ праздничнаго пирога лоснятся. Квартира — ничего-себѣ, столъ — ничего-себѣ; извозчика, правда, нанять не изъ чего — ну, да вѣдь не графы и не князья, и на своихъ на двоихъ дойти съумѣемъ. Даже пріятели вечеромъ придутъ — и для тѣхъ закуска найдется. Въ винтъ по сотой копѣйкѣ засядутъ, проиграетъ глава семейства рубль — и не поморщится. Вотъ какъ на двѣ-то съ половиной тысячи умные люди живутъ, а не то чтобы чтѣ.

Ничѣмъ подобнымъ не могли пользоваться Черезовы по самому характеру и обстановкѣ ихъ труда. Оба работали и утромъ, и вечеромъ внѣ дома, оба жили въ готовыхъ, однажды сложившихся условіяхъ, и стало быть не имѣли ни времени, ни привычки, ни надобности входить въ хозяйственныя подробности. Это до того въѣлось въ ихъ природу, съ самыхъ молодыхъ ногтей, что еслибы даже и выпалъ для нихъ случайный досугъ, то они не знали бы, какъ имъ распорядиться, и растерялись бы на первомъ шагу при вступленіи въ практическую жизнь.

Сдѣлавшись мужемъ и женой, они не оставили ни прежнихъ привычекъ, ни бездомовой жизни; обѣдали въ опредѣленный часъ въ кухмистерской, продолжали жить въ меблированныхъ номерахъ, гдѣ занимали двѣ комнаты, и кромѣ того обязаны были имѣть карманныя деньги на извозчика, на завтракъ, на подачки сторожамъ и нумерной прислугѣ и на прочую мелочь. А тамъ еще одежда, бѣлье — вѣдь на частную работу или на урокъ не пойдешь засуча рукава въ



ситцевомъ платьѣ, какъ ходить въ лавочку домовитая хозяйка, которая сама стоитъ на стражѣ своего очага. Однимъ словомъ, приходилось тратить полтора рубля тамъ, гдѣ у домовитаго хозяина выходило не больше рубля. Но за то они тратили деньги безъ хлопотъ, точно какъ по преись-куранту.

Сходились они обыкновенно за обѣдомъ въ кухмистерской и дома въ поздній часъ. Оба приходили усталые, обоимъ было не до разговоровъ. Пили чай, съѣдали принесенную закуску и засыпали, чтобы на другой день около десяти часовъ утра разойтись. Но съ праздниками имъ удалось устроиться такъ, что они проводили цѣлый день вмѣстѣ. Утромъ онъ ей читалъ, и непременно что-нибудь печальное, такъ какъ это больше всего соотвѣтствовало ихъ душевному настроенію; вечеромъ—ходили въ театръ. Въ праздники же имъ случалось разговаривать по душѣ, но бесѣда шла больная, скорѣе растрavляющая, нежели успокоивающая. Во всякомъ случаѣ, заработокъ утекалъ незамѣтно, такъ что они были рады, если годъ кончался безъ особенныхъ затрудненій, въ родѣ долга мелочной лавочкѣ или хозяйкѣ квартиры.

Страхъ передъ завтрашнимъ днемъ ни на минуту не оставлялъ ихъ. Оба принадлежали къ тому типу обыкновенныхъ смиренныхъ людей, которые инстинктивно стремятся къ одной цѣли: самосохраненію. Можетъ быть, при другихъ обстоятельствахъ, при иной школѣ, сердца ихъ раскрылись бы и для иныхъ идеаловъ, но трудъ безъ содержанія, трудъ, направленный исключительно къ цѣлямъ самосохраненія, окончательно заглушилъ въ нихъ всякіе зачатки высшихъ стремленій. Они не сознавали даже, что этотъ трудъ, который доставляетъ имъ дневной коштъ, въ то же время мало-по-малу убиваетъ ихъ и навсегда лишаетъ возможности различать добро отъ зла. Не вникая въ содержаніе труда, они цѣнили его лишь съ точки зрѣнія оплаты и охотно брались за *всякую* работу, лишь бы она была оплачена. Постыднаго они, правда, не дѣлали, но кто же и поручить имъ что-нибудь постыдное? Для постыднаго и люди должны быть постыдные, прожженные, дошлые люди, которые могутъ и пролѣзть, и вылѣзть, и сухими изъ воды выйти—куда же имъ съ ихъ простотой! вѣдь имъ и на умъ ничего постыднаго не придетъ! Это просто не жившіе, но уже измученные жизнью люди—и только. Вояться и трепетать—вотъ ихъ дѣло. Всѣ разговоры ихъ ведутся на эту тему и



не исчерпаются никогда, потому что они всецѣло сосредоточились въ испугѣ, и никакія вліянія, ни виѣшнія, ни внутреннія, не могутъ внести иные элементы въ ихъ скудное существованіе. Нѣтъ этихъ вліяній и не откуда имъ придти; трудъ для труда, трудъ, падающій въ какую-то бездну и мгновенно поглощаемый ею, погубилъ всякую воспріимчивость, всякій зачатокъ самодѣятельности.

— Боюсь я, какъ бы урока мнѣ не лишиться,—говорила она.

— А что?

— Да такъ; ученица моя поговариваетъ, что отецъ ея совсѣмъ изъ Петербурга хочетъ уѣхать. Пожалуй, двадцать-то пять рублей въ мѣсяцъ и улыбнется.

— Скверно; ну, да Богъ дастъ...

— Я ужъ и то стороной разужаю, не наклонится ли чего-нибудь... Двоюродная сестра у моей ученицы есть, такъ тамъ тоже учительницѣ хотятъ отказать... вотъ кабы!

— Ищи, голубушка; только не тяжело ли будетъ, ежели два урока придется давать?

— Ничего, устроюсь. Надо же. Да вотъ что я еще хотѣла тебѣ сказать, Сеня. Бухгалтеръ у насъ въ конторѣ ко мнѣ пристаеетъ... съ тѣхъ поръ какъ я замужъ вышла. Подсаживается ко мнѣ, разговариваетъ, спрашиваетъ, люблю ли я конфеты...

— Мерзавецъ!

— И я говорю, что мерзавецъ, да вѣдь когда зависишь... Что если онъ банкиру на меня наговоритъ! — вѣдь пожалуй и тамъ... Тутъ двадцать-пять рублей улыбнется, а тамъ и цѣлыхъ пятьдесятъ. Останусь я у тебя на шеѣ, да кромѣ того и дѣлать нечего будетъ... Съ утра до вечера все буду думать... Думать да думать, одна да одна... ахъ, не дай Богъ!

— Ну, какъ-нибудь обойдется; ты у меня молодецъ, вывернешься. Вотъ у насъ въ правленіи должность бухгалтера скоро очистится, — развѣ попытать?

— А у тебя какъ свое-то дѣло идетъ?

— Покуда — ничего. Въ департаментѣ даже говорятъ, что меня столоначальникомъ сдѣлаютъ. Полторы тысячи — вѣдь это кушъ. Правда, что тогда отъ частной службы отказать придется, потому что и на дому казенной работы по вечерамъ довольно будетъ, но что-нибудь легонькое все-таки и постороннимъ трудомъ можно будетъ

заработать, рубликовъ хоть на гриста. Квартиру найдемъ; ты только вечеромъ на уроки станешь ходить, а по утрамъ дома будешь сидѣть; хозяйство свое заведемъ—живуть же другіе!

— Ахъ, боюсь я! особенно этотъ бухгалтеръ... Придется опять просить, кланяться, хлопотать, а время между тѣмъ летить. Одинъ день пройдетъ — нѣтъ работы, другой — нѣтъ работы, и каждый день урѣзывать себя, рассчитывать, какъ прожить дальше... Устанешь хуже чѣмъ на работѣ. Ахъ, боюсь!

Теперь они боятся въ особенности потому, что Надежда Владиміровна готовится сдѣлаться матерью. Ахъ, что-то будетъ? что такое будетъ—даже представить себѣ нельзя!.. Сколько рабочихъ дней отнять одни роды, а потомъ ребенокъ. Надо его кормить, пеленать, мыть, отлучаться отъ него нельзя. Да и какъ тутъ поступить—не знаешь. Настанутъ роды—къ кому обратиться, куда идти, что будетъ стѣдить, и вообще какъ совершается весь этотъ процессъ? Прислуга—дорогая и ненадежная, да материнскаго сердца и не уймешь. Вотъ тогда-то дѣйствительно придется бросить бездомную жизнь, нанять квартиру, лишиться главнаго заработка, засучить рукава, взять скалку въ руки и раскатывать на столѣ тѣсто для пирога. На какія деньги они будутъ жить? Хотъ и обѣщали Семену Александрычу мѣсто столоначальника, да что-то не слыхать, а самъ онъ заискивать и напоминать о себѣ не смѣетъ. Фальшивые нынче люди, невѣрные! всѣ ихъ обѣщанія на водѣ писаны. Ахъ, не съумѣютъ они своимъ домомъ жить. Въ меблированныхъ комнатахъ—все готово, въ кухмистерской—тоже. Такъ они прожили всю жизнь и другой жизни не знаютъ. И вдругъ очутятся въ пространствѣ на собственной отвѣтственности—вотъ гдѣ настоящая-то мука! Вездѣ—обманъ, вездѣ—фальшь, а ежели и нѣтъ обмана, то будетъ казаться, что онъ есть.

— Куда мы съ тобой дѣнемся?—мучительно спрашиваетъ она его.

Онъ тоже глядитъ вопросительно, хочетъ сказать что-нибудь и не можетъ. Онъ самъ не разъ задавался этимъ вопросомъ, и ни къ какому рѣшенію не пришелъ.

— Скажи, что мы будемъ дѣлать?—настаиваетъ она.

— Ахъ, да не мучь ты меня!

— Черезъ три мѣсяца у насъ ребенокъ будетъ. Надо теперь же начать... Ходи, старайся, хлопочи!

— Стѣсниться придется на первое время...

— Нѣтъ, стѣсниться ужъ больше некуда, и безъ того тѣсно. Говорю тебѣ: надо кланяться, напоминать о себѣ, хлопотать... Хлопочуть же другіе...

— Ну, хорошо, попытаюсь.

Но Черезовская удача и тутъ приходитъ къ нимъ на выручку. Черезъ мѣсяць Семена Александрыча дѣлають хоть и не столоначальникомъ — начальство думаетъ, что для этой должности онъ недостаточно боекъ — а чѣмъ-то въ родѣ регистратора, съ столоначальническимъ окладомъ. Это впрочемъ еще лучше, потому что у регистратора вечернихъ занятій нѣтъ; стало быть, можно будетъ и частную службу за собой оставить. Только вотъ будущее какъ будто захлопнулось навсегда; но на радостяхъ онъ объ этомъ не думаетъ. Да и никогда, признаться, не думалъ, потому что *никогда* дверь будущаго не была передъ нимъ настѣжъ раскрыта. Однакожь Надежду Владиміровну этотъ полууспѣхъ мужа нѣсколько смутилъ.

— Зачѣмъ мы сошлись, зачѣмъ мы живемъ! — мучительно волнуется она себя.

— Ты сама кормить будешь? — спрашиваетъ онъ ее, прерывая ее думу.

— Ахъ, почему я знаю! Зачѣмъ, зачѣмъ мы сошлись! жили бы мы...

До послѣдней возможности они однакожь живутъ въ меблированныхъ комнатахъ. Черезовъ успѣлъ, на всякій случай, скопить нѣсколько денегъ, несмотря на то, что Надежда Владиміровна лишилась мѣста въ банкирской конторѣ. Она сидитъ по утрамъ дома, готовится и помаленьку всматривается въ жизнь. Открытій оказалось бездна, но хозяйка квартиры и сосѣдка по комнатѣ не оставляютъ ее и помогаютъ своими указаніями хотя сколько-нибудь освоиться съ жизнью. Обѣ учать, что нужно приготовить для ожидаемаго первенца, и совѣтуютъ лечь въ родильный домъ.

— Гдѣ вамъ справиться, ничего вы въ жизни не видѣли! — говорятъ онѣ въ одинъ голосъ: — ни вы, ни Семень Александрычъ и идти-то куда — не знаете. Такъ, по-пусту, будете путаться.

Такъ и сдѣлали. Она ушла въ родильный домъ; онъ исподволь подыскивалъ квартиру. Двѣ комнаты: одна будетъ служить общею спальней, въ другой — его кабинетъ, пріемная и столовая. И прислугу



онъ нанялъ, пожилую женщину, не вѣтрогонку и добрую; съумѣть и супъ сварить, и кусокъ говядины изжарить, и за малюткой углядѣть, покуда матери дома не будетъ.

— Проживемъ! — утѣшаетъ онъ себя.

Наконецъ ожидаемый первенецъ увидѣлъ свѣтъ. И благо ему, что онъ вступилъ въ жизнь въ родильномъ домѣ, при готовомъ уходѣ и своевременной врачебной помощи, потому что произойди этотъ случай въ своей квартирѣ — Семень Александрычъ навѣрное запутался бы въ самую критическую минуту. Родился сынъ, и Надежда Владиміровна рѣшила кормить его сама. Спустя урочное время, она вышла изъ родильнаго дома, но работать еще не могла. Уходъ за ребенкомъ былъ такъ сложенъ, что отнималъ все время, да и заработка въ виду не было. Надо было переждать и потомъ опять просить, хлопотать. Тѣмъ не менѣе они *продолжали жить* — и это было все, что нужно.

Спустя нѣкоторое время, нашлась вечерняя работа въ томъ самомъ правленіи, гдѣ работала ея мужъ. По крайней мѣрѣ они были вмѣстѣ по вечерамъ. Уходя на службу, она укладывала ребенка и съ помощью кухарки Авдотьи устраивалась такъ, чтобы онъ до прихода ея не былъ голоденъ. Жизнь потекла обычнымъ порядкомъ, вялая, сѣрая, даже сѣрѣе прежняго, потому что въ своей квартирѣ было голѣ и царствовала какая-то надрывающая сердце тишина.

Даже ребенокъ не особенно радовалъ Черезовыхъ. Они до самой минуты его рожденія ничего такого не предвидѣли, и теперь ихъ единственно занималъ вопросъ: какъ онъ проживетъ (разумѣется, съ матеріальной стороны)? То-есть, тотъ самый вопросъ, который ихъ самихъ ежеминутно терзалъ и который они инстинктивно переносили и на ребенка. Этотъ вопросъ обнималъ собою и высшую любовь, и высшее нравственное убожество. Высшую любовь — потому что въ благополучномъ его разрѣшеніи заключалось, по ихъ возрѣнію, все благо, весь жизненный идеалъ; высшее нравственное убожество — потому что, даже въ случаѣ удачнаго разрѣшенія вопроса о пропитаніи, за нимъ ничего иного не видѣлось, кромѣ пустоты и безнадежности.

Ребенокъ росъ одиноко; жизнь родителей, тоже одинокая и постылая, тоже шла особнякомъ, почти не касаясь его. Сынокъ удался — это былъ тихій и молчаливый ребенокъ, весь въ отца. Весь онъ,



казалось, былъ погруженъ въ какую-то загадочную думу, мало говорилъ, ни о чемъ не разспрашивалъ, даже не передразнивалъ разносчиковъ, возглашавшихъ на дворѣ всякую всячину.

— Ты у меня, Гриша, будешь умница?—спрашивалъ Семень Александрычъ, глядя его по головѣ.

Гриша удивленно взглядывалъ на отца, какъ бы говоря: неужто можно сомнѣваться въ этомъ?

Изъ Надежды Владиміровны даже посредственной хозяйки не вышло. Она разсудила, съ своей точки зрѣнія, очень правильно: на хозяйствѣ, какъ ни бейся, все-таки выгадаешь какой-нибудь двухривенный, тогда какъ „работа“ во всякомъ случаѣ дастъ рубль. И, заручившись этою истиной, подыскала себѣ утренній урокъ, который на два часа сокращалъ ея домашнюю жизнь. Теперь у нея явилось страстное желаніе копить; но скапливались такіе пустяки, что просто совѣстно. Слыхала она, правда, анекдотъ про человѣка, который, выходя изъ дома, начиналъ съ того, что кликалъ извозчика, упорно держась гривенника, покуда не доходилъ до мѣста пѣшкомъ, и такимъ образомъ составилъ себѣ цѣлое состояніе. Но какъ-то плохо вѣрилось этому анекдоту, когда, несмотря на всѣ урѣзыванья, въ результатѣ оказывалось, что годовой доходъ увеличивался на какихъ-нибудь пять рублей.

— Сколько онъ башмаковъ въ годъ износить!—сѣтовала она на Гришу:—скоро, поди, и изъ рубашекъ выростеть... А потомъ надо будетъ въ ученье отдавать, пойдутъ блузы, мундиры, пальто... и каждый годъ новое! Вотъ когда мы настоящую нужду узнаемъ!

Словомъ сказать, сѣтованіямъ и испугу конца не было. Даже кухарка Авдотья начала скучать, слыша безпрестанные толки о трудностяхъ жизни.

— Точно вы на каторгѣ оба живете!—ворчала она:—по моему, день прошелъ—и слава Богу! сегодня прошелъ—завтра прошелъ,—что тутъ загадывать!

Она одна относилась къ ребенку по-человѣчески, и къ ней одной онъ питалъ нѣчто въ родѣ привязанности. Она разсказывала ему про деревню, про бывшихъ помѣщиковъ, какъ имъ привольно жилось, какая была сладкая ѣда. Отъ нея онъ получилъ смутное представленіе о полѣ, о лѣсѣ, о крестьянской избѣ.

— И какъ это ты проживешь, ничего не видѣвши!—кручини-

лась она: — хотя бы у колонистовъ на лѣто пашенька съ маменькой избушку наняли. И недорого, и по крайности ты хоть настоящую траву, настоящее деревцо увидѣлъ бы, просторъ узналъ бы, здоровья бы себѣ нагулялъ, а то ишь ты блѣдный какой! Посмотрю я на тебя — и при родителяхъ ровно ты сирота!

Изрѣдка она вводила его на рынокъ или въ лавку: пускай, по крайности, хоть на людей посмотреть, каковы-таковы живые люди бывають!

Однакожь главное все-таки было въ порядкѣ, и Чѣрезовская удача продолжала не измѣнять. Семень Александрычъ регистраторствовалъ съ такимъ тактомъ, что начальникъ говорилъ про него „въ первый разъ вижу челоуѣка, который попалъ на свое мѣсто, — именно таковъ долженъ быть истинный регистраторъ!“

Частная служба хотя не представляла прежней устойчивости, особливо у Надежды Владиміровны, но все-таки не приносила особенныхъ ущербовъ. Колесо было пущено, составила репутация, — стало быть, и съ этой стороны бояться было нечего. Но бояться чего-нибудь все-таки было надобно. Боялись, что вдругъ придетъ болѣзнь и поставитъ кого-нибудь изъ нихъ въ невозможность работать...

— Чтѣ тогда мы будемъ дѣлать? — мучилась Надежда Владиміровна.

— Да, на казенной-то службѣ еще потерпѣть, — вторилъ ей Семень Александрычъ, — а вотъ частныя занятія... Признаюсь, и у меня мурашки по кожѣ при этой мысли ползають! Однако что же ты, наконецъ! все слава Богу, а тебѣ съ чего-то вздумалось!

По временамъ его самого начали уже обременять назойливые страхи, которые преслѣдовали Надежду Владиміровну. Онъ настолько обтерпѣлся, что ему было почти удобно. Каторга не изнурила его, а, напротивъ, казалось, укрѣпила и закалила. Къ петербургской атмосферической сутолокѣ, съ ея сыростью, измѣнчивостью и непогодами, онъ привыкъ и чувствовалъ себя вполне здоровымъ; жена и сынъ тоже никогда не бывали больны. Зачѣмъ же придумывать напрасныя угрозы въ будущемъ? Авдотьа разсуждаетъ въ этомъ случаѣ правильнѣе: день прошелъ, и слава Богу! Въ ихъ положеніи иначе не можетъ и быть.

— А чтѣ, если и въ самомъ дѣлѣ... — внезапно мелькало у него въ головѣ. — Чтѣ тогда?

Онъ усиленно зарывался въ работу, чтобы заглушить эти мысли; чтобы не терзали онъ его.

Оказалось однакожь, что Надежда Владиміровна была права: Черезовская удача совсѣмъ неожиданно измѣнила. Все шло своимъ порядкомъ, тихо, безмятежно и вдругъ порвалось. И именно порвала болѣзнь.

Однажды, глубокою осенью, Черезовъ возвращался вечеромъ изъ своего правленія. Идти было довольно далеко, а на улицѣ точно свѣтопреставленіе царствовало. Дождь лилъ какъ изъ ведра, тротуары были полны водой, вѣтеръ вылъ какъ бѣшенный и вмѣстѣ съ потоками дождя проникалъ за воротникъ пальто. Впрочемъ Черезову не въ первый разъ приходилось видѣть картины петербургскаго безвременья; онъ прибавилъ шагу и шелъ. Но, пришедши домой, почти мгновенно почувствовалъ легкій ознобъ: оказалось, что онъ промочилъ ноги. Жена раздѣла его, напоила наскоро чаемъ, укутала и уложила въ постель. Предчувствіе грозы уже томило ее, но на этотъ разъ она не высказалась. Къ двумъ часамъ ночи онъ былъ весь въ огнѣ и разбудилъ жену. Хотѣли бѣжать за докторомъ, но было такъ поздно и непогода такъ разыгралась, что онъ посоветился. Ограничились тѣмъ, что опять напоили его чаемъ и еще плотнѣе укутали.

— Теперича его въ потъ вгонить, — утѣшала Авдотья: — а къ утру пѣтомъ болѣзнь и выгонить. Посидитъ денька два дома, а потомъ и опять молодцомъ на службу пойдетъ!

Но пѣта не появлялось; напротивъ, тѣло становилось все горячѣе и горячѣе, губы запеклись, языкъ высохъ и бормоталъ какія-то несвязныя слова. Всю остальную ночь Надежда Владиміровна просидѣла у его постели, смачивая ему губы и языкъ водою съ уксусомъ. По временамъ онъ выбивался изъ-подъ одѣяла и пылающею рукою искалъ ея руку. Мало-по-малу невнятное бормотанье превратилось въ настоящій бредъ. Посреди этого бреда появлялись минуты какого-то вымученнаго просвѣтленія. Очевидно, въ его головѣ носились терзающія воспоминанія.

— Чтѣ я дѣлалъ? Зачѣмъ жилъ? — стоналъ онъ, и затѣмъ, обращаясь къ женѣ, повторялъ: — чтѣ мы дѣлали? зачѣмъ жили?

Утромъ, часу въ девятомъ, какъ только на дворѣ побѣлѣло, Надежда Владиміровна побѣжала за докторомъ; но послѣдній былъ еще въ постели и выславъ сказать, что пріѣдетъ въ одиннадцать часовъ.



Когда она воротилась домой, больной какъ будто утихъ, но все-таки не спалъ, а только находился въ лихорадочномъ полузабытїи. Почуявъ ея присутствїе, онъ широко открылъ глаза и, словно сквозь сонъ, сказалъ:

— Чтò мы дѣлали? зачѣмъ жили?

Затѣмъ онъ опять началъ метаться, повторяя:

— Ахъ, какіе все пустяки! пустяки! пустяки! пустяки!

Она стояла возлѣ него, неподвижная, блѣдная, замученная, и вслѣдъ за нимъ такъ же, словно сквозь сонъ, твердила:

— Ахъ, какіе все пустяки! пустяки! пустяки! пустяки!

Даже Авдотья, стоя поодаль и утирая слезы концомъ головного платка, всхлипывала:

— Надорвался!.. сердечный!

Сынъ (ему было уже шесть лѣтъ) забился въ уголъ въ кабинетѣ и молчалъ какъ придавленный, точно впервые понялъ, что передъ нимъ происходитъ нѣчто не фантастическое, а вполне реальное. Онъ сосредоточенно смотрѣлъ въ одну точку—на раскрытую дверь спальни—и ждалъ.

Въ одиннадцать часовъ прїѣхалъ докторъ, осмотрѣлъ больного и осторожно заявилъ, что Черезовъ безнадеженъ.

— До вечера, можетъ быть, доживетъ,—сказалъ онъ:—но въ ночь... Впрочемъ я вечеромъ забѣгу.

— Чтò такое мы дѣлали? Зачѣмъ, зачѣмъ мы жили?—стоналъ между тѣмъ больной.

Къ вечеру, едва смерклось, какъ началась агонїя. Сравнительно, онъ умиралъ покойно, и уже въ полномъ сознанїи сказалъ женѣ:

— Надя! Тебѣ будетъ трудно... Не справиться... И сама ты, да еще сынъ на рукахъ. Ахъ, зачѣмъ, зачѣмъ была дана эта жизнь? Надя! Вѣдь мы въ каторгѣ были, и называли это жизнью, и даже не понимали, изъ чего мы бьемся, чтò дѣлаемъ; ничего мы не понимали!

Въ шесть часовъ вечера его не стало. Черезовская удача до такой степени измѣнила, что онъ не воспользовался даже льготнымъ срокомъ, который на казенной службѣ дается заболѣвшимъ чиновникамъ. Надежда Владиміровна совсѣмъ растерялась. Ей не приходило въ голову, что нужно обрядить умершаго, послать за гробовщицомъ, положить покойника на столъ и пригласить псаломщика. Все это сдѣлала за нее Авдотья.

Черезъ два дня его схоронили у Митрофанія на счетъ небольшого пособія, присланнаго изъ департамента. Похороны состоялись безъ помпы, хотя департаментъ командировалъ депутата для присутствованія. Депутатъ доѣхалъ на извозчикѣ до Измайловскаго проспекта, тамъ юркнулъ въ первую кондитерскую и исчезъ. За гробомъ дошли до кладбища только Надежда Владиміровна и Авдотья.

Но тутъ Чѣрезовская удача опять воротилась. Надеждѣ Владиміровнѣ назначили пенсію въ триста рублей, хотя мужъ ея никакого пенсіоннаго срока не выслужилъ, а въ такомъ размѣрѣ и по-давно.

Она и теперь продолжаетъ работать съ утра до вечера. Теряя одну работу, подыскиваетъ другую, такъ что „каторга“ остается въ прежней силѣ.

#### 4. — Чудиновъ.

„Нѣтъ, вздумалъ странствовать одинъ изъ нихъ, летѣть...“

Онъ самъ опредѣленно не знаетъ, что привело его изъ глубины провинціи въ Петербургъ. Учиться и, для того, чтобы достигнуть этого, отыскать работу, которая давала бы средства хоть для самаго скуднаго существованія — вотъ единственная мысль, которая смутно бродитъ въ его головѣ.

Николай Чудиновъ — очень бѣдный юноша. Отецъ его служитъ главнымъ бухгалтеромъ казначейства въ отдаленномъ уѣздномъ городкѣ. По тамошнему, это мѣсто недурное, и семья могла содержать себя безъ нужды, какъ вдругъ сыну пришла въ голову какая-то „гнилая фантазія“. Ему было двадцать лѣтъ, а онъ уже возмечталъ! Учиться! развѣ мало онъ учился! Слава Богу, кончилъ гимназію — и будетъ.

Дѣйствительно, Николай уже прошелъ гимназическій курсъ и готовился поступить въ университетъ, когда Андрей Тимоѣичъ вызвалъ его къ себѣ, находя, что учиться довольно. Юноша пріѣхалъ; его сейчасъ же зачислили въ штатъ полицейскаго управленія и назначили двѣнадцать рублей мѣсячнаго жалованья; при готовыхъ хлѣ-

бахъ и даровой квартирѣ этого было достаточно. Предстояло на трудовой заработокъ только одѣться, обуться да кой-какія мелочи исправить. Посидитъ на этомъ окладѣ, а скоро, глядишь, и прибавятъ рубля три. И такимъ-то образомъ не всякому удастся начинать. А затѣмъ и въ уѣздѣ—дорога широкая. И въ станovyе пристава, и въ непремѣнные члены, а можетъ быть и въ исправники—всюду пройти можно,—былъ бы царь въ головѣ. А не то такъ и въ мировыя учрежденія, въ земство. У Андрея Тимоѣича есть связи въ уѣздѣ. Всѣмъ до казначейства есть дѣло, а онъ—душа казначейства. Стало быть, того, другого попросить, состоится единогласное избраніе—вотъ и мировой судья готовъ. Шутка сказать! вѣдь это двѣ тысячи рублей одного содержанія, а съ канцеляріей да съ камерой—и не сочтешь, сколько тутъ денегъ наберется!

Но юноша, вскорѣ послѣ пріѣзда, уже началъ скучать, и такъ какъ онъ былъ единственный сынъ, то отецъ и мать натурально встревожились. Ни на чтò онъ не жаловался, но на службѣ старанья не проявилъ, жилъ особнякомъ и не искалъ знакомствъ. „Не ко двору онъ въ родномъ городѣ, не любитъ своихъ родителей!“—тужили старики. Пытали они рисовать передъ нимъ соблазнительныя перспективы—и все задаромъ.

— Ежели не по нутру тебѣ полицейская служба—можно въ земство махнуть!—говорилъ отецъ:—попрошу Ивана Петровича да Семена Николаевича—кому другому, а мнѣ не откажутъ. Сначала въ секретари управы, благо нынѣшній секретарь въ лѣсъ глядитъ, а тамъ куплю на твое имя двѣсти десятинъ болота—и въ члены попадешь. Здѣсь, мой другъ, все въ нашихъ рукахъ. Захотимъ, такъ и въ судьи попадемъ, нѣтъ нужды, что ты университета не кончилъ. Того же Ивана Петровича попрошу—онъ какъ разъ единогласное избраніе оборудуетъ. Вотъ ты и на виду, и въ люди показаться не стыдно. Стѣдитъ только годика два до новыхъ выборовъ подождать.

Николай не возражалъ противъ отцовскихъ увѣщаній, но и согласія не заявлялъ. Онъ продолжалъ скучать, жить особнякомъ и тревожить родительскія сердца. Наконецъ однакожъ пришлось высказаться.

— Я бы въ Петербургъ желалъ, — сказалъ онъ нерѣшительно.

— Чтò ты тамъ забылъ?



— Въ университетъ хочу поступить. Началь ученье и не кончилъ...

— А чѣмъ же ты будешь въ Петербургѣ жить?

— Устроюсь какъ-нибудь. Мнѣ бы только доѣхать, а тамъ уроки найду, частныя занятія—много ли мнѣ на прожитокъ нужно!

— Слышалъ я, что казенныя стипендіи въ триста рублей полагаютъ — стало быть, меньше этого прожить нельзя. Да за лекціи отъ платы освобождаютъ—это тоже счетъ. Гдѣ ты эти триста-четыре-реста рублей добудешь?

— Какъ-нибудь...

— Съ „какъ-нибудь“ -то люди голодомъ сидятъ, а ты прежде подумай да досконально все разсчитай! насъ, стариковъ, пожалѣй... Мы вѣдь настоящей помощи дать не можемъ, сами въ обрѣзъ живемъ. Ахъ, не чаяли печали, а она за угломъ стерегла!

Но сколько старики ни тратили убѣжденій, въ концѣ концовъ все-таки пришлось уступить. Собрали кой-какъ рублей двѣсти на дорогу и на первыя издержки и снарядили сына. Въ одно прекрасное утро Николай сѣлъ съ попутчикомъ въ телѣгу — и слѣдъ его простылъ, а старики остались дома выплакивать остальные слезы.

Однако, по мѣрѣ приближенія къ Петербургу, молодой Чудиновъ началъ чувствовать нѣкоторое смущеніе. Какъ ни силился онъ овладѣть собою, но страхъ неизвѣстнаго все больше и больше проникалъ въ его сердце. Спутники по вагону разспрашивали его, и что-то сомнительное слышалось въ ихъ вопросахъ и отвѣтахъ.

— Въ Петербургъ?—спрашивали его.

— Да, въ Петербургъ.

— При должности-съ?

— Нѣтъ, учиться хочу.

— Такъ-съ. При родителяхъ будете жить?

— Нѣтъ, родители у меня живутъ въ провинціи.

— Ну, все равно, помогать будутъ?

— И помощи я отъ нихъ ждать не могу. Самъ долженъ буду о себѣ заботиться.

— Мудреное дѣло-съ.

— Отчего же? Мнѣ многого не нужно, а добыть урокъ или два, или какое-нибудь занятіе—неужели это такъ трудно?

— Кандидатовъ слишкомъ довольно. На каждое мѣсто десять-

двадцать человѣкъ, другъ у дружки такъ и рвутъ. И чѣмъ больше нужды, тѣмъ труднѣе: нынче и къ мѣсту-то пристроиться легче тому, у кого особенной нужды нѣтъ. Довѣрія больше, коли человѣкъ не жметя, вольной ногой въ квартиру къ нанимателю входить. Одежда нужна хорошая, видъ откровенный. А коли этого нѣтъ, такъ хоть сто лѣтъ грани мостовую — ничего не получишь. Нѣтъ, ежели у кого родители есть — самое святое дѣло подъ крылышкомъ у нихъ смиренно сидѣть.

— А ежели учиться хочется?

— Хотѣніе-то наше не для всѣхъ вразумительно. Деньги нужно добыть, чтобъ хотѣніе выполнить, а онѣ на мостовой не валяются. Бѣтъ нужно, пріютъ нуженъ, да и за ученье, само собой, заплати. На пожертвованія надежда плоха, потому нынче и безъ того всѣ испрожертвовались. Туда десять цѣлковыхъ, въ другое мѣсто десять цѣлковыхъ — анъ, подъ конецъ, и скучно!

И такъ далѣе.

Назойливо тянулась эта нить дорожныхъ разговоровъ, тревожа и волнуя Чудинова. Но вотъ наконецъ показался и Петербургъ.

Чудиновъ очутился на улицѣ съ маленькимъ сакомъ въ рукахъ. Онъ былъ словно пьянъ. Озирался направо и налево, слышалъ шумъ экипажей, крикъ кучеровъ и извозчиковъ, говоръ толпы. Къ счастью, послѣдній его собесѣдникъ по вагону — добрый, должно быть, человѣкъ былъ, — проходя мимо, крикнулъ ему:

— Коли не знаете, гдѣ остановиться, такъ ступайте къ Аннѣ Ивановнѣ въ Разъѣзжую: у нея много горюновъ живетъ. Нумера порядочные, обѣдъ — тоже, а главное, сама она добрая. Можетъ быть, и насчетъ занятій похлопочетъ. Покуда чтѣ, у нея и поживете.

Чудиновъ, разумѣется, послѣдовалъ этому совѣту.

Указанные нумера помѣщались въ четвертомъ этажѣ громаднаго дома. Его встрѣтила въ дверяхъ сама хозяйка, чистенькая старушка лѣтъ подь-шестьдесятъ. Было около десяти часовъ, и нумера пустѣли; въ корридорѣ то-и-дѣло сновали уходящіе жильцы.

— Вамъ нумерокъ? небольшой? — привѣтливо спросила хозяйка, оглядывая пріѣзжаго.

— Да, изъ самыхъ недорогихъ.

— Рублей на пятнадцать съ обѣдомъ въ мѣсяцъ? удобно это для васъ?

Комнатка дѣйствительно оказалась совѣтъ маленькая. Одно окно; около двери кровать; въ другомъ углу, возлѣ окна, раскрытый ломберный столъ съ чернильнымъ приборомъ; три плетеныхъ стула.

— Обѣдъ будетъ изъ двухъ блюдъ: супъ и мясное блюдо, — продолжала хозяйка. — Считается въ двадцать копѣекъ; а ежели третье блюдо закажете — прибавка 15 копѣекъ. Обѣдаютъ въ общей столовой между пятью и шестью часами, какъ кто удосужается. Остальные девять рублей — за квартиру. Мелочныхъ расходовъ прислугѣ, дворнику — рубль два въ мѣсяцъ наберется. Чай — вашъ, свѣчи — тоже ваши. Вы мѣсто искать прѣхали?

Чудиновъ сказалъ ей.

— Учиться? — переспросила она: — но вѣдь у васъ и въ своемъ округѣ университетъ есть? Зачѣмъ непременно въ Петербургъ? Вся провинція въ Петербургъ поднялась, а здѣсь, какъ нарочно, двери все плотнѣе и плотнѣе запираются! Точно повѣтріе.

Чудиновъ на могъ ничего болѣе объяснить. Нельзя же сказать, что его влекла въ Петербургъ безотчетная сила, — это было слишкомъ субъективное побужденіе, чтобы оправдать серьезный жизненный шагъ. Хозяйка согласилась впрочемъ, что разъ дѣло сдѣлано — не возвращаться же назадъ. Затѣмъ она, безъ всякой назойливости, а просто изъ добраго участія, разспросила его о средствахъ, которыми онъ располагаетъ, и объ его надеждахъ въ будущемъ. Оказалось, что у него отъ дороги осталось около полутора ста рублей, что изъ дома онъ надѣется получить не больше пятидесяти, ста рублей въ годъ и что главный расчетъ его на свой собственный трудъ.

— Занятій пріискивать будете? уроковъ? вотъ здѣсь, въ нумерахъ, собственными глазами увидите, легко ли это добывается, — сказала она. — Иные по году бьются, кругомъ задолжали — и все ни-причемъ. Вотъ, благослови Господи, за лекціи около двадцати-пяти рублей за первое полугодіе уплатить нужно, да мундирчики нынче требуются, да объявленія въ газетахъ придется печатать, — смотришь, изъ вашихъ полутора ста рублей и немного останется. Ну, да тамъ увидится. И то, правду сказать, запугиваньемъ дѣла не поправишь. Были бы хоть на первыхъ порахъ сыты.

Въ тотъ же день, за обѣдомъ, одинъ изъ жильцовъ, студентъ третьяго курса, объяснилъ Чудинову, что такъ какъ онъ поступаетъ въ юридическій факультетъ, то за лекціи ему придется уплатить



за полугодіе около тридцати рублей, да обмундированіе будетъ стоить, съ форменной фуражкой и шпагой, по малой мѣрѣ, семьдесятъ рублей. Объявленія въ газетахъ тоже потребуютъ изрядныхъ денегъ.

— Я двадцать рублей, по крайней мѣрѣ, издержалъ, а черезъ полгода только одинъ урокъ въ купеческомъ домѣ получилъ, да и то случайно. Двадцать рублей въ мѣсяцъ зарабатываю, да, вдобавокъ, поученія по поводу разврата, обуявшаго молодое поколѣніе, выслушиваю. А въ лѣтнее время на шеѣ у отца съ матерью живу, благо ѣхать къ нимъ не далеко. А имъ и самимъ жить нечѣмъ.

— Какъ же вы на двадцать рублей ухитряетесь жить?

— Да такъ вотъ. Отецъ рубля три въ мѣсяцъ высылаетъ, переписывать рубля на два достаю, по десяти копѣекъ съ листа, да и то почти насильно выклянчилъ. Отъ чая я ужъ отказался, ѣмъ разъ въ сутки, — сами видите, какая это ѣда! За лекціи уплачивать нѣсколько разъ запаздывалъ, — чуть не исключили. Насилу упробилъ. Хозяйкѣ и сейчасъ за три мѣсяца долженъ, а она тоже изъ-за корки хлѣба бьется. Хорошо, что на третьемъ курсѣ состою, хоть обмундированье для меня не обязательно, а для васъ и это потребуется. Нынче у насъ на первомъ курсѣ студенты чистенькіе, напомаженные. И душа у нихъ напомаженная. Ходятъ по улицамъ, шпагой поигрываютъ, думаютъ: чѣмъ мы хуже нажей? И солдаты имъ честь отдаютъ, — тоже лестно! Не тотъ ужъ нынче университетъ, что прежде.

Вообще, некрасивую картину нарисовалъ новый знакомецъ, и въ заключеніе прибавилъ:

— Не забудьте, что такъ какъ вы, послѣ полученія аттестата зрѣлости, два года баклуши били, то для васъ потребуется провъѣрочный экзамень. *Tolle me, tu, mi, mis, si declinare domus vis* — не забыли?

На другой же день начались и похождения Чудинова. Прежде всего онъ отправился въ контору газеты и подалъ объявленіе объ урокѣ, причемъ упомянулъ объ основательномъ знаніи древнихъ языковъ, а равно и о томъ, что не прочь и отъ переписки. Потомъ явился въ правленіе университета, подалъ прошеніе и получилъ отвѣтъ, что онъ обязывается держать провъѣрочный экзамень.

Былъ августъ мѣсяцъ въ началѣ, но на дворѣ уже пахло осенью. Наступало дождливое время, вечера темнѣли, да, благодаря постоянно покрытому тучами небу, улицы съ утра уже наполнялись сумерками.

Но городъ мало-по-малу оживалъ; уличное движеніе становилось замѣтнѣе и замѣтнѣе. Съ лѣтней каторги обыватели перемѣщались на зимнюю, въ надеждѣ хоть печнымъ тепломъ отогрѣться отъ лѣтнихъ продуваній и сквозныхъ вѣтровъ. Сколько при этихъ переѣздахъ испорчено было мебели, сколько распростудилось кухарокъ — это пойметъ только коренной петербургскій житель, которому ни флюсы, ни желудочные катарры, ни плевриты — ничто не въ поученіе.

Экзаменъ Чудиновъ сдалъ исправно, внесъ плату за предстоящій учебный семестръ и въ свое время пунктуально началъ посѣщать университетъ. По примѣру другихъ онъ обмундировался, и на первыхъ же порахъ убѣдился въ справедливости отзыва его новаго знаконца по нумерамъ. Въ мундирѣ онъ и самъ себя не узналъ. Онъ какъ-то невольно взглянулъ на свои волосы и сказалъ: „надо припомадиться“. Новые его собратья по наукѣ смотрѣли такъ мило и такъ свѣжо, такъ всѣ другъ на друга были похожи, что производить диссонансъ въ этомъ гармонически сложившемся міркѣ было совсѣмъ невыносимо. Старые лохматые дикари печально доживали свой срокъ на послѣднихъ курсахъ. Пройдетъ два-три года, и все будетъ мило, благородно — заглядѣнье!

Прошелъ мѣсяць, но ни урока, ни переписки не являлось. Чудиновъ напечаталъ новое объявленіе, и дней черезъ пять получилъ приглашеніе явиться. Онъ не пошелъ, а полетѣлъ, и успѣлъ понравиться. Условились за двадцать-пять рублей въ мѣсяць, съ тѣмъ, чтобы за эту сумму ходить каждый день и готовить двухъ мальчиковъ къ поступленію въ гимназію. Давно онъ не чувствовалъ себя такъ бодро и весело. Но когда онъ на другой день вечеромъ явился на урокъ, то ему сказалъ швейцарь, что утромъ приходилъ другой студентъ, взялъ двадцать рублей и получилъ предпочтеніе.

— Чтѣ же мнѣ не сказали? я бы... — началъ-было Чудиновъ, но понялъ, что дѣло его потеряно, и замолкъ.

Съ тѣхъ поръ, несмотря на неоднократно возобновляемыя объявленія, вопросъ объ урокѣ словно въ воду канулъ. Не отыскивалось желающихъ окунуться въ силоамскую купель просвѣщенія — и только. Деньги, привезенныя изъ дому, таяли-таяли и наконецъ растаяли...

На дворѣ мартъ. Цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ не было ни осени, ни зимы, да и теперъ весны нѣтъ, а какое-то безвременье. Чудиновъ,

по прежнему, живетъ въ нумерахъ у Анны Ивановны, но онъ уже исключенъ изъ числа студентовъ, за невзносъ полугодовой платы. Старику-отцу слѣдовало бы свидѣтельство о бѣдности для сына справиться, а онъ, вмѣсто того, охаль да ахаль. А впрочемъ и съ свидѣтельствомъ недалеко уйдешь, ежели при повѣркѣ въ извѣстныхъ предметахъ отличнѣйшихъ познаній не выкажешь. Молодой человѣкъ прожилъ не только привезенныя съ собой деньги, но и сторублевое пособіе, полученное изъ дома. Безработица продолжаетъ преслѣдовать его, хотя хозяйка и жильцы всячески старались ему помочь въ его исканіяхъ. Сунулся онъ было въ комитетъ вспомошествованія, но тамъ ему выдали восемь рублей, а ссуду онъ попросить не рѣшился, сробѣлъ. О стипендіи онъ и не мечталъ: что-то еще скажетъ экзаменъ при переходѣ на второй курсъ, а до тѣхъ поръ и думать нечего... Хозяйкѣ онъ давно задолжалъ, но она не тревожитъ его, и это съ ея стороны представляетъ тѣмъ бѣольшую жертву, что молодой человѣкъ серьезно заболѣлъ. Онъ подозрительно кашляетъ, тяжело дышетъ и безпрерывно хватается за грудь. Говорятъ, у него чахотка, да у него и у самого смутно мелькаетъ въ головѣ, что конецъ недалеко. Ходилъ онъ раза два къ доктору; тотъ объяснилъ, что болѣзнь его—слѣдствіе худого питанія, частыхъ простудъ, обнадежилъ, прописалъ лекарство и сказалъ, что весной надо уѣхать. На какія деньги покупать лекарство? Куда ѣхать?

Учился онъ страстно, все думалъ какъ-нибудь выбратся, переждать суровую нужду. Отъ чая отказался, отъ обѣда—тоже. Платить двадцать копѣекъ за обѣдъ оказывалось не подъ силу. Онъ бралъ на десять копѣекъ два пирога въ пирожной, и этимъ былъ сытъ. Но выбратся все-таки не удалось. Приходилось разстаться съ завѣтной мечтой, бросить ученье. Для другихъ оно было свѣточемъ жизни, для него—погребальнымъ факеломъ. Всякую надежду на лучшее будущее предстояло оставить, сказать себѣ разъ навсегда, что лучъ свѣта уже не согрѣетъ его существованія. И затѣмъ отдаться въ жертву голодной смерти.

Теперь онъ даже въ пирожную ходить не можетъ; и денегъ нѣтъ, и силы таютъ съ каждымъ днемъ. Съ трудомъ Анна Ивановна уговорила его не отказываться отъ скуднаго обѣда въ два блюда, обнадеживъ, что не все еще пропало и что современемъ она возвратитъ свои издержки.



— Мнѣ приходскій батюшка обѣщаль безпрѣмѣнно достать для васъ урокъ,—сказала она;—тогда и заплатите. И въ университетѣ начнете ходить. Упросимъ какъ-нибудь принять взносъ.

Тайно отъ него она извѣстила стараго бухгалтера о безнадежномъ положеніи молодого человѣка. Старикъ собрался съ силами и опять выслалъ двѣсти рублей, но требоваль, чтобы сынъ непременно воротился въ родное гнѣздо.

Семь часовъ вечера. Чудиновъ лежитъ въ постели; лицо у него въ поту; на тѣлѣ чувствуется то ознобъ, то жаръ; у изголовья его сидитъ Анна Ивановна и вяжетъ чулокъ. Въ полузабытїи ему представляется то свѣтлый духъ съ свѣточемъ въ рукахъ, то злобная парка съ смердящимъ факеломъ. Это — „ученье“, ради котораго онъ оставилъ родной кровъ.

Странное дѣло! припоминается ему: точно такой случай былъ у нихъ въ городѣ. Прїѣхали повѣрять торговлю и зашли къ сапожнику, который пропитывался своимъ ремесломъ одинъ, безъ учениковъ. „Есть свидѣтельство на мѣщанскіе промыслы?“ — Нѣтъ свидѣтельства! — Запечатали сапожный инструментъ и ушли. Онъ тоже ушелъ... въ кабакъ. Точно такъ же и тутъ. „Учиться желаю“. — Извольте внести впередъ за семестръ такую-то сумму. — „Нѣтъ у меня такой“. — А нѣтъ суммы, и ученья нѣтъ. — Стало быть, и учиться нельзя, а надо идти... куда? Ни учиться, ни работать; только безошлинно праздношататься — полная свобода, да и то ежели полиція не заподозритъ.

— Жарко мнѣ, вся подушка мокрая! — говоритъ онъ слабымъ голосомъ.

Анна Ивановна приподнимаетъ ему голову, ощупываетъ подушку и переворачиваетъ ее, потому что наволочка дѣйствительно оказывается мокрой.

— Чтò вы все лежите, прибодрились бы, — говоритъ она: — запустите себя, потомъ и все въ постель да въ постель тянуть будетъ.

— Васъ мнѣ совѣстно; все вы около меня, а у васъ и безъ того дѣла по горло, — продолжаетъ онъ: — вотъ отецъ къ себѣ зоветъ... Я и самъ вижу, что нужно ѣхать, да какъ быть? Ежели ждать — опять послѣднія деньги уйдутъ. Поскорѣ бы... какъ-нибудь... Главное, отъ желѣзной дороги полтораста верстъ на телѣгѣ придется трястись. Не выдержишь.

— Выдержите, молодцомъ прїѣдете. Скоро и тепло настанеть. А деньги мы сбережемъ. Какой расходъ съ моей стороны будетъ — папенька заплатитъ.

— Добрая вы!

Чудинова всѣ любятъ. Докторъ отъ времени до времени навѣщаетъ его и не беретъ гонорара; въ нумерахъ поселился студентъ медицинской академіи и тоже слѣдитъ за нимъ. Дѣвушка-курсистка смѣняетъ около него Анну Ивановну, когда послѣдней недосужно. Комнату ему отвели уютную, въ сторонѣ, поставили туда покойное кресло и стараются по близости не шумѣть.

Но все-таки бѣольшую часть времени ему приходится оставаться одному. Онъ сидитъ въ креслѣ и чувствуетъ, какъ жизнь постепенно угасаетъ въ немъ. Ему постоянно дремлется, голова въ поту. Временами онъ встаетъ съ кресла, но доидеть до постели и опять ляжетъ.

Въ немъ происходитъ тотъ двойственный внутренній процессъ, который составляетъ принадлежность чахотки: и полная безнадежность, и въ то же время такое страстное желаніе жить, которое переходитъ въ увѣренность исцѣленія.

— Вотъ прїѣду домой, тамъ отгуляюся, — мечтаетъ онъ: — лѣто, воздухъ, здоровая пища, уходъ и наконецъ сила молодости...

Но не успѣваетъ надежда согрѣть его существованіе, какъ разсудкомъ его всецѣло овладѣваетъ представленіе о смерти.

— Еще жить не начиналъ — и вдругъ смерть! — терзается онъ: — за чтѣ?

Воспоминанія толпою проходили передъ нимъ, но были однообразны и исчерпывались однимъ словомъ: „ученье“. Припоминались товарищи по гимназїи, учителя, родные, но все это заслонялось „ученьемъ“. Лицъ почти не существовало; ихъ замѣняло отвлеченное понятіе, которое, въ сущности, даже не давало пищи для ума. Ученье для ученья — вотъ тема, которая въ конецъ измучила его. Только въ послѣднее время, въ Петербургѣ, онъ началъ понимать, что за ученьемъ можетъ стоять цѣлый, разнообразный міръ отношеній. Что существуетъ общество, родная страна, дѣло, подвигъ... Что все это не удержиимо влечетъ къ себѣ человѣка; что знаніе есть не больше, какъ подготовка; что экзаменами и переходами изъ курса въ курсъ не все исчерпывается...

Жизнь представлялась ему въ видѣ необъятнаго пространства, переполненнаго непрерывающимся движеніемъ. Тутъ все: и добро, и зло; и праздность, и трудъ; и ненависть, и любовь; и пресыщеніе, и горькая нужда; и самодовольство, и слезы, слезы безъ конца... Вотъ куда предстояло ему идти, вотъ гдѣ не жаль было растратить молодья силы! Въ нумерахъ у Анны Ивановны, въ общей столовой, часто велись разговоры на эту тему, и онъ жадно къ нимъ прислушивался. Даже больной онъ кое-какъ переходилъ въ столовую и чувствовалъ, какъ молодья рѣчи и страстныя стремленія постепенно освѣщали его существо, зажигали его душу смутными, но уже неодолимыми стремленіями.

И что же!—едва занялась заря осмысленнаго существованія, какъ за нею уже стоитъ смерть!

— Тяжело умирать?—спрашиваетъ онъ Анну Ивановну.

— Чтò вы все про смерть да про смерть!—негодовала она:— ежели все такъ будете, я и сидѣть съ вами не стану. Слушайте-ка, чтò я вамъ скажу. Я сама два раза умирала; одинъ разъ ужъ совсѣмъ-было... Да сказала себѣ: не хочу я умирать — и вотъ какъ видите. Такъ и вы себѣ скажите: не хочу умереть!

— Нѣтъ, что! мяѣ теперь легко; хотѣлось бы однако признаки знать. Ежели люди вообще тяжело умирають, стало быть еще я, пожалуй, и продержусь. Но чахоточные, говорятъ, умирають почти незамѣтно, такъ вотъ это...

Студентъ-медикъ тоже разувѣрялъ его, говорилъ, что у него не чахотка, а просто бронхи не въ порядкѣ, и это, конечно, можетъ перейти въ чахотку, ежели не принять мѣръ.

— Вотъ пройдетъ весенняя сумятица—и вамъ легче будетъ,—говорилъ студентъ:—пойдете домой—тамъ совсѣмъ другой будете. Только въ Петербургъ ужъ—шабашъ! Ежели хотите учиться, такъ отправляйтесь въ другое мѣсто.

— А тяжело умирать?—добивался отъ него Чудиновъ.

— Смерть никогда не легка, особливо ежели ей предшествуетъ продолжительный болѣзненный процессъ. Бываетъ, что люди годами выносятъ сущую пытку, и все-таки боятся умереть. Таковъ ужъ инстинктъ самосохраненія въ человѣкѣ. Вотъ внезапно, сразу умереть—это, говорятъ, ничего.

Благодаря этимъ разувѣреніямъ, онъ ободрился и сталъ свѣтлѣе



смотреть на будущее. Конечно, дверь ученя для него уже закрыта, но онъ какъ-нибудь доберется до дома, отдохнетъ, выправится и непременно выполнить ту задачу, которая въ послѣднее время начала волновать его. Надо идти туда, гдѣ сгустился мракъ, откуда слышатся стоны, куда до такой степени не проникъ лучъ сознательности, что вся жизнь кажется отданною въ жертву неосмысленному обычаю, — и не слышно даже о стремленіи освободиться отъ оковъ его. Тамъ достаточно и тѣхъ знаній, которыми онъ уже обладаетъ, а ежели ихъ окажется мало, то онъ восполнитъ этотъ недостатокъ любовью, самоотверженіемъ.

Наконецъ, есть книги. Онъ будетъ читать, найдетъ въ чтеніи матеріалъ для дальнѣйшаго развитія. Во всякомъ случаѣ, онъ дастъ чтѣ можетъ, и не его вина, ежели судьба и горькія условія жизни заградили ему путь къ достиженію завѣтныхъ цѣлей, которыя онъ почти съ дѣтства для себя намѣтилъ. Главное, быть бодрымъ и не растрчивать по-пусту того, чѣмъ онъ уже обладалъ.

Въ его воображеніи рисовалась деревня. Въ сущности, впрочемъ, онъ зналъ ее очень мало, хотя и провелъ все дѣтство о-бокъ съ нею. Главный матеріалъ для знакомства съ деревенскимъ бытомъ ему дали собесѣдованія съ новыми знакомцами по общей квартирѣ, но въ матеріалѣ этомъ было слишкомъ много дано мѣста романтическому „несчастному“ и упускалось изъ вида конкретное, упорствующее, неподдающееся. Онъ представлялъ себѣ, что нужно только придти, и не задавался вопросомъ, какъ будетъ принять его приходъ. Согласны ли будутъ скованные преданіемъ люди сбросить съ себя иго этого преданія? Не пустило ли послѣднее настолько глубокіе корни, что для извлеченія ихъ, кромѣ горячаго слова, окажутся нужными и другіе приемы? въ чемъ состоятъ эти приемы? Быть можетъ, въ отождествленіи личной духовной природы пришельца съ подавленностью, охватившею духовный міръ аборигеновъ?

Въ сущности, однакожъ, въ томъ положеніи, въ какомъ онъ находился, еслибы и возникли въ умѣ его эти вопросы, они были бы лишними или, лучше сказать, только измучили бы его, затемнили бы въ конецъ тотъ лучъ, который хоть на время освѣтилъ и согрѣлъ его существованіе. Все равно, ему ни идти никуда не придется, ни задачи никакой выполнить не предстоитъ. Передъ нимъ широко рас-

крыта дверь въ темное царство смерти—это единственное ясное разрѣшеніе новыхъ стремленій, которыя волнуютъ его.

Наступило тепло: онъ чаще и чаще говорилъ объ отъѣздѣ изъ Петербурга, и въ то же время быстрѣе и быстрѣе угасаль. Недугъ не терзалъ его, а изнурялъ. Голова была тяжела и вся въ поту. Квартирные жильцы слѣдили за нимъ съ удвоеннымъ вниманіемъ и даже съ любопытствомъ. Загадка смерти стояла такъ близко, что всѣ съ минуты на минуту ждали ея разрѣшенія.

Однажды, ночью, когда никого около него не было, онъ потянулся, чтобы достать стаканъ воды, стоявшій на ночномъ столикѣ. Но руки его застыли въ воздухѣ...

Схоронили его на Митрофаньевскомъ кладбищѣ. Ни некролога, ни даже простого извѣщенія объ его смерти не было. Умеръ человекъ, искавшій свѣта и обрѣвшій—смерть.



### III.

## ЧИТАТЕЛЬ.

(Нѣсколько нелишнихъ характеристикъ.)

Для всякаго убѣжденнаго и желающаго убѣждать писателя (а именно только такого я имѣю въ виду) вопросъ о томъ, есть ли у него читатель, гдѣ онъ и какъ къ нему относится, есть вопросъ далеко не праздный.

Читатель представляетъ собой тотъ устой, на которомъ всецѣло зиждется дѣятельность писателя; онъ—единственный объектъ, ради котораго горитъ писательская мысль. Убѣжденность писателя питается исключительно увѣренностью въ воспримчивости читателей, и тамъ, гдѣ этого условія не существуетъ, литературная дѣятельность представляетъ собою не что иное, какъ безпредѣльное поле, поросшее волчецомъ, на обнаженномъ пространствѣ котораго безцѣльно раздается голось, воиющій въ пустынѣ.

Доказывать эту истину нѣтъ ни малѣйшей надобности; она стоитъ столь же твердо, какъ и та, которая гласитъ, что для человѣческаго питанія потребенъ хлѣбъ, а не камень. Даже несомнѣннѣйшіе литературные шуты — и тѣ чувствуютъ себя неловко, утрачиваютъ бойкость пера, ежели видятъ, что читатель не помираетъ со смѣху въ виду ихъ кривляній. Даже тутъ, въ этой клоакѣ человѣческой мысли, чувствуется потребность поддержки со стороны читателя. И не только ради построчной мзды, но и ради того чувственнаго воз-



бужденія, при отсутствіи котораго самое скоморошество дѣлается вялымъ, безцвѣтнымъ и назойливымъ.

Ежели въ странѣ уже образовалась воспріимчивая читательская среда, способная не только прислушиваться къ трепетаніямъ чело-вѣческой мысли, но и свободно выражать свою воспріимчивость — писатель чувствуетъ себя бодрымъ и сильнымъ. Но онъ глубоко несчастливъ тамъ, гдѣ масса читателей представляетъ собой бродячее чело-вѣческое стадо, мятущееся подъ игомъ давленій внѣшняго свой-ства. Даже при увѣренности, что въ этой массѣ немало найдется сердце, несущихся на встрѣчу писателю, это только усугубляетъ скорбь послѣдняго. Онъ вдвое несчастливъ: и за себя, и за тѣ пре-данныя сердца, которымъ горѣніе ихъ ничего не можетъ дать, кромѣ сознанія темнаго и безвыходнаго порабощенія.

Поэтъ, въ справедливомъ сознаніи свѣтозарности совершаемаго имъ подвига мысли, имѣлъ полное право воскликнуть, что онъ гла-голомъ жжетъ сердца людей; но при данныхъ условіяхъ слова эти были только отвлеченной истиной, близкой къ самообольщенію. Когда окрестъ царить глубокая ночь, — та ночь, которую никакой свѣтъ не въ силахъ объять, — тогда не можетъ быть мѣста для торжества живого слова. Сердца горятъ, но огонь ихъ не проникаетъ сквозь густоту мрака; сердца бьются, но біеніе ихъ не слышно сквозь толщу желѣзъ. До тѣхъ поръ, пока не установилось прямого общенія между читателемъ и писателемъ, послѣдній не можетъ считать себя испол-нившимъ свое призваніе. Могучій — онъ обезсиленъ; властитель думъ — онъ рабъ безумныхъ бормотаній случайныхъ добровольцевъ, успѣвшихъ захватить въ свои руки ярмо.

Звуча на-удачу, рѣчь писателя превращается въ назойливое со-трясеніе воздуха. Слово утрачиваетъ ясность, внутреннее содержаніе мысли ограничивается и суживается. Только одинъ вопросъ стоитъ вполне опредѣленно: къ чему растрачивается пламя души? Кого оно грѣбеть? на кого проливаетъ свой свѣтъ?

Повторяю: несчастіе въ этомъ случаѣ такъ глубоко, что никогда не останется безслѣднымъ. Я не говорю о себѣ лично, но думается, что всякій убѣжденный русскій писатель испыталъ на себѣ вліяніе подобной изолированности. Всякій на каждомъ шагу встрѣчался и съ ненавистью, и съ безчестными передержками, и съ равнодушіемъ, и съ насмѣшкой; рѣдко кому улыбнулось прямое, осязательное со-

чувствіе. Послѣднее такъ далеко затерялось въ читательской массѣ, что лишь предположительно можетъ ободрить писателя. За то минуты подобнаго ободренія—самыя дорогія въ жизни.

Я не претендую здѣсь подробно и вполне опредѣлительно разобраться въ читательской средѣ, но постараюсь характеризовать хоть нѣкоторыя ея категоріи. Мнѣ кажется, что это будетъ не бесполезно для самого читающаго люда. До тѣхъ поръ, пока не выяснится читатель, литература не пріобрѣтетъ рѣшающаго вліянія на жизнь. А послѣднее условіе именно и составляетъ главную задачу ея существованія.

### 1. — Читатель-ненавистникъ.

Начну съ читателя-ненавистника.

Ненавидѣть дозволяется. Убѣжденному писателю необходимо знать о существованіи этой привилегіи, потому что онъ встрѣчается съ нею съ перваго же шага на своемъ трудовомъ пути. Дозволяется ненавидѣть не только убѣжденія писателя и произведенія, въ которыхъ онъ выражаетъ ихъ, но и самую личность его. Распускать о немъ невѣроятные слухи, утверждать, что онъ не только писатель, но и „дѣятель“, — разумѣется, въ извѣстномъ смыслѣ; предумышленно преувеличивать его вліяніе на массу читателей; намекать на его участіе во всѣхъ смутахъ; ходатайствовать „въ особенное одолженіе“ объ его обузданіи и даже о принятіи противъ него мѣръ—вотъ задача, которую неутомимо преслѣдуетъ читатель-ненавистникъ.

Это читатель самый ревностный и неизмѣнный. Онъ не просто читаетъ, но и вникаетъ; не только вникаетъ, но и истолковываетъ каждое слово, пестритъ поля страницъ вопросительными знаками и замѣтками, въ которыхъ заранѣе произноситъ надъ писателемъ судъ, сообщаетъ о вынесенныхъ изъ чтенія впечатлѣніяхъ друзьямъ, женѣ, дѣтямъ, брызжетъ, по поводу ихъ, слюною въ департаментахъ и канцеляріяхъ, наполняетъ воплями кабинеты и салоны, убѣждаетъ, грозитъ, доказываетъ существованіе вулкана, витійствуетъ на тему о потрясеніи основъ и т. д. Словомъ сказать, всякій новый трудъ писателя приводитъ читателя-ненавистника въ суматошливое неистовство.

Разновидность эта въ особенности размножилась въ позднѣйшее время. И прежде не было въ ней недостатка, но она была не вполне увѣрена въ своихъ собственныхъ впечатлѣніяхъ и сверхъ того встрѣчала отпоръ. Въ самомъ дѣлѣ, трудно, почти невысказуемо, среди общаго мира, утверждать, что общественныя основы потрясены, когда онѣ, для всѣхъ видимо, стоятъ неизмѣнными въ тѣхъ самыхъ формахъ и съ тѣмъ содержаніемъ, какія завѣщаны историческимъ преданіемъ. Для того, чтобы приблизиться къ этому грубому идеалу клеветы, необходимо отождествить его съ вопросомъ объ умѣстности или неумѣстности общественнаго развитія, а это даже для самыхъ заклятыхъ ненавистниковъ не всегда удобно. Всякій столначальникъ противъ подобной претензіи возопіетъ.

— Помилуйте! — скажетъ онъ: — сколько лѣтъ я изо дня въ день хожу въ департаментъ, и никакихъ потрясеній не вижу. Какъ и всегда, мы встаемъ съ мѣсто при появленіи начальника отдѣленія; какъ и всегда, я исправно и безпрепятственно выполняю свой дневной бюрократическій трудъ. Въ какомъ видѣ представлялось „дѣло“ въ прежнее время, въ такомъ же оно представляется и теперь. Что же касается до развитія, то вопросъ объ умѣстности его искони рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ, и ежели въ послѣднее время ожилъ нѣсколько болѣе, то причина этого явленія заключается въ томъ, что накопились и умножились самые запросы жизни. Это не потрясеніе, не разрывъ съ прошлымъ, а развитіе, именно только развитіе прошлаго. Еслибы его не было, еслибы оно не существовало *всегда*, то и наша бюрократическая дѣятельность заглохла бы; назначѣмъ было бы въ департаментъ ходить, нечего было бы направлять. Такъ и директоръ нашего департамента говоритъ, и даже радуется.

Отпоръ такого рода оставлялъ ненавистника безотвѣтнымъ. Онъ не настаивалъ, а только какъ бы мимоходомъ бросалъ на встрѣчу: — Вотъ увидите! — и до времени умолкалъ.

Такъ было еще недавно, на нашихъ глазахъ. Но даже и въ самыя благопріятныя минуты, которыя удалось прожить русскому обществу, ненавистничество никогда не считалось чудовищнымъ и позорнымъ. Чудачество и старозавѣтность — вотъ единственные эпитеты, которые болѣе или менѣе добродушно присвоивались ему. Никому не приходило на мысль, что ненавистникъ заключаетъ въ себѣ неистощимый источникъ всевозможныхъ раздоровъ, смутъ и переполоховъ, что рѣчи



его вливають ядъ въ сердца, посрамляють общественную совѣсть и вообще наносятъ невознаградимый вредъ тѣмъ самымъ основамъ, на защиту которыхъ они произносятся. Совѣтъ напротивъ. Предполагалось, что эти взбѣсившіеся люди — чудаки, но что, во всякомъ случаѣ, исходный пунктъ ихъ бѣшенства имѣеть характеръ благонамѣренный. Выслушивать ихъ брюзжаніе не особенно пріятно, но вѣдь выслушивать и не обязательно. Пускай по-пустому сотрясають воздухъ — кого же можетъ потревожить это сотрясаніе? Кто расположенъ слѣдовать ихъ увѣтамъ? Въ строгомъ смыслѣ, ихъ нельзя даже осуждать, потому что ихъ дѣйствія и рѣчи свидѣтельствуютъ о глубинѣ усердія и ревности. Въ крайнемъ случаѣ, на нихъ можно даже надѣяться: они не выдадутъ.

Благодаря такимъ благодушнымъ сужденіямъ, ненавистники имѣли возможность жить безмятежно и выжидать. По временамъ они лицемѣрили: говорили, что они не противъ жизненнаго преуспѣянія, а исключительно только противъ потрясенія основъ, и когда ихъ, такъ сказать, прижимали къ стѣнѣ и требовали фактическихъ указаній, они хитро подмигивали, говоря:

— Ну, согласитесь однакожъ... немножко-таки есть.

Это была стереотипная фраза, которая прекращала всякій споръ. Ежели она ничего не доказывала, то не давала мѣста и возраженіямъ. Она всецѣло, всей своей глупостью и бессодержательностью, залегала въ сердце слушателя-простеца, который, улыбаясь, бессознательно повторялъ:

— Немножко-таки есть.

Я думаю, что покуда длилось такое относительно мягкое общественное настроеніе, ненавистники очень страдали. Но все-таки навѣрное можно сказать, что они не отчаивались и собирали матеріалы для будущаго похода. Правда, ихъ огорчало, что многое изъ этихъ матеріаловъ современемъ выдохнется и потеряетъ цѣнность, но жизнь каждый день приноситъ новость за новостью, и запасъ все-таки будетъ достаточный. Но что всего важнѣе — выжиданіе не только не охлаждаетъ ненависти, а, напротивъ, подогрѣваетъ ее, дѣлая болѣе живою. Явиться въ данную минуту во всеоружіи и съ совершенно свѣжими силами — это тоже представляетъ существенную выгоду.

Минуту эту приводятъ за собой единичныя событія, источникъ которыхъ не имѣеть съ литературой ничего общаго, но пріурочивается

къ ней съ самую позорную непринужденностью. Съ наступленіемъ ожидавшаго момента ненавистникъ-читатель пробуждается. Пробужденіе это ужасно не только по намѣреніямъ, но и по своей безъисходной бессмыслицѣ, по тому изумительному довѣрію, съ которымъ эта бессмыслица принимается. Слышатся вопросы: дождались? убѣдились? Приводятся цитаты, дѣлаются соотвѣтствующія толкованія; атмосфера насыщается сквернословіемъ и клеветою; злоба принимаетъ такіе дѣятельные размѣры, что все живое прячется и исчезаетъ. И тотъ же самый столоначальникъ, который еще недавно такъ увѣренно и резонно возражалъ ненавистнику, смотритъ на него полуобезумѣвшими глазами и... соглашается. Искренно ли онъ убѣдился въ томъ, что въ проклятiяхъ ненавистника заключается истина, и какая именно, абсолютная или истина данной минуты, — разгадать трудно, но во всякомъ случаѣ онъ настолько ошеломленъ, что вызвать его изъ этого ошеломленія стѣбитъ и времени, и усилій.

Успѣху ненавистника главнымъ образомъ способствуетъ то, что онъ никогда настоящимъ образомъ не умолкалъ, но, какъ я уже сказалъ выше, даже въ самыя льготныя эпохи безпречаственно велъ свою пропаганду подъ болѣе скромною формою чудачества и брюзжанія. Его можно было упрекать въ назойливости, но никому не приходило въ голову обвинять въ развращеніи общественной мысли. Думали, что онъ нѣсколько преувеличиваетъ значеніе благонамѣренности, но вотъ теперь на повѣрку оказывается, что онъ не только не преувеличивалъ, а даже былъ мягокъ и снисходителенъ. Онъ и теперь все тотъ же, каковъ былъ всегда, но только фортуна улыбнулась ему, и, благодаря этому, злоба его вышла изъ береговъ, и онъ окрысился. Въ сущности, онъ оправдалъ свое назначеніе. Всегда была надежда, что въ данную минуту онъ не выдастъ; теперь эта минута наступила, — онъ и не выдаетъ. Онъ ходитъ по стогнамъ города и гремитъ проклятiями; собственный его организмъ весь потрясенъ отъ переполненія злобой и ненавистью, но онъ скорѣе согласится пасть подъ тяжестью своей развѣдающей работы, нежели прекратить ее. Всмотритесь, какъ онъ рѣзокъ и боекъ, какъ быстро несутъ его ноги туда, гдѣ чувствуется возможность пролить отраву. Сейчас онъ едва не задохся, но пришла минута — и онъ опять во всеоружіи. Страшно подумать, какую массу зла онъ можетъ создать при своей судорожной дѣятельности.

Онъ продолжаетъ усердно читать, но теперь ужъ не собираетъ своего меда въ сеть, а прямо несетъ его на торжище. Вотъ чтò напечатано и пропущено — и вотъ какъ слѣдуетъ это напечатанное толковать; вотъ какія мысли, благодаря такому-то (имя рекъ), дѣлаются общимъ достояніемъ — и вотъ какъ слѣдуетъ ихъ понимать. Такъ лаеетъ этотъ песъ, самочинно ставшій на стражѣ, и простецы съ разинутыми ртами внимаютъ ему. Все въ этомъ лаѣ сумбурно, невнятно и распутно, но простецъ обладаетъ даромъ отгадыванія. Онъ сердцемъ чувствуетъ, что цитируемый писатель — не его поля ягода, и вмѣстѣ съ ненавистникомъ закипаетъ бессознательною злобою.

Встрѣчаются такіе ненавистники, которыхъ даже прочіе собраты по ремеслу инстинктивно чуждаются, изъ опасенія не поспѣть за ними и быть сопричисленными къ разряду неблагонадежныхъ. Особи этого рода дѣйствуютъ въ одиночку, капризно и неожиданно; при появленіи ихъ все смолкаетъ. Напротивъ, большинство ненавистниковъ по наружности можно принять за обыкновенныхъ, не особенно умныхъ людей, которые по недомыслию чего-то сильно испугались, но которымъ не чуждъ обычный процессъ человѣческаго существованія. Они дышать, пьютъ, ѣдятъ, живутъ въ семьяхъ, имѣютъ дѣтей, посѣщаютъ публичныя мѣста, общество и проч. Въ сущности, однакожъ, эти псевдо-человѣки даже опаснѣе ненавистниковъ-одиночекъ. Послѣдніе прямо внушаютъ къ себѣ отвращеніе и страхъ, а первые могутъ подкупать личиною ревности къ общественнымъ интересамъ. Ненавистникъ-одиночка, не скрываясь, говоритъ: я твой врагъ, и ты ничего, кромѣ ежовыхъ рукавицъ, отъ меня не жди! Ненавистникъ обыкновенный, напротивъ, можетъ даже прикинуться другомъ. Нерѣдко убѣжденнаго писателя обступаетъ цѣлая толпа доброжелателей, которые выпытываютъ его мысль и, успѣвъ въ своемъ предательскомъ предпріятіи, отдають эту мысль, — разумѣется, снабженную своеобразными комментаріями, — въ жертву поруганію.

Минуты подобнаго нравственнаго разложенія, минуты, когда въ обществѣ растетъ запросъ на распрю, клевету и предательство, могутъ быть названы самыми скорбными въ жизни убѣжденнаго писателя. Не столько ради личнаго страха, сколько въ виду общей паники, онъ умолкаетъ, и вмѣстѣ съ нимъ умолкаетъ и вся убѣжденная литература. Среди этого молчанія раздается односторонній лай, отъ котораго тосливо сжимается сердце; изъ дома въ домъ перено-



ются слухи самаго чудовищнаго свойства и принимаются на вѣру безъ малѣйшаго анализа. Неясное гудѣніе улицы, смущенныя лица друзей, безцѣльная сутолока дня, шорохи ночи — все наводитъ уныніе, все сковываетъ душу безсиліемъ. Дѣваться некуда отъ тоски и бездѣйствія.

Ненавистничество не довольствуется, впрочемъ, улицею, но проникаетъ и въ писательскую среду. Ненавистникъ самъ становится въ ряды писателей и мало-по-малу овладѣваетъ литературой всецѣло. Положеніе обостряется: припоминается прошлое, истолковывается настоящее, столбцы наполняются инсинуаціями и обличеніями. Самые скромные идеалы, стремленія самыя законныя, даже описки, опечатки — все служитъ поводомъ для угрозъ. Отпора не допускается на точномъ основаніи пословицы: чтò написано перомъ, того не вырубишь топоромъ. Съ обѣихъ сторонъ вырублено топоромъ: и со стороны обвиняемой, которая и не пытается защищать себя, и со стороны обвинителей, которые не имѣютъ ни малѣйшей надобности доказывать. Топоръ такъ топоръ.

Дѣятели, которые бодро выносятъ на своихъ плечахъ бремя подобныхъ общественныхъ настроеній, оказываютъ громадную услугу дѣлу преуспѣванія. Благодаря ихъ усиліямъ, хоть частица послѣдняго ускользаетъ отъ разграбленія. Она свято сохранится подъ спудомъ, и когда наступитъ время, явится возможность отъ нея уцѣлѣвшихъ искръ возжечь новый свѣточъ. Да и самое слово „литература“ никогда не погибнетъ, какъ бы ни изнемогала она подъ игомъ ненавистническаго срама. Надо изгнать его изъ употребленія, замѣнить словомъ „срамъ“, чтобы добиться какихъ-нибудь существенныхъ результатовъ въ смыслѣ подавленія человѣческой мысли. Только тогда наступитъ дѣйствительное общественное разложеніе.

Но покуда большинство „убѣжденныхъ“ все-таки изнемогаетъ и приносится въ жертву празднымъ лаятелямъ. Къ счастью, въ самомъ лагерѣ литературныхъ лаятелей уже замѣчается рознь. Исходя изъ однихъ и тѣхъ же основныхъ пунктовъ, члены этого лагеря стараются осыпать другъ друга скверпословіемъ, чтобы щегольнуть передъ подписчикомъ. Кромѣ основныхъ пунктовъ, существуетъ множество нестоящихъ ломанаго грома подробностей, которыя даютъ обильную пищу для разногласій и обличеній. Газета „Помощь“ ежедневно препирается съ газетой „Пріютъ уединенія“, и обѣ не жа-

лѣютъ ни усилій, ни словъ, чтобы укорить другъ друга въ измѣнѣ. И та, и другая хотять служить дѣлу ненавистничества на свой манеръ и вовсе не имѣютъ намѣренія сознаться, что обѣ равно пакудны.

Впрочемъ, увлекшись вопросомъ о ненавистнической литературѣ, я невольно удалился отъ характеристики читателя-ненавистника. Къ удовольствію моему, мнѣ остается сказать о немъ лишь нѣсколько словъ.

Откуда явился ненавистникъ-читатель и какія условія породили его? Вышелъ ли онъ съ сердцемъ, исполненнымъ праха, изъ утробы матери, или же его создала такимъ жизнь?

*Nascuntur* или *fiunt* сѣятели общественныхъ раздоровъ? — вотъ вопросъ, который не лишне, въ заключеніе, разъяснить.

Я полагаю, что не *nascuntur*, а *fiunt*. Природа, даже въ мірѣ физическомъ, настолько скупа на созданіе уродливостей, что убудки и калѣки отъ рожденія встрѣчаются какъ исключеніе. Нравственный же міръ совершенно недоступенъ для ея творчества. Нуженъ цѣлый рядъ заражающихъ примѣровъ, цѣлая растлѣвающая система воспитанія, наконецъ продолжительный жизненный процессъ, въ которомъ главное содержаніе составляетъ праздность, чтобы произвести нравственное чудовище. Но всего болѣе появленію ненавистниковъ способствуютъ такъ-называемыя переходныя эпохи, когда ощущается необходимость новыхъ жизненныхъ устоевъ, а общество настолько не подготовлено, что не можетъ отыскать ихъ. Въ такія эпохи выбрасывается на улицу громадное множество матеріально и нравственно оголтѣлыхъ личностей и находятъ себѣ питаніе въ совершающемся броженіи. Происходитъ адскій процессъ взаимнаго оплодотворенія. Оголтѣлые люди даютъ пищу и развитіе броженію; броженіе, съ своей стороны, укрываетъ и даетъ питаніе оголтѣлымъ людямъ.

Въ рядахъ ненавистниковъ вы найдете всѣхъ, которыхъ внезапно наступившее броженіе застигло врасплохъ. Иныхъ оно лишило лакомага куска, другихъ изблжчило въ несостоятельности, третьимъ затворило двери будущаго. Въ особенности встрѣчается великое изобиліе „замаранныхъ“, которые отдаются ненавистничеству въ надеждѣ, что оно поможетъ имъ „отчиститься“. Я зналъ даже достаточно жертвъ старыхъ порядковъ, выкинутыхъ за бортъ общественнаго корабля, влѣдствіе завѣдомой ихъ зазорности, которые вновь

появлялись на арену дѣятельности и не безъ успѣха выполняли задачу ненавистничества. Нѣкоторые изъ нихъ, озлобленные, голодные и безпріютные, находили себѣ не только кусокъ хлѣба и пріютъ, но и настоящую сытость, и приличное общественное положеніе...

Такъ какъ ненавистничество есть, по преимуществу, плодъ самаго низменнаго эгоизма и взбурораженнаго темперамента, то между поборниками этого ремесла очень рѣдко можно встрѣтить личность, способную доказать свои положенія. Громадное большинство бродитъ какъ опьянѣлое, изрыгая безмысленную хулу. Вся задача тутъ въ томъ состоитъ, чтобы попасть въ тонъ минутѣ и извлечь изъ нея всѣ личныя выгоды, которыя она можетъ дать. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только обратиться къ торжествующей прессѣ нашего времени. Что она представляетъ собой, какъ не случайный сбродъ задачъ и задачекъ, не связанныхъ между собой руководящею мыслью и не допускающихъ никакой провѣрки? Отъ первой строки до послѣдней все здѣсь произвольно, ничѣмъ не обусловлено и исполнено противорѣчій. Сегодняшнее утвержденіе смѣняется завтрашнимъ опроверженіемъ безъ перехода и безъ малѣйшаго опасенія быть изобличеннымъ. Только ненависть къ честнымъ и высокимъ идеаламъ жизни стоитъ неизмѣнно и незыблемо, освѣщая своимъ распространяющимъ чадъ факеломъ путь распри, умственной смуты и лжи.

## 2.—Солидный читатель.

Читатель этой категоріи слѣдуетъ непосредственно за читателемъ-ненавистникомъ. Они связаны узами общежитія, хлѣбосольтства и называютъ другъ друга кумовьями. Въ нравственномъ смыслѣ онъ безразличенъ, и потому не можетъ идти въ сравненіе съ читателемъ-ненавистникомъ; но въ практическомъ отношеніи онъ почти столь же вреденъ, какъ и послѣдній. Это оплотъ, на который по преимуществу опирается ненавистничество; это всегда готовое и послушное воинство, въ которомъ послѣднее почерпаетъ свою силу, и притомъ воинство, прислушивающееся къ малѣйшимъ общественнымъ шорохамъ и способное выдѣлать изъ себя перебѣжчика.



Къ чтенію солидный читатель не особенно пристрастенъ и читаетъ не столько вслѣдствіе внутренней потребности, сколько вслѣдствіе утвердившейся привычки. Притомъ нельзя же и не знать, что на свѣтъ дѣлается: безъ этого никакое дѣятельное участіе въ общественной жизни немыслимо. Поѣдешь въ гости, а тамъ вдругъ спрось: „слышали, что такой-то налогъ провалился?“ ... или: „слышали, какую штуку нѣмцы съ Шнебеллэ удрали?.. умора!“ Ради одного того, чтобы не развѣвать рта при подобныхъ вопросахъ, надо хоть наскоро пробѣжать насущныя новости. Такъ онъ и поступаетъ: съ пятого на десятое проглядываетъ за утреннимъ чаемъ свою газету, останавливаясь преимущественно на телеграммахъ и распоряженіяхъ. Въ какихъ-нибудь десять минутъ пріобрѣтаетъ всѣ необходимыя, чтобы не ударить лицомъ въ грязь, познанія — и правъ на цѣлый день. Не только выслушивать вопросы о Шнебеллэ въ состояніи, но и самъ предлагать таковыя способенъ.

И даже считаетъ разговоры о новостяхъ дня небезполезными: улучшить свободную минутку и покалякаетъ. И время въ гостяхъ скорѣе пройдетъ, покуда хозяинъ не скамандуетъ карты подать, да и поученіе какое-нибудь изъ взаимнаго обмѣна новостей можно извлечь, не обременяя себя головоломными философствованіями. Потому что и безъ философствованія ясно, что Шнебеллэ сплошалъ, а нѣмцы — молодцы! И еще яснѣе: вотъ такъ штука! налогъ-то не прошелъ!

Тѣмъ не менѣе, въ эпохи, когда въ обществѣ чувствуется оживленіе, солидный читатель ощущаетъ потребность вникать. Не ограничивается одними мелкими извѣстіями, но прочитываетъ передовыя статьи и корреспонденціи, — въ особенности послѣднія. Но такъ какъ оживленіе бываетъ въ томъ или другомъ смыслѣ, то и онъ вникаетъ всяко: и въ томъ, и въ другомъ смыслѣ. Тѣмъ не менѣе, приступая къ процессу вниканія безъ подготовки, онъ нѣкоторое время бываетъ слегка ошеломленъ. Все ему кажется новымъ: и необычность пріемовъ, и содержаніе читаемаго. Въ льготное время провинціальныя корреспонденціи приводятъ его почти въ восторженное состояніе. Прочитавши въ газетѣ письмо изъ города На-трехъ-китахъ-стоящаго, что тамошній исправникъ небрежетъ исполненіемъ возложенныхъ на него закономъ обязанностей, онъ восклицаетъ:

— Вотъ такъ ошпарили! До новыхъ вѣнниковъ не забудеть! Ай да молодцы!

И непременно расскажетъ о прочитанномъ вечеромъ, между двумя карточными сдачами, въ доказательство, что и онъ не чуждъ гласности.

Но когда въ воздухѣ насчетъ гласности чувствуется похолоднѣе, онъ, прочитавши подобное же обличеніе, случайно прорвавшееся въ газету, уже относится къ нему довольно угрюмо:

— Ну, братъ, распѣлся! — обращается онъ мысленно къ неосторожному корреспонденту. — Коли такъ будешь продолжать, то тутъ тебѣ и капуть!

И на другой или на третій день, убѣдившись, что слова его были вѣщими („капуть“ совершился), не преминетъ похвалиться передъ прочими солидными читателями:

— Представьте себѣ! Я вѣдь точно чуялъ. Еще вчера, читаю газету и говорю: ну, этому молодцу не сдобровать. Такъ и случилось.

Повторяю, солидный читатель относится къ читаемому не руководясь собственнымъ починомъ, а соображаясь съ настроеніемъ минуты. Но не могу не сказать, что хотя превращенія происходятъ въ немъ почти безъ участія воли, но въ льготныя минуты онъ все-таки чувствуетъ себя веселѣе. Потому что даже самая окаменѣлая солидность инстинктивно чуждается злопыхательства, какъ нарушающаго душевный миръ.

— Диковинное это дѣло, — весело говоритъ онъ: — какая нынче свобода дана! читаешь и глазамъ не вѣришь! Прежде бы этого самаго господина корреспондента, за такіе его поступки, за ушко да на солнышко, а нынче — ничего!.. Начальство только посмѣивается. Да вѣдь оно и вправду: пора господамъ исправникамъ честь знать.

Читателя-ненавистника онъ боится... Послѣдній давить его своею угрюмостью, и необходимость справляться съ его мнѣніями и слѣдовать его указаніямъ представляетъ не очень пріятную перспективу. Того гляди, кому-нибудь на ушко шепнетъ или при всѣхъ въ глаза ляпнетъ:

— Ну что, господинъ Попрыгунчиковъ, допрыгался! „Ахъ, хорошо, что исправникамъ отъ свистуновъ на орѣхи достается!“ „Ахъ, хорошо, что и до губернаторовъ добрались!“ Вотъ тебѣ и допрыгался! Расхлебывай теперь!

Или:

— А все вы, господа Попрыгунчиковы! все-то вы похваливаете, все-то подвливаете! Виляли-виляли хвостами, да и довилялись! А знаете ли, что за это васъ, какъ укрывателей, судить слѣдуетъ? Въмѣсто того, чтобы стоять на стражѣ и кому слѣдуетъ доложить — они натко что выдумали! Поддакивать свистунамъ! Срамъ, сударь!

Это онъ-то довилялся! Онъ, который всегда, всѣмъ сердцемъ... куда прочіе, туда и онъ! Но дѣлать нечего, приходится выслушивать. Такой ужъ настала чередъ... „ихній“! Вчера была оттепель, а сегодня — морозъ. И лошадей на зимнія подковы въ гололедицу подковываютъ, не то что людей! Но, главное, оправданій никакихъ не допускается. Онъ обязанъ былъ стоять на стражѣ, обязанъ предвидѣть — и все тутъ. А впрочемъ вѣдь оно и точно, если по правдѣ сказать: былъ за нимъ грѣшокъ, былъ!

Онъ мысленно обращается къ прошлому и припоминаетъ. Всѣ тогда такъ говорили, именно всѣ. Даже директоръ департамента. Всѣ поднимали на смѣхъ ненавистника, и это считалось не подвигами, а признаніемъ истинныхъ интересовъ минуты. Кто же могъ знать, что на мѣсто „истинныхъ“ интересовъ минуты выступать на сцену еще болѣе истинные? Кто могъ предвидѣть, что этотъ самый директоръ департамента, который такъ самонадѣянно несъ голову на встрѣчу громкимъ дѣламъ, внезапно понуритъ ее и весь наполнися бормотаніемъ? Развѣ солидные люди для того созданы, чтобы предвидѣть? Нѣтъ, ихъ назначеніе въ томъ состоитъ, чтобы слѣдовать указаніямъ и не отступать отъ общаго настроенія. Куда прочіе — туда и онъ!

За всѣмъ тѣмъ, онъ понимаетъ, что часъ ликвидаціи настала. Въ былое время онъ безъ церемоній сказалъ бы ненавистнику: пустое, кумъ, мелешь! А теперь обязывается выслушивать его, стараясь не проронить ни одного слова и даже опасаясь разсердить его двусмысленнымъ выраженіемъ въ лицѣ. Факты на-лицо, и какіе факты!

Анализировать эти факты, въ связи съ другимъ жизненными явленіями, онъ вообще неспособенъ, но, кромѣ того, ненавистникъ, услыхавъ о такой претензіи, пожалуй, такъ цыркнетъ, что и ногъ не унесешь. Нѣтъ, лучше ужъ молча идти за теченіемъ, благо ненавистникъ, благодаря кумовству, относится къ нему благодушно и скорѣе въ шутливомъ тонѣ, нежели серьезно, напоминаетъ о недавнихъ проказахъ.



Поэтому даже въ тѣсномъ семейномъ кругу, за домашнимъ обѣдомъ, ежели женѣ или кому-нибудь изъ дѣтей случится обмолвиться лишнимъ словомъ, солидный читатель спѣшитъ прекратить дальнѣйшее развитіе рѣчи.

— Ахъ, матушка, пора эти разговоры оставить!—говоритъ онъ.— Изба моя съ краю—ничего не знаю! Вотъ правило, которымъ мы должны руководствоваться, а не то чтобы что...

Однако, съ теченіемъ времени, и это скромное правило перестаетъ ужъ казаться достаточнымъ! Солидный человѣкъ все больше и больше сближается съ ненавистникомъ, благоговѣнно выслушиваетъ его и поддакиваетъ. Повидимому онъ находитъ это и невыгоднымъ для себя. Наконецъ онъ и за собственный счетъ начинаетъ раздувать въ своемъ сердцѣ пламя ненавистничества.

— А что вы думаете!—говоритъ онъ:—все зло именно въ этой пакостной литературѣ кроется! Я бы вотъ такого-то... Не говоря худого слова, ой-ой, какъ бы я съ нимъ поступилъ! Надо зло съ корнемъ вырвать, а мы мямлимъ! Пожаръ ужъ силу забралъ, а мы только пожарныя трубы изъ сараевъ выкатываемъ!

— Ну да, ну да!—поощряетъ его собесѣдникъ-ненавистникъ:—вотъ именно это самое и есть! Наконецъ-то ты догадался! Только, братъ, надо пожарныя трубы всегда наготовѣ держать, а ты, къ сожалѣнію, свою только теперь выкатилъ! Ну, да на этотъ разъ Богъ проститъ, а на будущее время будь ужъ предусмотрительнѣе. Не глумись надъ исправниками вмѣстѣ съ свистунами, а помни, что въ своемъ родѣ это тоже предрешающая власть!

Выслушавъ эту нотацію отъ одного кума, солидный человѣкъ направляетъ свои стопы къ другому куму и отъ него выслушиваетъ такую же нотацію.

Наслушавшись вдоволь, онъ выходитъ на улицу и тамъ встрѣчается съ толпой простецовъ, которые, распахня ротъ, бѣгутъ куда глаза глядятъ. Вездѣ раздается паническое бормотаніе, слышатся несмысленныя рѣчи. Сѣмена ненавистничества глубже и глубже пускаютъ корни и наконецъ приносятъ плодъ. Солидный читатель перестаетъ быть просто солиднымъ и потихоньку да полегоньку переходитъ въ лагерь ненавистниковъ.

Я, впрочемъ, не говорю, что онъ останется въ этомъ лагерѣ навсегда; но во всякомъ случаѣ не покинетъ его до тѣхъ поръ, пока

новые и вполне рѣшительные факты не вызовутъ его изъ состоянія остервенѣнія и не бросятъ въ противоположную сторону.

Въ столицахъ и вообще въ густо населенныхъ центрахъ солидные читатели представляютъ себѣ довольно многочисленную и тѣмъ болѣе выдающуюся, что они вербуются преимущественно въ чиновничьихъ рядахъ. Не особенно это крупные чины, а все-таки свою роль сыграть могутъ. Да и лѣстница чиновъ достаточно подвижна; сегодня какой-нибудь мелкотравчатый внизу копошится, а завтра онъ ужъ, смотришь, наверхъ влѣзъ. При помощи безчисленнаго множества нравственныхъ подспорій, всегда готовыхъ къ услугамъ алчущихъ, подобныя превращенія нерѣдки. Недаромъ спросъ на благовонные товары усиливается. Это означаетъ, что народилась цѣлая уйма солидныхъ людей, которые уже не довольствуются скромнымъ казанскимъ мыломъ, но, въ виду обуявшей ихъ жажды почестей и оживленія надеждъ, начинаютъ ощущать потребность въ болѣе тонкихъ мылахъ, съ запахомъ въ родѣ *Violette de Parme* или *Foin coupé*.

Эта особенность солиднаго читателя дѣлаетъ замѣтнымъ его вліяніе на общее настроеніе читательской среды. Подобно своему куму-ненавистнику, онъ имѣетъ возможность высказываться. И ежели его мнѣнія не такъ рѣшительны и образны, какъ мнѣнія ненавистника, то во всякомъ случаѣ безобидны и благонамѣренны. А сверхъ того они и тѣмъ еще удобны, что высказываются во всѣхъ направленіяхъ.

Вотъ почему убѣжденный писатель, дѣйствующій почти исключительно въ городскихъ центрахъ, такъ часто встрѣчается съ рѣзкими превращеніями въ читательской средѣ. Починъ въ этомъ случаѣ принадлежитъ ненавистникамъ, за которыми рабски слѣдуетъ по пятамъ воинство солидныхъ читателей. Подъ ихъ давленіемъ впадаетъ въ безпамятство читатель-простецъ и съ болью въ сердцѣ ступевывается читатель-другъ. Складывается совѣмъ особое общественное мнѣніе, до неузнаваемости потрясенное въ самыхъ основаніяхъ. Или, говоря болѣе вразумительно, происходитъ волшебство, которому долгое время отказываются вѣрить глаза.

Такое положеніе вещей можетъ продлиться неопредѣленное время, потому что общественное теченіе, однажды проложивши себѣ русло, неохотно ее мѣняетъ. И опять-таки въ этомъ коснѣніи очень существенную роль играетъ солидный читатель. Забравшись въ мурью

(какой бы то ни было окраски), онъ любитъ понѣжиться и потягивается въ ней до тѣхъ поръ, пока блохи и другая вѣчисть не заставятъ выскочить. Тогда онъ съ несвойственною ему стремительностью выбѣгаетъ наверхъ и высматриваетъ, куда укрыться.

Повторяю: роль солиднаго читателя пріобрѣтаетъ преувеличенное значеніе, благодаря тому, что у насъ общественная жизнь со всѣми ея вѣянiями складывается преимущественно въ столицахъ и большихъ городахъ, гдѣ солидные люди, несмотря на свою сравнительную немногочисленность, стоятъ на первомъ планѣ. Вмѣстѣ съ ненавистниками, они одни имѣютъ возможность возвышать голосъ, не рискуя вызвать подозрѣнія и улики въ измѣнѣ, и тяготѣть надъ прочими общественными слоями, осужденными на безмолвіе и пассивность. А провинціальныя захолустья даже совсѣмъ не принимаются въ расчетъ. Предполагается, что тамъ царитъ фаталистическая тьма, которую можетъ разогнать только свѣтъ, источающійся изъ ненавистническихъ и солидныхъ городскихъ сферъ. Этотъ свѣтъ она должна признать для себя обязательнымъ.

Сверхъ того, успѣхамъ солиднаго человѣка, его тяготѣнію на общественное настроеніе не мало способствуетъ и низменность его нравственнаго и умственнаго уровня. Въ нравственномъ смыслѣ онъ настолько безразличенъ, что никакихъ руководящихъ принциповъ не признаетъ; въ умственномъ смыслѣ онъ неразвитъ и въ высшей степени невѣжественъ. Но къ удивленію это-то именно и даетъ ему право на вниманіе. Онъ сыплетъ афоризмами самаго первоначальнаго свойства, цитируетъ пословицы, въ которыхъ преимущественно замыкается мудрость вѣковъ, и толпа простецовъ съ довѣріемъ внимаешь ему. Ибо, собственно говоря, только такія вполне безсодержательныя рѣчи и доступны ей. А такъ какъ простецы составляютъ главное ядро читательской и вообще дѣйствующей массы, то запавшія въ ея слухъ азбучныя поученія не пропадаютъ безслѣдно, но съ быстротою молніи разносятся во все концы.

Только сильный наплывъ фактовъ, дѣлающихъ невозможнымъ упорное слѣдованіе по пути, намѣченному пословицами и азбучными истинами, можетъ положить предѣлъ этому печальному недомыслію. Но факты такого рода накапливаются медленно, и еще медленнѣе виѣдряется довѣріе къ нимъ. Въ большинствѣ случаевъ бываетъ такъ, что фактъ уже вполне созрѣлъ и пріобрѣлъ все права на безспор-



ность, а общественное мнѣніе все еще не рѣшается признать его. Конечно, всякому случалось — и нерѣдко — слышать такіа рѣчи:

— Э, батюшка! и мы проживемъ, и дѣти наши проживуть — для всѣхъ будетъ довольно и того, что есть! На насиженномъ-то мѣстѣ живется и теплѣе, и уютнѣе — чего еще искать! Старикъ Крыловъ былъ правъ: помните, какъ голубь полетѣлъ странствовать, а воротился съ перешибленнымъ крыломъ? — Такъ-то вотъ.

Въ этихъ немногихъ словахъ высказывается весь кодексъ „солидной“ житейской мудрости; но такъ какъ онъ единственный, который не требуетъ ни размышленій, ни исканій, то на него существуетъ спросъ. И ежели вы возразите, что такъ-называемое „покойное проживание“ представляетъ собой только кажущееся спокойствіе, что въ немъ-то, пожалуй, и скрывается настоящая угроза будущему и что, наконецъ, басня о голубѣ есть только басня, и не всѣ голуби возвращаются изъ попокъ съ перешибленными крыльями, то солидный человѣкъ и на это возраженіе въ карманъ за словомъ не полѣзетъ.

— Э, — скажетъ онъ: — пока что, а мы поживемъ! — И, высказавшись, умоляетъ, вполне увѣренный, что истина на его сторонѣ.

Да, мало, черезъ-чуръ мало нужно, чтобы поселить въ солидномъ человѣкѣ увѣренность въ его непогрѣшимости и водворить въ его душѣ безмятежіе и ясность. Два-три случайно попавшихъ на языкъ слѣва — и онъ, счастливый и довольный, гордо несетъ ихъ на показъ.

Само собой разумѣется, что убѣжденному писателю съ этой стороны не можетъ представиться никакихъ надеждъ. Солидный читатель никогда не выкажетъ ему сочувствія, не подастъ руку помощи. Въ трудную минуту онъ отвернется отъ писателя и будетъ запѣвалой въ хорѣ простецовъ, кричащихъ: ату! Въ минуту болѣе льготную отношенія эти, быть можетъ, утратятъ свою суровость, но не сдѣлаются отъ этого болѣе сознательными.

И въ томъ, и въ другомъ случаѣ впереди стоитъ полное одиночество и назойливо звучащій вопросъ: гдѣ же тотъ читатель-другъ, отъ котораго можно было бы ожидать не одного платоническаго и притомъ секретнаго сочувствія, но и обороны?

### 3. — Читатель-простецъ.

Читатель-простецъ составляетъ ядро читательской массы; это — главный ея контингентъ. Онъ въ безчисленномъ количествѣ кипитъ на улицахъ, въ театрахъ, кофейняхъ и прочихъ публичныхъ мѣстахъ, изображая собой ту публику, къ услугамъ которой направлена вся производительность страны, и въ то же время ради которой существуютъ на свѣтѣ городовые и жандармы.

Онъ — покупатель и потребитель. Все, что таятъ въ себѣ нѣдра торговыхъ помѣщеній, начиная отъ блестящаго магазина съ зеркальными окнами и кончая вонючей мелочной лавочкой, ютящейся въ подвальномъ этажѣ, — все это онъ износить, истребить, выпьетъ и съѣстъ. Понятно, что при такомъ обширномъ кругѣ дѣятельности, ежели дать ему волю, то онъ будетъ метаться изъ стороны въ сторону, и ничего хорошаго изъ этого не выйдетъ. Поэтому движенія его строго регулируются городскими, которые наблюдаютъ, чтобы онъ не попалъ подъ вагонъ и вообще шель въ то мѣсто, куда слѣдуетъ идти. Въ послѣднее время за нимъ начали зорко слѣдить и газетчики.

Для газетчика простецъ составляетъ очень серьезный предметъ заботъ. Онъ — подписчикъ и усердный чтецъ; слѣдовательно его необходимо уловить, а это дѣло не легкое, потому что простецъ относится къ читаемому равнодушно и читаетъ все, что попадетъ подъ руку, наблюдая лишь за тѣмъ, какъ бы не попасть въ отвѣтъ. Газетчикъ знаетъ это и мотаешь себѣ на усы: „надобно устроить такъ, чтобы простецъ читалъ именно мою газету“. Онъ напрягаетъ усилія, чтобы пробудить простеца изъ равнодушія, взнудать его и вообще прикрѣпить къ извѣстному стойлу; а для этого нужно, чтобы прежде всего газетная пища легко переваривалась и чтобы направленіе газеты не возвышалось надъ обычнымъ низменнымъ уровнемъ.

До наступленія эпохи возрожденія, читатель вербовался преимущественно въ средѣ „солидныхъ“. Журналовъ было мало, газетъ почти совсѣмъ не существовало; поэтому и солидной средѣ было достаточно, чтобы выдѣлить изъ себя сносный контингентъ подписчиковъ. Къ тому же и издательскія требованія въ то время были скромнѣе. Журналъ или газета, которые считали пять тысячъ подписчи-

ковъ, не только удовлетворялись этимъ, но и ликовали. Что касается до простеца, то онъ никакого вліянія на журнальное и газетное дѣло не имѣлъ; онъ называлъ себя темнымъ человѣкомъ и вполнѣ доволенъ былъ этимъ званіемъ. Игнорируя чтеніе, онъ почерпалъ необходимые новости на улицѣ. И это было для него тѣмъ сподручнѣе, что самыя новости, которыя его интересовали, имѣли совершенно первоначальный характеръ, въ родѣ слуховъ о войнѣ, о рекрутскомъ наборѣ или о томъ, что въ такой-то день высокопреосвященный соборнѣ служилъ литургію, а затѣмъ во всѣхъ церквахъ происходилъ цѣлodneвный звонъ. Впрочемъ надо сказать правду, что и газеты тогдашнія немного опережали улицу въ достоинствѣ предлагаемыхъ новостей, такъ что, въ сущности, не было особеннаго резона платить деньги за то, что въ первой же мелочной лавкѣ можно было добыть даромъ.

Но съ наступленіемъ эпохи возрожденія народилось, такъ сказать, *сословіе* читателей, и народилось именно благодаря простецамъ. Послѣдніе уже перестали довольствоваться кличкою темныхъ людей и наравнѣ съ прочими бросились въ дѣятельный жизненный омутъ. Происшедшая переменна въ общественномъ настроеніи затрогивала ихъ даже существенно, нежели кого-либо, потому что, собственно говоря, она ихъ однимъ настоящимъ образомъ вызвала изъ щелей на вольный свѣтъ. Прочіе же охотно удовлетворились бы и прежнимъ „вольнымъ свѣтомъ“ и даже смотрѣли на новый „свѣтъ“ двояко: яные со страхомъ, другіе съ робкой надеждой, а большинство оставалось при колебаніяхъ. Что касается до простеца, то для него никакого повода колебаться не существовало. Одинъ выходъ изъ званія „темнаго человѣка“ представлялъ уже выигрышъ, такъ какъ званіе это не только перестало быть украшеніемъ, но и пріобрѣло значеніе довольно обидное.

Прежде простецъ говорилъ: „мы люди темные“, — въ надеждѣ укрыться подъ этимъ знаменемъ отъ вѣняемости; теперь онъ сталъ избѣгать такого признанія, потому что понималъ, что оно ни отъ чего его не освобождаетъ, но, напротивъ, даетъ право распорядиться съ нимъ по произволению.

— Ты темный человѣкъ, — говорили простецу въ до-реформенное время: — ступай, Богъ тебя проститъ!

А въ по-реформенное время начали говорить ужъ такъ:



— Коли ты самъ признаешь, что ты темный человѣкъ — стало быть, молчи! А будешь растабарывать — расправа съ тобой короткая. Разница, какъ всякій согласится, не маленькая.

Ошибочно, впрочемъ, было бы думать, что современный простецъ принадлежитъ исключительно къ числу посѣтителей мелочныхъ лавочекъ и полпивныхъ; нѣтъ, въ численномъ смыслѣ, онъ занимаетъ довольно замѣтное мѣсто и въ культурной средѣ. Это не выходецъ изъ нѣдръ черни, а только человѣкъ, не видящій передъ собой особенныхъ перспективъ. И ненавистники, и солидные ожидаютъ впереди почестей, мѣсть, орденовъ, а простецъ ожидаетъ одного: какъ бы за день его не искалѣчили.

Ожиданіе это держать его въ страхѣ и повиновеніи. Даже почувствовавъ подъ ногами болѣе твердую почву, онъ остается вѣрнѣе воспоминаніямъ объ исконной муштровкѣ и, судя по всеѣмъ видимостямъ, вовсе не намѣренъ забыть о нихъ. Онъ рѣдко обращаетъ свою мысль къ голосу собственнаго разсудка, собственной совѣсти, и, напротивъ, чутко и безпокойно присматривается и прислушивается къ афоризмамъ, исходящимъ изъ солидныхъ сферъ. И хотя бы послѣдніе представляли собой безсвязное и неосмысленное бормотаніе, онъ принимаетъ ихъ къ свѣдѣнію. Вообще, это — человѣкъ, не знающій самостоятельной жизни, такъ что руководить и распоряжаться его дѣйствіями не представляетъ никакого труда. Не мудрствуя лукаво, онъ слѣдитъ за движеніями указующаго перста, совершенно равнодушный къ тому, что таится въ той дали, куда этотъ перстъ направленъ. Въ виду этой легкости, и сама руководящая (солидная) сторона не считаетъ для себя обязательнымъ обдумывать свои указанія, а дѣйствуетъ на-удачу, какъ въ данную минуту вздумается. Словомъ сказать, и руководители, и руководимые являются достойными другъ друга, и вотъ изъ этого-то взаимнаго воздѣйствія, исполненнаго недомысліи и недомолвокъ, и создается то общественное мнѣніе, которое подчиняетъ себѣ наиболѣе убѣжденныхъ людей.

Я уже сказалъ выше, что читательское сословіе народилось въ эпоху всероссійскаго возрожденія, благодаря громадному приливу простецовъ. Съ тѣхъ поръ простецъ множится въ изумительной прогрессіи, но, размножаясь и наполняя ряды подписчиковъ, онъ нимало не измѣняетъ своему безразличному отношенію къ читаемому. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стѣдѣть заглянуть въ любую кофейню.

Вотъ онъ сидитъ въ углу, обложенный летучими листьями. Глаза его пристально слѣдятъ за строками; но въ лицѣ ни одинъ мускулъ не шевельнется. Изрѣдка онъ сунетъ въ ротъ палецъ—это одно до извѣстной степени свидѣтельствуешь о душевномъ движеніи. И ежели вамъ удастся въ эту минуту заглянуть въ развернутый листъ, то вы убѣдитесь, что движеніе это произошло исключительно по поводу встрѣченнаго въ газетѣ знакомаго имени. Такой-то черезчуръ ужъ быстро подвинулся по лѣстницѣ почестей; такой-то, напротивъ, проворовался и засѣдаетъ въ окружномъ судѣ на скамьѣ подсудимыхъ. Конечно, это не можетъ не вызывать на размышленія, хотя послѣднія никогда не выходятъ изъ разряда самыхъ обыкновенныхъ общихъ мѣствъ.

— Давно ли Павлушкой звали, — думаетъ простецъ: — а теперь, поди, Павломъ Семенычемъ величаютъ!

Или:

— Вотъ, подитка! на четырехъ женахъ женатъ! и куда ему такая прорва бабъ понадобилась! Мнѣ и одной Арины Ивановны предостаточно...

Ничто другое его не тревожитъ, хотя онъ читаетъ сплошь все напечатанное. Газета говоритъ о новомъ налогѣ, — онъ не знаетъ, какое дѣйствіе этотъ налогъ произведетъ, на комъ онъ преимущественно отразится, и даже не затронетъ ли его самого. Газета говоритъ о новыхъ системахъ воспитанія, — онъ и тутъ не знаетъ, въ чемъ заключается ея сущность, и не составитъ ли она несчастіе его дѣтей.

Онъ живетъ изо дня въ день, ничего не провидитъ, и только практика можетъ вызвать его изъ оцѣпенѣнія. Когда наступитъ время для практическихъ примѣненій, когда къ нему принесутъ окладной листъ, или сынъ его, съ заплаканными глазами, прибѣжитъ изъ школы — только тогда онъ вспомнитъ, что нѣчто читалъ, да не догадался подумать. Но и тутъ его успокоитъ соображеніе: зачѣмъ думать? все равно плетью обуха не перешибешь! — „Ступай, Петя, въ школу — терпи!“ — „Готовъ, жена, деньги! Новый налогъ Богъ послалъ!“

Тѣмъ не менѣе нельзя отрицать, что и на средѣ простецовъ либеральныя вѣянія остаются не безъ вліянія. Въ такія минуты улица вообще дѣлается веселѣе и даже какъ-то смышленѣе, и простецъ инстинктивно слѣдуетъ за общимъ теченіемъ. Онъ видитъ, что ненавистникъ понурилъ голову, что лицо солиднаго человѣка расцвѣти-

лось улыбкой, что газеты, вчера еще рѣшительно указывавшія на „факты“, начинаютъ путаться и затѣмъ мало-по-малу впадаютъ въ благодушный тонъ — и самъ понемногу выходитъ изъ состоянія ошеломленія. Но такое счастливое настроеніе не задерживается въ немъ. Равнодушный и чуждый сознательности, онъ во всѣ эпохи остается одинаково вѣренъ своему призванію — служить готовымъ орудіемъ въ болѣе сильныхъ рукахъ.

Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ среда протестовъ очень опасна. Хоть самъ по себѣ протестъ не склоненъ къ самостоятельной ненависти, но и чувство человѣчности въ его сердце не залегло; хотя въ немъ нѣтъ настолько изобрѣтательности, чтобы отравить жизнь того или другого субъекта преднамѣреннымъ подвохомъ, но нѣтъ и настолько честности, чтобы подать руку помощи. Все его существованіе, всѣ помыслы и дѣйствія насквозь проникнуты колебаніями, которыя придаютъ общенію съ нимъ характеръ полной бесполезности. Не убѣжденія дѣйствуютъ на него, а виѣшнія давленія. Въ ловкихъ рукахъ онъ дѣлается свирѣпъ и неумолимъ. Безъ сознанаго повода, безъ цѣли, безъ разумнія онъ накидывается на намѣченную жертву, впирается въ нее когтями и грызетъ. Въ такую минуту легко даже впасть въ ошибку и подумать, что онъ ненавидитъ эту жертву, а не грызетъ ее, выполняя только обрядъ . . . . .

Въ средѣ протестовъ необходимо отличить одну особь: протеста-живчика, который, въ противоположность сонливости протеста-байбака, поражаетъ юркостью своихъ движеній и чрезмѣрною подвижностью мысли и чувствъ.

Живчикъ, по преимуществу, любитель посмѣяться. Каламбуры, анекдоты, пародіи — вотъ пища, которою онъ не можетъ достаточно насытиться. Поэтому онъ почти исключительно ютится около такъ называемой мелкой прессы, которая бойко торгуетъ анекдотами. Въ большой прессѣ, — въ сущности, впрочемъ, столь же мелкой, но издающейся простынями, — онъ заглядываетъ только въ литературный фельетонъ да въ отдѣлъ журнальнаго обозрѣнія. Въ первомъ его прельщаетъ шутовство, бойкость пера, скандалы; во второмъ — передержки, подтасовки, полемика, или, какъ онъ ее называетъ, взаимное „шелканье“ газетъ и журналовъ.

— Читали? читали фельетонъ въ „Помолахъ“? — радуется онъ, перебѣгая отъ одного знакомаго къ другому: — вѣдь этотъ „Прохо-



жій наблюдатель “—это вѣдь вотъ кто. Вѣдь онъ жилъ три года учителемъ въ семействѣ С—скихъ, о которомъ пишется въ фельетонѣ; кормили его, поили, ласкали—и посмотрите, какъ онъ ихъ теперь щелкаетъ! Дочь-невѣсту, которая два мѣсяца съ офицеромъ гражданскимъ бракомъ жила и потомъ опять домой воротилась—и ту изобразилъ! такъ живьемъ всю процедуру и описалъ!

— А! такъ вотъ оно чтѣ! такъ это она? То-то я давеча читаю, какъ будто похоже...— догадывается собесѣдникъ, тоже изъ породы живчиковъ.

— Еще бы! Марья-то Ивановна, говорятъ, чуть съ ума не сошла; отецъ и мать глазъ никуда показать не смѣютъ... А какъ они другъ друга щелкаютъ, эти газетчики! „Жиды! хамы! безмозглые пролазы!“—такъ и сыплется! Одна травля „жидовъ“ чего стѣдитъ—отдай все да и мало! Такъ и ждешь: ну, быть тутъ кулачной расправѣ!

— Да и бываетъ!

И дѣйствительно, казусы кулачной расправы нынче нерѣдки. „Критика“ даже въ такой рѣшительной формѣ, какъ „жиды, пролазы“ и т. д., оказывается уже недостаточною, въ качествѣ послѣдняго слова. На сцену появляется палка, кулакъ, но надо сказать правду, что покуда больше всего достается диффаматорамъ. Скверное это ремесло и по существу, и по послѣдствіямъ, но, несмотря ни на что, ряды диффаматоровъ не только не рѣдѣютъ, но день ото дня становятся плотнѣе и плотнѣе. Стало быть, таково уже знаменіе времени. Дурные инстинкты взяли такую силу, что диффаматоръ почти фаталистически глубже и глубже погрязаетъ въ пучинѣ. Посвящая всего себя исключительно диффамаци и клеветѣ, онъ далеко не увѣренъ, что занятіе это пройдетъ ему даромъ, и все-таки идетъ на встрѣчу побоямъ. Идетъ трепетною стопою, оглядываясь по сторонамъ, но идетъ.

Какъ бы то ни было, но удовольствію живчика нѣтъ предѣловъ. Диффамационный періодъ уже считаетъ за собой не одинъ десятокъ лѣтъ (отчего бы и по этому случаю не отпраздновать юбилея?), а живчикъ въ подробности помнитъ всякій малѣйшій казусъ, ознаменовавшій его существованіе. Тогда-то изобличили Марью Петровну, тогда-то Ивана Семеныча; тогда-то къ диффаматору ворвались въ квартиру, и онъ, въ виду домашнихъ пенатовъ, подвергнуть былъ

исправительному наказанію; тогда-то диффаматора огорошили на улицѣ палкой.

Живчикъ не только вычитываетъ, но и разузнаетъ. Онъ чуетъ диффамацию даже тогда, когда настоящія личности скрыты подъ вымышленными фамиліями, и до тѣхъ поръ не успокоится, покуда досконально не дознаетъ, что Анна Ивановна Рѣзвая есть не кто иная, какъ Серафима Павловна Какурина, которой мужъ имѣетъ магазинъ благовонныхъ товаровъ въ Гостиномъ Дворѣ; что она дѣйствительно была такого-то числа въ гостинницѣ „Москва“, въ отдѣльномъ номерѣ, и мужъ накрылъ ее.

Диффамация, гнусная сама по себѣ, обостряется, благодаря принимаемому въ ней читателемъ-живчикомъ дѣятельному участию. Онъ разсвѣаетъ ее, дѣлаетъ общимъ достояніемъ. Разумѣется, онъ не сознаетъ этого и предается своему распутному ремеслу единственно потому, что оно глубоко залегло въ самую его природу.

Легкомысліе и паскудная подвижность застилаютъ передъ нимъ жизнь съ ея горестями и радостями, оставляя обнаженными только уродливости и скандалы. Къ нимъ исключительно и устремляются всѣ его помыслы, и только ъкрикъ власть имѣющаго лица: „что разбѣгался? добѣгаешься когда-нибудь!“ — можетъ заставить его до поры до времени уgomониться.


Понятно, что ни отъ той, ни отъ другой разновидности читателя-простеца убѣжденному писателю ждать нечего. Обѣ онѣ игнорируютъ его, а въ извѣстныхъ случаяхъ не прочь и погрызть. Чтò нужды, что онѣ грызутъ безсознательно, не по собственному почину — фактъ грызенія нимаго не смягчается отъ этого и стоитъ такъ же твердо, какъ бы онъ исходилъ непосредственно изъ среды самихъ ненавистниковъ.

## 4. — Читатель-другъ.

Я уже сказалъ выше, что читатель-другъ несомнѣнно существуетъ. Доказательство этому представляетъ уже то, что органы убѣжденной литературы не окончательно захудали. Но читатель этотъ заробѣлъ, затерялся въ толпѣ, и дознаться, гдѣ именно онъ находится, довольно трудно. Бываютъ однакожь минуты, когда онъ внезапно открывается, и непосредственное общеніе съ нимъ дѣлается возможнымъ. Такія минуты — самыя счастливыя, которыя испытываетъ убѣжденный писатель на трудномъ пути своемъ.

Къ этому мнѣ ничего не остается прибавить. Развѣ одно: подобно убѣжденному писателю, и читатель-другъ подвергается ампутаціямъ со стороны ненавистниковъ, ежели не успѣваетъ сохранить свое инкогнито.

Виновать: еще одно слово. Въ послѣднее время я довольно часто получаю заявленія, въ которыхъ выражается упрекъ за то, что я сомнѣваюсь въ наличности читателя-друга и въ его сочувственномъ отношеніи къ убѣжденной литературѣ. По этому поводу считаю долгомъ оговориться: ни въ наличности читателя-друга, ни въ его сочувствіи я не сомнѣваюсь, а утверждаю только, что не существуетъ непосредственнаго общенія между читателемъ и писателемъ. Покуда мнѣнія читателя-друга не будутъ приниматься въ расчетъ на вѣсахъ общественнаго сознанія, съ тою же обязательностью, какъ и мнѣнія прочихъ читательскихъ категорій, до тѣхъ поръ вопросъ объ удрученномъ положеніи убѣжденного писателя останется открытымъ.





## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

---

### I.

## Д Ъ В У Ш К И.

---

### 1. — Ангелочекъ.

Вѣрочка такъ и родилась ангелочкомъ. Когда ея мама, Софья Михайловна Братцева, по окончаніи урочныхъ шести недѣль, вышла въ гостиную, чтобы принимать поздравленія гостей, то Вѣрочка сидѣла у нея на колѣняхъ и она всѣмъ ее показывала, говоря:

— Не правда ли, кабой ангелочекъ?

Гости охотно соглашались, и съ тѣхъ поръ за Вѣрочкой утвердилось это прозвище навсегда.

Софья Михайловна безъ памяти любила своего ангелочка и была очень довольна, что послѣ дочери у нея не было дѣтей. Приращеніе семейства заставило бы ее или раздѣлить свою нѣжность, или быть несправедливою къ другимъ дѣтямъ, такъ какъ она дала себѣ слово всю себя посвятить Вѣрочкѣ. Еще на рукахъ у мамки ангелочка одѣвали какъ куколку, а когда отняли ее отъ груди, то наняли для нея французенку-бонну. Отъ бонны она получила первыя основанія религіи и нравственности. Ужъ пяти лѣтъ, вставая утромъ и ложась на ночь, она лепетала: „*Dieu tout-puissant! rendez heureuse ma chère mère! veuillez qu'un faible enfant, comme moi, reste tou-*

jours digne de son affection, en pratiquant la vertu et la propreté!“

— Ишь вѣдь... et la propreté!—удивился однажды Ардальонъ Семенычъ Братцевъ, случайно подслушавъ эту странную молитву:—а обо мнѣ, ангелочекъ, молиться не нужно?

— Пара, — отвѣчала Вѣрочка: — je sais que vous êtes l'auteur de mes jours, mais c'est surtout ma mère que je chérie.

— Ну ладно! встѣ ужò я тебя за непочтительность наслѣдства лишу!

Супруги Братцевы жили очень дружно. Оба были молоды, красивы, веселы, здоровы и пользовались хорошими средствами. У обоихъ живы были родители, которые въ изобиліи снабжали молодыхъ супруговъ деньгами. И старики, и молодые жили въ согласіи. Въ особенности Софья Михайловна старалась угодить свекру и свекрови, и называла ихъ не иначе, какъ пара и маман. Ардальонъ Семенычъ поступалъ нѣсколько вольнѣе и называлъ тестя „скворушкой“ („скворушкѣ каши!“ — кричалъ онъ, завидѣвъ въ дверяхъ старика), а тещу—скворешницей, изъ которой улетѣли скворцы. Сначала это нѣсколько коробило Софью Михайловну, которая не разъ упрекала мужа за его шутки.

— Развѣ я называю твоего папá дятломъ?—выговаривала она; но вскорѣ сама какъ будто убѣдилась, что иначе отца ея и нельзя назвать, какъ скворушкой, и всякія пререканія на этотъ счетъ сами собой упали.

Доброму согласію супруговъ много содѣйствовало то, что у Ардальона Семеныча были такія сочныя губы, что, бывало, Софья Михайловна прильнетъ къ нимъ и оторваться не можетъ. Сверхъ того, у него были упругія ляжки, на которыхъ она любила присѣсть. Сама она была вся мягкая. Оба любили оставаться наединѣ, и она вовсе не была въ претензіи, когда онъ, взявъ ее на руки, носилъ по комнатамъ и потомъ бросалъ ее на диванъ:

— Ардашка... дерзкій!..—выговаривала она, но такимъ тономъ, что Ардальонъ Семенычъ слышалъ въ ея словахъ не предостереженіе, а поощреніе.

Первые проблески какого-то недоразумѣнія появились съ рожденіемъ Вѣрочки. Софья Михайловна вдругъ почувствовала, что она чѣмъ-то pénétrée, что она сдѣлалась une sainte, что у нея заве-

лись *les sentiments d'une mère*. Словомъ сказать, съ языка ея посыпался весь лексиконъ пусторѣчія, который представляетъ къ услугамъ каждаго французскій языкъ. Она рѣже захаживала въ кабинетъ мужа, рѣже присаживалась къ нему на колѣни и цѣлые дни проводила въ совѣщаніяхъ съ охранительницами Вѣрочкиной юности. Какое сдѣлать Вѣрочкѣ платице? какими кружевами обшить ея кофточки? какіе купить башмачки? Супружеская любовь блѣднѣла передъ *les sentiments d'une mère*. Даже встрѣчалась съ мужемъ за завтракомъ и обѣдомъ, она рѣдко обращала къ нему рѣчь и, не переставая, говорила съ гувернанткой (когда Вѣрочкѣ минуло шесть лѣтъ, то наняли въ домъ и англичанку, въ качествѣ гувернантки) и бонной. И все съ ангелочкѣ.

— Не правда ли, какая она милая? какъ отлично усваиваетъ себѣ языки? и какъ вкусно молится? Вѣрочка! вѣдь ты любишь Бога?

— Мы все должны любить Бога, — отвѣчала Вѣрочка разсудительно.

— Да, потому что онъ добръ и можетъ намъ дать много, много всего. И ангеловъ его нужно любить, и святыхъ... вѣдь ты любишь?

— Oh! maman!

На первыхъ порахъ у Ардальона Семеныча въ глазахъ темнѣло стѣ этихъ разговоровъ. Онъ судорожно сучилъ ногами подъ столомъ, находилъ союзъ неудачнымъ, вино — отвратительнымъ, сердился, сыпалъ выговорами. Но наконецъ смирился. Сталъ рѣже и рѣже появляться къ обѣду и завтраку, предпочитая пропитываться въ ресторанахъ, гдѣ по крайней мѣрѣ говорятъ только о томъ, о чемъ дѣйствительно говорить надлежитъ. Вѣрочку онъ не то чтобы возненавидѣлъ, а сдѣлался къ ней совершенно равнодушнымъ. Англичанку переносилъ съ трудомъ, французенку-бонну видѣть не могъ.

— Чортъ съ вами! — рѣшилъ онъ и откровенно объявилъ женѣ, что ежели эти порядки будутъ продолжаться, то онъ совсѣмъ изъ дома уѣзжитъ.

Софья Михайловна слегка задумалась, но *les sentiments d'une mère* превозмогли:

— Какъ вамъ угодно, — отвѣтила она холодно, впервые употребляя церемонное „вы“: — не могу же я, ради вашего каприза, оставить единственное сокровище, которое я получила отъ Бога! Скажите, пожалуйста, за чтò вы возненавидѣли вашу дочь?



— Не дочь я возненавидѣлъ, а ваши дурацкіе разговоры.  
 — Ничего въ нашихъ разговорахъ дурацкаго нѣтъ!  
 — Лошадь одурѣетъ, не то что человѣкъ— вотъ какіе это разговоры!

— Нѣтъ, ты докажи!

Но Ардальонъ Семенычъ, вмѣсто доказательствъ, взялъ шляпу и, посвистывая, ушелъ изъ дома.

Натянутости явной еще не было, но охлажденіе уже существовало.

Ангелочекъ между тѣмъ росъ. Вѣрочка свободно говорила по-французски и по-англійски, но нѣсколько затруднялась съ русскимъ языкомъ. Къ ней впрочемъ ходила русская учительница (дешевенькая), которая познакомила ее съ краткой грамматикой, краткой священной исторіей и первыми правилами ариѳметики. Но Софья Михайловна чувствовала, что чего-то недостаетъ, и наконецъ догадалась, что недостаетъ нѣмки.

— Какъ это я прежде не вздумала!—сѣтовала она на себя:— вѣдь современемъ ангелочекъ, конечно, будетъ путешествовать. Въ гостинницахъ, правда, вездѣ говорятъ по-французски, но на желѣзныхъ дорогахъ, на улицѣ...

Тутъ же кстати, къ великому своему огорченію, Софья Михайловна сдѣлала очень непріятныя открытія. Къ французенкѣ-боннѣ ходилъ мужчина, котораго она рекомендовала Братцевой въ качествѣ брата. А такъ какъ Софья Михайловна была доброй родственницей, то желала, чтобы и живущіе у нея тоже имѣли родственныя чувства.

— Чтожъ вы не идете къ брату?— говорила она боннѣ:— сегодня воскресенье—идите!

Оказалось однакожъ, что это совсѣмъ не братъ, а любовникъ, и—о, ужась!—что не разъ, съ пособіемъ судомойки, онъ проникалъ ночью въ комнату *m-lle Thérèse*, рядомъ съ комнатою ангелочка!

Кромѣ того, около того же времени, у Софьи Михайловны начали пропадать вещи. Сначала мелкія, а потомъ и покрупнѣе. Наконецъ пропала довольно цѣнный фермуаръ. Воровкою оказалась англичанка...

— Вотъ это что называется *éducation morale et religieuse!*  
 — трунилъ надъ женой Ардальонъ Семенычъ.

Въ домъ взяли нѣмку, такъ какъ нѣмки (кромѣ гамбургскихъ) изстари пользуются репутаціей добродѣтельныхъ. Французенка и

англичанка (тоже вновь приуловленные) должны были приходиться лишь въ опредѣленные дни и часы.

Нѣмка была молодая и веселая. Самъ Ардальонъ Семенычъ съ ея водвореніемъ повеселѣлъ. По-нѣмецки онъ зналъ только двѣ фразы: „Leben Sie wohl, essen Sie Kohl“ и „Wie haben Sie geworden gewesen“, и этими фразами неизмѣнно каждый день встрѣчалъ появленіе нѣмки въ столовой. Другой это скоро бы надѣло, но фрейлейнъ Якобсонъ не только не скучала любезностями Братцева, но постоянно встрѣчала ихъ веселымъ хохотомъ.

— Вотъ твой разговоръ съ нѣмкой такъ дѣйствительно дурачкій!—говорила мужу Софья Михайловна, когда они оставались наединѣ.

— А ты докажи!—дразнилъ онъ ее.

Софья Михайловна, въ свою очередь, ничего доказать не могла и только цѣлыми днями дулась. Можно было предвидѣть, что нѣмкѣ недолго ужиться у нея, еслибы Софья Михайловна не сообразила, что ежели откажетъ гувернанткѣ, то, чего добраго, Ардальонъ Семенычъ и на сторонѣ ее устроить.

— Теперь она все-таки у меня на глазахъ, а тамъ... Вѣдь это такой безсовѣстный человѣкъ, что онъ и ангелочка не пожалѣетъ... Все состояніе на нѣмокъ спустить!

Все это тѣмъ больше беспокоило ее, что не къ кому было обратиться за совѣтомъ. И скворецъ, и скворешница, и дятель, и жена его—все перемерло, такъ что Ардальонъ Семенычъ остался полнымъ властелиномъ и состоянія, и дѣйствій своихъ.

Наконецъ Вѣрочка достигла двѣнадцати лѣтъ, и надо было серьезно подумать о воспитаніи ея. Кто знаетъ, чтѣ такое *les sentiments d'une mère*, тотъ пойметъ, какъ тревожилась Софья Михайловна, думая о будущемъ своего ангелочка. *Et ceci, et cela*. И науки, и подарокъ къ днямъ именинъ и рожденія—обо всемъ надобило подумать. Увы! ей даже помочь никто не хотѣлъ, потому что Ардальонъ Семенычъ продолжалъ выказывать „адское равнодушіе“ къ своему семейству. И пріятельницы у нея были какія-то безчувственныя: у каждой свои ангелочки водились, такъ что начнетъ она говорить о Вѣрочкѣ, а ее перебиваютъ разказами о Лидочкѣ, Сонечкѣ, Зиночкѣ и т. д. Но Провидѣніе само указало ей путь. Въ то время самымъ моднымъ учебнымъ заведеніемъ считался пансіонъ благородныхъ дѣвицъ

m-lle Тюрбо. Всѣ науки проходились у нея въ лучшемъ видѣ и въ такой полнотѣ, что изъ курса не исключались даже начатки философіи (*un tout petit peu, vous savez?—pour faire travailler l'imagination!*). Учителя были все отборные: Жасминовъ, Гелиотроповъ, Гиацинтовъ, Резединъ, французъ *Essbouquet*, нѣмецъ Кейнгерухъ (довольно съ нѣмца и этого) и проч. Священникъ Карминовъ приходилъ на урокъ въ муаровой рясѣ. Нравственностью завѣдывала сама m-lle Тюрбо и ея помощница, m-lle Эперланъ.

Заведеніе существовало уже съ давнихъ поръ и всегда славилось тѣмъ, что выходившія изъ него дѣвицы отличались доброю нравственностью, пріятными манерами и умѣли говорить *un peu de tout*. Онѣ знали, что былъ нѣкогда персидскій царь Киръ, котораго отецъ назывался Астіагомъ; что паденіе Западной Римской Имперіи произошло влѣдствіе изнѣженности нравовъ; что Петръ Пустынникъ ходилъ во власяницѣ; что городъ Ліонъ лежитъ на рѣкѣ Ронѣ и славится шелковыми и бархатными издѣліями, а городъ Казань лежитъ при озерѣ Кабанѣ и славится казанскимъ мыломъ. Юпитеръ былъ большой волокита, а Юнона была за нимъ очень несчастна и обратила Го въ корову. А Святославъ сражался съ Цимисхіемъ и сказалъ: „не посрамимъ земли русскія!“ Это онъ сказалъ, а совсѣмъ не генераль Прокофьевъ, какъ утверждаютъ нѣкоторые историки. Словомъ сказать, все выходило такъ, что ни одна воспитанница m-lle Тюрбо не ударила въ грязь лицомъ и не уронила репутаціи заведенія.

Основателемъ пансіона былъ m-r Тюрбо, отецъ нынѣшней содержательницы. Онъ былъ вывезенъ изъ Франціи, въ качествѣ воспитателя, къ сыну одного русскаго вельможи, и когда воспитаніе кончилось, то ему назначили хорошую пенсію. M-r Тюрбо уже намѣревался уѣхать обратно въ родной Карпантра, какъ отецъ его воспитанника сдѣлалъ ему неожиданное предложеніе.

— А что, Тюрбо,—сказалъ онъ ему:—еслибы вы перешли въ православную вѣру?

— Съ удовольствіемъ,—отвѣтилъ Тюрбо.

— А я вамъ помогу устроиться въ Петербургѣ навсегда...

— Съ удо-воль-стви-емъ!—съ чувствомъ повторилъ Тюрбо, цѣлуя своего покровителя въ плечо.

И не дальше какъ черезъ мѣсяць все семейство Тюрбо познало свѣтъ истинной вѣры, и самъ Тюрбо, при матеріальной помощи рус-



скаго вельможи, стоялъ во главѣ пансіона для благородныхъ дѣвиць, номинальной директрисой котораго значилась его жена.

Съ этихъ поръ заведеніе Тюрбо сдѣлалось разсадникомъ нравственности, религіи и хорошихъ манеръ. По смерти родителей, его приняла въ свое завѣдываніе дочь, m-lle Caroline Turbot, и, разумѣется, продолжала родительскія традиции. Плата за воспитаніе была очень высока, но за то число воспитанницъ ограниченное, и въ заведеніе попадали только несомнѣнно родовитыя дѣвочки. Интерната не существовало, потому что m-lle Тюрбо дорожила вечерами и посвящала ихъ друзьямъ, которыхъ у нея было достаточно.

— Днемъ я принадлежу обязанностямъ, которыя налагаетъ на меня отечество,—говорила она, разумѣя подъ отечествомъ Россію, —но вечеръ принадлежитъ мнѣ и моимъ друзьямъ. А впрочемъ, чтожь! вѣдь и вечеромъ мы говоримъ все о нихъ, все о тѣхъ же милыхъ сердцу дѣтяхъ!

Когда Софья Михайловна привезла Вѣрочку въ пансіонъ, то m-lle Тюрбо сразу назвала ее ангелочкомъ.

— Ахъ, какой ангелочекъ! и какая вы счастливая мать!—воскликнула она, любуясь дѣвочкой, которая дѣйствительно была очень миловидна.

— Само Провидѣніе привело меня къ вамъ, m-lle Caroline!—отвѣчала Софья Михайловна комплиментомъ за комплиментъ, и крѣпко пожала руку директрисѣ.

Вѣрочка начала ходить въ пансіонъ и училась прилежно. Все, что могли дать ей Жасминовъ, Гиацинтовъ и проч., она усвоила очень быстро. Сверхъ того, научилась танцевать качучу, а манерами рѣшительно превзошла всѣхъ своихъ товарокъ. Это было нѣчто до такой степени мягкое, плавное, но въ то же время не изытое и дѣтской непринужденности, что сама Софья Михайловна удивлялась.

— И откуда это у тебя, ангелочекъ, такія прелестныя манеры!—восхищалась она.

— Стараюсь, маман, подражать тѣмъ, кого я люблю, —скромно отвѣчалъ ангелочекъ.

— Ихъ вахмистръ манерамъ учить, —совѣмъ некстати вмѣшивался Ардальонъ Семенычъ.

Но и съ ангелочкомъ случались приключенія, благодаря которымъ она становилась въ тупикъ. Однажды Essbouquet задалъ сочи-

неніе на тему: que peut dire la couleur bleue? Вѣрочка пришла домой въ большой тревогѣ:

— Que peut dire la couleur bleue, maman?—спросила она мать за обѣдомъ.

— Чтò такое... la couleur bleue?—удивилась Софья Михайловна.

— Намъ французъ на эту тему къ послѣ-завтраму сочиненіе задалъ,—объяснила Вѣрочка.

— Экъ вывезъ!—замѣтилъ Ардальонъ Семенычъ.

— Ахъ, да... понимаю!—догадалась наконецъ Софья Михайловна:—о чемъ бы, однакожъ, голубой цвѣтъ могъ говорить? Ну, небо, на примѣръ, l' azur des cieux... понимаешь! Голубое небо... Надъ нимъ ангелы... les chérubins, les séraphins... все, все голубое!.. Разумѣется, это надо распространить, дополнить—тутъ цѣлая картина! Чтò бы еще, на примѣръ!.. Ну, на примѣръ, невѣста... Голубое платье, голубыя ботинки, голубая шляпка... все въ голубомъ! Чистая, невинная... разумѣется, и это надо распространить... Чтò бы еще?..

— Ну, на примѣръ, голубой жандармъ,—подсказалъ Ардальонъ Семенычъ.

— А чтò бы ты думалъ! жандармъ! вѣдь они охранители нашего спокойствія! И этимъ можно воспользоваться. Ангелочекъ почиваетъ, а добрый жандармъ бодрствуетъ и охраняетъ ея спокойствіе... Ахъ, спокойствіе!.. Это главное въ нашей жизни! Если душа у насъ спокойна, то и мы сами спокойны. Ежели мы ничего дурного не сдѣлали, то и жандармы за насъ спокойны. Вотъ теперь завелись эти... какъ ихъ... ну, все равно... Оттого мы и неспокойны... спимъ, а во снѣ все-таки тревожимся!

— О! чортъ побери!—простоналъ Ардальонъ Семенычъ.

Нѣмка неосторожно хихикнула; Софья Михайловна обвела ее молніеноснымъ взглядомъ, отодвинула сердито тарелку и весь остатокъ обѣда просидѣла надутая.

Въ другой разъ Вѣрочка вбѣжала въ квартиру, восторженно крича:

— Мамаша! я оступилась!

— Какъ, оступилась?—встревожилась Софья Михайловна:—садись, покажи ножку!

— Это, маман, намъ мосьё Жасминовъ сочиненіе на тему „Она оступилась“ задалъ.

„Ah! c'est trop fort“, подумала Софья Михайловна, и рѣшилась немедленно объясниться съ m-lle Тюрбо.

Она знала, что слово: „оступиться“, употребляется въ смыслѣ довольно неподходящемъ для дѣтской невинности. „Она оступилась, но потомъ вышла замужъ“, или: „она оступилась, и за это родители не позволили ей показываться имъ на глаза“ — вотъ въ какомъ смыслѣ употребляется это слово въ „свѣтѣ“. Неужели ангелочекъ можетъ когда-нибудь оступиться? Неужели нужно наводить его на подобныя мысли, заставляя доискиваться ихъ значенія? Вотъ ужъ этого-то не ожидала она отъ m-lle Тюрбо! Она скорѣе склонна была думать, что старая дѣвственница сама не подозреваетъ значенія подобныхъ выраженій, и вдругъ — прошу покорно!

Въ это утро у m-lle Тюрбо ужъ перебивало не мало встревоженныхъ матерей по этому же поводу, и потому она встрѣтила Софью Михайловну уже подготовленная.

— Ахъ, chère madame! — объяснила она: — что же въ этой темѣ дурного — рѣшительно не понимаю! Ну, прыгаль вотъ ангелочекъ по лѣстницѣ... ну, оступился... попортилъ ножку... разумѣется, не сломалъ — о, сохрани Богъ! — а только попортилъ... Послѣ этого долженъ былъ нѣсколько дней пролежать въ постели, манкировать уроки... согласитесь, развѣ все это не можетъ случиться?

— Да, ежели въ этомъ смыслѣ... но я должна вамъ сказать, что очень часто это слово употребляется и въ другомъ смыслѣ... Во всякомъ случаѣ, знаете чтѣ? попросите мосьё Жасминова — отъ меня! — не задавать сочиненій на темы, которыя могутъ имѣть два смысла! У меня живетъ нѣмка, которая можетъ... о, вы не знаете, какъ я несчастлива въ своей семьѣ! Мужъ мой... охъ, еслибъ не ангелочекъ!

— Не доканчивайте! Я понимаю васъ! Желаніе ваше будетъ выполнено! — горячо отвѣтила m-lle Тюрбо, пожимая посѣтительницы руки: — Pauvre ange délaissé!

Наконецъ (ангелочку ужъ шелъ шестнадцатый годъ) Вѣрочка пожаловалась мамашѣ, что танцмейстеръ Тушату хватается ее за коленки. Извѣстіе это окончательно взорвало Софью Михайловну. Во-первыхъ, она въ первый разъ только сообразила, что у ангелочка есть



колѣнки, и во-вторыхъ — какая дерзость! Неужто какой-нибудь Тупату воображаетъ... *mais c'est odieux!* Когда она была молоденькая, и Ardalion, въ первый разъ, схватилъ ее за колѣнки — о, она отлично помнитъ этотъ моментъ! — она никогда не забудетъ, какъ покойница маман („скворешница!“ мелькнуло у нея въ головѣ) бранила ее за это!

— Твои колѣнки, какъ вообще все твое, принадлежать будущему! — выговаривала старая скворешница: — и покуда ты не объявлена невѣстой, ты не должна расточать...

Она сообщила объ этомъ выговорѣ Ардашѣ, и онъ въ тотъ же вечеръ поспѣшилъ сдѣлать предложеніе. Ну, послѣ этого, конечно... о! это была цѣлая поэма!

Вслѣдствіе этого эпизода Софья Михайловна окончательно поссорилась съ m-lle Тюрбо и взяла ангелочка изъ пансіона. Курсъ еще не конченъ, но Вѣрочкѣ черезъ какихъ-нибудь два мѣсяца шестнадцать лѣтъ — надо же когда-нибудь! Она ужъ достаточно знаетъ и о томъ, что можетъ говорить голубой цвѣтъ, и о томъ, что можетъ случиться, если дѣвушка оступится, прыгая по лѣстницѣ. И вотъ, ее ужъ начинаютъ за колѣнки хватать — довольно съ нея! Къ тому же зимній сезонъ кончился, скоро предстояли сборы въ деревню; тамъ Вѣрочка будетъ гулять, купаться, ѣздить верхомъ и вообще наберется здоровья, а потомъ, въ октябрѣ, опять наступитъ зимній сезонъ. Они возвратятся въ Петербургъ и сдѣлаютъ для ангелочка первый балъ.

За объдомъ только и было разговору, что о будущихъ выѣздахъ и балахъ. Будутъ ли носить талію съ такими же глубокими вырѣзами сзади, какъ въ прошлый сезонъ? Будутъ ли сзади подъ юбку подкладывать подставки? Чѣмъ будутъ обшивать низъ платья?

— *Soignez vos épaules, mon ange,* — тревожно наставляла дочь Софья Михайловна: — плечи — это въ бальномъ нарядѣ главное.

Увы! Ардальонъ Семенычъ уже не только не возмущался этими разговорами, но внималъ имъ совершенно послушно. Въ послѣднее время онъ весь отдался во власть мадеры, сдѣлался необыкновенно тихъ и только изрѣдка сквозь зубы цѣдилъ:

— Черти!

Все именно такъ и случилось, какъ предначертала Софья Михайловна. За лѣто Вѣрочка окрѣпла и нагуляла плечи, не слишкомъ

наливныя, но и не скарედныя—какъ разъ въ мѣру. Въ декабрѣ, передъ Рождествомъ, Братцевы дали первый балъ. Разумѣется, Вѣрочка была на пемь царицей, и князь Сампантре смотрѣлъ на нее изъ угла и щелкалъ языкомъ.

— Мама! это былъ волшебный сонъ!—восторженно восклицалъ ангелочекъ, вставши на другой день очень поздно.—Ты дашь еще другой такой балъ?

— Объ этомъ надо еще подумать, ангелочекъ: такіе балы обходятся слишкомъ дорого. Во всякомъ случаѣ, на слѣдующей недѣлѣ будетъ балъ у Щербиновскихъ, потомъ у Глазотовыхъ, потомъ въ „Собраніи“, а можетъ быть и князь Сампантре дастъ балъ... для тебя... Кстати, представилъ его тебѣ вчера папаша?

— Да, представилъ... Ахъ, какой у него смѣшной носъ!

— Не въ носу дѣло,—резонно разсудила мать:—а въ томъ, что, кромѣ носа, у него... Впрочемъ, это ты въ свое время узнаешь!

Сезонъ промчался незамѣтно. Визиты, театры, балы—ангелочекъ съ утра до вечера только и дѣлалъ, что раздѣвался и одѣвался. И всякій разъ, возвращаясь домой усталая, но вся пылающая отъ волненія, Вѣрочка кидалась на шею къ матери и восклицала:

— Мама! мама! это... волшебный сонъ!

Наконецъ, ужъ передъ масляницей, князь Сампантре далъ ожидаемый балъ. Онъ открылъ его польскимъ въ парѣ съ Софьей Михайловной и первую кадрили танцевалъ съ Вѣрочкой, которая не спускала глазъ съ его носа, точно хотѣла выучить его наизусть.

Постомъ пошли рауты; но Братцевы выѣзжали не часто, потому что къ нимъ началъ ѣздить князь Сампантре. Наконецъ на Святой онъ пріѣхалъ утромъ, спросилъ Софью Михайловну и открылся ей. Вѣрочка въ это время сидѣла въ своемъ гнѣздышкѣ (*un vrai nid de colibri*), какъ вдругъ тапан, вся взволнованная, вбѣжала къ ней.

— Пойдемъ! онъ сдѣлалъ предложеніе!—сказала она шопотомъ, точно боясь, чтобы кто-нибудь не услышалъ и не разстроилъ счастья ея ангелочка.

Вѣрочка вспомнила про носъ и слегка поморщилась. Но потомъ вспомнила, что у Сампантре есть кое-что и кромѣ носа,—и встала.

— Идемъ же!—торопила ее мать.

Дѣло кончилось въ двухъ словахъ. Рѣшено было справить свадьбу

въ имѣніи Сампантре въ будущемъ сентябрѣ, въ тотъ самый день, когда ангелочку минеть семнадцать лѣтъ.

Дѣвическая жизнь ангелочка кончилась. Въ семнадцать лѣтъ она уже успѣла исчерпать все ея содержаніе и приготовиться быть доброю женою и доброю матерью.

Теперь она пишетъ себя на карточкахъ: „княгиня Вѣра Ардалионовна Сампантре, рожденная Братцева“. Но татап попрежнему называетъ ее „ангелочкомъ“.

## 2.—Христова невѣста \*).

Въ началѣ семидесятыхъ годовъ Ольга Васильевна Ладогина, девятнадцати лѣтъ, вышла изъ института и прямо переселилась въ деревню къ отцу. Въ то время, когда болѣе счастливыя товарки разъѣзжались по Москвѣ, чтобы вступить въ свѣтъ, въ самомъ разгарѣ сезона, за Ольгой пріѣхала няня, передѣла ее въ „собственное“ платье и увезла на постоянный дворъ, гдѣ она остановилась. На постояломъ дворѣ отобѣдали деревенской провизіей, подкормили лошадей и сѣли въ возокъ; дѣло было въ началѣ зимы. Отцовская усадьба стояла отъ Москвы слишкомъ въ ста верстахъ, такъ что на „своихъ“ онѣ пріѣхали только на третій день къ обѣду.

Василій Ѳеодорычъ Ладогинъ былъ больной старикъ. Болѣзнь была хроническая, неизлечимая, такъ что онъ рѣдко вставалъ съ кресла и съ трудомъ бродилъ по комнатамъ. Въ шестьдесятъ лѣтъ и безъ того плохія радости, а тутъ еще навязался недугъ. Никто къ нему не ѣздилъ, кромѣ лекаря, который разъ въ недѣлю наѣзжалъ изъ города. Лекарь былъ молодой человекъ, лѣтъ двадцати-шести, но уже обремененный семействомъ. Можетъ быть, вслѣдствіе этого онъ былъ молчаливъ, смотрѣлъ угнетенно и вообще представлялъ мало ресурсовъ. Всегда одинокій, больной и угрюмый, Василій Ѳеодорычъ считалъ себя брошеннымъ, и не видѣлъ иного выхода изъ этой брошенности, кромѣ смерти.

\*) Этимъ именемъ на народномъ языкѣ называются старыя дѣвушки, которымъ не посчастливилось выйти замужъ.



Дѣтей у него было двое: сынъ Павелъ, лѣтъ двадцати-двухъ, который служилъ въ полку на Кавказѣ, и дочь, которая оканчивала воспитаніе въ одномъ изъ московскихъ институтовъ. Сынъ не особенно радовалъ; онъ велъ разгульную жизнь, имѣлъ неоднократно „исторіи“, былъ переведенъ изъ гвардіи въ армію и не выказывалъ ни малѣйшей привязанности къ семьѣ. Дочь была отличная и скромная дѣвушка, но отцу становилось жутко, когда онъ раздумывался о ней. Ей предстояло коротать жизнь въ деревнѣ, около него, и только смерть его могла избавить ее отъ этого сѣраго, безнадежнаго будущаго. Была у него, правда, родная сестра, старая дѣвица, которая скромно жила въ Петербургѣ въ небольшомъ кругу „хорошихъ людей“ и тревожилась всевозможными передовыми вопросами. Василій Ѳедорычъ думалъ поселить Ольгу вмѣстѣ съ нею, и Надежда Ѳедоровна охотно соглашалась на это, но Ольга рѣшительно отказалась исполнить желаніе отца. Ей казалось, что ея мѣсто—около больного старика, и деревенское заточеніе не только не пугало ея, но рисовалось въ ея воображеніи въ самыхъ заманчивыхъ краскахъ. Большой домъ, обширныя комнаты, паркъ съ густыми аллеями; лѣтомъ—воздухъ пропитанъ ароматами, паркъ гремитъ пѣніемъ птицъ; зимой—деревья задумчиво помахиваютъ обнаженными вершинами, деревня утопаетъ въ сугробахъ; во всѣ стороны далеко-далеко видно. И тотъ, и другой пейзажъ имѣютъ свою прелесть: первый представляетъ ликование, жизнь; второй—задумчивое, тихое умираніе.

Но, кромѣ наслажденій, представляемыхъ природой, ей предстоятъ въ деревнѣ и различныя обязанности. Она выберетъ нѣсколько деревенскихъ дѣвочекъ и будетъ учить ихъ; она будетъ посѣщать бѣдныхъ крестьянъ, помогать лечить. Конечно, она совсѣмъ не знаетъ медицины, но съ помощью хорошаго лечебника и совѣтовъ уѣзднаго лекаря—этотъ недостатокъ легко устранить. Сверхъ того, передъ нею раскрывалась широкая область сельско-хозяйственной дѣятельности. Лѣтомъ—ходить въ поля, смотрѣть, какъ пахутъ, жнутъ; зимою—сводить счета. Вообще работы предстояло достаточно.

Состояніе у Ладогинныхъ было хорошее, такъ что они могли жить, ни въ чемъ не нуждаясь. Съ этой стороны будущее дѣтей не пугало Василя Ѳедорыча. Его пугало, что сынъ выйдетъ неудачный, а дочь останется одинокою. Онъ съ горечью думалъ о тѣхъ счастливыхъ семьяхъ, гдѣ много родныхъ и родственныя связи упрочились крѣпко.

По крайней мѣрѣ для молодыхъ людей есть вѣрный пріютъ, особливо ежели не существуетъ значительной разницы въ матеріальныхъ средствахъ. Горько являться въ качествѣ бѣдной родственницы; но, не имѣя нужды въ кускѣ, всегда можно надѣяться на радушный пріемъ. Вотъ еслибы Ольга вышла замужъ—это было бы отличнымъ исходомъ и для нея, и для брата. И братъ могъ бы пріютиться въ семьѣ сестры и сдѣлаться тамъ человѣкомъ. Но на замужество Ольги надежда была плохая, особливо съ тѣхъ поръ, какъ она отказалась поселиться у Надежды Ѳедоровны. Кто ее увидитъ въ деревенской глуши? Кому она нужна, кромѣ безнадежно-больного старика-отца?

Сверхъ того, старикъ не скрывалъ отъ себя, что Ольга была некрасива (ее и въ институтѣ звали дурнушкой), а это тоже имѣетъ вліяніе на судьбу дѣвушки. Лицо у нея было широкое, расплывчатое, корнусъ сутулый, приземистый. Не могла она нравиться. Развѣ тотъ бы ее полюбилъ, кто оцѣнилъ бы ея сердце и умъ. Но такіе цѣнители вообще представляютъ исключеніе, и ужъ, разумѣется, не въ деревнѣ можно было надѣяться встрѣтить ихъ.

Едва пріѣхала Ольга Васильевна въ деревню, какъ сразу же погрузилась въ безпробудную тишину. Старикъ-отецъ почти не покидалъ кресла и угрюмо молчалъ; въ комнатахъ было пусто и безмолвно. Стукъ часового маятника, скрипъ собственныхъ шаговъ—все съ такою гулкою раздавалось въ комнатахъ, что по временамъ она даже пугалась. Пейзажъ, открывавшійся передъ окнами, былъ необыкновенно унылъ. Деревья въ паркѣ грузно опустили отягченныя инеемъ вѣтви и едва шевелили ими; рѣчка застыла; изрѣдка вдали показывался проѣзжій, и тотъ словно нырялъ въ сугробахъ, то показываясь на дорогѣ, то исчезая. Бѣлая церковь выступила впередъ своей колокольней, точно собираясь сойти съ пригорка и что-то возвѣстить. Вправо отъ нея, сквозь обнаженный фруктовый садъ, чернѣлъ сельскій поселекъ, но издали казалось, что и онъ словно замеръ. Прислуга, пользуясь нездоровьемъ барина, рѣдко показывалась въ домѣ, за исключеніемъ стараго камердинера, который постоянно дремалъ въ передней. Только на мельницѣ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ усадьбы, замѣчалось движеніе; но туда Ольга идти не рѣшалась: она еще боялась сразу вступать на арену хозяйственной дѣятельности.

Вечеромъ зажигались огни по всей анфиладѣ комнатъ, гдѣ про-

водилъ свой день старый баринъ. Старикъ любилъ освѣщенные комнаты; онѣ однѣ напоминали ему о жизни. Ольга садилась около него и читала; но старикъ даже отъ чтенія, во время долгой болѣзни, отвыгъ. Тогда она пересаживалась съ книгой къ столу и читала про себя, покуда отца не уводили спать. Книгъ въ домѣ оказалось много, и почти все въ нихъ было для нея ново. Это до извѣстной степени наполняло ту вынужденную праздность, на которую она была обречена. Она все чего-то ждала, все думала: вотъ пройдетъ мѣсяць, другой, и она войдетъ въ настоящую колею, устроится въ новомъ гнѣздѣ такъ, какъ мечтала о томъ, покидая Москву, будетъ ходить въ деревню, наберетъ ученицъ и проч. Тогда и деревенская тишь перестанетъ давить ее своимъ гнетущимъ однообразіемъ.

Въ ожиданіи минуты, когда настанетъ дѣятельность, она читала, бродила по комнатамъ и думала. Поэтическая сторона деревенской обстановки скоро исчерпалась; гудѣніе внезапно разыгравшейся метели уже не производило впечатлѣнія; безконечная бѣлая равнина, съ крутящимися по мѣстамъ, словно дымъ, столбами снѣга, прискучила; тишина не успокоивала, а наполняла сердце тоской. Сердце безпокойно билось, голова наполнялась мечтаніями.

Она старалась гнать ихъ отъ себя, замѣнять болѣе реальною пищею—воспоминаніями прошлаго; но послѣднія были такъ мало-содержательны и притомъ носили такой ребяческой характеръ, что останавливаться на нихъ подолгу не представлялось никакого резона. У нея существовалъ впрочемъ въ запасѣ одинъ ресурсъ—долгъ самоотверженія относительно отца, и она охотно отдалась бы ему; но старикъ думалъ, что стѣсняетъ ее собою, и предпочиталъ услугу стараго камердинера.

— Ужели всѣ такъ живутъ?—повторяла она, вперяя взоръ въ безконечную даль.

Нѣтъ, есть другіе, которые живутъ по иному. Даже у нея подъ бокомъ шла жизнь, — положимъ, своеобразная и грубая, но все-таки жизнь.

По временамъ раздавалось то въ той, то въ другой передней хлопанье дверьми — это означало, что кто-нибудь изъ прислуги пришелъ и опять уходитъ. Въ этотъ домъ приходили только на минуту и сейчасъ же спѣшили изъ него уйти, точно онъ былъ выморочный. Даже старуха-нянька — и та постоянно сидѣла въ людской. Тамъ



было весело, оживленно; тамъ слышался человѣческій голосъ, человѣческій смѣхъ; тамъ о чемъ-то думалось, говорилось. Она одна ничего не слышала, кромѣ тиканья раскачивающагося маятника, скрипа собственныхъ шаговъ да какихъ-то таинственныхъ шопотовъ, которые по временамъ врываются въ общее безмолвіе съ такою ясностью, что ей становилось жутко. Хотя бы птицу или собаку ей кто-нибудь подарилъ—все было бы веселѣе. Нѣтъ, одна, всегда одна. Какую такую поэзію она себѣ воображала, когда сюда ѣхала?

Періодическій пріѣздъ лекаря нѣсколько оживлялъ ее. Несмотря на угнетенный видъ, молчаливость, все же это былъ человѣкъ. Самъ онъ, положимъ, вопросовъ не дѣлалъ, но на посторонніе вопросы отвѣчалъ. Къ тому же наружность его была довольно симпатичная: блѣдное лицо, задумчивые большіе глаза, большой лобъ, густые черные волосы. Очень возможно, что печать угнетенности легла на него не спроста. Слухи носились, что онъ женился очень несчастливо, на вдовѣ, которая была гораздо старше его и которая содержала меблированные комнаты, гдѣ онъ жилъ. Тамъ онъ съ нею и познакомился. Но насколько въ этой исторіи было правды—она не знала, и только видѣла, что въ жизни доктора было что-то загадочное. Случалось ей, по временамъ, и разговориться съ нимъ, но разговоры были короткіе.

— Вы женаты?—однажды спросила она его во время обѣда.

— Женатъ,—отвѣтилъ онъ односложно.

— И семейство есть?

— Четверо дѣтей.

— Скажите, веселятся въ городѣ? бываютъ собранія, вечера?

— Не знаю; я очень мало имѣю знакомствъ и никуда не ѣзжу.

— Что такъ?

— Жизнь такъ сложилась. Скучная жизнь.

Она инстинктивно подумала: „какой молодой, и уже связалъ себя!“—но тутъ же спохватилась: съ чего ей вздумалось жалѣть, что онъ „связанъ“, и краска разлилась по ея лицу.

— Да, нельзя сказать, чтобы весело было жить,—сказала она.

— Скучно, скучно, скучно! — три раза повторилъ онъ: — и, главное, бесполезно.

— Не слишкомъ ли рѣзко вы выразились?

— Нѣтъ; вы сами на себѣ это чувство испытываете; а ежели еще не испытываете, то скоро, повѣрьте мнѣ, оно наполнитъ все ваше

существо. Зачѣмъ? почему?—вотъ единственные вопросы, которые представляются уму. Всю жизнь нести иго зависимости, съ утра до вечера ходить около крохъ, слышать разговоръ о крохахъ, сознавать себя подавленнымъ мыслью о крохахъ...

— Но вѣдь я о крохахъ не думаю, а мнѣ тоже скучно.

— Нѣтъ, и ваша жизнь переполнена крохами, только вы иначе ихъ называете. Чтѣ вы теперь дѣлаете? чтѣ предстоитъ вамъ въ будущемъ? Навѣрно вы мечтаете о дѣятельности, о возможности быть полезною; но разберите сущность вашихъ мечтаній, и вы найдете, что тамъ ничего, кромѣ крохъ, нѣтъ.

— Я еще не пристушила ни къ чему, а вы уже заранѣе пугаете меня.

— Извините. Я вообще и неумѣль, и необщителенъ. Такъ сказалося, спроста.

Оба замолчали, чувствуя, что дальнѣйшее развитіе подобнаго разговора между людьми, которые едва знали другъ друга, можетъ представить нѣкоторыя неудобства. Но когда онъ послѣ обѣда собрался въ городъ, она опять подумала: „вотъ еслибъ онъ не былъ связанъ!“—и опять покраснѣла.

Въ этотъ же вечеръ старикъ-отецъ, точно чувствуя, что сердце Ольги тревожно, подозвалъ ее къ себѣ и, взявши за подбородокъ, долго всматривался ей въ глаза.

— Вѣдная моя!—не то сказалъ, не то вздохнулъ онъ.

— Чтѣ такъ?—спросила она чуть не плача.

— Вѣдная! — повторилъ онъ, беспомощно опуская голову на грудь, и махнулъ рукою, чтобы она ушла.

Всю ночь она волновалась. Что-то новое, хотя и неясное, произошло въ ней. Разговоръ съ докторомъ былъ загадочный; сожалѣнія отца заключали въ себѣ еще менѣе ясности, а между тѣмъ они точно разбудили ее отъ сна. Въ самомъ дѣлѣ, чтѣ такое жизнь? чтѣ значать эти „крохи“, о которыхъ говорилъ докторъ?

Ей вспомнилась старая дѣвушка—тетка. Надежда Федоровна не жаловалась собственно на жизнь, а только на извѣстныя затрудненія, которыя тормозили ея дѣятельность. Но затрудненія не исключали представленія о жизни; напротивъ того, борьба съ ними оживляла и придавала бодрости. Такъ, по крайней мѣрѣ, явствовало изъ писемъ тетки, которая всегда оговаривалась, что занята по горло, и

оттого пишеть рѣдко. Зачѣмъ она не послушалась отца и не поселилась вмѣстѣ съ теткой? Быть можетъ, теперь у нея нашлось бы ужъ дѣло; быть можетъ, она, вмѣстѣ съ Надеждой Федоровной, волновалась бы настоящею, реальною дѣятельностью, а не тою вынужденною праздностью, которая наполняла все ея существо тоскою? Или и усиленная дѣятельность тетки не представляла ничего другого, кромѣ „крохъ“, какъ выразился недавно докторъ...

На другой день, утромъ, она спросила няньку:

— Есть у насъ въ селѣ бѣдные?

— Какъ бѣднымъ не быть.

— И плохо они живутъ?

— Ужъ какое бѣдному человѣку житье! Колотятся.

— Чтò они, на примѣръ, дѣлають?

— Тюрю, щи пустыя. У кого корова есть, такъ молока для забѣлки кладуть.

— И больные въ деревнѣ есть?

— И больныхъ довольно. Плотникъ Миронъ ужъ два года животоми валяется. Ввалилъ себѣ въ ту пору на плечо бревно, и вдругъ у него въ нутрѣ оборвалось.

— Неужто и онъ тоже тюрей питается?

— А то чѣмъ же! Чѣмъ прочіе, тѣмъ и онъ. Хлѣбъ-то заромъ не достается. Онъ и съ печки сойти не можетъ—какой онъ добытчикъ!

— Докторъ у него не былъ?

— Про насъ, сударыня, докторовъ не припасено,—чуть не съ гнѣвомъ отвѣтила няня.

— Я, няня, пойду къ Мирону,—рѣшила Ольга.

— А зачѣмъ, позвольте узнать? „Вогъ милости прислалъ“? Такъ это-онъ и безъ васъ давно знаетъ.

— Нѣтъ, я спрошу, не нужно ли чтò.

— Полноте-ка! посмотрите, на дворѣ мгла какая! Пойдете въ своемъ разлетаичикѣ, простудитесь еще. Сидите-ка лучше дома—на чтò еще глядѣть собрались?

— Нѣтъ, я пойду.

И пошла.

Приходу ея въ избѣ удивились. Но она вошла довольно смѣло и спросила Мирона. Въ избѣ было душно и невыносимо смрадно. Ей



указали на печку. Когда она взошла по приступкамъ на верхъ, передъ ней очутился человѣческой остовъ, изъ груди котораго вылетали стоны.

— Вы больны?—спросила она, не сознавая бесполезности своего вопроса.

Онъ широко раскрылъ глаза и безмолвствовалъ.

— Третій годъ пластомъ лежитъ,—отвѣчала за него жена:— сначала и день, и ночь крикомъ кричалъ, хоть изъ избы вонъ бѣги, а теперъ потише сдѣлался.

— Можетъ быть, ему легче сдѣлалось?

— Не должно бы быть — съ чего? Нѣтъ, у него, стало быть, силы ужъ нѣтъ кричать.

— Чѣмъ же вы его кормите?

— Чтò сами ѣдимъ, тò и ему даемъ. Да онъ и не ѣсть совсѣмъ.

— Хотите, я вамъ бульону для него пришлю? мяса?

— Съ убины у него, пожалуй, съ души сопретъ. Вотъ сущу... Миронъ, а, Миронъ! барышня съ усадьбы пришла, спрашиваетъ, сущу не хочешь ли?

— Не... нужно...

— Нѣтъ, я все-таки пришлю. Можетъ быть, и получше ему будетъ. И съ докторомъ о немъ поговорю. Посмотрить, что-нибудь присовѣтуетъ, скажетъ, какая у него болѣзнь.

Визитъ кончился. Когда она возвращалась домой, ей было нѣсколько стыдно. Съ чѣмъ она шла?.. съ „супцемъ“! Да и „супецъ“ ея былъ принятъ какъ-то сомнительно. Ни одного дѣльнаго вопроса она сдѣлать не сумѣла, никакой помощи предложить. Между тѣмъ сердце ея болѣло, потому что она увидѣла настоящее страданіе, настоящее горе, настоящую нужду, а не тоску по праздности. Тѣмъ не менѣе она сейчасъ же распорядилась, чтобы Мирону послали миску съ бульономъ, вареной говядины и бѣлаго хлѣба.

— Это еще чтò за выдумки?—удивилась няня.

— Пожалуйста, няня! прошу!

— Стыдитесь, сударыня! у насъ у самихъ говядины въ обрѣзъ. Въ городъ за нею гоняемъ. А бѣлый хлѣбъ только для господъ бережемъ.

— Исполните приказаніе Ольги Васильевны!—раздался голосъ

старика Ладогина, до котораго, черезъ двѣ комнаты, донесся этотъ разговоръ.

Приказаніе было исполнено. На другой день Ольга Васильевна повторила свою просьбу; но она уже видѣла, что ей придется напоминать объ одномъ и томъ же каждый день, и что добровольно никто о Миронѣ не подумаетъ. Когда пріѣхалъ докторъ, она пошла къ больному вмѣстѣ съ нимъ; но докторъ, осмотрѣвъ пациента, объявилъ, что онъ безнадеженъ, и такихъ средствъ, которыя могли бы возстановить здоровье Мирона, у него, доктора, въ распоряженіи не имѣется. Онъ назвалъ болѣзнь по имени, но Ольга не поняла. За всѣмъ тѣмъ она продолжала напоминать о „сунцѣ“, но скоро убѣдилась, что распоряженія ея просто не исполняются. Тогда она умолкла.

Недѣли черезъ двѣ она обратилась къ нянкѣ съ новымъ вопросомъ:

— Нѣтъ ли на селѣ дѣвочекъ, которыя пожелали бы учиться? Немного: четыре, пять дѣвочекъ...

— Учить хотите?

— Да.

— Это чтобъ онѣ вездѣ слѣдовъ наслѣдили, нахаркали, всѣ комнаты овчинами насмердили?

— Ахъ, няня, какъ это у васъ сердце такое черствое!

— Придутъ въ вашу комнату, насорятъ, нагадятъ, а я за ними подметаю!—продолжала ворчать нянка.

— Другіе подметутъ; наконецъ, я сама... Пожалуйста! Я знаю, папашѣ будетъ пріятно, что я хоть чѣмъ-нибудь занята.

На этотъ разъ нянка не противорѣчила, потому что побоялась вмѣшательства Василія Ѳедоровича. Дня черезъ два пришли три дѣвочки, пугливо остановились въ дверяхъ классной комнаты, оглядѣли ее кругомъ и наконецъ уставились глазами въ Ольгу. Съ мороза носы у нихъ были влажны, и одна изъ пришедшихъ, точно исполняя предсказаніе нянки, тотчасъ же высморкалась на полъ.

— Подойдите, не бойтесь!—поощряла ихъ Ольга Васильевна.

Началось каждодневное ученье, и такъ какъ Ольга дѣйствительно старала желаніемъ принести пользу, то дѣло пошло довольно бойко.

Черезъ короткое время Ольга Васильевна однакожь замѣтила, что матушка-попадья имѣетъ на нее какое-то неудовольствіе. Ока-

залось, что такъ какъ женской школы на селѣ не было, то матушка, за крохотное вознагражденіе, набирала ученицъ и учила ихъ у себя на дому. Затѣя „барышни“, разумѣется, представляла для нея очень опасную конкуренцію.

— Она семью своимъ трудомъ кормить,—говорила по этому случаю нянька:—а вы у нея хлѣбъ отнимаете.

Приходилось, попрежнему, безцѣльно бродить по комнатамъ, прислушиваться къ бою маятника и скучать, скучать безъ конца. Изрѣдка она каталась въ санихъ, и это немного оживляло ее; но дорога была такъ изрыта ухабами, что непрерывное нырнѣе въ значительной степени отравляло прогулку. Впрочемъ она настолько ужъ опустилась, что ее и не тянуло изъ дому. Все равно, вездѣ одно и то же, и вездѣ она одна.

Во время рождественскихъ праздниковъ пріѣзжалъ къ отцу одинъ изъ мировыхъ судей. Онъ говорилъ, что въ городѣ веселятся, что квартирующій тамъ батальонъ доставляетъ жителямъ различныя удовольствія, что по зимамъ нанимается залъ для собраній и бывають танцевальныя вечера. Потомъ зашелъ разговоръ о какихъ-то пререканіяхъ земства съ исправникомъ, о томъ, что земскія недоимки совсѣмъ не взыскиваются, что даже жалованье членамъ управы и мировымъ судьямъ платить не изъ чего.

— Слухи ходятъ, что скоро и совсѣмъ земства похерятъ,—прибавилъ онъ:—да и хорошо сдѣлаютъ. Объ умывальникахъ для больницы да о паромѣ черезъ рѣчку Волплю и безъ земства есть кому думать. Вотъ кабы...

Но Василій Ѳедоровичъ не далъ ему докончить и, смѣясь, сказалъ:

— Успокойтесь: ваше жалованье при васъ останется. Даже вѣрнѣе будетъ уплачиваться, потому что недоимки настоящимъ образомъ станутъ взыскивать.

Въ заключеніе судья приглашалъ Ольгу развлечься и предлагалъ познакомить ее съ своею женой. Дѣйствительно, она однажды собралась въ городъ, и жена судьи приняла ее очень дружелюбно. вмѣстѣ онѣ поѣхали въ собраніе, но тамъ было такъ людно и шумно, что у Ольги, почти въ самомъ началѣ вечера, разболѣлась голова. Притомъ же почти все время она просидѣла одна, потому что, подъ предлогомъ незнакомства, ее ангажировали очень рѣдко, тогда какъ



жена судьи была царицей бала и не пропускала ни одного танца. Она искала глазами доктора, но его въ залѣ не было. Взамѣнъ ей указали на сухопарую, высокую даму, которая тоже сидѣла совсѣмъ одиноко, и сказали:—Вотъ наша докторша!

Черезъ нѣсколько времени сухопарая дама подошла къ ней и очень нахально объявила:

— А мой докторъ отъ васъ безъ ума. Только и словъ, что Ольга Васильевна да Ольга Васильевна.

— Я всего одинъ разъ съ нимъ говорила,—невнопадъ отвѣтила Ольга, краснѣя.

— Это зависитъ отъ того, какъ говорить! Иногда и одинъ разъ люди поговорятъ, да такъ сговорятся, что любо-дорого смотрѣть!

Ольга встала и пересѣла на другое мѣсто.

— Приѣдетъ онъ теперь къ вамъ... дожидайтесь!—прошипѣла ей вслѣдъ докторша.

Послѣ этого эпизода голова у нея разболѣлась сильнѣе, и ей сдѣлалось невыносимо скучно среди этой суматохи, называвшей себя весельемъ.

„Должно быть, и для того, чтобы веселиться, надо привычку имѣть“,—думалось ей, когда она возвращалась на постоянный дворъ, чтобы переодѣться и возвратиться домой.

— Ну, вотъ, слава Богу, и повеселились! — встрѣтила ее нянька.

Тѣмъ не менѣе докторъ продолжалъ навѣщать старика: это была единственная практика во всемъ уѣздѣ, которая представляла какое-нибудь подспорье, такъ что даже сварливая докторша не рѣшалась настаивать на утратѣ такого паціента. Но Ольга уже не вступала съ докторомъ въ разговоръ, а онъ и подавно молчалъ. Обмѣниваясь короткими фразами, обѣдали они вдвоемъ въ урочное время, затѣмъ пожимали другъ другу руки, и онъ уѣзжалъ. День ото дня перспектива одиночества и какой-то безвыходной тусклости все неизбѣжнѣе и неизбѣжнѣе обрисовывалась передъ ней.

Наконецъ наступилъ мартъ, и грудь ея вздохнула свободнѣе. Стужа еще не прекратилась, но въ срединѣ дня солнце уже грѣло и въ воздухѣ чуялся поворотъ къ веснѣ. Вотъ и грачи прилетѣли и наполнили сосѣднюю рощу шумнымъ карканьемъ; вотъ на дорожкѣ, ведущей въ паркъ, въ густомъ снѣжномъ слоѣ, ее покрывавшемъ,

показались дырочки; на прудъ прибѣгали деревенскіе мальчики и проваливались въ рыхломъ снѣгу. Къ концу марта и въ комнатахъ стало веселѣе, свѣтлѣе. Лучи солнца играли на полу, отражались въ зеркалахъ; на стѣнахъ неизвѣстно откуда появлялись „зайчики“. Ольга съ удовольствіемъ слѣдила за игрою лучей и чувствовала себя менѣе угнетенной. Наконецъ пришелъ управляющій и объявилъ, что надо запастись провизіей, потому что скоро появятся на дорогахъ зажоры, и въ городъ нельзя будетъ проѣхать. Въ первыхъ числахъ апрѣля на рѣчкѣ тронулся ледъ, и все видимое пространство, и поля, и луга, покрылось водою.

Но въ то же время и погода измѣнилась. На небѣ съ утра до вечера ходили грузныя облака; начинавшееся тепло, какъ бы по мановенію волшебства, исчезло; почти ежедневно шелъ мокрый снѣгъ, о которомъ говорили: „молодой снѣгъ за старымъ пришелъ“. Но и эта перемѣна не огорчила Ольгу, а, напротивъ, заняла ее. Все-таки дѣло идетъ къ возрожденію; тѣмъ или другимъ процессомъ, а природа беретъ свое.

На послѣдней недѣлѣ поста Ольга говѣла. Она всегда горячо и страстно вѣровала, но на этотъ разъ сердце ея переполнилось. На исповѣди и на причастіи она не могла сдержать слезъ. Но облегчили ли ее эти слезы, или, напротивъ, наполнили ея сердце тоскою—этого она и сама не могла различить. Иногда ей казалось, что она утѣшена, но черезъ минуту слезы опять закипали въ глазахъ, неудержимой струей текли по щекамъ, и она бессознательно повторяла слова отца: „бѣдная! бѣдная! бѣдная!“

Въ утреню Свѣтлаго праздника съ ней повторилось то же явленіе, но она, насколько могла, сдержала себя. Воротившись отъ ранней обѣдни домой, она похристовалась съ отцомъ, который, по случаю праздника, надѣлъ бѣлый кашемировый халатъ, и весь въ бѣломъ былъ скорѣе похожъ на мертвеца, закутаннаго въ саванъ, нежели на живого человѣка. Потомъ перецѣловалась со всею прислугой, разговѣлась, выслушала славленіе сельскаго священника и, усталая, легла отдохнуть. Но сдавленные слезы сами собой полились; сердце зануло, въ груди шевельнулись рыданія. „Бѣдная! бѣдная! бѣдная!“ — раздавалось у нея въ ухахъ, стучало въ головѣ, разливалось волной по всему тѣлу...

Въ маѣ Ольга Васильевна начала ходить въ поле, гдѣ шла пахота и начался посѣвъ ярового. Работа заинтересовала ее; она приглядывалась, какъ управляющій распорядился, ходилъ по пашнѣ, тыкалъ палкою въ вывороченные сохой комья земли, дѣлалъ работникамъ выговоры и проч.; ей хотѣлось и самой что-нибудь узнать, чему-нибудь научиться. На вопросы ея управляющій отвѣчалъ какъ могъ, но при этомъ лицо его выражало такое недоумѣнiе, какъ будто онъ хотѣлъ сказать: ты-то какимъ образомъ сюда попала?

За то въ паркѣ было весело; березы покрылись молодыми блѣдно-зелеными листьями и сѣменными сережками; почки липы надувались и трескались; около клумбъ возился садовникъ съ рабочими: взрыхляли землю, сажали цвѣты. Нѣкоторыя птицы ужъ вывели птенчиковъ; гнѣзда самыхъ мелкихъ пернатыхъ, по большей части, были свиты въ дуплахъ деревь, и иногда такъ низко, что Ольга могла заглядывать въ нихъ. По вечерамъ весь воздухъ былъ напоенъ душистымъ паромъ распутившейся березовой листвы.

Въ юнѣ къ Ладогинымъ явился съ визитомъ сосѣдъ, Николай Михайлычъ Семигоровъ, молодой человекъ лѣтъ тридцати. Старикъ Ладогинъ въ былое время былъ очень близокъ съ покойнымъ отцомъ Семигорова и принималъ сына очень радушно. Молодой человекъ постоянно жилъ въ Петербургѣ, занималъ довольно видное мѣсто въ служебной іерархіи и только изрѣдка и на короткое время навѣщалъ деревню, отстоящую въ четырехъ верстахъ отъ усадьбы Ладогина. Средства онъ имѣлъ хорошія, не торопился связывать себя узами, былъ настолько свѣдуущъ и образованъ, чтобы вести солидную бесѣду на всѣ вкусы, и въ обществѣ на него смотрѣли какъ на приличнаго и пріятнаго человека. Въ семействѣ Ладогиныхъ онъ велъ себя очень предупредительно. Съ перваго же раза повелъ съ Ольгой оживленный разговоръ, сообщил нѣсколько пикантныхъ подробностей изъ петербургской жизни, коснулся „вопросовъ“ и, разумѣется, по преимуществу тѣхъ, которымъ была посвящена дѣятельность тетки — Надежды Федоровны. Но при этомъ объявилъ, что настоящее время для вопросовъ очень трудное, и что Надежда Федоровна хотя не опускаетъ рукъ, но очень страдаетъ.

— Всего больше угнетаетъ тѣ, — сказалъ онъ, — что надо дѣйствовать какъ будто исподтишка. Казаться веселымъ, когда чув-



ствуешь въ сердцѣ горечь, заискивать у такихъ личностей, съ которыми не хотѣлось бы даже встрѣчаться, доказывать то, что само по себѣ ясно какъ день, слѣдить, какъ бы не оборвалась внезапно тонкая нитка, на которой чуть держится дѣло преуспѣянiя, отстаивать каждый отдѣльный случай, пугаться и затѣмъ просить, просить и просить... Согласитесь, что это не легко!

И когда Ольга отвѣчала на его слова соболѣзнованiями—ничего другого и въ запасѣ у нея не было, — то онъ, поощренный ея вниманiемъ, продолжалъ:

— Вообще мы, люди добрыхъ намѣренiй, должны держать себя осторожно, чтобы не погубить дѣла преуспѣянiя и свободы. Мы обязаны помнить, что каждый переполохъ прежде всего и больше всего отражается на насъ. Поэтому самое лучшее — не дразнить и стараться показывать, что наши мысли совпадаютъ съ мыслями влiятельныхъ лицъ. Разумѣется, не затѣмъ, чтобы подчиняться этимъ лицамъ, а, напротивъ, чтобы они, незамѣтно для самихъ себя, подчинились нашимъ воззрѣнiямъ. Влiятельное лицо всегда не прочь полиберальничать—къ счастью, это вошло уже въ привычку, — лишь бы либеральная мысль являлась не въ черезъ-чуръ рѣзкой формѣ и смягчалась внѣшними признаками уступокъ и соглашенiй. Ежели этотъ маневръ удастся, то дѣло преуспѣянiя спасено. И что всего важнѣе: влiятельное лицо будетъ убѣждено, что инициатива этого спасенiя идетъ всецѣло отъ него. А при такомъ убѣжденiи и будущее его содѣйствiе можетъ считаться обезпеченнымъ.

— Да, но вѣдь это игра опасная, — замѣтила Ольга.

— Коли хотите, она не столько опасна, сколько не вполне нравственна и въ высшей мѣрѣ недоѣдлива. Совѣстно лукавить и невыносимо скучно выслушивать пустяки, серьезно изрекаемые въ качествѣ истинъ. Требователенъ нынѣшнiй влiятельный человекъ и даже назойливъ. Ни одной уступки вы отъ него не дождетесь иначе, какъ цѣною цѣлаго потока пустопорожнихъ рѣчей. Но что же дѣлать?

— Мнѣ кажется, я бы побоялась. Вѣдь, слушая постоянно однѣ и тѣ же, какъ вы ихъ называете, пустопорожнiя рѣчи, можно и самому незамѣтно подчиниться имъ. Вотъ я, напримѣръ, прiѣзжая сюда, тоже мечтала о какой-то дѣятельности, чѣмъ-то въ родѣ свѣтлаго луча себя представляла, а въ концѣ концовъ подчинилась-такъ.

Я скажу одно слово, а мнѣ — двадцать въ отвѣтъ. Слова не особенно резонансы, но ихъ много, и притомъ они часто повторяются, все одни и тѣ же. Ну, и подчинилась или, говоря другими словами, махнула рукой и живу сама по себѣ.

— И дурно сдѣлали. Вамъ и подчиняться не нужно, а слѣдуетъ только приказать.

— Да, прикажите! какъ вы прикажете, когда вамъ говорятъ: „теперь недосужно“, или: „вотъ ужъ, какъ уберемся!“ и въ заключеніе: „ахъ, я и забыла!“? Вѣдь и „недосужно“, и „ужъ“, и „забыла“ — все это въ порядкѣ вещей, все возможно.

— Пожалуй, что и такъ. Въ нашемъ дѣлѣ, конечно, есть своего рода опасности, но нельзя же не рисковать. Если изъ десяти опасностей преодолѣть половину, — а на это все-таки можно рассчитывать, — то и тутъ ужъ есть выигрышъ.

Словомъ сказать, Ольга провела время пріятно, во всякомъ случаѣ сознавала, что въ этой безпробудной тиши въ первый разъ раздалось живое человѣческое слово. Съ своей стороны, и онъ далъ понять, что знакомство съ Ольгой Васильевной представляетъ для него неожиданный и пріятный ресурсъ, и въ заключеніе даже общалъ „надоѣдать“.

— Я буду ѣздить къ вамъ часто, — говорилъ онъ, прощаясь: — ежели надоѣмъ, то скажите прямо. Но надѣюсь, что до этого не дойдетъ.

— То-есть, вы поступите со мной, какъ съ тѣмъ вліятельнымъ лицомъ, о которомъ упоминали: будете подчинять меня себѣ, приводить на путь истинный! — пошутила Ольга.

— Пожалуй, — отвѣтилъ онъ весело: — только на этотъ разъ вполне добровольно и сознательно. А можетъ быть и вы подчините меня себѣ.

Семигоровъ уѣхалъ, и Ольга почувствовала съ перваго же шага, что ей скучно безъ него. Теорія его казалась ей нѣсколько странною, но вѣдь она такъ мало жила между людьми, такъ мало знаетъ, что, можетъ быть, ошибается она, а не онъ. Во всякомъ случаѣ, разговоръ его заинтересовалъ ее, пробудилъ въ ней охоту къ серьезному мысленію. На этотъ разъ однакожь мысли ея находились въ какомъ-то хаосѣ, въ которомъ мѣшалось и положительное, и отрицательное, смѣняя одно другое безъ всякой винословности. Въ этомъ хаосѣ она

путалась до самой минуты, когда, ужъ довольно поздно, ее позвали къ отцу.

Отецъ собирался спать. Онъ перекрестилъ дочь, посмотрѣлъ ей пристально въ глаза, точно у него опять мелькнуло въ головѣ: бѣдная! Но на этотъ разъ воздержался и сказалъ только:

— Ну, Христось съ тобой!

Семигоровъ сдержалъ слово и посѣщалъ Ладогинныхъ ежели не каждый день, то очень часто. Молодые люди сблизились. Николай Михайлычъ разъяснилъ Ольгѣ значеніе реформъ послѣдняго времени, подробно разсказалъ исторію и современное положеніе высшаго женскаго образованія, и мало-по-малу дѣйствительно подчинилъ ее себѣ. По временамъ они вступали на почву высшихъ общечеловѣческихъ интересовъ, спорили о различныхъ утопіяхъ, которыя излагалъ Семигоровъ, и, къ удивленію, Ольга на этой почвѣ опозналась гораздо быстрѣе и даже почувствовала себя тверже своего учителя. Во всякомъ случаѣ, она почувствовала, что въ существо ея хлынула жизнь.

Она слушала, волновалась, мыслила, мечтала... Новъ эти одинокія мечтанія неизмѣнно проникалъ образъ Семигорова, какъ свѣтлый лучъ, который пробудилъ ее отъ сна, освѣтилъ ея душу невѣдомыми радостями. Наконецъ, сердце не выдержало—и увлеклось.

Она даже забыла о своей непривлекательной внѣшности, и безотчетно, бездумно пошла на встрѣчу охватившему ее чувству.

Замѣтилъ ли Семигоровъ зарождающуюся страсть—она не отдавала себѣ въ этомъ отчета. Во всякомъ случаѣ, онъ относился къ ней сочувственно и дружески-тепло. Онъ крѣпко сжималъ ея руки при свиданіи и разставаніи и по временамъ даже съ нѣжнымъ участіемъ глядѣлъ ей въ глаза. Отчего было не предположить, что и въ его сердце запала искра того самаго чувства, которое переполнило ее?

Однажды—это было передъ самымъ отъѣздомъ Семигорова въ Петербургъ—они сидѣли въ паркѣ и особенно дружески разговаривались. Рѣчь шла о положеніи женщины въ русскомъ обществѣ. Сначала она приводила примѣры изъ крестьянской жизни, но, наконецъ, не выдержала и указала на свою собственную судьбу. Съ горечью, почти съ испугомъ жаловалась она на одиночество, вынужденную праздность, на неудавшуюся, погибшую жизнь. Какимъ образомъ эта жизнь такъ сложилась, что кругомъ ничего, кромѣ мрака, нѣтъ? неужели у судьбы есть жребіи, которые она раздаетъ по произволу,



съ завязанными глазами? И для чего эти жребіи? Для чего однихъ одарять, другихъ отнять? для чего нужна, какимъ цѣлямъ можетъ удовлетворять эта бессмысленная игра? Хоть бы въ будущемъ былъ просвѣтъ — можно было бы терпѣть и ждать. А въ ея жизни царствуетъ полная безсрочность. Она такъ же томится, какъ и прикованный къ креслу больной отецъ, который, вставая утромъ, ждетъ, скоро ли придетъ ночь, а ложась спать, ворочается на постели и ждетъ, скоро ли наступитъ утро. Такъ вѣдь у него ужъ и силъ для жизни нѣтъ, онъ естественнымъ процессомъ подчинился, тогда какъ она здорова, сильна, а ее преслѣдуетъ та же нравственная немочь, та же оброшенность.

— Вотъ нашъ докторъ говоритъ, — сказала она грустно: — что всѣ мы около крохъ ходимъ. Нѣтъ, не всѣ. У меня даже крохъ нѣтъ; я и крохѣ была бы рада.

— Бѣдная вы! — вымолвилъ онъ, взявъ ее за руку.

— Да, бѣдная! — повторила она: — и отецъ много разъ говорилъ мнѣ: бѣдная! бѣдная! Но представьте себѣ, старуха нянька однажды услышала это и сказала: „какая же вы бѣдная! вы — барышня!“

— Бѣдная! бѣдная вы моя!

Жалость ли, или другое, болѣе теплое чувство овладѣло его сердцемъ, но съ нимъ совершилось внезапное превращеніе. Онъ почувствовалъ потребность любить и ласкать это бѣдное, оброшенное существо. Кровь не кипѣла въ его жилахъ, глаза не туманились страстью, но онъ чувствовалъ себя какъ бы умиротвореннымъ, достигшимъ завѣтной цѣли, и въ этотъ мигъ совершенно искренно желалъ чтобы этотъ сердечный миръ, это душевное равновѣсіе осталось при немъ навсегда. Инстинктивно онъ обнялъ ее рукой за талію, инстинктивно привлекъ къ себѣ и поцѣловалъ.

Изъ глазъ ея брызнули слезы.

— Зачѣмъ ты плачешь? — шепталъ онъ, незамѣтно увлекаясь: — теперь ужъ ты не бѣдная! ты — моя!

— Я любима? — спросила она, все еще сомнѣваясь.

— Да, ты любима, ты — моя! — отвѣтилъ онъ горячо.

Цѣлый часъ они провели въ взаимныхъ признаніяхъ и въ душевной бесѣдѣ о предстоящихъ радостяхъ жизни. Сомнѣнія мало-по-малу совсѣмъ оставили ее; но онъ, по мѣрѣ того, какъ разговоръ

развивался, начиналъ чувствовать какую-то неловкость, въ которой однакожь боялся признаться себѣ. Но все-таки онъ замѣтилъ эту неловкость и, чтобы оправдать себя, приписалъ ее недостатку страстности, которая лежала въ самой природѣ его. Но за то онъ честенъ и, конечно, не измѣнитъ однажды вызванному чувству любви, хоть бы это чувство и неожиданно подстерегло его.

Наконецъ онъ сталъ собираться домой.

— Завтра утромъ я приѣду и перетолкую съ твоимъ отцомъ, — говорилъ онъ, — а вечеромъ — въ Петербургъ. Черезъ мѣсяцъ возвращусь сюда, и мы будемъ неразлучны.

Она держала его за руку и не пускала отъ себя.

— Пойдемъ къ отцу... теперь! — сказала она: — мнѣ хочется показать тебя ему!

— Ну, онъ и безъ того знаетъ...

— Нѣтъ, онъ не знаетъ... *тебя, такою, какъ ты теперь...* не знаетъ! Пойдемъ!

— Твой отецъ — человѣкъ старозавѣтный, — уклонился онъ, — а старозавѣтные люди и обычаевъ старозавѣтныхъ держатся. Нѣтъ, оставимъ до завтра. Приѣду, сдѣлаю формальное предложеніе, а вечеромъ — въ Петербургъ.

Она должна была согласиться, и онъ уѣхалъ. Долго глядѣла она вслѣдъ пролеткѣ, которая увозила его, и всякій разъ, какъ онъ оборачивался, махала ему платкомъ. Наконецъ облако пыли скрыло и экипажъ, и сѣдока. Тогда она пошла къ отцу, встала на колѣни у его ногъ и заплакала.

— Я счастлива, нана! — слышалось сквозь рыданья, тѣснившія ей грудь.

Отецъ взглянулъ на нее и понялъ. „Бѣдная!“ — шевельнулось у него въ головѣ, но онъ подавилъ жестокое слово и сказалъ:

— Ну, Христось съ тобой! желаю...

Вечеромъ ей стало невыносимо скучно въ ожиданіи завтрашняго дня. Она одиноко сидѣла на той самой аллеѣ, гдѣ произошло признаніе, и вдругъ ей пришло на мысль пойти къ Семигорову. Она дошла до самой его усадьбы, но войти не рѣшилась, а только заглянула въ окно. Онъ нѣкоторое время ходилъ въ волненіи по комнатѣ, но потомъ сѣлъ къ письменному столу и началъ писать. Ей сдѣлалось совѣстно своей нескромности, и она уѣжала.

На другой день утромъ, только-что она встала, ей подали письмо.

„Простите меня, милая Ольга Васильевна, — писалъ Семигоровъ: — я не соразмѣрилъ силы охватившаго меня чувства съ тѣми послѣдствіями, которыя оно должно повлечь за собою. Обдумавъ происшедшее вчера, я пришелъ къ убѣжденію, что у меня черезчуръ холодная и черствая натура для тихихъ радостей семейной жизни. Въ ту минуту, когда вы получите это письмо, я уже буду на дорогѣ въ Петербургъ. Простите меня. Надѣюсь, что вы и сами не пожалѣете обо мнѣ. Не правда ли? Скажите: да, не пожалѣю. Это меня облегчитъ“.

Она не проронила ни слова жалобы, но побѣлѣла какъ полотно. Затѣмъ положила письмо въ конвертъ и спрятала его въ шкатулку, гдѣ лежали вещи, почему-либо напоминавшія ей сравнительно хорошія минуты жизни. Въ числѣ этихъ минутъ та, о которой говорилось въ этомъ письмѣ, все-таки была лучшая.

Отецъ повидимому уже зналъ, что отъ Семигорова пришло письмо, и когда она пришла къ нему, то онъ угадалъ содержаніе письма и сердито, почти брезгливо крикнулъ: — Забудь!

Но она не забыла. Каждый день по нѣскольку разъ она открывала завѣтную шкатулку, перечитывала деревянное письмо, комментировала каждое слово, усиливаясь что-нибудь выжать. Можетъ быть, онъ чѣмъ-нибудь связанъ? можетъ быть, эта связь вдругъ порвется, и онъ вернется къ ней? вѣдь онъ ее любитъ... иначе зачѣмъ же было говорить? Словомъ сказать, она только этимъ письмомъ и жила.

Жизнь становилась все унылѣе и унылѣе. Наступила осень, вечера потемнѣли, полились дожди; паркъ съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе обнажался; потомъ пошелъ снѣгъ, настала зима. Прошлый годъ обѣщаль повториться въ мельчайшихъ подробностяхъ, за исключеніемъ той единственной свѣтлой минуты, которая напоила ея сердце радостью...

Въ полной и на этотъ разъ уже добровольно принятой бездѣятельности она бродила по комнатамъ, не находя для себя удовлетворенія даже въ чтеніи. Въ ушахъ ея раздавались слова: „нѣтъ, вы не бѣдная, вы — моя!“ Она чувствовала прикосновеніе его руки къ ея тали; поцѣлуй его горѣлъ на ея губахъ. И вдругъ все пропало... куда? почему?



Отецъ нѣсколько разъ предлагалъ ей ѣхать въ Петербургъ къ теткѣ, но она настаивала въ своемъ упорствѣ. Теперь ужъ не представленіе о долгѣ приковывало ее къ деревнѣ, а какая-то тушная боязнь. Она боялась встрѣтить его, боялась за себя, за свое чувство. Навѣрное ее ожидаетъ какое-нибудь жестокое разочарованіе, какая-нибудь новая жестокая игра. Она еще не хотѣла прямо признать деревяннымъ письмо своего минутнаго жениха, но внутренній голосъ уже говорилъ ей объ этомъ.

Такъ прошло цѣлыхъ томительныхъ шесть лѣтъ. Наконецъ старикъ Ладогинъ умеръ, и Ольга почувствовала себя уже совсѣмъ одинокою.

Черезъ мѣсяцъ пріѣхалъ братъ и привезъ съ собой „особу“.

— Это моя пріятельница, Нина Аветовна Шамайдзе, — рекомендовалъ онъ ее сестрѣ: — прошу жаловать.

На другой день онъ спросилъ сестру, какъ она намѣрена располагать собой.

— Я поѣду сначала въ городъ, — отвѣтила она: — а потомъ, когда кончатся дѣла, уѣду къ тетѣ Надѣ въ Петербургъ. У насъ уже условлено.

— А гдѣ же вы изволите остановиться въ городѣ?

— У мирового судьи Зуброва. Онъ просилъ меня. Покойный отецъ оставилъ завѣщаніе и назначилъ Зуброва душеприказчикомъ.

— Вотъ какъ! и завѣщаніе есть! А по моему, вашему сословію достаточно бы пользоваться тѣмъ, что вамъ по закону предоставлено. Въ недвижимомъ имѣніи — четырнадцатая, въ движимомъ — восьмая часть. Ну, да вѣдь шесть лѣтъ около старичка сидѣли — можетъ быть, что-нибудь и высидѣли.

Рано утромъ, на слѣдующій же день, Ольги уже не было въ отцовской усадьбѣ. Завѣщаніе было вскрыто, и въ немъ оказалось, что капиталъ покойнаго Ладогина былъ раздѣленъ поровну, а о недвижимомъ имѣніи не упоминалось, такъ какъ оно было родовое. Ольга въ самое короткое время покончила съ наслѣдствомъ: приняла свою долю завѣщаннаго капитала, а отъ четырнадцатой части въ недвижимомъ имѣніи отказалась. Въ распоряженіи ея оказалось около четырехъ тысячъ годового дохода.

Пріѣхала она къ теткѣ въ концѣ ноября, въ самый разгаръ сезона. Надежда Федоровна хотя была значительно моложе брата, но

все-таки ей шло ужъ за пятьдесятъ. Это была отличная дѣвушка, бодро несшая и бремя лѣтъ, и свое одиночество. Она наняла довольно просторную квартиру въ четвертомъ этажѣ, такъ что у нея и у Ольги было по двѣ комнаты и общая столовая. Ольга сразу почувствовала себя удобно. Не было бесполезной громады комнатъ, которая давила ее въ деревнѣ; не слышно было таинственныхъ шопотовъ, которые въ деревенскомъ домѣ ползли изъ всѣхъ щелей. Съ непривычки ей показалось даже тѣсно, но она рада была этому.

Надежда Федоровна тормошилась съ утра до вечера. Она была членомъ множества комитетовъ, комиссій, субкомиссій и проч., не пропускала ни одного засѣданія, ѣздила къ вліятельнымъ лицамъ, ходатайствовала, хлопотала. Усталая, возвращалась домой къ обѣду, а вечеромъ опять исчезала. Иногда и у нея, въ качествѣ председательницы какой-нибудь субкомиссіи, собирались „хорошіе люди“, толковали, рѣшали вопросы, но, надо сказать правду, большинство этихъ рѣшеній формулировалось словами: нельзя ли какъ-нибудь найти путь къ такому-то лицу? напимѣръ, къ тому-то, черезъ того-то? нельзя ли воспользоваться пріѣздомъ такого-то и при посредствѣ такого-то предложить ему принять въ „нашемъ“ дѣлѣ участіе?

— Онъ богатъ, ему ничего не значитъ выбросить пять, шесть тысячъ.

Словомъ сказать, Ольга поняла, что въ Россіи благія начинанія, во-первыхъ, живутъ подъ страхомъ и, во-вторыхъ, еле дышутъ, благодаря благонамѣренному вымогательству, безъ котораго никто бы и не подумалъ явиться въ качествѣ жертвователя. Сама Надежда Федоровна откровенно созналась въ этомъ.

— Ты не повѣришь, какъ намъ горько и тяжело, — сказала она.

— Да, я слышала, что вы постоянно боитесь.

— Ты это отъ Семигорова шесть лѣтъ тому назадъ слышала. Что тогдашніе страхи въ сравненіи съ нынѣшними! нѣтъ, ты теперь посмотри! Кстати: Семигоровъ навѣдывается о тебѣ съ большимъ интересомъ. Часто онъ бывалъ у васъ?

— Да, бывалъ.

— Онъ умный. Но предупреждаю тебя: онъ не изъ „нашихъ“. Онъ карьеристъ и сердце у него дряблое.

— Вы часто его видите?

— Не особенно. Обращаюсь къ нему при случаѣ, какъ и вообще

ко всёми, кто можетъ помочь. Ахъ, мой другъ, такъ намъ тяжело, такъ тяжело! Ты представь себѣ только это одно: захотятъ насъ простить — мы живы; не захотятъ — погибли. Одна эта мысль... ахъ!

Ольга не безъ смущенія выслушала аттестацію Семигорова, но когда осталась одна, то опять перечитала завѣтное письмо и опять напрягла всё усилія, чтобы хоть что-нибудь изъ него выжать. Искру чувства, надежду... что-нибудь!

„Какое оно однакожь деревянное!“ — въ первый разъ мелькнуло въ ея головѣ.

Ольга скоро сдѣлалась своею въ томъ тѣсномъ кружкѣ, въ которомъ вращалась Надежда Ѳедоровна. Настоящей дѣятельности она покамѣсть не имѣла, но прислушивалась къ совѣтамъ опытныхъ руководительницъ и помогала, стараясь, чтобы вліятельныя лица по крайней мѣрѣ привыкли видѣть ее. Она уже считала себя обреченною и не видѣла передъ собой иного будущаго, кромѣ того, которое осуществляла собой Надежда Ѳедоровна.

Однажды, сидя въ своей комнатѣ, она услышала знакомый голосъ. Это былъ голосъ Семигорова, который пріѣхалъ навѣстить тетку. Ольга встала и твердымъ шагомъ пошла туда, гдѣ шелъ разговоръ. Очевидно, она рѣшила испытать себя и — „кончить“.

Семигоровъ значительно постарѣлъ за семь лѣтъ. Онъ потолстѣлъ и обрюзгъ; лицо было по прежнему блѣдное, но непріятно одутловатое и совсѣмъ деревянное. Говорилъ онъ впрочемъ такъ же плавно и резонно, какъ и тогда, когда она въ первый разъ увидѣла его.

Очевидно, внутри его существовало два теченія: одно старое, съ либеральной закваской, другое — новѣйшее, которое шло на встрѣчу карьерѣ. Первое побуждало его не забывать старыхъ друзей; второе подсказывало, что хотя не забывать и похвально, но сношенія слѣдуетъ поддерживать съ осторожностью. Онъ, разумѣется, прибавлялъ при этомъ, что осторожность необходима не столько ради карьеры, сколько для того, чтобы... „не погубить дѣла“.

— Ольга Васильевна! вы! — воскликнулъ онъ, протягивая обѣ руки: — а я хотѣлъ, переговоривши съ Надеждой Ѳедоровной, и васъ, въ вашемъ гнѣздышкѣ, навѣстить.

— Все равно, здѣсь поговоримъ, — отвѣчала она сдержанно.

— Такъ неужто-жь нельзя? — поребила ихъ привѣтствіе Надежда Ѳедоровна.



— И нельзя, и поздно — дѣло рѣшенное. Не такое нынче время, чтобы глупости говорить.

— Что же „она“ такого сказала?

— По ея мнѣнію — ничего; по мнѣнію другихъ — много, слишкомъ много. Я говорилъ и повторяю: главное въ нашемъ дѣлѣ — осторожность.

Далѣе онъ началъ развивать, почему необходима осторожность. И сама по себѣ она полезна; въ частности же, по отношенію къ вѣдѣніямъ времени — составляла *conditio sine qua non*. Нельзя-съ. Онъ, конечно, понимаетъ, что молодья увлеченія должны быть принимаемы въ соображеніе, но, съ другой стороны, нельзя упускать изъ вида, что они приносятъ положительный вредъ. Отъ копѣчной свѣчки Москва загорѣлась — такъ и тутъ. Одно неосторожное слово можетъ воспламенить сотни сердець, воспламенить бесплодно и несвоевременно. Допустимъ, что абсолютно это слово не заключаетъ въ себѣ вреда, но съ точки зрѣнія несвоевременности — вопросъ представляется совсѣмъ въ другомъ видѣ.

— Нельзя-съ, — сказалъ онъ рѣшительно: — я и просилъ, и даже надобѣдалъ, и получилъ въ отвѣтъ: „оставьте, мой другъ!“ Согласитесь сами...

— Нельзя ли? — приставала Надежда Федоровна.

Ольгѣ вдругъ сдѣлалось какъ-то безнадежно скучно. Даже голова у нея заболѣла отъ этого переливанія изъ пустого въ порожнее. Тѣ самыя рѣчи, которыя, семь лѣтъ тому назадъ, увлекли ее, теперь показались ей плоскими, почти безсвѣтными.

— Я ухожу, тетя! — сказала она.

— А меня такъ и не примете у себя? — спросилъ Семигоровъ.

— Миѣ нужно идти. Въ другой разъ. Вспомните — зайдете.

Она разомъ рѣшила, что все „кончено“. Зашла въ свою комнату, разорвала завѣтное письмо на клочки и бросила въ топившуюся печку; даже не взглянула, какъ оно запылало.

Прошелъ годъ, и ея дѣятельность была замѣчена; ей предложили предсѣдательское кресло въ обществѣ „азбуки-копѣйки“. Хлопотъ было по горло, но и страха не мало. Пробовала-было она не страшиться, но скоро поняла, что это невозможно. Общество издало отличнѣйшую азбуку съ иллюстраціями, но въ ней на букву Д нарисована была картинка, изображающая прядущую дѣвушку, а подъ

картинкой было подписано: *Дивчина*. „Критика“ замѣтила это и обвинила азбуку въ украинофильствѣ. На букву П былъ нарисованъ человѣкъ въ кунтушѣ, а подпись гласила: *Панъ*. И это замѣтила „критика“, и обвинила азбуку въ полонофильствѣ. Въ отдѣлѣ краткихъ историческихъ и географическихъ свѣдѣній тоже замѣчены были промахи и пропуски, и все такіе, которые свидѣтельствовали о недостаточной теплотѣ чувствъ. Ольга Васильевна бѣгала, оправдывалась и ходатайствовала, не щадя живота.

— Вѣдь ваша же пресловутая литература васъ съ головой выдаетъ!—говорили ей.

Ахъ, эта литература!

Благодаря бѣготнѣ, дѣло сошло съ рукъ благополучно; но затѣмъ предстояли еще и еще дѣла. Первое изданіе азбуки разошлось быстро; надо было готовиться къ другому—уже безъ промаховъ. „Дивчину“ замѣнили старухой и подписали: *Домна*; „Пана“ замѣнили мужичкомъ съ топоромъ за поясомъ и подписали: *Потанъ-плотникъ*. Но какъ попасть въ мысль и намѣренія „критики“? Пожалуй, будутъ сравнивать второе изданіе съ первымъ и скажутъ: а! догадались! думаете, что надѣли маску, такъ васъ подъ ней и не узнаютъ!

— Дѣло въ томъ,—объяснилъ ей Семигоровъ:—что общество ваше хотя и дозволенное и цѣли его вполне одобрительны, но пальца ему въ ротъ все-таки не кладѣ.

— Но почему же?

— А потому, что потому. Существуютъ такіе тонкіе признаки. Составъ общества, его черезъ-чуръ кипучая дѣятельность—все это прямо бросается въ глаза. Ну, съ чего вы, напримѣръ, Ольга Васильевна Ладогина, вполне обезпеченная дѣвица, такъ кипятитесь по поводу какой-то жалкой азбуки?

— Какъ съ чего?—во-первыхъ, я русская и вижу въ распространѣніи грамотности одно изъ условій благосостоянія родной страны; а во-вторыхъ, это дѣло доставляетъ мнѣ удовольствіе; я взялась за него, мнѣ его довѣрили, и я не могу не хлопотать о немъ.

— Э, барышня! и безъ насъ съ вами все устроится!

— Такъ вы бы такъ прямо и говорили. А то приходите, увѣрите въ своемъ сочувствіи...

— Я-то сочувствую, да вотъ... Нельзя „прать противъ рожна“, Ольга Васильевна!

Но она продолжала „прать“, быть можетъ потому, что не понимала, въ чемъ собственно заключается „рождѣнь“, а Семигоровъ не могъ или не хотѣлъ объяснить ей сокровенный смыслъ этого выраженія.

Прошелъ еще годъ. Надежда Ѳедоровна хлопотала объ открытіи „общества для вспоможенія чающимъ движенія воды“. Старанія ея увѣичались успѣхомъ, но—увы! она изнемогла подъ бременемъ ходоатайствъ и суеты. Пришла старость, нуженъ былъ покой, а она не хотѣла и слышать о немъ. Въ самомъ разгарѣ дѣятельности, когда въ головѣ ея созрѣвали все новые и новые планы (Семигоровъ потихоньку называлъ ихъ „подвѣхами“), она умерла, завѣщавши на смертномъ одрѣ племянницѣ свое „дѣло“.

Ольга Васильевна осталась совѣмъ одинокою.

Теперь ей ужъ за тридцать. Она пошла по слѣдамъ тетки и всецѣло отдала себя, свой трудъ и матеріальныя средства тому скромному дѣлу, которое она вполне искренно называла оздоравливающимъ. Она состоитъ дѣятельнымъ членомъ всѣхъ обществъ, гдѣ рѣчь идетъ о помощи, а въ нѣкоторыхъ изъ нихъ предсѣдательствуетъ. Устраиваетъ базары, лотереи, танцевальныя вечера. Все это требуетъ большихъ хлопотъ и преодоленія препятствій, но она не унываетъ. Напротивъ, привычка въ значительной мѣрѣ умалила ея страхи, а дѣятельная жизнь способствовала укрѣпленію ея силъ и здоровья. Дома ее можно застать очень рѣдко, — все больше въ комитетахъ, коммисіяхъ, субкоммисіяхъ и, разумѣется, въ канцеляріяхъ. Даже горничная ея совершенно отчетливо произноситъ названія этихъ учреждений, и на вопросъ посѣтителей отвѣчаетъ бойко и безошибочно.

По временамъ она вспоминаетъ слова доктора, который лечилъ ея отца, о „крохахъ“, и говоритъ:

— Вотъ и у меня свои „крохи“ нашлись. И не одна, даже не нѣсколько, а цѣлая куча!



### 3.—Сельская учительница.

Анна Петровна Губина была сельской учительницей. Составляла ли эта профессія ея призваніе, или просто такъ случилось, что дѣваться было больше некуда—она и сама не могла бы дать ясно формулированнаго отвѣта на этотъ вопросъ. Получила дипломъ учительницы, потомъ открылось мѣсто на пятнадцать рублей въ мѣсяцъ жалованья, и она приняла его. Осенью, къ началу учебнаго семестра, она пріѣхала въ село; ей указали, гдѣ помѣщается школа, и она осталась. Къ счастью, при школѣ было помѣщеніе для учительницы: комната и при ней крохотная кухня; а то бываетъ и такъ, что учительница каждую недѣлю переходитъ изъ одной избы въ другую, такъ что квартира насадительницы знаній представляетъ для обывателей своеобразную натуральную повинность.

Школа помѣщалась въ просторномъ флигелѣ, который при крѣпостномъ правѣ занималъ управляющій имѣніемъ и который бывшій помѣщикъ пожертвовалъ міру подѣ училище. Мѣста для учащихся было достаточно, но зданіе было старое, и крестьяне въ продолженіе многихъ лѣтъ не ремонтировали его. Печи дымили, потолки протекали, изъ всѣхъ щелей дуло.

Ученіе было самое первоначальное. Читать, писать, поверхностныя свѣдѣнія изъ грамматики, первыя четыре правила ариѳметики, краткая священная исторія—вотъ и все. Старались, чтобы въ годъ, много въ два, ребенокъ позналъ всю премудрость. За строгимъ соблюденіемъ программы, въ особенности въ смыслѣ ея нерасширенія, наблюдалъ мѣстный священникъ; попечителемъ школы состоялъ сельскій староста, а вышій надзоръ былъ предоставленъ помѣщику, который постоянно жилъ за границей, но изрѣдка навѣдывался и въ усадьбу. Въ школу ходили исключительно мальчики.

Дѣло у Анны Петровны налаживалось не скоро. Учительницу не ждали такъ скоро, и помѣщеніе школы было въ безпорядкѣ. Прежде нежели собрались ученики, въ школу приходили родители и съ любопытствомъ разсматривали новую учительницу.

— Вы робятъ на ускори обучайте; намъ вѣдь только бы читать да писать умѣли. Да цифири малость. Безъ чего нельзя, такъ нельзя, а лишняго для насъ не требуется. Намъ дѣти дома нужны. А ежели

который стараться не станетъ, можно такого и поцугать. Вонъ онъ въ углу—вѣникъ—стоитъ. Сдѣлайте милость, постарайтесь.

Исподволь устроилась она, однакожь, и въ школѣ, и у себя въ каморкѣ. вмѣсто мебели ей поставили простой, некрашенный столъ и три табуретки; въ углу стояла кровать, перешедшая, вмѣстѣ съ домомъ, отъ управляющаго; въ стѣну вбито было нѣсколько гвоздей, на которые она могла вѣшать свой гардеробъ. При школѣ находился сторожь, который топилъ печи и выметалъ съ вечера классную комнату. Насчетъ продовольствія она справилась, какъ жила ея предшественница, и получила отвѣтъ, что послѣдняя ходила обѣдать къ священнику за небольшую плату, а дома только чай держала. Священникъ и ее охотно согласится взять на хлѣбъ.

— Я не изъ корысти,—сказалъ онъ,—а жалѣючи васъ: кто же вамъ будетъ готовить? Здѣсь вы не только горячей пищи, и хлѣба съ трудомъ найдете. Мы за обѣдъ съ васъ пять рублей въ мѣсяцъ положимъ. Лишняго не подадимъ, а сыты будете. Станете ходить каждый день къ намъ и ознакомитесь; и вамъ и намъ веселѣе будетъ. Ежели какія сомнѣнія встрѣтите, то за обѣдомъ общимъ совѣтомъ и разрѣшимъ. Вкупѣ да влюбѣ — вотъ какъ по моему. Ежели вы съ любовью придете, то я, какъ пастыръ, и тѣмъ паче. Но не скрою отъ васъ: трудъ вамъ предстоитъ не легкій и не всегда безпрепятственный. Народъ здѣсь строптивый, непривѣтливый, притязательный. Каждый будетъ вамъ требованія предъявлять, а иной разъ и такія, отъ которыхъ жутко придется. Людмила Михайловна, предшественница ваша, повздорила съ Васильемъ Дроздомъ, такъ насыла отсюда выбралась.

— Кто это Дроздъ?

— А здѣшній воротила, портерную держать, лавочку, весь міръ у него подъ пятой, и начальство привержено. Сынъ у него въ школѣ, такъ онъ подарокъ Людмилѣ Михайловнѣ вздумалъ поднести, а она уперлась. Онъ, конечно, обидѣлся, доносы сталъ писать — ну, и пришлось бѣжать. Земство такъ и не оставило ее у себя; живетъ она теперь въ городѣ въ помощникахъ у одной помѣщицы, котсрая въ родѣ пансіона содержитъ.

— Однако строго-таки у васъ.

— И даже очень. Главное, въ церковь прилежно ходите. Я и какъ пастыръ васъ увѣщаваю, и какъ человекъ въ предостерегаю. Какъ

пастырь, говорю: только церковь можетъ утѣшить насъ въ жизненныхъ тревоженіяхъ; какъ человѣкъ, предваряю, что нѣтъ легче и опаснѣе обвиненія, какъ обвиненіе въ недостаткѣ религіозности. А впрочемъ загадывать впередъ бесполезно. Пріѣхали — стало быть, дѣло кончено. Богъ да благословитъ васъ.

Священникъ былъ старозавѣтный, добрый; попадья у него была тоже добрая. Дѣти находились въ разбродѣ, такъ что старики жили совсѣмъ одни. Оба были люди дѣятельные, съ утра до вечера хлопотали и довольствовались одной работницей. Батюшка и до сихъ поръ полеводство держалъ, но больше уже по привычкѣ, безъ выгоды. Къ Аннѣ Петровнѣ они отнеслись сочувственно; она напоминала имъ о дѣтяхъ. Для нея это было хорошее предзнаменованіе; несмотря на предостереженіе батюшки, относительно трудности предстоящаго ей пути, она все-таки надѣялась найти въ его домѣ пріютъ и защиту.

Она рассчитала, что если будетъ тратить пять рублей на обѣдъ да пять рублей на чай и баранки, то у нея все-таки останется изъ жалованья пять рублей. Этого было, по ея скромнымъ требованіямъ, достаточно. Квартира была готовая, и она устроилась въ ней какъ могла, хотя каждый день выгонялъ ее часа на два изъ дома угарь. Одежды она привезла съ собой довольно, такъ что и по этой статьѣ расходовъ не предстояло. Скуки она не боялась. Днемъ будетъ заниматься съ учениками, вечеромъ — готовиться къ будущему дню или проводить время въ семьѣ священника, который получалъ отъ сосѣдняго управляющаго газеты и охотно дѣлился съ нею. Ничего, какъ-нибудь прожить.

Ученье началось. Набралось до сорока мальчиковъ, которые наполнили школу шумомъ и гамомъ. Нѣкоторые были ужъ на возрастѣ и довольно нахально смотрѣли въ глаза учительницѣ. Вообще ее испытывали, прерывали во время объясненій, кричали, подражали звѣрямъ. Она старалась дѣлать видъ, что не обращаетъ вниманія, но это ей стоило немалыхъ усилій. Подъ-конецъ у нея до того разболѣлась голова, что она едва дождалась конца двухъ часовъ, въ продолженіе которыхъ шло ученье.

— А я, признаться, постѣтовала на васъ, — сказала она священнику за обѣдомъ: — что бы вамъ стоило на первый разъ придти поддержать меня!

— Я именно для того и не пришелъ, — отвѣтилъ батюшка: —



чтобъ вы съ перваго же раза узнали настоящую суть дѣла. Еслибъ сегодня вы не узнали ее, все равно, пришлось бы узнавать завтра.

На другой день пришелъ попечитель-староста и освѣдомился, тихо ли сидятъ ученики. Она отвѣтила, что сносно и что въ будущемъ дѣло, конечно, наладится.

— То-то, вы ихъ не жалѣйте; для того и вѣникъ въ углу припасенъ. Выньте розгу и отстегайте!—посовѣтовалъ попечитель.

Не прошло однакожъ и двухъ недѣль, какъ ей пришлось встрѣтиться съ „строптивѣйшимъ изъ строптивыхъ“, съ тѣмъ самымъ Васильемъ Дроздомъ, который вытѣснилъ ее предмѣстницу. Дроздъ безцеремонно вошелъ въ ея комнату, принесъ кулекъ, положилъ на столъ и сказалъ:

— У васъ нашъ мальчѣнко учится, такъ вотъ вамъ. Тутъ чаю полфунта, сахару, ветчины и гостинцу—кушайте на здоровье. А сверхъ того и деньгами два рубля.

Онъ досталъ изъ-за пазухи кошель, вынулъ двѣ рублевки и положилъ рядомъ съ кулькомъ.

— Зачѣмъ же это? вѣдь это не дозволено!—вспыхнула она.

— А вы займитесь съ мальцомъ-то, не задерживайте его.

— Я и безъ того займусь. Не надо, не надо! Уйдите, прошу васъ!

Дроздъ обидѣлся; даже губы у него побѣлѣли.

— Стало быть, вы и добротствомъ нашимъ гнушаетесь?—спросилъ онъ, осматривая ее съ ногъ до головы негодующимъ взоромъ.

— Не надо!—крикнула она и вдругъ спохватилась. Вспомнилась ей Людмила Михайловна; вспомнилось и то, что еще въ Петербургѣ ей говорили, что всего пуще надо бояться ссоръ съ влиятельными лицами; что вотъ такая-то поссорилась съ старостой, и была вытѣснена; такая-то не угодила члену земской управы, и тоже теперь безъ мѣста.

— Послушайте,—сказала она, присмирѣвъ;—я и безъ того съ вашимъ сыномъ займусь... даю вамъ слово! Ежели хотите, пускай онъ ко мнѣ по вечерамъ ходить; я буду съ нимъ повторять.

— А приношенія нашего не желаете?

— Знаете, вы лучше вотъ чтѣ: печи у насъ въ школѣ дымятъ, потолоки протекаютъ, такъ вы бы помогли.

— Это міръ долженъ. Расходъ тоже не маленькій. Печку-то перебрать чтѣ стоитъ! Нѣтъ, ужъ чтѣ тутъ. Счастливо оставаться.

Онъ надѣлъ тутъ же, въ комнатѣ, шапку, собралъ со стола приношеніе и вышелъ. Она нѣсколько секундъ колебалась, но потомъ не выдержала и догнала его на улицѣ.

— Пожалуйста, не сердитесь. Намъ вѣдь не велѣно. Присылайте вашего мальчика по вечерамъ—я займусь имъ особенно!

Дроздъ взглянулъ на нее съ умѣшкой.

— Стало быть, про Людмилу Михайловну вспомнили?—сказалъ онъ нагло.—Ну, ладно, буду своего мальчика присылать по вечерамъ, ежели свободно. Спѣсивы вы не къ лицу. Впрочемъ денегъ теперича я и самъ не дамъ, а это—вотъ вамъ!

Онъ скорыми шагами удалился, а Анна Петровна осталась на улицѣ съ кулькомъ въ рукахъ.

Разказала она объ этомъ батюшкѣ, который посовѣтовалъ „оставить“.

— Возьмите,—сказалъ онъ:—исторію себѣ наживете. Съ сильнымъ не борись! и пословица такъ говоритъ. Еще скажутъ, что кобянитесь, а онъ и ни-вѣсть чего наплететъ. Купайте на здорovie! Не нами это заведено, не нами и кончится. Увидите, что ежели вы послѣдуете моему совѣту, то и прочіе міряне дружелюбнѣе къ вамъ будутъ.

Дѣйствительно, къ ней начали относиться ласковѣе. Послѣ Дрозда пришелъ староста, потомъ еще два-три мужичка изъ зажиточныхъ—всѣ съ кулками.

По вечерамъ открылись занятія, собиралось до пяти-шести учениковъ. Цѣною непопеченныхъ кульковъ, напоминавшихъ о подкушѣ, Анна Петровна совсѣмъ лишилась свободнаго времени. Ни почитать, ни готовиться къ занятіямъ слѣдующаго дня—некогда. Къ довершенію, ученики оказались тупы, требовали усиленнаго труда. За то доносовъ на нее не было, и Дроздъ, имѣвшій частыя сношенія съ городомъ, каждый мѣсяцъ исправно привозилъ ей изъ управы жалованье. Самъ староста, по окончаніи церковной службы, поздравлялъ ее съ праздникомъ и хвалилъ.

— Вонъ Людмила Михайловна рѣдко въ церкву ходила,—говорилъ онъ:—а вы Бога не забываете!

Въ продолженіе цѣлой зимы она прожила въ чаду непрерывной

сутолоки, не имѣя возможности придти въ себя, дать себѣ отчетъ въ своемъ положеніи. О будущемъ она, конечно, не думала: ея будущее составляли тѣ ежемѣсячные пятнадцать рублей, которые не давали ей погибнуть съ голода. Но чтѣ такое съ нею дѣлается? Предвидѣла ли она, даже въ самыя скорбныя минуты своего тусклаго существованія, что ей придется влачить жизнь, которую нельзя было сравнить ни съ чѣмъ инымъ, кромѣ хроническаго остолбенѣнія?

Она была сирота, даже не знала, кто были ея родители. Младенцемъ ее подынули, и сострадательная хозяйка квартиры, у дверей которой она очутилась въ корзинкѣ, сначала помѣстила ее въ воспитательный домъ, потомъ въ пріютъ и наконецъ въ училище, гдѣ она и получила дипломъ на званіе сельской учительницы. Затѣмъ сострадательная душа сочла свой долгъ выполненнымъ и отпустила ее на всѣ четыре стороны, снабдивъ нѣсколькими платьями и давши на дорогу небольшую сумму денегъ. Послѣ этого Губина очутилась въ селѣ. Надолго ли?—она даже не задавала себѣ этого вопроса. Она понимала только, что отнынѣ предоставлена самой себѣ, своимъ силамъ, и что, въ случаѣ какой-нибудь невзгоды, она должна будетъ вынести ее на собственныхъ плечахъ. Обратиться къ кому-нибудь за поддержкой она не имѣла основанія; товарки у нея были такія же горькія, какъ и она сама. Всѣ онѣ разсѣялись по лицу земли, всѣ находились въ тѣхъ же матеріальныхъ и нравственныхъ условіяхъ, всѣ бились изъ-за куска хлѣба. Она была болѣе нежели одинока. И одинокій человѣкъ можетъ устроиться такъ, чтобы за него „заступились“, можетъ оградить себя отъ случайностей, а до нея рѣшительно никому дѣла не было. Даже никакому благотворительному учрежденію она не была подвѣдома, такъ что надъ всею ея судьбою исключительно господствовала случайность, да и та могла оказывать дѣйствіе только въ неблагопріятномъ для нея смыслѣ.

Она никогда не думала о томъ, красива она или нѣтъ. Въ дѣйствительности она не могла назваться красивою, но молодость и свѣжесть восполняли то, чего не давали черты лица. Самъ волостной писарь заглядывался на нее; но такъ какъ онъ былъ женатъ, то открыто объявлять о своемъ пламени не рѣшался, и отъ времени до времени присылалъ стихи, въ которыхъ довольно недвусмысленно излагалъ свои вожелѣнія. Дроздъ тоже однажды мимоходомъ намекнулъ:

— Ахъ, барышня, барышня! озолотилъ бы я васъ, кабы...



Женщина еще едва просыпалась въ ней. Она не понимала ни стиховъ, ни намековъ, ни того, что за ними кроется злое женское горе. Ее поражали только глупость и безцеремонность, но она сознавала себя настолько беззащитною, что мысль о жалобѣ даже не приходила ей въ голову. Всѣ знали, что ее можно „раздавить“, и слѣдовательно, еслибъ она даже просила о защитѣ—хоть бы члена училищнаго совѣта, изрѣдка навѣщавшаго школу—ей бы отвѣтили: „съ какими вы все глупостями лѣзете—какое намъ дѣло!“ Оставалось терпѣть и крѣпко держаться за тотъ кусокъ, который послала ей судьба. Потому что еслибъ ее даже выслушали и перевели на другое мѣсто, то и тамъ повторилось бы то же самое, пожалуй даже съ прибавкою какой-нибудь злой сплетни, которая въ подобныхъ случаяхъ непременно предшествуетъ перемѣщенію.

Настоящее горе ждало ее не тутъ, а подстерегало издалика.

Въ апрѣлѣ, совсѣмъ неожиданно, пріѣхалъ въ свою усадьбу мѣстный землевладѣлецъ, онъ же и главный попечитель школы, Андрей Степанычъ Аигинъ. Прибылъ онъ затѣмъ, чтобы продать лѣса и на вырученныя деньги прожить лѣто за границей. Операція предстояла несложная, но Аигинъ предполагилъ пробыть въ деревнѣ до мая, съ тѣмъ чтобы, кстати, учесть управителя, возобновить на всякій случай связи съ мѣстными властями и посмотреть на школу.

Это былъ молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати-семи, легкомысленный и безпечный. Учился онъ плохо, образованіе имѣлъ самое поверхностное, но за всѣмъ тѣмъ пользовался образовательнымъ цензомъ, и такъ какъ принадлежалъ къ числу крупныхъ землевладѣльцевъ, то попечительство надъ школою, такъ сказать, по принципу досталось ему. Независимо отъ матеріальныхъ пожертвованій, которыя состоятельный человѣкъ могъ дѣлать въ пользу школы, принципъ въ особенности настаивалъ на поддержкѣ крупнаго землевладѣнія и того значенія, которое оно должно имѣть въ уѣздѣ. Нужды нѣтъ, что крупный землевладѣлецъ могъ совершенно игнорировать свой уѣздъ; достаточно было его имени, его ежегодныхъ денежныхъ взносовъ, чтобы напомнить о немъ и о той роли, которая по праву ему принадлежала. У него есть на мѣстѣ довѣренное лицо, которое будетъ сообщать ему о мѣстныхъ дѣлахъ и нуждахъ; наконецъ, нѣтъ-нѣтъ, да вдругъ ему вздумается: „не съѣздить ли заглянуть, что-то въ нашемъ захолюстѣ творится?“ И съѣздить.

Именно такимъ образомъ поступалъ Аигинъ. Въ продолженіе шести лѣтъ попечительства (онъ началъ независимую жизнь очень рано) Андрей Степанычъ посѣтилъ усадьбу всего второй разъ и на самое короткое время. Принимали его, какъ подобаетъ принимать вліятельное лицо, и очень лестно давали почувствовать, что отъ него зависятъ принять дѣятельное участіе во главѣ уѣздной сутолоки. Но покуда онъ еще уклонялся отъ чести, предоставляя себѣ принять рѣшеніе въ этомъ смыслѣ, когда утѣхи молодости уступать мѣсто мечтамъ честолюбія.

Одного въ немъ нельзя было отрицать: онъ былъ красивъ, отлично одѣвался и умѣлъ быть любезнымъ. Только черезъ-чуръ развязныя манеры и привычка постоянно носить пенену, поминутно сбрасывая его и опять надѣвая, нѣсколько портили общее благопріятное впечатлѣніе.

Аигинъ на первыхъ же порахъ по пріѣздѣ посѣтилъ школу („это мое дѣтище“, выражался онъ). Онъ явился въ сопровожденіи члена училищнаго совѣта, священника и старосты. Похваливъ порядки, онъ такъ пристально посмотрѣлъ на Анну Петровну, что та покраснѣла. Уходя, онъ сказалъ совсѣмъ безцеремонно, что ему очень пріятно, что въ его школѣ такая хорошенькая учительница. До сихъ поръ онъ рѣдко ѣздилъ въ деревню, потому что всѣ учительницы изображали собой какой-нибудь изъ смертныхъ грѣховъ, а теперь будетъ ѣздить чаще. И въ заключеніе прибавилъ, что Аннѣ Петровнѣ настоящее мѣсто не въ захолустьи, а въ столицѣ, и что онъ похлопочетъ о ней.

Въ тотъ же день у него былъ обѣдъ, на который были приглашены всѣ прикосновенные къ школѣ, а въ томъ числѣ и Анна Петровна.

Послѣ этого онъ зачастилъ въ школу. Просиживалъ въ продолженіе цѣлыхъ уроковъ и не спускалъ съ учительницы глазъ. При прощаніи, такъ крѣпко сжималъ ея руку, что сердце ея безпокойно билось и кровь невольно закипала. Вообще онъ дѣйствовалъ не вкрадчивостью рѣчей, не раскрытіемъ новыхъ горизиснтовъ, а силою своей красоты и молодости. Оба были молоды, въ обоихъ слышалось трепетаніе жизни. Онъ посѣтилъ ее даже въ ея каморкѣ и похвалилъ, что она сбумѣла устроиться въ такомъ жалкомъ помѣщеніи. Однажды онъ ей сказалъ:

— Отчего вы не посѣтите меня? боитесь?

— Нѣтъ, не боюсь,—отвѣчала она, дрожа всѣмъ тѣломъ.

— Но въ такомъ случаѣ...

Онъ не договорилъ, но взявъ ее за руку и поцѣловалъ.

Цѣлое послѣ-обѣда, послѣ этого, она была какъ въ чадѣ, не знала, чтѣ съ нею дѣлается. И жутко, и сладко ей было въ одно и то же время, но ничего яснаго. Хаосъ переполнялъ все ея существо; она безпокойно ходила по комнатѣ, перебирала платья, вещи, не знала, чтѣ дѣлать. Наконецъ, когда уже смерклось, отъ него пришелъ посланный и сказалъ, что Андрей Степанычъ просить ее на чашку чая.

Она подумала: „ахъ, какъ это все скоро!“ и затѣмъ почувствовала такую истому въ сердцѣ, что открыла окно, чтобъ освѣжить пылающую голову.

Черезъ полчаса она была уже у него.

Романъ ея былъ непродолжителенъ. Черезъ недѣлю Аигинъ собрался такъ же внезапно, какъ внезапно пріѣхалъ. Онъ не былъ особенно нѣженъ съ нею, ничего не общалъ, не говорилъ о томъ, что они когда-нибудь встрѣтятся, и только однажды спросилъ, не нуждается ли она. Разумѣется, она отвѣтила отрицательно. Даже собравшись совѣмъ, онъ не зашелъ къ ней проститься, а только проѣзжая въ коляскѣ мимо школы, вышелъ изъ экипажа и очень тихо постучалъ указательнымъ пальцемъ въ окно.

— Увидимся!—крикнулъ онъ ей.

Она сдѣлала инстинктивное движеніе, чтобы выйти къ нему, но удержалась, и только слабо улыбнулась въ отвѣтъ.

Такимъ образомъ побѣда обошлась ему очень легко. Онъ сдѣлалъ гнусность, повидимому даже не подозрѣвая, что это гнусность: чтѣ она такое, чтобы стѣснять ради нея свою совѣсть? Онъ предлагалъ ей денегъ, она отказалась—это ужъ ея дѣло. Не онъ одинъ, всѣ такъ дѣлаютъ. А впрочемъ все-таки недурно, что обошлось безъ слезъ, безъ упрековъ. Это доказываетъ, что она умна.

На селѣ однакожь ея вечернія походы были уже всѣмъ извѣстны. При встрѣчахъ съ нею молодые парни двусмысленно перемигивались, пожилые люди шутили. Бабы заранѣе ее ненавидѣли,



какъ будущую сельскую „сахарницу“, которая способна отуманить головы мужиковъ. Волостной писарь однажды прямо спросилъ: „въ какое время, барышня, вы можете меня принять?“ — а присутствовавшій при этой сценѣ Дроздъ прибавилъ: „чего спрашиваешь? приходи, когда вздумается — и вся недолга!“

Самъ батюшка, не смотря на доброту, усомнился и однажды за обѣдомъ объявилъ, что долѣе содержать ее на хлѣбахъ не можетъ.

— Жаль мнѣ васъ, — сказалъ онъ, — душевно жаль, но мнѣ, какъ духовному лицу, не приличествуетъ...

Матушка тоже выразила сожалѣніе и выронила двѣ-три слезинки.

Только школьный сторожъ выказалъ къ ней участіе. Когда она, блѣдная и еле живая, воротилась отъ священника домой, онъ сказалъ:

— Ничего, потерпите; Богъ терпѣль и намъ велѣлъ. И я съумѣю вамъ щи сготовить.

Къ довершенію всего, она почувствовала себя матерью, и вдругъ какая-то страшная бездна разверзлась передъ нею. Глаза затуманились, голова наполнилась гуломъ; ноги и руки дрожали, сердце безпорядочно билось; одна мысль отчетливо представлялась уму: „теперь я пропала“.

Къ счастью, начались каникулы, и она могла запереться въ своей комнатѣ. Но она очень хорошо понимала, что никакая изолированность не спасетъ ее. „Пропала!“ — въ этомъ словѣ заключалось все ея будущее. Признаки предстоящей гибели уже начали оказываться. Въ праздничные дни молодые сельскіе парни гурьбою останавливались противъ ея оконъ и кричали:

— Съ приплодцемъ!

Конечно, у нея еще былъ выходъ: отдать себя подъ покровительство волостного писаря, Дрозда или другого вліятельнаго лица, но она съ ужасомъ останавливалась передъ этой перспективой и въ безвыходномъ отчаяніи металась по комнатѣ, ломала себѣ руки и билась о стѣну головой. Этимъ начинался ея день и этимъ кончался. Ночью она видѣла страшные сны.

Лѣтомъ она надумала отправиться въ городъ къ Людмилѣ Михайловнѣ, съ которою впрочемъ была незнакома. Ночью прошла она двадцать верстъ, все время о чемъ-то думая и въ то же время не

сознавая, зачѣмъ собственно она идетъ. „Пропала!“ — безостановочно звенѣло у нея въ ухахъ.

Людмила Михайловна приняла ее радушно, но тотчасъ же замѣтила, что она виновата.

— Это, голубушка, всего менѣе прощается, — сказала она, и хотя въ словахъ ея не слышалось жестокости, но Анна Петровна поняла, что помощи ей ждать неоткуда.

— Помогите! — простонала она.

Людмила Михайловна тронулась. Обѣщала переговорить съ содержательницей пансіона, которая въ настоящее время жила въ деревнѣ, нельзя ли устроить такъ, чтобъ „виноватая“ прожила у нея хоть безъ жалованья, въ качествѣ простой прислуги, тѣ критическіе мѣсяцы, по окончаніи которыхъ должна была обнаружиться ея „вина“.

— Раньше окончанія каникулъ она васъ не возьметъ: ей не расчетъ содержать васъ на хлѣбахъ, но послѣ, быть можетъ... Во всякомъ случаѣ я на дняхъ увижусь съ нею и увѣдомлю васъ, — прибавила она.

Въ то же утро Анна Петровна встрѣтила на улицѣ знакомаго члена училищнаго совѣта, который нагло улыбнулся ей и сказалъ:

— О васъ доходятъ до совѣта недобрительные отзывы. Ежели вы признаете ихъ справедливыми, то совѣтую принять мѣры...

Онъ не докончилъ, приподнял шляпу и удалился.

Дни шли за днями, а отъ Людмилы Михайловны никакихъ вѣстей не приходило. Или забыла, или ничего не могла. Изъ училищнаго совѣта тоже никакихъ слуховъ не было.

Наконецъ наступилъ сентябрь, и опять начались классы. Анна Петровна едва держалась на ногахъ, но исправно посѣщала школу. Ученики однакожь поняли, что она виновата и ничего имъ сдѣлать не смѣетъ. Начались беспорядки, шумъ, гвалтъ. Нѣкоторые мальчики вполнѣ явственно говорили: „съ приплоддемъ“; другіе увѣряли, что у нихъ къ будущей масляницѣ будетъ не одна, а разомъ двѣ учительницы. Положеніе день ото дня становилось невыносимѣе.

Въ ноябрѣ, когда наступили темныя, безлунныя ночи, сердце ея до того переполнилось гнетущей тоской, что она не могла уже сдерживать себя. Она вышла однажды на улицу и пошла по направленію къ мельничной плотинкѣ. Рѣчка бурлила и пѣвилась; шелъ сильный

дождь; сквозь осыпанную мукой стекла оконъ брезжилъ тусклый свѣтъ; колесо стучало, но помолыцы скрылись. Было пустынно, мрачно, безразсвѣтно. Она дошла до середины мостковъ, переброшенныхъ черезъ плотину, и бросилась головой впередъ на понырный мостъ.

Жизнь ея порвалась, почти не начавшись. Порвалась бессмысленно, незаслуженно и жестоко.

#### 4.—Полковницкая дочь.

Полковникъ Варнавинцевъ палъ на полѣ сраженія. Когда его, съ оторванной рукой и раздробленнымъ плечомъ, истекающаго кровью, несли на перевязочный пунктъ, онъ въ агоніи бормоталъ: „Лидочка... Государь... Лидочка... Господи!“

Обратились къ его формуляру. Тамъ значилось: „Полковникъ Варнавинцевъ изъ дворянъ Вологодской губерніи, вдовъ, имѣетъ дочь Лидію; за нимъ состоитъ родовое имѣніе въ Тотемскомъ уѣздѣ, въ количествѣ 14-ти душъ, при 500 десятинахъ земли“.

Очевидно, что послѣднею его мыслью было поручить дочь Государю.

Желаніе полковника было исполнено. Черезъ товарищей разузнали, что Лидочка, вмѣстѣ съ сестрою покойнаго, живетъ въ деревнѣ, что Варнавинцевъ недѣли за двѣ передъ сраженіемъ послалъ сестрѣ половину своего мѣсячнаго жалованья, и что вообще положеніе семейства покойнаго весьма незавидное, ежели даже оно воспользуется небольшою пенсіей, слѣдовавшей, по закону, его дочери. Послана была бумага, чтобы удостовѣриться на мѣстѣ, какъ признавалось бы наиболѣе полезнымъ устроить полковницкую дочь.

Варнавинцевы еще не знали о смерти полковника, когда въ ихъ усадьбу пріѣхалъ исправникъ. Усадьба эта находилась въ захолустьи Тотемскаго уѣзда, въ селѣ, гдѣ, кромѣ нихъ, ютились еще двѣ-три мелкопомѣстныхъ семьи. Домикъ у нихъ былъ крохотный, ветхій, еле живой. Половицы ходуномъ ходили, потолокъ протекалъ, двери завязывались веревочкой, изъ оконъ дуло. Въ мирное время полковникъ держалъ дочь при себѣ, переходя съ полкомъ съ однѣхъ зим-



нихъ квартирѣ на другія. Имѣніемъ управляла сестра, двѣица лѣтъ подъ-шестьдесятъ, которая не выѣзжала изъ деревни, перебываясь кой-какъ и не имѣя даже возможности исправить упалый домишко. Но когда открылись военныя дѣйствія, Лидочку увезли къ теткѣ. Полковникъ думалъ, что кампанія будетъ недолгая, а она между тѣмъ затянулась и — въ заключеніе — послала ему смерть.

Лидочкѣ было двѣнадцать лѣтъ, когда въ ея жизни совершился рѣшительный поворотъ. О крѣпостной реформѣ и слуховъ не было, но крохотная барщина доставляла такъ мало, что, съ прекращеніемъ помощи со стороны полковника, вдвоемъ просуществовать было невозможно. Земли было повидимому и довольно, но половина ея находилась подъ зыбучимъ болотомъ, а добрый кусокъ занимали пески; изъ остального количества, за надѣленіемъ крестьянъ, на долю помѣщика приходилось не больше шестидесяти десятинъ, но и то весьма сомнительнаго качества. Собственно говоря, главнымъ подспорьемъ служилъ небольшой огородъ да лужокъ, дававшій достаточно сѣна, чтобы содержать лошадь и съ десятокъ коровъ. Прислуга при домѣ состояла изъ двухъ человѣкъ: хромоногаго бобыля Фоки да пожилой бобылки Филанидушки, которые и справляли всѣ работы около дома.

Но Прасковья Гавриловна (такъ звали старушку Варнавинцеву) была еще бодра и сильна. Она почти безъ посторонней помощи сама обрабатывала огородъ, убирала комнаты, зимой топила печки, покуда бобылка Филанидушка возилась въ стряпущей, ходила за коровами и т. д. Сверхъ того, она завела у себя нѣчто въ родѣ сельской школы. Набралось до двѣнадцати мальчиковъ и двѣвочекъ, за обученіе которыхъ она деньгами не брала, а предоставляла благодарить ее натурой. Такимъ образомъ, у нея былъ обезпеченный запасъ муки, пряхи, полотна и другого деревенскаго добра.

Лидочка горячо любила отца и скоро подружилась съ теткой. Когда пришла роковая вѣсть, у обѣихъ сердца застыли. Лидочка испугалась, убѣжала и спряталась въ палисадникѣ. Прасковью Гавриловну придавила мысль, что рушилось все, чтѣ защищало ихъ и указывало на какой-нибудь просвѣтъ въ будущемъ. Она съ ужасомъ глядѣла на Лидочку. Ей представился, рядомъ съ гробомъ покойнаго брата, ея собственный гробъ, а за этими двумя гробами зіяла бездна одиночества и беспомощности, которыя должны были поглотить Лидочку.

Однако извѣстіе, что участь племянницы обратила на себя вниманіе, нѣсколько ободрило Прасковью Гавриловну. Рѣшено было просить о помѣщеніи дѣвочки на казенный счетъ въ институтъ, и просьба эта была уважена. Черезъ три мѣсяца Лидочка была уже въ Петербургѣ, заключенная въ четырехъ стѣнахъ одного изъ лучшихъ институтовъ. А кромѣ того за нею оставлена была и небольшая пенсія, назначенная за заслуги отца. Пенсію эту предполагалось копить изъ процентовъ и выдать сиротѣ по выходѣ изъ института.

Вѣдность и сиротство Лидочки, ея характеръ, скромный и общительный, неблестящія способности, при чрезвычайномъ прилежаніи, некрасивая внѣшность—все это сразу опредѣляло ея институтское будущее. Въ нее вольется атмосфера институтскаго ребячества и малокровія; на нее ляжетъ та своеобразная печать, отъ которой не могутъ отдѣлаться институтки даже долгое время послѣ выпуска. Она будетъ играть въ институтѣ роль интересной сироты, но ее не будутъ заставлятъ ни играть на фортепіано, ни танцовать па-де-шаль въ присутствіи вліятельныхъ посѣтителей. Скорѣе всего она останется принадлежностью института, сначала въ качествѣ воспитанницы, потомъ въ качествѣ пепиньерки и наконецъ въ качествѣ классной дамы. Классныя дамы бываютъ двухъ сортовъ: злыя и добрыя; но она будетъ добрая, и всѣ ее будутъ любить. Маленькія институтки будутъ ее обожать, большія передъ выходомъ говорить ей „ты“ и возьмутъ съ нея слово не забывать ихъ по выходѣ изъ института. Благодаря непрерывному нахожденію среди дѣтей, она до глубокой старости сохранитъ ребяческую душу, ребяческое сердце, ребяческій умъ.

Лидочку очень обласкали на первыхъ порахъ. Посѣтителямъ указывали на нее глазами и шопотомъ говорили:

— Вы знаете... храбрый полковникъ Варнавинецъ... celui qui... такъ это его дочь.

Съ товарками она тоже сошлась; ко всѣмъ ласкалась и всегда такъ отлично знала уроки, что помогала лѣнивенькимъ въ ихъ занятіяхъ. Сверхъ того, всѣхъ занимало и ея исключительное положеніе.

— Неужто къ тебѣ никто по воскресеньямъ ѣздить не будетъ? — спрашивали ее.

— Кому же ко мнѣ ѣздить?.. я сирота! Папаша мой палъ на полѣ сраженія, а тетя въ деревнѣ живетъ.

Она объясняла это такъ просто, какъ будто хотѣла сказать: какъ же вы не понимаете, что для меня остаются только стѣны института?

Даже родные институтокъ, пріѣзжавшіе въ институтъ въ опредѣленные дни, заинтересовались ею. Подзывали ее къ себѣ, потчивали конфетами и пирожками, а княгиня Тараканова до того однажды договорилась, что просила ее кланяться теткѣ.

Тетка писала ей аккуратно два раза въ мѣсяць и подробно увѣдомляла о деревенскомъ житьѣ. Лидочка знала, что корова Красавка отелилась телочкой, что собака Жучка ослѣпла, что Фока лежалъ цѣлый мѣсяць больной и что нынѣшнее лѣто совсѣмъ огурцовъ не уродилось. Читая эти письма, дѣвочка то радовалась, то плакала. Ей было пріятно, что Красавка принесла телочку, а не бычка, но жаль было Жучку и Фоку, а всего больше жаль тетеньку, которая осталась безъ огурцовъ. „Должно быть, въ Тотемскомъ уѣздѣ климатъ слишкомъ суровъ,—писала она къ теткѣ,—потому что всѣ наши дѣвицы говорятъ, что въ ихъ краяхъ никогда не бывало такого изобилія огурцовъ. Поливаете ли вы ихъ, голубушка? И уродились ли, по крайней мѣрѣ, рыжечки, которые въ нѣкоторыхъ случаяхъ могутъ вполне замѣнить огурцы?“ Корреспонденція эта была единственнымъ звеномъ, связывающимъ ее съ живымъ міромъ; она одна напоминала сиротѣ, что у нея есть гдѣ-то свое гнѣздо, и въ немъ своя церковь, въ которой старая тетка молится о ней, Лидочкѣ, и съ нетерпѣніемъ ждетъ часа, когда она появится въ свѣтъ, и — кто знаетъ — быть можетъ, составить блестящую партію... Вѣдь не даромъ же храбрый полковникъ Варнавинецъ палъ на полѣ сраженія; найдутся люди, которые ради отца вспомнятъ и о дочери...

Изъ класса въ классъ Лидочка переходила исправно, но Праксovia Гавриловна не дождалась выхода ея сиротки изъ института и за годъ до окончанія курса мирно скончалась въ своемъ родовомъ Васильевскомъ. Объ этомъ Лидочку извѣстилъ сельскій священникъ, спрашивая, какъ поступить съ городскимъ домомъ, который совсѣмъ разваливается, и съ Фокой и съ Филанидушкой, которые остались ни-при-чемъ. Лидочка нѣсколько дней сряду проплакала, но потомъ ребяческимъ своимъ умомъ разсудила, что если Богъ рѣшилъ отозвать ея тетю, то, стало быть, это ему такъ угодно, что слезы представляютъ собой тотъ же ропотъ, которымъ она огорчаетъ Бога, и т. д.



— Наконецъ-то вы успокоились, Лидочка!—говорила ей класная дама.

— Я разсудила, Клеопатра Карловна, что слезами мы ничему помочь не можемъ, а только гнѣвимъ своимъ ропотомъ Бога, которому, конечно, извѣстно, какъ лучше съ нами поступить,—резонно отвѣтила дѣвушка.

— И всегда такъ разсуждайте!—похвалила ее дама:—Богъ будетъ васъ любить за это, а тетенька будетъ на васъ радоваться. На свѣтѣ всегда такъ бываетъ. Иногда мы думаемъ, что насъ постигло несчастіе, а это только испытаніе; а иногда—совсѣмъ напротивъ.

И тутъ сироткѣ помогли. Поручили губернатору озаботиться ея интересами и произвести ликвидацію ея дѣлъ. Черезъ полгода все было кончено: господскій домъ продали на сносъ; землю, которая обрабатывалась въ пользу помѣщика, раскупили по клочкамъ крестьяне; инвентарь—тоже; Фоку и Филанидушку помѣстили въ богадѣльни. Вся ликвидація дала около двухъ тысячъ рублей, да крестьяне, сверхъ того, были посажены на оброкъ по семи рублей съ души.

— Ты, душка, по девяносто-восьми рублей въ годъ будешь получать!—поздравляли ее товарки.

— Счастливица!

— Нашли кому завидовать... миллионщицы!—отшучивалась сирота, но въ душѣ совершенно правильно разсудила, что и девяносто-восемь рублей на полу не подымешь; что девяносто-восемь рублей да проценты съ капитала, вырученнаго за проданное имущество, около ста-двадцати рублей—это ужъ двѣсти-восемнадцать, да пенсіи накопятся къ ея выходу около тысячи рублей—опять шестьдесятъ рублей...

Она не была ни жадна, ни мечтательна, но любила процессъ сложенія и вычитанія. Сядетъ въ уголь и дѣлаетъ выкладки. Всегда она стояла на твердой почвѣ, предпочитая истины общепризнанныя, прочныя. Говорила разсудительно, считала вѣрно. Алгебры не понимала, какъ и вообще никакихъ отвлеченій.

— Зачѣмъ мнѣ  $a$  да  $b$ ,—говорила она,—ежели я могу вмѣсто  $a$  поставить  $1$ , вмѣсто  $b$ — $2$ ?  $1 + 2$  я понимаю, а  $a + b$ , воля ваша, даже не вижу надобности понимать. Вотъ сегодня Леночкѣ прислали десятокъ яблоковъ,—вѣдь мы же не говоримъ, что она получила  $c$  яблоковъ?

Даже изъ басень Крылова она предпочитала „Ворону и Лисицу“, „Три мужика“ и т. д., а не „Стрекозу и Муравья“, „Музыкантовъ“ и проч.

— Стрекоза живетъ по-стрекозиному, муравей—по-муравьиному. Что же тутъ страннаго, что стрекоза „лѣто цѣлое пропѣла“? Вѣдь будущей весной она и опять зацѣла въ поляхъ—стало быть, и на зиму устроилась не хуже муравья. А „Музыкантовъ“ я совсѣмъ не понимаю. Неужели непременно нужно быть пьяницей, чтобы хорошо играть, напримѣръ, на скрипкѣ?

Ученье приближалось къ концу, а ребяческая разсудительность не оставляла ее.

Тетрадки ея были въ порядкѣ; книжки чисты и незапятнаны. У нея была шкатулка, которую подарила ей сама тата (директриса института) и въ которой лежали разные сувениры. Сувенировъ было множество: шерстинки, шелковинки, ленточки, цвѣтныя бумажки, и всѣ разложены аккуратно, къ каждому привязана бумажка съ обозначеніемъ, отъ кого и когда полученъ.

— Современемъ у нея разовьются отличныя педагогическія способности,—говорили о ней классныя дамы:—она аккуратна, точна въ исполненіи обязанностей, никогда не позволить себѣ отступить отъ правилъ. Вотъ только черезъ-чуръ добра... даже разсердиться не умѣтъ!

Она и сама прозрѣвала, что въ будущемъ ей предстоитъ педагогическая карьера; но иногда ей казалось страннымъ, что ей ставить въ упрекъ ея доброту. Напротивъ, она думала, что доброта обуздываетъ гораздо скорѣе, нежели строгость.

— Вотъ Клеопатра Карловна добрая,—разсуждала она, — и при ней всѣ дѣвицы ведутъ себя отлично; а Катерина Петровна строгая — ей всѣ стараются на зло сдѣлать. Съ мѣсяць назадъ новое платье ей испортили—такъ и не догадалась, кто сдѣлалъ.

Несмотря на приближеніе 18-ти лѣтъ, сердце ея ни разу не дрогнуло. Къ хорошенькимъ и богатенькимъ дѣвицамъ уже начали передъ выпускомъ пріѣзжать въ пріемные дни, подъ именами кузеновъ и дяденекъ, молодые люди съ хорошенькими усиками и съ цѣлыми ворохами конфектъ. Она не прочь была полюбоваться ими и даже воскликнуть:

— Ахъ, какой херувимъ!

Но въ этомъ восклицаніи не слышалось ничего, кромѣ обыкновеннаго институтскаго жаргона, который такъ и оставался жаргономъ.

— Это князь Безхвостый, — говорила ей подруга, которую молодой князь удостоивалъ своимъ вниманіемъ (разумѣется, съ разрѣшенія родителей).

— Ахъ, счастливица!

— Нравится онъ тебѣ?

— Божественный! херувимъ!

Иногда „счастливица“ позволяла себѣ слегка посмѣяться надъ Лидочкой.

— А знаешь ли, душка, — говорила она, — что ты произвела на князя очень большое впечатлѣніе?

— Ахъ, что ты! проказница! Ты посмотри на меня, какая я... Ну, подь-стать ли я такому херувиму!

Она говорила это безъ всякой тѣни досады, просто и откровенно, совершенно увѣренная, что праздничная сторона жизни никогда не будетъ ея удѣломъ.

Наконецъ наступилъ день выпуска, и Лидочкѣ предложили остаться при институтѣ въ качествѣ пепиньерки. Разумѣется, она согласилась. Счастливыя институтки, разодрѣтыя по городскому, плакали, разставаясь съ нею.

— Ахъ, Лидочка, я упрошу татан тебя на лѣто къ намъ въ деревню взять! — говорила одна.

— Ахъ, какая ты добрая!

— Ты, Лидочка, къ намъ по воскресеньямъ обѣдать приходи! — говорила другая.

— Милыя вы мои!

Кареты съ громомъ отъѣзжали отъ подъѣзда. Лидочка провожала глазами подругъ, которыя махали ей платками. Наконецъ уѣхала послѣдняя карета.

Дверь швейцарской захлопнулась. Лидочка вновь погрузилась въ институтскую тишину.

— Лидочка! вамъ жаль старыхъ подругъ? — спрашивали ее.

— Ахъ, даже очень, очень жаль!

— Вы завидуете имъ?

— Я не имѣю права завидовать. Я всегда понимала, что имъ



предстоитъ одна дорога, а мнѣ—другая. И могу только благодарить моихъ покровителей, что они не оставляютъ меня.

— Но вѣдь скучно въ институтѣ?

— Мнѣ не скучно. Но ежели бы и было скучно, то надо же кому-нибудь и скучать. Притомъ же я, съ позволенія маман, буду иногда выходить въ городъ. И я увѣрена, что подруги свидятся со мной безъ неудовольствія.

Въ первое воскресенье она однакожь посовѣстилась тревожить подругъ. „Имъ не до меня, — сказала она себѣ:— онѣ теперь по роднымъ ѣздятъ, подарки получаютъ, покупаютъ наряды!“ Но на другое воскресенье отважилась. Надѣла высокій, высокій корсетъ, точно кирасу, и съ утра отправилась къ Настенькѣ Буровой.

Было уже одиннадцать часовъ, но Настенька еще нѣжилась въ постели. Разумѣется, она была очень рада приходу Лидочки.

— Ты очень хорошо сдѣлала, что пораньше пріѣхала, — сказала она:— а то мы не успѣли бы наговориться. Представь себѣ, у меня цѣлый день занять! Въ два часа—кататься, потомъ съ визитами, обѣдаемъ у тети Головковой, вечеромъ—въ театрѣ. Ахъ, ты не можешь себѣ представить, какъ уморительно играетъ въ Михайловскомъ театрѣ Вернѣ!

— Ну, вотъ и прекрасно, что ты не скучаешь!

— Постой, душечка, я тебѣ свой *trousseau* покажу!

И начала раскладывать одно за другимъ платья, блузы, принадлежности бѣлья и проч. Все было свѣжо, нарядно, шито въ мастерскихъ лучшихъ портнихъ. Лидочка осматривала каждую вещь и восхищалась объективно, безъ всякаго отношенія къ самой себѣ. Корсетъ ровно вздымался на груди ея въ то время, какъ съ ея языка срывались: „ахъ, душка!“ „ахъ, очарованье!“ „ахъ, херувим!“

— Хочешь, я тебѣ эту ленту подарю? — вдругъ вздумалось Настенькѣ.

— Подари!

— Впрочемъ... знаешь ли чтò? Я лучше въ другой разъ— прежде у мамаша спрошу!

— И прекрасно сдѣлаешь! Это первый нашъ долгъ—спрашиваться у родителей.

Въ будуарѣ къ Настенькѣ вошла кислосладкая дама и пожала Лидочкѣ руку. Это была маман Бурова.

— Любуетесь?—спросила она.

— Прелесть! очарованіе!

— Да, но и не дешево это стѣить.

— Я воображаю!

— Матап! мнѣ хотѣлось бы Лидочкѣ вотъ эту ленту подарить!

Посмотри, какъ къ ней это идетъ!

Настенька обернула ленту кругомъ Лидочкиной талии и сдѣлала спереди бантъ.

— Charmant!—крикнула она въ восхищеніи.

Но матап не отвѣтила ни да, ни нѣтъ, а только сказала дочери:

— Какой ты, мой другъ, еще ребенокъ!—И, обратившись къ Лидочкѣ, прибавила. — Вы къ намъ? Ахъ, какъ жаль, что у насъ сегодня цѣлый день занятъ! Но въ другой разъ...

— Ничего, у меня свой домъ въ институтѣ есть...

— Знаешь ли чтѣ, — догадалась Настенька:—поѣзжай къ Верховцевымъ; я знаю, что они сегодня дома.

— А и то—пойти къ нимъ. Вѣрочка тоже меня приглашала...

— Только вы насъ ужъ пожалуйста извините!—повторила матап Бурова.

— Ахъ, чтѣ вы! Развѣ я не понимаю!

Верховцевы сходили по лѣстницѣ, когда Лидочка поднималась къ нимъ. Впрочемъ они уѣзжали не надолго—всего три-четыре визита—и просили Лидочку подождать. Она вошла въ пустынную гостиную и сѣла у стола съ альбомами. Пересмотрѣла всѣ—одинъ за другимъ, а Верховцевыхъ все нѣтъ какъ нѣтъ. Но Лидочка не обижалась, только ей очень хотѣлось ѣсть, потому что институтскій день начинается рано, и она, кромѣ того, сдѣлала порядочный моціонъ. Наконецъ, часовъ около пяти. Вѣрочка воротилась.

— Какъ ты отлично сдѣлала, что къ намъ собралась!—крикнула она, бросаясь на шею къ подругѣ.

— Жаль только, что мы въ театръ сегодня собрались, — молвила матап Верховцева.

— Матап! возьмемъ Лидочку съ собою! Лидочка! сегодня вѣдь „L'amour—qu'est qu'est qu'ça? играютъ!“ Уморительно!

— Съ большимъ удовольствіемъ, — согласилась матап:—но Лидіи Степановнѣ придется сѣсть сзади...

— Такъ что-жъ такое! развѣ я не понимаю!

Дни шли за днями, а подружки не забывали ее. Нерѣдко прїѣзжали въ институтъ, осматривали знакомыя комнаты и засиживались на четверть часа въ каморкѣ у старой товарки. Въ средѣ ихъ уже устраивались свадьбы, и рѣдкая забыла сдѣлать Лидочку участницей своего счастья. Бѣдная цѣпиньберка являлась въ своей кирасѣ и въ горохового цвѣта шолковомъ платьѣ, которое сослужило ей хорошую службу. Потомъ пошли родины, крестины — сироту всюду звали, а во время девятидневнаго родильнаго карантина она почти безвыходно сидѣла около родильницы — разумѣется, съ позволенія институтской маман.

Однажды Настенька Бурова сообщила ей, что Вѣрочка Верховцева, только два мѣсяца тому назадъ вышедшая замужъ, ужъ „дурно ведетъ себя“; но Лидочка взглянула такъ удивленно, что Настенька расхохоталась.

— Ахъ, какая ты уморительная! — смѣялась она: — еще Вѣрочка ничего, а на дняхъ Alexandrine Геровская бросила мужа и прямо переѣхала къ своему гусару.

— Неужто начальство это позволяетъ?

Нѣкоторыя изъ товарокъ пытались даже расшевелить ее. Давали читать романы, рассказывали соблазнительныя исторіи; но никакой соблазнъ не проникалъ сквозь кирасу, покрывавшую ее грудь. Она слишкомъ была занята своими обязанностями, чтобы дать волю воображенію. Вставала рано, отправлялась на дежурство и вечеромъ возвращалась въ каморку, хотя и достаточно бодрая, но безъ иныхъ мыслей, кромѣ мысли о снѣ.

Мало-по-малу кругъ старыхъ подружекъ сократился. Лидочка все рѣже и рѣже отлучалась изъ института въ городъ и почти все время свое отдавала маленькимъ институткамъ, которыя ей были поручены. Вслѣдствіе непрерывнаго общенія съ малолѣтними, въ нее все глубже и глубже вливалась складка ребячества. И радости, и горести ея были совершенно тѣ же, что и у десяти — двѣнадцати-лѣтнихъ дѣвочекъ, которыя кишѣли вокругъ нея. Вся разница между нею и ими заключалась въ томъ, что она въ теченіе цѣлаго дня не покидала своей кирасы. Посторонніе начинали находить, что съ нею скучно. Но она радовалась, что пичужки любятъ ее, что начальство довольно, и все рѣже и рѣже пользовалась отпускомъ въ городъ, хотя гороховое платьѣ еще было какъ новое.



Она была дѣятельна и неутомима только при исполненіи своихъ обязанностей; внѣ этого круга она могла назваться даже лѣнливою. Ничто не манило ее за стѣны института. Старыя подруги разсѣялись; новыхъ выпускныхъ дѣвиць, которыхъ она могла бы назвать своими воспитанницами, еще не было.

Воспитательная репутація ея все росла и росла; ее уже подумывали сдѣлать классной дамой. Однажды пріѣхалъ въ институтъ вновь назначенный начальникъ и сказалъ ей:

— Вся русская армія чтитъ память покойнаго вашего батюшки, а батальонъ, которымъ онъ командовалъ, и понынѣ считается образцовымъ. Очень радъ слышать, что вы идете по стопамъ достославнаго отца своего.

Эта похвала нѣсколько взволновала ее. Она подумала, что и папа, и тетя смотрятъ на нее въ эту минуту съ высотъ небесныхъ и радуются, что она такъ отлично устроилась. Въ самомъ дѣлѣ, у нея былъ свой уголокъ съ стоящими на окнахъ лимонными и апельсинными деревцами, которыя она сама выростила изъ сѣмечекъ; у нея былъ готовый столъ; воспитанницы любили ее, начальство ею дорожило — чего еще надо сироткѣ? Къ довершенію всего, корсетъ, который она носила, оказался такъ прочно сшитъ, что въ теченіе десяти лѣтъ не потребовалъ ни малѣйшей починки. И деньги у нея водились; а такъ какъ ей рѣшительно некуда было тратить ихъ, то вмѣстѣ съ сбереженіями образовался ужъ капиталъ около шести тысячъ рублей. Она рѣшилась завѣщать его на учрежденіе одной или двухъ стипендій въ томъ институтѣ, который далъ ей пріютъ.

Однажды только она не на шутку взволновалась: ей приснился мужъ Машеньки Гронмейеръ, „херувимъ“ съ маленькими усиками и въ щегольскомъ сюртукѣ, котораго она, еще будучи институткой, видѣла въ пріемные дни въ числѣ посѣтителей. Фамилія его была Копорьевъ, и Лидочка, по окончаніи курса, довольно часто посѣщала старую подругу. Никогда она не давала себѣ отчета, какого рода чувства возбуждалъ въ ней Копорьевъ, но вѣроятно у нея вошло въ привычку называть его „херувимомъ“, потому что это названіе не оставляло его даже тогда, когда „херувимъ“ однажды предсталъ передъ нею въ виць-мундирѣ и съ Анной на шеѣ. Въ этомъ же видѣ онъ и приснился ей. Разумѣется, она ни на минуту не поколебалась. Отперла завѣтную шкатулку, вынула оттуда старую перчатку Ко-

порьева и бросила ее въ топившуюся печку. Съ тѣхъ поръ все какъ рукой сняло.

Никогда она не думала о выходѣ въ замужство, никогда. Даже мимолетомъ не залетала эта мысль въ ея голову, — словно этотъ важнѣйшій шагъ женской жизни вовсе не касался ея.

Чѣмъ болѣе погружалась она въ институтскую мглу, тѣмъ своеобразнѣе становилось ея представленіе о мужчинѣ. Когда-то ей вездѣ видѣлись „херувимы“; теперь это было нѣчто въ родѣ стада статскихъ совѣтниковъ (и выше), изъ которыхъ каждый имѣлъ надзоръ по своей части. Одни по хозяйственной, другіе—по полицейской, третьи—по финансовой и т. д. А полковники и генералы стоятъ кругомъ въ видѣ живой изгороди и наблюдаютъ за тѣмъ, чтобы статскимъ совѣтникамъ не препятствовали огородъ городить.

Когда ей было уже за тридцать, ей предложили мѣсто классной дамы. Разумѣется, она приняла съ благодарностью и дала себѣ слово сдѣлаться достойною оказаннаго ей отличія. Даже старалась быть строгою, какъ это ей рекомендовали, но никакъ не могла. Сама заводила, въ рекреационные часы, игры съ дѣвцами, бѣгала и кружилась съ ними, несмотря на то, что тугой и высокій корсетъ очень мѣшала ей. Начальство, видя это, покачивало головой, но наконецъ махнуло рукой, убѣдясь, что никакихъ безпорядковъ изъ этого не выходило.

Изъ класса въ классъ переходила она съ „своими“ дѣвцами и радовалась, что наконецъ и у нея будетъ свой собственный выпускъ, какъ у Клеопатры Карловны. Передъ выпускомъ опять стали наѣзжать въ пріемные дни „херувимы“; но разница въ ея прежнихъ и нынѣшнихъ воззрѣніяхъ на нихъ была громадная. Во дни дны она чувствовала себя точно причастною этому названію; теперь она употребляла это выраженіе совершенно машинально, чтобы сказать что-нибудь пріятное дѣвицѣ, которую навѣщала „херувимъ“.

Наконецъ день перваго ея выпуска наступилъ. Красивѣйшая изъ дѣвицъ съ необыкновенною граціей протанцовала па де-шаль; другая съ чувствомъ прочла стихотвореніе Лермонтова: „Споръ“; на двухъ рояляхъ исполнили въ восемь рукъ увертюру изъ „Фрейшютцъ“; некрасивыя и мало талантливыя дѣвицы исполнили хоръ изъ „Руслана и Людмилы“. Родители прослезились и обнимали дѣтей.

Наконецъ наступилъ часъ разставанія. Какъ и при собственномъ

выходъ изъ института, Лидія Степановна стояла въ швейцарской и провожала уѣзжавшихъ.

— Прощайте, божественная! небожительница! — кричали ей дѣвицы, усаживаясь въ кареты: — не забудьте! пріѣзжайте!

— Непремѣнно! неперемѣнно! — отвѣчала она имъ вслѣдъ.

Она махала платкомъ, и ей махали платками изъ каретъ.

Вмѣстѣ съ нею стояла въ швейцарской выпущенная институтка и плакала. Она тоже кончила курсъ, но была сирота, и ей предложили остаться при институтѣ пепиньеркой.

— Вотъ и вы, Любочка, обрѣли тихое пристанище, — молвила плачущей Лидія Степановна.

Затѣмъ взяла ее подъ-руку, и обѣ стали взбираться вверхъ по лѣстницѣ.

— Вы не плачьте, — утѣшала старшая сирота младшую: — здѣсь тихо... спокойно... точно въ колыбели качаешься... Вамъ отведутъ комнату, и вы можете сидѣть въ ней и думать. Я тоже сидѣла и думала, но скоро успокоилась, и вамъ тоже совѣтую. Чтѣ мы такое? Мы — предназначенныя судьбою вѣчныя институтки. Институтъ наложилъ на насъ свою печать, и эта печать будетъ лежать на насъ до старости. Это хорошо, потому что иначе нельзя было бы жить. Вотъ придетъ весна, распустятся аллеи въ институтскомъ саду; мы будемъ вмѣстѣ съ вами ходить въ садъ во время классовъ, станемъ разговаривать, сообщать другъ другу свои секреты... Право, судьба еще не такъ жестока, какъ кажется!

Около этого времени ее постигло горькое испытаніе: умерла старая директриса института. Горе едва не подавило ее, но она, какъ и по случаю смерти тетки, вступила съ нимъ въ борьбу и вышла изъ нея съ честью.

— Богъ знаетъ, чтѣ дѣлаетъ, — сказала она себѣ: — онъ отозвалъ къ себѣ нашу добрую маман — стало быть, она нужна была тамъ. А начальство, безъ сомнѣнія, пришлетъ намъ новую маман, которая современемъ вознаградитъ насъ за горькую утрату.

И дѣйствительно, черезъ мѣсяцъ явилась новая маман, и Лидія Степановна полюбила ее какъ старую.

.....

— Теперь ей ужъ за сорокъ, и скоро собираются праздновать ея юбилей. Въ парадные дни и во время официальныхъ пріемовъ, когда



показываютъ институтъ вліятельнымъ лицамъ, она слѣдуетъ за директрисой, въ качествѣ старшей классной дамы, и всегда очень резонно отвѣчаетъ на обращаемые къ ней вопросы. Въ будущемъ она никакихъ измѣненій не предвидитъ, да и никому изъ начальствующихъ не приходитъ на мысль, что она можетъ быть чѣмъ-нибудь инымъ, кромѣ образцовой классной дамы.

Корсетъ она однакожь перемѣнила. Прежде всего, старый обветшалъ, а наконецъ она сама потучнѣла и тѣло сдѣлалось у нея грубое, словно хрящеватое. Но и тутъ она отказалась слѣдовать модѣ и сдѣлала себѣ корсетъ такой же высокій и жесткій, какъ кираса.

— Довольны вы?—спрашивалъ я ее на дняхъ, встрѣтивши ее у одной изъ ея питомокъ, молоденькой дамы, которая очень недавно связала себя узами гименея.

— И даже очень,—отвѣтила она мнѣ:—вспомните, вѣдь я сирота, и институтъ далъ мнѣ пріютъ... Развѣ я этого не понимаю!



## II.

# ВЪ СФЕРѢ СЪЯНІЯ.

### 1.—Газетчикъ.

Чѣмъ развитѣе общество, тѣмъ рѣзче обозначаются въ немъ разнообразныя умственныя и политическія теченія, которыя увлекаютъ въ свой круговоротъ массы людей. Такъ напримѣръ, во Франціи существуютъ республиканцы различныхъ оттѣнковъ и подраздѣленій; монархисты вообще и въ частности бонапартисты, легитимисты и орлеанисты; наконецъ, социалисты вообще и въ частности социаль-демократы, коллективисты и т. д. Приблизительно то же самое встрѣчается и въ другихъ странахъ западной Европы. Теченія эти полагаютъ начало политическимъ партіямъ; они же лежатъ и въ основѣ журналистики. Правильна или неправильна идея, полезно или вредно направленіе, которому служитъ данный журналъ (по нашему, „газета“), это—вопросъ особый; но несомнѣнно, что и идея, и направленіе—существуютъ, что высказываются въ каждой строкѣ журнала, не смѣшиваясь ни съ какими другими идеями и направленіями. Издатель знаетъ, чтò онъ издаетъ; подписчикъ знаетъ, на чтò онъ подписывается.

Торжество той или другой идеи производитъ извѣстныя измѣненія въ политическихъ сферахъ и въ то же время представляетъ собой торжество журналистики соответствующаго оттѣнка. Журналистика не стоитъ въ сторонѣ отъ жизни страны, считая подписчиковъ и считывая лишь на то, чтобы журнальные воротилы были сыты, а при-

нимаетъ дѣйствительно участіе въ жизни. Стоитъ вспомнить іюльскую монархію и ея представителя, Луи-Филиппа, чтобы убѣдиться въ этомъ.

Но бываетъ и такъ, что журнальною дѣятельностью руководятъ не общественные и политическіе интересы, а побужденія совѣмъ иного (низменно-моральнаго) свойства. Или, говоря другими словами, бываетъ и такъ, что газеты, лишеныя публицистической поделки, подраздѣляются по своему характеру на ликующія и трепещущія. Содержаніе для первыхъ представляютъ веселая диффамация и всѣхъ сортовъ балагурство (иногда впрочемъ замѣняемая благонамѣреннымъ бѣшенствомъ); содержаніемъ для послѣднихъ служитъ агонизирующая тоска, въ виду завтрашняго дня, и ежедневная разработка шкурнаго вопроса.

Какимъ образомъ балагурство для балагурства, бѣшенство для бѣшенства, тоска для тоски, могутъ удовлетворить читающія массы — это секретъ той степени развитія, на которой можетъ находиться въ каждую данную минуту каждое данное общество. Если умственные и политическіе интересы не возбуждаютъ вниманія общества, то и журналистика неизбежно принимаетъ соотвѣтствующій низменный характеръ. Единственная расцѣпка, которая при этомъ допускается, — это подраздѣленіе газетныхъ дѣятелей, какъ я сказалъ выше, на двѣ группы: ликующихъ и трепещущихъ. О первыхъ говорится: „нахалы, но — молодцы!“ О послѣднихъ: „ахъ, бѣдные!“

Сдѣлавши эту оговорку, приступаю къ разсказу.

Первое мѣсто — газетчику ликующему, такъ какъ это разновидность наиболѣе распространенная и притомъ благоденствующая.

Откуда онъ появляется на арену публичной дѣятельности? грекъ ли онъ таганрогскій, расторговавшійся на халвѣ и губкахъ, еврей ли бердичевскій, бывшій ли сыщикъ, или просто питомецъ воспитательнаго дома?

Какимъ образомъ пріобрѣлъ онъ вкусъ къ письменамъ?

Какъ очутился онъ во главѣ большой и распространенной газеты, претендующей на руководящее значеніе?

На всѣ эти вопросы онъ можетъ отвѣтить только невнятнымъ бормотаніемъ.



Онъ даже избѣгаетъ такого рода собесѣдованій, какъ будто чувствуетъ за собою вину. Онъ боится, что если обнаружится тайна осіявшаго его ореола, то его стануть дразнить. Онъ самъ въ основу своей литературной публицистической дѣятельности всегда полагалъ дразненіе, и потому не безъ основанія опасается, что та же система будетъ примѣнена и къ нему. Мелкодушный и легкомысленный, онъ только отъ мелкодушныхъ и легкомысленныхъ ждетъ возмездія и обузданія.

Фактовъ, которые въ выгодномъ для него смыслѣ подтверждали бы его права на руководительство общественнымъ мнѣніемъ, не существуетъ. Тѣ факты, которые извѣстны, свидѣлствуютъ лишь о томъ, что онъ, до своего теперешняго возвеличенія, пописывалъ фельетонцы, разрабатывалъ вопросцы и вообще занимался мелкошнымъ журнальнымъ дѣломъ.

Въ фельетонцахъ онъ утверждалъ, что катанье на тройкахъ есть признакъ наступленія зимы; что ѣсть блины съ икрой—все равно, что въ морѣ купаться; что открытіе „Аркадіи“ и „Ливадіи“ знаменуетъ наступленіе весны. Вопросцы онъ разрабатывалъ крохотные, но дразнящіе, оставляя однакожь въ запасъ лазейку, которая давала бы возможность отпереться. Вообще, принялъ себѣ за правило писать бойко и хлестко; ненавидѣлъ принципы и убѣжденія, и о писателяхъ этой категоріи отзывался, что они напускаютъ на публику уныніе и скучищу.

Въ виду тумана, окутывающаго его прошлое, его обыкновенно называютъ Иваномъ Непомнящимъ (имя собирательное). Этимъ же именемъ буду называть его здѣсь и я.

Газета Ивана Непомнящаго возникла точно такъ же нечаянно, какъ и онъ самъ. Онъ не вѣрилъ глазамъ, когда ему принесли изъ типографіи первый, пробный номеръ. Удивленіе его тѣмъ болѣе было законно, что въ этомъ номерѣ онъ не узнавалъ самого себя. Ему посоветовали, для начала, прикинуться серьезнымъ, и онъ смекнулъ, что это совѣтъ недурной. Большинство знавшихъ его прежнюю безшабашную дѣятельность ожидало, что онъ сейчасъ же начнетъ кувыркаться, и было пріятно изумлено, услышавъ, что этотъ кувыркающійся человѣкъ можетъ, между прочимъ, изрекать и солидныя слова. „Кувырканье отъ насъ не уйдетъ“, — говорили читатели, — „но нужно и разнообразить газету“. Притомъ же существуютъ факты,

которые газета не имѣетъ права игнорировать, и по поводу которыхъ сразу начать кувыркаться даже неудобно. Нужно до извѣстной степени подготовить публику, приручить читателя, образовать его вкусъ въ извѣстномъ направленіи, а потомъ ужъ и начать звонить во всю. Когда эта задача будетъ выполнена, никто не удивится, если и самыя серьезныя жизненныя явленія предстанутъ пропитанными кувырканьемъ.

Итакъ, на первыхъ перахъ, Непомнящій ведетъ свое предпріятіе довольно скромно. Прошедшее его имѣло слегка либеральный характеръ. Одинъ Непомнящій (имя собирательное) дразнился въ фельетонцахъ, другой — въ статьяхъ публицистическаго характера, третій — тиснулъ какую-то брошюру, и самъ не помнитъ — о чемъ. Словомъ сказать, и тотъ, и другой, и третій — наслѣдили-таки слѣдовъ, покуда балагурили за чужой счетъ. Теперь, сдѣлавшись обладателями сокровища, они понимаютъ, что надо эти слѣды замести хвостомъ. И вотъ одинъ Непомнящій объявляетъ, что, въ сущности, онъ никогда не дразнился, а просто балагурилъ; другой, что если онъ язвиль въ одну сторону, то можетъ, по требованію, язвить и въ другую; третій — что онъ и самъ не знаетъ, чтò дѣлалъ, но впередъ „не будетъ“. И тутъ же представляютъ образцы будущаго хорошаго поведенія. Вѣроломство и подвохи украшаютъ столбцы въ перемежку съ лестью и куреніемъ оиміамовъ. Одинъ Непомнящій наусъкиваетъ весело и бойко; другой — производитъ то же самое съ шипѣніемъ и пѣною у рта; третій — не знаетъ, какъ ему поспѣтъ за двумя первыми.

Спросите Непомнящаго, чтò онъ хочетъ, какія цѣли преслѣдуетъ его газета? — и ежели въ немъ еще сохранилась хоть капля искренности, то вы услышите отвѣтъ: „хочу подписчика!“ Да и чего другого ему хотѣтъ? Онъ до тонкости постигъ суть своего времени, и очень хорошо знаетъ, что древняя поговорка „scripta manent“ — до его ремесла не относится. Ему достовѣрно извѣстно, что его „простыня“ годна только сегодня, а завтра она исчезнетъ — куда? О, Господи, спаси и помилуй! О какихъ же тутъ цѣляхъ можетъ идти рѣчь, кромѣ уловленія подписчика? „Scripta“ исчезаютъ безслѣдно, не оставляя въ памяти ничего, кромѣ мути; но подписчикъ остается (вонъ онъ, слоняется по улицѣ! — гдѣ у тебя портмоне?... дур-ракъ!), и запахъ его имѣетъ одуряющія свойства. Надо изловить

его; а чтобы достигнуть этого, необходимо давать ему именно ту умственную пищу, которая ему по вкусу. Поэтому Непомнящій на-прягаетъ всё усилія преимущественно въ началѣ года и къ концу его. Въ срединѣ онъ можетъ даже игнорировать собственную газету, потому что это время глухое и никакихъ существенныхъ пере-мѣнъ въ матеріальномъ смыслѣ не представляетъ. Но съ октября Непомнящій стоитъ ужъ на стражѣ и начинаетъ подсчитывать. И не только онъ самъ, но и ближайшіе сотрудники его какъ будто чувствуютъ, что наступаетъ часъ генеральной битвы, и удваиваютъ усилія. Никогда не бываетъ такихъ забубенныхъ, ликующихъ фельетонцевъ, никогда „вопросамъ“ не удѣляется такъ много мѣста, никогда столбцы не усащаются такою массою подсиживаній. Читатель въ изумленіи ждетъ, что будетъ дальше — и подписывается.

Подписчикъ драгоцѣненъ еще и въ томъ смыслѣ, что онъ приводитъ за собою объявителя. Никакая кухарка, ни одинъ дворникъ не пойдутъ объявлять о себѣ въ газету, которая считаетъ подписчиковъ единичными тысячами. И вотъ изъ скромныхъ дворническихъ лептъ образуется ассигнаціонная гряда. Найдутъ ли алчущія кухарки искомое мѣсто — это еще вопросъ; но газетчикъ свое дѣло сдѣлалъ; онъ спустилъ кухаркину ленту въ общую пропасть, и затѣмъ ему и въ голову не придетъ, что эта лента составляетъ одинъ изъ элементовъ его благосостоянія.

Однимъ словомъ, подъ фирмой газеты Непомнящій пріобрѣлъ себѣ сокровище. Понятно, что онъ бережетъ ее какъ зеницу ока отъ всякихъ случайностей. Въ виду упроченія ея будущаго, не должно быть рѣчи ни объ идеяхъ, ни о цѣляхъ, ни объ убѣжденіяхъ, ни о чемъ, кромѣ наивѣрнѣйшихъ способовъ удержать за собою сокровище. Онъ употребляетъ всё усилія, чтобы проникнуть въ мысль и вкусы вліятельной среды, справляется у приспѣшниковъ, угадываетъ смыслъ улыбокъ и тѣлодвиженій, напоминаетъ о своей неизмѣнной готовности, а иногда даже удостоивается собесѣдованій. Язвить онъ исключительно безоружныхъ, тѣхъ, которые на его науськиваніе не могутъ дать прямого отпора. Такой образъ дѣйствія и до сихъ поръ у насъ извѣстенъ подъ именемъ полемики. Изречетъ ликующій доброволецъ какую-нибудь безспорную „истину“, въ родѣ, на примѣръ, обвиненія въ неблагонадежности, и торжествуетъ, зная заранѣе, что отвѣтъ на такое обвиненіе немислимъ. Почему немислимъ? — а потому, милости-



вые государи, что, во-первыхъ, въ обвиненія подобнаго рода, говоря языкомъ юристовъ, нѣтъ состава вины, а во-вторыхъ, и потому, что самый споръ объ извѣстныхъ предметахъ можетъ завести въ такую трущобу, изъ которой и не выльзешь.

Благодаря прочно организованной системѣ приспѣшничества, газета Непомнящаго получаетъ возможность ежедневно снабжать читателя цѣлой массой новостей и слуховъ. Читатель жадно ловить эти слухи, прежде всего потому, что онъ самъ иной здоровой пищи не знаетъ, а наконецъ и потому, что всякая новость передается въ газетѣ бойко, весело, облитая соответствующимъ пикантнымъ соусомъ. Завтра девять-десятихъ этихъ слуховъ окажутся лишенными основанія, но за то они замѣняются такимъ же количествомъ другихъ слуховъ, которые окажутся ложными послѣ-завтра. По части слуховъ, кромѣ системы приспѣшничества, много способствуетъ и даръ выдумки. Существуетъ цѣлая армія сотрудниковъ, репортеровъ, странствующихъ витязей, которыхъ назначеніе заключается единственно въ томъ, чтобы оживлять столбцы и занимать читателя цѣлымъ ворохомъ небывальщины. Запасшись этимъ ворохомъ, читатель на цѣлый день обезпеченъ. Онъ ходитъ по улицѣ, навѣщаетъ знакомыхъ и цѣлый день лжетъ на основаніи данныхъ, почерпнутыхъ имъ изъ газеты Непомнящаго 1-го. Знакомые его, получающіе газету Непомнящаго 2-го, въ свою очередь лгутъ. Происходитъ обмѣнъ сумбурныхъ мыслей, которыя впрочемъ имѣютъ за собой то преимущество, что не даютъ жизни окончательно замереть. Ибо этотъ-то именно сумбуръ и называется жизнью.

Обиліе сплетенъ приводитъ за собой обиліе подписчика; обиліе подписчика приноситъ обиліе денегъ. Сначала Непомнящій какъ бы робѣетъ передъ сыплющеюся на него манною, относится къ ней слегка иронически и даже ведетъ приблизительно тотъ же образъ жизни, къ которому привыкъ съ молодыхъ ногтей. Но по мѣрѣ того, какъ растетъ толпа объявителей-дворниковъ и объявительницъ-кухарокъ, сердце его все шире и шире раскрывается для сибаритства. Непомнящій забываетъ прошлое, привередничаетъ, бросаетъ деньги направо и налево. Прежде всего онъ устраиваетъ себѣ обширный кабинетъ съ изобиліемъ письменныхъ столовъ, съ тяжелою мебелью, тяжелыми портьерами и гардинами, стараясь придать помещенію такой видъ, чтобы случайный посѣтитель зналъ, что именно въ этой хра-

минѣ производится та таинственная стряпня, по поводу которой сложилась поговорка, что печать есть шестая великая держава. Около часу дня въ кабинетъ начинается приливать набранное въ типографіи для завтрашняго нумера лганье.

Подъ масть кабинету устраивается и остальное помѣщеніе. Обширная столовая со шкафами, уставленными серебромъ (непремѣнно въ русскомъ стилѣ), пріемная, два салона. Только комнаты, отведенныя для сотрудниковъ и для семьи (ежели таковая есть), нѣсколько напоминаютъ трактиръ средней руки. Первые плохо вентилируются, рѣдко выметаются, всегда наполнены табачнымъ дымомъ и тою неопрятностью, которая сопровождаетъ непрерывное питье чая и неумѣренное потребленіе буттербродовъ (угощеніе отъ редакціи). Послѣднія представляютъ собою складъ всякаго рода покупокъ, которыя ворохами приливаютъ съ утра до вечера и разбрасываются по столамъ, стульямъ, постелямъ — гдѣ попало.

Непомнящій назначаетъ журъ-фиксы и устраиваетъ обѣды. И на тѣхъ, и на другихъ фигурируютъ преимущественно сотрудники и ведется откровенная бесѣда о томъ, что хотя подписчикъ и наклеывается, но слѣдуетъ и еще „поддать жару“, чтобы онъ продолжалъ приливать. Сверхъ того, въ штатѣ Непомнящаго непремѣнно состоятъ три лица: лъстець, разсказчикъ сценъ и разорившійся жуирь. Первый называетъ хозяина „амфитріономъ“, провозглашаетъ за него тосты и передаетъ патрону подслушанные разговоры; второй — оживляетъ застольную бесѣду; послѣдній распоряжается кулинарною частью, сервировкой и обучаетъ хозяина приличнымъ манерамъ. Изрѣдка въ эту богато убранную клоаку заходятъ актеры, актрисы и канцелярскіе лазутчики, доставляющіе матеріаль для новостей дня. Особеннымъ торжествомъ для себя считаетъ Непомнящій, когда его посѣтитъ заѣзжая знаменитость. „Иностранцы, — говоритъ онъ, — начинаютъ уже понимать, что въ Россіи печать — сила“.

Поваръ Непомнящаго отличный; обѣдъ тонкій, — такой, о которомъ и во снѣ не снилось объявляющимся въ его газетѣ кухаркамъ. Лакеи во фракахъ и бѣлыхъ галстукахъ безшумно обходятъ гостей, подъ зоркимъ наблюденіемъ стараго жуира, который лишь на минутку садится за столъ и почти все время дежуритъ около входной двери, щелкая языкомъ, когда мимо него проносятся лакомыя блюда, и тревожно произноса: „psst!“ — когда въ сервировкѣ замѣчается

промахъ. Лъстець тоже слѣдитъ за сервировкой, но не по обязанности, а изъ усердія. Только рассказчикъ сценъ дѣлаетъ видъ, что онъ здѣсь — дома, и наполняетъ залу звукоподражаніями. Гости сидятъ скромно и потихоньку переговариваются между собою.

Но Непомнящему уже все надоѣло. Онъ едва притрогивается къ великолѣпному шо-фруа, почти съ презрѣніемъ отламываетъ клешню рака *à la bordelaise*, — пососетъ и броситъ. Въ воображеніи его проносится какое-то диковинное блюдо, въ которомъ рядомъ фигурируютъ и шоколадъ, и мармеладъ, и икра съ масломъ, и стерлядь, и говяжій сычугъ. Все это онъ ѣдалъ отдѣльно, а теперь хотѣлось бы разомъ свалить всѣ ингредиенты въ кастрюлю, полить уксуcomъ, яичнымъ желткомъ и дать упрѣть. Но, увы! — это только мечта! Не разъ онъ сообщалъ эту мечту своему повару, но послѣдній только улыбался, слушая его. Извѣстно, богатому человѣку и бредъ на-яву къ лицу.

Иногда, проглатывая кусочки сочнаго ростбифа, онъ уносится мыслию въ далекое прошлое; припоминается Сундучный рядъ въ Москвѣ — кака тамъ продавалась съ лотковъ ветчина! какіе были квасы! А потомъ Московскій трактиръ, куда онъ изрѣдка захаживалъ полакомиться селянкой! Чего въ этой селянкѣ не было: и капуста, и обрывки телятины, дичины, ветчины, и маслины — почти то самое волшебное блюдо, о которомъ онъ мечтаетъ теперь въ апогеѣ своего величія!

— А помнишь, Маня, — обращается онъ черезъ столъ къ женѣ, — какъ мы съ тобой въ Москвѣ въ Сундучный рядъ бѣгали? Купимъ, бывало, сайку да по ломтю ветчины (вотъ какіе тогда ломти рѣзали! — показываетъ онъ рукой) — и сыты на весь день!

Маню точно кто сзади въ шею укусилъ. Лицо ея пламенѣетъ и она быстро ныряетъ имъ въ тарелку, храня глубокое молчаніе. Но на него нашель добрый стихъ, и онъ продолжаетъ благодушествовать.

— А чтѣ, господа! — обращается онъ къ гостямъ: — вѣдь это лучшенькое изъ всего, чтѣ мы испытали въ жизни, и я всегда съ благодарностью вспоминаю объ этомъ времени. Чтѣ такое я теперь? — „Я знаю, что я ничего не знаю“ — вотъ все, чтѣ я могу сказать о себѣ. Все мнѣ прискучило, все мной испытано — и на днѣ всего оказалось — ничто! Nichts! А въ то золотое время земля подъ ногами



горѣла, кровь кипѣла въ жилахъ... Придешь въ Московскій трактиръ: „Гаврило! селянки“ — Ахъ, что это за селянка была! Маня, помнишь?

Маню опять нѣчто кусаетъ въ затылокъ, и она вновь молча ныряетъ лицомъ въ тарелку.

— Вотъ она этихъ воспоминаній не любитъ, — кобенится Непомнящій: — а я ничего дороже ихъ не знаю. Повѣрьте, что когда-нибудь я устрою себѣ праздникъ по своему вкусу. Брошу все, уѣду въ Москву и спрячусь куда-нибудь на Плющиху... непременно на Плющиху!

— Плющиха — улица первый сортъ! — откликается рассказчикъ сценъ: — тутъ и Смоленскій рынокъ близко — весь воздухъ протухлой рыбой провонялъ. Позвольте, я по этому самому случаю сцену изъ народнаго быта расскажу!

И рассказываетъ. Гости грохочутъ; даже лакеи позволяютъ себѣ слегка ухмыльнуться. Сервировка обѣда нѣсколько замедляется, къ великому огорченію жуира, который исповѣдуетъ то мнѣніе, что за обѣдъ садятся затѣмъ, чтобы ѣсть, а не затѣмъ, чтобы разговаривать.

Къ счастью, въ это время лакей подаетъ на серебряномъ подносѣ записку. Это распоритка изъ конторы газеты; въ ней значится: „Сего 11-го декабря прибыло на газету годовыхъ подписчиковъ: городскихъ 63, съ почты — 467, итого 530. Затѣмъ, полугодовыхъ, мѣсячныхъ“, и т. д.

Непомнящій громко прочитываетъ записку; гости рукоплещутъ; жуиръ неистово произноситъ: „psst!“; льстецъ и рассказчикъ сценъ откупориваютъ бутылки съ шампанскимъ и разливаютъ вино по стаканамъ.

— Господа! — провозглашаетъ Непомнящій, уже совсѣмъ забывъ о недавней московской идилліи: — ежели такъ продолжится до 1-го января, то побѣда будетъ обезпечена. Не забудемъ, что послѣ 1-го января передъ нами еще цѣлый годъ, въ продолженіе котораго *подписка принимается*; наконецъ, весьма важный ресурсъ представляетъ розничная продажа... Повторяю: это — побѣда! Но она досталась намъ не легко. Припомнимъ недавніе годы, когда даже декабрьская подписка не достигала и трети теперешняго количества пренумерантовъ — сколько потрачено усилій, тревогъ, волненій, чтобы

выйти изъ состоянія посредственности и довести дѣло до того блестящаго положенія, въ которомъ оно въ настоящее время находится? Положеніемъ этимъ я обязанъ не столько своимъ личнымъ скромнымъ силамъ, — „я знаю, что я ничего не знаю“, только и всего, — сколько труду моихъ дорогихъ сотрудниковъ (льстець закатываетъ глаза и мотаеть головой; сотрудники протестуютъ; раздаются возгласы: „нѣтъ, вы даете тонъ газетѣ! вамъ она обязана своимъ успѣхомъ! вамъ!“)...

— Благодарю васъ, господа! Вы черезъ-чуръ добры, но я совершенно искренно говорю: вы на вашихъ плечахъ вынесли мою газету; безъ вашего содѣйствія она не достигла бы и малой доли теперешняго процвѣтанія! Что касается лично до меня, то единственная моя заслуга состоитъ въ томъ, что я не унывалъ. Я сказалъ себѣ раз навсегда, что газету слѣдуетъ вести бойко, весело („такъ! такъ!“), что нужно давать читателю ежедневный матеріалъ для свѣтскаго разговора („совершенно справедливо! совершенно справедливо!“) — и неуклонно слѣдовалъ этому принципу. Сверхъ того, я сказалъ себѣ: никогда не прать противъ рожна („никогда! никогда!“), потому, во-первыхъ, что самое слово: „рожднь“, въ сущности, не имѣетъ смысла, и, во-вторыхъ, потому, что мы живемъ въ такое время, когда не прать нужно, а содѣйствовать. Вы поняли мою мысль, вы даже косвенно не „прали“, и этимъ обезпечили будущее моей газеты. Исполать вамъ, господа! Поднимаю бокаль и пью за здоровье моихъ дорогихъ друзей и сотрудниковъ... ура!

— Нѣтъ! нѣтъ! за ваше здоровье! за ваше! объ насъ послѣ... сначала вы!

— За здоровье радушнаго хозяина! — провозглашаетъ льстець.

Всѣ встаютъ изъ-за стола и гурьбою направляются къ радушному амфитріону. Раздаются поцѣлуи.

Устраивая обѣды и вечера, Непомнящій, какъ я уже сказалъ выше, прикидывается пресыщеннымъ. Онъ чаще и чаще повторяетъ, что все на свѣтѣ семь превратно, все на свѣтѣ коловратно; что философія, науки, искусство — все исчерпывается словомъ Nichts! Посмотритъ на пукъ ассигнацій, принесенный изъ конторы, и скажетъ: — Nichts! прочитаетъ корректуру газеты и опять скажетъ: — Nichts! Еслибы былъ подъ рукою Мефистофель, онъ приказалъ бы ему топить корабль съ грузомъ шоколада.

— Сходите въ мелочную лавку и принесите колбасы!—воскли-  
цаетъ онъ.

Онъ разсматриваетъ принесенную колбасу въ микроскопъ и ви-  
дитъ шевелящихся трихинъ. Какая прекрасная мысль для фельетона!  
Вѣднѣякъ заходить въ лавочку, покупаетъ для поддержанія жизни на  
гривенникъ колбасы и обрѣтаетъ смерть! Съ другой стороны, пресы-  
щенный богачъ, подъ внушеніемъ внезапной прихоти... опять кол-  
баса—и опять смерть! Какое горькое сопоставленіе! Однако, ѣсть ли  
принесенную изъ лавки колбасу, или не ѣсть? Собственно говоря,  
жизнь такъ надоѣла, что всего естественнѣе было бы съѣсть колбасу  
и умереть. Но съ другой стороны, онъ—не просто Непомнящій, но  
прежде всего гражданинъ страны и патріотъ своего отечества. У него  
на рукахъ цѣлая масса сотрудниковъ, корректоровъ, факторовъ, на-  
борщиковъ. Наконецъ, публика, которую тоже нельзя оставить безъ  
руководительства. Нѣтъ, лучше не ѣсть!

Не зная, какъ освободиться отъ массы денегъ и отъ гнета без-  
дѣльничества, онъ начинаетъ коллекціонировать. Ходитъ по Апрак-  
сину двору, отыскиваетъ подлинныхъ Рубensoвъ и Тенъеровъ, и ми-  
моходомъ находитъ чашу, изъ которой пилъ Олегъ, прибывая щить  
къ вратамъ Константинополя. Запасшись десяткомъ-другимъ апрак-  
синскихъ Рубensoвъ, украсивъ свой кабинетъ дорогими эльзивирами,  
онъ вновь начинаетъ томиться бездѣльничествомъ. Лежитъ на цѣлымъ  
часамъ на диванѣ, посвистываетъ и наконецъ нападаетъ на мысль  
устроить еще два кабинета: китайскій и японскій. Онъ посѣщаетъ  
базары и аукціоны, знакомится съ путешественниками, даетъ имъ по-  
рученія, и въ умѣ проектируетъ четыре зала; одинъ подъ Рубensoвъ  
и Тенъеровъ, другой — подъ старинные братины, кубки и прочую  
утварь; третій залъ будетъ китайскій, четвертый—японскій. Квар-  
тиру придется перемѣнить.

А газета между тѣмъ идетъ все ходчѣе и ходчѣе. Подписчикъ  
такъ и валитъ; отъ кухарокъ, дворниковъ, кучеровъ отбою нѣтъ. У  
Непомнящаго голова съ каждымъ днемъ дѣлается менѣе и менѣе спо-  
собною выдумать что-нибудь путное для помѣщенія денегъ.

Нѣкоторое время его соблазняетъ мысль: не съѣздить ли въ Ита-  
лію, гдѣ продается замокъ Лампопд, съ принадлежащимъ къ нему  
княжескимъ титуломъ? Сверхъ того у него на правой лядвеѣ вско-  
пиль прыщъ, такъ ужъ и его кстати омытъ въ волнахъ Средиземнаго



моря. Находятся однакожь настолько честные люди, которые доказываютъ, что затѣя его требуетъ, по малой мѣрѣ, въ двадцать разъ бѣльшаго капитала, нежели тотъ, которымъ онъ обладаетъ. Съ горечью покидаетъ онъ свою мечту и жалуется, что ничто ему не удастся. Nichts! Онъ ропщетъ на себя за то, что до сихъ поръ такъ безразсечно расходоваль дворницкія лепты, и жестко отказываетъ сотрудикамъ въ выдачѣ денегъ въ счетъ будущихъ заработковъ.

На другой день однакожь Непомнящій, по обыкновенію, забылъ о вчерашнемъ. И мечты, и намѣренія смѣняются въ немъ быстро, безъ всякой резонной причины. Вчера онъ мечталъ о покупкѣ замка въ Италіи, сегодня—порѣшилъ сдѣлаться крупнымъ землевладѣльцемъ въ своемъ отечествѣ. Ему нужно много-много земли, много-много лѣса и пропасть воды. Для обработки земли онъ выпишетъ изъ Франціи нормандскихъ жеребцовъ и купить всѣ сельско-хозяйственныя машины, какія существуютъ на свѣтѣ. Въ лѣсъ онъ напуститъ всевозможныхъ птицъ и звѣрей и будетъ устраивать охоты. Въ водахъ будетъ производить опыты рыбоводства: скреститъ леща съ налимомъ, стерлядь съ судакомъ. Но главнымъ образомъ ему необходима старинная барская усадьба, такая, въ которой каждое уединенное мѣсто свидѣтельствовало бы о временномъ пребываніи въ немъ Добрыни или Осляби, или Яна Усовича. Эти мѣста онъ слегка реставрируетъ, но непременно въ томъ же духѣ и стилѣ, въ какомъ они были при ихъ приснопамятныхъ посѣтителяхъ. И, говорятъ, такая усадьба уже наклеивается, и именно „на верху крутой горы“, гдѣ, по свидѣтельству „Аскольдовой могилы“, „знаменитый жилъ бояринъ, по прозванью Карачунъ“.

Газету свою онъ начинаетъ ненавидѣть.

— Помилуйте! каждый день, каждый день, словно червь неуспяющей, появляется на столѣ эта ненавистная простыня! Ахъ, когда же, когда?..

Но внутренній голосъ отвѣчаетъ: никогда! Онъ даже переимѣнить одну безцѣльную глупость на другую не можетъ, потому что одна требуетъ массу денегъ, другая—даетъ ихъ.

На сотрудиновъ онъ смотритъ какъ на илотовъ; сотрудики, въ свою очередь, направо и налево сыплють анекдотами изъ жизни своихъ безшабашныхъ патроновъ.

— Вчера,—разсказываетъ одинъ:—нашъ безшабашный о Шекс-

пирѣ со мной разговариваль. „Вотъ, говоритъ, человекъ, котораго я понимаю! Вотъ кабы что-нибудь въ этомъ родѣ писнуть!“

— И со мной разговоръ былъ, — подхватываетъ другой: „слышаль я, говоритъ, что у одного изъ гарсоновъ ресторана Маньи, въ Парижѣ, локонъ волосъ Жоржъ-Занда сохранился, такъ я хочу для своихъ коллекцій приобрести. Только дорого, каналья, заломилъ — пять тысячъ франковъ!“

Тѣмъ не менѣе газетная машина, однажды пущенная въ ходъ, работаетъ все бойчѣе и бойчѣе. Безъ идеи, безъ убѣжденія, безъ яснаго понятія о добрѣ и злѣ, Непомнящій стоитъ на стражѣ руководства, не вѣря ни во что, кромѣ тѣхъ пятнадцати рублей, которые приноситъ подписчикъ, и тѣхъ грошей, которые одинъ за другимъ вытаскиваетъ изъ кошель кухарка. Онъ даже щеголяетъ отсутствіемъ убѣжденій, называя послѣднія абракадаброю и во всеуслышаніе объявляя, что ни завтра, ни послѣ-завтра онъ не намѣренъ стѣснять себя никакими узами.

Чѣмъ же отвѣчаетъ на эту безшабашность общее теченіе жизни? Отворачивается ли оно отъ нея, или идетъ ей на встрѣчу? На этотъ вопросъ я не могу дать вполне опредѣленнаго отвѣта. Думаю однакожь, что современная жизнь настолько заражена тлѣніемъ всякаго рода крохъ, что одно лишнее зловоніе не составляетъ счета. Мелочи до такой степени переполнили ее и перепутались между собою, что критическое отношеніе къ нимъ сдѣлалось труднымъ. Приходится принимать ихъ — только и всего.

Но спрашивается: ужели это дѣйствительность, а не безобразное сновидѣніе?

Рядомъ съ Непомнящимъ прозябаютъ газетчикъ Ахбѣдный. Но, говоря о немъ, я буду кратокъ.

Ежели Непомнящій не можетъ отвѣтить на вопросъ, откуда и зачѣмъ онъ появился на арену газетной дѣятельности, то онъ очень хорошо знаетъ, въ силу чего существованіе и процвѣтаніе его вполне обезнечены. Въ отношеніи къ Ахбѣдному та же задача представляется какъ разъ наоборотъ: онъ знаетъ, откуда и зачѣмъ онъ пришелъ, и не можетъ отвѣтить на вопросъ, насколько обезнечено его существованіе въ будущемъ.

Это двоегласіе служитъ источникомъ безконечныхъ трепетовъ.

Для него вполне ясно серьезное значение такого могущественного органа гласности, какъ газета, и онъ считалъ своимъ торжествомъ тотъ день, когда, благодаря случайно сложившимся обстоятельствамъ, сталъ въ ряды убѣжденныхъ руководителей общественнаго мнѣнія. Но, выступая на арену дѣятельности, онъ не сообразилъ двухъ вещей: во-первыхъ, что дѣятельность эта не имѣетъ впереди ничего благопріятствующаго, кромѣ таинственныхъ вѣяній, которыя могутъ быть и не быть, и рассчитывать на которыя во всякомъ случаѣ рискованно; и, во-вторыхъ, что общественное мнѣніе, которое онъ имѣлъ въ виду, построено на пескѣ.

И дѣйствительно, счастливая случайность, которая встрѣтила первые шаги Ахбѣднаго, вдругъ оборвалась. Тѣ, чтѣ вчера считалось бѣлымъ, сегодня сдѣлалось чернымъ, и наоборотъ. Онъ думалъ пробить себѣ стезю особо отъ Непомнящаго, и съ горечью увидѣлъ, что тѣ же самые вопросы и мелкіе дразги, которые съ такимъ усѣхомъ разрабатывалъ Непомнящій, сдѣлались и его удѣломъ.

Правда, онъ сохранилъ за собой нравственную опрятность. Онъ не лжетъ, не обдаетъ бѣшеной слюною; но оставьте въ сторонѣ звѣробразныя формы, составляющія принадлежность ликующей публицистики, — и вы очутитесь передъ тѣмъ же отсутствіемъ общей руководящей идеи, передъ тою же безсвязностью, съ тѣмъ лишь различіемъ, что здѣсь увѣренность замѣняется безсиліемъ, а ясность рѣчей — недоговоренностью. Допустимъ, что личность Ахбѣднаго внутренне непричастна этой безсвязности, но она прикована къ ней тѣми наваженіями, которыми переполненъ его жизненный путь, тѣмъ страхомъ завтрашняго дня, который онъ тщетно усиливается побѣдить.

Казалось бы, что дѣятельность Ахбѣднаго представляется во всемъ противоположною дѣятельности Непомнящаго. Время ответственности, которое Непомнящимъ переносится до такой степени легко, что онъ даже забылъ о немъ, — составляетъ для Ахбѣднаго ежедневную злобу дня; трешеты, которые Непомнящій испыталъ только въ началѣ своей дѣятельности, становятся для Ахбѣднаго съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе обязательными. Тѣмъ не менѣе, вглядываясь въ свой ежедневный трудъ, онъ убѣждается, что трудъ этотъ роковымъ образомъ осужденъ лишь на разработку случайно выступающихъ мелочей. И чтѣ всего обиднѣе: по поводу однихъ и тѣхъ же пустяковъ Непомнящій заливается ликующимъ смѣхомъ, а онъ, Ахбѣдный, обя-



зывается унывать. „Не правда ли, что это ужъ несправедливость?“ — жалуются онъ чуть не вслухъ. — Судите его, ежели онъ виноватъ — онъ слова не скажетъ: виноватъ такъ виноватъ! Но ежели онъ виноватъ наравнѣ съ прочими, то и его судите тою же мѣрою, какъ и прочихъ. Господи помилуй! онъ ли не ведетъ неустанную борьбу съ самимъ собой! онъ ли не побѣждаетъ себя! И чтожъ! вмѣсто поощренія, ему говорятъ: „это вы маску, государь мой, надѣли; но притворство ваше не облегчаетъ вины, а, напротивъ, усугубляетъ ее... да-съ!“

Такимъ образомъ, чѣмъ больше онъ старается, тѣмъ больше усугубляется его вина. Наконецъ за плечами у него вырастаетъ цѣлый коробъ, до того переполненный прегрѣшеніями, что, того гляди, и помѣщать новыя прегрѣшенія будетъ некуда. А у него въ портфель редакціи цѣлый ворохъ такихъ прегрѣшеній. Вотъ, напримѣръ, корреспонденція о нѣкомъ П. Корреспондентъ — человекъ надежный, ему вѣрить можно. Онъ пишетъ, что П., членъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, беретъ взятки, и приводитъ примѣры взяточничества. Но кто таковъ этотъ П.? Не приходится ли онъ дядей, племянникомъ или внучатымъ братомъ какому-нибудь вліятельному лицу? Не представляетъ ли онъ собой новую вину, которая лѣзетъ въ коробку, и безъ того оттягивающую его плечи? Печатать статью или не печатать? — Или, напримѣръ, корреспонденція о К.: К. — завѣдомый хлыщъ и наглець, который мечется изъ угла въ уголъ, самъ не зная зачѣмъ, смущаетъ умы, распускаетъ ложные слухи... Все это такъ, но, быть можетъ, по обстоятельствамъ, сутолока, олицетворяемая К., представляется въ данную минуту бесполезною? Что такое сама по себѣ эта „данная минута“? Быть можетъ, она-то именно и осуществляетъ ту „вину“, которая долженствуетъ переполнить коробку? Печатать или не печатать? — Или, напримѣръ, такой-то вопросецъ? Въ обыкновенное время — присѣлъ бы за столъ и въ одно мгновеніе его разрѣшилъ. Но въ данную минуту, но теперь...

Каждый новый шагъ грозитъ, что коробка оборвется и осыплетъ его преступленіями. Хотя въ столичныхъ захолустьяхъ существуетъ множество ворожей, которыя на гущѣ и на бобахъ всякую штуку развести могутъ, но такой ворожей, которая напередъ угадала бы: пройдетъ или не пройдетъ? — еще не народилось. Поэтому Ахбѣдный ста-

рается угадать самъ. Работа изнурительная, жестокая. Напуганное воображеніе говоритъ безъ обиняковъ: „не пройдетъ!“ но въ сердцѣ въ это же время закипаетъ робкая надежда: „а вдругъ... пройдетъ!“

Вѣсы колеблются, склоняются то на ту, то на другую сторону. Въ большинствѣ случаевъ дѣло рѣшается подъ вліяніемъ безсознательнаго наитія. Придетъ знакомецъ и скажетъ, что въ данную минуту нѣтъ никакой надежды на сочувствіе общественнаго мнѣнія; придетъ другой знакомецъ и скажетъ, что теперь самое время провозглашать истину въ наукѣ, истину въ литературѣ, истину въ искусствѣ, и что общество только того и ждетъ, чтобы проникнуться истинами. Какое изъ этихъ двухъ мнѣній возьметъ верхъ? Къ чести Ахбѣднаго я долженъ сказать, что въ большинствѣ случаевъ одерживаетъ побѣду послѣднее мнѣніе. Жажда „дерзнуть“ такъ велика, что заставляетъ съ новымъ вниманіемъ перечитать инкриминированный литературный вкладъ, и именно съ цѣлью хоть съ грѣхомъ пополамъ напечатать его. Да нельзя ему иначе и поступить. Характеръ газеты, несмотря на оговорки, настолько опредѣлился, что и сотрудники могутъ писать только въ извѣстномъ тонѣ. Всѣ точно сговорились: сообщаютъ о растратахъ, воровствахъ, проявленіяхъ дикаго произвола и т. п. Изъ чего же тутъ выбирать? Словомъ сказать, статья перечитывается вновь, карандашъ работаетъ неутомимо; на помощь являются и фигура умолчанія, и фигура иносказанія; перемѣняются инициалы, ставятся многоточія... Готово!

— Кажется, въ этомъ видѣ можно?—разсуждаетъ самъ съ собой Ахбѣдный и, чтобы не дать сомнѣніямъ овладѣть имъ, звонитъ и передаетъ статью для отсылки въ типографію. На другой день статья появляется урѣзанная, умягченная, обезличенная, но все еще съ душкомъ. Ахбѣдный, прогуливаясь по улицѣ, думаетъ: „что-то скажетъ про мои урѣзки корреспондентъ?“ Но встрѣчающіеся на пути знакомцы отвлекаютъ его мысли отъ корреспондента.

— Эге! да вы еще живы!—воскликаетъ одинъ.

— Какъ только земля васъ носитъ!—привѣтствуетъ другой.

— Ну, батюшка, теперь ждите!—прорицаетъ третій.

Такія привѣтствія и прорицанія извѣстны подъ именемъ общественнаго чутія. Произнося ихъ, читатель какъ бы заявляетъ о своей проницательности и своими изумленіями указываетъ на ту дѣйстви-

тельность, осуществленіе которой ни для кого не покажется неожиданностью.

За всѣмъ тѣмъ Ахбѣдный продолжаетъ корпѣть и изнывать надъ газетою.

Что приковываетъ его къ ней?—это его тайна, за раскрытіе которой я не берусь. Быть можетъ, онъ пытается спасти какое-то „дѣло“ или хоть крохи его,—но, можетъ быть, въ самой процессіи его заключается нѣчто втягивающее, роковое. Сегодня одна кроха, завтра—другая.

Въ заключеніе, позволяю себѣ обратить читателя къ тому краткому вступленію, которое я предпослалъ настоящему этюду. При помощи сопоставленій онъ пойметъ, какимъ образомъ дѣло вполне реальное и содержательное можетъ, благодаря обстоятельствамъ, обратиться въ кучу безсвязныхъ и несогрѣтыхъ внутреннимъ смысломъ мелочей.

## 2. — Адвокатъ.

Когда Перебоевъ выступилъ, въ 1866 году, на адвокатское поприще, онъ говорилъ: „Значеніе нашего сословія въ будущемъ не подлежитъ никакому сомнѣнію. Ежели въ настоящее время оно еще не для всѣхъ ясно, то стѣдуетъ обратить взоры на Западъ, чтобы убѣдиться“, и т. д. Теперь, спустя двадцать лѣтъ, онъ говоритъ: „Задача, предстоящая нашему сословію, скромна, но въ высшей степени плодотворна. Западные образцы непригодны для насъ. Не мечтанія и утопіи должны руководить нашими дѣйствіями, а то спеціально скромное дѣло, къ которому мы призваны. Его вполне достаточно, чтобы ощутить подъ ногами твердую почву, безъ которой никакая человѣческая дѣятельность немыслима. Всякая мысль о критикѣ и разномысліи должна быть изгнана изъ нашей среды, ибо ведетъ къ недовольству и развлекаетъ вниманіе. Итакъ, будемъ добры, милостивые государи“, и т. д.

И когда ему указываютъ, что онъ самъ себѣ явно противорѣчитъ, то онъ отвѣчаетъ, что ежели въ его словахъ и существуетъ противо-



рѣчіе, то оно доказываетъ только, что онъ въ теченіе двадцати лѣтъ развивался.

— Хорошъ бы я былъ,—говоритъ онъ:—еслибы остановился на одной точкѣ, не принимая въ расчетъ ни измѣнившихся обстоятельствъ, ни нарождающихся потребностей времени.

Такова руководящая аксіома, до которой онъ додумался въ теченіе своей двадцатилѣтней практики и которая дала характеристическую окраску всей его жизнедѣятельности.

Когда судебная реформа была объявлена, онъ былъ еще молодъ, но уже воинствовалъ въ рядахъ до-реформенной магистратуры. Ему предложили мѣсто товарища прокурора, съ перспективой на скорое возвышеніе. Онъ прикинулся обиженнымъ, но, въ сущности, рассчиталъ по пальцамъ, какое положеніе для него выгоднѣе. Преимущество оказалось за адвокатурой. Тутъ тысяча... тамъ тысяча... тысяча, тысяча, тысяча... А кромѣ того, „обратимъ взоры на Западъ“... Кто можетъ угадать, чтѣ случится... га!

Но на первыхъ порахъ тысячи приходили туго, такъ какъ въ идею о добычѣ впадала идея объ адвокатской репутациі. Время было искрометное, возбуждающее. И судебный персоналъ, и присяжные, и адвокаты—все находились подъ вліяніемъ той общечеловѣческой правды, которая предполагалась въ основѣ „убѣжденія“. Прокуроры, краснѣя, усиливались выдвинуть вопросъ о правдѣ реальной, но успѣха не имѣли, и выражали свое негодованіе тѣмъ, что, выходя изъ суда, сквозь зубы произносили: „это чортъ знаетъ чтѣ!“—а вечеромъ, за картами, разсказывали анекдоты изъ судебной практики. Получить оправданіе было легко, добиться „смягчающихъ обстоятельствъ“ почти ничего не стоило. Несомнѣнно одержимыя ретрограднымъ бѣшенствомъ газеты—и тѣ, въ виду общаго настроенія, безмолвствовали, приберегая свой ядъ до болѣе благопріятнаго времени, когда можно будетъ бить лежачаго. Даже въ гражданскомъ процессѣ первенствовалъ вопросъ не о томъ, соблюденъ ли срокъ, или не соблюденъ, а о томъ: честно или нечестно? Вопросы же давности, о срокахъ, о правахъ единоутробныхъ и единокровныхъ всецѣло отданы были на драку немногимъ до-реформеннымъ ябедникамъ, которые хотя проникли въ адвокатскую корпорацію, но терпѣли горькую участь. Они упорно держались на реальной почвѣ, но это доказывало ихъ недалекость и алчность (были, впрочемъ, и замѣчательныя, въ смыслѣ

успѣха, исключенія, такъ какъ еслибъ они не польстились на гроши, то скорѣ бы убѣдились, что вопросъ о томъ, честно или нечестно, вовсе не такъ привязчивъ, чтобы нельзя было отъ него отдѣлаться, въ особенности ежели „репутація“ уже составлена.

Выигравши нѣсколько блестящихъ процессовъ, доказавъ, съ одной стороны, что преступленіе есть продуктъ удручающихъ жизненныхъ условій и, съ другой стороны, что пропускъ срока не составляетъ существенной принадлежности правды, Перебоевъ мало-по-малу началъ однакоже пристальнѣе вглядываться въ свое положеніе. И вдругъ въ головѣ у него блеснуло: „Хотя общечеловѣческая правда безспорно хороша, тѣмъ не менѣе для чего-нибудь существуетъ же кодексъ? Чему-нибудь учить же насъ юридическая наука? Когда я являюсь на уголовный процессъ, то, стоя на почвѣ общечеловѣческой правды, почти не чувствую надобности ни въ какой подготовкѣ. Пришелъ, сталъ на мѣсто — слова такъ и полились. Ежели у меня есть въ запасѣ цитата изъ Шекспира, цитата изъ Беккариа — съ меня довольно. Я знаю напередъ, что приговоръ будетъ вынесенъ въ пользу моего кліента. Казалось бы, чего лучше? Но отчего же, за всѣмъ тѣмъ, когда я слушаю прокурора, мнѣ становится не совсѣмъ ловко? И точно такую же неловкость я чувствую, слушая въ гражданскомъ процессѣ моего противника, стараго сутягу. Не оттого ли это происходитъ, что и прокуроръ, и сутяга чувствуютъ подъ собой реальную почву; я же хотя и побѣждаю ихъ, но трудъ мой можно уподобить тѣмъ карточнымъ домикамъ, на которые стдѣтъ только дунуть, чтобы они разлетѣлись во всѣ стороны? Вдругъ нѣкто подойдетъ и дунетъ — куда я тогда поспѣлъ со всею моею репутаціей?“

Волнуемый этими предчувствіями, Перебоевъ обращалъ взоры на Западъ и убѣждался, что и тамъ адвокатъ представляетъ собой два существа: одно, которое паритъ въ эмпирияхъ, и другое, которое упорно придерживается земли. Судятся, напимѣръ, два завѣдомыхъ вора: А. — доказываетъ, что В. его обокралъ; В. утверждаетъ, что не только не онъ обокралъ А., но, напротивъ, А., при помощи цѣлаго ряда мошенничествъ, довелъ его до разоренія. А. защищаетъ адвокатъ Вантрдебишъ, В. — адвокатъ Вантрсенгри. Оба они — люди передовые, провидящіе въ недалекомъ будущемъ золотой вѣкъ; оба законодательствуютъ, громятъ консерваторовъ и ихъ возни. Но ни

тотъ, ни другой не отказываются отъ добычи, составляющей результатъ процесса А. и Б.; ни тотъ, ни другой не ставятъ себѣ вопроса: честно или нечестно? „Думаю я,—говорятъ они своимъ кліентамъ,—что вотъ по статьѣ такой-то можно васъ обълить“. И въ этой надеждѣ выходятъ на судъ, заручившись предварительно задаткомъ собственно за „выходъ“.

Практика, установившаяся на Западѣ и не отказывающаяся ни отъ эмпиреевъ, ни отъ низменностей, положила конецъ колебаніямъ Перебоева. Онъ сказалъ себѣ: „Ежели такъ поступаютъ на Западѣ, гдѣ адвокатура имѣетъ за собой историческій опытъ, ежели тамъ общее не мѣшаетъ частному, то тѣмъ болѣе подобный образъ дѣйствій можетъ быть примѣненъ къ намъ. У западныхъ адвокатовъ золотой вѣкъ недалеко впереди виднѣтся, а они и его не боятся; а у насъ и этой узды, слава Богу, нѣтъ. Съ Богомъ!—только и всего“.

Тутъ же, кстати, и въ самомъ содержаніи судебныхъ процессовъ произошла ошутительная переменна. Въ уголовной сферѣ, вмѣсто прежнихъ театралныхъ воровъ, начали появляться воры заправскіе, къ которымъ ужъ никакъ нельзя было примѣнить кличку жертвъ общественнаго темперамента. Обворовывали земство, банки, растрачивали общественные капиталы, и расхитителями оказывались люди вполне обеспеченные, руководившіе только ичетинками безотносительной алчности и полного нравственнаго растлѣнія. Общечеловѣческой правдѣ не было до нихъ никакого дѣла, слѣдовательно цитаты изъ Шекспира приводить не приходилось; а между тѣмъ выйти на судъ, въ качествѣ защитника блестящаго вора, представлялось и интереснымъ, и небезвыгоднымъ. Въ свою очередь, блестящіе воры и адвокатовъ желали блестящихъ же, такихъ, которые „составили себѣ репутацію“, а не сутягъ, которые гнались за грошами, не помышляя о репутаціи. Но ежели нельзя было выступить на защиту, имѣя въ запасѣ одну общечеловѣческую правду, то, очевидно, предстояло въ иномъ мѣстѣ отыскивать такую мякоть, которая въ данномъ случаѣ была бы какъ разъ въ мѣру. Словомъ сказать, понадобился кодексъ или, по крайней мѣрѣ, такое смѣшеніе его съ цитатами изъ Шекспира, Веккари и проч., которое нельзя было бы прямо назвать оторванностью отъ реальной почвы, а можно было бы только причислить къ особенностямъ адвокатскаго ремесла. И хотя оправдательные вердикты, при такой системѣ, произносились рѣже, нежели во время



торжества общечеловѣческой правды, но смягчающія обстоятельства все-таки давались довольно охотно. И—что всего важнѣе—они давались не подъ вліяніемъ цитать изъ Шекспира, но подъ вліяніемъ статьи кодекса, которая гласить: „но буде“, и т. д. Это „буде“ легло въ основаніе второй адвокатской манеры и сослужило адвокатамъ такую же службу, какъ и общечеловѣческая правда.

Въ это же самое время невѣдомо куда исчезли и политическіе процессы. Въ судахъ сдѣлалось темно, глухо, тоскливо. Судебные пристава вяло произносили передъ пустой залой: „судъ идетъ!“—и увѣренно дремали, зная напередъ, что ихъ вмѣшательства не потребуется. Стало быть, и здѣсь шансы на составленіе адвокатской репутаціи уменьшились.

Оставался гражданскій процессъ; но и тутъ совершился полный переворотъ! Крупныя дѣла, которыя на первыхъ порахъ появились, какъ наслѣдіе до-реформеннаго суда, все рѣже и рѣже выступали на очередь.

Тяжущіяся стороны проявляли склонность къ экономіи и предпочитали мириться на болѣе дешевыхъ основаніяхъ, т.-е. не прибѣгая къ суду или же предлагая за защиту своихъ интересовъ такое вознагражденіе, о которомъ адвокатъ первоначальной формаціи и слышать бы не хотѣлъ.

Притомъ же и адвокатовъ развелось множество, и всякому хотѣлось что-нибудь заполучить. Носились даже слухи, что скоро нечего будетъ „жрать“. Вопросъ: честно или нечестно?—звучалъ какъ-то дико; приходилось брать всякія дѣла, ссылаясь на Шедестанжа и Жюля Фавра, которые-де тоже всякія дѣла берутъ. Характеръ адвокатуры настолько измѣнился, что въ основаніе судоговоренія всецѣло легъ кодексъ, вооруженный давностями, апелляціонными и кассационными сроками и прочею волокитой.

Рѣчь шла уже не о томъ, чтобы громить противника, и даже не о томъ, чтобы бороться съ нимъ, а только о томъ, чтобы его подсесть. Отфѣвшіеся адвокаты, успѣвшіе съ самаго начала снять пѣнку, почти бросили свое ремесло и брались только за тѣ немногія дѣла, которыя выходили изъ ряда обыкновенныхъ. Но и тутъ руководителями являлись не моральнаго свойства поводы, а сумма иска. Ежели на сцену судоговоренія являлся миліонъ, то дѣло было стоящее;

ежели являлась какая-нибудь тысяча, то ищущему заявлялось прямо: „я адвокатурой не занимаюсь“.

Перебоевъ не принадлежалъ къ числу „отъѣвшихся“. Онъ былъ достаточно талантливъ, чтобы покорять наивныя сердца присяжныхъ, но не настолько, чтобы дѣйствовать подавляющимъ образомъ на судебный персоналъ. Поэтому онъ немного имѣлъ гражданскихъ процессовъ и недостаточно обезпечилъ себя, чтобы сказать: „я не нуждаюсь въ практикѣ! уѣду въ Ниццу и буду плевать въ Средиземное море!“ ... Когда-то онъ сказалъ самонадѣянно, положивъ въ сердце своемъ: „скоплю четыреста тысячъ—и шабашъ!“... Но это ему не удалось. Теперь, быть можетъ, онъ удовольствовался бы и мѣньшимъ, чтобы только покончить съ этою канителью, да чортъ дернулъ жениться: пошли дѣти... Такъ на двухъ-стахъ тысячахъ онъ и застылъ... пхе! Приходилось продолжать профессію и остепениться, — да-съ, на одномъ благородствѣ души нынче не выѣдешь. Другія времена, другія вѣянія, другія пѣсни.

Процессъ остепененія совершился въ немъ постепенно, и начало его крылось не столько въ нѣдрахъ адвокатской профессіи, сколько въ тѣхъ вѣяніяхъ, которыя приходили извнѣ, обуздывали ретивость и незамѣтно произвели въ немъ коренной внутренней переворотъ. Сначала вырвалось восклицаніе: „однако!“ — потомъ: „чудеса!“ — потомъ: „это ужъ ни на что не похоже!“ и наконецъ: „неужто же этой комедіи не будетъ положенъ предѣлъ?“ И съ каждымъ восклицаніемъ почва общечеловѣческой правды, вмѣстѣ съ теоріей жертвъ общественнаго темперамента, все больше и больше погружалась въ волны забвенія. Даже цитаты изъ Шекспира и Беккариа позабылись. Износила ли башмаки Гертруда, или не износила, — развѣ это не безразлично? Призраки растаяли; на ихъ мѣстѣ явился кодексъ и всецѣло овладѣлъ нравственными и умственными силами Перебоева.

Утромъ, часовъ около десяти, Перебоевъ уже одѣтъ, кончилъ свой первый завтракъ и садится къ письменному столу. Онъ смотритъ на вывѣшенную на стѣнѣ табличку и бормочетъ: „Въ 2 часа въ коммерческомъ судѣ дѣло по спору о подлинности векселя въ двѣ тысячи рублей“ ... гм!.. „Въ 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часа дѣло въ окружномъ судѣ о кражѣ со взломомъ рубля семидесяти копѣекъ... Защита—по назначенію отъ суда“ ... Немного! Придется ли, нѣтъ ли, за первое дѣло получить двѣсти рублей... Затѣмъ онъ отворилъ ящикъ и пересчи-

таль выручку предстоящихъ дней — нашлось около полутора ста рублей, только и всего... О, чортъ возьми! Этакъ и съ голоду, пожалуй, подохнешь! Еслибъ Перебоевъ не запасся мѣстомъ консультанта въ двухъ-трехъ акціонерныхъ обществахъ, съ опредѣленнымъ жалованьемъ, пришлось бы зубы на полку класть. Кліентъ нынче мелкій, безобразный. Начнетъ излагать дѣло, такъ душу выворотить. А потомъ заключишь съ нимъ условіе, выиграешь дѣло, а онъ денегъ не платитъ. Въ два года двѣсти-то рубликовъ изъ него не вытеребишь. Нѣтъ, надо построже... по крайней мѣрѣ, чтобы половину на столъ, остальное — за-руки. Вотъ, по настоящему, какъ надо. Къ счастію, вечеромъ у него консультація, за которую онъ получитъ наличными двѣсти рублей... Пакетикъ и въ немъ двѣ радужныхъ — святое дѣло.

Онъ быстро распечатываетъ накопившіяся за утро письма, повѣстки и наконецъ вскакиваетъ какъ ужаленный: передъ нимъ билетъ на балъ въ пользу общества распространенія благонамѣренности; цѣна 10 руб., а болѣе — что пожелаете.

— О, чортъ возьми! — восклицаетъ онъ: — и безъ того вездѣ провоняло благонамѣренностью... А дѣлать нечего, отдать десять рублей все-таки придется. Эй! Прохоръ! давно этотъ билетъ принесли?

— Съ часъ назадъ. Пришелъ лакей, оставилъ, а сейчасъ опять воротился. Вотъ и книга! извольте расписаться.

Перебоевъ беретъ книгу и расписывается: билетъ получилъ и деньги уплатилъ.

— Возьми, — говоритъ онъ Прохору: — но ежели впередъ съ такими билетами будутъ приходиться, говори, что баринъ въ Москву уѣхалъ.

— Десять рублей да десять рублей, — ворчитъ онъ: — каждый день раскошеливайся! Деньги такъ и жрутъ, а благонамѣренность все-таки за хвостъ поймать не могутъ. Именно только вонь отъ нея.

Входитъ жена.

— Ты сегодня возьмешь экипажъ?

— Бери, матушка, пользуйся!

— Ты совѣмъ о насъ забываешь. Наташѣ платьице нужно; мнѣ тоже давно обѣщала. Право, срамъ! у всѣхъ жены прилично одѣты, я одна отречанная хожу.

— Мало у тебя платьевъ!

— Есть платья, да не такія. Не могу же я въ прошлогоднихъ



платяхъ въ обществѣ показаться! Зачѣмъ же ты женился, если не въ состояніи жену одѣвать?

Перебоевъ раздражительно выдвигаетъ ящикъ изъ письменнаго стола и показываетъ его женѣ.

— На, смотри! много денегъ?

Къ счастью, въ передней раздается звонокъ, потомъ другой, третій.

— Чтò же? — настаиваетъ жена: — дашь денегъ?

— Ну, на! ну, на! ѣшь! глотай! — выбрасываетъ онъ одну за другой некрупныя ассигнаціи, разсыпавшіяся по дну ящика.

— Такъ я поѣду, — хладнокровно отвѣчаетъ жена, собирая деньги.

— И поѣзжай! и бросай деньги! и бросай!

Звонки возвращаютъ кліентовъ. Бьетъ одиннадцать. Это — часъ пріема; Перебоевъ заглядываетъ въ кліентскую, гдѣ ожидаетъ дама въ сопровожденіи шестилѣтняго сына, и двое мужчинъ.

— Пожалуйте! — приглашаетъ Перебоевъ даму.

Дама входитъ въ кабинетъ, держа за руку сына, и начинаетъ жеманиться.

— Мой мужъ больной, куда не выѣзжаетъ, — начинаетъ она чуть слышно.

— Прошу васъ, сударыня, объясняться громче.

— Мой мужъ больной, — повторяетъ дама: — а меня ни за что не хотѣлъ къ вамъ пускать. Вотъ я ему и говорю: „самъ ты не можешь ѣхать, меня не пускаешь — кто же, душенька, по нашему дѣлу будетъ хлопотать?“

— Ну-съ, въ чемъ же дѣло?

— Позвольте мнѣ досказать... Наконецъ онъ рѣшилъ: „возьми, говоритъ, съ собою Сережу и поѣзжай къ господину адвокату“. И вотъ...

Дама растерянно оглядываетъ стѣны кабинета и произноситъ:

— Ахъ, сколько у васъ книгъ! Неужто это все законы?

— Позвольте узнать, въ чемъ заключается ваше дѣло? — настаиваетъ Перебоевъ.

— Ахъ, насъ ужасно обидѣли, господинъ адвокатъ! Мужъ мой, надо вамъ сказать, купецъ, въ Зеркальномъ ряду торгуетъ... Впрочемъ, вѣдь это прежде считалось, что купцомъ быть стыдно, а нынче совсѣмъ никакого стыда нѣтъ... Не правда ли, господинъ адвокатъ?

— Конечно, конечно... Но къ дѣлу, сударыня, къ дѣлу!

— И вотъ у меня есть сестра, которая тоже за купцомъ выдана, онъ бакалейнымъ товаромъ торгуетъ... И вотъ моему мужу необходимо было одолжиться... Къ кому же обратиться, какъ не къ родственникамъ?.. И вотъ Аггей Семенычъ—это мужъ моей сестры—отсчиталь двѣ тысячи и сказалъ: „для милого дружка и сережка изъ ушка“...

— Сударыня!—стонеть Перебоевъ.

— Нѣтъ, ужъ позвольте мнѣ, господинъ адвокатъ, по порядку, потому что я собьюсь. И вотъ мужъ мой выдалъ Аггею Семенычу вексель, потому что хоть мы люди свои, а деньги все-таки счетъ любить. И вотъ, наканунѣ самаго Покрова, приходитъ срокъ. Является Аггей Семенычъ и говоритъ: „деньги!“ А у мужа на ту пору не случилось. И вотъ онъ говоритъ: „покажите, братецъ, вексель“... Ну, Аггей Семенычъ, по родственному: „извольте, братецъ!“ И ужъ какъ это у нихъ случилось, только мужъ мой этотъ самый вексель проглотилъ...

— Однако!—изумляется Перебоевъ.

— Только объ этомъ не надо на судѣ говорить, господинъ адвокатъ... вы ради Бога!.. И вотъ вчера мужъ получилъ отъ господина судебного слѣдователя повѣстку... Ахъ, господинъ адвокатъ, помогите!

Совершенно неожиданно дама становится на колѣни. Перебоевъ бросается къ ней и строго говоритъ:

— Встаньте! я—не Богъ!

— Но позвольте вамъ однако сказать,—продолжаетъ дама, вставая:—гдѣ же доказательства? Аггей Семенычъ говоритъ, что мужъ занялъ у него двѣ тысячи, а мужъ говоритъ: „никогда я, братецъ, вашихъ денегъ и не нюхаль“. Аггей Семенычъ говоритъ: „былъ вексель!“ а мужъ отвѣчаетъ: „гдѣ онъ? покажи!“

— Однакожъ вы сами сейчасъ сказали...

— Мало ли чтò я сама... Можетъ быть, я не въ своемъ разумѣ? Можетъ быть, я все солгала... Нѣтъ, еще какъ судъ посудить! Можно всякую напраслину взвести...

Дама вынимаетъ платокъ и начинаетъ сморкаться. На глазахъ у нея показываются крошечныя-крошечныя слезинки.

— Вѣроятно у васъ есть съ собою записка?—нетерпѣливо спрашиваетъ Перебоевъ.

— Никакой записки у меня нѣтъ. Мужъ даже сказывать о дѣлѣ не велѣлъ—это ужъ я сама.

— Ну, такъ вотъ что: когда окончится слѣдствіе, тогда и приходите. Можетъ быть, по слѣдствію окажется, что вашъ мужъ правъ; тогда и дѣло само собою кончится. А теперь я ничего не могу.

— Нѣтъ, господинъ адвокатъ, ужъ вы помогите!

Дама дѣлаетъ движеніе, какъ будто опять хочетъ встать на колѣни.

— Говорю вамъ, сударыня, что до конца слѣдствія мои услуги бесполезны, — раздражительно говоритъ Перебоевъ, бросаясь, чтобы остановить ее.

— Такъ вы скажите, по крайней мѣрѣ, какъ намъ быть. Мужъ отъ всего отпереться хочетъ: знать не знаю, вѣдать не вѣдаю... Только какъ бы за это намъ хуже не было! Аггей Семенычъ слѣдователя-то, поди, ужъ задалилъ.

— Какія вы глупости говорите! Повторяю вамъ: теперь я ничего не могу, а вотъ когда вашего мужа къ суду позовутъ, тогда пусть онъ придетъ ко мнѣ.

Дама вновь начинаетъ жеманиться и никакъ не хочетъ уйти. Перебоевъ въ отчаяніи отворяетъ дверь въ кліентскую и кричитъ:

— Господа, кто прежде пришелъ, пожалуйте!

— Помогите, господинъ адвокатъ! — стонетъ дама.

— Всенепремѣнно-съ. Но теперь прошу васъ оставить меня, потому что мнѣ время дорого.

Перебоевъ не отходитъ отъ открытой настежь двери, въ которую уже вошелъ новый кліентъ, и наконецъ дѣлаетъ видъ, что позоветъ дворника, ежели дама не уйдетъ. Дама, ухвативъ за руку сына, съ негодованіемъ удаляется.

Продолжается дефилированіе кліентовъ. Ихъ набралось въ кліентской уже пять человѣкъ. Первый начинаетъ съ того, что говоритъ:

— Знаю я, что моя просьба не дѣльная, однако...

— Позвольте васъ попросить оставить меня, — рѣшительно произноситъ Перебоевъ, не давая даже кончить кліенту.

Кліентъ удивленно смотритъ на него; но, видя, что господинъ адвокатъ не шутитъ, поспѣшно обращается вспять, нагнувъ голову и какъ бы уклоняясь отъ удара.



Слѣдующій кліентъ принесъ купчую на домъ въ Чекушахъ и проситъ совершить вводъ во владѣніе. Въ перспективѣ—полтора ста рублей.

— Я этими дѣлами...—начинаетъ Перебоевъ, но сейчасъ же спохватывается и говоритъ:—Извольте, съ удовольствіемъ, только условіе на такую ничтожную сумму, какъ полтора ста рублей, писать, я полагаю, бесполезно...

На этотъ разъ кліентъ оказывается чивый; онъ выкладываетъ на столъ условленную сумму и говоритъ:

— Только, знаете, чтобы вѣрно. А послѣ ввода—милости просимъ закусить. Давненько мы съ женой подумывали...

Перебоевъ не слушаетъ его, беретъ документъ и деньги и пишетъ расписку.

За то третій кліентъ сразу приводитъ Перебоева въ восхищеніе.

— Въ городѣ Бостонѣ, — говоритъ онъ: — Ѳеодоръ Сергѣичъ Ковригинъ умеръ и оставилъ послѣ себя полтора миліона долларовъ. Теперь по газетамъ разыскиваютъ наслѣдниковъ.

— Ну-съ?

— Мы тоже—Ковригины...

Воображеніе Перебоева, быстро нарисовавшее ему картину путешествія въ Америку, совѣщанія съ мѣстными адвокатами и наконецъ цѣлую кучу блестящихъ долларовъ, изъ которыхъ навѣрное добрая треть перейдетъ къ нему (вѣдь въ подобныхъ случаяхъ и половины не жалѣютъ), начинаетъ столь же быстро потухать.

— Однофамильцы Ковригина или родственники?—терпѣливо спрашиваетъ онъ.

— То-то что... Мы ужъ и въ посольствѣ побывали, и поколѣнную роспись видѣли... и у него Анна Ивановна, и у насъ Анна Ивановна...

— Я не понимаю. Объяснитесь, пожалуйста.

— И ему Анна Ивановна внучатной сестрой приходится, и намъ Анна Ивановна тоже приходится внучатной сестрой.

— Одна и та же Анна Ивановна?

— То-то что... Не потрудитесь ли посмотреть?

— Да вы слышали когда-нибудь объ умершемъ Ковригинѣ?

— То-то что...

— Жива эта Анна Ивановна?

— Наша-то давно померла, а евоная—Христось ее знаетъ.

— Вы у кого-нибудь изъ адвокатовъ были, кромѣ меня?

— Какъ же, у пятерыхъ ужъ были.

— Чтò же они вамъ сказали?

— Да чтò! Смѣются—только и всего.

— Такъ зачѣмъ же вы ко мнѣ пришли? — уже раздраженно кричитъ Перебоевъ: — вы думаете, что у меня празднаго времени много?

— То-то что мы думали: и у него Анна Ивановна, и у насъ Анна Ивановна... Можетъ быть, господинъ адвокатъ разбереть... Денегъ-то ужъ очень много, господинъ адвокатъ!

— Позвольте васъ попросить оставить меня!

— Съ удовольствіемъ. Мы, признаться сказать, и то думали: незачѣмъ, молъ, ходить, да такъ, между дѣломъ... Дѣловъ нонѣ мало, публика больше въ долгъ норовить взять... Вотъ и думаемъ: не *наши* ли, молъ, это Ковригинъ?

— Да говорите же толкомъ: какой еще вашъ Ковригинъ? — опять начинаетъ волновать Перебоева надежда.

— Да Иванъ Аванасычъ. Онъ доподлинно намъ сродственникомъ приходился, и тоже лѣтъ сорокъ назадъ безъ вѣсти пропалъ.

— Ну-съ?

— Только этоть, умершій-то, Ѳедоромъ Сергѣичемъ прозывается...

— Позвольте мнѣ просить васъ оставить меня.

Кліентъ удаляется. Перебоевъ опять высовывается въ дверь и провозглашаетъ:

— Господа! кто на очереди? пожалуйте!

Но кліентская пуста. Сейчасъ въ ней ожидало еще два человѣка, и вдругъ—нѣтъ никого.

— Прохоръ! — въ изступленіи кричитъ Перебоевъ: — гдѣ кліенты!

— Ушли-съ. Сказали: долго ужъ очень ждать приходится—и ушли.

— И ты не могъ удержать? — хорошъ гусь! не могъ сказать, что я сейчасъ...

— Да что же, коли они ушли.

— Ушли! Свинья ты — вотъ что! Вели завтракать подавать.

Перебоевъ задумывается. Цѣлыхъ два часа онъ употребилъ на пустяки, а между тѣмъ два клиента словно сквозь землю провалились. Можетъ быть, въ нихъ-то и есть вся суть: можетъ быть, на нихъ-то и удалось бы заработать... Всегда съ нимъ такъ... Третьяго дня тоже какая-то дурища задержала, а серьезный клиентъ ждалъ, ждалъ и ушелъ. Полтора ста рубликовъ — хорошъ заработокъ! Вчера —ничего, третьяго-дня —ничего, сегодня —полторы сотни.

— Прохоръ! — кричитъ онъ: — на будущее время, ежели ба-рыни шлятся будутъ, говори, что дома нѣтъ. Ахъ, юродивыя!

Онъ наскоро завтракаетъ и отправляется въ судъ. Споръ о подлинности векселя онъ мгновенно проигрываетъ, зато процессъ о кражѣ со взломомъ выигрываетъ блестящимъ образомъ.

— Всегда такъ со мной! Какъ только по назначенію суда защищаю — непременно выиграю, — ропщетъ онъ вполголоса, почти съ ненавистью взирая на подошедшаго къ нему оправданнаго клиента.

— Скажите по совѣсти: украли? — спрашиваетъ онъ.

— Укралъ-съ, — шопотомъ отвѣчаетъ оправданный.

— Ну, идите и воруйте. Только мнѣ на зубокъ не попадайтесь. Я... васъ...

Въ половинѣ седьмого Перебоевъ возвращается домой — изнуренный. Жена встрѣчаетъ его словами:

— А мы платье купили Наташѣ — модель изъ Парижа; мнѣ Изомбаръ черезъ недѣлю шить обѣщала. Только будетъ стоить около трехсотъ рублей.

— На какія же ты деньги разсчитываешь?

— Обыкновенно... Принесутъ счетъ, ты и заплатишь!

— Дожидайся!

Онъ выскакиваетъ изъ-за стола и, не докончивъ обѣда, убѣгаетъ въ кабинетъ. Тамъ онъ выкуриваетъ папироску за папироской и высчитываетъ въ умѣ, сколько остается работать, чтобы составился капиталъ въ четыреста тысячъ.

Оказывается, что не хватаетъ около ста-девяноста-четыре-хъ тысячъ. Правда, что у него имѣется въ виду процессъ, который сразу можетъ дать ему сто тысячъ, но это еще вопросъ, достанется ли онъ ему. Около этого процесса цѣлая стая адвокатовъ похаживаетъ: „позвольте хоть документики просмотрѣть“... Къ счастью, онъ ужъ успѣлъ заручиться, видѣлъ документы и убѣдился, что дѣйствительно



четыре милліона у казны украдены. Но онъ такъ ловко успѣлъ выяснитъ отвѣтчику суть дѣла, что самъ воръ убѣдился, что онъ ничего не укралъ и даже, пожалуй, кое-что своего приложилъ.

— Итакъ, вы сами видите, какъ легко оклеветать человѣка! — сказалъ онъ, съ чувствомъ пожимая Перебоеву руки.

— Еще бы! тутъ и возразить нечего! — отвѣтилъ Перебоевъ горячо: — на основаніи такой-то статьи такого-то тома...

— Совершенно съ вами согласенъ; но только вотъ чтò: какъ бы защитникъ противной стороны...

— И онъ ничего возразить не можетъ. Дѣло ясное, правое... святое!

— Именно... святое!

На вопросъ о гонорарѣ Перебоевъ объявилъ прямо цифру — сто тысячъ рублей, на что кліентъ-воръ нѣсколько сомнительно отвѣтилъ:

— Помогите, голубчикъ!

Съ тѣхъ поръ прошло два мѣсяца. Въ теченіе этого времени воръ аккуратно увѣдомлялъ Перебоева, что дѣло все еще находится въ томъ вѣдомствѣ, въ которомъ возникъ начеть, что на дняхъ оно изъ одной канцеляріи перешло въ другую, что оно округляется, и т. д.

Перебоевъ, въ свою очередь, убѣждалъ вора, что напрасно онъ самъ беспокоится слѣдить за дѣломъ, что онъ, какъ адвокатъ, можетъ и въ административныхъ учрежденіяхъ имѣть хожденіе; но воръ, вмѣсто яснаго отвѣта, закатывалъ глаза и повторялъ:

— Помогите, голубчикъ!

А въ обществѣ между тѣмъ ходили самыя разнообразныя слухи. Одни рассказывали, что воръ пошелъ на соглашеніе: возвратить половину суммы въ теченіе безконечнаго числа лѣтъ безъ процентовъ; другіе говорили, что начеть и вовсе сложень.

„Странно однакожь! — размышлялъ Перебоевъ: — вѣдь все это и я могъ бы для него устроить!“

Вотъ и теперь, по поводу заказаннаго женою платья, онъ вспомнилъ объ этомъ процессѣ, и рѣшился завтра же ѣхать къ вору и окончательно выяснитъ вопросъ, поручаетъ ли онъ ему свое дѣло, или не поручаетъ. Ежели поручаетъ, то не угодно ли пожаловать къ нотаріусу для заключенія условія; ежели не поручаетъ, то...

Онъ даже вздрогнулъ при этой мысли. И тутъ же, кстати, вспомнилъ объ утреннемъ посѣщеніи Ковригина. Зачѣмъ, съ какой стати

онъ его прогналъ? Можетъ быть, это тотъ самый Ковригинъ и есть? Иванъ Аванасичъ, Фодоръ Сергѣичъ—развѣ это не все равно? Здѣсь былъ Иванъ Аванасичъ, пріѣхалъ въ Америку — Фодоромъ Сергѣичемъ назвался... развѣ этого не бываетъ? И Анна Ивановна къ тому же... и тутъ Анна Ивановна, и тамъ Анна Ивановна... А онъ погорячился, прогналъ и даже адреса не спросилъ, — ищи теперь, лови его!

— Эй, Прохоръ! давеча здѣсь господинъ Ковригинъ былъ — спросилъ ты, гдѣ онъ живетъ?

— Не спрашивалъ-съ.

— Ну, такъ и есть! Фоданъ ты, братецъ! — укоряетъ Перебоевъ Прохора и, оставшись одинъ, продолжаетъ мечтать.

„Со мной всегда такъ. Погорячусь, прогоню, а потомъ раскаиваюсь. Полтора милліона долларовъ! Сколько на этомъ процессѣ деньжищъ заработать бы можно — страсть! На этомъ да еще на томъ... на четырехъ-милліонномъ... Сразу бы въ норму вошелъ — и шабашъ! Нѣтъ, господа, довольно съ меня! Лучше скромненько гдѣ-нибудь въ Баденъ-Баденѣ жить, нежели по Петербургу рыскать да петербургскую сырость глотать! Разумѣется, отъ времени до времени — отчего-жъ?... Напримѣръ, ежели процессъ въ родѣ Ковригинскаго... можно семейство въ Баденъ-Баденѣ оставить, а самому на время въ Петербургъ пріѣхать“ ...

Мечтанія эти прерываетъ мѣрный бой столовыхъ часовъ. Ужъ половина девятого — пора и на консультацію. И полтораста рублей на полу не поднимешь. Перебоевъ посиѣшно одѣвается, беретъ, по привычкѣ, портфель подъ мышку и уѣзжаетъ.

Консультація задлилась довольно поздно. Предстояло судиться двумъ ворами: первый воръ укралъ сто тысячъ, а второй переукралъ ихъ у него. Къ несчастію, первый воръ погорячился и пожаловался на второго. Тогда перваго вора спросили: „а самъ ты гдѣ сто тысячъ взялъ?“ Онъ смѣшался и просилъ позволенія подумать. Возникъ вопросъ: которому изъ двухъ взять грѣхъ на себя? — вотъ объ этомъ и должна была разсудить консультація. Очевидность говорила противъ перваго вора.

— Вы сами себя выдали, — убѣждалъ его второй воръ: — вмѣсто того, чтобы жаловаться, вамъ слѣдовало бы просто сказать мнѣ: подѣлимся, другъ! — мы бы и подѣлились.

Но первый воръ упорствовалъ.

— А вы зачѣмъ у меня украли?—возражалъ онъ:—воровали бы въ другомъ мѣстѣ, я и слова бы не сказала... Нѣтъ, батюшка, это не порядки! Люби кататься, люби и саночки возить!

Консультація подала мнѣніе въ пользу второго вора, основываясь на томъ соображеніи, что все равно, — первому вору суда не миновать; но въ то же время нашла справедливымъ, чтобы второй воръ уплатилъ первому хоть десять тысячъ рублей на обзаведеніе въ не столь отдаленныхъ мѣстахъ.

— Вы пойдете къ слѣдователю,—формулировали свое мнѣніе консультанты, обращаясь къ первому вору:—и откажетесь отъ перваго показанія; скажите: онъ не укралъ у меня, я самъ ему деньги на сохраненіе отдалъ, а онъ и не зналъ, откуда онѣ ко мнѣ пришли...

— Разумѣется! почему же я могъ знать! — прервалъ второй воръ.

— Да-съ, а потомъ вашъ коллега вамъ десять тысячъ отсчитаетъ...

— Съ удовольствіемъ!—вскричалъ второй воръ.—Хоть украденныя деньги у меня ужъ отняли, но я готовъ и изъ своихъ...

— Но вѣдь меня къ чортовой матери сошлютъ!—стоналъ первый воръ.

— Ничего. Сошлютъ, а потомъ начнутъ постепенно приближать. И не увидите, какъ время пройдетъ.

Консультація происходила на квартирѣ у второго вора. Когда она кончилась, консультантамъ роздали пакетики съ вознагражденіемъ—святое дѣло!—и пригласили отъужинать.

Перебоевъ возвратился домой въ два часа ночи, въ подпитіи. Бросая въ ящикъ письменнаго стола деньги, онъ однакожь сосчиталъ, что сегодня заработано триста рублей. Затѣмъ поспѣшно раздѣлся и бросился въ постель, бормоча:

— Еслибы каждый день по триста рублей, это составило бы въ мѣсяць... въ годъ... Господа! обратимте наши взоры на Западъ!..



### 3.—Земскій дѣятель.

Въ губернскомъ городѣ N издавна существовало двѣ дворянскихъ партіи: Живоготовская и Красновская. То Живоготовыхъ выбирали въ предводители, то Красновыхъ. Натурально, и тѣ, и другіе относились другъ къ другу враждебно. Не только представители партій, но и ихъ кліенты не вели взаимнаго хлѣбосольтва, играли въ клубѣ въ карты особнякомъ, не цѣловались, а только, въ крайнемъ случаѣ, сухо раскланивались между собой. Ежели у Живоготова назначались обѣды по воскресеньямъ, то и Красновъ по тѣмъ же днямъ устраивалъ и у себя обѣды. При этомъ и тотъ, и другой старались приманить къ себѣ кого-нибудь изъ крупныхъ представителей мѣстной администраціи или заѣзжаго человѣка. Но торжествомъ партіи считалось, когда на этихъ тенденціозныхъ обѣдахъ появлялся перебѣжчикъ изъ противоположнаго лагеря. Тогда трубили побѣду, сажали перебѣжчика на видное мѣсто и поздравляли его.

По понедѣльникамъ партіи считались.

— Живоготовъ до пяти часовъ обѣдать не садился, — говорили красновцы: — а собралось всего самъ-пятнадцать человѣкъ.

Или:

— Красновы вчера губернатора ждали. Думали: два воскресенья сряду не былъ, — навѣрное въ третье пріѣдетъ; а онъ и вчера у Живоготова обѣдалъ, и т. д.

Съ приближеніемъ выборовъ борьба партій усиливалась; но такъ какъ время было патріархальное и никакихъ вопросовъ не полагалось, то и борьба исключительно велась на почвѣ обѣдовъ, баловъ и другихъ увеселеній. Посылались въ Москву нарочные за винами, закусками и фруктами; закупались впередъ живые осетры, стерляди и проч.; въ усадьбахъ откармливалась птица, отпаивались телята. Съѣхавшійся со всѣхъ концовъ губерніи дворянскій людъ съ утра до ночи толпился въ квартирцахъ, занимаемыхъ Живоготовымъ и Красновымъ, пилъ и ѣлъ, и въ концѣ концовъ наѣдалъ столько, что сами радушные амфитріоны приходили въ изумленіе. Надо впрочемъ сказать, что Живоготовы почти всегда побѣждали; Красновы же попадали въ предводители рѣдко и по большей части ограничивались только оппозиціей, настолько грозной, что съ нею нельзя было не считаться.

Живоглотовы были проще, но вальяжнѣе. Представители этого стариннаго рода дослуживались до хорошихъ чиновъ и уже подѣ старость прѣѣзжали на родину, чтобы послужить господамъ дворянамъ. Одинъ былъ даже генераль-лейтенантъ и сряду нятъ трехлѣтій прослужилъ въ предводителяхъ. Красновы были уметвеннѣе, но крупныхъ чиновъ не имѣли. Все больше титулярные совѣтники и коллежскіе секретари. Они слѣдили за политикой и могли объяснить, почему въ 1848 году Луи-Филиппъ палъ. Одинъ изъ Красновыхъ завелъ въ своемъ имѣніи травосѣяніе, о чемъ Живоглотовымъ и во снѣ не снилось. Другой Красновъ хлопоталъ объ учрежденіи въ родномъ городѣ общества сельскаго хозяйства и былъ дѣятельнымъ членомъ мѣстнаго статистическаго комитета. Словомъ сказать, Красновы имѣли всѣ права, чтобы стоять во главѣ мѣстной интеллигенціи, однакожъ и за всѣмъ тѣмъ Живоглотовы почти всегда побѣждали.

Но въ половинѣ пятидесятихъ годовъ повѣяло новымъ духомъ. Послышались выраженія: „либерализмъ, либералы, либеральныя партіи“. Красновы поняли, а Живоглотовы не поняли. Когда, въ виду предстоящей крестьянской реформы, состоялись дворянскіе выборы, то Николаю Николаичу Краснову безъ труда удалось одержать блестящую побѣду надъ бывшимъ предводителемъ изъ рода Живоглотовыхъ. Николай Николаичъ сумѣлъ объяснить суть дѣла, не скрылъ, что дворянству предстоитъ умаленіе, но въ то же время указалъ, какъ слѣдуетъ поступать, чтобы довести угрожающую опасность до минимума. Между прочимъ онъ подалъ совѣтъ постепенно очищать помѣщичьи имѣнія отъ грубіановъ, переселять крестьянъ на новыя мѣста, записывать ихъ въ дворовые и т. д. Напротивъ того, Живоглотовъ, растерянный и безхитростный, ничего не умѣлъ объяснить, а только твердилъ одно:—Какъ будетъ угодно Богу, такъ и станется-сь; а я, съ своей стороны, готовъ-сь.

— Экъ вывезъ!—роптали даже такіе дворяне, которые совсѣмъ очумѣли отъ страха, и цѣлыми партіями переходили на сторону Краснова.

Красновъ провелъ дѣло блестяще. Онъ, во главѣ большинства комитета, написалъ проектъ, въ каждой строкѣ котораго сквозила тонкая политика. Безусловно соглашаясь съ мыслью о необходимости упраздненія крѣпостнаго права, онъ предлагалъ устроить это дѣло такъ, чтобы крестьяне сразу почувствовали, а помѣщики ничего не

ощутили. Самые заскорузлые крѣпостники ничего не имѣли сказать противъ этого; нашлись только два радикала, которые подшучивали надъ дилеммой, поставленной Красновымъ, и подали свой проектъ. Справедливость требуетъ однакожъ сказать, что оба радикала были изъ глухого уѣзда, изобиловавшего песками и болотами, что и давало ихъ проекту совсѣмъ не то значеніе, на которое они рассчитывали.

— Я не радикалъ, — гордоговорилъ Красновъ: — я либераль-съ. У меня ни одной пяди песку нѣтъ; я надѣляю крестьянъ настоящей, заправской землей, и потому на выкупъ не согласенъ-съ.

При Красновѣ же совершилось и самое освобожденіе. Условія, въ которыхъ оно произошло, были не совсѣмъ тѣ, которыя значились въ его проектѣ, но это уже зависѣло не отъ него. Всѣмъ было извѣстно, что, участвуя въ работахъ редакціонныхъ комиссій, онъ отстаивалъ свою мысль, сколько могъ, и слѣдовательно являлъ себя вполне достойнымъ довѣрія, которымъ его облекли. Онъ откровенно давалъ отчетъ всякому помѣщику о своихъ дѣйствіяхъ, подавалъ благіе совѣты и вмѣстѣ съ прочими негодовалъ на неудачный выборъ мировыхъ посредниковъ, изъ которыхъ многіе, какъ онъ увѣрялъ, состояли въ сношеніяхъ съ заграничными агитаторами. Но такъ какъ они въ то же время были и мѣстные землевладѣльцы, то онъ полагалъ, что предстоящіе выборы представляютъ очень удобный случай остепенить ихъ.

Когда наступили новые выборы, онъ, къ общему удивленію, отказался отъ баллотировки, ссылаясь на усталость и предлагая обратиться къ одному изъ Живогловыхъ. Затѣмъ онъ придалъ собранію исключительно полемическій характеръ. Посредниковъ призывали „къ столу“, требовали отчета, уличали и вообще производили веселую травлю. Посредники отчасти ѣжились и благоразумно удалялись изъ зала собранія, но большинство выслушивало обвиненіе въ гордомъ молчаніи. Травля оказывалась безсильною, но въ то же время забавною и популярною. Самъ Живогловъ подаль Краснову руку въ знакъ примиренія и сказалъ: „милости просимъ откушать!“

Нѣсколько дней сряду обѣдалъ Красновъ у своего бывшего противника, и каждый разъ въ пользу его закалала тельца упитанна. Никто не могъ проникнуть въ сущность политики Краснова, и всѣ удивлялись его великодушію.

Но Красновъ вовсе не великодушничалъ, а просто рассчитывалъ



на себя и въ то же время приподнималъ завѣсу будущаго. Во-первыхъ, затраты, которыя онъ сдѣлалъ въ поискахъ за предводительствомъ, отозвались очень чувствительно на его общемъ благосостояніи; во-вторыхъ, проживши нѣсколько мѣсяцевъ въ Петербургѣ и потолкавшись между „людьми“, онъ на самое предводительство началъ смотрѣть совѣмъ иными глазами. Онъ просто не вѣрилъ, что званіе это можетъ имѣть будущность.

По обыкновенію всѣхъ русскихъ, онъ слишкомъ далъ волю воображенію, такъ что передъ глазами его уже мелькала заря какой-то новой эры. Онъ говорилъ себѣ, что такой рѣшительный шагъ, какой представляла собой отмѣна крѣпостного права, не можетъ остаться безъ дальнѣйшихъ послѣдствій; что раздѣленіе на сословія не удержится, несмотря ни на какія искусственныя мѣры; что на мѣсто отдѣльныхъ сословныхъ группъ явится нѣчто всеобщее и наконецъ выступитъ на сцену „земля“. Однимъ словомъ, въ его умѣ уже сформировалось представленіе о чемъ-то въ родѣ земскихъ учреждений, которыя дѣйствительно и не замедлили.

Вотъ гдѣ настоящее его мѣсто. Не на стражѣ мелкихъ частныхъ интересовъ, а на стражѣ „земли“. Къ тому же, идея о всеобщности совершенно естественно связывалась съ идеей о служебномъ вознагражденіи. Почетъ и вознагражденіе подавали другъ другу руку, а это было далеко не лишнее при тѣхъ ущербахъ, которые привела за собой крестьянская реформа, — ущербахъ, оказавшихся очень серьезными, несмотря на то, что идеаль реформы формулировался словами: „чтобы помѣщикъ не ощутилъ“...

Онъ даже пенялъ на себя за то, что поступилъ нѣсколько неосмотрительно, призывая къ отвѣту тѣхъ черезъ-чуръ бойкихъ мировыхъ посредниковъ, которые слишкомъ рьяно приступили къ осуществленію освободительной задачи. Но ему необходимо было это для того, чтобы заранѣе заручиться избирательнымъ большинствомъ, и онъ достигъ этого. Что касается до обиженныхъ посредниковъ, то, по размысленіи, онъ сказалъ себѣ: „перемелется — мука будетъ“, — и успокоился. Большинство ихъ, конечно, и само невдолгъ пойметъ тщету своихъ потугъ; другіе убѣдятся, что имѣть дѣло съ Красновымъ все-таки удобнѣе, нежели съ какимъ-нибудь Живоготовскимъ партизаномъ; наконецъ, третьи, наиболѣе убѣжденные, утомятся систематическимъ противодѣйствіемъ и отчужденностью. А онъ возь-

меть въ руки знамя и будетъ твердо держать его на стражѣ интересовъ земли.

Когда, спустя лѣтъ пять послѣ крестьянской реформы, обнародованы были земскія учрежденія, самъ Живоготовъ согласился, что для этого дѣла не сыщется въ губерніи болѣе подходящаго руководителя, какъ Красновъ. Въ первомъ же губернскомъ земскомъ собраніи, Николая Николаича выбрали громаднымъ большинствомъ въ предсѣдатели губернской управы, съ ежегоднымъ жалованьемъ въ четыре тысячи рублей. Разумѣется, онъ началъ съ того, что отказывался отъ жалованья, говоря, что готовъ послужить землѣ безвозмездно, что честь, которую ему дѣлаютъ... понятіе о долгѣ... наконецъ, обязанность... Но ему такъ настоятельно гаркнули въ отвѣтъ: „просимъ! просимъ!“ что онъ вынужденъ былъ согласиться. Въ тотъ же день у Живоготова былъ обѣдъ въ честь вновь избранныхъ дѣятелей земства.

— Теперь ужъ не я хозяинъ въ губерніи, а нашъ почтеннѣйшій Николай Николаичъ,—скромно произнесъ хозяинъ и, поднявъ бокаль, крикнулъ: „уррра!“

— Нѣтъ, не я хозяинъ, а вы, многоуважаемый Поліевъ Семенычъ!—еще скромнѣе возразилъ Красновъ:—вы всегда были любимымъ человѣкомъ нашей губерніи, вы остаетесь имъ и теперь. Вы, такъ сказать, прирожденный предсѣдатель земскаго собранія; отъ вашей просвѣщенной опытности будетъ зависѣть направленіе его рѣшеній; я же—ничего больше, какъ скромный исполнитель указаній собранія и вашихъ.

Послѣ обѣда гости были настолько на-веселѣ, что потребовали у Краснова спича. И онъ, какъ *vir bonus, dicendi peritus*, не ставилъ себя долго просить.

— Россія, — сказалъ онъ:—была издревле странюю по преимуществу земскою. Искони въ ней собирались у подножія престола земскіе чины и разсуждали о нуждахъ страны. „Земскіе чины приговорили, а царь приказалъ“—такова была установившаяся формула. Земство и царь составляли одно нераздѣльное цѣлое, на единодушіи котораго созидалось благополучіе всей русской земли. Къ сожалѣнію, назадъ тому болѣе полутора вѣковъ, земство безъ всякаго повода исчезло съ арены дѣятельности. Не стало ни цѣловальниковъ, ни ярыжекъ (въ средѣ присутствующихъ—сдержанный смѣхъ: „яры-

жесть!"). Ихъ мѣсто заняла сухая, беспочвенная бюрократія (смѣхъ усиливается). И что же вышло! Благодаря земству, намъ нѣкогда былъ открытъ широкій путь въ Константинополь; великій князь Олегъ прибилъ свой щитъ къ вратамъ древней Византіи; Россія вела обширный торгъ медомъ, воскомъ, пушнымъ товаромъ. Это не я говорю, а лѣтописецъ. Благодаря бюрократіи—мы до своихъ усадебъ осенью едва добратъся можемъ („браво! браво!"). Мосты въ разрушеніи, перевозовъ не существуетъ, дороги представляютъ собой канавы, въ грязи которыхъ тонутъ наши нѣкогда породистыя, а нынѣ выродившіяся лошади. Наша земля кипѣла медомъ и млекоомъ; наши казначейства были переполнены золотомъ и серебромъ—куда все это дѣвалось?—Остались ассигнаціи, надписи на которыхъ тщетно свидѣтельствуетъ о надеждѣ получить равное количество металлическихъ рублей. Такова неутѣшительная картина недавняго прошлаго. Но всякой безурядицѣ бывалъ предѣлъ, и просвѣщенное правительство убѣдилось, что дальнѣйшее владычество бюрократіи можетъ привести только къ общему разстройству. Теперь передъ нами занялась заря лучшаго будущаго. Я допускаю, что это только заря, но въ то же время вѣрю, что она предвѣщаетъ близкій восходъ солнца. Но не будемъ самонадѣянны, милостивые государи. Мы такъ отъучились ходить на собственныхъ ногахъ, что должны посвятить не мало времени, чтобы окрѣпнуть и возмужать. Вооружимтесь терпѣніемъ и удовольствуемся на первыхъ порахъ тою небольшою ролью, которая намъ предоставлена. Передъ нами дорожная повинность, подводная повинность, мосты, перевозки, больницы, школы—все это задачи скромныя, но въ высшей степени плодотворныя. Удовлетворимся ими, но въ то же время не будемъ коснѣть и въ бездѣйствіи. Такъ шло дѣло вездѣ, даже въ классической странѣ самоуправленія—въ Сѣверной Америкѣ. Сначала явились мосты и перевозки, но постепенно дѣло самоуправления развивалось и усложнялось. Наконецъ наступила новая эра, которую я не считаю нужнымъ назвать здѣсь по имени, но которую всякій изъ насъ назоветъ въ своемъ сердцѣ. Наравнѣ съ другими народами, и мы доживемъ до этой эры, и мы будемъ вправѣ назвать себя совершеннѣйшими. Мы достигнемъ этого, благодаря земскимъ учрежденіямъ, скромное возникновеніе которыхъ мы въ настоящую минуту привѣтствуемъ. Поднимаю бокаль и пью за процвѣтаніе нашего молодого института. Я сказалъ, господа!“



— У-р-р-раа!—раздалось по залѣ, и все бросились цѣловать Краснова. И исцѣловали его до такой степени, что онъ нѣкоторое время чувствовалъ, какъ будто щеки его покрылись ссадинами.

Членовъ управы выбрали самыхъ подходящихъ. У Саввы Берсенева былъ лучшій рысистый жеребецъ въ цѣлой губерніи—ему поручили надзоръ за коневодствомъ, да, кстати, прикинули и рогатый скотъ. Евграфъ Вилковъ былъ знатокъ по части болѣзней—ему поручили больницы. Семень Глотовъ имѣлъ склонность къ судоходству—въ его вѣдѣніе отвели воды и все, чтò въ водахъ и надъ водою, т.-е. мосты и перевозки. Любиму Торцову поручили наблюсти за кабаками и народною нравственностью; а такъ какъ Василій Перервинъ ни къ чему, кромѣ земскаго ящика, склонности не выказывалъ, то его сдѣлали казначеемъ. Самъ Красновъ взялъ на себя общій надзоръ за ходомъ дѣла и специально—земскія школы.

Тѣмъ не менѣе, когда онъ на другой день проснулся и, одѣваясь, чтобъ представиться во главѣ вновь избранныхъ земцевъ губернатору, вспомнилъ свою вчерашнюю рѣчь, то нѣсколько смутился.

— Чтò такое я тамъ насчетъ бюрократіи наплелъ!—ворчалъ онъ, завязывая галстухъ:—вѣдь этакъ, пожалуй, на первыхъ же порахъ...

Но губернаторъ былъ добрый и отнесся къ первой шалости Краснова снисходительно. Онъ намекнулъ, что ему не безъизвѣстно о вчерашней выходкѣ, но не обидѣлся ею.

— Николай Николаичъ!—обратился онъ къ Краснову передъ собравшимися земцами:—я очень радъ, что вижу васъ моимъ сослуживцемъ, и увѣренъ, что вы вполне готовы содѣйствовать мнѣ. И мы, бюрократы, и вы, земцы, служимъ одной и той же державѣ и стоимъ на одной и той же почвѣ, хотя и ходятъ слухи о какихъ-то воинственныхъ замыслахъ...

— Ваше-ство! неужели земство позволить себѣ безъ причины...

— Ни безъ причины, ни по причинѣ-сь. Но позвольте мнѣ высказаться. Итакъ, я говорю, что хотя и ходятъ слухи насчетъ воинственныхъ замысловъ, но я полагаю, что они преувеличены. Во всякомъ случаѣ, я заранѣе убѣжденъ, что хоть я и не стратегикъ, но все сраженія, которыя замышляютъ мечтательныя головы, будутъ выиграны мною отъ перваго до послѣдняго. Поговариваютъ также о какой-то занимающейся зарѣ, предшественницѣ солнца,—и на этотъ

счетъ я могу привести въ свидѣтельство свой личный опытъ. На зарѣ человѣку спится крѣпче, а сильные солнечные лучи ослѣпляютъ— вотъ и все. Поэтому я предпочитаю сумерки, да и вамъ, господа, совѣтую. Въ заключеніе предлагаю вамъ устроиться такъ: подробности пусть останутся за вами, главное руководство—за мною. Затѣмъ, называйте меня почвеннымъ или беспочвеннымъ—это безразлично. Я самъ могу опредѣлить ближе характеръ моей дѣятельности и моихъ отношеній къ вамъ. Почва, на которой я стою—это отвѣтственность передъ начальствомъ; отношенія же мои къ вамъ таковы: я укажу вамъ на мостокъ—вы его исправите; я сообщу вамъ, что въ больницѣ посуда дурно вылужена—вы вылудите. Задачи скромныя, но единственныя, для выполненія которыхъ мнѣ необходимо ваше содѣйствіе. Во всемъ прочемъ я надѣюсь на собственные силы и на указанія начальства. Итакъ, не будемте парить въ эмпиреяхъ, ибо рискуемъ попасть пальцемъ въ небо; но не будемъ и черезъ-чуръ принижаться, ибо рискуемъ попасть въ лужу. Надѣюсь, что мы поймемъ другъ друга.

Сказавши это, губернаторъ пожалъ земцамъ руки и удалился.

Земцы принялись за дѣло бойко и весело; губернаторъ съ своей стороны, тоже не унывалъ.

Въ главной больницѣ, бывшей до того времени въ вѣдѣніи приказа общественнаго призрѣнія, умывальники горѣли какъ жаръ. Красновъ, по очереди съ специалистомъ Вилковымъ, ежедневно посѣщали больницу, пробовали пищу, принимали старое бѣлье, строили новое, пополняли аптеку и проч. Губернаторъ, узнавъ о такой неутомимой ихъ дѣятельности, призвалъ ихъ и похвалилъ.

— Позаймитесь, пожалуйста, картами, — сказалъ онъ при этомъ:—признаться, въ приказѣ эта часть была въ нѣкотромъ запущеніи; карты хранились въ кладовой казначейства и были всегда сыры. Между тѣмъ потребность въ нихъ, какъ вамъ извѣстно, не оскудѣваетъ.

Въ концѣ февраля губернаторъ пригласилъ къ себѣ члена управы Глотова и напомнилъ, что въ виду наступающей весны необходимо заняться мостами и перевозами.

Это было очень обидно, потому что сама управа предвидѣла наступленіе весны и уже сдѣлала распоряженіе, чтобы Гловъ, какъ

только появятся на дворѣ зажоры, немедленно ѣхаль куда глаза глядятъ.

Узнавъ, что Любимъ Торцовъ разѣзжаетъ по селеніямъ, гдѣ заведены кабаки, самъ пьетъ, а крестьянъ уговариваетъ не давать приговоровъ на открытіе питейныхъ заведеній, губернаторъ призвалъ Краснова и сказалъ ему, что хотя заботы объ уменьшеніи пьянства весьма похвальны, но не слѣдуетъ забывать, что вино представляетъ одну изъ существеннѣйшихъ статей государственнаго бюджета.

— Но народная нравственность... — заикнулся-было Красновъ.

— Народную нравственность я вполне вамъ предоставляю, — прервалъ его губернаторъ: — утверждайте народъ въ правилахъ благочестія и преданности, искореняйте изъ народной среды вредные обычаи, даже отъ пьянства воздерживайте. Но послѣднее не принадлежитъ къ вашимъ прямымъ обязанностямъ, и потому вы можете дѣйствовать въ этомъ случаѣ — какъ и всякій частный человѣкъ. Существуетъ, какъ вамъ извѣстно, цѣлое акцизное вѣдомство, которое слѣдитъ за правильностью открытія питейныхъ домовъ и производства въ нихъ торговли; наконецъ, существуетъ полиція, которая, въ случаѣ надобности, приглашается составлять протоколы и проч. Каждое вѣдомство имѣетъ свои прерогативы, наступать на которыя закономъ не разрѣшается. Да-съ.

Наконецъ, узнавъ, что членъ управы Берсенева, съ наступленіемъ марта, сталъ водить своего жеребца по всемъ трактамъ, въ видахъ улучшенія конскихъ породъ, губернаторъ похвалилъ его за такое усердіе и выразилъ надежду, что упавшее въ губерніи коневодство снова процвѣтетъ.

— Повѣрите мнѣ, Савва Семенычъ, — сказалъ онъ при этомъ: — что я не противникъ тѣхъ мѣръ, которыя принимаются земствомъ на пользу края. Напротивъ, я всегда говорилъ и говорю: что полезно, то полезно. И исправникамъ то же самое предписалъ говорить.

Словомъ сказать, черезъ нѣсколько времени земскіе дѣятели почувствовали себя какъ бы въ тискахъ. Никакого новшества они не могли предпринять, въ которомъ губернаторъ заранѣе не заявилъ бы себя инициаторомъ. Не успѣетъ Красновъ во снѣ увидѣть, что для больныхъ новые халаты нужны, какъ губернаторъ уже озаботился, шлеть за Вилковымъ и даетъ ему соотвѣтствующія инструкціи. Не успѣетъ Красновъ задуматься, что Перервинъ какъ будто поигры-



вать въ карты шибко началъ, какъ губернаторъ уже шлетъ за нимъ и предостерегаетъ. И чтò всего обиднѣе — никогда самъ не прїѣдетъ: „любезный, молъ, другъ Николай Николаевичъ! — такъ-то и такъ-то! — нельзя ли миркомъ да ладкомъ?“ — а непремѣнно шлетъ гонца: „извольте явиться!“ — Тѣмъ не менѣе, явныхъ пререканій не было, и ожиданія тѣхъ, которые по поводу выбора Краснова говорили: „вотъ будетъ потѣха!“ — не сбылись. Красновъ чувствовалъ, что популярность его съ каждымъ днемъ падаетъ; Живоготовъ забылъ о недавнихъ объятіяхъ, которыя онъ простиралъ „почтеннѣйшему“ Николаю Николаевичу, и почти ежедневно заѣзжалъ къ губернатору „пошпुकаться“.

Однако всему есть мѣра; есть мѣра и губернаторской снисходительности. Губернаторъ прилаживался къ дѣлу плотнѣе и плотнѣе, и наконецъ проникъ въ самую суть его.

— Женщина-врачъ, которую вы опредѣлили въ X —скую больницу, оказывается неблагонадежною, — объявляетъ онъ однажды Краснову.

— Но почему же, ваше-ство?

— Говорить празднаыя рѣчи, не имѣеть надлежащей теплоты чувствъ... Все это мнѣ извѣстно изъ вполне достовѣрныхъ источниковъ.

Женщидѣ-врачу посылаютъ приглашеніе прибыть въ управу.

— Чтò вы тамъ путаете? — обращается къ ней Красновъ.

— Я?.. ничего!

— Губернаторъ говоритъ, что вы неблагонадежны, не выказываете теплоты чувствъ, и что ему извѣстно это изъ достовѣрныхъ источниковъ.

— Помилуйте! — я даже никого въ городѣ не знаю...

— Въ томъ-то и дѣло, что нельзя „никого не знать-съ“. Нужно всѣхъ знать-съ. Вспомните: не бываете ли вы у кого-нибудь... неблагонадежнаго?

— Я бываю только въ семьѣ одного сельскаго учителя... онъ живетъ въ трехъ верстахъ отъ города...

— Вотъ видите! — въ городѣ ни у кого не бываете, а по учителямъ развѣзжаете.

— Да почему же?..

— А потому что потому. Впрочемъ я свое дѣло сдѣлалъ, предупредилъ васъ, а дальше ужъ сами какъ знаете.

— Господи! чтѣ же я буду дѣлать?

Женщина-врачъ плачетъ.

— Не плачьте, а бросьте ваши фанабериі — вотъ и все. Поѣзжайте къ исправнику, постарайтесь сойтись съ его женой, выражайтесь сдержаннѣе, теплѣе, словомъ сказать...

Красновъ махаетъ рукой, и съ словами: „ну, теперь началась белиберда!“ — отпускаетъ женщину-врача.

Но черезъ мѣсяцъ губернаторъ опять шлетъ за нимъ.

— Дѣвица Петропавловская, о которой я ужъ говорилъ вамъ, — объясняетъ онъ Краснову, — продолжаетъ являть себя неблагонадежною. Вчера я получилъ о ней свѣдѣнія, которыя не оставляютъ ни малѣйшаго въ томъ сомнѣнія.

— Какъ прикажете, ваше-ство...

— Приказывать — не мое дѣло. Я могу принять мѣры — и больше ничего. Всему злу корень — учитель Воскресенскій, насчетъ котораго я уже распорядился... Ахъ, Николай Николаевичъ! Неужели вы думаете, что мнѣ самому не жаль этой заблуждающейся молодой дѣвицы? Повѣрьте мнѣ, иногда сидишь вотъ въ этомъ самомъ креслѣ и думаешь: за чтѣ только гибнуть наши молодые силы?

— Но какъ же въ этомъ случаѣ поступить? Быть можетъ, что съ удаленіемъ учителя Воскресенскаго, какъ причины зла, дѣвица Петропавловская...

— Увы! — подобныя перерожденія слишкомъ рѣдки. Разъ челоуѣкъ коснулась гангрена вольномыслія, она вливается въ него навсегда; поэтому надо спѣшить вырвать не только корень зла, но и его отпрыски. На нашемъ мѣстѣ я поступилъ бы такъ: призвалъ бы дѣвицу Петропавловскую и попросилъ бы ее оставить губернію. Повѣрьте, въ ея же интересахъ говорю. Теперь, покуда дѣло не получило огласки, она можетъ похлопотать о себѣ въ другой губерніи и тамъ получить мѣсто, тогда какъ...

— Но вѣдь ежели она вредна здѣсь, то, конечно, будетъ не меньше вредна и въ другомъ мѣстѣ.

— Ежели такъ, то вѣдь и тамъ ей предложить оставить мѣсто. И такимъ образомъ...

Словомъ сказать, учитель Воскресенскій и дѣвица Петропавловская исчезли, какъ будто бы ихъ и не бывало въ губерніи.

Когда управа приступила къ открытію училищъ, дѣло осложнилось еще болѣе. Въ средѣ учителей и учительницъ уже сплошь появлялись нераскайныя сердца, которыя въ высшей мѣрѣ озабочивали администрацію. Приглашенія слѣдовали за приглашеніями, исчезновенія за исчезновеніями. Повидимому программа была начертана заранѣе и приводилась въ исполненіе неукоснительно.

Общество города N. притихло. Земцы, которые на первыхъ порахъ разыгрывали въ губернскихъ салонахъ роль гвардейцевъ и даже на дамъ производили впечатлѣніе умными разговорами, сдѣлались предметомъ отчужденія. Какъ будто они были солидарны со всѣми этими нераскайными сердцами, которыя наводнили губернію и обезпечили мѣстную интеллигенцію. Слышались непрерывныя жалобы, что лохматые гномы заволокли деревни; слово: „умники“ сдѣлалось прямо браннымъ. Дѣвицы, проходя въ собраніи мимо Краснова, прищуривались, — точно у него въ карманѣ была спрятана бомба. Только Версенева выбирали по временамъ въ мазуркѣ, какъ бы смутно понимая, что его путешествующій жеребецъ никакого отношенія къ внутренней политикѣ не имѣетъ. Однимъ словомъ, ежели общество еще не совсѣмъ упало духомъ, то благодаря только тому, что ему извѣстно было, что на стражѣ этого кавардака стоитъ человекъ, который въ обиду не выдастъ.

Къ величайшему удивленію, Красновъ, который только по недоразумѣнію заявилъ себя либераломъ, чѣмъ болѣе осложнилось положеніе вещей, тѣмъ болѣе погрязалъ въ безднѣ либерализма. Превращеніе это совершилось въ немъ безсознательно, въ силу естественнаго закона противорѣчія. Онъ уже позволилъ себѣ высказать губернатору лично, что считаетъ непрерывное вмѣшательство его въ дѣла земства черезъ-чуръ назойливымъ, и даже написалъ ему нѣсколько пикантныхъ бумагъ въ этомъ смыслѣ, а въ обществѣ отзывается объ немъ съ такою безцеремонностью, что даже лучшіе его друзья дѣлали видъ, что они ничего не слышатъ.

Нерѣдко видали его сидящимъ у окна и какъ будто чего-то поджидающимъ. Вѣроятно онъ поджидалъ зарю, о которой когда-то мечталъ и безъ которой немислимо появленіе солнца. Но зоря не за-



нималась, ему невольно припомнились вѣщія слова: „въ сумеркахъ лучше!“

— Да, сумерки, сумерки, сумерки! И „до“, и „по“ — всегда сумерки! — говорилъ онъ себѣ, вперя възоръ въ улицу, которая съ самаго утра какъ бы заснула подъ вліяніемъ недостатка свѣта.

Къ довершенію всего, земскіе сборы поступали туго. Были ли они дѣйствительно черезъ-чуръ обременительны, или существовалъ тутъ какой-нибудь фортель — во всякомъ случаѣ ресурсы управы съ каждымъ днемъ оскудѣвали. Школьное и врачебное дѣла замялись, потому что ни педагоги, ни врачи не получали жалованья; сами члены управы нерѣдко затруднялись относительно уплаты собственнаго вознагражденія, хотя въ большей части случаевъ все-таки выходили изъ затрудненій съ честью. Мосты приходили въ разрушеніе, дороги сдѣлались непроѣздными; на бѣлье въ больницахъ больно было смотрѣть. Это уже были совершенно конкретныя доказательства безопасности, не то что кака-нибудь народная нравственность, о которой можно судить и такъ, и иначе. Губернаторъ, поѣхавши въ губернію по ревизіи, вынужденъ былъ на одномъ перевозѣ прождать цѣлыхъ два часа, а черезъ одинъ мостъ переходить пѣшкомъ, покуда экипажъ переѣзжалъ вбродъ: это ужъ не заря, не солнце, а фактъ. Вся Живо-глотовская партія ахнула, узнавши объ этомъ.

Возвратившись въ городъ, губернаторъ немедленно пригласилъ управу въ полномъ составѣ и „распушилъ“ ее.

— Вы совсѣмъ не о томъ думаете, господа, — сказалъ онъ: — мость есть мость, а не конституція-съ!

Фраза эта облетѣла всю губернію. Вся Живоглотовская партія, купно съ исправниками, восхищалась ею. Одинъ Красновъ имѣлъ дерзость сослаться на то, что полиція не принимаетъ никакихъ мѣръ для успѣшнаго поступленія сборовъ, и что велѣдствіе этого управа дѣйствительно поставлена въ затрудненіе.

Наконецъ, незадолго передъ началомъ земской сессіи, Красновъ не выдержалъ и собрался въ Петербургъ.

Губернія рѣшила, что онъ ѣдетъ жаловаться, и притаила дыханіе. Но губернаторъ оставался равнодушенъ, и только распорядился содержать въ готовности „факты“.

Въ Петербургѣ однакожъ Краснову не посчастливилось. Его

встрѣтили не то чтобы враждебно, а совершенно хладнокровно, какъ будто о земскомъ кавардакѣ никому ничего не было извѣстно.

— Вы, господа, слышкомъ преувеличиваете — говорили ему. — Еслибы вамъ удалось взглянуть на ваши дѣла нѣсколько издалека, вотъ какъ мы смотримъ, то вы убѣдились бы, что они не заключаютъ въ себѣ и десятой доли той важности, которую вы имъ приписываете.

— Не можемъ мы однако смотрѣть издалека на вещи, съ которыми постоянно находимся лицомъ къ лицу, — убѣждалъ Красновъ.

— Но и мы, съ своей стороны, не можемъ измѣнить нашу точку зрѣнія. Не слишкомъ ли высоко вы ставите тѣ задачи, которыя предстоитъ земству? Не думаете ли вы, что съ введеніемъ земскихъ учреждений что-нибудь измѣнилось? — Ежели это такъ, то вы заблуждаетесь; задачи ваши очень скромны: содержаніе въ исправности губернскихъ путей сообщенія, устройство врачебной части, открытіе школъ... Все это и безъ шума можно сдѣлать. Но, разумѣется, ежели земство будетъ представлять собой убѣжище для злонамѣренныхъ людей, ежели сами представители земства будутъ думать о какихъ-то новыхъ эрахъ, то администрація не можетъ не вступиться. Общественная безопасность прежде всего.

— Но изъ чего же видно...

— Покуда опредѣленныхъ фактовъ въ виду еще нѣтъ, но есть разговоръ — это уже само по себѣ представляетъ очень существенный признакъ. О вашемъ губернаторѣ никто не говоритъ, что онъ мечтаетъ о новой эрѣ... почему? А потому просто, что этого нѣтъ на дѣлѣ и быть не можетъ. А объ земствѣ по всей Россіи такой слухъ идетъ, хотя, разумѣется, бѣольшую часть этихъ слуховъ слѣдуетъ отнести на долю болтливости.

Такія прѣдики приходилось Краснову выслушивать чуть не каждый день. Но онъ все-таки прожилъ въ Петербургѣ цѣлый мѣсяцъ, и на каждомъ шагѣ, и въ публичныхъ мѣстахъ, и у общихъ знакомыхъ, сталкивался съ земскими дѣятелями другихъ губерній. Отовсюду слышались одинаковыя вѣсти. Вездѣ шла какая-то нелѣпая борьба, невѣдомо изъ-за какихъ интересовъ; вездѣ земство мало-по-малу освобождалось отъ мечтаній и все-таки не удовлетворяло своею уступчивостью. Прямого недовольства не высказывалось, но вопросъ объ общественной безопасности ярче и ярче выступалъ впередъ и заслонялъ собой все.

Краснову показалось, что онъ и самъ какъ будто отрезвѣлъ. Когда онъ обмѣнивался мыслями съ сотоварищами по дѣятельности, ему невольно думалось: „Какія однакожь все это мелочи, и стоитъ ли ради нихъ сохнуть и препираться? Ворочусь домой, буду „ѣздить“ въ управу—вотъ и все. Пускай губернаторъ, съ термометромъ въ рукахъ, измѣряетъ теплоту чувствъ у сельскихъ учителей и у женщинъ-врачей; съ какой стати я буду вступаться? Ежели школьное дѣло пойдетъ худо—у меня оправданіе на-лицо. Наконецъ, возьмите школы себѣ, оставьте земству только паромы и мосты—и до этого мнѣ дѣла нѣтъ! Но только хорошо будетъ земство! да и вообще дѣла пойдутъ хорошо! Вѣдь что же нибудь заставило подумать объ участіи земства въ дѣлахъ мѣстнаго управленія? была же, вѣроятно, какая-нибудь прорѣха въ старыхъ порядкахъ, если потребовалось вызвать земство къ жизни? Вѣдь ни я, ни Вилковъ, ни Торповъ не выходили съ оружіемъ въ рукахъ, чтобы создать земство—и вдругъ оказывается, что теперь-то именно и выступила впередъ общественная опасность!“

Словомъ сказать, Красновъ махнулъ рукой, посвятилъ остальное время петербургскаго пребыванія на общественныя удовольствія, на истребленіе бакалеи, на покупку нарядовъ для семьи и, нагруженный цѣлымъ ворохомъ всякой всячины, возвратился во-свояси.

Годы шли; губернаторы смѣнялись, а Красновъ все оставался во главѣ земства. Онъ слылъ уже образцовымъ предсѣдателемъ управы и остепенился настолько, что самъ отыскивалъ корни и нити. Сами губернаторы согласились, что за такимъ предсѣдателемъ они могутъ жить какъ за каменной стѣною.

Одно Краснову было не понутру—это однообразіе, на которое онъ былъ повидимому осужденъ. Покуда въ глазахъ металась какая-то заря, все же жилось веселѣе и было кой-о-чемъ поговорить. Теперь даже въ мозгу словно закупорка какая произошла. И во снѣ видѣлся только длинный-длинный мостъ, черезъ который проходитъ губернаторъ, а мостовины такъ и пляшутъ подъ нимъ.

— Да это просто злоумышленіе!—обращается губернаторъ къ Алексѣю Харлампычу Бережкову, который смѣнилъ Живогорова.

А кромѣ того Краснова мучило и отсутствіе всякихъ перспек-



тивъ. Предположивъ сгоряча, что предводительское званіе лишено будущности, онъ горько ошибся. Правда, старый Живоготовъ умеръ, не вкусивъ отъ плода; но выбранный на его мѣсто Живоготовъ-сынъ не прослужилъ и трехлѣтія, какъ получилъ уже высшее назначеніе. Затѣмъ пріѣхалъ Живоготовъ-внукъ, повернулся и тоже исчезъ, осіянный ореоломъ и полный надеждъ.

Еслибы Красновъ не поторопился въ то время — кто знаетъ, чьи судьбы были бы теперь у него въ рукахъ?!

— У насъ ничего нельзя впередъ угадать, — ворчалъ онъ себѣ подъ носъ: — сегодня ты тутъ, а завтра невѣдомая сила толкнула тебя Богъ вѣсть куда! Область предвидѣній такъ обширна, что ничего столь не естественно, какъ запутаться въ ней. Случилось такъ, но могло случиться и иначе. Чтѣ еслибы, въ самомъ дѣлѣ, заря занялась, а за нею вдругъ солнце?.. И вездѣ дѣло начиналось съ мостовъ и перевозовъ, а потомъ, потихоньку да помаленьку, глядь — новая эра. Это хоть въ Америкѣ спросите. Чтѣ такое были эти Чикаго, эти Санъ-Франциско? — простыя, бѣдныя деревни, и больше ничего! А нынче?

То-то вотъ оно и есть. И не доверяешься — бьютъ, и перевернешься — бьютъ. Дѣлай какъ хочешь. Вликокъ локоть — да не укусишь. Въ то время, когда онъ изъ редакціонныхъ комиссій воротился, его сгоряча вѣьми шарами бы выбрали, а онъ, вмѣсто того за „эрами“ погнался. Чорта съ два... Эрррра!

А теперь? чтѣ такое онъ собой представляетъ? — нѣчто въ родѣ сторожа при земскихъ переправахъ... да! Но, кромѣ того, и лохматые эти... того гляди, накуралесятъ! Откуда взялась дѣвица Петропавловская? чтѣ на умѣ у учителя Воскресенскаго? Вглядывайся въ ихъ лѣхмы! читай у нихъ въ мысляхъ! Сейчасъ у „него“ на умѣ одно, а черезъ минуту — другое!

О, Господи! спаси и помилуй!

## 4.—Праздношатающийся.

Покуда кругомъ все бездѣйствуетъ и безмолвствуетъ, Аѳанасью Аркадьичу Бодрцову, и дѣла по горло, и наговориться онъ до-сыта не можетъ. Весь городъ ему знакомъ, съ утра до вечера онъ бѣгаетъ. То нырнетъ куда-то, то опять вынырнетъ. Пока другіе корпятъ за работой въ канцеляріяхъ и конторахъ, онъ собираетъ матеріалы для ходячей газеты, которая въ его лицѣ появляется, въ опредѣленные часы дня, на Невскомъ и бесплатно сообщаетъ новости дня.

Бодрцовъ—перипатетикъ по природѣ. Правда, что онъ на улицахъ останавливается безпрестанно, но на четверть, на полъ-минуты, не больше. Залучить его на болѣе продолжительное время—большая рѣдкость. Не успѣвши высказать всего запаса новостей встрѣченному знакомому, онъ спѣшитъ дальше, чтобы поймать другого знакомаго, котораго завидѣлъ издалека, и на ходу уже усматриваетъ третьяго знакомаго, съ которымъ тоже нужно подѣлиться. Всѣ интересуются Аѳанасемъ Аркадьичемъ: всѣ знаютъ, что у него имѣется въ запасѣ что-нибудь свѣженькое. Газеты лгутъ, въ салонахъ лгутъ, а знать, что на бѣломъ свѣтѣ дѣется, хочется. Аѳанасій Аркадьичъ лжетъ, но онъ лжетъ днемъ раньше, нежели другіе, и въ этомъ его преимущество. Въ мѣрѣ сумерекъ, гдѣ не существуетъ ни одного состоятельнаго шага, гдѣ всякая послѣдующая минута опровергаетъ предыдущую, очень лестно поймать „первую“ ложь и похвастаться передъ знакомымъ: „а знаете ли, кто назначается... да нѣтъ, вы не повѣрите“...

Но всѣ вѣрятъ. Нѣкто X. дѣлается на нѣсколько часовъ предметомъ толковъ и разговоровъ. Аѳанасій Аркадьичъ одному сказалъ просто: „туда-то назначается X.“, другому прибавилъ, что X. принялъ назначеніе на такихъ-то условіяхъ, третьему—что X. уже изложилъ свой планъ дѣйствій, и т. д. На другой день всѣ эти перемѣны, перемѣщенія, условія и планы появляются, въ видѣ слуховъ, въ газетахъ. На третій день оказывается, что X. никуда не назначается, а Z. остается попрежнему на мѣстѣ. Z., узнавши, что ему грозитъ опасность, отправился къ графинѣ Y., заключилъ съ нею союзъ; графиня съ своей стороны...

Такимъ образомъ все объясняется. Никому не приходится въ го-

лову назвать Бодрецова лжецомъ; напротивъ, большинство думаетъ: а „вѣдь и въ самомъ дѣлѣ у насъ всегда такъ: сію минуту вѣрно, черезъ пять минутъ невѣрно, а черезъ четверть часа — опять вѣрно“. Не можетъ же, въ самомъ дѣлѣ, Аванасій Аркадьичъ каждыя пять минутъ знать истинное положеніе вещей. Будетъ съ него и того, что онъ хоть на десять минутъ счумѣлъ заинтересовать общественное мнѣніе и наполнить досугъ праздныхъ людей.

Иногда Бодрецову вздумается удѣлить побольше времени кому-нибудь изъ наиболѣе и близкихъ или нужныхъ знакомыхъ. Тогда этотъ послѣдній испытываетъ сущую пытку. Аванасій Аркадьичъ идетъ съ нимъ подъ-руку, но на каждомъ шагу останавливается и съ словами: „сейчасъ, сейчасъ!“ отскакиваетъ впередъ, догоняетъ, перегоняетъ, шепчетъ на ухо пару словъ, потомъ опять возвращается, возобновляетъ прерванный разговоръ, но никогда не доведетъ его до конца.

— Охота вамъ такъ тиранить себя! — ну, куда вы убѣжали? — упрекнетъ его знакомецъ.

— Нельзя, голубчикъ; человекъ такой встрѣтился. Понадобится впередъ.

— Кто же такой?

— Негодяй! да неужто вы его не знаете? Помилуйте! ежели такихъ мерзавцевъ не знать наперечетъ, такъ жить не безопасно. Всегда на-готовѣ нужно камень за пазухой держать. Вы знаете ли, что онъ съ своей родной сестрой сдѣлалъ?...

И пойдетъ, и пойдетъ. Осквернить слухъ такими возмутительными подробностями, что по-неволѣ скажешь себѣ: дѣйствительно, такихъ людей надобно хоть по наружности знать, чтобы въ случаѣ встрѣчи принимать мѣры.

— Да зачѣмъ же вы съ нимъ якшааетесь? Знать — знайте, а зачѣмъ въ пріятельскія отношенія входить?

— Ахъ, какой вы странный! Онъ вездѣ принятъ, вездѣ бываетъ. Слышать и то, и другое, а иногда и изъ достовѣрныхъ источниковъ. Кому какое дѣло, что онъ сестру ограбилъ или въ свою пользу духовное завѣщаніе написалъ? Процессъ-то вѣдь выигралъ онъ, а не она. Да и мало ли онъ дерзостей дѣлалъ прямо на глазахъ у всѣхъ — и всѣ привыкли, всѣ говорятъ: „онъ ужъ такой отъ роду“. Однажды онъ у князя Матюкова золотую табакерку укралъ, а князь и уви-



дѣль. И чтожъ! только тѣмъ и ограничился, что сказалъ: „ахъ, братецъ, клептоманія, что-ли, это у тебя?“ А онъ въ отвѣтъ: „точно такъ, ваше сіятельство!“ Такъ и до сихъ поръ къ князю въ домъ вхожъ, хотя еслибы хорошенько пересчитать столовый княжескій сервизъ, то, я увѣренъ, очень достаточнаго количества ложекъ не досчитались бы.

Разсказавъ это быстро, однимъ духомъ, онъ отскакиваетъ въ сторону, какъ бы спѣша возмѣстить потерянное время. И мотается назадъ и впередъ, какъ маятникъ, то бѣгал, то возвращаясь. И при новой мгновенной встрѣчѣ непремѣнно шепчетъ:

— А этотъ, съ которымъ теперь иду... знаете вы его? О, я вамъ когда-нибудь разскажу...

Въ особенности интересенъ онъ въ трактирахъ и ресторанахъ, которые посѣщаетъ охотно, хотя довольно рѣдко, по причинѣ частыхъ приглашеній въ семейные дома. Во-первыхъ, въ ресторанѣ всегда встрѣтишь кучу знакомыхъ, отъ которыхъ можно тоже позаимствоваться новостями дня, а во-вторыхъ, Бодрцовъ любить поѣсть хорошо, а въ особенности на чужой счетъ.

И потчуютъ его всегда съ удовольствіемъ, потому что подъ говоръ его ѣтся какъ-то спорѣе. Точно на парадномъ обѣдѣ подъ музыку: господа внизу ложками гремятъ, а на хорахъ музыканты въ дуды дудятъ.

Да и вольготнѣе въ трактирѣ: тутъ, на просторѣ, газета по порядку всѣ новости разскажетъ: не перервется на словѣ, не убѣжить. Потому что коли ты ѣшь на мой счетъ, такъ разсказывай!

Одна Болгарія какую громадную популарность ему создала! Онъ первый предсказалъ, что Баттенберга будутъ возить. Сначала увезутъ, потомъ привезутъ, а потомъ и опять увезутъ — ужъ окончательно.

— Ну, ужъ это ты, братецъ, солгалъ! — говорили ему.

— Вотъ увидите!

И чтожъ, оказалось, что такъ точъ-въ-точъ по его и случилось. Увезли, привезли и опять увезли.

Потомъ пошли кандидаты на болгарскій престолъ. Каждый день — новый кандидатъ, и все какіе-то необыкновенные. Ходитъ Аѳанасій Аркадьичъ по Невскому и возвѣщаетъ: „принцъ Вильманстрандскій! принцъ Меделанскій! князь Сампантрѣ!“ — Никто вѣ-

ритель ушамъ не хочеть, а между тѣмъ стороной узнають, что дѣйствительно рѣчь о меделанскомъ принцѣ была — и даже очень серьезно.

Даже иностранные кабинеты встревожились дѣятельностью Бодрцова; спрашиваютъ: „да откуда ты, братецъ, все знаешь? — „Угадайте!“ говорить. — А ларчикъ просто открывался: вель Аеоанасій Аркадьичъ дружбу съ камердинеромъ князя Откровеннаго: изъ этого источника все и узнаваль.

Такъ и всегда нужно поступать. Когда никто ничего не знаетъ, когда всѣ развѣвають рты, чтобы сказать: „моя изба съ краю“ — непременно нужно обращаться къ камердинерамъ. Они за цѣлковый рубль всѣ иностранные кабинеты въ изумленіе приведутъ.

Происхожденія Бодрцовъ не важнаго и унаслѣдованныя имъ отъ родителей матеріальныя средства очень ограниченны. Но онъ служитъ въ двухъ вѣдомствахъ, въ обоихъ ничего не дѣлаетъ и въ обоихъ получаетъ хорошее жалованье. За всѣмъ тѣмъ онъ всегда имѣетъ видъ нуждающагося человѣка, живетъ въ номерахъ, одѣвается болѣе нежели скромно и ѣсть исключительно на чужой счетъ. Но всѣ къ этому до такой степени привыкли, что даже очень вліятельныя лица безъ малѣйшей брезгливости встрѣчаютъ его потертый пиджакъ въ своихъ кабинетахъ и салонахъ. Кромѣ запаса новостей, составляющаго, такъ сказать, базисъ всѣхъ его связей, у него имѣется еще большой запасъ услужливости, которая тоже въ значительной мѣрѣ увеличиваетъ цѣнность его знакомства. Онъ и справочку умѣетъ достать, и похлопотать, и разузнать, и съѣздить, по порученію какой-нибудь дамочки, въ модный магазинъ, въ кондитерскую, на рынокъ.

Во всемъ онъ знатокъ, вездѣ умѣетъ выбрать. Знаетъ, гдѣ продается лучшая баранина, гдѣ прежде всего можно получить свѣжаго тюрбо, омара, у кого изъ торговцевъ появилась свѣжая икра, балыки и проч. Выбираетъ онъ всегда добросовѣстно, и не только ничего не беретъ за комиссію, но даже торгуется въ пользу патрона.

Страсть къ кочевой жизни пришла къ нему очень рано. Уже въ дѣтствѣ онъ перемѣнилъ чуть не три гимназіи, покуда наконецъ попалъ въ кадетскій корпусъ, но и тамъ кончилъ не важно, и былъ выпущенъ, по слабости здоровья, для опредѣленія къ штатскимъ дѣламъ.

Это частое перекочевыванье дало ему массу знакомствъ, которыя

онъ тщательно поддерживалъ, не теряя изъ вида даже тѣхъ товарищей, которые мелькнули мимо него почти на мгновеніе. Острая память помогала ему припоминать, а чрезвычайная повадливость давала возможность возобновлять такія знакомства, которыхъ начало, такъ сказать, терялось во мракѣ времени. Достаточно было одной черты, одного смутнаго воспоминанія („а помните, какъ мы въ форточку курили?“), чтобы возстановить цѣлую картину прошлаго.

— Да, куривали!— отвѣчаетъ обрѣтенный товарищъ, вглядываясь въ черты лица обрѣвшаго:— а помнишь, какъ разъ насъ самъ инспекторъ на мѣстѣ преступленія изловилъ?

— Помню! помню! Еще бы забыть!

— Ну, до свиданія, стало быть. Возобновимъ старину. Я, любезный другъ, ужъ женатъ. Живемъ мы скромно, но для друзей всегда за столомъ мѣсто найдется. Милости просимъ когда-нибудь за-просто...

Благодаря такимъ находкамъ, кругъ знакомствъ Бодрцова очень быстро расширился. Мѣстъ, въ которыхъ онъ могъ, не разбирая дней, придти пообѣдать, развилось такое множество, что встрѣчающіеся на улицахъ безсемейные друзья съ трудомъ успѣваютъ залучить его въ трактиръ.

Служба доставила ему связей еще больше. Гдѣ онъ ни служилъ—это только одному Богу извѣстно. Сначала поѣхалъ въ родной губернской городъ, и сразу сдѣлался наперсникомъ губернатора. Губернаторша тоже не чаяла въ немъ души, потому что онъ былъ мастеръ устраивать балы, пикники и отлично танцевалъ мазурку. Въ собраніи общества безъ него было скучно; съ приходомъ его все оживлялось и расцвѣтало. Уже на первыхъ шагахъ онъ обнаружилъ особенную склонность къ выживанью новостей, и хотя ремесло это въ провинціи небезопасно, однако онъ сумѣлъ такъ ловко проскальзывать между Сциллой и Харибдой, что ни съ кѣмъ серьезно не посорился.

Когда губернатора перевели въ другую губернію, то и онъ перешелъ вмѣстѣ съ нимъ. Тутъ уже онъ явился вполнѣ своимъ человекомъ у хозяина губерніи, такъ что не онъ долженъ былъ подлаживаться къ обществу, но общество къ нему. Само собой разумѣется, обѣ стороны скоро примѣнились другъ къ другу. Пошли пикники, загородныя поѣздки, вечеринки; Бодрцовъ и здѣсь, какъ въ первомъ мѣстѣ служенія, сдѣлался душою общества. Но не усилъ онъ



прослужить здѣсь и двухъ лѣтъ, какъ черезъ городъ случилось проѣзжать начальнику какого-то отдаленнаго края. Особа сдѣлала честь принять обѣдъ у губернатора и встрѣтила тамъ Бодрцова. Аѳанасій Аркадьичъ сразу понравился. Онъ съумѣлъ такъ устроить, что особа сама вызвала его на разговоръ и совершенно правильно заключила, что еслибы не молодой чиновникъ особыхъ порученій, то ему, мужу совѣта, пришлось бы очень скучно за чопорнымъ губернаторскимъ обѣдомъ. Проходя мимо, особа шепнула Бодрцову на ухо:

— Не зайдете ли вечеромъ ко мнѣ? Я въ ночь уѣзжаю.

Разумѣется, Бодрцовъ не преминулъ. Особа между тѣмъ сообразила, что въ захолусты, которымъ она правила, молодыхъ людей мало, а мазуристовъ и совѣтъ нѣтъ; что жена особы скучаетъ, и что Бодрцовъ будетъ для нея большою находкой.

— Не желаете ли вы перейти ко мнѣ на службу?—предложила особа.

Бодрцовъ, который уже, такъ сказать, предвкушалъ это предложеніе, смутился, однакожь, при цифрѣ восемь тысячъ верстъ, которыя предлежало проѣхать. Но раздумывать было некогда, и выгоды перемѣщенія были слишкомъ явны, чтобы не воспользоваться ими. Особа пользовалась большимъ вѣсомъ въ бюрократической іерархіи и имѣла въ виду еще болѣе вѣское будущее.

Служить подъ покровительствомъ такого человѣка представлялось и лестнымъ, и выгоднымъ.

Согласіе было изъявлено, а черезъ полгода Аѳанасій Аркадьичъ былъ уже на новомъ мѣстѣ, гдѣ тоже служили люди, но гдѣ главнымъ образомъ нуждались въ молодыхъ чиновникахъ, которые умѣли бы развлечь и оживить общество.

Здѣсь онъ прослужилъ около пяти лѣтъ, какъ покровитель его внезапно умеръ. Пріѣхалъ новый начальникъ края и взглянулъ на дѣло нѣсколько иными глазами, нежели его предшественникъ. Фортуна Бодрцова слегка затуманилась. Но и тутъ ему все-таки повезло. Одинъ изъ мѣстныхъ генераловъ былъ назначенъ начальникомъ въ другой отдаленный край и тоже набиралъ молодыхъ людей.

Хотя Бодрцову было въ то время уже за тридцать, но какъ-то никому не приходило въ голову, что онъ пересталъ быть молодымъ человѣкомъ. Новый баловень фортуны вспомнилъ объ Аѳанасѣ

Аркадьичъ, котораго онъ видѣлъ на балахъ у бывшаго начальника края, и пригласилъ его.

Послѣ того Бодрцовъ служилъ и въ новороссійскомъ краѣ, и на Кавказѣ, и въ западномъ краѣ, и въ Варшавѣ, нерѣдко занималъ отвѣтственныя должности, но по большей части предпочиталъ возлечь на персяхъ. Всюду оставилъ онъ по себѣ самыя отрадныя воспоминанія, послѣдствіемъ которыхъ были связи, пригодившіяся ему въ будущемъ.

Когда онъ очутился вновь въ Петербургѣ, ему было уже за пятьдесятъ лѣтъ, и онъ съ честью носилъ чинъ штатскаго генерала. Важнаго поста онъ въ виду не имѣлъ, и только жаждалъ прожить легко и безпечально. И когда онъ бѣсмотрѣлся и вынулъ изъ чемодана цѣлую кипу рекомендательныхъ писемъ, то душою его овладѣла твердая увѣренность, что скромныя его мечты могутъ быть осуществлены вполне безпрепятственно.

Въ теченіе мѣсяца онъ успѣлъ объѣздить всѣхъ знакомыхъ, которыхъ счумѣлъ накопить во время своихъ кочеваній. Нѣкоторыя изъ этихъ знакомыхъ уже достигли высокихъ постовъ; другіе нажили хорошія состоянія и жили въ свое удовольствіе; третьимъ, наконецъ, не посчастливилось. Но Бодрцовъ не забылъ никого. Къ первымъ онъ былъ почтителенъ, со вторыми явилъ себя веселымъ собесѣдникомъ, къ третьимъ отнесся дружески, сочувственно. Только съ очень немногими, ужъ вполне отпѣтыми, встрѣтился не вполне дружелюбно, но и то съ крайнею осторожностью.

Путь, который ему предлежалъ, начертанъ былъ всею совокупностью его способностей. Это былъ путь человѣка, въ которомъ услужливость и досугъ являли полное, гармоническое сочетаніе. Но поприще, начатое еще въ провинціи, значительнымъ образомъ усложнилось. Въ провинціи, гдѣ жизнь совершается почти при открытыхъ дверяхъ, новость сама собой плыла въ уши; въ Петербургѣ требовался извѣстный трудъ, чтобы добыть ее. Притомъ же, чтобы не перевернуть петербургскую новость, надо стоять на высотѣ ея, знать отношенія, управляющія людьми и дѣлами, умѣть не приписать извѣстному лицу того, что ему несвойственно, однимъ словомъ, обработать уличный слухъ въ такомъ видѣ, чтобы онъ не поразилъ своимъ неправдоподобіемъ. Поэтому Бодрцовъ не сразу пустился во всѣ тяжкія, но приспособлялся къ своему ремеслу исподволь. Прежде

всего онъ обезпечилъ себя съ матеріальной стороны, устроившись по службѣ; потомъ началъ прислушиваться, стараясь уловить игру партій, ихъ относительную силу, а также характеръ тѣхъ неожиданностей, которыя имѣютъ свойство — всякіе расчеты и даже самую несомнѣнную увѣренность въ одно мгновеніе обращать въ прахъ. Послѣднее впрочемъ въ значительной мѣрѣ упрощало его задачу, ибо ежели есть въ запасѣ такой твердый оплотъ, какъ неожиданность, то ложь перестаетъ быть ложью и находить для себя полное оправданіе въ словахъ: „помилуйте! — два часа тому назадъ я самъ собственными ушами слышалъ!“

Во всякомъ случаѣ, благодаря хорошей подготовкѣ, Аѳанасій Аркадьичъ сталъ на избранномъ пути быстро и прочно. Будучи облаканъ амфитріонами, онъ не пренебрегалъ домохозяевами и челядинцами. Для всякаго у него находилось доброе слово, для дѣтей — бомбошка, для гувернантки — пожатіе руки и удивленіе передъ свѣжестью ея лица, для камердинера — небольшая денежная подачка въ праздникъ, скромность которой въ значительной мѣрѣ смягчалась простотою обращенія.

— Ну, что, голубчикъ, какъ сегодня... владыка-то? — спроситъ Аѳанасій Аркадьичъ, остановившись на минутку, чтобы побесѣдовать съ alter его владыки.

— Ничего — какъ будто. Встали утромъ даже сверхъ ожиданія... чаю накушались, докладъ отъ Ивана Иваныча приняли; теперь — завтракать сейчасъ будутъ.

— Ну, а насчетъ слуховъ какъ?

— Да ни то, ни сѣ... Кажется, какъ будто... Вчера съ вечера, какъ почевать ложились, наказывали мнѣ: „смотри, Семень, ежели ночью отъ князя курьеръ — сейчасъ же меня разбуди!“ И нынче, какъ встали, первымъ дѣломъ: „пріѣзжалъ курьеръ?“ — Никакъ нѣтъ, ваше-ство! — „Ахъ, чтобъ васъ!“ ...

— И больше ничего?

— Нынче они очень смиренны сдѣлались. Прежде, бывало, дѣйствительно, чуть что — и пошелъ дымъ коромысломъ. А въ послѣднее время такъ сократили себя, такъ сократили, что даже на удивленіе. Только и словъ: „въ насъ, братъ Семень, не нуждаются; пошли въ ходъ выродки да выходцы — ну, какъ-то они справятся, увидимъ“. А впрочемъ къ часу карету приказали, чтобы готова была...



— Можетъ быть, и сладится... Однако въ столовой ножами грѣмать; пойду-ка я...

— Пожалуйте!—генераль очень рады будутъ.

Аванасій Аркадьичъ сначала просовываетъ голову въ дверь столовой, и при восклицаніяхъ: „милости просимъ! милости просимъ!“ — проникаетъ и всѣмъ туловищемъ въ святилище завтраковъ и обѣдовъ.

— Ну, что?—кого назначили?—знаешь?—говори!—накидывается на него генераль.

Онъ еще бодръ и свѣжъ; волосы съ просѣдью, щеки румяныя, усы нафабрены, сюртукъ на-распашку, бѣлая жилетка.

— Да куда еще не рѣшено, — беззаастѣнливо лжетъ Бодрцовъ:—поговариваютъ, будто твое превосходительство побезпокоить хотятъ, но съ другой стороны графиня Погуляева черезъ барона фонъ-Фиша хлопочетъ....

— Это за „мартышку“—то?.. Нашли сокровище!

— И то никто въ городѣ вѣрить не хочетъ. Ну, да Богъ милостивъ, какъ-нибудь дѣло сладится, и ты...

— Чтожъ, я готовъ. Призовутъ ли, не призовутъ ли — на все воля Божья. Одно обидно — темнота эта. Шушукуются по угламъ, то на тебя взглянуть, то на „мартышку“ — ничего не поймешь... Эй, человѣкъ! — подтвердить тамъ, чтобы черезъ часъ непременно карета была готова!

Какъ нарочно, обстоятельства такъ сложились для Бодрцова, что пріѣздъ его въ Петербургъ совпалъ съ тѣмъ памятнымъ временемъ, когда сѣверная Пальмира какъ бы замутилась. Шли розыски; воздухъ былъ насыщенъ таинственными шопотами. Положеніе было серьезное, но людей, по обыкновенію, не оказывалось. Или, лучше сказать, ихъ было даже черезъ-чуръ много, но все такіе, у которыхъ было на умѣ одно:—урвать и ради этого безсознательно бѣжать, куда глаза глядятъ. Во всякомъ случаѣ, для слуховъ самыхъ разнообразныхъ и неправдоподобныхъ нельзя было придумать болѣе подходящаго времени.

Бодрцовъ воспользовался этимъ чрезвычайно ловко. Не принимая лично участія въ общемъ угарѣ, онъ, благодаря старымъ связямъ, вездѣ имѣлъ руку и сдѣлался какъ бы средоточіемъ и исторіографомъ господствовавшей паники. Съ утра онъ ужъ былъ начиненъ са-

мыми свѣжими новостями. Тамъ-то открыли то-то; тамъ нашли списокъ именъ; тамъ, наконецъ... Иногда онъ многозначительно умолкалъ, какъ бы заявляя, что знаетъ и еще кой-что, но дальше рассказывать несвоевременно...

— Увидите, и не то еще будетъ!—прибавлялъ онъ въ заключеніе.

— Но что же такое?—допрашивали его.

— Не могу, голубчикъ! но только вспомните мое слово!

— Надѣюсь однакожь, что съумѣютъ съ этимъ покончить!

— Ахъ, не скоро! ахъ, не скоро! Нужно очень-очень твердую руку, а нашъ генераль ужъ слабъ и старъ. Сердце-то у него попрежнему горитъ, да рука ужъ не та... Благодареніе Богу, общество какъ будто просыпается...

— Хоть бы къ обществу обратились, что-ли!

— Имѣется это въ виду, имѣется. Вчера объ этомъ серьезный разговоръ былъ, и...

— Рѣшено?

— Какъ будто похоже на это... Сегодня, впрочемъ, опять совѣщаніе будетъ, и надо думать... Мы ужъ обѣщали: тотчасъ же послѣ совѣщанія я къ одному человѣчку ужинать приглашенъ...

И т. д., и т. д.

Наконецъ Петербургъ понемногу затихъ, но шопоты не успѣли еще прекратиться, какъ начались военныя дѣйствія въ Сербіи, затѣмъ „болгарскія неистовства“, а въ концѣ концовъ и война за независимость Болгаріи. Санъ-стефанскій договоръ, потомъ берлинскій трактатъ—все это доставило обильнѣйшую пищу для дѣятельности Бодрецова. Въ то же время, какъ газеты силились чѣмъ-то подѣлиться съ читателями или по крайней мѣрѣ на что-нибудь намекнуть, Аванасій Аркадьичъ стрѣлою неся по Невскому и нашептывалъ направо и налево сокровеннѣйшія тайны дипломатіи. И такъ какъ онъ почерпалъ эти тайны въ самыхъ разнообразныхъ источникахъ, то и чепуха выходила разнообразнѣйшая. Однакожь этой чепухѣ вѣрили, такъ какъ настоящихъ фактовъ подъ руками не было, а между тѣмъ вѣзмъ хотѣлось заранѣе угадать, какую неожиданностью подарить міръ европейскій концертъ.

— Намъ—ни клока! все австріякъ заграбилъ!—шепталъ онъ сегодня:—такъ прогулялись, задаромъ!

— Гм... это все шутки Бисмарка!

— И Бисмаркъ, да и прочіе... Одинъ французъ былъ за насъ!

— Ахъ, этотъ французъ! И помочь-то онъ нынче никому не можетъ!

Но на другой день Аванасій Аркадычъ являлся съ торжествующей фізіономіей.

— Все наше, — возвѣщаль онъ: — и Болгарія — наша, и Молдавія — наша. Сербія — сама по себѣ, а Боснію и Герцеговину австріяку отдали. Только насчетъ Восточной Румеліи согласиться не могутъ, да вотъ англичанинъ къ острову Криту подбирается.

— Да вѣрно ли?

— Я у князя Котильона вчера обѣдалъ (мы съ нимъ въ Варшавѣ вмѣстѣ служили) — вдругъ шифрованную депешу принесли. Читалъ онъ ее, читалъ, — вижу, однако, улыбается. „Поздравьте, говоритъ, меня, другъ мой! Молдавія и Болгарія — наши!“ Сейчас потребовалъ шампанскаго: урааа! А тутъ, пока всѣ поздравляли друга друга, разъяснилось и все прочее.

— Вотъ только Боснію и Герцеговину жалко!

— Я ужъ и самъ говорилъ Котильону: какъ это вы козла въ огородъ пустили?

„Нельзя, говоритъ: я и самъ, мой другъ, понимаю, но... дѣлать нечего!“

— Да и насчетъ Восточной Румеліи...

— Ну, это пустяки! Ежели даже и посадятъ туда какого-нибудь Кадыкъ-пашу, такъ онъ, въ виду сосѣда, руки по швамъ держать будетъ!

— Да вѣрно ли?

— Чего еще вѣрнѣе! Отъ Котильона я отправился къ одному пріятелю — въ контролъ старшимъ ревизоромъ служить. „У насъ, говоритъ, сегодня экстренное засѣданіе: хотятъ въ Болгаріи единство кассъ вводить“. Оттуда — къ начальнику отдѣленія, въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ служить. Онъ тоже: „не знаете ли вы, говоритъ, человѣчка такого, котораго можно было бы въ Журжево исправникомъ послать?“

— Фу ты!!!

Вообще, какъ я уже сказалъ выше, Болгарія доставила ему неистощимый родникъ новостей. И до сихъ поръ онъ занимается ею съ



особенною любовью: подыскиваетъ кандидатовъ на болгарскій престоль, разузнаетъ, будетъ ли оккупація и какъ смотритъ на этотъ вопросъ австріякъ, распространяетъ вѣрнѣйшія свѣдѣнія о путешествіи болгарской депутаціи по Европѣ, о свиданіяхъ Стоилова съ Баттенбергомъ, и проч., и проч.

Но болгарскій вопросъ видимо истощается, и Бодрцовъ уже начинаетъ поговаривать о близости новаго конфликта между Германіей и Франціей.

— Вы думаете, Франція даромъ войска на восточной границѣ стягиваетъ?—говоритъ онъ:—нѣтъ, теперь ужъ всѣ ея приготовленія подробно извѣстны!

Или:

— Вы думаете, что Германія даромъ войска на западной границѣ стягиваетъ? Нѣтъ, батюшка, напрасно она полагаетъ, что въ наше время можно втихомолку войско въ пятьсотъ тысячъ человекъ въ одинъ пунктъ бросить!

И ежели война грянетъ, то Аѳанасій Аркадьичъ будетъ за два дня до опубликованія въ газетахъ сыпать по тротуарамъ самыя достоверныя извѣстія.

— Осада Парижа! — будутъ выкрикивать мальчишки-продавцы газетъ.

— Держи карманъ! — опровергнетъ ихъ Бодрцовъ:—это вчера нѣмцы подѣ Парижъ подошли, а нынче сами въ Мець спрятались. Нѣтъ, батюшка, нынче Франція ужъ не та. Генераль Буланже, ежели только онъ выдержитъ — большая ему будущность предстоитъ!

Въ настоящее время Аѳанасью Аркадьичу уже за пятьдесятъ, но любо посмотрѣть, какъ онъ бѣгаетъ. Фигура у него сухая, ноги легкія—любого скорохода опередить. Газеты терпятъ отъ него серьезную конкуренцію, потому что свѣдѣнія, получаемыя изъ первыхъ рукъ, отъ Бодрцова, и полнѣе, и свѣжѣе.

Однако и съ нимъ бываютъ прорухи. На дняхъ встрѣчаю я его на Морской: идетъ, понуривши голову, и къ величайшему удивленію... молчитъ! А это большая въ немъ рѣдкость, потому что онъ такъ полонъ разговора, что ежели нѣтъ встрѣчнаго знакомаго, то онъ самъ себя сообщаетъ новости.

— Чтò задумались, Аѳанасій Аркадьичъ?—спрашиваю я.

— У своего генерала сейчасъ былъ,—сообщилъ онъ мнѣ шопо-

томъ:—головомойку мнѣ задалъ. „Съ чего, говорить, вы взяли распространять слухъ, что какъ только французъ нѣмца въ лобъ, такъ мы сейчасъ австріяка во флангъ?“—А чего „съ чего“, когда я самъ собственными ушами слышалъ!

— Чтò же вы?

— Покаялся. Виновать, говорю, ваше-ство, впередъ буду осматрительнѣе... И чтò же вы думаете! Самъ же онъ мнѣ потомъ открылся: „положимъ, говорить, что вы правы; но есть вещи, которыя до времени открывать не слѣдуетъ“. Такъ вотъ вы теперь и разсудите. Упрекають меня, что я иногда говорю да не договариваю; а могу ли я?

Такимъ образомъ проходитъ день за днемъ жизнь Бодрцова, представляя собой самое широкое олицетвореніе публичности. Сознаетъ ли онъ это? — навѣрное сказать не могу, но думаю, что знаетъ... бессознательно. По крайней мѣрѣ, когда я слышу, какъ онъ взваливаетъ всѣ бѣды настоящаго времени на публичность, то мнѣ кажется, что онъ такъ и говоритъ: для чего намъ публичность, коль скоро существуетъ на свѣтѣ Аванасій Аркадьичъ Бодрцовъ?



### III.

## ПОРТНОЙ ГРИШКА.

Такъ по крайней мѣрѣ всѣ его въ нашемъ городѣ звали, и онъ не только не оставался безотвѣтенъ, но стремглавъ бѣжалъ по направленію зова. На вывѣскѣ, прибитой къ разваленному домишку, въ которомъ онъ жилъ, было слѣпыми и размытыми дождемъ буквами написано: „Портной Григорій Авенировъ—военный и партикулярный съ Москвы“.

Происхожденіемъ былъ онъ изъ дворовыхъ людей и отданъ съ десятилѣтняго возраста въ ученье къ славившимся тогда московскимъ портнымъ Шиллингу и Тѣпферу. Здѣсь онъ долгое время присматривался: таскалъ утюги, бѣгалъ въ трактиръ за кипяткомъ для настоящихъ портныхъ, терпѣлъ потасовки, учился сквернымъ словамъ, пилъ потихоньку вино и т. д. Словомъ сказать, продѣлалъ всю школу ученика. Пятнадцати лѣтъ ему дали иглу въ руки, и онъ, глядя на другихъ, учился шить на лоскуткахъ. Сшивалъ, распарывалъ и опять сшивалъ, пока наконецъ не дали ему подметывать. А черезъ годъ—посадили за верстакъ, и изъ него образовался уже настоящій портной. Только кроить онъ не умѣлъ (это дѣлали сами хозяева фирмы), и лишь въ послѣдствіи самоучкой отчасти дошелъ до усвоенія этого искусства.

Наружность, признаться сказать, онъ имѣлъ неблаговидную. Громадная не по росту, курчавая голова съ едва прорѣзанными, беспокойно бѣгающими глазами, съ мягкимъ носомъ, который всякій счи-



галь долгомъ покомкать; затѣмъ, приземистое тѣло на короткихъ ногахъ, которыя отъ постоянного сидѣнья на верстахъ были выгнуты колесомъ, мозолистыя руки—все это, вмѣстѣ взятое, дѣлало его фигуру похожею на клубокъ, усѣянный узлами. Когда этотъ клубокъ катился по улицамъ (Гришка постоянно отыскиваль работишки), то цѣплялся за встрѣчныхъ и терпѣлъ отъ нихъ не мало колотушекъ. Ежели прибавить къ этому замѣчательную неопрятность и вѣчно присутствующій запахъ перегорѣлой сивухи, которымъ, казалось, было пропитано все его тѣло, то не покажется удивительнымъ, что прекрасный полъ сторонился отъ Гришки.

Въ нашемъ городѣ, гдѣ онъ устроился тотчасъ послѣ крестьянскаго освобожденія, онъ былъ лучшей портной. Но городъ нашъ—бѣдный, и обыватели его только починивались, рѣдко прибѣгая къ заказамъ поваго платья. Одинъ исправникъ неизмѣнно заказываль каждый годъ новую пару, но и тутъ исправничиха сама покупала сукно и весь прикладъ, призывала Гришку и приказывала кроить при себѣ.

— И хоть бы она на минутку отвернулась или вышла изъ комнаты,—горько жаловался Гришка:—все бы я хоть на картузь себѣ доскутокъ выгадалъ. А то глазъ не спустить, всякій обрѣзокъ обреть. Да и за работу выбросятъ тебѣ зелененькую—тутъ и въ пиръ, и въ мѣръ, и на пропой, и за квартиру плати; а вѣдь коли пьешь, такъ и закусить надо. Недѣлю за ней, за этой парой просидишь, изъ-за трехъ-то цѣлковыхъ!

Одинъ только разъ ему посчастливилось: прѣхавшій въ городъ на ревизію губернаторъ зацѣпился за гвоздь и оторвалъ по цѣлому мѣсту фалду мундира. Гришка, разумѣется, такъ затачалъ, что лучше новой разорванная фалда вышла, и получилъ пять цѣлковыхъ.

— Вотъ какой это господинъ!—разказываль онъ потомъ:—слова не сказалъ, вынулъ бумажникъ, вытащилъ за ушко вотъ эту самую синенькую—„вотъ тебѣ, братецъ, за трудъ!“ Гдѣ у насъ такихъ господъ сыщешь!

Я зазналъ Гришку въ самый моментъ разрѣшенія крестьянскаго вопроса. У меня было подгородное оброчное имѣніе, и такъ какъ въ немъ не существовало господской усадьбы, то я по-неволѣ поселился на довольно продолжительное время въ городѣ на постояломъ дворѣ, гдѣ и устраиваль сдѣлки съ крестьянами. Жилъ я впрочемъ не

сплошь, а въ теченіе двухъ лѣтъ, покуда длилось мое дѣло, то уѣзжалъ, то возвращался. Въ новой одеждѣ я не нуждался, но „починиваться“ отъ времени до времени приходилось, и Гришка довольно часто навѣщалъ меня и по дѣлу, и безъ дѣла.

Жилъ онъ со своими стариками, отцомъ и матерью, которыхъ и содержалъ на свой скудный заработокъ. Старики были пьяненькіе и частенько-таки его поколачивали. Вообще онъ очень жаловался на битье, которое составляло главное содержаніе и язву его жизни. Колотили его и дома, и внѣ дома; а ежели не колотили, то грозили поколотить. Онъ торопливо перебѣгалъ на другую сторону улицы, встрѣчая городничаго, который считалъ какъ бы долгомъ погрозить ему пальцемъ и промолвить:— „погоди! не убѣжишь! вотъ ужъ!“ Исправникъ— тотъ не грозился, а прямо приступалъ къ дѣлу, приговаривая:— „вотъ тебѣ! вотъ тебѣ!“ и даже не объясняя законныхъ основаній. Даже купецъ Поваляевъ, имѣвшій въ городѣ каменные хоромы,—и тотъ подводилъ его къ зеркалу, говоря: „Ну, посмотри ты на себя! какъ тебя не бить!“

И затѣмъ ухватывалъ жирными пальцами его за носъ и комкалъ.

— И кабы я въ чемъ-нибудь былъ причиненъ!—негодовалъ Гришка:—ну, тогда точно... ну, стѣю того, такъ стѣю... А то, повѣрите ли, всякій мальчишка-клопъ, и тотъ норовить дать тебѣ ми-моходомъ туза! Спросите: за чтѣмъ?!

Какъ я уже сказалъ выше, ко мнѣ онъ ходилъ часто. Сначала посидитъ съ страпущей прислугой, а потомъ незамѣтно проберется въ мою комнату и стоитъ, притаившись въ дверяхъ, пока я самъ не заговорю.

— Ну, чтѣ новенькаго?—спросишь его.

— Да вотъ работашки бы...

— Радъ бы, да нѣтъ.

— Я и самъ думалъ, что нѣтъ. Прислали бы, кабы была. А какъ бы я живо! Да чтѣ, сударь, я пожаловаться вамъ хочу...

И начнетъ, и начнетъ. И почти всегда битье составляло главную тему его разсказней. Такимъ образомъ, помаленьку, урывками, разсказалъ онъ мнѣ свое горевое житье съ самыхъ младенческихъ лѣтъ.

— Вы какъ думаете, кто былъ мой отецъ?—говорилъ онъ:—старшимъ садовникомъ былъ онъ у господина Елпатьева. Кабы вина не пилъ, такъ озолотилъ бы его—вотъ какой это былъ человѣкъ!

Какія у насъ ранжереи были! сколько фрухтовъ, цвѣтовъ! И все они причиной. Бывало, призоветъ его баринъ: „чтобъ были у меня, Дементьичъ, на Ивана Крестителя — онъ 24-го іюня именины праздноваль — персики!“ — И были-сь. Большая, сударь, тутъ наука нужна. Раньше ставни въ ранжереѣ открыть, раньше протапливать начать, да чтобы не засушить или не залить — вотъ тогда и будутъ ранніе персики! А потомъ барыня Наталья Кириловна призоветъ: „чтобъ были у меня 26-го августа вишни!“ И были-сь! У другихъ объ вишняхъ ужъ и забыли, а у насъ Дементьичъ въ концѣ августа, бывало, подастъ столько, что господа съѣдутся да только ахаютъ. Отца-то моего у господина Елпатьева князь одинъ торговаль, тысячу рублей посулилъ да поваренка въ придачу, — такъ баринъ даже на такія деньги не польстился. А теперь вотъ и даромъ пришлось отпустить...

— Такъ отчего же бы старику не остаться у прежняго помѣщика?

— И сами теперь объ этомъ тужимъ, да тогда, вишь, мода такая была: всѣ вдругъ съ мѣста снялись, всей гурьбой пошли къ мировому. И чтѣ тогда только было — страсть! И не кормить-то баринъ, и бьетъ-то! Всю, то-есть, подноготную разомъ высказали. Пастухъ у насъ жилъ, въ родѣ какъ безъ разсудка. Болона у него на лбу выросла, такъ онъ на нее все указываль: болить! А господинъ Елпатьевъ на разборку-то не явился. Ну, посредникъ и выдалъ всѣмъ разомъ увольнительныя свидѣтельства.

— А били-таки васъ?

— Это такъ точно-сь. Да вѣдь и теперь, вашескородіе, управа-то на нашего брата одна... По крайности, какъ были крѣпостные, такъ знали, что *свой* господинъ бьетъ, а нынче всякій, кому даже не къ лицу, скуду своротить норовить. А сверхъ того и голодомъ донимають: питаться нужно, а работы нѣтъ. Ушелъ бы въ Москву, да куда я со стариками, со своей слабостью, тамъ поспѣлъ! Мы ужъ и сами потомъ хватились, что не про всѣхъ мѣстовъ припасено, — да поздно. Шибко разсердился тогда Иванъ Савичъ на насъ; кои потомъ и прощенья просили, такъ не простилъ: „сгиньте, говорить, съ глазъ моихъ долой!“ И чтѣ жъ бы вы думали? какія были „заведенія“ — и ранжереи, и теплицы, и грунтовые сараи — всѣ собственной рукой сжегъ! „Не доставайся, говорить, ни чорту, ни дьяволу!“



А наконецъ велѣлъ заложить коляску, забралъ семейство—только его и видѣли!

— Вы-то сами гдѣ жили, когда объявили волю?

— Я въ Москвѣ по оброку ходилъ. Да чтѣ моя, сударь, за жизнь—только слава! Съ малыхъ лѣтъ все въ колотушкахъ да въ битвѣ. Должно быть, несуразный я отъ роду вышелъ, что даже отецъ родной—и тотъ меня не жалѣлъ. Матушка еще по началу сколько-нибудь снисходила, а потомъ и она—видить, что всѣ бьютъ—и она стала бить. Оттого и росту у меня настоящаго нѣтъ. Сколько разъ меня господинъ Елпатовъ въ рекруты ставилъ—не принимаютъ да и шабашъ! Приказчикъ у насъ былъ,—такъ тотъ, бывало, позеленѣетъ весь, какъ меня изъ рекрутнаго присутствія обратно привезутъ, и первымъ долгомъ—колотить.—За чтѣ-жь, молъ, вы, Ефимъ Семенычъ, меня бьете? Развѣ я причинентъ! Я даже съ радостью въ солдатахъ послужить готовъ!—„Тебя-то, говорить, не бить! да тебя, какъ клопа, раздавить нужно!“

Высказавши все это, онъ на минуту закручинится и опять начнетъ:

— А я все-таки барскую ласку помню. Понадобится, бывало, барину новая пара или барчукамъ мундирчики новые—сейчасъ: выписать изъ Москвы Гришку! И шью, бывало, мѣсяць и два, и три, спины не разгибаю, покуда весь домъ не обонью. Со всякимъ лоскуткомъ все ко мнѣ; даже барыня: „сшей, Гришка мнѣ кальсоны!“—и не стыдилась, при моихъ глазахъ примѣривала. „Ты, говорить, Гришка, и не человѣкъ совѣтъ; при тебѣ и стыдиться нельзя“... Такая, сударь, у насъ барыня была—бѣдовая! верхомъ по-мужски на лошади ѣздила! Кончу свое дѣло, зачтутъ чтѣ слѣдуетъ въ оброкъ, полтинникъ въ зубы на дорогу и ступай на всѣ четыре стороны. А въ Москвѣ между тѣмъ мѣсто твое уже занято. Шлянешся недѣлю-другую, насилу устроишься!

— Въ чемъ же тутъ ласка была?

— Какъ же, сударь, возможно! все-таки... Зналъ я, по крайней мѣрѣ, что „свое мѣсто“ у меня есть. Непозадачится въ Москвѣ—опять къ барину: рѣжьте меня на куски, а я оброка добыть не могу! И не чтѣ подѣлаютъ. „Ахъ ты расподлая душа! выпороть его!“—только и всего. А теперь я къ кому явлюсь? Тогда у меня хоть церква своя, Спасъ-Преображенья, была—пойду въ воскресенье и помолюсь.

— Все-таки, по моему, на волѣ вамъ лучше живется!

— Извѣстно, какъ же возможно сравнить! Рабъ или вольный! Только доложу вамъ, что и воля волѣ рознь. Теперича я чтѣ хочу, тѣ и дѣлаю, хочу—лежу, хочу—хожу, хочу—и такъ посижу. Даже задавиться, коли захочу,—и то могу. Встанешь этта утромъ, смотришь въ окошко и думаешь: теперь шалишь, Ефимъ Семеновъ, рукой меня не достанешь! теперь я самъ себѣ господинъ. А нутко ступай, „самъ себѣ господинъ“, побѣгай по городу, не найдется ли гдѣ дыра, чтобы заплату поставить, да хоть двугривенничекъ на ѣду заполучить!

— Неужто до того дошло?

— А какъ бы вы, сударь, думали? Мудреное это дѣло—воля! Кабы дали мнѣ волю, да при семь капиталъ—и я бы распорядиться съумѣлъ! А то вышли мы въ тѣ поры, дворовые, на улицу; и направо, и на лѣво глядимъ, а чтѣ такое случилось—понять не можемъ. Снялись со стараго мѣста, идемъ впередъ, а впереди-то все не наше, ни до чего коснуться нельзя. Вамъ, сударь, и денька прожить не приводилось, чтобы въ свое время вы не позавтракали, не пообѣдали, чайку ненакушались,—а мыцѣлый мѣсяцъ Христовымъ именемъ колотились, покуда наконецъ кой-какъ да коѣ-какъ не пристроились.

— Да вѣдь въ такомъ большомъ дѣлѣ и всегда такъ. Не вы одни терпѣли, а и крестьяне, и помѣщики...

— Это чтѣ говорить! Знаю я и помѣщиковъ, которые... Позвольте вамъ доложить, есть у насъ здѣсь въ околотѣ баринъ, Федоръ Семенычъ Заозерцевъ прозывается, такъ тотъ еще когда радовался-то началъ! Еще только слухи объ волѣ пошли, а онъ уже радовался! „Теперь, говоритъ, вольный трудъ будетъ, а при вольномъ трудѣ земля самъ-десять родить станетъ“. И чтѣ же, напримѣръ, случилось: вольный-то трудъ пришелъ, а земля и совсѣмъ родить перестала—разомъ онъ въ какихъ-нибудь полгода прогорѣлъ!

— Такъ вотъ видите ли! Я и говорю, что не вы одни...

— Только онъ, не будь простъ, сейчасъ же въ Петербургъ уѣхалъ, къ тетенькѣ да къ дяденькѣ, да къ сестрицамъ—тѣ ему живо мѣсто оборудовали. Жалованье хорошее, а впереди ждетъ еще лучше—жить да посовистываетъ. Эхъ, кабы мнѣ кто-нибудь жалованье положилъ—кажется, я бы по смерть тому человѣку половину отдавалъ...

Вдоволь нажаловавшись, онъ уходилъ, съ тѣмъ, чтобы черезъ короткое время опять воротиться и опять начать цѣлую серію жалобъ. Видимо это облегчало его, наполняя праздное время и давая пищу праздному уму. Когда обида составляетъ единственное содержаніе жизни, когда она преслѣдуетъ человѣка, не давая ни минуты отдыха, тогда она, безъ всякой съ его стороны преднамѣренности, проникаетъ во всѣ закоулки сердца, наполняетъ всѣ помыслы. Языкъ не можетъ произносить иныхъ словъ, кромѣ жалобы, какъ будто самое формулированіе этой жалобы уже представляетъ облегченіе.

— А вотъ позвольте мнѣ рассказать, какъ меня въ мальчишкахъ били, — говаривалъ онъ мнѣ: — поступилъ я съ десяти лѣтъ въ ученье, и съ первой же, можно сказать, минуты началъ терпѣть. Видѣть меня никто не могъ, чтобы не надругаться надо мной. Съ утра до вечера все въ работѣ находишься: утюги таскаешь, воду носишь; за пять верстъ съ ящиками да съ корзинками бѣгаешь — и все угодить не можешь. Хозяева ременною плетью бьютъ; мастера всякія тиранства выдумываютъ. Бывало, позоветъ мастеръ: „давно я у тебя, Гришка, масла не ковырялъ!“ — поймаетъ это за волосы, и начнетъ ногтемъ большого пальца въ головѣ ковырять! Голова, уши, носъ — всегда въ болячкахъ были... Даже теперь голову ломитъ и въ ушахъ звонъ стоитъ, коли къ погодѣ... И все-таки живъ-съ!

— Ну, что объ этомъ вспоминать... вѣдь зажило!

— Нѣтъ-съ, не зажило, и не можетъ зажить... Ахъ, кабы мнѣ... вотъ хоть бы чуточку мнѣ засилія... кажется бы, я...

Онъ не досказывалъ своей мысли и умолкалъ.

— Ничего бы вы не подѣляли, да и подѣлать не можете. Вотъ кабы вы пить перестали — это было бы дѣльнѣе.

— И этому я еще въ ученикахъ научился. Принесешь, бывало, мастерамъ полштофъ, первымъ дѣломъ: „цѣняемъ, Гришка!“ И хоть отказывайся, хоть нѣтъ, разожмутъ зубы и вольютъ сколько имъ на потѣху надобно. А со временемъ и самъ своей охотой началъ потихоньку цопать. Цопаль-цопаль, да и дошелъ до сихъ мѣстъ, что и пересилить себя не могу.

— А вы пересильте; скажите себѣ: съ нынѣшняго дня не буду пить — и баста!

— Говорить-то по пустому все можно. Солько разъ я себѣ говорилъ: надо, братъ Гришка, съ колокольни спрыгнуть, чтобы званія,



значить отъ тебя не осталось. Такъ вотъ не прыгается, да и все тутъ!

— Зачѣмъ съ колоколни прыгать. Мы жизнью своею распоряжаться не вольны. Это, любезный другъ, и въ законахъ предусмотрено!

— А что же со мной законъ сдѣлаетъ, коли отъ меня только ключья останутся? Мѡчи моей, сударь, нѣтъ; казнять меня на каждомъ шагу — пожалуй, ежели въ пьяномъ видѣ, такъ и взаправду спрыгнешь... Да вотъ что я давно собираюсь спросить васъ: большое это господамъ удовольствіе доставляетъ, ежели они, напримѣръ, бьютъ?..

— То-есть, какъ же это „бить“?

— Да вотъ, напримѣръ, какъ при крѣпостномъ правѣ бывало. Привезетъ господинъ Елпатевъ приказчика: „кто у тебя цѣлую ночь пѣсни оралъ?“—И сейчасъ его въ ухо, въ другое... А приказчикъ, примѣрно, меня позоветъ. „Ты, чортъ несуразный, пѣсни ночью оралъ?“—И недождавшись отвѣта, тоже—въ ухо, въ другое... Сладость, что-ли, какая въ этомъ битьѣ есть?

— Не думаю. Битье вообще не удовольствіе; это движеніе гнѣва, выраженное въ грубой и отвратительной формѣ—и только. Но почему же вы именно о „господахъ“ спрашиваете? вѣдь не одни господа дерутся: полагаю, что и вы не безъ грѣха въ этомъ отношеніи...

— Извѣстно, промежду себя... Да вѣдь одно дѣло—драться, другое—бить. Напримѣръ, господинъ бьетъ приказчика, приказчикъ—меня... Мнѣ-то кого же бить?

— Зачѣмъ же вамъ бить? вообще, это скверно... И что это вамъ вдругъ вздумалось завести разговоръ?

— Да такъ-съ. Признаться сказать, вступитъ иногда этакая глупость въ голову: вѣдь, молъ, кого-нибудь бьютъ, точно лѣстница такая устроена... Только тотъ и не бьетъ, который на послѣдней ступенькѣ стоитъ... Онъ это и есть настоящій горюнь. А впрочемъ и то сказать: съ чего мнѣ вдругъ взбрелось... Такъ, значить, починяться не желаете?

— Нечего чинить-то.

— Ну, на нѣтъ и суда нѣтъ. А я вотъ еще что хочу васъ спросить: можетъ ли меня городничій безъ причины колотить? Есть у него право такое?

— Ни безъ причины, ни съ причиною колотить не дозволяется. Городничій можетъ подъ судъ отдать, а тамъ какъ ужъ судъ по-судить.

— Стало быть, и съ причиною бить нельзя? Ну, ладно, это я у себя въ трубѣ помеломъ запишу. А то, призываетъ меня наемднись: „Ты, говорить, у купца Бархатникова жилетку укралъ? — Нѣтъ, говорю, я отъ роду не воровалъ. — „Ахъ! такъ ты еще запираешься!“ — И началъ онъ меня чесать. Причесывалъ-причесывалъ, инда слезы у меня градомъ полились. Только, на мое счастье, въ это самое время старшій городской человѣкъ привелъ: „вотъ онъ—воръ, говорить, и жилетку въ кабакъ сбыть хотѣлъ“ ... Такъ вотъ какимъ нашего брата судомъ судятъ!

— Ну, и что же потомъ?

— Помилуйте! даже извинился-съ! — „Извини, говорить, голубчикъ, за другой разъ зачту!“ — Вотъ онъ добрый какой! Такъ меня это обидѣло, такъ обидѣло! Иду отъ него и думаю: непременно жаловаться на него надо—только куда?

— Какъ куда? Купите листъ гербовой бумаги, да и пошлите губернатору просьбу.

— Вотъ оно какъ: гербовый листъ купить надо! а гдѣ купило-то взять? да кто мнѣ и просьбу то напишетъ... вотъ кабы вы, сударь!

— Нѣтъ, мнѣ неловко. Я вѣдь бываю у городничаго, въ карты иногда вмѣстѣ играемъ... Да и вообще... На „писателей“—то, знаете, не очень дружелюбно посматриваютъ, а я здѣсь человѣкъ прѣзжій. Кончу дѣло и уѣду отсюда.

— Это такъ точно-съ. Кончите и уѣдете. И къ городничему въ гости, между прочимъ, ѣздите—это тоже... На дняхъ онъ именинникъ будетъ—дѣлный день по этому случаю пированье у него пойдетъ. А мнѣ вотъ что на умъ приходитъ. Гдѣ же правду искать? Неужто только на гербовомъ листѣ она написана?

— Гербовый листъ—самъ по себѣ, а правда—сама по себѣ. Гербовый листъ—это пошлина, Не на правду пошлина, а чтобы казнѣ доходъ былъ. Кабы пошлины не было, со всякими бы пустяками начальство утруждали; а вотъ какъ теперь шесть гривенокъ надо за листъ заплатить—ну, иной и задумается.

— Шесть гривенъ! гдѣ эго мѣсто денегъ взять! А все-таки

правду хотѣлось бы сыскать. Намеднись господинъ Поваляевъ мялъ-мялъ мнѣ носъ, а я ему и говорю: — вотъ вы мнѣ носъ мнете, а я отъ васъ гривенника никогда не видалъ — гдѣ же, молъ, правда, Василій Васильевичъ? — А онъ мнѣ въ отвѣтъ: „Такъ вотъ оно ты объ чемъ, бубновъ валець, разговаривать сталъ! Правды захотѣлось... ахъ! Да знаешь ли ты, что тебя за такой разговоръ въ тартарары сослать надо!“ — да пуще, да пуще! Мы, вашескородіе, когда не хмельны, такъ соберемся иногда — старики мои, я да вотъ хозяинъ нашъ — и все объ правдѣ говоримъ. Была же она когда-нибудь на свѣтѣ, коли слово такое естъ. Хоть при сотвореніи міра, да была. Должно быть, и теперъ естъ, только чиновники ее въ шкапъ заперли. Отдай шесть гривенъ — шкапъ пріотворять, — смотришь, а тамъ пусто!

— Не говорите такъ. Неравно услышатъ — нехорошо будетъ.

— Чего мнѣ худого ждать! Я ужъ такъ худъ, такъ худъ, что теперъ со мной чтò хочешь дѣлай, я и не почувствую. Въ самую, значить, центрѹ попалъ. Однажды мнѣ городничій говорить: „въ Сибирь, говорить, тебя подлеца надо!“ — А что, говорю, и ссылайте, коли ваша власть; мнѣ же лучше: новыя страны увижу. Пропонтирую пѣшкомъ отселъ до Иркутска — и чего-чего не увижу. Сколько разъ въ бѣгахъ набѣгаюсь! Изловятъ — вздуютъ: — „влѣпить ему!“ — все равно какъ здѣсь.

— Однако, вы-таки отчаянный!

— Не отчаянный, а до настоящей точки дошелъ. Идти дальше некуда, все равно гдѣ ни быть. Начальство бьетъ, родители бьютъ, красныя дѣвушки глядѣтъ не хотятъ. А вѣдь я, сударь, худъ, худъ, а къ дѣвушкамъ большое пристрастіе имѣю. Кабы полюбила меня эта самая Ѳеклинья, хозяйка нашего дочь — ну, кажется бы, я... И пить бы пересталъ, и все бы у меня по хорошему пошло, и заведенъ бы открылъ... Только ничего отъ нея я другого не слышу, окромя: „уйди ты, лохматый чортъ, съ моихъ глазъ долой!“ ... А впрочемъ надоѣлъ я, должно быть, вамъ своей болтовней?..

— Ничего. Только мнѣ идти надо.

— Къ городничему-съ? Счастливо оставаться, сударь! дай Богъ любовь да совѣтъ! въ карточки сыграете — съ выигрышемъ поздравить приду!

Однажды онъ прибѣжалъ ко мнѣ въ величайшемъ волненіи.



— Хочу я васъ спросить, сударь, — сказалъ онъ: — есть такія права, чтобы взрослога человѣка розгами наказывать?

— Говорилъ ужъ я вамъ, что такихъ правъ давно не существуетъ.

— А меня, между прочимъ, даже сегодня наказали. Мнѣ объ Рождествѣ тридцать-пять лѣтъ будетъ, а меня высѣкли.

— Кто же? за что?

— Родитель высѣкъ. Привелъ меня — а самъ пьяный-распьянный — къ городничему: „я, говоритъ, родительскою властью желаю, чтобъ вы его высѣкли!“ — Можно, говоритъ городничій: — эй, вахтеръ! розогь! — Я было туда-сюда: за что, молъ? — „А за неповиновеніе, объясняется отецъ: за то, что онъ насъ, своихъ родителей, на старости лѣтъ не кормить“. И сколь я ни говорилъ, даже кричалъ — разложили и высѣкли! Есть, вашескородіе, въ законѣ объ этомъ?

— Не знаю, право. Человѣкъ вы какой-то особенный, только съ вами такія дѣла и случаются! Никакой законъ не подходитъ къ вамъ.

— И то особенный я человѣкъ, а я что же говорю! Бьютъ меня — вся моя особенность тутъ! Побѣждалъ я отъ городничаго въ кабакъ, снялъ штаны: — православные! засвидѣтельствуйте! — а кабатчикъ меня и оттолкъ въ шею вытолкалъ. Побѣждалъ домой — не пускають!

— И домой не пускають?

— Да, и домой. Сидятъ почтенные родители у окна и водку пьютъ: „проваливай! чтобъ ноги твоей у насъ не было!“ А квартира, между прочимъ, — моя, вывѣска на домъ — моя; за все я собственныя деньги платилъ. Могутъ ли они теперича въ чужой квартирѣ дебоширствовать?

Я рѣшительно недоумѣвалъ. Можетъ ли городничій выпороть совершеннолѣтняго сына по просьбѣ отца? Можетъ ли отецъ выгнать сына изъ его собственной квартиры? — все это представлялось для меня необыкновеннымъ, почти похожимъ на сказку. — Конечно, ничего подобнаго не должно быть, говорилъ здравый смыслъ, а внутреннее чувство между тѣмъ подсказывало: отчего же и не быть, ежели въ натурѣ оно есть!..

— И добро бы я не зналъ, на какія деньги они пьютъ! — продолжалъ волноваться Гришка: — есть у старика деньги, есть! Еще

когда мы крѣпостными были, онъ припрятываль. Бывало, нарветъ фруктовъ, да ночью и снесетъ къ сосѣдямъ, у кого ранжерей своихъ нѣтъ. Кто гривенничекъ, кто двугривенничекъ пожертвуетъ... Развѣ я не помню! Помню я, даже очень помню, какъ онъ гривенники обиралъ, и когда-нибудь все на свѣжую воду выведу! Ахъ, сдѣлай милость! Сами нѣютъ, а мнѣ не только не поднесутъ, даже въ собственную мою квартиру не пушаютъ!

Гришка съ каждой минутой все больше и больше свирѣпѣлъ. Какъ на грѣхъ, въ это время совсѣмъ неожиданно посѣтилъ меня городничій. У Гришки даже кровью глаза налились при его появленіи.

— Вотъ и господинъ говорить, — бросился онъ къ нему: — что вы не только безъ причины, а и съ причиной драться не смѣете! А вы, между прочимъ, высѣкли меня! ахъ!

И вдругъ онъ, къ моему ужасу, началъ наскакивать на городничаго. Прыгаетъ кругомъ, словно совсѣмъ и страха лишился, такъ что добрый старикъ даже сконфузился.

— Вонъ! — крикнулъ онъ, потрясая палкой, на которую опирался по причинѣ раны въ ногѣ: — м-м-мерзавецъ!

— Нѣтъ, я не „вонъ“ и не „мерзавецъ“, а вы вотъ при господинѣ объясните, какое такое право имѣли вы меня высѣчь?

— Отецъ высѣкъ, — не я. Отецъ все надъ тобой сдѣлать можетъ: въ Сибирь сослать, въ солдаты отдать, въ монастырь заточить... Ты его не кормишь, расподлая твоя душа!

— Такъ тѣ по суду! въ судъ онъ долженъ подать на меня, въ судъ! Чтѣ присудить судъ, тѣ и долженъ я исполнить — вотъ и господинъ это самое говорить. Въ Сибирь такъ въ Сибирь; на каторгу такъ на каторгу — по суду мнѣ вездѣ хорошо! А то, вишь вѣдь, какія права наши! заманили на свѣжую, разложили и выпороли! Нѣтъ, нынче ужъ и мы... нынче и у насъ спина... не всякій тоже... Отецъ!.. ишь вѣдь какія права нашлись! такъ чтожъ что отецъ! Онъ меня сотворилъ — это такъ! но чтобы... Вотъ, ей Богу, сейчасъ пойду, листъ гербовой бумаги куплю! не пожалѣю шести гривенъ — прямо къ губернатору!

Положеніе мое было критическое. Старикъ городничій судорожно сжималъ лѣвый кулакъ, и я со страхомъ ожидалъ, что онъ не выдержитъ, и въ присутствіи моемъ произойдетъ односторонній маневръ.

Я долженъ однакожь сознаться, что колебался недолго: и на этотъ разъ, какъ всегда, я рѣшился выйти изъ затрудненія, разрубивъ узелъ, а не развязывая его. Или, короче сказать, пожертвовалъ Гришкой въ пользу своего собрата, съ которымъ велъ хлѣбосоольство и игралъ въ карты...

— Да не бейте вы его, ради Христа! — обратился я къ городничему, когда Гришка исчезъ.

— Его-то? — изумился старикъ.

— Да, его. У него вѣдь свои права...

— У него-то... права!

— Права. Хоть маленькія, но права.

— Да вѣдь я его по желанію отца высѣкъ...

— И отъ отца вы не вправѣ были принимать такихъ заявленій, а обязаны были обратиться къ суду.

— Стало быть, и родительская власть... Позвольте, я вамъ что расскажу. Я самъ — вотъ какъ видите — я самъ въ молодости такой прожженный негодяй былъ, что днемъ съ огнемъ поискать. И карты, и пьянство, и дебошъ — всего было! Бился-бился отецъ, вызвалъ меня изъ полка въ отпускъ, и не успѣлъ я еще въ родительскій домъ путемъ войти, какъ окружили меня въ лакейской, спустили штаны, да три пучка розогъ и обломали объ мое поручичье тѣло... Съ тѣхъ поръ — какъ съ гуся вода! Въ карты — по маленькой; водки — только передъ обѣдомъ рюмка... баста! Такъ вотъ оно что значитъ родительская-то власть! Помилуйте! да ежели бы я Гришку не училъ, такъ онъ и городъ-то у меня давно бы спалилъ!

Это воспоминаніе прошлаго совершенно успокоило моего гостя. Я заикнулся-было возразить ему, но языкъ не поворотился передъ такою невозмутительностью. На встрѣчу всѣмъ возраженіямъ шла самая обыкновенная оговорка: сила вещей. Нигдѣ она не написана, никѣмъ не утверждена, не заклемена, а идетъ себѣ напроломъ и все на пути своемъ побѣждаетъ. Одинъ расскажетъ, какъ его сѣкли, другой расскажетъ, какъ съ него шкуру спустили — и всѣ убѣдятся, что иначе не можетъ и быть. Каждый пороется у себя въ памяти, и непременно какое-нибудь сѣченье да найдетъ... Тутъ и родители, и заступающіе ихъ мѣсто, и попечители, — словомъ сказать, всѣ, которые и сами были сѣчены, которыхъ праотцы были сѣчены, и которые ни за что не повѣрятъ, услыхавъ, что сыновья и внуки ихъ



не пожелаютъ быть сѣченными. До такой степени не повѣрять, что хоть внезапно, крадучись, а все-таки или себя позволять, на старости лѣтъ, высѣчь, или сами кого-нибудь высѣкутъ... И не по злобѣ, а такъ, ради выполненія освященнаго вѣками педагогическаго принципа.

Въ другой разъ Гришка прибѣжалъ еще болѣе взволнованный.

— А у меня-сегодня палатскій чиновникъ былъ! — объявилъ онъ мнѣ.

— Неужели опять про битые будете рассказывать?

— Нѣтъ, этотъ не билъ, а пришелъ и говорить: „Я присланъ здѣшніе торги провѣрить; вывѣска эта ваша?“ — моя, говорю. — „Вы одинъ занимаетесь мастерствомъ? безъ учениковъ?“ — Одинъ. — „А имѣется у васъ свидѣтельство на мѣшчанскіе промыслы?“ — Какое свидѣтельство? — „А вотъ, смотрите!“ — Вынулъ изъ портфеля листъ, а на немъ написано: цѣна 2 р. 50 к. — „Уплатите, говоритъ, деньги и возьмите свидѣтельство: на первый разъ я васъ не штрафую!“ — Я такъ и ахнулъ! — Помилуйте! гдѣ же я эко мѣсто денегъ возьму? — „А это, говоритъ, меня не касается; я законъ выполнить долженъ, а вы какъ знаете“. А ежели я да не возьму свидѣтельства? — „Тогда я инструментъ вашъ запечатаю“ ... Позвольте у васъ спросить, сударь: можетъ онъ такъ со мной поступить?

— Не знаю; можетъ быть, законъ такой есть. Много нынче новыхъ законовъ пишутъ — и не услѣдишь за всѣми! Стало быть, вы теперь съ обновкой?

— Помилуйте! гдѣ я эстолько денегъ возьму? — Постоялъ — постоялъ этотъ самый чиновникъ: „такъ не берете?“ говоритъ. — Денегъ у меня и въ заводѣ столько нѣтъ. — „Ну, такъ я приступлю“ ... Взаялъ, чтѣ на глаза попалось: кирпичъ истыканный, нитокъ клубокъ, иглокъ пачку, положилъ все въ ящикъ подъ верстакомъ, продѣлъ черезъ столъ веревку, запечаталъ и уѣхалъ. „Вы, говоритъ, до завтра подумайте, а ежели и завтра свидѣтельство не возьмете, то я протоколъ составляю, и тогда ужъ вдвойнѣ заплатите!“ Вотъ, сударь, коммерція у меня какова!

— Чтожъ, дѣлать нечего, приходится взять.

— И я вижу, что приходится, да денегъ нѣтъ. По его, значить, я руки склавши сидѣть долженъ... Гдѣ это слыхано! человѣкъ

работаетъ, а ему говорятъ: не смѣй работать, ступай въ кабакъ! Потому что куда же мнѣ теперь, окромя кабака, идти?

— Да—но согласитесь сами, что и государство съ своей стороны... У государства есть потребности: войско, громадная орава чиновниковъ—нужно все это оплатить! Вотъ оно и изыскиваетъ предметы... И предметы сіи называются предметами обложенія. Пора бы вамъ, кажется, знать.

— И то пора. Только, вотъ, какъ ни живешь, а все завтрашняго предмета не угадаешь. Сегодня десять предметовъ, думаешь, будетъ; ань завтра—одиннадцатый! И все по затылку да по затылку—хлобысь! А мы бы, вѣшескородіе, и безъ предметовъ хорошоховнько прожили бы.

— Вѣрю вамъ, что безъ предметовъ удобнѣе, да нельзя этого, любезный. Во-первыхъ, какъ я уже сказалъ, казнѣ деньги нужны; а во-вторыхъ, наука такая есть, которая только тѣмъ и занимается, что предметы отыскиваетъ. Сначала по наружности человѣка осмотритъ—одни предметы отыщеть, потомъ и во внутренности заглянетъ, а тамъ тоже предметы сидятъ. Разыщеть наука чтѣ слѣдуетъ, а чиновники на усъ между тѣмъ мотають, да какъ наступитъ пора—и начнутъ по городамъ разъѣзжать. И какъ только запримѣтятъ полезный предметъ—сейчасъ протоколь!

— И сколько съ насъ этихъ сборовъ сходить—страсть! И на думу, и на мірское управленіе, и на повинности, а потомъ пойдутъ портомойныя, банныя, мостовыя, училищныя, больничныя. Да нынче еще мода на менаменты пошла... Мѣсяца не пройдетъ, чтобъ мѣщанскій староста не объявилъ, что копѣйки три-четыре въ годъ новаго схода не прибавилось. Платишь-платишь—и вдругъ: отдай два съ полтиной!

— И отдадите.

— Безпремѣнно это купецъ Бархатниковъ на меня чиновника натравилъ. Недаромъ онъ намеднись смѣялся: „вотъ ты работаешь, Гришка, а правовъ себѣ не выправилъ“. Я, признаться, тогда не понялъ: это вамъ, брюхачамъ, говорю, права нужны, а мы и безъ правовъ проживемъ!—А теперь вотъ оно чтѣ оказалось! Безпремѣнно это его дѣло! Такъ, стало быть, завтра въ протоколь меня запишутъ, а потомъ прямой дорогой въ кабакъ!

Однакожь на другой день онъ навѣстилъ меня уже съ обновкой.

Купецъ Поваляевъ далъ ему, одинъ за другимъ, сто щелчковъ въ нось, и за это внесъ требуемую пошлину.

И тутъ, стало быть, дѣло не обошлось безъ битья.

Одинъ только разъ Гришка пришелъ ко мнѣ благодушный, какъ будто умиротворенный и совсѣмъ трезвый. Онъ только-что воротился изъ „своего мѣста“, куда ходилъ на престольный праздникъ Спаса Преображенія.

— Ушли мы отсюда наканунѣ праздника, чуть свѣтъ,—разсказывалъ онъ мнѣ:—косушку вина взяли, калачей, колбасы. Отойдемъ версты три—отдохнемъ и закусимъ. Сорокъ-то верстъ отвалить—не поле перейти. У Троицы на половинѣ дороги соснули, опять косушку купили. Только къ вечеру ужъ, часамъ къ семи, видимъ: нашъ Спасъ-Преображенія изъ-за лѣсу выглянулъ! Стоитъ на горѣ, ровно какъ на картинкѣ, весь въ солнышкѣ. Слышимъ—и ко всеюнощной ужъ благовѣстятъ. Ну, мы сняли съ себя одежду, почистились, умылись въ канавѣ и пошли. Огошла всеюнощная—ужъ темно. Пошли къ тетенькѣ Афимѣ Егоровнѣ—накормила насъ, въ сарайчикѣ спать уложила. А въ сарайчикѣ-то сѣно новое—таково ли пахнетъ! И чтожь, сударь, усталъ я съ дороги, а никакъ не усну! Ворочаюсь съ боку на бокъ, и все думаю: скоро ли свѣтъ? И чуть только побѣдѣло, я изъ сарая вонь! Вышелъ, смотрю: Господи, ты Боже мой! благодать! И солнышко-то тамъ не по здѣшнему встаетъ! Здѣсь встанешь утромъ, помотришь въ окошко—солнце какъ солнце! А тамъ словно змѣйками огненными сначала брызнетъ, и начнетъ потомъ дальше да пуще разливаться... Дохнуть боишься, покуда оно, значить, солнце-то, однимъ краешкомъ словно изъ воды выплывать начнетъ! А кругомъ—тишина, ни одна вѣточка, ни одинъ листъ не шелохнется—точно и деревья-то заснули, ждуть, пока солнышко не пригрѣетъ. Стоялъ я такимъ манеромъ одинъ, а тамъ, слышу, ужъ и по деревнѣ зашевелились. Бабы печи затоплять стали, стадо въ поле погнало, къ заутрени зазвонили. Отстояли мы заутреню, потомъ обѣдню. Приходъ у насъ хоть маленькій, а все же для праздника дьякона сосѣдняго пригласили. Послѣ обѣдни,—даже не закусили путемъ,—прямо на барскій дворъ побѣжалъ... ахъ, хорошо! Домъ-то, правда, съ заболоченными ставнями стоитъ, за то въ саду—и не



вышелъ бы! кусты, кусты, кусты—такъ и обступили со всѣхъ сторонь... И на дорожкахъ, и на клумбахъ—вездѣ все въ одинъ большущій кустъ сплелось! И сирень тутъ, и вишня, и акація, и тополь! И весь этотъ кустъ большущій поетъ и стрекочетъ! А кругомъ саду—березы, липы, тополи—и глазомъ до верхушки не достанешь. Давно ли, кажется, я каждое дерево наперечетъ зналъ, а тутъ, какъ садъ-то заросъ, и я запутался. Стоять, сердечныя, и шапками покачиваютъ, словно отпѣванье кругомъ идетъ. Ходиль-ходилъ я одинъ-одинёхонекъ, да и думаю: хорошо, что надумалъ одинъ идти, а то безпремѣнно бы мнѣ помѣшали. Нагулявшись до-сыта, пошелъ въ другой садъ, гдѣ у стараго барина фруктовое заведеніе было—и тамъ все спуталось и сплелось. Ягодные кусты одичали; гдѣ гряды съ клубникой были—мелкая поросль березовая словно щетка стоитъ; гдѣ ранжерей и теплица были—тамъ и сейчасъ головешки не убраны. Только яблони еще цѣлы, да и у тѣхъ вѣтки, ради Преображеньева дня, деревенскіе мальчишки, вмѣстѣ съ яблоками, обломали. Смотрю: и родитель мой, ужъ выпивши, около ранжерей стоитъ. „Вотъ, говорить, ходиль-ходилъ, кровь-потъ проливалъ, а чтó осталось!“

Наконецъ, ужъ почти передъ самымъ моимъ отъѣздомъ изъ города, Гришка пришелъ ко мнѣ и какъ-то таинственно, словно боялся, что его услышать, объявилъ, что онъ женится на хозяйской дочери, Ѳеклинѣ, той самой, о которой онъ упоминалъ не разъ и въ прежнихъ собесѣдованіяхъ со мною.

— Ахъ, хороша дѣвица!—хвалилъ онъ свою невѣсту:—и изъ себя хороша, и скромница, и стирать бѣлье умѣетъ. Я буду портняжничать, она—по господамъ стирать станетъ ходить. А квартира у насъ будетъ своя, бесплатная. Проживемъ, да и какъ еще проживемъ! И стариковъ прокормимъ. Вино-то я ужъ давно собираюсь бросить, а теперь—и ни Боже мой!

— Стало быть, она согласилась?

— Да съ какою еще радостью! Только и спросила: „Ситцевыя платья будете дарить?“—Съ превеликимъ, говорю, моимъ удовольствіемъ!—„Ну, хорошо, а то папаша меня все въ затрапезѣ водить—передъ товарками стыдно!“—Ахъ, да и горевое же, сударь, ихнее житье! Отецъ—старикъ, работать не можетъ, да и зашибается; матери нѣтъ. Одна она и заработаетъ что-нибудь. Да вотъ мы за квар-

тиру три рубля въ мѣсяцъ отдадимъ — какъ тутъ разживешься! съ хлѣба на квасъ — только и всего.

— Смотрите же, сдержите ваше слово, бросьте пить!

— И ни-ни! Вчера послѣднюю косушку выпилъ. Сегодня съ утра мутить, да авось перемогусь. Нельзя мнѣ, сударь, пить, ни-коимъ манеромъ нельзя. Жена, старики, а тамъ, благослови Господи, дѣти пойдутъ. Всѣмъ пропитанье я достать долженъ, да и Ѳеклинь-юшку свою поберечь. Стирка да стирка... руки у нея — кабы вы видѣли!.. даже ладони всѣ въ мозоляхъ! Ну, да отдохнетъ и она за мужнинымъ хребтомъ! И какъ мнѣ теперь весело, кабы вы знали — точно нутро мое все перемѣнили! Только вотъ старики на радостяхъ шибко горлачатъ, да, небось, устанутъ же когда-нибудь!

— Ну, дай вамъ Богъ счастливо начать новую жизнь...

Затѣмъ я скоро совсѣмъ уѣхалъ и съ тѣхъ поръ не видалъ Гришки. Однакожъ кое-что случайно слышалъ о немъ, и это слышанное рѣшаюсь передать читателю уже не въ качествѣ дѣйствующаго лица, а въ качествѣ повѣствователя.

Свадьба состоялась на-славу. Начать съ того, что глядѣть на жениха и невѣсту сбѣжался въ церковь весь городъ; всѣмъ было любопытно видѣть, каковъ будетъ Гришка подъ вѣнцомъ. Затѣмъ, на дворѣ лилъ сентябрьскій проливной дождь — это значило, что молодымъ предстоитъ жить богато. Наконецъ, за свадебнымъ пиромъ всѣ перенились, а это значило, что молодые будутъ жить весело.

Гришка былъ совсѣмъ трезвъ и смотрѣлъ почти прилично. За двѣ недѣли до свадьбы онъ пересталъ пить, а купецъ Поваляевъ сжалился надъ нимъ и за многія прежнія претерпѣнія далъ двадцатипяти-рублевую на свадьбу. Были и другія пожертвованія, да отецъ заглянулъ въ кубышку, такъ что собралось рублей пятьдесятъ. А чего недостало, то въ долгъ взяли, такъ какъ Гришка продолжалъ питать радужныя мечты насчетъ собственнаго заведенія, а также и насчетъ того, что Ѳеклинья будетъ ходить по господамъ и стирать бѣлье.

Но на другой же день онъ уже ходилъ угрюмый. Когда онъ вышелъ утромъ за ворота, то увидѣлъ, что послѣднія вымазаны дегтемъ. Значить, по городу уже ходила „слава“, такъ что если бы онъ и

хотѣлъ скрыть свое „безчестье“, то это былъ бы только напрасный трудъ. Поэтому онъ приколотилъ жену, потомъ тестя и, пошатываясь какъ пьяный, полѣзъ на верстакъ. Но отъ кабака все-таки воздержался.

Өеклинья была шустрая мѣщаночка, лѣтъ двадцати-трехъ, давно извѣстная всѣмъ мѣстнымъ купеческимъ сынкамъ. Особенной красотой она не обладала, но была востроглаза, бѣла, но не расплывчива, хотя уже слегка расположена къ дебелисти. Это послѣднее качество, сопряженное съ молодою задорливостью, въ особенности нравилось. И ходила она какъ-то задорно, и глазами подмигивала, точно нѣ-вѣсть чтѣ сулила! Въ цѣломъ городѣ одинъ Гришка, по наивности и одичалости своей, не зналъ, что у нея уже сложилась прочная и очень некрасивая репутація.

Въ углу на столѣ кипѣлъ самоваръ; домашніе всей семьей собрались около него и пили чай. Өеклинья съ заплаканными глазами щелкала кусокъ сахару; тесть дулъ въ блюдечко и громко ругался. Гришка сидѣлъ неподвижно на верстакѣ и безъ всякой мысли смотрѣлъ въ окошко.

— Садись пить чай,—звала его мать:—все равно не поправишь. А я ужѣ пойду, нагрѣю воды да отмою деготь.

Но Гришка не позволилъ отмывать.

— Не тронь! пускай всѣ знаютъ, въ какомъ я интересѣ нахожусь!—зловѣще прорычалъ онъ:—нынче смоешь, завтра опять вымажутъ.

— И поймать озорниковъ можно. Ужъ такъ бы я отколошматила, кабы попался!

— Стѣдить изъ-за нея безпокойство принимать... паскуда! У меня своя вывѣска, у нея—своя. Уйду въ Москву; пускай она вась своими трудами кормить!

Такъ онъ и не притронулся къ чаю. Просидѣлъ съ часъ на верстакѣ и пошелъ на улицу. Сначала смотрѣлъ встрѣчнымъ въ глаза довольно нахально, но потомъ вдругъ застыдился, точно онъ гнусное дѣло сдѣлалъ, за которое на немъ должно лечь несмываемое пятно,—точно не его кровно обидѣли, а онъ всѣмъ, и знакомымъ, и незнакомымъ, нанесъ тяжкое оскорбленіе.

— Съ праздникомъ!—крикнулъ съ балкона купецъ Повалевъ, завидѣвъ его.



— Съ семейнымъ счастьемъ! дай Богъ совѣтъ да радость! — подхватилъ съ другого балкона купецъ Бархатниковъ.

Онъ шель, не поднимая головы, покуда не добрался до конца города. Передъ нимъ разстлалось неоглядное поле, а у дороги, близъ самой городской межи, притаилась небольшая рощица. Деревья уныло качали разбухшими отъ дождя вѣтками; земля была усѣяна намокшимъ желтымъ листомъ; изъ середки рощи слышалось слабое гудѣнье. Гришка вошелъ въ рощу, легъ на мокрую землю и, можетъ быть, въ первый разъ въ жизни серьезно задумался.

„Всю жизнь провелъ въ битвѣ, и теперь срамъ насталь, — думалось ему: — куда дѣваться? Остаться здѣсь невозможно — не выдержишь! Съ утра до вечера эта паскуда будетъ передъ глазами мыкаться. А ежели ей волю дать — глазъ никуда показать нельзя будетъ. Безъ работы, безъ хлѣба насидишься, а она все-таки на шеѣ висѣть будетъ. Колотить ежели, такъ жаловаться станеть, заступеу найдетъ. Да и обтерпится, пожалуй, такъ что самому надоѣсть... Ахъ, мочи нѣтъ, тяжело!“

Мысль бѣжать въ Москву неотступно представлялась его уму. Бѣжать теперь же, не возвращаясь домой, — естати у него въ карманѣ лежала зелененькая бумажка. Въ Москвѣ онъ найдетъ мѣсто; только вотъ съ паспортомъ какъ быть? Тайкомъ его не получишь, а узнають отецъ съ матерью — не пустять. Развѣ безъ паспорта уйти?

„Въ Москвѣ и безъ паспорта примуть, или чистый добудуть, — говорилъ онъ себѣ: — только на заработкѣ прижмутъ. Ну, да одна голова не бѣдна! И какъ это я, дуракъ, не догадался, что она гулящая? одинъ въ цѣломъ городѣ не зналь... именио несуразный!“

Пролежалъ онъ такимъ образомъ, покуда не почувствовалъ, что пальто на немъ промокло. И все время, не переставая, мучительно спрашивалъ себя: „что я теперь дѣлать буду? какъ глаза въ люди покажу?“ Въ сущности, вѣдь онъ и не любилъ Оеклиньи, а только, наравнѣ съ другими, чувствовалъ себя неловко, когда она, проходя мимо, выступала задорною поступью, поводила глазами и сквозь зубы (острые, какъ у бѣлки) цѣдила: „ишь, чортъ лохматый, пялы-то выпучиль!“

Вставши съ земли, онъ зашелъ въ подгородную деревню и тамъ поѣлъ. „Въ Москву! въ Москву!“ — вертѣлось у него въ головѣ. Однако, на этотъ разъ, онъ окончательнаго рѣшенія не принялъ, но

и домой не пошелъ, а когда настали сумерки, вышелъ изъ крестьянской избы и колеблющимися шагами направился въ „свое мѣсто“. Всю ночь онъ шелъ, терзаемый сознаниемъ безвыходности своего положенія, и только къ заутрени (кстати былъ праздникъ) достигъ цѣли и прямо зашелъ въ церковь. Церковь была совсѣмъ пуста. Громко раздавались подъ сводами возгласы священника и унылое пѣніе тенориста-пономаря. Ожесточеніе въ Гришкѣ мало-по-малу утихло; усталость и церковный миръ сдѣлали свое дѣло. Онъ всталъ на колѣни и началъ молиться; полились слезы. Онъ чувствовалъ, что его начинаютъ душить рыданія, что сердце въ немъ пухнетъ, разорваться хочетъ, и выбѣжалъ изъ церкви къ теткѣ Афимѣ. Тамъ онъ прямо объявилъ о своемъ „безчестьи“ и жадно съѣлъ большой ломоть хлѣба. Часъ-другой побурлилъ, но въ концѣ концовъ какъ будто остепенился.

— Мнѣ бы, тетенька, денька три отдохнуть, а потомъ я и опять...—сказалъ онъ:—чтожъ такое! въ нашемъ званіи почти все такъ живутъ. Въ нашемъ званіи какъ!—скажетъ тебѣ паскуда: „я помы мыть нанялась“, дойдетъ до угла—и слѣдъ простылъ. Гдѣ была, какъ и чтѣ?—лучше и не допытывайся! Вечеромъ принесетъ двугривенный—это, дескать, поденщина—и бери. Жениться не слѣдовало—это такъ; но если ужъ грѣхъ попуталъ, такъ ничего не подѣлаешь; не пойдеши къ попу: „развѣчайте, молъ, батюшка!“

Старуха охала, но соглашалась, что теперь ничего не подѣлаешь. Жить надо—только и всего. А стыдъ—не дымъ, глаза не выѣсть.

— Кабы ты чтѣ дурно сдѣлалъ—тогда точно... передъ людьми нехорошо!—говорила она резонно.—Поучи ее какъ слѣдуетъ—небось, по стрункѣ станетъ ходить!

Онъ прожилъ въ деревнѣ три дня, бродя по окрестностямъ и преимущественно по господскому саду. Съ наступленіемъ осени садъ какъ будто порѣдѣлъ и казался еще унылѣе. Дорожки совсѣмъ заросли и покрылись толстымъ слоемъ листа, такъ что даже собственныхъ шаговъ не было слышно. Громадныя березы тоскливо раскачивали вершины изъ стороны въ сторону; въ сирени, которою были обсажены куртины, въ акаціяхъ и въ вишеняхъ раздавался неумолкаемый шелестъ; столѣтняя липа, посаженная сбоку дома, скрипѣла отъ старости. Все намокло, разбухло, оголилось, точно иззябло. Кое-гдѣ видѣлись поломанныя скамейки; по срединѣ круга, обсаженного ли-

нами, уцѣлѣли остатки бееѣдки; тынъ изъ толстыхъ, заостренныхъ колевь, окружавшій садъ, почти повсемѣстно обвалился. Запустѣніе было полное, но Гришкѣ именно это и было нужно.

Онъ самъ какъ будто опустѣлъ. Садился на мокрую скамейку, и думалъ, и думалъ. Какъ ни резонно рѣшили они съ теткой Афімьей, что въ ихъ званіи завсегда такъ бываетъ, но срамъ до того былъ осязателенъ, что давилъ ему горло. Временами онъ доходилъ почти до бѣшенства, но не на самый срамъ, а на то, что мысль о немъ неоступно преслѣдуетъ его.

— Забыть я о немъ не могу! — жаловался онъ теткѣ: — ну, срамъ такъ срамъ — что же такое? а вотъ ходитъ онъ за мной по пятамъ, не даетъ забыться — и шабашъ! Ъсть сяду — срамъ; спать лягу — срамъ; проснусь — срамъ. Извѣстно, потому буду жить, какъ и прочіе, да теперь — мочи моей нѣтъ. Мое дѣло рабочее: цѣлый день или на верстакѣ, или въ бѣготнѣ. Куда ни придешь — вездѣ срамъ. Придетъ время, когда и прямо рога показывать будутъ — и то ничего. Да, видно, еще не пришло оно. И прежде срамная моя жизнь была — не привыкать бы стать! — и теперь срамная, только срамъ-то новый, сердце еще не переболѣло отъ него.

— Ничего, переболить! — утѣшала Афімья.

— Ворочусь домой и прямо пойду къ Бархатникову шутки шутить. Комедію сломаю — онъ двугривенничекъ дастъ. Къ веселому рабочему и давальцы ласковѣе. Иному и починиваться не нужно, а онъ, за „представленіе“, старую жилетку отыщетъ: „на, братъ, почини!“

Дѣйствительно, онъ черезъ три дня ушелъ отъ тетки, воротился домой.

— Гдѣ, лохматый чортъ, шлялся? Съ голоду, что-ли, мы подохнуть должны? — встрѣтилъ его старикъ-отецъ.

Жена заревѣла и бросилась ему въ ноги.

— Чтѣ, паскуда, реवेशъ? — крикнулъ онъ на нее: — иди, не мотайся у меня на глазахъ!

И, обратившись къ прочимъ членамъ нетерпѣливо ожидавшей его семьи, сказалъ:

— Теперь я шутки шутить буду. Смотрите! Коли не полегчить мнѣ, такую я съ вами шутку сыграю, что непоздоровится!

Пошелъ онъ къ купцу Поваляеву и сразу началъ шутки шутить.



— Что же, ваше степенство, не поздравляете?—спросил онъ:—вѣдь я съ орденомъ!

И, сдѣлавъ рукой рога, обратилъ ихъ по направленію къ своей головѣ.

— Ворота-то вымыли?—спросилъ Поваляевъ.

— Вымыли, да я опять вымазать хочу... пушай всѣ проздравляютъ!

— Ишь ты, веселый какой! Стало быть, и вправду Оеклинья сладка? который день тебя на улицѣ не видать—все съ молодой женой колобродите?

— Ужъ такъ-то сладка, такъ-то сладка... персикъ! Или, вотъ, какъ встарину пирожники въ Москвѣ выкрикивали: „съ лучкомъ, съ перцемъ, съ собачьимъ съ сердцемъ! Возьмешь пирогъ въ ротъ—самъ собой въ горло проскочить“.

— Э! да ты, парень, веселый! Вышьемъ?

— Сегодня я зарокъ выполняю. А завтрашній день чтѣ покажетъ.

— Вышьемъ — пустяки! Я самъ сколько разъ зарокъ давалъ, да, видно, это не нашего ума дѣло. Водка для нашего брата пользительна, отъ нея мокроту гонить. И сколько ей однихъ названій: и соколикъ, и пташечка, и канареечка, и маленькая, и на дорожку, и съ дорожки, и пососѣдкъ, и сиволдай, и сиводрало... Стало быть, разлюбезное дѣло эта рюмочка, коли всякій ее по своему приголубливаетъ.

— Въ Москвѣ одинъ господинъ „опрокидонтомъ“ ее называлъ.

— „Опрокидонтъ“!.. ха-ха! По каковски же это?

— На бостанжогловскомъ, говорить, языкѣ.

— Отлично! „опрокинулъ“—и правъ! вышьемъ!

— Зарокъ далъ, не могу. Я лучше вамъ про Оеклиню свою расскажу.

И рассказалъ. За это Поваляевъ пирогомъ его угостилъ да двугривенный на чай далъ, да двѣ жилетки разомъ починить отдалъ, три двугривенныхъ посулилъ.

— За чтѣ ласкаете, ваше степенство?—благодарилъ Гришка.

— За то, что ты веселый! Люблю я веселыхъ. А то куксится человекъ—самъ не знаетъ, съ чего! У него жена гуляетъ, а онъ куксится!

— Вотъ я на нее хомутъ надѣну, да по улицѣ... — началъ было Гришка, но вдругъ, ни съ того, ни съ сего, поперхнулся — точно сдавило ему горло — и убѣжалъ.

— Эй, ты! — крикнулъ ему Поваляевъ: — къ завтраму чтобы были готовы жилетки, да и зарокъ чтобы снять. Въ настоящемъ видѣ чтобы...

Такимъ образомъ прожилъ онъ мѣсяцъ, переходя отъ Поваляева къ Бархатникову, отъ Бархатникова къ Падчерицыну и т. д. Его уже не били, а видѣли въ немъ только развеселаго малаго, съ которымъ, пожалуй, и театровъ не надо. Даже городничій съ исправникомъ — и тѣ шутили, спрашивали, сладка ли Ѳеклинья, часто ли она дома сидитъ, много ли съ поденщины денегъ носить. Двугривенные такъ и сыпались на него и за работу, и за повадливость. Появились даже крупные заказы, такъ что онъ и шилъ, и кроилъ, и шутилъ — на все находилъ время. Даже деньги завелись.

— Скоро, пожалуй, и настоящее заведенье откроешь, ученика возьмешь, — поощрялъ его Поваляевъ: — нашему брату и въ Москву обшиваться ѣздить не придется: — свой портной будетъ! А все-таки, другъ любезный, елей и вино разрѣшить нужно — тогда во всей формѣ мастеровой сдѣлаешься!

Однако онъ продолжалъ упорствовать въ трезвости. Надѣялся, что „шутка“ и безъ помощи вина поможетъ ему „угорѣть“. Шутить да шутить, — смотришь, подъ-конецъ такъ ишутятся, что и совсѣмъ не человѣкомъ сдѣлается. Тогда и легче будетъ. И теперь мальчишки, при его проходѣ, рога показываютъ; но онъ ужъ не тотъ, что прежде: ухватить перваго попавшагося озорника за волосья, и такъ отколошматить, что любо. И старики не претендуютъ, а хвалятъ его за это.

Вообще ему стало житья легче съ тѣхъ поръ, какъ онъ рѣшился шутить. Жену онъ съ утра прибьетъ, а потомъ цѣлый день ее не видитъ и не интересуется знать, гдѣ она была. Старикамъ и въ усъ не дуетъ; самъ поѣстъ, какъ и гдѣ попало, а имъ денегъ не даетъ. Ходилъ отецъ къ городничему, опять просилъ сына высѣчь, но времена ужъ не тѣ. Городничій — и тотъ полюбилъ Гришку.

Тѣмъ не менѣе, Гришка понималъ, что однимъ шутковствомъ, безъ вина, ему не обойтись. Правда, онъ уже чувствовалъ, что все глубже и глубже опускается въ пропасть, и что, быть можетъ, недалеко время, когда онъ нащупаетъ самое дно. Человѣческій образъ всегда

былъ у него въ умаленіи, но мало-по-малу онъ и вовсе утратилъ его. Прежде онъ отдавалъ на общее поруганіе свой носъ, свое лицо, свое тѣло; теперь поруганіе проникло въ самое его нутро. Дома былъ адъ, на улицѣ — адъ, куда ни придетъ — вездѣ адъ. Такимъ образомъ дойдешь, пожалуй, до того, что на работу руки подниматься перестанутъ. „Паскуда“ прямо смѣется надъ нимъ; онъ ее за косу ухватить хочетъ, а она убѣжитъ. Станетъ онъ спрашивать: гдѣ была? — а она въ отвѣтъ: „гдѣ была, тамъ меня ужъ нѣтъ“. И такъ нахально скалитъ при этомъ свои острые бѣличьи зубы, что онъ всѣмъ нутромъ застонетъ и ляжетъ плашмя на верстакъ. Но все-таки до конца „угорѣть“ ему не удалось; все-таки онъ что-то еще понимаетъ, чѣмъ-то мучится. Надо какой-нибудь рѣшительный толчокъ, чтобы окончательно „угорѣть“, не понимать и не мучиться. Не выпить ли?

Надежда, что современемъ онъ обтерпится, что ему не будетъ „стыдно“, оправдалась лишь настолько, насколько онъ самъ напускалъ на себя безстыжестъ. Самъ онъ, пожалуй, и позабылъ бы, но посторонніе такъ безцеремонно прикасались къ его язвѣ, что не было возможности не страдать. „Ахъ, эта паскуда!“ — рычалъ онъ внутренно, издали завидѣвъ на улицѣ, какъ Оеклинья, нарумяненная и набѣленная, шумя крахмальными юбками и шевеля бедрами, стремится въ пространство.

— Ишь, жена-то отъ тебя улепетываетъ! — хохоталъ ему въ лицо Поваляевъ: — это она къ Бархатниковскому приказчику поспѣшиваетъ! Совсѣмъ опутала молодца. Прежде честный и тверзый былъ, а теперь и попить, и поворовывать началъ.

— Ахъ! не говорите мнѣ, ради Христа! — стоналъ Гришка въ такія минуты, когда шутство на время покидало его.

— Чего не говоритъ! Васъ, шельмовъ, изъ города выслать надо. Только народъ мутите. Деньги-то она тебѣ, что-ли, отдаетъ?

— Начну-ка опять пить... или нѣтъ, еще погожу! — твердилъ себѣ Гришка, колеблясь между двумя альтернативами: — инъ, лучше въ Москву убѣгу!

— Дайте вы мнѣ пачпортъ на всѣ на четыре стороны! — настаивалъ онъ у стариковъ: — я и повинности заплачу, и вамъ высылать на прожитокъ буду.

— Уйдешь, и слѣда отъ тебя не останется — ищи тогда! Добро, и дома посидишь!



— Чего мнѣ дома сидѣть, скоро вѣдь и работать я совсѣмъ не буду. Да и не сдобровать мнѣ. Убью я когда-нибудь эту паскуду, убью!

Однажды, поздно ночью, Оеклинья пришла домой пьяная. Гришка еще не спалъ и до того разсвирѣпѣлъ, что на этотъ разъ она струсила.

— Гдѣ была?— кричалъ онъ на всю улицу, сверкая налитыми кровью глазами и поднося къ ея лицу сжатые кулаки.

Она созналась, что была у самого Поваляева.

Онъ выбѣжалъ стремглавъ на улицу и помчался по направленію къ дому Поваляева. Добѣжавши, схватилъ камень и пустилъ его въ окно. Стекло разбилось въ дребезги; въ домъ поднялась суматоха; но Гришка, въ свою очередь, струсиль и спасся бѣгствомъ.

Дома разсказаль о своемъ подвигѣ, умолялъ не разглашать о немъ и кстати сдѣлалъ новое открытіе.

— Чтò ты натворилъ, чортъ лохматый!—упрекали его старики:—развѣ она въ первый разъ? Каждую ночь ворочается пьяная. Смотри, какъ бы она на тебя доказывать не стала, какъ будутъ завтра разыскивать.

Оеклинья, полуобнаженная, спала въ это время на лавкѣ и тяжело металась.

— Убью я ее! убью!—злбно шепталъ Гришка.—Отпустите вы меня, ради Христа! Видите, что мнѣ здѣсь не жить! Убью я... лоини моя утроба, ежели не убью!

— Врешь, проживешь и здѣсь! И не убьешь—и это ты совралъ. Всѣ въ нашемъ званьи такъ живутъ, и ты живи. Ишь, убиватель нашелся!

На другой день начались розыски. Оеклинья, дѣйствительно, явилась доказчицей.

— Некому, окромя его!—говорила она, всхлипывая:—онъ и въ меня, чортъ лохматый, не однажды камнемъ бросаль—какъ только Богъ спасъ!

— Не знаемъ, можетъ и онъ!—на-двое свидѣтельствовали родители.

Гришку выдержали недѣлю въ кутузкѣ, и Поваляевъ окончательно разсердился. Теперь съ этой стороны и на заработокъ, и на шутовство надежда была плохая.

Жить становилось невыносимо; и шутовство пропало, не лѣзло въ голову. Ужъ теперь не онъ билъ жену, а она не однажды замалывалась, чтобъ дать ему разѣ. И старики начали держать ея сторону, потому что она держала домъ и кормила всѣхъ. — „Въ нашемъ званьи всѣ такъ живутъ“, — говорили они: — „а онъ корячится... вельможа нашелся!“

Мысль о побѣгѣ не оставляла его. Нѣсколько разъ онъ пытался ее осуществить, и дня на два, на три скрывался изъ дома. Но исчезновеній его не замѣчали, а только не давали разрѣшенія настоящимъ образомъ оставить домъ. Старикъ отецъ заявилъ, что сынъ у него непутный, а онъ, при старости, отвѣчать за исправную уплату повинностей не можетъ. Разумѣется, еслибъ Гришка не былъ „несуразный“, то могъ бы настоять на своемъ; но жалобы „несуразнаго“ развѣ есть резонъ выслушивать? Въ кутузку его — вотъ и рѣшенье готово.

Однако, въ одно прекрасное утро, Гришка исчезъ.

Дорогой въ Москву ему посчастливилось. На ночлегѣ кто-то помѣнялся съ нимъ пальто. У него пальто было неказисто, а досталось ему совсѣмъ кудое и рваное, но за то въ карманѣ пальто онъ нашарилъ паспортъ. Предъявитель былъ дмитровскій мѣщанинъ, и звали его тоже Григоріемъ, по отчеству Петровымъ; примѣты были схожія: росту средняго, носъ средній, ротъ умѣренный, волосы черные, глаза сѣрые, особыхъ примѣтъ не имѣется.

— Вотъ и славно! — говорилъ себѣ Гришка: — пальто на толкучкѣ другое куплю, а паспортъ готовъ. Не забыть бы только, что я не Авенировъ, а Петровъ, дмитровскій мѣщанинъ.

Москва оживила его. Еще верстъ за шесть, подходя къ ней по Дмитровкѣ и обоняя тотъ особый запахъ, который присущъ подмосковной окрестности, онъ почувствовалъ неудержимый восторгъ.

— Иванъ-то великій! Иванъ-то великій! Ахъ, Боже ты мой! — восклицалъ онъ: — и малый Иванъ тутъ же притулился... Спасъ-то, Снасъ-то! такъ и горитъ куполомъ на солнышкѣ! Ахъ, Москва — золотыя маковки! Слава те, Господи! привелъ Богъ!

Онъ истово перекрестился на всѣ четыре стороны и инстинктивно прибавилъ шагъ.

Переночевавши на постояломъ дворѣ у Бутырской заставы, онъ вмѣстѣ съ зарею побѣжалъ прямо въ городъ полюбоваться на Москву. За три-четыре года, которые онъ прожилъ въ своемъ городѣ, Москва порядочно измѣнилась. Вмѣстѣ съ началомъ реформъ произошелъ толчокъ и во виѣшности первопрестольнаго города. Москва стала люднѣе, оживленнѣе; появились, хоть и наперечетъ, громадные дома; кирпичные тротуары остались достояніемъ переулковъ и захолустій, а на большихъ улицахъ уже сплошь уложены были неширокимъ плитнякомъ; мѣстами, въ видѣ заплатъ, выступалъ и асфальтъ. Тверская улица какъ будто присмирѣла, Кузнецкій Мостъ — тоже, но за то въ „Городѣ“, на Ильинкѣ, на Никольской, съ ранняго утра была труба нетолченая отъ возовъ. Дома на этихъ улицахъ стояли сплошной стѣной и были испещрены блестящими вывѣсками. Въ довершеніе всего, старія, знаменитыя фирмы портныхъ или исчезли, или скромно ступевывались, уступивъ мѣсто новымъ знаменитостямъ, долженствующимъ внести кургузость и шикъ и въ старозавѣтную московскую солидность. Тѣмъ не менѣе, экипировавшись заново на толкучкѣ, Гришка разыскалъ кой-кого изъ хозяевъ, у которыхъ онъ прежде жила. Къ одному изъ нихъ онъ явился.

Хозяинъ былъ не изъ важныхъ. Наместіе вѣстниковъ шика значительно на него подѣйствовало. Онъ постарѣлъ, растерялъ дэвальцевъ, сократилъ на половину число мастеровъ и учениковъ, добрую часть квартиры отдавалъ въ наймы подъ мастерскую женскихъ модъ, но никакъ не соглашался перемѣнить вывѣску, на которой значилось: „Иванъ Дѣевъ, военный и партикулярный портной“, и по-французски: „Jean Déiéff, tailleur militaire et particulier“.

— А! Авенировъ! видно, по Москвѣ стосковался! — воскликнулъ онъ, увидѣвъ Гришку.

— Петровъ-съ, — не сморгнувъ, отвѣчалъ Гришка.

— Помнится, Авенировымъ тебя величали, а впрочемъ... паспортъ есть?

— Такъ точно-съ.

Дѣевъ взглянулъ на паспортъ. Оказалось: Петровъ, носъ средній, ротъ умѣренный, волосы черные, курчавые, глаза сѣрые...

— Ничего, мѣсто найдется. Кстати, сегодня я одному подлецу расчесть далъ. Съ завтрашняго же дня — съ Богомъ! только вѣдь ты, помнится, пить не дуракъ.



— Зарокъ даль-сь.

— И прекрасно. У меня впрочемъ расправа короткая. Первый разъ пьянъ—прощаю; второй разъ—скулу сворочу; въ третій разъ—паспортъ въ зубы и аллѣ маширь. А за прогуль—по три рубля въ сутки штрафу, это само собой. Такъ?

— Обнаковенно. Какъ прочіе, такъ и я.

На другой день возобновилось для Гришки старинное московское житье. Онъ былъ счастливъ; работа немногимъ достается такъ легко и скоро. Черезъ мѣсяцъ, онъ уже вполнѣ втянулся въ прежнюю бездомовую жизнь, съ трактирами, портерными и тою кажущеюся сытостью, которую даетъ скудный хозяйскій харчъ. Гришка впрочемъ не выдержалъ и, по слову Поваляева, далъ себѣ разрѣшеніе на вино и елей. Вино восполняло недостатокъ питанія. Онъ уже неоднократно дѣлалъ прогулы, являлся въ мастерскую пьяный, и хозяинъ не разъ „поправлялъ“ ему то одну, то другую скулу, но выгонять не рѣшался, потому что руки у Гришки были золотыя. Во всякомъ случаѣ, въ концѣ мѣсяца, при расчетѣ, въ распоряженіи его оставалась самая малость.

Представить себѣ жизнь мастераго въ Москвѣ—очень нелегкое дѣло. Это не жизнь, а что-то недостойное имени, недоступное для опредѣленія. Тутъ и полное отсутствіе опрятности, и отвратительное питаніе, и загуль, и спанье на голомъ верстакѣ. Все это перемежается какой-то судорожной, угорѣлой работой. Послѣдняя сама по себѣ была бы не изнурительна, но, въ совокупности съ непрерывной сутолокой, она представляетъ своего рода каторгу. Нужно именно поступиться доброй половиной человѣческаго образа, чтобъ не сознавать тѣхъ нравственныхъ терзаній, которыя должно влечь за собой такого рода существованіе, чтобы разъ навсегда проникнуться мыслью, что это не послѣдняя степень паденія, а просто „такая жизнь“. Еслибъ лучъ сознанія хоть на мгновеніе освѣтилъ этотъ мракъ, онъ принесъ бы съ собою громадное несчастіе. Онъ изгналъ бы улыбку изъ этого темнаго царства, положилъ бы запретъ на самую рѣчь человѣческую. Но, къ счастью или несчастью, этого луча нѣтъ, и мастерскія кипяты веселостью, говоромъ и смѣхомъ. Правда, веселость вымученная, говоръ и смѣхъ—циничные, но все-таки ихъ достаточно, чтобъ не дать въ конецъ замереть этимъ придавленнымъ людямъ. Замазанный, тощій, чуть живой ученикъ, распѣвая, скачетъ на одной

ножкѣ по тротуару и уже позабылъ о только-что вытерленной трепкѣ. Онъ бѣжитъ за кипяткомъ въ трактиръ, за косушкой въ кабакъ; онъ радуется, что ему можно проскакать на одной ножкѣ извѣстное пространство, задѣть прохожаго, выругаться, пропѣть циническую пѣсню. Когда онъ приходитъ въ возрастъ и садится на верстакъ, наравнѣ съ мастеровыми, онъ уже кончилъ всю школу. Мальчикомъ онъ былъ получеловѣкъ, и вступилъ въ возрастъ получеловѣкомъ же. Въ какомъ качествѣ онъ умретъ?

Такая жизнь не была для Гришки новостью, и онъ вполне привыкъ къ ней. Онъ боялся только одного: чтобъ не открылся его паспортный подлогъ. Не разъ случалось ему встрѣчаться въ трактирахъ съ земляками, и онъ предпочиталъ говорить имъ, что живетъ совсѣмъ безъ паспорта, не можетъ найти мѣста и шатается по ночлежнымъ домамъ. Но родные повидимому уже знали, что онъ въ Москвѣ, и даже наказывали черезъ земляковъ воротиться домой. Съ часу на часъ онъ ожидалъ розыска, и рѣшился чаще перемѣнять мѣста. Одинъ мѣсяць его видѣли на Тверской, другой — на Арбатѣ, третій — у Никитскихъ воротъ. Это дало ему репутацію непосѣдливаго чело­вѣка и повредило заработку. Въ концѣ концовъ, онъ уже съ трудомъ находилъ себѣ мѣста, и дѣйствительно цѣлыми недѣлями шатался по ночлежнымъ домамъ, содержа себя случайною поденною работою.

Между тѣмъ дѣло о розыскѣ портного Григорія Авенирова уже назрѣвало. Нѣсколько мѣсяцевъ оно находилось въ участкѣ и постепенно округлялось. Разыскивали неутомимо; посылали запросы въ прочіе участки, прибѣгали къ помощи телеграфа. Когда наконецъ переписка достаточно округлилась и уже намѣревались писать отвѣтъ, что портного Авенирова въ Москвѣ не обрѣтается, кто-то изъ земляковъ случайно узналъ о розыскѣ и донесъ, что Авенировъ живетъ въ мастеровыхъ на Плющихѣ у портного Ухабина, къ которому безъ замедленія и направилъ свои стопы околоточный.

— Кто здѣсь мастеръ Григорій Авенировъ? — кликнулъ онъ, входя.

Гришка понялъ, что дѣло его не выгорѣло, дрогнувъ слегка, но назвалъ себя.

— Паспортъ! Ага! Какимъ же образомъ ты значишься въ немъ Петровымъ? Э, голубчикъ, да тутъ пахнетъ кражей и подлогомъ.

Хозяинъ, разумѣется, выдалъ Гришку съ головой.

Гришка высидѣлъ шесть мѣсяцевъ въ предварительномъ заключеніи и потомъ судился (судебная реформа только-что была введена). Онъ увѣрялъ на судѣ, что не укралъ, а нашелъ паспортъ въ карманѣ вымѣняннаго пальто, и при этомъ откровенно разсказалъ свою мученическую жизнь. Но прокуроръ не вѣрилъ ему, доказывалъ, что иначе дѣло не могло произойти, какъ съ участіемъ кражи, а подлогъ былъ ясенъ самъ собой. Что же касается до розсказней подсудимаго о жизненныхъ неудачахъ, то это — обычная уловка негодяевъ, употребляемая съ цѣлью смягченія присяжныхъ. Назначенный судомъ защитникъ сказалъ всего нѣсколько словъ вяло, нѣхотя, словно во снѣ веревки вилъ. Присяжные обвинили Гришку только въ томъ, что онъ воспользовался чужимъ паспортомъ, и при этомъ дали ему снисхожденіе. Судъ приговорилъ его на двухъ-мѣсячную высылку.

Вся эта процедура, вмѣстѣ съ шатаньемъ по Москвѣ, длилась слишкомъ годъ, такъ что когда, послѣ высылки, препроводили Гришку по этапу въ родной городъ, настала уже глубокая осень.

Өеклинья бросила и отца, и домъ. Она выстроила на выѣздѣ просторную избу и поселилась тамъ съ двумя другими „дѣвушками“. Въ избѣ цѣлыя ночи напролетъ свѣтились огни и шло пированье. Старуха, Гришкина мать, умерла, но старики, отецъ и тесть, были еще живы и перебивались Христовымъ именемъ.

Вошелъ Гришка въ родной домъ и растянулся плашмя на верстаки. Ни отца, ни тестя не было въ это время дома; двери стояли отпертыя, потому что и украсть было нечего. Въ неметенной и не-топленной комнатѣ отдавало сыростью и прѣлью; вмѣсто домашней утвари стояли два деревянныхъ чурбана, такъ что и жилого вида комната не имѣла; даже нищенской рвани не валялось на полу. Гришка лежалъ неподвижно, обезсилѣвшій, снѣдаемый недугомъ, пріобрѣтеннымъ во время скитаній. Голова его горѣла подъ тяжестью мучительныхъ думъ. На работу разсчитывать разумѣется, было нельзя; но предстояло „жить“, и эта мысль рвала ему сердце.

Осень приближалась къ концу; грязь на улицахъ застыла; мѣстами, гдѣ было мало ѣзды, виднѣлись уже полосы снѣга. Надъ городомъ нависъ темный октябрьскій вечеръ.



Гришка крадется по главной улицѣ, по направленію къ собору. Предчувствія его относительно работы сбылись. Въ теченіе недѣли онъ обѣгалъ своихъ прежнихъ давальцевъ, но вездѣ встрѣтилъ суровый отказъ, а купецъ Поваляевъ даже пообѣщаль спустить на него собакъ, ежели онъ въ другой разъ явится. Къ тому же, въ его отсутствіе, въ городѣ появился другой портной, Ѳедоръ Купидоновъ, уже прямо изъ „Петербурга“ и совсѣмъ веселый. Гришка ни разу порядкомъ не поѣлъ, а питался обшарпанными, черствыми обѣдками, которые приносилъ домой отецъ. Ежели удавалось старикамъ набрать нѣсколько мѣдныхъ пятаконъ, то покупали водки и сообща пили.

Приходилось и самому протягивать руку, но куда гора настолько еще укрѣпляло его нравственныя силы, что мысль о милостынѣ пугала его. Вотъ когда и горе пройдетъ, когда онъ окончательно обтерпится, тогда вѣроятно и рѣшимость явится. Она придетъ сама собой. Будетъ онъ ходить, приплясывая, по улицамъ, будетъ пѣть скверныя пѣсни, коверкаться, представлять юродиваго—и на него посыплются гроши. Старики и милостыни просить не умѣютъ: стоятъ какъ истуканы, на перекресткѣ, съ протянутыми руками,—оттого имъ и подають одни обѣдки. А онъ съумѣетъ; онъ еще въ портныхъ выучился юродствовать и приплясывать. Чего добраго, вѣщимъ челоувѣкомъ между купчихами прослыветъ; станутъ чаемъ его поить, гривенниками одѣлать, тайнаго смысла въ его бормотаньи доискиваться: „скажи, батюшко, скажи!“ Конечно, не миновать ему и кутузки за эти продѣлки, но въ кутузкѣ все-таки теплѣе, чѣмъ дома, да и щей дають. Пожалуй, кутузка-то еще за „претерпѣніе“ ему сочтется: „истязаютъ тебя, касатикъ, замучить хотять!“—будутъ въ одинъ голосъ говорить купчихи.

Къ несчастью, горе до того впилося въ него, что отдаляло перспективу юродства на неопредѣленное время. Онъ мучился день и ночь, самъ не сознавая—отъ чего. Вѣроятно, въ этой формѣ сказывались общіе результаты жизни. О Ѳеклинѣ онъ и не вспоминалъ, даже все прошлое почти позабылъ, и уже не возвращался къ его подробностямъ, а сидѣлъ дома, положивъ голову на верстакъ, и стоиалъ. Именно результаты прошлаго сказывались разомъ, скопились они и переполнили сердце тоскою. Дѣваться некуда отъ тоски,—точно она одна и осталась. Тоска безпредметная, сама себя питающая, почти осязаемая...

Онъ дошелъ до собора; тамъ служили всенощную, и третій звонъ еще не отошелъ. Когда онъ вошелъ въ церковь, читали евангеліе и загудѣли колокола. Онъ сталъ въ темномъ углу, началъ вслушиваться но ничего не понималъ. Онъ былъ какъ бы въ забытіи и трясся всѣмъ тѣломъ. Простоявши минутъ десять, вышелъ на паперть и началъ колеблющимися шагами взбираться на колокольню. Взбирался инстинктивно, не сознавая, что тамъ, наверху, ожидаетъ его разрѣшеніе загадки жизни. Никакихъ опредѣленныхъ намѣреній въ его головѣ не шевелилось, никакого предвидѣнія: все это замѣнилось непреодолимой силою рока. Тянетъ, влечетъ—только и всего.

Наконецъ онъ дошелъ до самаго верха, надъ колоколами, и оглянулся. Городъ лежалъ окутанный мглою; огней сквозь осенній туманъ не было видно. Рѣшетка въ этомъ ярусѣ была такая низенькая, что опереться на нее было нельзя, а ограниченность пространства не допускала разбѣга. Однако кончить все-таки было нужно, кончить теперь же, сейчасъ, потому что завтра, упаси Богъ, онъ и впрямь юродствовать начнетъ.

Онъ невольно перекрестился и поклонился на все стороны.

Никто ничего не слыхалъ. Но минутъ черезъ десять, когда служба кончилась, дьячокъ, выходя изъ церкви, встрѣтилъ на пути своемъ препятствіе.

— На человѣка наткнулся!—крикнулъ онъ: —ишь, пьяница, растянулся!

Стали тормошить „пьяницу“— не встаетъ. Принесли фонари— и опознали Гришку.

— Ахъ, расподлая твоя душа!—крикнулъ кто-то въ собравшейся толпѣ.

#### IV.

### СЧАСТЛИВЕЦЪ.

Этюдъ.

Въ мое время послѣдніе мѣсяцы въ закрытыхъ учебныхъ заведеніяхъ бывали очень оживлены. Казенная служба (на опредѣленный срокъ) была обязательна, и потому вопросъ о томъ, кто куда пристроится, стоялъ на первомъ планѣ; затѣмъ выдвигался вопросъ о томъ, что будутъ давать родители на прожитокъ, и наконецъ вопросъ объ экипировкѣ. Во всѣхъ углахъ интерната раздавалось:

— Ты куда?

— Разумѣется, въ министерство иностранныхъ дѣлъ.

— Насъ, братъ, тамъ не совѣмъ-то долюбиваютъ...

— У меня дядя тамъ; онъ похлопочетъ... Ахъ, кабы черезъ годикъ... *attaché*... въ Парижъ!! А ты куда?

— Я... въ департаментъ полиціи исполнительной... — запи-  
нается собесѣдникъ и какъ-то стыдливо краснѣетъ.

— Чудакъ!

— У меня тамъ тоже дядя... обѣщаль мѣсто помощника столоначальника... Тысячу двѣсти рублей (тогда рубль еще былъ ассигнаціонный) на полу не поднимешь, а я...

Или:

— Тебѣ сколько родители на житье назначаютъ?

— Мнѣ... двѣ тысячи, — краснѣя, отвѣчаетъ товарищъ, при-



бавляя цѣлую половину или, по малой мѣрѣ, четверть противъ скромной дѣйствительности.

— А мнѣ пятнадцать! Маман ужъ пріискала квартиру и мебелируетъ ее... un vrai nid d'oiseau! Пару лошадей въ деревнѣ нарочно для меня выѣздили, на дняхъ приведутъ... О! я...

Наконецъ:

— Ты у кого платьѣ заказываешь?

— У Сарра, а бѣлье—у Лепрѣтра. А ты?

— Я—у Клеменца... это вѣдь тоже хорошій портной... Бѣлье—дома маменька шьетъ...

— Ахъ!

Повторяю: такъ было въ мое время. Теперь, какъ я слышалъ, между воспитанниками интернатовъ уже существуютъ болѣе серьезные взгляды на предстоящее будущее; но въ сороковыхъ годахъ разговоры въ родѣ приведеннаго выше стояли на первомъ планѣ и были единственными, возбуждавшими общій интересъ, и, несомнѣнно, они не оставались безъ вліянія на будущее. Питомецъ, поступавшій на службу въ департаментъ полиціи исполнительной, жившій на какихъ-нибудь злосчастныхъ тысячу рублей и заказывавшій платьѣ у Клеменца, могъ имѣть очень мало общаго съ блестящимъ питомцемъ, одѣвавшимся у Сарра, мчавшимся по Невскому на ворономъ рысакѣ и имѣвшимъ виды быть въ непродолжительномъ времени *attaché* при посольствѣ въ Парижѣ. Первое время по выходѣ изъ заведенія, товарищи еще видѣлись, но жизнь неумолимо вступала въ свои права и еще неумолимѣе стирала всякіе слѣды пяти-шестилѣтняго сожительства. Молодые люди, не встрѣчаясь въ обществѣ, легко забывали старое однокашничество, и хотя пожимали другъ другу руки въ театрѣ, на улицѣ и т. д., но эти позатія были чисто формальныя. Уже въ самыхъ стѣнахъ интерната образовывалось два лагеря, изъ которыхъ одинъ былъ не чуждъ зависти, другой—пренебреженія. Но чтò всего замѣчательнѣе, — даже въ одномъ и томъ же лагерѣ дружескія связи очень рѣдко завязывались прочно, до такой степени, съ выходомъ на волю, жизненные пути развѣтвлялись, спутывались и все болѣе и болѣе уклонялись въ даль, въ самое короткое время.

Лично я не могъ похвалиться тѣсными дружескими связями, но все-таки ближе другихъ былъ связанъ съ Валерушкой Крутицынымъ. Я былъ, такъ сказать, средній воспитанникъ; изъ ученья имѣлъ баллы

не блестящіе, изъ поведенія — и того меньше. Мои виды на будущее были болѣе чѣмъ посредственныя; отсутствіе всякой протекціи и довольно скудное „положеніе“ отъ родныхъ отдавали меня на жертву служебной случайности и осуждали на скитаніе по скромнымъ квартирамъ съ „чернымъ ходомъ“ и на продовольствіе въ кухмистерскихъ. Даже послѣднее было не всегда доступно, потому что молодость требовала дорскихъ развлеченій, и иногда, ради билета въ театръ, я вынуждался замѣнять скромный кухмистерскій обѣдъ десяти-копѣчной колбасой съ булкой. Старый дядька, который жилъ при мнѣ, и тотъ имѣлъ въ мелочной лавкѣ пищу болѣе сытную и здоровую.

Напротивъ того, Крутицынъ, какъ оказалось изъ моихъ разспросовъ, былъ молодой человекъ вполне обеспеченный. Лошадей онъ, правда, не будетъ держать, но квартирку устроить комфортабельно и чистенько, и обѣдать будетъ не иначе, какъ „настоящимъ образомъ“ и въ хорошемъ ресторанѣ. Франтовства особеннаго не дозволить себѣ, а станетъ одѣваться красиво и безукоризненно. На службѣ изнемогать онъ тоже не располагалъ (онъ называлъ чиновниковъ „хаммами“), а отбудетъ свой срокъ и затѣмъ выйдетъ на всѣ четыре стороны. Онъ любитъ читать (не одни романы, но и серьезныя книжки), охотникъ до театра и не имѣетъ ни малѣйшей склонности къ кутежамъ. Все это даетъ право надѣяться, что жизнь его устроится разумно, независимо и свободно.

Но главная его претензія — это быть джентльменомъ. Когда наступитъ время, онъ уѣдетъ изъ Петербурга въ „свое мѣсто“ и будетъ служить по выборамъ. Ибо только такимъ образомъ истинный джентльменъ можетъ оправдать свое призваніе; только тамъ, среди „своихъ“, онъ самымъ дѣломъ покажетъ, что значитъ высоко держать „свое“ знамя.

— А у насъ, *mon cher*, насчетъ этого самая незрѣлая, почти младенческія понятія, — говаривалъ онъ мнѣ. — Дворянство, за исключеніемъ немногихъ уѣздовъ, представляющихъ собой какъ бы оазисы, совершенно забыло о своемъ значеніи въ государствѣ и обратилось въ массу приживальцевъ на хлѣбахъ у казны. Какой-нибудь департаментскій штатскій генералъ съ высоты величія, почти съ пренебреженіемъ, смотритъ на бѣднаго дворянина, пріѣзжающаго въ Петербургъ ходатайствовать по своимъ дѣламъ. Въ провинціи, конечно, дѣло идетъ нѣсколько иначе, но едва-ли лучше. Тамъ, наобороть.

дворяне тѣсно стоятъ другъ за друга, но не въ смыслѣ джентльменства, а въ самыхъ вопіющихъ злоупотребленіяхъ. Само собой разумѣется, что такимъ образомъ дѣйствій они производятъ въ массахъ глухое раздраженіе. Крѣпостное право совсѣмъ не такъ худо, какъ о немъ рассказываютъ, и еслибы дворяне относились другъ къ другу строже, то Богъ знаетъ, когда еще этотъ вопросъ поступилъ бы на очередь. А теперь, пожалуй...

Это говорилось еще задолго до слуховъ объ эмансипаціи, и я положительно не понималъ, откуда могъ набраться Валерушка такихъ несвойственныхъ казенному заведенію „принциповъ“. Вѣроятно, они циркулировали въ его семействѣ, которое безвыѣздно жило въ деревнѣ и играло въ „своемъ мѣстѣ“ значительную роль. Съ своей стороны, помнится, я относился къ этимъ заявленіямъ довольно равнодушно, тѣмъ болѣе, что мысль о возможности упраздненія крѣпостного права въ то время даже мелькомъ не заходила мнѣ въ голову.

Важнѣе всего было то, что у Крутицына, при самомъ выходѣ со школьной скамьи, существовала уже задача, довольно, правда, отдаленная и смутная, но все-таки, до извѣстной степени, опредѣлявшая его внутренній міръ.

Онъ не измѣнитъ данному слову, потому что онъ — джентльменъ; онъ не позволитъ себѣ сомнительнаго поступка, потому что онъ — джентльменъ; онъ не ударитъ въ лицо своего слугу, не заставитъ повара съѣсть попавшаго въ супъ таракана, не возьметъ въ наложницы крѣпостную дѣвицу, потому что онъ — джентльменъ; онъ привѣтливо приметъ бѣднаго помѣщика-сосѣда, который явится съ просьбой по дѣлу, потому что онъ — джентльменъ. Вообще онъ не „замараетъ“ себя... нѣтъ, никогда! Даже наединѣ самъ съ собой онъ будетъ мыслить и чувствовать какъ джентльменъ.

Первые шесть лѣтъ, которыя Крутицынъ прожилъ въ Петербургѣ, покуда не кончился срокъ обязательной службы, наши дружескія связи продолжали поддерживаться, хотя я долженъ сознаться, что это стоило мнѣ лично нѣкоторыхъ усилій. Впрочемъ не я одинъ, а и другіе товарищи его охотно посѣщали, и онъ всѣхъ принималъ радушно. Ни про кого изъ сверстниковъ я не слыхалъ отъ него паскудной клички: „амі сошон“, которую направо и налево рассыпали графъ Б., графъ О. и другіе баловни фортуны. Напротивъ того,



онъ даже искусственной предупредительности не выказывалъ, какъ бы боясь оскорбить ея, а оставался все тѣмъ же простымъ, участливымъ и добрымъ малымъ, какимъ былъ на школьной скамьѣ. Правда, что нѣкоторое время по выходѣ изъ школы у него почти совсѣмъ не было „постороннихъ“ знакомствъ, и потому со стороны не представлялось случая для сравненій и выводовъ. Среда, въ которой ему предстояло вращаться въ будущемъ, еще не опредѣлилась, и товарищи составляли пока единственный ресурсъ.

Я зналъ, что у него живетъ въ Петербургѣ сестра, замужемъ за княземъ X., что домъ этой сестры—одинъ изъ самыхъ блестящихъ, и что тамъ собирается такъ-называемое высшее общество. Валерушка бывалъ у сестры часто, и хотя это представлялось вполне естественнымъ, но я какъ-то страдалъ всякій разъ, когда на мой вопросъ: дома ли Валеріанъ Сергѣичъ? мнѣ отвѣчали: „къ сестрицѣ уѣхали“. Мнѣ казалось, что тутъ уже кроется зародышъ дѣйствительности. Нерѣдко, когда я сидѣлъ у Крутицына, подвѣзжала въ щегольской коляскѣ къ дому, въ которомъ онъ жилъ, красивая женщина и дѣлала движеніе, чтобы выйти изъ экипажа; но всякій разъ на встрѣчу ей торопливо выбѣгалъ камердинеръ Крутицына и что-то объяснялъ, послѣ чего сестра опять усаживалась въ коляску и оставалась ждать брата. Крутицынъ, съ своей стороны, извинялся предо мной и, спѣшно надѣвши пальто, выходилъ изъ дома. Однажды такъ случилось, что красавица полюбопытствовала и вышла изъ экипажа, и хотя Валеріанъ крикнулъ ей въ переднюю:

— Je ne suis pas seul!...

Но она не послушалась предостереженія и вошла въ кабинетъ.

— Надѣюсь, что вы позволите „вашему другу“ уѣхать со мной? — сказала она, обращаясь ко мнѣ.

Словъ было немного, но въ тонѣ, которымъ были произнесены слова: „вашъ другъ“, заключалась цѣлая поэма. Во всякомъ случаѣ, въ эту минуту въ первый разъ, но все еще смутно, мелькнула мнѣ мысль, что въ „принципахъ“ извѣстной окраски, если даже они залегли въ общее міросозерцаніе въ тѣхъ чуждыхъ надменности формахъ, въ какихъ ихъ воспріалъ Валерушка, можетъ существовать своего рода трещина, сквозь которую просачивается исключительность и относительно „своихъ“, но менѣе фаворизованныхъ формулю.

Въ наличности этой трещины еще болѣе убѣдили меня дальнѣйшія сношенія съ Крутицынымъ. Съ теченіемъ времени въ квартирѣ его начали появляться „постороннія“ личности. И хотя онъ очень предупредительно представлялъ насъ другъ другу, но я всегда чувствовалъ при этомъ невольную неловкость. Или придешь такъ, что „посторонняя“ личность уже тутъ, и тогда она немедленно снимается съ мѣста и—со словами: „Итакъ, въ такомъ-то часу...“—удаляется во-свояси.

Или же „посторонняя“ личность появлялась, когда я сидѣлъ у Крутицына.

Заглянувъ въ кабинетъ и увидавъ меня, она восклицала:

— А! ты занятъ дѣлами. Pardon! Я черезъ часъ зайду...— И дѣлала движеніе, чтобъ удалиться...

— О, нѣтъ, о, нѣтъ, — удерживалъ пріятеля Валерушка: — останься! ты не помѣшаешь!

Но, разумѣется, я, въ свою очередь, понималъ, что я лишній, и снѣшилъ удалиться.

Тѣмъ не менѣе я упорствовалъ. Хотя существованіе трещины дѣлалось болѣе и болѣе несомнѣннымъ, но я увѣрялъ себя, что она засѣла не въ убѣжденіяхъ самого Валерушки, а въ той атмосферѣ, въ которой ему, волей-неволей, приходилось вращаться. Самъ онъ—говорилъ я себѣ—противникъ этой худо скрываемой надменности, и, конечно, не жеть, говоря, что въ ней заключается одна изъ причинъ словесной заѣдлости. Но не виноватъ же онъ, что рожденіе фаталистически кинуло его въ такую среду, отъ которой онъ отречься не можетъ. Не отказываться же ему, въ самомъ дѣлѣ, отъ людей, которыхъ онъ безпрестанно встрѣчаетъ въ обществѣ и изъ которыхъ многіе связаны съ нимъ узами крови... Нѣтъ, самъ по себѣ онъ безусловно вѣренъ своимъ убѣжденіямъ, и, конечно, въ „своемъ мѣстѣ“ докажетъ на дѣлѣ, какое его знамя и какъ нужно держать его.

Вообще Крутицынъ былъ мнѣ симпатиченъ, несмотря на то, что по убѣжденіямъ мы принадлежали, такъ сказать, къ совершенно различнымъ приходамъ. Я имѣлъ слегка социалистическую окраску; онъ былъ экономистъ *pur sang*, штудировалъ Сэ и Бастиа, о социалистахъ же пренебрежительно выражался, *qu'ils cherchent midi à quatorze heures*. Затѣмъ, онъ былъ приверженецъ замкнутой словесности; я же склонялся на сторону самой широкой безсловесности,

доходя чуть не до *suffrage universel*, мысль о которомъ тогда уже начинала волновать западную Европу. Но мнѣ, при томъ небольшомъ кругѣ знакомыхъ, какой я имѣлъ, дорогъ былъ въ Крутицынѣ разсуждающій сверстникъ, съ которымъ можно было спорить. Положимъ, эти споры были довольно первоначальнаго свойства и оставляли насъ при своихъ убѣжденіяхъ, но все-таки тутъ было упражненіе, которое въ юношескіе годы цѣнится очень дорого.

— *Mon cher*, — говаривалъ Крутицынъ: — раздѣлите сегодня все поровну, а завтра неравенство все-таки вступитъ въ свои права.

— Я знаю это возраженіе, — отвѣчалъ я: — всѣ столоначальники опираются на него какъ на каменную стѣну; но вѣдь дѣло совсѣмъ не такъ просто, какъ ты его рисуешь. Тутъ цѣлая система со множествомъ подробностей, со сложной обстановкой...

Однако онъ не убѣждался моими возраженіями и продолжалъ:

— Или эти *anti-lions*, *anti-réquisins*! Эти заботы насчетъ вывозки нечистотъ при помощи самоотверженныхъ когортъ... Бѣдный Фурь! онъ не предвидѣлъ ни ватерклозетовъ, ни нынѣшнихъ парижскихъ катакомбъ!

— И это сужденіе чисто-столоначальническаго свойства! Фурь не объ однихъ *anti-lions* писалъ, но и...

И т. д.

Вообще, какъ я уже сказалъ выше, онъ охотно читалъ, но вычитывалъ въ книгахъ именно тѣ, чтѣ не только не нарушало хорошаго расположенія духа, но, напротивъ, содѣйствовало поддержанію его.

Онъ былъ счастливъ. Проводилъ время безъ тревогъ, испытывалъ доступныя юношѣ удовольствія и едва-ли когда-нибудь чувствовалъ себя огорченнымъ. Мнѣ казалось въ то время, что вотъ это-то и есть самое настоящее равновѣсіе души. Онъ принималъ жизнь какъ она есть, и бралъ отъ нея чтѣ могъ.

— Я ничего особеннаго отъ жизни не требую, — говорилъ онъ нерѣдко, — и нахожу, что она даетъ совершенно достаточно, чтобы удовлетворить меня. Никакой борьбы я не ищу и не буду искать, не потому, чтобы трусилъ, а потому, что борьба — не въ моихъ принципахъ. Только тѣ прочно, чтѣ приходитъ въ свое время; насильственно же взятое или искусственно привитое, рано или поздно, погибаетъ, и даже скорѣе рано, чѣмъ поздно. Кто дѣйствуетъ мечомъ, тотъ отъ меча и погибнетъ. Вѣрь мнѣ. Конечно, въ людяхъ, среди



которыхъ мнѣ приходится жить, есть многое, что мнѣ не по-сердцу, но вѣроятно и во мнѣ есть кой-что, что не нравится другимъ. Поэтому я или покоряюсь факту, принимаю его, какъ онъ есть, или же, если это удобно, вступаю въ споръ, въ надеждѣ убѣдить. Но безъ раздраженія, разумно, съ полнымъ сознаниемъ права, которое имѣеть противникъ отстаивать свое убѣжденіе.

— Но вѣдь иногда это совсѣмъ не убѣжденіе, а просто раздраженіе прихотливаго или развращеннаго темперамента, — возразилъ я.

— Въ такомъ случаѣ споръ напрасенъ. Надо отойти — и больше ничего.

Онъ любилъ женское общество и имѣлъ у женщинъ успѣхъ; но бывалъ ли когда-нибудь влюбленъ — сомнѣваюсь. Мнѣ кажется, настоящая, страстная любовь нарушила бы его душевную ясность, и еслибъ даже запылала случайно въ его сердце, то онъ, ради спокойствія своего, употребилъ бы всѣ усилія, чтобъ подавить ее.

Онъ любилъ быть „счастливымъ“ — вотъ и все. Однажды прошелъ-было слухъ, что онъ безнадежно влюбился въ извѣстную въ то время лоретку (такъ назывались тогдашнія кокетки), обладаніе которой оказалось ему не по средствамъ, но на мой вопросъ объ этомъ онъ очень резонно отвѣтилъ:

— Помилуй! неужели ты могъ повѣрить, что я положу на одни вѣсы мое личное спокойствіе и вопросъ о какой-то лореткѣ? Лоретка можетъ занять меня на одну минуту, не больше... Ихъ такъ много, такъ много, что предложеніе почти превышаетъ спросъ. Притомъ же, я совсѣмъ не тамъ ищу и не того мнѣ надо. Многіе изъ моихъ пріятелей постоянно проводятъ время въ обществѣ этихъ дѣвицъ; я и самъ иногда не прочь пробыть нѣсколько часовъ въ ихъ компаніи, но въ концѣ концовъ это скучно. Говорятъ онѣ глупо, поютъ пошлыя пѣсни: даже движенія у нихъ не красивы, а только циничны. Если тѣла ихъ и дѣйствуютъ возбуждающимъ образомъ на физику, то это возбужденіе мимолетное. Вѣдь и тутъ все-таки необходима хоть искра ума или, по крайней мѣрѣ, выдержки.

Такимъ образомъ, онъ и съ этой стороны остался неуязвимъ. Самъ выдержанный, онъ и вездѣ искалъ такой же выдержки. Нашедши ее, чувствовалъ себя хорошо и удобно; не найдши — не добивался и проходилъ мимо своею дорогою.

Мнѣ кажется, что и у женщинъ Крутицынъ имѣлъ успѣхъ имен-

но благодаря этой выдержкѣ. Онъ былъ нѣженъ, а не страстенъ, и притомъ безусловно приличенъ и скроменъ. Можно было съ увѣренностью сказать себѣ, что онъ не только словомъ, но и выраженіемъ глазъ, лица не выдастъ тайны, а это въ интимныхъ отношеніяхъ главное. Тихое наслажденіе, безъ порывовъ и даже безъ назойливости, наслажденіе настолько, насколько оно обусловливается обстоятельствами, обстановкой—вотъ идеаль, который онъ воспиталъ въ себѣ. Даже разговора о сношеніяхъ съ женщинами онъ не допускалъ, потому что и тутъ случайно могла прозвучать нотка, сказаться слово, которое выдало бы его.

— Женщина для меня святыня,—однажды сказалъ онъ мнѣ:—я боюсь коснуться этой святыни, чтобы какимъ-нибудь неосторожнымъ выраженіемъ не оскорбить ее. И потому храню молчаніе.

Между тѣмъ кругъ „постороннихъ“ друзей все больше и больше тѣснился около него. Изъ старыхъ товарищей только я одинъ его посѣщалъ, но и мнѣ приходилось видѣться очень рѣдко. Это было тѣмъ болѣе досадно, что онъ, повидимому, не замѣчалъ ослабленія дружескихъ узъ. Попрежнему онъ былъ со мною привѣтливъ и ровенъ, но, очевидно, большой цѣны частымъ свиданіямъ не придавалъ. Я уже начиналъ склоняться къ мысли, что во всемъ этомъ кроется глубокій эгоизмъ, но, обдумавши, пришелъ къ убѣжденію, что это—не болѣе, какъ довольство самимъ собою, своимъ положеніемъ,—довольство, при которомъ не чувствуется даже потребности въ анализѣ. Жизнь течетъ обычнымъ порядкомъ; обстановка кругомъ или измѣняется, или остается неизмѣнною—все равно „принципы“ остаются нетронутыми, такъ что ни съ какой стороны нѣтъ мѣста для тревогъ... Вотъ и достаточно.

Только обязательная служба до извѣстной степени выводила его изъ счастливаго безмятежія. Къ ней онъ продолжалъ относиться съ величайшимъ нетерпѣніемъ, и, отбывая повинность, выражался, что онъ каждый день приноситъ свою долю вреда. Думаю впрочемъ, что и это онъ говорилъ, не анализируя своихъ словъ. Фраза эта, очевидно, была, такъ сказать, семейнымъ преданіемъ и запала въ его душу съ дѣтства въ родномъ домѣ, гдѣ все, начиная съ отца и кончая деревенскими кузенами, кичились какою-то воображаемою независимостью.

Понять значеніе этой независимости было очень трудно, а до-

казать ее конкретнымъ дѣломъ еще труднѣе. Кажется, она въ томъ, по преимуществу, состояла, что „независимые“ удалялись изъ коронной службы (были цѣлыя губерніи, называвшіяся „корнетскими“, потому что почти сплошь всѣ помѣщики были отставные корнеты и вообще мало-чиновные люди, но за то обладавшіе хорошими матеріальными средствами). Отставные корнеты поселялись въ своихъ родовыхъ гнѣздахъ, служили по выборамъ и фрондировали, а по тогдашнему выраженію—„фыркали“. Въ образѣ жизни они старались подражать псевдо-англійскимъ порядкамъ. Домашняя прислуга ходила въ ливрейныхъ фракахъ и безшумно мелькала по комнатамъ, исполняя свои обязанности; глава семейства выходилъ къ обѣду во фракѣ и въ бѣломъ галстухѣ; въ домѣ царствовала строгая и совершенно опредѣленная вымуштрованность, нарушенія которой не могла вызвать даже самая настоятельная необходимость, и, наконецъ, ни одинъ мѣстный чиновникъ, служившій не по выборамъ отъ дворянства, не допускался за порогъ барскихъ хоромъ. Въ то время это считалось вольнодумствомъ, и на людей, дозволявшихъ себѣ поступать такимъ образомъ, смотрѣли косо, какъ на строптивыхъ. Такъ что, въ суммѣ, вся независимость сводилась къ тому, что люди жили нелѣпою, чуть ли не юродивою жизнью, невѣдомо съ какого повода бравирюя косые взгляды, которые метала на нихъ центральная власть, называя это „держаніемъ знамени“.

На такую именно жизнь осужденъ былъ и Крутицынъ, но такъ какъ сѣмена ея залегли въ немъ еще съ дѣтства, то онъ не только не чувствовалъ нелѣпыхъ ея сторонъ, но, по примѣру старшихъ, видѣлъ въ ней „знамя“.

Наконецъ, шестилѣтній срокъ обязательной службы истекъ, и Валерушка успѣшилъ воспользоваться свободой. За два мѣсяца передъ окончаніемъ срока онъ уже взялъ отпускъ и собрался въ „свое мѣсто“, съ тѣмъ, чтобы оттуда прислать просьбу объ отставкѣ. Въ то время ему минуло двадцать-семь лѣтъ.

Въ день отъѣзда я одинъ пріѣхалъ проводить его на дебаркадеръ мальпостовъ (железная дорога до Москвы еще не существовала). Время было глухое, іюнь въ концѣ; „посторонніе“ друзья разъѣхались по деревнямъ и за границу. Не могу сказать, чтобы сердце мое особенно сжималось въ виду предстоявшей разлуки, но все-таки чувствовалось нѣкоторое томленіе. Я говорилъ себѣ, что разлука



будетъ полная, что о перепискѣ нечего и думать, потому что вся сущность нашихъ отношеній замыкалась въ личныхъ свиданіяхъ, и переписываться было не о чемъ; что ежели и мелькнетъ Крутицынъ на короткое время опять въ Петербургъ, то не иначе, какъ по дѣламъ „знамени“, и врядъ ли вспомнить обо мнѣ, и что вообще врядъ ли мы не въ послѣдній разъ видимъ другъ друга.

Нечего и говорить, что ничего подобнаго въ мысляхъ Крутицына не было. Онъ просто уѣзжалъ, хотя впрочемъ искренно и крѣпко жалъ мнѣ руки, благодаря за то, что я не забылъ проводить его. Я помню, что въ послѣднія минуты мнѣ пришла въ голову довольно несообразная мысль. Нѣтъ, думалось мнѣ, надо наконецъ поставить вопросъ прямо. Намъ обоимъ по двадцати-семи лѣтъ, мы шесть лѣтъ уже пользуемся свободой, а какіе результаты дала намъ эта свобода? Можемъ ли мы указать на какое-нибудь дѣло или хоть на подготовку къ нему? Имѣемъ ли мы данныя, съ помощью которыхъ можно было бы опредѣлить характеръ предстоящаго намъ будущаго? или намъ еще долго-долго придется плыть по житейскому морю безъ вѣтрила, просто въ качествѣ „молодыхъ людей“?

Мысль эту я не преминулъ сообщить на прощанье Крутицыну:

— Вотъ намъ уже подь-тридцать, — сказала я: — живемъ мы шесть лѣтъ внѣ школьныхъ стѣнъ, а случалось ли тебѣ когда-нибудь задаться вопросомъ: что дали тебѣ эти годы? сдѣлалъ ли ты какое-нибудь дѣло? наконецъ, приготовился ли къ чему-нибудь? Вообще, можешь ли ты дать себѣ отчетъ въ проведенномъ времени?

Онъ взглянулъ на меня удивленными глазами, точно впервые, и съ неудовольствіемъ угадалъ во мнѣ какой-то совершенно чуждый ему „безпокойный“ элементъ.

— О чемъ ты говоришь — не понимаю! — отвѣтилъ онъ: — какіе отчеты, какое „дѣло“? какая подготовка? Я жилъ — вотъ и все!

И, подумавъ съ минуту, прибавилъ:

— А „дѣло“, которое мнѣ предстоитъ, и безъ подготовки — всегда на-лицо. Я съ благоговѣніемъ приму его въ свое время изъ рукъ отца и останусь вѣренъ ему до послѣдняго вздоха! Прощай.

Я угадалъ совершенно вѣрно: въ перепискѣ потребности не оказалось. Къ тому же я самъ вскорѣ, вслѣдъ за Крутицынымъ, вы-

нужденъ былъ оставить Петербургъ и удалиться вглубь провинціи. Валерушка, конечно, и не подозрѣваль, что я исчезъ, и куда.

Ежели вообще даже внѣшняя переменѣна въ обычной жизненной обстановкѣ неудобно отражается на человѣческомъ существованіи, то тѣмъ тяжелѣе дѣйствуетъ утрата отношеній, имѣющихъ дружескій характеръ, особенно если одною изъ сторонъ эта утрата принимается равнодушно. Есть даже что-то оскорбительное въ подобномъ равнодушіи, казая-то приниженность чувствуется. Такъ было и со мною. Я называлъ навязчивостью тѣ усилія, которыя дѣлались мною съ цѣлью сохранить еле-державшуюся связь съ Крутицынымъ; я даже негодовалъ на себя, что продолжаю думать объ этой связи.

Впрочемъ поѣздка въ отдаленный край оказалась въ этомъ случаѣ полезительною. Связи съ прежнею жизнью разомъ порвались; рѣдко кто обо мнѣ вспомнилъ, да я и самъ не чувствовалъ потребности возвращаться къ прошедшему. Новая жизнь со всѣхъ сторонъ обступила меня; сначала это было похоже на полное одиночество (тоже своего рода существованіе), но впоследствии и люди нашлись... Вѣдь вездѣ живутъ люди, какъ справедливо гласитъ пословица.

О Крутицынѣ я не имѣлъ никакихъ слуховъ. Взялъ ли онъ въ руки „знамя“ и высоко ли его держалъ—никому до этого дѣла въ то время не было, и ни въ какихъ газетахъ о томъ не возвѣщалось. Тихо было тогда, безмолвно; человѣкъ могъ держать „знамя“ и даже въ одиночку обѣдать во фракѣ и въ бѣломъ галстухѣ—никто и не замѣтитъ. И во фракѣ обѣдай, и въ халатѣ—какъ хочешь; послѣдствія все одни и тѣ же. Даже умываться или не умываться представлялось личному произволѣнію.

Я не сомнѣвался однакожь, что Валерушка устроился хорошо и не утратилъ душевнаго равновѣсія. Вѣроятно онъ предводительствуетъ въ „своемъ мѣстѣ“, думалось мнѣ, когда воспоминаніе объ немъ случайно западало мнѣ въ голову. А предводительство, по его мнѣнію, само по себѣ уже есть „дѣло“, которому стѣитъ посвятить жизнь. Мало ли у предводителя обязанностей? И ходатайствовать, и настаивать, и отстаивать и, наконецъ, „фыркать“. Съ утра до вечера—сушая толчея. Такъ что когда наступитъ ночь, и случайно вздумаешь дать себѣ отчетъ въ прожитомъ днѣ, то не успѣешь и перечислить всего совершеннаго, какъ благодѣтельный сонъ уже спѣшитъ

смежить глаза, чтобъ вознаградить усталый организмъ за претерпенную дневную сутолоку.

Цѣлыхъ восемь лѣтъ я велъ скитальческую жизнь въ глухомъ краю. И возлежалъ на лонѣ у начальника края, и былъ отмечаемъ отъ онаго; былъ и украшеніемъ общества, и заразою его; и удачи, и невзгоды—все испыталъ, что можно испытать на стражѣ обязательной службы, среди не особенно брезгливыхъ по служебной части коллегъ. Конца этому положенію я не предвидѣлъ. Сначала дѣлалъ нѣкоторыя попытки, чтобы высвободиться, но чѣмъ дальше шель вглубь, тѣмъ болѣе и болѣе обживался. Даже солонину и огурцы солилъ впрокъ и вообще зажилъ своимъ домомъ; хотя былъ совсѣмъ одинокъ. И теперь вспоминаю объ этомъ времени съ какимъ-то сомнѣніемъ, дѣйствительно ли оно было.

Наконецъ искусъ кончился. Конецъ пришелъ такъ же случайно, какъ случайно пришло и начало. Я оставилъ далекій городъ точно въ забытій. Въ то время тамъ еще ничего не было слышно о новыхъ вѣяніяхъ, а тѣмъ болѣе о какихъ-то ломкахъ и реформахъ. Достоверно было только, что чиновникамъ предоставлено, вмѣсто прежнихъ мундировъ и виць-мундировъ, носить мундирные кафтаны и вице-кафтаны. Нѣсколько сутокъ я ѣхалъ, не отдавая себѣ отчета, что со мной случилось и что ждетъ меня впереди. Но, добравшись до Москвы, я сразу нюхнулъ свѣжаго воздуха. Несмотря на то, что у меня совсѣмъ не было тамъ знакомыхъ, или же предстояло разыскивать ихъ, я понялъ, что Москва уже не прежняя. На Никольской появилось Чижовское подворье, на Софійскѣ—Ломакинскій домъ съ зеркальными окнами. По Ильинкѣ, Варваркѣ и вообще въ Китай-городѣ проѣзду отъ ломовыхъ извозчиковъ не было—все благовонные товары везли: стало быть, потребность явилась.

Еще не такъ давно такъ-называемыя „машины“ (органы) были изгнаны изъ трактировъ; теперь Московскій трактиръ щеголялъ двумя машинами, Новотроицкій—чуть не тремя. Отобѣдавши раза три въ общихъ залахъ, я наслушался того, что ушамъ не вѣрилъ. Говорили, что вопросъ о разрѣшеніи курить на улицахъ уже „прошелъ“, и что затѣмъ на очереди поставленъ будетъ вопросъ о снятіи запрещенія носить бороду и усы. Говорили смѣло, рѣшительно, не опасаясь, что за такія рѣчи пригласятъ къ генераль-губернатору. Въ заключеніе желѣзный путь отъ Москвы до Петербурга былъ уже открытъ.



Хорошее это было время, гульливое, веселое. Денегъ было много, а ежели у кого и оказывалась недостача, то это значило передъ деньгами. Пріятели, на радостяхъ, охотно давали займы, въ трактирахъ—охотно вѣрили въ долгъ. И притомъ, много ли нужно чело-вѣку, особливо московскому?—рюмка, двѣ рюмки, три рюмки—вотъ онъ и пьянъ! Потому что у него внутри ужъ гнѣздо заведено. А на закуску—кусочекъ хлѣба съ крошечнымъ ломтикомъ ветчины. И этого достаточно, потому что водка сама по себѣ насыщаетъ. Даже половые встрепенулись и летали по заламъ трактировъ съ сіяющими лицами, довольные и счастливые, что наконецъ узы разорваны и наступило время настоящей „вольной“ работы. И они высоко держали своего рода „знамя“.

Прибавьте ко всему этому прибаутки Кокорева, его возню съ севастопольскими героями, угощенія, увеселительныя ноѣздки по Николаевской желѣзной дорогѣ, кутежи въ Ушакахъ,—и согласитесь, что бѣдному провинціалу было отъ чего угорѣть.

Когда я добрался до Петербурга, то тамъ куренье на улицахъ было уже въ полномъ разгарѣ, а бороды и усы стали носить даже прежде, нежели вопросъ объ этомъ „прошелъ“. Но всего болѣе занималъ здѣсь вопросъ о прессѣ. Несмотря на то, что цензура не была еще упразднена, печать ужъ повысила тонъ. Въ особенности провинціальная юродивость всплыла наружу, такъ что городничіе, исправники и даже начальники края не на шутку задумались. Затѣвались новыя періодическія изданія, и въ особенности обращалъ на себя вниманіе возникавшій „Русскій Вѣстникъ“. При этомъ Петербургъ завидовалъ Москвѣ, въ которой существовалъ совершенно либеральный цензоръ, тогда какъ въ Петербургѣ цензора все еще словно не вѣрили превращенію, которое въ ихъ глазахъ совершалось. Что касается устности, то она была просто безпримѣрная. Высказывались такія сужденія, говорились такія рѣчи, что хоть бы въ Парижѣ, въ Бельвиллѣ. Словомъ сказать, пробужденіе было полное, и, разумѣется одно изъ первыхъ украшеній его составлялъ тогдашній premier amoueux, В. А. Кокоревъ, который на своемъ образномъ языкѣ называлъ его „постукиваньемъ“.

Петербургъ былъ переполненъ наѣзжими провинціалами. Всѣ, у кого водилась лишняя денъга, или кто имѣлъ возможность занять,—всѣ устремлялись въ Петербургъ, къ источнику. Одни пріѣзжали

изъ любопытства, другіе — потому, что ужь очень забавными казались „благія начинанія“, о которыхъ чуть не ежедневно возвѣщала печать; третьи, наконецъ, — въ смутномъ предвидѣніи какой-то угрозы. Крутицынъ былъ тоже въ числѣ пріѣзжихъ, и однажды, въ театрѣ, я услыхалъ сзади знакомый голосъ:

— А! Мельмотъ-скиталець! Наконецъ!..

Мы встрѣтились радушно и просто, какъ будто разстались только вчера. Крутицынъ попрежнему глядѣлъ счастливо, такъ что сразу было видно, что онъ вполне доволенъ своимъ положеніемъ. На щекахъ его игралъ румянецъ, въ волосахъ — ни признака сѣдины или другого ущерба; походка такая же легкая, съ пріятнымъ перевальцемъ, какъ восемь лѣтъ тому назадъ; нигдѣ ни малѣйшей обрюзглости или отяжелѣлости; одѣтъ безъ франтовства, но безукоризненно. Вообще онъ не только не постарѣлъ, а какъ будто даже помолодѣлъ. Напротивъ того, я, судя по его словамъ, и похудѣлъ, и обрюзгъ, и постарѣлъ.

— Видно, на окраинахъ-то живетъ не совсѣмъ припѣваючи? — молвилъ онъ, осматривая меня.

— Что же ты не прибавляешь: самъ виноватъ! — пошутилъ я въ отвѣтъ.

— Я, голубчикъ, держусь того правила, что каждый самъ лучше можетъ оцѣнивать собственные поступки. Ты знаешь, я никогда не считалъ себя судьей чужихъ дѣйствій, — при этомъ же убѣжденіи остался я и теперь.

Я узналъ, что онъ пріѣхалъ на короткое время и остановился въ гостинницѣ. Не столько дѣла привлекли его, сколько любопытство. Какія могли быть у него дѣла съ бюрократіей? — конечно, никакихъ! Но для любознательности поводовъ было достаточно, и онъ не отрицалъ, что въ обществѣ проснулось нѣчто въ родѣ самочувствія. Не лишнее было принять это явленіе въ соображеніе, въ виду „знамени“, которое онъ держалъ, и, быть можетъ, даже воспользоваться имъ на вящее преуспѣяніе излюбленныхъ интересовъ.

— Здѣсь очень забавно, — выразился онъ чуть-чуть иронически: — курятъ на улицахъ такъ, что, того гляди, сводъ небесный закоптятъ. И бороды отпустили — узнать мудрено. Одинъ Кокоревъ, съ своими героями, чего стобить! заглядѣться можно!

— А пресса-то, пресса! — подстрекнулъ я.

— Ну, да, и пресса недурна. Что же! пускай бюрократы по-безпокоятся. Вообще, любопытное время. Немножко какъ будто сумбуромъ отзывается, но... ничего! Я, по крайней мѣрѣ, не раздѣляю тѣхъ опасеній, которыя высказываются нѣкоторыми изъ людей одного со мною лагеря. Нигдѣ въ Европѣ нѣтъ такой свободы, какъ въ Англіи, и между тѣмъ нигдѣ не существуетъ такого правильнаго теченія жизни. Стало быть, и мы можемъ ждать, что когда-нибудь внезапно смѣшавшіеся элементы жизни размѣстятся по своимъ мѣстамъ.

Кромѣ того, я узналъ, что онъ женился. И теперь, въ Петербургѣ, онъ съ женой, но она уѣхала на вечеръ къ сестрѣ, а онъ предпочелъ театр.

— Хорошая у меня жена, умница!—прибавилъ онъ съ видимымъ удовольствіемъ.

— Итакъ, ты счастливъ?

— То-есть, доволенъ, хочешь ты сказать? Выраженій, въ родѣ: „счастье“, „несчастье“, я не совсѣмъ могу взять въ толкъ. Думается, что это что-то пришедшее извнѣ, взятое съ бою. А довольство естественнымъ образомъ залегаетъ внутри. Его, собственно говоря, не чувствуешь; оно само собой разливается по существу и дѣлаетъ жизнь удобною и пріятною.

Сказавши это, онъ пожалъ мнѣ руку и удалился, причемъ не спросилъ, гдѣ я живу, да и самъ не пригласилъ меня къ себѣ. Очевидно, довольство настолько овладѣло имъ, что онъ утратилъ даже представленіе о какомъ-либо иномъ обществѣ, кромѣ общества „своихъ“.

Тѣмъ не менѣе, я не утерпѣлъ, и на другой же день, довольно рано, уже былъ у него.

Крутицынъ весь сіялъ счастьемъ,—это съ перваго взгляда бросалось въ глаза. Было часовъ около одиннадцати; но и онъ, и жена его уже держали свое „знамя“. Она, прелестная, свѣжая, благоухающая, сидѣла у круглаго стола и разливала чай. Крутицынъ правду сказалъ: по всѣмъ ея движеніямъ, неторопливымъ и плавнымъ, видно было, что она „умница“. И ѣла, и пила она настоящимъ образомъ, не жеманилась, не играла ложкой, не стыдилась, какъ бы говоря: это я случайно пью чай и булку съ масломъ тѣмъ, а обыкновенно я питаюсь ээиромъ! И ѣла, и пила какъ всѣ смертныя, и даже мнѣ,



безъ предварительныхъ разспросовъ, налила чашку, — все какъ слѣдуетъ умищѣ. Что касается до него, то онъ, въ утреннемъ неглижѣ (*tout-à-fait correct*), помѣщался сбоку стола. Разумѣется, меня не ждали, и какъ будто даже удивились, что я такъ поспѣшилъ.

— Мнѣ вчера еще Valérien говорилъ о васъ, — сказала она, когда Крутицынъ отрекомендовалъ меня: — и я очень рада познакомиться съ вами. Друзья моего мужа — мои друзья.

Я вспомнилъ подобную же сцену съ сестрою Крутицына, и мнѣ показалось, что въ словахъ: „друзья моего мужа — мои друзья“, сказала такая же поэма. Только это одно нѣсколько умалило хорошее впечатлѣніе въ ущербъ „умищѣ“, но вѣроятно тутъ уже былъ своего рода фатумъ, отъ котораго никакая выдержка не могла спасти.

Черезъ четверть часа „умища“ скрылась въ сосѣдную комнату, и мы остались одни. Я нѣкоторое время такъ пристально вглядывался въ Валерушку, что онъ, смѣясь, замѣтилъ:

— Ты что на меня такъ странно смотришь? Что-нибудь необыкновенное примѣтилъ?

— Нѣтъ, я просто угадать хочу.

— Чтѣ жъ угадывать? Во мнѣ все такъ просто и въ жизни моей такъ мало осложненийъ, что и безъ угадываній можно обойтись. Я даже рассказать тебѣ о себѣ ничего особеннаго не могу. Лучше ты расскажи. Давно ужъ мы не видались, съ той самой минуты, какъ я высвободился изъ Петербурга — помнишь, ты меня проводилъ? Ну же, рассказывай: какъ ты прожилъ восемь лѣтъ? Чтѣ предвидишь впереди?..

Я разсказалъ, чтѣ могъ, но запасъ у меня былъ не особенно обильный. Въ десять-пятнадцать минутъ все было кончено.

Въ самомъ дѣлѣ, чтѣ я оставилъ позади за тѣ восемь лѣтъ, въ продолженіе которыхъ мы не видались? — воспоминаніе о какой-то безконечно-длинной и безсодержательной процедурѣ, до того однообразной, что она напоминала собой сказку о бѣломъ бычкѣ. Настолько была общеизвѣстна эта процедура, настолько всемъ надобла, что какъ только наступила благоприятная минута, все взапуски спѣшили отдѣлаться отъ нея, какъ отъ кошмара. Что же касается до эпизодовъ и подробностей, которые отгѣняли одинъ день отъ другого, то они отзывались ужъ черезъ-чуръ узкою спеціальностью и положительно никого не могли интересовать. Сегодня — слѣдствіе о вы-

могательствѣ, завтра — о сокрытіи, послѣ-завтра — о превышеніи или бездѣйствіи, и т. д. Хвалиться, послѣ долгихъ лѣтъ разлуки, передъ пріятелемъ, сколько стоило труда и искусства, чтобы поймать, уличить и вообще довести, съ грѣхомъ пополамъ, какого-нибудь воринку-станового до вождельнаго 3-го пункта — право, не стоило. Съ другой стороны, и бесѣдовать о дешевизнѣ съѣстныхъ припасовъ было неинтересно. Какое дѣло Крутицыну до того, что въ городѣ Глазовѣ пара рябчиковъ стоитъ семь копѣекъ серебромъ? Все, что онъ можетъ сказать по поводу такихъ розсказней — это:

— Дешевизна такъ неимовѣрна, что рябчики непременно должны быть давленные, а не стрѣляные. Во всякомъ случаѣ, ни одинъ порядочный поваръ не согласится подать давленную дичь на столъ.

— Нѣтъ, лучше о тебѣ будемъ говорить, — сказалъ я, истощивъ свой запасъ.

— Что жъ я могу разсказать тебѣ? Какъ видишь: женатъ, счастливъ; восемь лѣтъ прошли какъ сонъ.

— Голубчикъ! вѣдь восемь лѣтъ не мало времени; положимъ, для меня, съ фактической стороны, они прошли почти безслѣдно. Существованіе мое было однообразное, подневольное и шло изо дня въ день въ совершенно чуждой средѣ. Но и тутъ я убѣжденъ, что еще не успѣлъ разобраться въ недавнемъ прошломъ, и что впоследствии оно все-таки откликнется. Выступать наружу личности, характеристики, освѣтятся факты, подробности, а за ними появится цѣлая свита ошибокъ. Сколько окажется поводовъ для самобичеванія, для укоровъ! Какія потрясающія драмы могутъ выплыть на поверхность изъ омута мелочей, которыя настолько переполняютъ жизненную обыденность, что ни сердце, ни умъ, въ минуту совершенія, не трогаются ими! Нѣтъ, переменна, происшедшая въ моемъ существованіи, такъ еще свѣжа, — всего нѣсколько мѣсяцевъ, — что я не успѣлъ еще приглядѣться къ прошлому, и не могу дать себѣ отчета, чѣмъ оно чревато, укорами или поощреніями. Напротивъ, ты...

— Мнѣ кажется что ты ужъ черезъ-чуръ трагически смотришь на вещи...

— Ну, будетъ; дѣйствительно, я что-то некстати развитіе-ствоялся. Разсказывай же, разсказывай о себѣ: какъ жилъ, что дѣлалъ?

— Какъ жилъ? — ну, жилъ, и больше ничего. Признаюсь, я даже не понимаю этого вопроса, и мнѣ кажется, что, гоняясь за раз-

рѣшеніемъ его, tu cherches midi à quatorze heures. Смутно помнится, что мы уже однажды имѣли подобный разговоръ, и я объяснялся съ тобою. Но ты, повидимому, неисправимъ. Итакъ, повторяю: я жилъ, и не имѣю причины быть недовольнымъ моимъ прошлымъ. Быть можетъ, что это происходитъ оттого, что я ничего особеннаго не требую, или оттого, что сама судьба меня приголубливаетъ — во всякомъ случаѣ, я не жалуясь и сознаю себя вполне удовлетвореннымъ. Однажды только я испыталъ серьезное горе — это когда умеръ отецъ, котораго я страстно любилъ. Но время сгладило и это горькое впечатлѣніе; у меня осталась мать, къ которой я также страстно привязанъ, и мы втроемъ живемъ душа въ душу: мама, жена и я. Жаль только, что съ сестрой приходится видѣться рѣдко, но тутъ ужъ ничего не подѣлаешь. Словомъ сказать, я живу семейно и согласно; а ежели въ домѣ царствуетъ согласіе, то и жизнь не можетъ не радовать. Достаточно этого для тебя?

— Но вѣдь у тебя было дѣло? доволенъ ли ты имъ?

— И дѣло было, и надѣюсь, что и впередъ ему буду служить. И скажу безъ хвастовства, что сознательно противъ однажды усвоенной *règle de conduite* не поступалъ. Держать ввѣренное знамя — совсѣмъ не легкая задача, и я исполнялъ ее по мѣрѣ моихъ силъ. Я не кичился моими преимуществами, не пользовался ими въ ущербъ моимъ довѣрителямъ, не былъ назойливъ, съ полною готовностью являлся посредникомъ тамъ, гдѣ чувствовалась въ этомъ нужда, входилъ въ положеніе тѣхъ, которые обращались ко мнѣ, отстаивалъ интересы сословія вообще и интересы достойныхъ членовъ этого сословія въ частности — вотъ мое дѣло! Быть можетъ, оно не блестяще, но удовлетворяетъ меня вполне. И несмотря на кажущуюся простоту, оно порядочно-таки сложно, такъ что облѣниться или опуститься мнѣ не было времени. Вѣдь не только одна тишь да гладь царствовали, а были и шероховатости. Вспомни, что въ мою компетенцію входили не одни дворяне, но и крестьяне. Сверхъ того, и всѣ служащіе по выборамъ... Покойный отецъ сдѣлалъ многое, чтобы нашъ уѣздъ въ административномъ смыслѣ былъ безупреченъ, и я шелъ по стопамъ его. Неужели всего этого не достаточно?

— Помилуй! какъ не достаточно? напротивъ!

— Ты иронизируешь? находишь, что все это мелочи? Но что же дѣлать, если ничего болѣе крупнаго въ жизни не видится?



— То-то вот и есть... отчего однѣ только мелочи? отчего положеніе вещей остается на одной точкѣ и ни на какой осязательный результатъ указать нельзя?

— Pardon! Выраженіе: „мелочи“ — сорвалось у меня съ языка. Въ сущности, я отнюдь не считаю своего „дѣла“ мелочью. Напротивъ. Очень жалѣю, что ты затѣялъ весь этотъ разговоръ, и даже не хочу вѣрить, чтобы онъ могъ серьезно тебя интересовать. Будемъ каждый дѣлать свое дѣло, какъ умѣемъ—вотъ и все, что нужно. А теперь поговоримъ о другомъ.

Мы поговорили еще минутъ десять о вчерашнемъ спектаклѣ и разстались.

Прошло цѣлыхъ тридцать лѣтъ, наполненныхъ какою-то пестротою, въ которой трудно было отыскать руководящую нить. Эпоха „постукиванья“ миновала быстро; наступило суровое, беспощадное отрезвленіе, умѣряемое случайными и не всегда мотивированными возвратами къ лучшимъ временамъ. Въ воздухѣ чуть не каждый день оттепель смѣнялась жгучимъ холодомъ, и наоборотъ; но настоящіе теплые дни перепали рѣдко. Эти перемены заставляли себя чувствовать тѣмъ болѣе мучительно, что наступали внезапно и вслѣдствіе чисто внѣшнихъ, случайныхъ причинъ. Явленія, имѣвшія совершенно частный характеръ, обобщались и угнетающимъ образомъ отражались на цѣломъ жизненномъ строѣ. Жилось сомнительно, безъ увѣренности въ завтрашнемъ днѣ, безъ удовлетворенія днемъ настоящимъ. Знамена, которыя всякій спѣшилъ выкинуть въ дни „возрожденія“, вдругъ попрятались; самое представленіе о возрожденіи ступсывалось и смѣнилось убѣжденіемъ, что ожиданіе дальнѣйшихъ развитій было бы ребячествомъ. Умы воротились къ старинной, излюбленной темѣ: какъ бы выйти неповрежденнымъ изъ сутолоки насущнаго дня. Въ прессѣ, рядомъ съ „рабымъ языкомъ“, родился языкъ холопскій, претендовавшій на смѣлость, но, въ сущности, представлявшій смѣсь наглости, лести и лжи. „Улица“ притихла.

Въ теченіе всего этого времени я былъ почти исключительно поглощенъ литературными занятіями. Скорбныхъ минутъ было не мало, но по крайней мѣрѣ поддерживалось горвіе мысли—и за то спасибо. Всего мучительнѣе было то, что писатель не могъ опредѣлительно указать на своего читателя, такъ что голосъ его раздавался,

такъ сказать, на-удачу. Но во всякомъ случаѣ литературный трудъ самъ по себѣ представляетъ достаточно утѣшеній. Допустимъ, что на особенно плодотворные результаты рассчитывать нечего, но все-таки думается, что хоть что-нибудь, хоть штрихъ одинъ, хоть слабый звукъ—дойдетъ по адресу. Гудить и снуеть безъимянная толпа, совѣмъ не подозревая, что къ ней обращено горячее писательское слово—и вдругъ выискивается адресатъ, который ловить это слово на-лету... Это большое счастье, но въ то же время—надо сказать правду—и большая рѣдкость, потому что адресатъ робокъ и обнаруживать свои чувства не всегда считаетъ полезнымъ.

Повторяю: результаты моей дѣятельности были сомнительны, но существовалъ самый процессъ излюбленного литературнаго труда, и это до извѣстной степени удовлетворяло. Настоящее слово выговаривалось съ трудомъ, но попытки сказать его все-таки существовали. Еще не утрачена была возможность полемизировать, и творцы холопскаго языка чувствовали хоть какую-нибудь узду. Съ теченіемъ времени и эта возможность исчезла, и холопскій языкъ получилъ возможность всеильно раздаваться изъ края въ край, заражая атмосферу тлѣніемъ и посягая на человѣческіе мозги.

Съ своей стороны Крутицынъ крѣпче, нежели когда-нибудь, держалъ свое знамя. Онъ понималъ, что плошать не слѣдуетъ, потому что въ пестрое время на первомъ планѣ стоитъ значеніе минуты и возможность ее уловить. Въ первый разъ пришлось ему постичь истинный смыслъ слова: „борьба“, но, однажды сознавъ необходимость участія этого элемента въ человѣческой дѣятельности, онъ уже не остановился передъ нимъ, хотя, по обычаю всѣхъ ищущихъ душевнаго мира людей, принялъ его подъ другимъ наименованіемъ. Онъ называлъ борьбу отстаиваніемъ священныхъ вѣками интересовъ и съ гордостью говорилъ, что его нельзя смѣшивать съ толпою безпокойныхъ, которая занималась отысканіемъ какихъ-то новыхъ общественныхъ идеаловъ и формъ. Онъ, по преимуществу, дѣйствовалъ на мѣстныя правящія сферы: убѣждалъ, приглашалъ оставить опасный путь и идти объ руку по стезѣ благонамѣренности. Но если это не удавалось, то, выждавъ „минуту“, ѣхалъ въ Петербургъ и настаивалъ на своемъ. И такъ какъ выбранная минута была всегда такая, когда въ извѣстныхъ сферахъ было насчетъ благонамѣренности „твердо“, то жертвъ этой настойчивости оказывалось не мало.

Словомъ сказать, Крутицынъ былъ доволенъ, и среди „своихъ“ пользовался не только популяриностью, но и любовью. Несмотря на почти непреодолимыя трудности, онъ создалъ изъ своего уѣзда дѣйствительный оазисъ, въ которомъ послѣ эмансипаціи ни одинъ помещикъ не продалъ ни пяди занадѣльной земли, въ которомъ господствовалъ преимущественно сиротскій надѣлъ и уже зародились серьезные задатки крупнаго землевладѣнія. Даже мелкія сошки куда-то исчезли; остались только настоящіе столпы, кровные деревенскіе джентльмены, которые обѣдали въ своихъ семьяхъ во фракахъ и бѣлыхъ галстукахъ.

Хотя въ Петербургъ онъ пріѣзжалъ довольно часто, но со мной уже не видался. Повидимому дѣятельность моя была ему не по нраву, и хотя онъ не выражалъ по этому поводу своихъ мнѣній съ обычною въ такихъ случаяхъ ненавистью (все-таки старый товарищъ!), но въ глубинѣ души навѣрное причислялъ меня къ разряду неблагонадежныхъ элементовъ.

Отъ времени до времени мы видѣлись, но исключительно въ публичныхъ мѣстахъ, вполне случайно, и безъ разговоровъ расходились, пожавъ другъ другу руки. Впрочемъ о цѣляхъ его наѣздовъ въ столицу я почти всегда зналъ. Фамилія Крутицына пріобрѣла уже значительную извѣстность и встрѣчалась въ газетахъ наравнѣ съ фамиліями самыхъ горячихъ защитниковъ интересовъ консервативной партіи. Помнится, что онъ даже кой-что пописывалъ, хотя безъ особеннаго успѣха. Онъ значительно измѣнилъ свои прежнія убѣжденія относительно бюрократовъ, и соглашался, что при извѣстныхъ условіяхъ между интересами бюрократическими и сословными не только не существуетъ ни малѣйшей розни, но, напротивъ, первые споспѣшествуютъ вторымъ, а вторые оплодотворяютъ первые. Поэтому онъ относился съ довѣріемъ даже къ департаментскимъ столоначальникамъ. Онъ ходатайствовалъ, подавалъ записки, добивался участія въ разнообразныхъ комитетахъ и комиссіяхъ и уже не стоялъ исключительно на сословной почвѣ, но выказывалъ намѣреніе перейти на почву общегосударственную. — Сословная обезпеченность можетъ быть достигнута только при соответствующемъ устройствѣ всего государственнаго уклада, — настаивалъ онъ, и слова его, будучи, въ сущности, самымъ ординарнымъ общимъ мѣстомъ, считались мудрыми. Ему неоднократно предлагали мѣсто губернатора и даже выше, но



онъ на-отрѣзъ отказывался. Въ этомъ отношеніи онъ остался вѣренъ отцовскимъ „принципамъ“, и находилъ, что сословная честь требуетъ неизмѣнной преданности исключительно сословному знамени.

Раза два-три я встрѣчался съ нимъ за границей, преимущественно въ Эмсѣ, куда онъ отъ времени до времени ѣздилъ (всегда въ сопровожденіи жены), чтобы подлечить какую-то неисправность въ легкихъ. Здѣсь, благодаря полному досугу, онъ былъ менѣе сдержанъ и охотно возвращался къ дружескимъ собесѣдованіямъ. Разговоры наши впрочемъ не касались „знамени“, ни вообще внутренней политики, а вращались исключительно около кулинарныхъ интересовъ. Гдѣ лучше обѣдать: въ „Hôtel Vierjahreszeiten“ или въ кургаузѣ? А можетъ быть еще лучше—съ утра разузнавать по извѣстнымъ отелямъ, въ которомъ изъ нихъ предполагается наиболѣе подходящій обѣдъ? Крутицынъ отзывался о нѣмецкой кухнѣ не только безъ презрѣнія, какъ это дѣлаетъ большинство русскихъ гастрономовъ, но даже хвалилъ ее. И она, съ своей стороны, способствовала душевной ясности, перевариваясь легко безъ желудочныхъ переполюховъ.

— Во всякомъ обѣдѣ найдешь два-три блюда очень приличныхъ, — говорилъ онъ:— и притомъ такихъ, отъ которыхъ не чувствуется въ желудкѣ никакой тяжести. Все здѣсь такъ устроено, чтобы питаніе, безъ ущерба въ гастрономическомъ смыслѣ, не вредило леченію, но, напротивъ, содѣйствовало.

— Да, голубчикъ, огражденіе интересовъ желудка—это въ своемъ родѣ знамя, — поддакивалъ я ему.

— У насъ, гдѣ-нибудь во Владикавказѣ, непременно свининой отпотчуютъ или солониной накормятъ, а здѣсь даже menu въ табльд'отахъ составляется не иначе какъ подъ наблюденіемъ водяного комитета.

— Да, но вѣдь и свинина вкусна?..

— Вкусна—не спорю! но въ гигіеническомъ смыслѣ...

Стало быть, и въ кулинарномъ отношеніи онъ былъ счастливъ: желудокъ въ исправности!—Многіе этого блага съ дѣтскихъ лѣтъ добиваются, да такъ и сходятъ въ могилу съ желудочнымъ засореніемъ.

Сверхъ того, онъ былъ горячій поклонникъ Бисмарка и выражался о немъ:

— Это человѣкъ!

И въ этомъ я ему не препятствовалъ, хотя, въ сущности, держался совѣтъмъ другого мнѣнія о хитросплетенной дѣятельности этого своеобразнаго генія, запутавшаго всю Европу въ какія-то невылазныя тенѣта. Но свобода мнѣній—прежде всего, и мнѣ не безъ основанія думалось: вѣдь оттого не будетъ ни хуже, ни лучше, что два русскихъ досужихъ человѣка начнутъ препираться о качествахъ человѣка, который простеръ свои длани на востокъ и на западъ,—такъ пускай себѣ...

Повторяю: наши собесѣдованія были легкія, гигиеническія, и Крутицынъ былъ, повидимому, благодаренъ, что я не переносу ихъ на другую почву.

Однажды однакожь я не вытерпѣлъ и спросилъ его:

— Правда ли, что ты считаешь меня неблагонадежнымъ элементомъ?

— Mais puisque tu demandes cent milles têtes à couper!

— Фу ты!

Отвѣтъ его былъ нѣсколько придурковать, но такъ какъ онъ, видимо, былъ счастливъ, выказавъ нѣчто похожее на остроуміе, то я не возражалъ дальше. Счастье такъ счастье!—пусть выпиваетъ чашу ликованія до дна!

Нѣсколько разъ я порывался спросить его, чтò онъ дѣлаетъ въ „своемъ мѣстѣ“, и подвинулось ли хоть на вершокъ что-нибудь, вслѣдствіе его настояній, отстаиваній, ходатайствъ и вообще вслѣдствіе той сутолоки, которой онъ неустанно предается ради излюбленнаго „знамени“; но, предвидя тотъ же стереотипный отвѣтъ, который и прежде слыхалъ отъ него, воздержался.

Впрочемъ и за границей всегда такъ случалось, что постепенно наѣзжали на воды люди, связанные съ Крутицынымъ болѣе интимнымъ образомъ, нежели я, и тогда онъ незамѣтно исчезалъ для меня въ толпѣ „своихъ“.

Гораздо позднѣе я узналъ, что счастье его усугубилось: онъ позналъ свѣтъ истины. Молодость уже миновала (Крутицыну было подлѣ шестьдесятъ), да кстати подросъ и сынъ,—у него ихъ было двое, но младшій не особенно радовалъ,—которому онъ и передалъ изъ рукъ въ руки дорогое знамя, въ твердой увѣренности, что молодой человѣкъ будетъ держать его такъ же высоко и крѣпко, какъ держали

отець и дѣдъ. Самъ же Валерьянъ Сергѣичъ безповоротно заключился въ своемъ château и исключительно предался осѣвившему его душевному обновленію. Сначала онъ отдался спиритизму, потомъ сдѣлался ревностнымъ редстокистомъ, а наконецъ и самъ началъ кой-что придумывать. Сложится у него въ головѣ какой-нибудь произвольный афоризмъ — онъ и исповѣдуетъ его, не останавливаясь передъ самыми крайними выводами. Разказывали, что по вечерамъ въ обширномъ залѣ его château собирались домочадцы, начиная отъ жены, дѣтей, гувернантокъ и боня и кончая низшей прислугой. Ставился аналой; Крутицынъ надѣвалъ черную рясу, выбиралъ главу изъ евангелія и толковалъ ее, разумѣется, въ смыслъ излюбленнаго афоризма. Толкованія эти продолжались часъ и два; слушатели, конечно, не прекословили, а только вздыхали. И онъ былъ счастливъ безмѣрно.

Въ эпохи нравственнаго и умственнаго умаленія, когда реальное дѣло выпадаетъ изъ рукъ, подобныя фантасмагоріи совершаются нерѣдко. Не находя удовлетвореній въ дѣйствительной жизни, общество мечется на-удачу и въ изобиліи выдѣляетъ изъ себя людей, которые съ жадностью бросаются на призрачныя выдумки и въ нихъ обрѣтаютъ душевный миръ. Ни споры, ни возраженія тутъ не помогаютъ, потому что, повторяю, въ самой основѣ новоявленныхъ вѣроученій лежитъ не сознательность, и призрачность. Нуженъ душевный миръ — и только.

Нельзя даже съ увѣренностью сказать, какъ относятся сами выдумщики афоризмовъ къ своимъ выдумкамъ: сознаютъ ли они себя способными поддержать ихъ, или послѣднія приходятъ къ нимъ случайно и принимаются исключительно на вѣру. Скорѣе всего, въ этихъ случаяхъ наиболѣе рѣшительнымъ образомъ вліяетъ безпріютность жизни, умственная расшатанность и полное отсутствіе реальныхъ интересовъ. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, безсрочно удовлетворяться культомъ какого-то „знамени“, которое и само по себѣ есть не что иное, какъ призракъ, и продолжительное обращеніе съ которымъ можетъ служить только въ смыслѣ подготовки къ другимъ призракамъ. Поэтому переходъ отъ „знамени“ къ спиритизму, редстокизму и къ исповѣданію такихъ истинъ, какъ „уши выше лба не растутъ“ или „терпѣніе все преодолеваетъ“, вовсе не такъ неестественъ, какъ это кажется съ перваго взгляда...



Въ послѣдній разъ я видѣлся съ Крутицынымъ недавно. Я былъ уже во власти неизлечимаго и тяжкаго недуга, какъ онъ совершенно неожиданно навѣстилъ меня,

Пріѣхалъ онъ въ Петербургъ по крайнему случаю. Въ первый разъ въ жизни онъ испыталъ страшное горе: у него застрѣлился младшій сынъ, прекрасный и многообѣщавшій юноша, которому едва минуло восемнадцать лѣтъ.

Молодой человѣкъ не успѣлъ еще сойти со школьной скамьи, а въ существованіе его уже закралась двойственность. Повидимому, онъ не такъ легко, какъ отецъ и старшій братъ, принималъ на вѣру розказни о свойствахъ „знамени“, и та обязательность, съ которою послѣднія принимались въ родной семьѣ, сильно смущала его. Самъ ли онъ дошелъ до какихъ-то неясныхъ сомнѣній, или былъ наведенъ на нихъ постороннимъ вліяніемъ, — во всякомъ случаѣ, въ немъ совершился внезапный и рѣзкій переломъ. Онъ рано началъ анализировать свою жизнь, рано сталъ вглядываться въ ожидавшее его будущее, такъ что въ ту цвѣтущую пору, когда испытываются одніе радванія жизни, онъ былъ уже угрюмъ и нелюдимъ. За нѣсколько дней до катастрофы, онъ окончательно задумался и затосковалъ. Приходя по праздникамъ къ сестрѣ, онъ невпопадъ отвѣчалъ на дѣлаемые ему вопросы, забивался въ уголь и молчалъ. Страшно подумать, что въ восемнадцать лѣтъ жизнь можетъ опостылѣть и привести юношу исключительно къ тому, что онъ думаетъ только о томъ, какъ бы поскорѣе покончить расчеты съ нею. Но въ наше время господства призраковъ и этотъ беспощадный призракъ перестаетъ казаться противоестественнымъ. Скука и душевное утомленіе такъ велики, что даже возможность иныхъ, болѣе радужныхъ перспективъ въ будущемъ искушаетъ очень слабо. Лѣвушка Крутицынъ былъ мальчикъ нервный и впечатлительный: онъ не выдержалъ передъ мыслью о предстоящей семейной разногласіи и поспѣшилъ произнести судъ надъ укоренившимися въ семьѣ преданіями, пославъ себя вольную смерть.

Старикъ Крутицынъ глубоко измѣнился, и я полагаю, что перемѣна эта произошла въ немъ именно вслѣдствіе постигшаго его горя. Онъ погнулся, волочилъ ногами и часто вздрагивалъ; лицо осунулось, глаза впали и были мутны; волосы въ разпорядкѣ торчали во всѣ стороны: нижняя губа слегка обвисла и дрожала.

— Здоровья тебѣ принеси!—сказалъ онъ мнѣ, стараясь прибодриться:—еще не все для тебя кончено.

Онъ сѣлъ противъ меня, взялъ мои руки и, не выпуская ихъ, долго и пристально смотрѣлъ мнѣ въ глаза. И я увѣренъ, что въ эти минуты прошлое всецѣло пронеслось передъ нимъ, и онъ любилъ меня искренно, горячо.

Мы оба молчали. На этотъ разъ впрочемъ молчаніе было содержательнѣе, нежели самый содержательный разговоръ.

Наконецъ, вдоволь насмотрѣвшись, онъ всталъ и произнесъ:

— Ты, помнится, въ былое время спрашивалъ меня о результатахъ, какихъ я достигъ. Результаты—вотъ они! Дряхлая развалина и погибшій сынъ!

Съ этими словами онъ безнадежно-тоскливо покачалъ головой и, пошатываясь, пошелъ изъ комнаты.

Больше мы не видались.

## ИМЯРЕКЪ.

О. поле, поле, кто тебя  
Усыялъ мертвыми костями?..

Конецъ жизненнаго пути приближается... Онъ уже явственно мелькаетъ впереди, подобно тому, какъ передъ глазами путника, вышедшаго изъ лѣсной чащи, мелькаетъ сквозь рѣдколѣсье деревенское кладбище, охваченное рѣяньемъ смерти.

Имярекъ умираетъ.

Прародитель, лежа въ проказѣ на гноищѣ, у воротъ города, который видѣлъ его могущество, богатство и силу, навѣрное не страдалъ такъ сильно, какъ страдалъ Имярекъ, прикованный недугомъ къ покойному креслу, передъ письменнымъ столомъ, въ тепломъ кабинетѣ. Другія времена, другіе нравы, другія пѣсни.

Во-первыхъ, гноище въ то время совсѣмъ не представлялось такъ страшнымъ, какъ мы его живописуемъ. Вѣроятно это было нѣчто въ родѣ больницы. Заболѣетъ кто-нибудь проказой (тогда и болѣзней другихъ не было, кромѣ проказы):— „ахъ, несите его поскорѣе на гноище!“ — Снесутъ и предоставляютъ выздоравливать или умирать — какъ знаешь. Напротивъ того, нынче даже въ Калининскую больницу умирать не всякій идетъ. Гноищемъ сдѣлалась собственная квартира умирающаго, со всѣми удобствами и приспособленіями и даже съ сестрой милосердія для ухода. И за всѣмъ тѣмъ, это новое удобное гноище представляется намъ еще болѣе нестерпимымъ, нежели представлялось прародителямъ ихъ старое гноище.



Во-вторыхъ, не отъ одного развитія вкусовъ и требованій зависитъ увеличеніе суммы страданій, но и отъ того, что сами страдающіе организмы существенно измѣнились.

Прародитель имѣлъ организмъ первоначальный, непочатой; онъ не зналъ, что такое нервы, какія бываютъ болѣзни сердца, катарры легкихъ и т. п. Стало быть, физическія боли были легче переносимы, нежели теперь. Но въ особенности было для него выгодно отсутствіе болѣе нравственныхъ, отъ которыхъ его спасала присущій древнему міросозерцанію законъ предопредѣленія. Напротивъ того, — Имярекъ весь состоялъ изъ нервовъ; болѣзнь его заключалась въ нервномъ потрясеніи всего организма, осложненномъ и болѣзвью сердца, и катарромъ легкихъ, и проч. Словомъ сказать, цѣлая энциклопедія самыхъ жгучихъ болѣе поселилась въ немъ, держала скованнымъ и неотвязчиво сопровождала изо дня въ день. Прародитель могъ отлежаться на гноищѣ; придуть городскіе псы, залижутъ его раны — вотъ онъ и опять на ногахъ. Опять родной городъ дѣлается свидѣтелемъ его могущества, богатства и силы — до новой проказы. Имярекъ ничего подобнаго въ будущемъ не провидѣлъ, потому что и псовъ такихъ нынѣ нѣтъ, которые могли бы зализать тѣ раны, которыми онъ страдалъ. Правда, лампада его жизни еще не угасла, но она и не горѣла, а только чадила. Долго ли будетъ она продолжать чадить — этого онъ опредѣлить не могъ; но, по размышленіи, оказывалось, что гораздо было бы лучше, еслибы процессъ этотъ кончился какъ можно скорѣе.

Въ-третьихъ, прародитель вѣрилъ въ свою невинность и могъ утѣшать себя этимъ. „Меня, по крайней мѣрѣ, то облегчаетъ, — говорилъ онъ себѣ, — что я невиненъ!“ Имярекъ вообще не признавалъ ни виновности, ни невинности, а видѣлъ только извѣстнымъ образомъ сложившееся положеніе вещей. Это положеніе было результатомъ цѣлой хитросплетенной сѣти фактовъ, крупныхъ и мелкихъ, разобратъ въ которыхъ было очень трудно. Многіе изъ этихъ фактовъ прошли незамѣченными, многіе позабылись и, наконецъ, большинство хотя и было на виду, но спряталось такъ далеко и въ такихъ извилинахъ, что возстановить ихъ въ строгой логической послѣдовательности даже свободному отъ недуговъ человѣку было не легко. Чтобы измѣнить одну іоту въ этомъ положеніи вещей, надобно было употребить громадную массу усилій, а кромѣ того требовалась и масса времени. Цѣлую такую же жизнь нужно было мысленно пережить, да и

то, собственно говоря, существеннаго результата едва-ли бы можно было достигнуть. Нанесенное, въ минуту грубой запальчивости, физическое оскорбленіе такъ и осталось бы физическимъ оскорбленіемъ; сдѣланный въ незапамятныя времена пошлый поступокъ такъ и остался бы пошлымъ поступкомъ. Просто, рядъ обусловленныхъ фактовъ. А для прародителя даже фактовъ не существовало: до такой степени все въ его жизни было естественно, цѣльно, плавно и невинно.

Въ-четвертыхъ, прародитель надѣялся, что явится въ свое время „вихрь“ и разнесетъ всѣ недоразумѣнія, жертвою которыхъ онъ палъ. Онъ самъ не разъ былъ свидѣтелемъ появленія подобныхъ вихрей, видалъ ихъ собственными глазами. Имярекъ, воспитанный въ идеяхъ современнаго вольномыслія (не онъ одинъ, а *всѣ* въ этихъ идеяхъ воспитаны), относился къ „вихрямъ“ равнодушно, не помнилъ, чтобы когда-нибудь видѣлъ ихъ, а потому и надѣяться на ихъ появленіе не могъ. Онъ зналъ, что въ условленный часъ придетъ докторъ и что-нибудь пропишетъ. Настоящимъ образомъ это прописанное не избавитъ его отъ страданій, но сдѣлаетъ послѣднія менѣе жгучими, дастъ возможность дождаться слѣдующаго дня. На слѣдующій день Имярекъ получить другое средство, которое поможетъ дождаться еще слѣдующаго дня, и т. д. Вечеромъ, ложась спать, онъ будетъ думать: „черезъ семь часовъ опять утро, опять удручающій кашель, опять лекарство — хоть бы семь-то часовъ спокойно проспалъ!“ Утромъ, вставая съ постели, будетъ думать: „Вотъ и утро наступило! Ахъ, еслибы поскорѣе оно прошло!“ Затѣмъ — цѣлый день одиночества, унынія, тоски и наконецъ опять ночь. Зачѣмъ всѣ эти утра, дни и ночи смѣняются другъ друга? Что дальше? Все это такіе вопросы, которые прародителю и во снѣ не снились. А между тѣмъ въ нихъ-то именно и замыкается все мученіе потухающей жизни.

Имярекъ мало-по-малу вступилъ въ тотъ фазисъ болѣзненнаго существованія, когда людямъ здороваго міра представляется возможнымъ и даже естественнымъ оказывать человѣку всякаго рода пренебреженіе. Можно помнить о немъ, но можно и забыть; можно интересоваться его положеніемъ, но можно и не интересоваться; можно навѣстить его, но можно и не навѣстить. Самъ по себѣ человѣкъ утрачиваетъ всякую цѣну или сохраняетъ ее лишь въ той мѣрѣ, въ какой это удобно, для того или другаго лица. Идетъ мимо старый знакомый, гуляетъ: — А что, не зайти ли? — и зайдетъ.

— А вы какъ будто похудѣли?

— Еще бы! Сколько времени не видались!

— Представьте себѣ, а мнѣ кажется, точно вчера я васъ видѣлъ! Но при этомъ я долженъ сказать, что бывалъ бы у васъ чаще, да боюсь беспокоить!

— Ну, что ужъ...

— Да, похудѣли-таки вы. А все-таки, сравнительно съ прошлымъ годомъ—помните?—большой и даже очень большой успѣхъ! Ну, прощайте, я тороплюсь!

Возьметъ шляпу и уйдетъ. Но иногда и воротится.

— Да, чуть не забылъ вамъ рассказать, что у насъ въ сферахъ дѣлается... Умора!

— Не интересуется это меня.

— Не интересуется? Напрасно! Это васъ развлекало бы, дало бы пищу для вашей наблюдательности. Ну, такъ прощайте. Я, въ самомъ дѣлѣ, тороплюсь.

Метеоръ промелькнулъ и исчезъ. Только очень немногіе продолжаютъ видѣть въ Имярекѣ человѣка, болѣе нежели когда-либо нуждающагося въ сочувствіи. Но и у этихъ немногихъ—дѣла. Дѣла загромождали весь досугъ; не осталось ни одной свободной минуты. Онъ одинъ, Имярекъ, совсѣмъ свободенъ; для него одного предоставленъ безконечный досугъ, формулируемый словами: забвенье, скука, тоска.

На дворѣ конецъ ноября, но зимы еще нѣтъ. День продолжается всего четыре часа, да и то мутный, наводящій уныніе. Въ третьемъ часу зажигаютъ огни, а виѣстъ съ ними обостряется и тоска. Всѣ боли чувствуются вдвойнѣ; несмотря на безусловный покой, организмъ пораженъ усталостью. Пробуждается память прошлаго, припоминаются недавнія связи, недавняя возможность передвиженія, участія въ жизни. Встаютъ обиды, подозрительность, опасенія... Въ сущности, положеніе и безъ того безнадежно, но кажется, что завтра ему предстоитъ сдѣлаться еще болѣе безнадежнымъ. До какихъ поръ дойдетъ это ухудшеніе? Ужели до гноища?

Въ безконечные зимніе вечера, когда бѣлесоватія сумерки дня смѣняются черною мглою ночи, Имярекъ невольно отдается осаждающимъ его думамъ. Одиночество, или, точнѣе сказать, брошенность, на которую онъ обреченъ, заставляетъ его обратиться къ прошлому,



къ тѣмъ явленіямъ, которыя кружились около него и давили его своею массою. Чтò тамъ такое было? Къ чему стремились люди, которые проходили передъ его глазами, чего они достигали?

Въ отвѣтъ на эти вопросы, куда онъ ни обращалъ свои взоры, всюду видѣлъ мелочи, мелочи и мелочи... Сколько ни припоминалъ существованій, вездѣ на встрѣчу ему зіяло бессмысленное слово: „вотще“, которое разсѣвало окрестъ омертвѣніе. Жизнь стремилась въ даль безъ намѣченной цѣли, принося за собой не ослзательные результаты, а утомленіе и измученность. Словомъ сказать, это была не жизнь, а особаго рода косность, наполненная призрачною суетою, которой только ради установившагося обычая присваивалось наименованіе жизни.

Портретная галерея, выступавшая впередъ по поводу этихъ припоминаній, была далеко не полна, но дальше идти и надобности не предстояло. Сколько бы обликовъ ни выплыло изъ пучины прошлаго, всѣ они были бы на одно лицо, и разницу представили бы лишь подписи. Но не въ томъ сущность вопроса, что одна разновидность изнемогаетъ по-своему, а другая по-своему, а въ томъ, что всѣ онѣ одинаково только изнемогаютъ и одинаково тратятъ свои силы около крохъ и мелочей.

Старцы и юноши, люди свободныхъ профессій и люди ярма, люди бѣлой кости и чернь—все кружится въ одномъ и томъ же омутѣ мелочей, не зная, чтò собственно находится въ концѣ этой неусыпающей суеты, и какое значеніе она имѣетъ въ экономіи общечеловѣческаго прогресса.

Такова была среда, которая охватывала Имярека съ молодыхъ ногтей. Живя среди массы людей, изъ которыхъ каждый устраивался по-своему, онъ и самъ подчинялся общему закону разрозненности. Вмѣстѣ съ другими останавливался въ недоумѣніи передъ задачами жизни и не безъ унынія спрашивалъ себя:—ужели общее дѣло жизни въ томъ и состоитъ, что оно для всѣхъ одинаково отсутствуетъ?

Да, именно только въ этомъ. Разрозненность и отсутствіе живого дѣла, какъ содержаніе жизни; одиночество и брошенность—какъ вѣнецъ ея.

Гдѣ же найти основы для общежитія? Откуда взяться элементамъ для жизненныхъ результатовъ, для прогресса?

Гнетомый этими мыслями, Имярекъ ближе и ближе всматривался

въ свое личное прошлое и спрашивалъ себя: что такое „другъ“ и „дружба“ (этотъ вопросъ занималъ его очень живо — и какъ элементъ общезитія, и въ особенности потому, что онъ слишкомъ близко былъ связанъ съ его настоящимъ одиночествомъ)? Что такое представляетъ его собственная, личная жизнь? въ чемъ состояли идеалы, которыми онъ руководился въ прошломъ? и т. д.

Были ли когда-нибудь у него друзья? Кажется, что-то въ родѣ этого было. По крайней мѣрѣ, онъ помнитъ себя въ кругу живыхъ людей, связанныхъ съ нимъ общимъ трудомъ, общими жизненными волненіями? Даже теперь, въ томъ безусловномъ затишьѣ, которое охватило его со всѣхъ сторонъ, передъ нимъ вставали картины веселыхъ собесѣдованій и прочихъ упражненій, неразлучныхъ съ дружествомъ. Но этого мало: по временамъ прорывались и другіе, болѣе тонкіе, признаки дружества: выраженіе сочувствія къ его дѣятельности, образу мыслей, требованіе совѣта, постановка тревожащихъ совѣтъ вопросовъ... Ужели этого не достаточно, чтобы наполнить самое широкое опредѣленіе дружества?

Но, постепенно погружаясь въ болѣзненный мракъ, онъ мало-по-малу сталъ разбираться въ хассѣ понятій, бѣдшая часть которыхъ принимается и усваивается почти безъ всякой критики. Прежде всего онъ отдѣлилъ выраженія нравственнаго и умственнаго сочувствія, и рѣшилъ, что это явленіе совсѣмъ другого порядка, очень рѣдко соединяющееся съ понятіемъ о дружбѣ въ томъ смыслѣ, въ какомъ оно установилось для средняго уровня человѣческой жизни. Выраженія сочувствія могутъ радовать (а впрочемъ иногда и растравлять открытыя раны напоминаніемъ о безиліи), но они ни въ какомъ случаѣ не помогутъ тому интимному успокоенію, благодаря которому, покончивши и съ дѣятельностью, и съ задачами дня, можешь сказать: „Ну, слава Богу! я покончилъ свой день въ мирѣ!“ Таковую помощь можетъ оказать только „дружба“, съ ея предупредительнымъ вниманіемъ, съ обильнымъ запасомъ общихъ воспоминаній изъ далекаго и близкаго прошлаго, — однимъ словомъ, съ тѣмъ несложнымъ арсеналомъ теплаго участія, который не даетъ обильной духовной пищи, но несомнѣнно дѣйствуетъ ублажающимъ образомъ. Но что же, въ сущности, означаютъ выраженія: „другъ“, „дружба“?

Обращаясь къ фактамъ, Имярекъ пришелъ къ убѣжденію, что у насъ, по крайней мѣрѣ, дружба имѣетъ подкладку по преимуществу

матеріального свойства. Друзья должны быть, прежде всего, здоровы, веселы, хлѣбосольны. А тонкій вкусъ въ ѣдѣ и въ винахъ, умѣнье рассказывать анекдоты, оживлять общество легкой бесѣдой—скрѣпляютъ дружбу и сообщаютъ ей оттѣнокъ присутствія нѣкотораго подобія мысли. Еще болѣе скрѣпляютъ дружбу взаимныя одолженія. Н. помогъ Т. проникнуть въ какое-то учрежденіе; взаменъ того, Т. помогъ Н. купить по случаю пару лошадей. С. сбѣгаль для Ф. за справкой въ управу благочинія; Ф. за такой же справкой для С. въ коммерческой судъ. Никакого „образа мыслей“ тутъ не нужно; напротивъ, „образъ мыслей“ только мѣшаетъ, производитъ расколъ, раздоръ, смуту.

Обыкновенно „дружба“ начинается такъ. Встрѣчаются X. и Z. въ первый разъ у случайнаго знакомаго,—положимъ, хотя за обѣдомъ. X. въ этотъ день особенно въ ударѣ. Онъ сыплетъ остроуміемъ, рассказываетъ анекдоты, изъ которыхъ иные даже совсѣмъ новые. Хозяйка дома млѣетъ отъ ликованія; Z. превратился весь въ слухъ, даже ротъ разинулъ. Никогда время не шло такъ быстро, никогда обѣдъ не былъ такъ оживленъ. Хозяинъ мысленно говоритъ про X.: „вотъ настоящій другъ!“ Z. даетъ себѣ слово сойтись съ X. и залучить его на свои субботніе обѣды. На этихъ обѣдахъ тоже весело, даже „сцены изъ народнаго быта“ рассказываютъ—но все-таки не то, что нынче. И вотъ, улучивъ послѣ обѣда минуту, Z. подходитъ къ X.:

— Очень пріятно было бы познакомиться,—говоритъ онъ.

— Чтожъ, познакомимтесь.

— У меня по субботамъ обѣдцы бывають, такъ вотъ... Впрочемъ, я надѣюсь на дняхъ лично быть у васъ. Надѣюсь, что и жены наши...

— Чтожъ, и женъ одной веревочкой свяжемъ!—шутить X., уже провидя въ Z. будущаго друга.

Обмѣнялись визитами, сперва сами, потомъ жены, а наканунѣ одной изъ ближайшихъ субботъ X. получаетъ отъ Z. записку:

„Не пріѣдете ли завтра откушать запросто? Будутъ: тайный совѣтникъ Стрекоза, сенаторъ Чистописцевъ, нашъ общій другъ Сермягинъ и Иванъ Ѳедоровичъ Горбуновъ. Дамъ не будетъ, кромѣ жены, которая никого не стѣнитъ. Обѣдаемъ въ 6<sup>1/2</sup> часовъ“.

Уже съ самой закуски начинается „дружба“. Закуска велико-



лѣпная. Свѣжая икра, янтарный балыкъ, страсбургскій паштетъ, сыры, сельди, грибы, рыжички... Но недостаетъ... семги! Х. всего отвѣдываетъ, а нѣкотораго даже по два раза, но чувствуетъ, что чего-то недостаетъ. И, сознавая себя уже „другомъ“, безъ церемоніи обращается къ хозяину:

— Прекрасная у васъ икра, да и вообще закуска... Но кабы ваша милость была сѣмужкой попотчевать...

— Семги!—воскликаетъ встревоженный хозяинъ, и съ нѣмымъ укоромъ смотритъ на жену:—Эй, Родивонъ! живо!

Таковы начальныя основанія истинной „дружбы“.

Отдается приказаніе, бѣгутъ сломя голову въ ближайшую бакалейную лавку—и черезъ пять минутъ семга уже на столѣ. Сочная, розовая, тающая... масло! Словомъ сказать, сразу пріобрѣтается для дружбы такой фундаментъ, котораго никакіе ураганы не разрушатъ!

Были ли у Имярека такіе друзья? Былъ ли онъ самъ такимъ другомъ? Конечно, былъ, но чего-то какъ будто недоставало. Быть можетъ, именно сѣмужки. Онъ былъ когда-то здоровъ, но никогда настолько, чтобы быть настоящимъ другомъ. Онъ бывалъ и веселъ, но опять не настолько, сколько требуется отъ „друга“. Анекдотовъ онъ совсѣмъ не зналъ, гастрономомъ не былъ, въ винахъ понималъ очень мало. Жилъ какъ-то особнякомъ, имѣлъ „образъ мыслей“ и даже въ манерахъ сохранилъ нѣчто рѣзкое, несомвѣстное съ дружелюбіемъ.

Ясно, что еслибы и могли, при такихъ условіяхъ, образоваться зачатки дружбы, то они не долго бы устояли въ виду такого испытанія, какъ тяжелая, безнадежная болѣзнь.

— Ну-съ, прощайте! тороплюсь!—повторялъ онъ мысленно обычный посѣтительскій припѣвъ, и это было самое большее, на что онъ могъ въ настоящее время разсчитывать, съ точки зрѣнія дружества.

Говорятъ, будто и умственный интересъ можетъ служить связующимъ центромъ дружества; но вѣроятно это водится гдѣ-нибудь индѣ, на „теплыхъ водахъ“. Тамъ существуетъ общее дѣло, а стало-быть есть и присущій ему общій умственный интересъ. У насъ все это въ зачаточномъ видѣ. У насъ умственный интересъ, лишенный интереса бакалейнаго, представляется символомъ угрюмости, безпокойнаго нрава и отчужденности. Понятно, что и дружелюбіе наше не можетъ имѣть иного характера, кромѣ бакалейнаго.

Затѣмъ Имярекъ подвергалъ анализу самую жизнь свою. Была ли эта жизнь такова, чтобы притягивать къ себѣ людей даже въ годину испытанія? Въ чемъ состояло ея содержаніе?

Какіе она дала результаты?

Увы, на всѣ эти вопросы онъ могъ дать отвѣты очень и очень сомнительнаго свойства..

Жизнь его была заурядная, сѣрая жизнь человѣка, отдавашаго себя извѣстной спеціальности. Онъ былъ писатель по природѣ (съ самыхъ юныхъ лѣтъ онъ тяготѣлъ къ литературѣ), но ничего выдающагося не произвелъ и не „жегъ глаголомъ сердца людей“. Правда, что въ каждой строкѣ, имъ написанной, звучало убѣжденіе, — такъ, по крайней мѣрѣ, ему казалось, — но убѣжденіе это, привлекая къ нему симпатіи однихъ, въ то же время возбуждало ненависть въ другихъ. Симпатіи утопали въ глубинахъ читательскихъ массъ, не подавая о себѣ голоса, а ненависть металась во-очію, громко провозглашая о себѣ и посылая на встрѣчу угрозы. Около ненависти группировалась и обычная апатія средняго человѣка, который не умѣетъ ни любить, ни ненавидѣть, а поступаетъ съ такимъ расчетомъ, чтобы въ его жизнь не вкралось недоумѣніе или неудобство. Такое сомнительное содержаніе жизни Имярека должно было дать и соответственныя результаты. А именно: въ смыслѣ общественнаго вліянія — полная неизвѣстность; въ смыслѣ личной жизни — оброшенность, пренебреженіе, почти поруганіе.

Имярекъ припоминалъ имена лицъ, бывшихъ когда-то близкими ему, — и почти всюду встрѣчалъ хоть намеки на обстановку. Его же личная обстановка имѣла названіе: оброшенность. Да, есть извѣстная категорія дѣятелей (литературныхъ и иныхъ), которые никакого другаго результата и достигнуть не могутъ. Недаромъ Некрасовъ называлъ „блаженнымъ“ удѣлъ незлобиваго поэта, но и не даромъ онъ предпочелъ остаться вѣрнымъ „музѣ мести и печали“. Послѣдняя вноситъ въ жизнь извѣстный ореолъ, который самой оброшенности можетъ сообщить характеръ гордости и силы. Но вѣдь на повѣрку все-таки выходитъ, что человѣкъ, даже осіянный ореоломъ, не перестаетъ быть обыкновеннымъ среднимъ человѣкомъ, и въ концѣ концовъ ищетъ теплаго дружескаго слова, пожатія дружеской руки. Отсутствіе этихъ признаковъ среднечеловѣческаго существованія дѣй-

ствуешь такъ удручающе, что многихъ, несомнѣнно сильныхъ, заставляетъ отступать.

Къ счастью, Имярекъ, по самой природѣ, своей, по всему складу своей жизненной дѣятельности, не могъ не остаться вѣрнымъ той музѣ, которая, однажды озаривъ его существованіе, уже не оставляла его. У него и другихъ словъ не было, кромѣ тѣхъ, которыя охарактеризовали его дѣятельность, такъ что еслибы онъ даже хотѣлъ сказать нѣчто иное, то запутался бы въ своихъ усиліяхъ. Одного бы не досказалъ, въ другомъ перешелъ бы за черту, и въ концѣ концовъ еще болѣе усилилъ бы раздраженіе.

Какіе же были идеалы, которые онъ лелѣялъ въ теченіе своей жизни? Увы! Въ этомъ отношеніи онъ развивался очень медленно и трудно.

Еще въ ранней молодости онъ уже былъ идеалистомъ; но это было скорѣе сонное мечтаніе, нежели сознательное служеніе идеаламъ. Глядя на вожаковъ, онъ называлъ себя фурьеристомъ, но, въ сущности, смѣшивалъ въ одну кучу и сенъ-симонизмъ, и икаризмъ, и фурьеризмъ, и скорѣе всего примыкалъ къ сенъ-симонизму. Въ особенности его плѣняла Жоржъ-Зандъ въ своихъ первыхъ романахъ. Онъ зачитывался ими до упоенія, находилъ въ нихъ неисчерпаемый источникъ той анонимной восторженности, которая чаще всего лежитъ въ основаніи юношескихъ вѣрованій и стремленій. Были слова (добро, истина, красота, любовь), которыя производили чарующее дѣйствіе, которыя онъ готовъ былъ повторять безчисленное множество разъ, и слушая которыя былъ безконечно счастливъ. Еслибы отъ него требовали наполнить эти слова содержаніемъ, онъ удивился бы—до того они представлялись ему несомнѣнными и обязательными, до того его прельщала самый звукъ ихъ.

Но, повторяю, это было лишь сонное видѣніе, которое впрочемъ не мѣшало жить, „какъ другіе живутъ“ (дѣло было въ самый разгаръ крѣпостного права и обязательной бюрократической дѣятельности), и которое разсѣялось при первомъ же столкновеніи съ дѣйствительностью. Столкновеніе это не замедлило.

По обстоятельствамъ, онъ вынужденъ былъ оставить среду, которая воспитала его радужныя сновидѣнія, товарищей, которые вмѣстѣ съ нимъ предавались этимъ сновидѣніямъ, и поселиться вглубь провинціи. Тамъ прежде всего его встрѣтило совершенное отсутствіе



сновидѣній, а затѣмъ въ его жизнь шумно вторглась цѣлая масса мелочей, съ которыми волей-неволей приходилось считаться.

Юношескій угар соскользнулъ быстро. Понятіе о злѣ съузилось до понятія о лихоимствѣ, понятіе о лжи — до понятія о подлогѣ, понятіе о нравственномъ безобразіи — до понятія о безпробудномъ пьянствѣ, въ которомъ погрязало мѣстное чиновничество. Въмѣсто служенія идеаламъ добра, истины, любви и проч. — предсталъ идеаль служенія долгу, буквѣ закона, принятымъ обязательствамъ и т. д.

Отдѣлялъ ли въ то время Имярекъ государство отъ общества — онъ не помнитъ; но помнитъ, что подкладка, осѣвшая въ немъ вслѣдствіе недавнихъ сновидѣній, не совсѣмъ еще была разорвана, что она оставила по себѣ два существенныхъ пункта: быть честнымъ и поступать такъ, чтобы изъ этого выходила наибольшая сумма общаго блага. А чтобы облегчить достиженіе этихъ задачъ на аренѣ обязательной бюрократической дѣятельности, — явилась на помощь и цѣлая своеобразная теорія.

Сущность этой теоріи заключалась въ томъ, чтобы практиковать либерализмъ въ самомъ капищѣ анти-либерализма. Съ этою цѣлью предполагалось намѣтить покладистое вліятельное лицо, прикинуться сочувствующимъ его предначертаніямъ и начинаніямъ, сообщить послѣднимъ легкій либеральный оттѣнокъ, какъ бы исходящій изъ нѣдръ начальства (всякій мало-мальски учтивый начальникъ не прочь отъ либерализма), и затѣмъ, взявъ облюбованный субъектъ за носъ, водить его за оный. Теорія эта, въ шутовскомъ русскомъ тонѣ, такъ и называлась теоріей вожденія вліятельнаго человѣка за носъ, или, учтивѣе: теоріей приведенія вліятельнаго человѣка на правый путь.

Въ оправданіе этой теоріи приводилось то соображеніе, что вся исторія русскаго прогресса шла именно такимъ путемъ. Либераль прикидывался выполняющимъ предначертанія и затѣмъ сообщалъ этимъ предначертаніямъ тотъ смыслъ, который признавался наиболѣе полезнымъ. Не нужно дразнить, — напротивъ, нужно сглаживать. Не нужно выставлять впередъ свою инициативу, а, напротивъ, дѣлать видъ, что самъ проникаешься начальственной инициативой. Тогда мало-помалу образуется въ облюбованномъ человѣкѣ привычка либерализма, исчезнетъ страхъ передъ либеральными словами — и въ результатѣ получится прогрессъ.

Все въ этой теоріи казалось такъ ясно, удободостижимо и, вмѣстѣ

съ тѣмъ, такъ изобильно непосредственными результатами, что Имярекъ всецѣло отдался ей. Провинція опутала его сѣтями своей практики, которая даже и въ наши дни удѣляетъ не слишкомъ много мѣста для идеаловъ иной категоріи. Идеаль вожденія за носъ былъ какъ разъ ей по плечу. Онъ не требуетъ ни борьбы, ни душевнаго горѣнія, ни жертвъ—одной только ловкости.

Имярекъ ничего этого не замѣчалъ. Ему предстояла дѣятельность, наполненная такими кипучими насущными подробностями, за которыми исчезала всякая руководящая нить. Дѣло сводилось къ личностямъ; порядокъ вещей ускользалъ изъ вида. Казалось, что преуспѣяніе пойдетъ шибче и дѣйствительнѣе, ежели становаго Зябликова замѣнить становой Синицынъ. Синицынъ менѣе нахаленъ. Онъ не станетъ набрасываться, какъ волкъ, на обывателей, не наполнить стана гамомъ скверныхъ словъ. Онъ будетъ имѣть въ виду начальственныя требованія и поставить себѣ въ обязанность проводить начальственную мысль. А ежели Синицынъ не оправдаетъ довѣрія, то можно и его смѣнить. Тѣмъ временемъ Зябликовъ, наголодавшись и наголодавшись въ отставкѣ, раскается и явится какъ разъ кстати, чтобъ замѣнить Синицына.

Переливая такимъ образомъ изъ пустого въ порожнее, Имярекъ совсѣмъ забылъ о критической оцѣнкѣ новоявленной теоріи. А между тѣмъ это было далеко не лишнее. Независимо отъ того, что намѣченные носы не всегда охотно подчинялись операціи вожденія, необходимо было, однажды вступивъ на стезю уступокъ, улаживаній и урѣзываній, поступаться болѣе цѣльными убѣжденіями, измѣнять имъ. „Носы“ подозрительны и требуютъ, чтобы вожаки отдавались имъ всецѣло, такъ сказать, не отлучались отъ нихъ. Чуть замѣшивалась въ этотъ двойственный союзъ третья, не вполне подходящая, личность—и процессъ вожденія за носъ прекращался самъ собой. Вообще предпріятіе было скучное, хлопотливое, тяжелое. Приходилось слушать неумныя рѣчи, намеки, укоры, приходилось сознавать, что, въ сущности, господиномъ положенія остается все-таки „носъ“, а вожакъ состоитъ при немъ лишь въ роли приспѣшника, чуть не лакея. Но тяжелѣе всего было то, что какъ ни своди дѣло къ личностямъ—изъ-за послѣднихъ все-таки выскакивалъ „порядокъ вещей“, а тутъ уже прямо выказывалась полная несостоятельность усвоеннаго идеала. Не съ Зябликовыми и Синицынами можно достигнуть даже

того скуднаго результата, который первоначально мелькалъ въ перспективѣ. Зябликовы и Синицины настолько неразвиты, забиты и пьяны, что даже не могутъ понять, что отъ нихъ требуется какой-нибудь результатъ.

Таковъ былъ первый фазисъ теоретическихъ блужданій, среди которыхъ въ теченіе многихъ лѣтъ вращалась жизнь Имярека. Очевидно, это былъ фазисъ будничныи, заурядный, свойственный каждому шустрому канцеляристу.

Затѣмъ Имярекъ вновь очутился въ центрѣ „большой дѣятельности“ (въ отличіе отъ малой, провинціальной). Это было время, когда всѣ носы, и водящіе, и водимые, смѣшались, когда мертвые встали изъ гробовъ и ринулись на встрѣчу проглянувшему лучу свѣта. Вмѣстѣ съ другими потянулся къ лучу и Имярекъ.

Эпоха возрожденія была довольно продолжительна, но она шла такъ неровно, что трудно было формулировать сколько-нибудь опредѣленно сущность ея. Возрожденіе—и рядомъ несомнѣнные шаги въ сторону и назадъ. Движеніе—и рядомъ застой. Надежды—и рядомъ отсутствіе всякихъ перспективъ. Ни положительные, ни отрицательные элементы не выяснялись настолько, чтобы можно было сказать, какіе изъ нихъ имѣли преобладающее значеніе въ обществѣ. Мало этого: представлялось достаточно признаковъ для подозрѣнія, что отрицательные элементы восторжествуютъ, что на ихъ сторонѣ и соблазнъ, и выгода. Къ чести Имярека должно сказать, что онъ не уступилъ соблазнамъ, а остался вѣренъ возрожденію, движенію и надеждамъ.

Это было самое кипучее время его жизни, время страстной полемики, усиленной литературной дѣятельности, переходовъ отъ расцвѣтанія къ увяданію и проч. Во всякомъ случаѣ, не чувствовалось той пошлости, того разсудительнаго тупоумія, которое преслѣдовало его по пятамъ въ провинціи.

Лозунгъ его въ то время выражался въ трехъ словахъ: свобода, развитіе и справедливость. Свобода—какъ стихія, въ которой предстояло воспитываться человѣку; развитіе—какъ неизбѣжное условіе, безъ котораго никакое начинаніе не можетъ представлять задатковъ жизненности; справедливость—какъ мѣрило въ отношеніяхъ между людьми, такое мѣрило, за чертою котораго должны умолкнуть всѣ дальнѣйшія притязанія.



Тогда онъ былъ здоровъ, общителенъ и дѣятеленъ. Онъ и не подозревалъ, что будущее готовитъ ему оброшенность . . . . .

И вотъ теперь, скованный недугомъ, онъ видитъ передъ собой призраки прошлаго. Все, что наполняло его жизнь, представляется ему сновидѣніемъ. Что такое свобода—безъ участія въ благахъ жизни? Что такое развитіе—безъ ясно намѣченной конечной цѣли? Что такое справедливость, лишенная огня самоотверженности и любви?

Слова, слова и слова...

Онъ чувствуетъ, что сердце его горитъ, и что онъ пришелъ къ цѣли поисковъ всей жизни, что только теперь его мысль установилась на стезѣ правды...

Онъ простираетъ руки, ищетъ отклика, онъ жаждетъ идти, возглашать...

И сознаетъ, что сзади у него повисъ ворохъ крохъ и мелочей, а впереди—ничего, кромѣ одиночества и оброшенности...





II.

СБОРНИКЪ

[1869—1879 гг.]





### Сонъ въ лѣтнюю ночь.

Юбилей удался какъ нельзя лучше. Сначала юбиляръ былъ сконфуженъ и даже прослезился, но наконецъ (нужно думать, что онъ уже окончательно былъ подъ вліяніемъ торжества) до того освоился съ своимъ положеніемъ, что обратился къ чествующимъ и во всеуслышаніе произнесъ: „Господа! благодарю васъ! но думаю, что еслибы вы потрудились взглянуть въ ревизскія сказки любой деревни, то нашли бы множество людей, которые если не больше, то по крайней мѣрѣ столько же, какъ и я, заслужили право быть чествуемыми. И слѣдовательно, всѣ эти юбилей“...

И такъ далѣе. Затѣмъ юбиляръ зарыдалъ, и многимъ послышалось, что онъ сквозь всхлипыванія произнесъ слово: „наплевать!“ Послѣ чего мы разошлись по домамъ.

Впрочемъ, за исключеніемъ этой маленькой неловкости, все шло какъ по маслу.

Юбилей, о которомъ шла рѣчь, былъ устроенъ нами въ честь нашего департаментскаго помощника экзекутора (кажется, что онъ въ то же время пользовался титуломъ главноуправляющаго клозетами). Нынче вообще въ ходу юбилей. Сначала праздновали юбилей генераловъ, отличавшихся въ побѣдахъ neodолѣніемъ; потомъ стали праздновать юбилей дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ, выказавшихъ неустрашимость въ перемѣщеніяхъ и увольненіяхъ; а наконецъ дошла до насъ вѣсть, что департаментъ всеобщихъ умопомраченій съ успѣхомъ отпраздновалъ юбилей своего архиваріуса. Вотъ тогда-то мы, чиновники департамента препонъ, и рѣшили: немедленно привлечь

къ отвѣтственности по юбилейной части почтеннѣйшаго нашего помощника экзекутора, Максима Петровича Севастьянова.

Севастьяновъ, по правдѣ сказать, совсѣмъ даже позабылъ, что 15-го іюля 1875 года минетъ пятьдесятъ лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ облаченъ въ виць-мундиръ министерства препоны и неудовлетвореній, и тридцать — съ той минуты, какъ онъ довѣриемъ начальства былъ призванъ на постъ помощника экзекутора, къ обязанности котораго главнѣйшимъ образомъ относился надзоръ за исправнымъ содержаніемъ департаментскихъ клозетовъ. Для него было, въ сущности, все равно, что пять, что пятьдесятъ лѣтъ, ибо клозеты, или замѣняющія ихъ установленія, одинаково существовали какъ въ первое пятилѣтіе его государственной дѣятельности, такъ и въ послѣднее. Онъ даже не понималъ, точно ли онъ когда-нибудь *первый разъ* надѣлъ на себя виць-мундиръ, и не былъ ли онъ облаченъ въ него въ тотъ достопамятный день, когда сенатскій регистраторъ Морковниковъ и жена корабельнаго секретаря Огурцова воспринимали его отъ купели. Севастьяновъ былъ старикъ угрюмый и застѣнчивый, на лицѣ котораго было, такъ сказать, неизгладимыми чертами изображено, что онъ выросъ въ уединеніи клозета. Въ справедливости этой мысли въ особенности удостовѣряло то, что онъ весь, т. е. всѣ незакрытыя части его тѣла, поросъ волосами, такъ что издали онъ казался какъ бы подернутымъ плесенью сырого мѣста. Волоса выступали у него на выпуклостяхъ щекъ, на пальцахъ, закрывали почти весь лобъ; вылѣзали изъ носа и изъ ушей; а борода его даже въ тѣ дни, когда онъ ее брилъ, была синяя-пресиняя. Лицо у него было пепельнаго цвѣта, глаза больные, слезящіеся, какъ у человѣка, давно отвыкшаго отъ дневнаго свѣта. Такъ что когда ему сказали, что въ честь его готовится юбилей, то онъ смутился и покраснѣлъ. Да, говоря по совѣсти, и было отъ чего покраснѣть; ибо тридцатилѣтіе его состоянія въ должности помощника экзекутора какъ разъ совпадало съ тридцатилѣтіемъ же реформы клозетовъ въ департаментѣ препоны (кажется, что по этому поводу даже и самая должность его была учреждена).

Заручившись согласіемъ предполагаемаго юбиляра, мы отправили депутацію къ директору департамента, который не только одобрилъ наше намѣреніе, но даже обѣщалъ къ серединѣ обѣда прислать поздравительную телеграмму. Съ своей стороны, вице-директоръ за-



явилъ, что лично приметъ участіе въ юбилейномъ торжествѣ и пригласить къ тому же всѣхъ начальниковъ отдѣленій. Тогда, на живую руку, былъ составленъ краткій церемоніаль слѣдующаго содержанія:

1. 15-го сего іюля имѣеть исполниться пятьдесятъ лѣтъ со времени состоянія помощника экзекутора департамента препоны, Максима Петровича Севастьянова, на службѣ въ офицерскихъ чинахъ. Въ ознаменованіе сего событія устраивается обѣденное торжество въ одной изъ залъ Палкинскаго трактира (на углу Владимірской и Невскаго проспекта).

2. Чины департамента препоны, съ вице-директоромъ во главѣ, въ 5 часовъ по-полудни, соберутся въ общемъ залѣ Палкинскаго трактира и будутъ тамъ ожидать виновника торжества.

3. Когда юбиляръ прибудетъ, то вице-директоръ, подавъ ему руку, поведетъ въ предназначенный для торжества залъ, гдѣ участниковъ будетъ ожидать роскошно сервированный столъ.

4. По вступленіи въ залъ, приступлено будетъ къ закускѣ, а по удовлетвореніи первыхъ позывовъ аппетита, вице-директоръ предложитъ юбиляру за обѣденнымъ столомъ президентское мѣсто, самъ же сядетъ по правую его руку.

5. По лѣвую руку юбиляра займутъ мѣсто старшій изъ начальниковъ отдѣленій, а напротивъ — экзекуторъ, какъ непосредственный юбиляра начальникъ, лицо котораго, тоже не чуждое клозетовъ, должно непрестанно напоминать виновнику торжества объ истинномъ характерѣ его заслугъ на пользу отечества. Прочіе члены займутъ за столомъ мѣста по пристойности.

6. Во время обѣденнаго торжества имѣютъ быть предлагаемы тосты, произносимы рѣчи и прочитываемы поздравительныя телеграммы, причемъ однакожь изъ пушекъ палимо не будетъ.

7. По окончаніи обѣда, участвующіе въ торжествѣ перейдутъ въ сосѣдній залъ, гдѣ имъ будутъ предложены кофе, чай и ликеры. Съ этой минуты торжество принимаетъ характеръ семейный и правила какого бы то ни было церемоніала перестаютъ быть обязательными.

Сверхъ того были приняты мѣры, чтобъ изъ провинцій, отъ подчиненныхъ мѣстъ и лицъ, присланы были ко дню юбилея поздравительныя телеграммы.

Повторяю: юбилей состоялся на славу. Юбиляръ возсѣдалъ на

президентскомъ мѣстѣ, вице-директоръ—по правую руку его и т. д. Послѣ ботвиньи прочтенъ былъ адресъ отъ имени департаментскихъ чиновниковъ, въ которомъ однакожь о клозетахъ не упоминалось, а говорилось о дѣятельномъ участіи юбиляра въ великой реформѣ замѣны курьерскихъ телѣжекъ пролѣтками. По выслушаніи этого адреса, вице-директоръ всталъ съ своего мѣста и торжественно провозгласилъ, что вмѣсто громкихъ словъ онъ публично цѣлуетъ любезнаго виновника торжества, желая тѣмъ заявить, что начальство никогда не оставалось равнодушнымъ къ его служебнымъ подвигамъ. Затѣмъ, по мѣрѣ разнесенія блюдъ, прочитываемы были поздравительныя телеграммы. Телеграмма директора департамента гласила: „Поздравляю любезнаго старичка и надѣюсь, что усерднымъ исполненіемъ обязанностей онъ и впредь не вынудитъ меня къ принятію противъ него мѣръ строгости. Директоръ Дуботолкъ-Увольняевъ“. Телеграмма изъ Конотопа выражалась: „Поднимаю бокаль за здоровье дорогого юбиляра. Увы! вотъ уже два дня, какъ нашъ прекрасный Конотопъ горитъ. Начальникъ конотопскихъ препонъ Свирѣповъ“. Телеграмма изъ Лаишева: „Съ бокаломъ въ рукѣ шлю привѣтъ почтеннѣйшему Максиму Петровичу. Вчера сгорѣла половина Лаишева. Исправляющій должность начальника лаишевскихъ препонъ, помощникъ его Гвоздилло“. Телеграмма изъ Обояни: „Одинъ-на-одинъ съ бокаломъ вина возглашаю ура и многая лѣта высокочтимому юбиляру. Сегодня съ утра здѣсь свирѣпствуетъ пожаръ; до сихъ поръ сгорѣло около ста домовъ. Извѣстный вамъ Скулобоевъ“. А подъ самый конецъ обѣда пришла телеграмма изъ Θεодосіи, которая удивила всѣхъ своею загадочностью и именемъ подписавшагося подъ нею. Содержаніе ея было слѣдующее: „При отличнѣйшей погодѣ (сичу въ одной рубашкѣ), въ виду плещущаго моря, съ бокаломъ въ рукахъ, восклицаю: да здравствуетъ! и никогда да не погибнетъ! Здравствуйте, почтеннѣйшій Максимъ Петровичъ! никогда не забуду вашего содѣяствія по доставленію мнѣ драгоцѣннѣйшихъ матеріаловъ къ исторіи русскихъ клозетовъ, первый корректурный листъ которой уже лежитъ передо мною. Пишу вашу біографію и помѣщу ее въ приготовляемомъ мною сборникѣ біографій отличнѣйшихъ русскихъ людей. Два выпуска готовы. *Подписалъ*: Вѣдровъ, старый воробей, одинъ изъ тѣхъ (спасшійся чудомъ), къ хвостамъ коихъ великая княгиня Ольга (вспомните тропарь, который 11-го іюля поютъ) привязала

зажженный трутъ и такимъ образомъ сожгла древній Коростень. За телеграмму уплачено изъ моей собственности восемь рублей, кои благоволите въ непродолжительномъ времени возвратить“.

— Такъ вотъ вы съ какими знаменитостями знакомство ведете? — пошутилъ вице-директоръ, когда была прочтена замысловатая телеграмма.

— А много-таки этому господину Вёдрову лѣтъ! — замѣтилъ старѣйшій изъ начальниковъ отдѣленія.

Начали считать, сколько прошло лѣтъ со времени сожженія Коростеня, но какъ учебника русской исторіи г. Погодина подъ руками не было, то ничего опредѣлительнаго сказать не могли.

— Старъ-старъ, а какъ былъ воробей, такъ воробьемъ и остался! — со вздохомъ сказалъ экзекуторъ.

Замѣчаніе это вызвало сначала общій смѣхъ, а потомъ и серьезныя размышленія о томъ, чѣмъ достославнѣе быть: старымъ ли воробьемъ, или молодымъ, да орломъ. И такъ какъ во время этого орнитологическаго разговора вице-директоръ постоянно дѣлалъ иносказательныя движенія руками (какъ бы расправляя молодя крылья), то было рѣшено, что удѣлъ молодого орла достославнѣе, нежели удѣлъ стараго воробья, хотя бы послѣдній былъ и изъ тѣхъ, которыхъ на мякинѣ не обманешъ.

— Сколько я на свѣтѣ ни живу — ни одного путнаго воробья на своемъ вѣку не видѣлъ! — сказалъ экзекуторъ: — сюда порхнетъ — клюнетъ... туда порхнетъ — клюнетъ... клюнетъ и чирикнетъ, словно и нивѣсть какое добро нашель! А чтобы основательное что-нибудь затѣять — никогда! Я даже такъ думаю, что онъ и самъ не разумѣеть, что клюетъ и объ чемъ чирикаеть?

Такой судъ надъ воробьями всѣ нашли справедливымъ, и, дабы подтвердить это заключеніе самымъ дѣломъ, сейчасъ провозгласили здоровье вице-директора, который въ отвѣтъ окончательно расправилъ крылья и обнялъ юбиляра.

Наконецъ обѣдъ кончился, и участники торжества перешли, согласно церемоніалу, въ другой залъ, гдѣ ихъ ожидали чай, кофе и ликёры. Тутъ, чувствуя себя уже достаточно выпившими, всѣ единодушно приступили къ юбиляру съ просьбой, чтобъ онъ поразсказалъ кое-что изъ видѣннаго и слышаннаго имъ въ теченіе многолѣтней служебной карьеры. Нѣкоторое время юбиляръ находился въ недоумѣ-



ни, какъ бы спрашивая себя: да что же бы я однако могъ видѣть и слышать? Но потомъ, сдѣлавши надъ собой нѣкоторое усиліе, онъ отыскалъ въ памяти нѣсколько очень интересныхъ воспоминаній, которыми и подѣлился съ нами.

— Скажу вамъ, господа, — такъ началъ онъ: — что всѣ мои начальники были, такъ сказать, на одно лицо: всѣ — генералы и всѣ начальники. Одно только отличіе вижу: прежнее начальство какъ будто проще было, а потомъ чѣмъ дальше, тѣмъ все больше и больше ожесточалось.

— Надѣюсь однакожь, любезнѣйшій, что замѣчаніе ваше не отнесится до нынѣшняго начальства? — перебилъ вице-директоръ, нѣсколько обиженный этимъ вступленіемъ.

— Про нынѣшнее начальство, ваше превосходительство, сказать ничего не могу, но вообще — это дѣйствительно, что въ старину начальники были обходительнѣе.

— Очень любопытно. Напримѣръ, генераль-маіоръ Безпортошный-Волкъ? ха-ха! — иронически замѣтилъ вице-директоръ.

— Ваше превосходительство! по человѣчеству-съ! — нимало не робѣя, возразилъ почтенный юбиляръ: — конечно, они словами не дорожили: какое слово первое попадетъ на языкъ, то и выкинуть, — да вѣдь тогда это въ модѣ было. И на парадахъ, и на смотрахъ, вездѣ эти слова допускались-съ! За то, когда, бывало, опять въ свой видъ войдутъ, то даже очень обходительны были. Скажу, наприимѣръ: любили они, этотъ самый генераль Безпортошный-Волкъ, спину себѣ чесать, а объ стѣну неловко-съ: неравно мундиръ замазываютъ. Вотъ и кликнуть, бывало: „Севастьяновъ! встань, братецъ!“ Ну, встанешь-это, они прислонятся къ плечу, свое дѣло потихоньку объ косякъ справятъ... гдѣ, смѣю спросить, такого обхожденія нынче същешь? А что я истинную правду говорю, такъ вотъ Анисимъ Иванычъ (эксекунторъ) — живой человѣкъ, можетъ сейчасъ засвидѣтельствовать.

— Это такъ точно, при мнѣ, ваше превосходительство, сколько разъ бывало! — поспѣшилъ подтвердить Анисимъ Иванычъ.

— Такъ вотъ оно и помянешь добромъ старину! — продолжалъ юбиляръ, дѣлаясь болѣе и болѣе словоохотливымъ: — многіе послѣ того были, которые тоже на слова вниманія не обращали, а такихъ, чтобъ съ подчиненнымъ обхожденіе имѣть, такихъ уже не было!

Юбилляръ вздохнулъ и нѣсколько минутъ сидѣлъ потупившись.

— Разскажу вамъ, напримѣръ, такой случай про того же Безпортошнаго-Волка, — вновь началъ онъ. — Купилъ онъ въ ту пору себѣ арапа въ услуженіе, а супруга ихняя, какъ на грѣхъ, возьми да и роди, черезъ десять мѣсяцевъ послѣ того, сына — чернаго, пречернаго! Туда-сюда, какъ да почему — къ кому, какъ бы вы думали, онъ въ этомъ важномъ фамильномъ случаѣ за утѣшеніемъ обратился? — А вотъ къ этому самому Севастьянову, который имѣетъ честь вашему превосходительству докладывать! Да-съ! призываетъ это меня: „Севастьяновъ, говоритъ, мнѣ сына-арапченка жена принесла! какъ ты думаешь, отчего?“ Ну, я, знаете, обробѣлъ-было, да ужъ видно самъ Богъ мнѣ внушеніе свыше послалъ. — Должно быть, говорю, ихъ превосходительство какой-нибудь табачной вывѣски, во время беременности, испугались. — А тогда, знаете, у всѣхъ табачныхъ магазиновъ такія вывѣски были, на которыхъ былъ нарисованъ арапъ съ предлиннымъ чубукомъ въ рукахъ. Ну-съ, хорошо-съ. Выслушали они меня и смотрятъ во всѣ глаза, словно понять хотятъ. „Стой, говорятъ наконецъ: какъ же это такъ? на вывѣскахъ арапы съ чубуками представлены, а мой-то арапченокъ безъ чубука?“ Ну, какъ онъ это сказалъ, такъ я ужъ увидѣлъ, что дѣло въ шляпѣ. — Ежели только за этимъ, ваше превосходительство, дѣло стало, говорю, такъ вѣдь чубукъ не дорого стодитъ, сейчасъ же можно купить и младенцу въ ручку вложить! — И чтѣ-жъ бы вы думали? Постоялъ онъ-это, постоялъ, подумалъ, подумалъ: „ну, говоритъ, будь ты проклять, купи чубукъ!“ Только всего и сказалъ, и хотя, быть можетъ, и понималъ, что тутъ дѣло не однимъ табакомъ пахнетъ, однако тѣмъ только и удовольствовался, что арапа въ дальнюю деревню сослалъ, а кучерамъ приказалъ, чтобъ на будущее время барыню мимо табачныхъ магазиновъ отнюдь не возили.

Разсказъ этотъ возбудилъ бы общую веселость, еслибы не вице-директоръ, который нашелъ, что онъ только компрометируетъ начальство и вовсе не относится къ дѣлу.

— Вы говорили о какой-то снисходительности, — сказалъ онъ: — но въ чемъ тутъ снисходительность — рѣшительно не понимаю!

— А какъ же, ваше превосходительство! Въ такомъ, можно сказать, фамильномъ дѣлѣ — и какое довѣріе! А вѣдь намъ какъ это довѣріе дорого, ваше превосходительство! ахъ, какъ дорого!

— Не понимаю... Ну, а другихъ исторій у васъ нѣтъ?

— Расскажи-ка намъ, какъ тебя баронъ Эспенштейнъ на колѣняхъ Богу молиться заставлялъ! — вступился Анясимъ Иванычъ, исторически прищуривая въ нашу сторону однимъ глазомъ.

— Заставлялъ — это точно, что заставлялъ. Доложу вашему превосходительству, что этотъ самый баронъ Эспенштейнъ, до поступления въ нашъ департаментъ, губернаторомъ состоялъ и былъ лютеранинъ. И случись ему однажды на усмиреніи въ одномъ помѣщицьемъ имѣніи быть, и узнай онъ отъ господина помѣщика, что главный науститель всей смуты есть мѣстный священникъ. Хорошо. Не долго, знаете, думая, созвалъ онъ сельскій сходъ, послалъ за священникомъ, и какъ только тотъ явился: „влѣпить, говорить, ему двѣсти!“ Не успѣли это оглянуться: ахъ-ахъ-ахъ, — анъ рабу Божьему чтѣ слѣдуетъ ужъ и отпустили! И точно, какъ только мужички увидѣли, что пастыря ихъ въ новый чинъ пожаловали, сейчасъ же и бунтъ прекратили, пошли на барщину, выдали зачинщиковъ — словомъ, все какъ слѣдуетъ. Ыдетъ нашъ баронъ обратно въ губернію, ѣдетъ и радуется, что ему удалось кончить дѣло миромъ. Да вдругъ, знаете, среди радостей и вспомнилось ему, что вѣдь онъ, собственно говоря, духовное лицо тѣлесному-то наказанію подвергъ! Вспомнилъ и обробѣлъ. Какъ быть? Какъ дѣлу пособить? Думалъ-думалъ, да и выдумалъ. Пріѣхалъ домой и притворился, что чуть живъ. День лежитъ, а на другой, говорятъ, ужъ и при смерти. И было, сказываютъ, ему тутъ видѣніе. Явился будто бы къ нему мужъ свѣтлый и сказалъ: „Карлъ Иванычъ! прими православную вѣру!“ Сейчасъ — къ архіерею, а тотъ натурально радъ: легко ли какую красную рыбу въ сѣти изловилъ! Однако радъ, а процедуру свою все-таки исполнилъ: поѣхалъ къ болящему и просилъ его не сѣшпить, а обдумать дѣло хорошенько. „Подумайте, говорить, ваше превосходительство! вѣдь съ старой-то вѣрою разставаться не то чтобы чтѣ! Это — не сапоги!“ — Такъ куда тебѣ! Вскочилъ нашъ больной съ постели какъ встрепанный, да самъ же всѣхъ и торопитъ: „Увидите, говорить, ваше преосвященство, что съ меня эта ересь какъ съ гуся вода соскочить!“ Ну, послѣ этого, въ одночасье и окрутили милостиваго государя! Только покуда все это дѣлалось, а попъ, между тѣмъ, трюхи-трюхи, да тоже въ губернію явился. Пріѣхалъ и прямо къ архіерею. Да не тутъ-то было. Не только архіерей никакой защиты ему не оказалъ, а на него же



разгнѣвался. „Тебя, говорить, Провидѣніе орудіемъ такого дѣла избрало, а ты, говорить, еще жаловаться смѣешь!“

На этомъ мѣстѣ рассказчика прервалъ взрывъ смѣха, въ которомъ удостоилъ принять участіе и вице-директоръ.

— Ну-съ, такъ вотъ этотъ самый баронъ Эспенштейнъ, вкорѣ послѣ своего присоединенія, и назначенъ былъ къ намъ директоромъ. И повѣрите ли, ваше превосходительство, такой изъ него вышелъ ревнитель, что пожалуй почище другого православнаго. Самое первое распоряженіе, которое онъ сдѣлалъ, въ томъ состояло, чтобъ чиновники каждый день къ ранней обѣднѣ ходили, а по субботамъ и ко всенощной. И ходили-съ; потому что все приходы, гдѣ кто жилъ, переписалъ, и все церковнымъ причтамъ о распоряженіи своемъ сообщилъ для наблюденія. Мало этого: созвалъ департаментскихъ чиновниковъ и объявилъ, что впредь за всякую вину у него такое наказаніе будетъ: виновать — становись на колѣни! И дѣйствительно, чуть что, бывало — сейчасъ звонить: позвать такого-то! — и тутъ же, при себѣ въ кабинетѣ, и поставитъ поклоны отбивать. Очень это сначала обидно было, ну, а потомъ обошлось. И вѣдь знаете, ваше превосходительство, поставитъ онъ на поклоны, а самъ сидитъ и считаетъ: разъ — два, разъ — два. Грѣшный человекъ, мнѣ-таки больше всехъ доставалось: я и въ департаментскомъ кабинетѣ, и на квартирѣ у него чуть не во всехъ комнатахъ стаивалъ. Бывало, чуть запахнетъ — сейчасъ „Севастьяновъ! чѣмъ пахнетъ?“ Ну, иной разъ сробѣешь, не такъ объяснишь — „а! говорить, посмотримъ, какъ ты своего Бога любишь!“ И такимъ манеромъ жили мы съ нимъ пять лѣтъ, покуда до самого Государя объ его чуделесіяхъ не дошло. Ну, натурально, въ отставку подать велѣли. И что жъ бы вы думали, ваше превосходительство, до того онъ этою вѣрою распалился, что пуще да пуще, глубже да глубже — взялъ да черезъ два года въ расколъ ушелъ! Потомъ попомъ раскольничьимъ, сказываютъ, сдѣлался — такъ въ скитахъ и умеръ!

— Отлично! безподобно! ура юбиляру! ура! — воскликнулъ вице-директоръ, подавая знакъ общему восторгу.

Веселой толпой подбѣжали мы къ виновнику торжества, схватили его на руки и начали деликатно подбрасывать въ воздухъ. По окончаніи этого чествованія, онъ, натурально, сдѣлался еще словоохотливѣе, и когда вице-директоръ сказалъ ему: — А жаль, что

вы не пишете своихъ мемуаровъ! очень, очень жаль! Я полагаю, что ни въ одной странѣ... Да, именно, ни въ одной странѣ ничего подобнаго этимъ мемуарамъ не могло бы появиться!—то онъ, уже никѣмъ невызываемый, усладилъ насъ еще новымъ рассказомъ изъ служебной практики.

— А вотъ я вамъ, ваше превосходительство, про Балахона, про Ивана Иваныча доложу, — началъ онъ. — При немъ, знаете, эта реформа клозетная въ первый разъ была введена—ну, а онъ, признаться сказать, сначала не понялъ: думалъ, что въ томъ и реформа состоитъ, чтобы какъ есть въ одеждѣ, такъ и... Вотъ только однажды слышимъ мы крикъ, гамъ преужаснѣйшій: „Севастьяновъ! Севастьянова сюда! Мерзавецъ! говорить, всегда у тебя по службѣ неисправности!“ Бѣгу, знаете, оправдываюсь, показываю—ну, понялъ! „Извини, братецъ“, говорить.

— Хо хо!—разразился вице-директоръ.

— Ха-ха!—грязнули мы.

Что потомъ было, я рѣшительно не помню. Кажется, что юбиляра разъ пять качали на рукахъ и что онъ послѣ каждаго чествованія рассказывалъ новую исторію. Вино лилось рѣкой, тосты слѣдовали за тостами. И вдругъ, въ ту самую минуту, когда всѣ чувствовали себя какъ нельзя лучше, юбиляръ совершенно неожиданно началъ говорить какія-то странныя рѣчи.

— Господа!—обратился онъ къ намъ: — очень я вамъ благодаренъ. Утѣшили вы старика. И обѣдъ, и все такое...

— Урррааа!—подхватили мы.

— Только вотъ что сдается мнѣ: если бы вы заглянули въ ревисскія сказки любой деревни, то навѣрное сказали бы себѣ: сколько есть на свѣтѣ почтенныхъ людей, которые всѣ юбилейные сроки пережили и которыхъ никто никогда и не подумалъ чествовать! Никто, господа, никогда!

На этомъ мѣстѣ юбиляръ остановился и заплакалъ.

— И, стало быть, всѣ наши юбилеи, — продолжалъ онъ сквозь всхлипыванія: — всѣ наши юбилеи — одна собачья комедія... Да, именно такъ. Всѣ эти юбилеи, коли вы, напримѣръ, не цѣните истинныхъ заслугъ... всѣ эти, значить, юбилеи... не стоятъ выѣденнаго яйца! И, значить, надо плюнуть на нихъ да растереть!..

И онъ плюнулъ направо и растеръ лѣвой ногой.

Я возвратился домой усталый, до краевъ наполненный винными парами, и тотчасъ же легъ въ постель. Вѣроятно впрочемъ заключительная сцена юбилея произвела на меня сильное впечатлѣніе, потому что она нѣкоторое время мѣшала мнѣ заснуть и потомъ дала содержаніе тѣмъ сновидѣніямъ, которыя тревожили меня въ послѣдующую ночь.

Въ самомъ дѣлѣ, думалось мнѣ: сколько есть на свѣтѣ людей, существующихъ какъ бы для того только, чтобъ имена ихъ числились въ ревизскихъ сказкахъ! И сколько между ними есть лицъ вполне почтенныхъ и добродѣтельныхъ, которыя и понятія не имѣютъ о томъ, что за штука „юбилей“? Объ нихъ ни въ газетахъ не пишутъ, ни въ трубы не трубятъ, но этого мало: сами сограждане ихъ, т.-е. односельчане, смотрятъ на нихъ какъ на людей обыкновенныхъ и ни во что не вмѣняютъ имъ ихъ добродѣтелей, какъ будто добродѣтель есть вещь столь обыденная, что и заслуги составлять не должна! И умираютъ эти люди въ забвеніи, не слыхавъ ни стиховъ Майкова, ни прозы Погодина... Справедливо ли это?

Увы! люди культуры (нынѣче всѣ русскіе помѣщики, занимающіеся раскладываніемъ гранпасьянса, разумѣютъ себя таковыми) жестоки и недалъновидны. Они считаютъ ни во что этотъ безконечный муравейникъ, который кишитъ у ихъ ногъ, за предѣлами культурнаго слоя, или, лучше сказать, считаютъ его созданнымъ для того, чтобъ быть попираемымъ культурными ногами. И въ то же время они едва-ли даже понимаютъ, что каждый изъ членовъ этого муравейника живетъ своею отдѣльною жизнью, имѣетъ свои характеристическія особенности, свои требованія, свои идеалы. Если бы они поняли это, они убѣдились бы, что ихъ собственная культурная жизнь именно отъ того дѣлается все болѣе и болѣе скудною, что для нея закрытъ цѣлый міръ явленій, стоящихъ внѣ всякаго культурнаго наблюденія. Сколько узнали бы мы благороднѣйшихъ біографій! сколько отличнѣйшихъ подвиговъ могли бы мы быть свидѣтелями! И какъ расширился бы нашъ умственный горизонтъ! И много ли нужно, чтобъ достигнуть этого?—Нужно только почаще заглядывать въ ревизскія сказки и отъ времени до времени дѣлать начальственныя распоряженія о празднованіи юбилеевъ. Тогда передъ нами обнаружатся вещи неслыханныя и невиданныя, и мы воочію увидимъ героевъ, о которыхъ не имѣли понятія... Повторяю: ткните пальцемъ въ лю-



бое мѣсто ревизскихъ сказокъ, и вы навѣрное попадете въ человѣка, о которомъ гораздо больше можно поразсказать, нежели даже объ Севастьяновѣ.

Я знаю, мнѣ скажутъ, что народъ не слѣдуетъ баловать — согласенъ! Но развѣ это баловство? — нѣтъ, это только справедливость! Свѣтите — слѣва нѣтъ! Но будьте же и справедливы! Ибо, въ противномъ случаѣ, получится односторонность, которая можетъ произвести сначала уныніе, а потомъ пожалуи и ропоть...

Да, мы, представители русской культуры, несправедливы. Но мы ли одни? — Увы! всегда, даже въ тѣхъ странахъ, гдѣ дѣйствительно существуетъ культура, и тамъ несправедливость преслѣдуетъ вѣкультурнаго человѣка. Вамъ показываютъ разные заустѣлые плоссы, въ которыхъ когда-то жилъ культурный человѣкъ и оставилъ слѣды своего культурнаго существованія. Въ этихъ плоссахъ доднесъ благоговѣйно сохранены всѣ подробности канувшей въ вѣчность жизни, лучи которой нѣкогда согрѣвали вселенную. Вотъ комната, въ которой такая-то маркграфиня занималась оргіями съ своими любовниками; вотъ знаменитая тѣмъ-то постель; вотъ часовня, въ которой та же маркграфиня, утомленная оргіями, купала свои грѣхи, носила вериги (вотъ и самыя вериги), бичевала себя, проводила ночи на голомъ полу (вотъ ея покаянная спальня), обѣдала съ восковыми куклами, представляющими святыхъ (и куклы эти уцѣлѣли); вотъ наконецъ подземелье, въ которое сажали нагрубившихъ подданныхъ — прекрасно! Знаніе домашняго быта канувшихъ въ вѣчность маркграфинь, конечно, имѣетъ свой историческій интересъ; но спрашивается, почему же представители культуры такъ ревниво сохранили во всей ихъ неприкосновенности старыя дворцы и замки — и не позаботились о сохраненіи хотя одного экземпляра мужицкаго жилья современнаго этимъ дворцамъ и замкамъ?

Но на этотъ вопросъ я уже не далъ отвѣта, ибо мгновенно зашнуръ...

Мнѣ снилось, что я присутствую на сходкѣ въ селѣ Безкормицнѣ и что мужики обсуждаютъ, не слѣдуетъ ли отпраздновать юбилей старика Мосеича, которому 15-го іюля имѣетъ исполниться ровно пятьдесятъ лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ несетъ рабочее тягло. Впрочемъ, собственно говоря, мысль объ юбилеѣ принадлежитъ не крестьянамъ, а мѣстному сельскому учителю Крамольникову и мѣст-

ному же священнику (изъ молодыхъ) Возсіяющему, которымъ немалыхъ-таки усилій стоило пустить ее въ ходъ и настолько заинтересовать мужичковъ, чтобъ по такому необыкновенному поводу была собрана сходка.

И Крамольниковъ, и Возсіяющій были соединены узами умѣреннаго либерализма и питали сладкую увѣренность, что слова: „потихоньку да полегоньку“ — должны быть написаны на знамени истинно разумнаго русскаго прогресса. Рядомъ каждодневныхъ дружескихъ бесѣдъ, въ которыхъ принимала сочувственное участіе и молодая попадья, они пришли къ убѣжденію, что почтенное крестьянское сословіе до тѣхъ поръ не займетъ принадлежащаго ему по праву мѣста въ государственной организаціи, покуда въ немъ не развито чувство самоуваженія. Отсутствие этого чувства влечетъ за собой цѣлый рядъ прискорбныхъ административныхъ явленій, каковы: рылобитіе, скулобитіе, зубосокрушеніе, неряшливое употребленіе непечатныхъ словъ и т. д. Отчего становой приставъ никогда не позволитъ себѣ назвать благороднаго человѣка курицынымъ сыномъ? Оттого что у благороднаго человѣка, такъ сказать, на лицѣ написано, что онъ уважаетъ себя! Тогда какъ у мужика, при современной его неразвитости, и спина, и лицо составляютъ какъ бы постороннія вещи, на которыхъ всякій можетъ собственноручно расписываться. И это многихъ приводитъ въ соблазнъ и служить источникомъ дурныхъ административныхъ привычекъ, которыя, при частомъ повтореніи, могутъ дискредитировать самую власть.

Слѣдовательно, прежде всего нужно воспитать въ мужикѣ чувство самоуваженія, а потомъ уже постепенно переходить къ развитію чувства своевременной уплаты податей и повинностей и т. д. Но затѣмъ самъ собой возникаетъ вопросъ: какъ возбудить это чувство самоуваженія, отъ котораго въ столь значительной степени зависитъ будущее всего крестьянскаго сословія? Словесными ли внушеніями и теоретическими собесѣдованіями, или какими-нибудь символическими дѣйствіями, которыя, такъ сказать, практически давали бы чувствовать мужику, что за нимъ числятся извѣстныя заслуги передъ государствомъ?

Сообразивъ и взвѣсивъ доводы pro и contra, Крамольниковъ пришелъ къ тому заключенію, что слѣдуетъ отдать предпочтеніе по-

слѣднему способу, какъ наиболѣе доступному для мужицкаго пониманія и притомъ безопасному.

— Понимаете? — объяснилъ онъ Возсіяющему: — разговаривать много не слѣдуетъ; во-первыхъ, объ разговорахъ становой проноухать можетъ, а во-вторыхъ, и мужикъ на слова не очень понятливъ; а надо такъ устроить, чтобъ мужикъ самъ, изъ сдѣленія обстоятельствъ, уразумѣлъ, въ чемъ суть. Понимаете?

— Очень даже понимаю, — отвѣчалъ Возсіяющій.

И вотъ, на первый разъ, Крамольниковъ предложилъ устройство юбилейныхъ торжествъ въ пользу такихъ крестьянъ, которые отличились долготнѣею твердостью въ бѣдствіяхъ; а дабы одна эта заслуга не показалась подозрительною, то предполагалось присовокупить къ ней еще: непоколебимость въ уплатѣ недоимокъ и неукоснительность въ исполненіи начальственныхъ требованій, *хотя бы даже и лишенныхъ законнаго основанія.*

— Чудесно! — воскликнулъ Возсіяющій: — а ежели къ сему присовокупить прилежаніе къ церкви Божіей, то, кажется, уже ничего предосудительнаго не будетъ!

Именно такимъ субъектомъ, который въ одномъ своемъ лицѣ соединялъ и непоколебимость въ уплатѣ недоимокъ, и безотвѣтность, и набожность, представлялся старикъ Мосейчъ. Онъ никогда не выигрывалъ сраженій, пятьдесятъ лѣтъ сряду неутомимо обрабатывалъ свой земельный участокъ, самоотверженно выплачивалъ подушныя, былъ битъ и не ропталъ, раза три въ жизни сидѣлъ въ тюрьмѣ и никогда не поинтересовался даже узнать, за что онъ посаженъ, пять разъ замерзалъ, тонулъ и однажды былъ даже совсѣмъ задавленъ. И за всемъ тѣмъ — отдышался. Однимъ словомъ, это былъ такой человекъ, по случаю котораго самая подозрительная административная фантазія не нашла бы повода разыграться.

Остановившись на этомъ выборѣ и заручившись сочувствіемъ молоденькой попадьи, оба друга прониклись такимъ энтузіазмомъ, что начали цѣловаться, и порѣшили приступить къ дѣлу по возможности внезапно, дабы становой приставъ ни подъ какимъ видомъ не могъ его разстроить.

— А впрочемъ, ежели придется и пострадать, — въ восторгѣ воскликнулъ Возсіяющій: — то и пострадать за такое дѣло не стыдно! Такъ ли, попадьа?



— Я, батя, за тобой—всюду! Въ Сибирь такъ въ Сибирь... чтожъ! — отвѣтила попадья, зарумянившись подъ вліяніемъ мысли, что и она нѣчто значить въ механикѣ, затѣваемой двумя друзьями.

Одинъ только человѣкъ приводилъ друзей въ нѣкоторое смущеніе: это волостной писарь Дудочкинъ. Это былъ закоренѣлый консерваторъ, который, сверхъ того, подозрѣвался въ тайныхъ сношеніяхъ съ становымъ приставомъ, по дѣламъ внутренней политики. И дѣйствительно, сношенія эти существовали, и онъ не только не скрывалъ ихъ, но не однажды имѣлъ даже гражданское мужество прямо произнести слово: „донесу!“ Но что было въ немъ всего опаснѣе—это то, что онъ все свои доносы обусловливалъ преданностью консервативнымъ убѣжденіямъ (онъ кончилъ курсъ въ уѣздномъ училищѣ и потомъ служилъ писцомъ въ уѣздномъ судѣ, гдѣ и понабрался кое-какихъ словъ).

— Нашъ народъ—неучъ! все одно: что стадо свиней, что народъ нашъ! — безпрестанно повторялъ онъ, и притомъ съ такимъ торжествомъ, какъ будто обстоятельство это и нивѣсть какой бальзамъ проливалось въ его писарское сердце.

На сочувствіе этого человѣка надѣяться было невозможно, но необходимо было по крайней мѣрѣ добиться, донесетъ онъ или не донесетъ. Но едва Крамольниковъ изложилъ ему (и притомъ въ самомъ невинномъ и даже административно-привлекательномъ видѣ) предметъ своего предпріятія, какъ Дудочкинъ тотчасъ же загалдѣлъ.

— Неучъ нашъ народъ! свинья нашъ народъ! не чествовать, а пороть его слѣдуетъ.

— Но... не преувеличиваете ли вы, Асафъ Ивановичъ? — какъ-то неувѣренно возразилъ Крамольниковъ.

— Нимало не преувеличиваю, а прямо говорю: пороть надо! — утвердился на своемъ Дудочкинъ.

Какъ ни безнадежны были эти мнѣнія, но Крамольниковъ уже и тому былъ радъ, что Дудочкинъ, высказывая ихъ, оставался на теоретической высотѣ и ни разу не употребилъ слово: „доносъ“. Разумѣется, друзья наши какъ нельзя лучше воспользовались этимъ обстоятельствомъ. Не выводя спора изъ сферы общихъ идей, они прибѣгли къ той остроумной тактикѣ, которая всегда отлично удавалась умѣреннымъ либераламъ, а именно: объявили Дудочкину, что хотя мнѣній его не раздѣляютъ, но тѣмъ не менѣе не могутъ его не уважать.

— Главное дѣло въ мнѣніяхъ — искренность, — деликатно замѣтилъ Крамольниковъ: — и вотъ это-то драгоцѣнное качество и составляетъ насъ уважать въ васъ противника добросовѣстнаго, хотя и неуступчиваго. Но позвольте однако сказать вамъ, почтеннѣйшій Асафъ Ивановичъ: хотя дѣйствительно у всѣхъ благомыслящихъ людей цѣль должна быть одна, но вѣдъ пути къ достиженію этой цѣли могутъ быть и различные!

— То-то, что ваши-то пути глупше! — отрѣзалъ Дудочкинъ.

— Отчего-жъ бы однако не попробовать?

— Попробуйте! мнѣ чтò! вы же въ дуракахъ будете!

— Такъ, стало быть, пробовать не возбраняется?

Вопросъ былъ сдѣланъ настолько въ упоръ, что Дудочкинъ на минуту остался безмолвнымъ.

— То-есть, вы... это насчетъ доноса, что-ли? — произнесъ онъ наконецъ.

— Нѣтъ, не то чтобъ... а такъ... искренность убѣжденій, знаете...

— Ну, да ужъ чтò тутъ! сказывай прямо, донесешь или не донесешь? — вступился Возсіяющій, который съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ относился къ политиканству своего друга.

— Эхъ, господа, пустое вы дѣло затѣяли! — вздохнулъ Дудочкинъ.

— Ты не вздыхай, а говори прямо — донесешь или не донесешь? — настаивалъ Возсіяющій.

Дудочкинъ нѣкоторое время уклонялся отъ яснаго отвѣта; но когда друзья вновь повторили, что уважаютъ въ немъ противника искреннаго и добросовѣстнаго, то онъ не выдержалъ напора лести и общалъ. Однако уже и тогда Возсіяющій замѣтилъ, что, давая слово не доносить, онъ, яко Гуда, скосилъ глаза на сторону.

Заручившись общаніемъ писаря, друзья немедленно приступили къ пропагандѣ своей идеи между крестьянами; сказали одному мужичку, сказали другому, третьему — отъ всѣхъ получили одинъ отвѣтъ: „Мосенчъ — мужикъ старый“. Тогда настояли на томъ, чтобъ въ ближайшее воскресенье, послѣ обѣдни, была созвана сходка для обсужденія на міру предложенія о введеніи между крестьянами села Безкормицына обычая празднованія юбилеевъ.

Въ воскресенье, за обѣдней, Возсіяющій сказалъ краткое поученіе о пользѣ юбилеевъ вообще и крестьянскихъ въ особенности.

— Отличнѣйшая польза, отъ юбилеевъ происходящая, — сказалъ батюшка, — несомнѣнна, и всѣми древними народами единодушно была признаваема. Юбилеи возвышаютъ душу чествуемаго, ибо они предназначаются лишь для лицъ воспрославленныхъ и знаменитыхъ; а чья же душа не почувствуетъ паренія, ежели познаетъ себя прославленною и вознесенною? Но, возвышая душу чествуемаго, юбилеи въ то же время возвышаютъ и души чествующихъ — ибо, чувствуя чествуемаго, мы тѣмъ самымъ ставимъ и себя на высоту'высокостоящаго и дѣлаемся сопричастниками прославленію прославляемаго. Итакъ, братіе, потщимся и т. д.

Послѣ обѣдни состоялась и сходка. На нее, въ качествѣ сторонниковъ юбилея, явились Крамольниковъ и Возсіяющій, но тутъ же присутствовалъ и противникъ торжества, Дудочкинъ, по обыкновенію своему восклицая:

— Неучъ — нашъ народъ! Свиныя — нашъ народъ!

Сходка впрочемъ шла довольно вяло, во-первыхъ, потому, что крестьяне не понимали самаго предмета сходки, т. е. слова „юбилей“, а во-вторыхъ потому, что повидимому они даже и не интересовались понять его.

— Юбилей, господа, есть торжество, имѣющее значеніе коммеморативное, — началъ Крамольниковъ.

— Въ воспоминаніе творимое, — пояснилъ Возсіяющій.

— Ну, да, въ воспоминаніе; и ежели, напримѣръ, лицо даже крестьянскаго сословія извѣстно своими добродѣтелями, или повиновеніемъ начальству, или исправною уплатою податей и повинностей...

— Или же усердно посѣщаетъ церковь Божію, творить добро ближнему, почитаетъ Божіихъ угодниковъ, — добавилъ Возсіяющій.

— Ну, да, и угодниковъ; и ежели онъ все это неослабѣваючи выдерживаетъ въ теченіе извѣстнаго періода времени...

— Періодомъ называется опредѣленное число лѣтъ, напримѣръ пятьдесятъ. Но не возбраняется праздновать юбилеи даже черезъ пятьсотъ и черезъ тысячу лѣтъ.

— Ну, да; такъ вотъ, ежели кто все вышесказанное въ теченіе пятидесяти лѣтъ выдержалъ...

— И не возронталь...



— То сограждане этого человѣка устраиваютъ въ честь его торжество, чувствуя, въ лицѣ этого человѣка, добродѣтель, трудъ и безнедоимочную уплату податей.

— „Торжество“—или, лучше сказать, трапезу; „сограждане“—или, лучше сказать, односельчане...

— Ну, да; односельчане. Затѣмъ, господа, дѣло заключается въ слѣдующемъ: черезъ два дня одному изъ вашихъ согражданъ, или односельчанъ, почтеннѣйшему крестьянину Ипполиту Моисеевичу, исполнится шестьдесятъ-восемь лѣтъ жизни. Въ этотъ самый день, будучи восемнадцатилѣтнимъ юношей, вступилъ онъ въ законный бракъ съ почтеннѣйшей супругой своей Ариной Тимофеевной, и тѣмъ самымъ возложилъ на плеча свои рабочее тягло. Въ теченіе этихъ пятидесяти лѣтъ онъ ни разу не отступилъ отъ правилъ истинной крестьянской жизни и безпрекословно принималъ всё ея невзгоды, всегда въ трудахъ, всегда въ потѣ лица добывая хлѣбъ свой...

— И памятуя церковь Божію...

— Онъ прокармливалъ семью свою, не щадя ни силъ, ни крови своей...

— И ложе супружеское нескверно содержа...

— Никогда не задерживалъ податей, сидѣлъ въ острогѣ, былъ битъ... однимъ словомъ, въ совершенствѣ исполнилъ то назначеніе, которое въ совѣтѣ судьбъ предопредѣлено...

— Въ чемъ я, какъ пастыръ, всегда готовъ засвидѣтельствовать...

— Такъ вотъ, въ этотъ-то достопамятный день пятидесятилѣтія, говорю я, не худо бы намъ, собравшись за братской трапезой, отъ лица всего міра засвидѣтельствовать почтеннѣйшему Ипполиту Моисеевичу то уваженіе, которое мы всё, и каждый изъ насъ въ особенности, питаемъ къ его добродѣтели. По теплomu нынѣшнему времени трапезу эту я полагаю приличнѣе всего было бы устроить на вольномъ воздухѣ.

По окончаніи этой рѣчи, въ толпѣ произошелъ смутный говоръ. Мужики недоумѣвали. Во-первыхъ, имъ казалось страннымъ, почему добродѣтельный мужикъ Мосеичъ, пятьдесятъ лѣтъ сряду работая безъ отдыха и самоотверженно платя казенныя подати, всегда былъ въ загонѣ, а теперь, когда онъ отъ старости уже утратилъ способность быть добродѣтельнымъ, вдругъ понадобилось воздавать ему

какую-то честь. Во-вторыхъ, они опасались, не было бы чего отъ начальства за то, что они будутъ на вольномъ воздухѣ добродѣтель чествовать.

— Да и не до праздниковъ намъ!.. Шестидесять-восемь лѣтъ Мосеичу—лёгко ли дѣло! Тягло съ него снять—вотъ и праздникъ! На печи будетъ лежать—пусть и празднуетъ тамъ!

Однимъ словомъ, дѣло непремѣнно приняло бы неблагоприятный оборотъ, если бы Дудочкинъ своимъ легкомысленнымъ вмѣшательствомъ не поправилъ его. По своему обыкновенію онъ былъ грубъ и не дорожилъ словами.

— Не чествовать,—кричалъ онъ во все горло,—а пороть ихъ надо! поррротъ!

Крестьяне смолкли и искоса поглядѣли на бѣснующагося писаря.

— Да, порротъ!—не унимался онъ:—а вы думали чтѣ? Неучъ—народъ! Свинья—народъ! Нашли кого чествовать!

Мужики обидѣлись окончательно.

— Ты чего, ворона, каркаешь?—обратились къ писарю нѣкоторые смѣльчаки.

— Поррротъ, говорю! ничего вамъ другого не надобно!

— А мы развѣ за то тебѣ жалованье платимъ, чтобъ ты насъ свиньями обзывалъ?

— Жалованье я не отъ васъ, а изъ конторы получаю; не ваше это жалованье, а мое заслуженное. А что вы свиньи—это всякій скажетъ! И начальство васъ такъ разумѣть... да!

— То-то „да“! Дѣкало нашелся! Вотъ мы тебѣ жалованье-то прекратимъ—и посмотримъ тогда, какъ ты будешь дакать да въ кулакъ свистать!

— Такъ васъ и спросили! „Жалованье прекратимъ“! Ахъ, испугали! Сдерутъ, голубчики, не посмотрятъ!

— Православные! да чтожъ онъ надъ нами куражится! Ахъ ты собачій огрызокъ! Нѣ люди мы, что-ли, въ самомъ дѣлѣ?

Общественное мнѣніе вдругъ сдѣлало крутой поворотъ. Предложеніе Крамольникова и Возсіяющаго, которое гетово было зачехнуть, совсѣмъ неожиданно получило всѣ шансы успѣха.

Воспользовавшись колебаніями, вызванными писаремъ, изъ толпы выскочилъ „ловкій человѣкъ“ и сразу сорвалъ сходку.

— Православные! — крикнулъ онъ:— что на крапивное сѣмя глядѣть! согласны, что-ли?

— Чтожъ, коли ежели Мосейчъ два ведра выставить...— пошутить кто-то.

Но на этотъ разъ шутка не имѣла успѣха. Подъ вліяніемъ горькой обиды, нанесенной писаремъ, мужички раскуражились. Даже умудренные опытомъ старики—и тѣ, обратясь къ Дудочкину, сказали: „тебѣ бы, прохвосту, надобно насъ на добро научать—анъ ты, вмѣсто того, что сдѣлалъ? — только міръ взбунтовалъ!“

И несмотря ни на какія противодѣйствія и угрозы писаря, сходка опредѣлила предложеніе Крамольникова принять, но съ тѣмъ, чтобы въ трапезѣ онъ лично принялъ участіе вмѣстѣ съ священникомъ, а въ случаѣ чего—былъ за всѣхъ въ отвѣтъ, какъ смутитель и бунтовщикъ.

— Праздновать такъ праздновать — хуже мы, что-ли, людей! — говорили мужички:— только ужъ ежели что, вы насъ, господа, не оставьте! Мосейчъ! милости просимъ! Просимъ, почтенный!

Мосейчъ прослезился и отвѣчалъ, что онъ отъ міра не прочь.

— Что міръ прикажетъ, я все исполнить должнъ, — сказалъ онъ:— и ежели, на примѣръ, міръ велитъ...

— Ну, ладно, ладно! чего еще канитель тянуть! раскопеливайтесь, господа! Покуда еще что будетъ, а выпить смерть хочется! — крикнулъ кто-то.

Черезъ минуту послышалось звяканье мѣдяковъ, а черезъ двѣ — бойкій кабатчикъ, со штофомъ въ одной рукѣ и стаканомъ въ другой, уже порхалъ между рядами крестьянъ и поздравлялъ сходу съ благополучнымъ рѣшеніемъ дѣла.

Крамольниковъ и Возсіяющій шли со сходки по направленію къ поповской усадьбѣ. Первый былъ задумчивъ и какъ будто даже недоволенъ.

— Подгадили-таки подъ конецъ! — сказалъ онъ печально:— ну, что бы, кажется, отнести къ почину великаго дѣла крестьянскаго самоуваженія трезвенно, съ достоинствомъ, благородно? Нѣтъ, нужно же вѣдь было объ этой проклятой водѣ вспомнить!

— Да, таки не забыли, — усмѣхнулся Возсіяющій.

— Такъ это горько! такъ это горько, батюшка! за прогрессъ въ отчаяніе придти можно!



— Ну, Богъ, милостивъ. И всегда первую пѣсенку зардѣвшись поютъ! Какое дѣло вначалѣ не прихрамываетъ!

— Нѣтъ, батюшка, если они ужъ теперь ведро потребовали, то что же 15-го іюля будетъ?

— Никто какъ Богъ! загадывать впередъ нечего, а вотъ объ чемъ подумать да и подумать надо: какъ бы и въ самомъ дѣлѣ Дудочкинъ не донесъ, что мы превратными толкованіями народъ смущаемъ!

Крамольниковъ какъ-то подозрительно и въ то же время грустно взглянулъ на Возсіяющаго.

— Ослабѣваете, батюшка?—спросилъ онъ слегка взволнованнымъ голосомъ.

— Ослабѣвать не ослабѣваю, а изъ-за пустяковъ тоже... Попадью жалко, Иона Васильичъ!

Подозрѣнія, высказанныя Возсіяющимъ относительно Дудочкина, даютъ новый полетъ моей сонной фантазіи. Она незамѣтно переноситъ меня на край села Безкормицына, въ небольшую, но довольно опрятную избу, въ которой, судя по отсутствію двора и хозяйственныхъ пристроекъ, долженъ жить одинокій человѣкъ. И дѣйствительно, здѣсь, въ узенькой горницѣ, за столомъ, закапаннымъ каплями чернилъ и сала, при слабомъ мерцаніи нагорѣвшей свѣчи, сидитъ волостной писарь Дудочкинъ.

Увы, онъ не выдержалъ и строчитъ въ эту минуту такого сорта бумагу:

„Господину приставу 2-го стана NN уѣзда.  
Волостного писаря Безкормицынской волости,  
Асафа Иванова Дудочкина

„Доношеніе.

„Случилось сего числа въ нашемъ селѣ Безкормицынѣ происшествіе, или лучше сказать образъ мыслей, имѣющій свойство подозрительное и даже политическое. Села сего учитель школы, Иона Васильевъ Крамольниковъ, и священникъ Стефанъ Матвѣевъ Возсіяющій, и прежде сего замѣченные мною въ превратныхъ толкованіяхъ,

возмѣнили намѣреніе совратить въ свою пагубу и нѣкоторыхъ изъ здѣшнихъ крестьянъ. А именно: кромѣ установленныхъ правительствомъ воскресныхъ и табельныхъ дней, дерзостно придумали ввести еще праздновать добродѣтели и другимъ мужицкимъ якобы качествамъ. Для чего избрали крестьянина здѣшняго села, Ипполита Моисеева Голопятова, въ лицѣ котораго добродѣтель будто бы преимущественное дѣйствіе свое оказала. И хотя на предложеніе означенныхъ Крамольникова и Возсіяющаго присоединиться къ ихъ образу мыслей я формально отозвался, и даже имъ съ приказательностью совѣтовалъ отъ сего отстраниться и жить тихо, согласно съ правилами, правительствомъ въ разное время изданными, но они въ намѣреніи своемъ остались непреклонными и только просили о семъ вашему благородію не доносить. Я же отъ исполненія таковой ихъ просьбы воздержался. И затѣмъ, собравъ оныя лица въ селѣ нашемъ, сего числа, самовольную сходку изъ наиболѣе буйныхъ и извѣстныхъ закоренѣлостью крестьянъ, дѣлали имъ о той добродѣтели явное предложеніе, каковое предложеніе о добродѣтели и прочихъ мужицкихъ свойствахъ сходка приняла съ благосклонностью, ассигновавъ на празднованіе два ведра вина, а съѣстное и хлѣбъ каждый долженъ принести съ собою по силѣ возможности. И 15-го сего іюля долженъ быть у насъ сей новый праздникъ, „добродѣтелю“ называемый, и чѣмъ оный кончится и въ чемъ будетъ состоять — того заранѣе опредѣлить нельзя. А какъ ваше высокородіе строжайше изволили мнѣ наказывать, чтобъ, въ случаѣ появленія въ нашей волости образа мыслей, немедленно о семъ доносить, то симъ оное и восполняю, опасаясь, какъ бы отъ праздниковъ сихъ не произошло въ нашемъ селѣ расколовъ и тому подобныхъ безчинствъ, какъ уже и былъ тому примѣръ въ прошломъ году, когда солдатка показывала простое гусиное перо, увѣряя, что оно есть то самое, которымъ подлинная воля подписана, и тѣмъ положила основаніе новой сектѣ, „пѣрушниками“ называемой. И мое мнѣніе таково, чтобъ мужикамъ потачки не давать, но дабы они впослѣдствіи не могли отговориться невинностью, то дать имъ покуражиться и весь упомянутый образъ мыслей выполнить, а потомъ и накрыть съ поличнымъ по надлежащему.

*„Волостной писарь Асафъ Ивановъ Дудочкинъ“.*

Сонъ продолжается...

Полдень. Въ затишьи, на огородѣ избы богатаго безкормицынскаго крестьянина, Василія Егорова Бодрова, разставлено нѣсколько столовъ, за которыми сидитъ человекъ до тридцати домохозяевъ, чествующихъ своего односельца, Ипполита Моисеича Голопятова. Голопятовъ президентствуетъ; по правую руку его сидитъ Крамольниковъ, по лѣвую—сельскій староста Иванъ Матвѣевъ Лобачевъ; напротивъ—хозяинъ дома и сотскій. Возсіяющій воздержался; онъ явился къ началу трапезы, благословилъ яствіе и питіе и удалился подъ предлогомъ, что не подобаетъ пастыреви вмѣшиваться въ дѣла міра сего...

Мужички чинно хлебаютъ изъ поставленныхъ передъ ними чашекъ. Хлебаютъ и въ то же время оглядываются и прислушиваются. Виновникъ торжества, словно бы передъ причастіемъ, надѣлъ синій праздничный кафтанъ и чистую бѣлую рубашку; прочіе участники тоже въ праздничныхъ одеждахъ. Неподалеку отъ пирующихъ, у сосѣдней амбарушки, собрались старухи-крестьянки, и гуторятъ между собой; изъ-за огороднаго плетня выглядываетъ толпа ребятишекъ, болтающихъ въ воздухѣ рукавами; съ улицы доносится звонъ хорОВОДНОЙ пѣсни.

Долгое время молчаніе царствуетъ за столами, какъ будто надъ сотрапезниками тяготѣетъ смутное опасеніе. Уклончивость Возсіяющаго всеми замѣчена, и многіе видятъ въ ней недобрый знакъ. Къ великой собственной досадѣ, и Крамольниковъ не можетъ свергнуть съ себя иго неловкаго безмолвія, сковавшаго уста и умы присутствующихъ. Онъ было-приготовилъ цѣлую рѣчь, но думаетъ, что въ началѣ трапезы произнести ее преждевременно. Надо сначала завести простую крестьянскую бесѣду, и Крамольниковъ знаетъ, что достигнуть этого очень легко: стѣдуетъ только пустить въ ходъ подходящее слово, но этого-то именно слова онъ и не находитъ. Наконецъ однакожь онъ убѣждается, что долѣе ждать невозможно.

— Жать, Василій Егорычъ, начали?—обращается онъ къ хозяину огорода такимъ тономъ, словно бы ему клещами давили горло.

— Мы-то вчера съ зажали, а другіе хотятъ еще погодить,—отвѣчаетъ Василій Егорычъ, не безъ гордости оглядывая собравшихся.

— Чего жъ бы, кажется, годить! На дворѣ жары стоятъ—самая бы пора за жнитво приниматься!



— Съ силами, значить, не собрались, Иона Васильичъ. У кого силы побольше, тотъ впередъ ушелъ; у кого поменьше силы—тотъ позади остался.

— Это, ваше здоровье, такъ точно,—подтверждаетъ и староста:—коли ежели у кого сила есть, у того и въ полѣ, и дома—вездѣ исправно. Ну, а безъ силы ничего не подѣлаешь.

— Чтò безъ силы подѣлаешь!—отзывается сотскій.

— А вы, Ипполитъ Моисеичъ, какъ? скоро ли думаете начать жать?—втягиваетъ Крамольниковъ въ бесѣду виновника торжества.

— Надо бы, сударь,—скромно отвѣчаетъ Моисеичъ:—вчера съ въ поле ходили: самая бы пора жать!

— У насъ же, ваше здоровье, рожь сыпкая, слабкая. День ты ее перепусти, анъ, глядишь, третье зерно на полосѣ осталось,—объяняетъ Василій Егорычъ, еще гордѣе оглядывая присутствующихъ и какъ бы говоря имъ: зѣвайте, вороны! вотъ я ужò, какъ у васъ весь хлѣбъ выйдетъ, съ васъ же за четверикъ два возьму!

— Не пойму я тутъ вотъ чего,—недоумѣваетъ Крамольниковъ:—вы вѣдь землю-то по тягламъ берете; сколько у кого тяголъ въ семьѣ, столько тотъ и земли беретъ—стало быть, по настоящему, сила-то у каждаго должна быть ровная.

— То-то, что неровная: у одного, значить, одна сила, а у другихъ—другая.

— Это такъ точно,—подтверждаетъ староста.

— Воля ваша, а я это не понимаю.

— А въ томъ тутъ и причина, что у меня, значить, помощью вчера жали. Купилъ я, напримѣръ, мужикамъ вина, бабамъ пива—ко мнѣ всякій мужикъ съ радостью бабу пришлетъ. Ну, а какъ у другого силы нѣтъ—и на помочь къ нему идти не весело. Онъ бы и радъ въ свое время работу сработать—анъ у него другихъ дѣловъ по горло. Покуда съ сѣномъ возжается, покуда чтò—рожь-то и утекаетъ.

— Страсть какъ утекаетъ!

— Опять и то: теперича, коли ежели я въ засиліе вошелъ—я за цѣлое лѣто изъ дому не шелохнусь. А другой, у котораго силы нѣтъ, тотъ раза два въ недѣлѣ-то въ городъ съѣздить. Высушить сѣнца, навѣтъ возокъ и ѣдетъ. Потому у него дома ѣсть нечего. Смотришь—анъ два дня изъ недѣли и вонъ!

Въ рядахъ пирующихъ проносится глубокий вздохъ.

— Такъ-то, ваше здоровье, и объ землѣ сказать надо: одному она въ пользу, а другой ею отягощается. У меня вотъ въ семьѣ только два работника числится, а я земли на десять душъ беру: пользу вижу. А у Мосейча пять душъ, а онъ всего на двѣ души земли беретъ.

Крамольниковъ вопросительно взглядываетъ на виновника торжества.

— Дѣйствительно...—скромно подтверждаетъ послѣдній.

— Странно! вѣдь ему бы, кажется, еще легче съ малымъ-то количествомъ справиться?

— То-то, сударь, порядковъ въ нашихъ не знаете. Коли настоящей силы нѣтъ—ему и съ огородомъ однимъ не управиться. Народу у него числится много, а загляни къ нему въ избу—анъ нѣтъ ниего. Старый да малый. Тотъ на фабрику ушелъ; другой въ извозчикахъ въ Москвѣ живетъ; третьяго съ подводой сотскій выгналъ; четвертый на помочь, хопъ бы примѣрно ко мнѣ, ушелъ. Свое-то дѣло и упадаетъ. Надо бы ему еще вчера свою рожь жать. анъ глядишь—его бабы у меня зажинали.

— Зачѣмъ же онъ на сторонѣ работаютъ, коли у нихъ и своя работа не ждетъ?

— Опять-таки, ваше здоровье, вся причина, что въ нашихъ порядковъ не знаете.

Такъ-таки на томъ и утвердились: „не знаете нашихъ порядковъ“—и дѣло съ концомъ.

Бесѣда на минуту упадаетъ, но на этотъ разъ уже самъ Василій Егорычъ возобновляетъ ее.

— А я вотъ объ чемъ, ваше здоровье, думаю,—обращается онъ къ Крамольникову: —какая тутъ есть причина, что батюшка къ намъ не пришелъ?

— Право, не знаю, — нерѣшительно отвѣчалъ Крамольниковъ.

— А я полагаю: не къ добру это! Самъ первымъ затѣйщикомъ былъ, да самъ же и на попятный дворъ, какъ до дѣла дошло. Не знаю, какъ вашему здоровью покажется, а по моему, значитъ, невѣрный онъ человекъ.

— Признаться сказать,—вступается староста:—и я вчера къ

батюшкѣ за совѣтомъ ходилъ: какъ, молъ, собираться или не собираться завтра мужикамъ?

— Ну?

— Чего! и руками замахалъ: „не знаю, говорить, ничего я не знаю! и что ты ко мнѣ присталъ!“ Сказано: невѣрный человекъ — невѣрный и есть!

Крамольниковъ потупился: поступокъ Возсіяющаго горькимъ упрекомъ падаетъ на его сердце.

— Онъ у насъ, ваше здоровье, и до воли самый невѣрный человекъ былъ! — говоритъ кто-то изъ толпы: — признаться, на послѣдяхъ-то мы не въ миру съ помѣщикомъ жили. Вотъ и пойдутъ, бывало, крестьяне къ батюшкѣ: какъ, молъ, батюшка, слѣдуетъ ли теперича крестьянамъ на барщину ходить? ну, онъ и скосить-это глазами, словно какъ и не слѣдуетъ. А черезъ часъ времени — глядимъ, онъ ужъ у помѣщика очутился, ужъ съ нимъ шуры да муры завель.

— Такъ ужъ ты смотри, Иона Васильичъ! — предупреждалъ Василій Егорычъ: — коли какой грѣхъ — ты въ отвѣтъ!

— Да чего вы боитесь? что мы, наконецъ, дѣлаемъ? — пробуетъ ободрить присутствующихъ Крамольниковъ.

— Ничего не дѣлаемъ; такъ промежду себя собрались: а все-таки, какова пора ни мѣра, насъ вѣдь не поглядятъ.

— За что же?

— А здорово живешь — вотъ за что! Никогда, молъ, такихъ дѣловъ не бывало — вотъ за что! Мужуку, молъ, полагается въ своей избѣ праздники справлять, а тутъ нутка... вотъ за что! Писаренокъ вотъ тоже: давеча, отъ обѣдни шедши, я съ нимъ встрѣтился — и не глядитъ, рыло воротитъ! Стало быть, и у него на совѣсти что-ни-на-есть нечистое завелось!

Въ это время на улицѣ раздается свистъ.

— А вѣдь это онъ, это писаренокъ посвистываетъ! Гляньте-ко, ребята, не ѣдетъ ли по дорогѣ кто-нибудь?

— Чего глядѣтъ! Я на колокольню Минайку сторожа поставилъ: чуть что, говорю, сейчасъ, Минайка, бѣги! — успокоиваетъ общество староста.

— Такъ ты ужъ сдѣлай милость, Иона Васильичъ! просимъ тебя: какъ ежели что, такъ ты выходи впередъ: я, молъ, одинъ въ отвѣтъ!

Крамольникову дѣлается грустно, и слова Возсіяющаго: „не



стойтъ изъ-за пустяковъ “ — невольно приходятъ ему на мысль. Но онъ еще бодрится, и даже самое негодование, возбуждаемое маловѣриемъ крестьянъ, проливаетъ какую-то храбрость въ его сердце.

— Сказалъ, что одинъ за всѣхъ въ отвѣтъ буду — и буду въ отвѣтъ! — говоритъ онъ твердымъ и увѣреннымъ голосомъ: — и не боюсь! никого я не боюсь, потому что и бояться мнѣ нечего.

— А если ты не боишься — такъ и слава Богу! И мы не боимся — намъ что! Когда ты одинъ въ отвѣтъ — стало быть, мы у тебя все одно какъ у Христа за пазушкой!

Крестьяне успокоиваются и словно бодрѣе принимаются за ложки. На столахъ появляется вторая перемяна хлѣбова и по стакану вина. Крамольниковъ подмигиваетъ однимъ глазомъ Василю Егорычу, который встаетъ.

— Ну, Мосеичъ, будь здоровъ! — провозглашаетъ онъ: — пятьдесятъ лѣтъ для Бога и для людей старался, постарайся и еще столько же!

— Мосеичу! Палиту Мосеичу! — раздается со всѣхъ сторонъ: — пятьдесятъ лѣтъ здравствовать!

Винючникъ торжества видимо взволнованъ, хотя и старается казаться спокойнымъ. Блѣдное старческое лицо его кажется еще блѣднѣе и словно чище; онъ тоже встаетъ и на всѣ стороны кланяется.

— Благодаримъ на ласковомъ словѣ, православные! — произноситъ онъ слегка дрожащимъ голосомъ: — а чтобъ еще пятьдесятъ лѣтъ маяться — отъ этого уже увольте!

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Пятьдесятъ лѣтъ да еще съ хвостикомъ! — настаиваютъ пирующие.

Здѣсь бы собственно и сказать Крамольникову приготовленную рѣчь; но онъ разсчитываетъ, что времени впереди еще много, и потому рѣшается предварительно проэкзаменовать юбиляра. Съ этою цѣлью онъ дѣлаетъ ему точь-въ-точь такой же допросъ, какой ловкій прокуроръ обыкновенно дѣлаетъ на судѣ подсудимому, котораго онъ, въ интересахъ казны, желаетъ подкузывать.

— А чтѣ, Ипполитъ Мосеичъ, — говоритъ онъ: — много-таки, я полагаю, вы на своемъ вѣку видовъ видѣли?

— Всего, сударь, было, — просто и скромно отвѣчаетъ юбиляръ.

— Онъ у насъ и въ огнѣ не горитъ, и въ водѣ не тонетъ! — подсмѣивается староста.

— Какъ и всѣ, Иванъ Михайлычъ.

— Ну-съ, а скажите, правду ли говорятъ, что вы нѣсколько разъ замерзали?—продолжаетъ Крамольниковъ.

— Было, сударь, и это.

— А скажите пожалуйста, какое это чувство, когда замерзаешь?

— То-есть, какъ это „чувство“?

— Ну, да, чтò вы чувствовали, когда съ вами это случилось?

— Чтò чувствовать? По началу зябко, а потомъ — ничего. Словно бы въ сонъ вдарить. Послѣ хуже, какъ оттаивать начнуть. Я въ Москвѣ два мѣсяца въ больницѣ пролежалъ — вотъ и пальца одного нѣтъ.

Онъ поднимаетъ правую руку, на которой дѣйствительно вмѣсто третьяго пальца оказывается дыра.

— Какъ же вы работаете съ такой рукой? вѣдь, я думаю, неспособно?

— Приспособился, сударь.

— Намъ, ваше здоровье, нельзя не работать,—вставляетъ свое слово Василий Егорычъ:—другого и всего болѣсть изломаетъ, а все ему не работать нельзя.

— Мы на работѣ, сударь, лечимся,—отзывается какой-то мужичокъ изъ толпы:—у меня намедни съ совѣмъ поясница отнялась; всталъ-это утромъ—чтò за чудо? согнусь — разогнуться не могу; разогнусь—согнуться не въ мочь. Взялъ косу да отмахалъ ею четыре часа сряду—и болѣзнь какъ рукой сняло!

— Да и работы по нашему хозяйству довольно всякой найдется,—поясняетъ староста:—ежели одну работу работать неспособно—другая есть. Косить не можешь—сѣно съ бабами вороши; пахать нельзя—боронить ступай. Работа завсегда есть.

— Какъ не быть работѣ!—откликаются со всѣхъ сторонъ.

— А вотъ, говорить, что вы однажды чуть не утонули,—вновь допрашиваетъ Крамольниковъ:—чтò вы при этомъ чувствовали?

— Тоже въ сонъ вдаряетъ,—отвѣчалъ юбиляръ:—сначала барахтаешься въ водѣ, выпрыгнуть хочешь, а потомъ ослабнешь. Покажется мягко таково. Только круги зеленые въ глазахъ—неловко слово.

— По какому же случаю вы тонули?

— Съ подводой въ ту пору гоняли; подъ солдатъ: солдаты шли.

Дѣло-то осенью было, паводокъ случился — не остерегся, стало быть.

— Ну, а пожары у васъ въ домѣ бывали?

— Бывали, сударь. Разъ десятокъ пришлось-таки милость Божью видѣть!

— У него, ваше здорье, даже сынъ въ пожаръ сгорѣлъ, — припоминаетъ кто-то изъ толпы.

— И какой мальчикъ былъ шустрый! Кормилецъ былъ бы теперь! — отзывается другой голосъ.

— Какъ же это такъ? Неужто спасти не могли?

— Ночью, сударь, пожаръ-то случился, а меня дома не было, въ Москву ѣздилъ...

— Прибѣгаютъ-это мужички на пожаръ, — говоритъ староста: — а онъ, сердечный, мальчишечко-то, стоитъ въ окнѣ, въ самомъ, значить, въ полымѣ... Мы ему кричимъ: прыгни, милый, прыгни! а онъ только ручонками рубашонку раздвуетъ!

— Не смыслилъ еще, значить!

— И вдругъ-это закружился...

При этомъ разсказѣ Мосейчъ всталъ и набожно крестится. Губы его что-то шепчуть. Всѣ присутствующіе вздыхаютъ, такъ что на минуту торжество грозитъ принять печальный характеръ. Къ счастью, Крамольниковъ, помня, что ему предстоитъ еще кой о чемъ допросить юбиляра, не даетъ окрѣпнуть печальному настроенію.

— А вотъ въ тюрьмѣ вы за что были? — спрашиваетъ онъ.

— Такъ, сударь, Богу угодно было.

— Мы вѣдь въ старину-то бунтовщики были, — поясняетъ Василій Егорычъ: — съ помѣщиками все воевали. Ну, а онъ, какъ въ своей-то порѣ былъ, горячій тоже мужикъ былъ. Иной бы разъ и позади людей схорониться нужно, а онъ впередъ да впередъ. И на поселеніе сколько разъ его сослать хотѣли — да отъ этого Богъ однако миловалъ.

— Не допустилъ Царь Небесный на чужой сторонѣ помереть!

— А безпремѣнно бы его сослали, — договариваетъ староста: — коли бы ежели сами господа въ немъ нужды не видѣли.

— Вотъ что!

— Именно такъ. Лѣсникомъ онъ у насъ въ вотчинѣ служилъ. Лѣса у насъ здѣсь, надо прямо сказать, большущіе были, а онъ каж-



дый кусть зналъ, и чтобъ срубить что-нибудь въ барскомъ лѣсу безъ спросу—и ни-ни! Прута унести не дасть! Вотъ господамъ-то и жалко. Пробовали было, и не разъ, его смѣнять, да не въ пользу. Какъ только провѣдаютъ мужики, что Мосейча нѣтъ—смотришь, анъ на другой день и порубка.

— Ну-съ, а помѣщики... хорошо съ вами обращались?—продолжаетъ допрашивать Крамольниковъ.

— Бывало... всякое...—отвѣчаетъ юбиляръ уже усталымъ голосомъ. Очевидно, что еслибы не невозмутимое природное благодушіе—онъ давно бы крикнулъ своему собесѣднику: отстань!

— У насъ, ваше здоровье, хорошіе помѣщики были: шесть дней въ недѣлю на барщину, а остальные на себя—хдшь-гуляй, хдшь-работай!—шутить староста.

— А послѣдній помѣщикъ у насъ Василій Порфирычъ былъ, отъ котораго мы ужъ и на волю вышли,—говоритъ Василій Егорычъ:—такъ тотъ, бывало, по ночамъ у крестьянъ капусту съ огородовъ воровалъ! И чудородъ вѣдь! Бывало, подкараулишь его: хорошо ли, молъ, вы, Василій Порфирычъ, этакъ-то дѣлаете? Ну, онъ ничего, словно съ гуся вода: „чтѣ ты! чтѣ ты! говоритъ, ничего я не дѣлаю, я только такъ“... И сейчасъ это маршь назадъ, и даже кочки, ежели которые срѣзалъ, отдастъ!

— Болѣзнь, стало быть, у него такая была!—отзывается кто-то.

— Ну-съ, Ипполитъ Моисейчъ, а расскажите-ка намъ теперь, какъ вы женились?—какъ-то особенно дружелюбно вопрошаетъ Крамольниковъ и даже похлопываетъ юбиляра по колѣнкѣ.

— Чтѣ же „женился“?! Женился—и все тутъ!

— Нѣтъ, ужъ вы по порядку намъ расскажите: какъ вы склонность къ вашей нынѣшней супругѣ получили, или, быть можетъ, вашъ бракъ состоялся не по любви, а подъ вліяніемъ какихъ-либо принудительныхъ мѣръ? Знаете, вѣдь въ прежнее время помѣщики...

— Года вышли; на тягло надо было сажать... Извѣстно—женяхъ.

— Нѣтъ, вы ужъ, сдѣлайте одолженіе, по порядку расскажите!

— Года вышли—ну, староста пришелъ. „У Тимоѳея, говоритъ, дочь дѣвка есть“. Ну—женился.

— У насъ, ваше здоровье, не спрашивали, любя или нелюба

дѣвка. Тягло чтобъ было — и весь разговоръ тутъ! — объясняетъ староста.

— Такъ-съ; а подати и оброки вы всегда исправно платили?

— Завсегда... ни единой, то-есть, полушки... И барщина, и оброкъ... какъ есть! — отвѣчаетъ юбиляръ и словно даже приходитъ въ волненіе при этомъ воспоминаніи.

— И вѣроятно тяжелымъ трудомъ доставали вы эти деньги?

Юбиляръ молчитъ. Ясно, что его уже настолько задѣли за живое, что ему дѣлается противно. Но староста оказывается словоохотливѣе и по мѣрѣ разумнѣя своего удовлетворяетъ любознательности Крамольникова.

— Это насчетъ тягостей, что-ли, ваше здоровье, спрашиваете? — говоритъ онъ: — и не приведи Богъ! Каторжная наша жизнь — вотъ что! Вынь да положь — вотъ какая у насъ жизнь! А откуда вынь — никому это, значить, не любопытно. Прошлый годъ я цѣлую зиму сѣно въ Москву возилъ: у помѣщиковъ здѣсь по разнотѣ скупалъ, а въ Москвѣ продавалъ. И Боже ты мой, сколько я тутъ мученья принялъ! Ёдешь этта тридцать верстъ цѣлую ночь, и стыть-то, и глаза-то тебѣ слѣпить, и вѣтромъ лицо жжетъ — смерть! Ну, цѣлковый-рушь выгадаешь, привезешь изъ Москвы. А вашему здоровью со стороны-то, чай, кажется: вотъ-моль мужичокъ около возочка погуливаетъ!

— Ну, нѣтъ, мнѣ... я вѣдь и самъ...

— Знаемъ, что не дворянской крови, а все-таки... вы изъ приказныхъ, что-ли?

— Отецъ мой былъ канцелярскимъ служителемъ... и тоже...

— Тоже, чай, по кабакамъ мужикамъ просьбы писалъ — что ему? Въ кабакѣ свѣтло, тепло... Сидитъ да перомъ поскребывается. Ну, а наше дѣло почище будетъ! И вѣдь чудо это! Маемся мы маемся, а все какъ будто гуляемъ!

— Наша должность такая, что все мы на вольномъ воздухѣ, — скромно поясняетъ юбиляръ: — оттого и кажется, будто гуляемъ.

— Косимъ — гуляемъ, сѣно ворошимъ — гуляемъ, пашемъ — гуляемъ! — отзывается кто-то.

— А ты сочти, сколько верстъ хоть бы на пашнѣ этого гулянья на нашъ пай достанется. Въ лѣтній день мужику — это бѣдно — полдесятины вспахать нужно. Сколько это, по твоему, верстъ будетъ?

— Да вереть двадцать слишкомъ.

— Ты, вотъ, двадцать-то вереть въ день порожнёмъ по гладкой дорогѣ пройдешь, и то запыхаешься, а тутъ по пашнѣ иди, да еще налягъ на соху-то, потому она неравно выбьется!

Мужики смолкли, словно призадумались. Крамольниковъ тоже облокачивается рукой объ столъ и ерошитъ себѣ волосы. Онъ чувствуетъ, что теперь самое время произнести юбилейную рѣчь.

— Неприглядное ваше житье, господа! — говоритъ онъ.

— Какого еще житья хуже надо!

Крамольниковъ встаетъ, держа въ рукѣ стаканъ съ виномъ. Онъ, видимо, взволнованъ; лицо блѣдно, плечи вздрагиваютъ, руки трясутся, волосы стоятъ почти дыбомъ.

— Господа! — говоритъ онъ, задыхаясь: — пью за здоровье почтеннаго, изнуреннаго, но все еще не забытаго и бодрого русскаго крестьянства! Да, неприглядное, горькое ваше житье, господа! Вы слышали сейчасъ показанія почтеннаго юбиляра, вы слышали свидѣтельство и другихъ, не менѣ почтенныхъ и свѣдущихъ лицъ — и изъ всѣхъ этихъ показаній и свидѣтельствъ явствуетъ одно: горькое, трудное житье русскаго крестьянина! Можно сказать даже больше: его жизнь полна такихъ опасностей, которыя неизвѣстны никакому другому сословію. Чтобы убѣдиться въ этомъ, прослѣдимъ судьбу его съ самаго начала. Онъ родится, и съ первыхъ минутъ своей жизни уже составляетъ не радость и утѣшеніе, но бремя для своихъ родителей! Да, бремя; ибо ежели въ послѣдствіи тѣ же родители будутъ имѣть въ народившемся малюткѣ кормильца и поддержку ихъ старости, то вначалѣ они видятъ въ немъ только лишній ротъ и обременительную заботу, отвлекающую отъ выполненія главной задачи ихъ жизни: поддержки того бѣднаго существованія, которое, такъ или иначе, они обязываются нести. Ребенокъ беспомощенъ: онъ требуетъ ухода и попеченій; но какой же уходъ можетъ дать ему его бѣдная мать? Согбенная подъ лучами палящаго солнца, она надрыываетъ свои силы надъ скудною полосою ржи; покрытая перлами пота, она ворошитъ сѣно и помогаетъ достойному своему мужу навить его на возъ; она встаетъ съ зарею и для всей семьи приготовляетъ скудную трапезу; она ѣдетъ въ лѣсъ за дровами, въ лугъ за сѣномъ, задаетъ кормъ скотинѣ, убираетъ ее... И все это время ребенокъ остается безъ призора, мокрый, безъ пищи, ибо можно ли назвать



пищю прокислую соску, которую ему суютъ въ ротъ, чтобъ онъ только не кричалъ? Упомянуть ли о болѣзняхъ, которыя вслѣдствіе всего этого такъ часто поражаютъ крестьянскихъ дѣтей? Удивляться ли смертности, необходимой спутницѣ этихъ болѣзней? Крупъ, скарлатина, оспа, головная водянка — всѣ бичи чловѣчества стерегутъ злосчастныхъ малютокъ и нерѣдко похищаютъ у жизни цѣлыя поколѣнія!.. Нѣтъ, не болѣзнямъ, не смертности нужно удивляться, а тому, что еще находятся отдѣльныя единицы, которыя, по счастливой случайности, остаются жить. Жить — для чего? Для того, господа, чтобъ и дальнѣйшее ихъ существованіе продолжало быть искупительною жертвою, приносимою на алтарь отечества! Проходитъ годъ, два, три, крестьянскій малютка настолько выросъ, что можетъ уже стоять на ногахъ и лепетать кой-какія слова. Какія попеченія окружаютъ его въ этомъ нѣжномъ и опасномъ возрастѣ? Мнѣ больно, господа, но я долженъ сказать, что ничего похожаго на уходъ тутъ не существуетъ. Та нужда, которая съ ранняго утра выгоняетъ изъ дома родителей ребенка, косвеннымъ, но очень рѣшительнымъ образомъ отражается и на немъ самомъ. Онъ дѣлается, такъ сказать, гражданиномъ деревенской улицы, товарищемъ птицъ и звѣрей, которые бродятъ по ней, настолько же лишенные призора, насколько лишень его и крестьянскій малютка. Сообразите, сколько опасностей ожидаетъ его тутъ? Хищный волкъ, бѣшеная собака, прожорливая свинья — все находитъ его беззащитнымъ, все угрожаетъ ему безвременной смертью! Еще на дняхъ у насъ былъ такой случай, что пѣтухъ выклюнулъ глазъ у крестьянской дѣвочки. Гдѣ, спрашиваю я, въ какомъ сословіи можетъ случиться что-нибудь подобное? Но крестьянскій малютка живучъ; онъ бодро идетъ впередъ по усѣянной терніемъ жизненной тропѣ и посмѣивается надъ жаломъ смерти, вездѣ его преслѣдующимъ, вездѣ готовымъ его настичь. Поднявши рубашонку, пленая по грязи или взясь съ непокрытой головой въ дорожной пыли подъ лучами палящаго солнца, онъ растетъ... Я хотѣлъ бы сказать, что онъ растетъ какъ крапива у забора, но, право, и это было бы слишкомъ роскошно для него, ибо едва-ли найдется въ цѣлой природѣ такой злакъ, котораго возрастаніе могло бы быть приведено здѣсь какъ мѣрило для сравненія. Тѣмъ не менѣе, онъ растетъ и крѣпнеть, и восьми лѣтъ дѣлается уже бесполезнымъ членомъ своей семьи. Онъ помогаетъ родителямъ въ болѣе легкихъ

работахъ, онъ пѣствуетъ своихъ маленькихъ сестеръ и братьевъ, наконецъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ даже приноситъ семьѣ извѣстный заработокъ. Этотъ заработокъ—святой, господа! Вы вѣроятно слышали отъ священника вашего о лептѣ вдовицы, и, конечно, умилились надъ рассказомъ объ ней! Но сообразите, во сколько разъ святѣе и умильтельнѣе эта другая лепта, которую я назову лептою русскаго крестьянскаго малютки? Древле Авраамъ по слову Господню готовился принести въ жертву сына своего Исаака, и ангель Господень остановилъ руку его. Русское крестьянство каждый день приноситъ эту жертву, и увы! останавливающейъ руку ангель не прилетаетъ къ нему! Древле пророкъ, оплакивая судьбы святого города, восклицалъ въ смятеніи души своей: „да будетъ забвенна рука моя, аще забуду тебя, Іерусалиме!“ Нынѣ я, какъ учитель дѣтей крестьянскихъ, проведеній сладчайшія минуты жизни своей въ общеніи съ ними, во всеуслышаніе восклицаю: дѣти! русскія дѣти! Да будетъ забвенна десница моя, ежели забуду часы, проведенные съ вами! Господа! пью за здоровье крестьянскихъ русскихъ дѣтей!

Голось Крамольникова прервался; онъ былъ до того взволнованъ, что едва держался на ногахъ. Старушки, приблизившіяся къ пирующимъ, чтобъ послушать, чѣмъ учитель гуторить, стояли пригнувшись, а нѣкоторые и прослезились. Мужики говорили: „ну, вотъ, и спасибо тебѣ, ваше здоровье, что ребятишекъ нашихъ вспомнилъ!“ Черезъ нѣсколько минутъ однакожъ Крамольниковъ настолько успокоился, что могъ продолжать.

— Я не буду представлять вамъ здѣсь, господа, — сказалъ онъ, — полную картину перехода русскаго крестьянскаго ребенка отъ ребячества къ юношеству. Это заняло бы у насъ много времени, недостатокъ котораго заставляетъ меня останавливаться лишь на самыхъ характеристическихъ подробностяхъ предмета, насъ занимающаго. Итакъ, перейдемъ прямо къ крестьянину-юношѣ, и прежде всего займемся судьбой русской крестьянки. Признаюсь откровенно, мое сердце сжимается при одномъ имени русской крестьянки, и сжимается тѣмъ больше, что часть тѣхъ тяжелыхъ веригъ, которыя выпали на долю ея, идетъ отъ васъ самихъ, господа. Я знаю, что въ этомъ фактѣ не столько виноваты вы сами, сколько ваше горе, нужда, но я знаю также, что одинаковость горя и равная степень нужды должна бы послужить поводомъ для круговой поруки несчастія, а не для при-

тѣсенія однихъ несчастныхъ посредствомъ другихъ. Пора бы подумать объ этомъ, господа. Пора сказать себѣ: мы несчастны, слѣдовательно наша обязанность подать другъ другу руку, а не раздирать другъ друга. Нѣтъ ничего безотраднѣе, даже безпримѣрнѣе существованія русской крестьянки. Начать съ того, что у нея почти нѣтъ дѣвчества. То, о чемъ поется въ пѣсняхъ подъ именемъ дѣвческой воли, продолжается не болѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, т.-е. отъ конца лѣтней страды до январскаго мясоѣда, въ которомъ обыкновенно вѣнчаются крестьянскія свадьбы. Лѣтомъ — она была отроковица, зимою — она уже жена и работница. Да, именно работница, и останется ею во всю жизнь, ибо только немногимъ русскимъ крестьянкамъ удается цѣною долготѣнаго искуса страданій купить себѣ въ старости положеніе главы дома. Мало радостей у крестьянина, а у нея и совѣмъ нѣтъ ихъ. Крестьянинъ все-таки отлучается на заработки, слѣдовательно видитъ свѣтъ Божій, чувствуетъ себя дѣйствующимъ и отвѣтственнымъ лицомъ. Крестьянка — на всю жизнь прикована къ семьѣ, на всю жизнь осуждена на безотвѣтность. Сознайтесь, господа, что ваше обращеніе съ женами и матерями потому только не заслуживаетъ названія жестокаго, что оно слишкомъ уже вошло въ нравы. А между тѣмъ, не будь въ домахъ вашихъ этихъ вѣковыхъ печальницъ, этихъ неутомимыхъ охранительницъ бѣднаго крестьянскаго двора — вы не имѣли бы даже и тѣхъ скудныхъ жизненныхъ удобствъ, которыми пользуетесь теперь. Ежели жилища ваши имѣютъ видъ человѣческихъ жилищъ, если въ нихъ свѣтло и тепло, то и этотъ свѣтъ, и эта теплота исходятъ исключительно отъ нея, отъ этой загубленной русской женщины, объ которой не даромъ русская пѣсня поетъ:

День—денная ты печальница,  
 Ночь—ночная богомолица!  
 Вѣковѣчная сухотница.

Если вы не умираете съ голоду, ежели видите дворы свои не расхищенными, ежели не пропадаютъ, какъ ничтожное быліе, ваши дѣти—этимъ вы обязаны все той вѣковѣчной сухотницѣ! Исторія отмѣтила много видовъ геройства и самоотверженности, но забыла объ одномъ: о геройствѣ и самоотверженности русской крестьянской женщины. Это — скромное, безпримѣрное геройство, никогда не прекращающееся, не ослабѣвающее: ни при первомъ крикѣ пѣтеля, ни при третьемъ. Это — геройство, замкнутое въ тѣсныхъ предѣлахъ



крестьянскаго двора, но всегда стоящее на-стражѣ и готовое встрѣтить врага. Не забудьте, что женщина по самой природѣ своей — существо слабое, существо обреченное на болѣзни; но русская крестьянка въ этомъ случаѣ составляетъ какъ бы исключеніе: для нея не существуетъ ни болѣзней, ни слабости, не потому, чтобъ она ихъ не чувствовала, но потому, что она *не имѣетъ права* чувствовать. Я сейчасъ упоминалъ о случаѣ, когда пѣтухъ выключнулъ глазъ дѣвочки Матрешѣ. Въ это время мать ея, Надежда Петровна, была въ лѣсу, вереть за пять, и рубила дрова. Изнуренная тяжелой работой, тѣмъ не менѣе она бѣгомъ пробѣжала эти пять веретъ, и никто даже не удивился этому подвигу, ибо всякій понималъ, что именно такъ должна была поступить русская крестьянка. Я не говорю о томъ, что ваши женщины суть устроительницы домовъ вашихъ, что работы, которыя онѣ несутъ, немногимъ легче тѣхъ, которыя вы сами несете, но есть одно обстоятельство, еще болѣе горькое, болѣе безотрадное. Онѣ раздѣляютъ всѣ тяготы ваши, всѣ неудачи, невзгоды и несчастія — и никогда не дѣлятъ вашихъ радостей или удовольствій. Вы имѣете хоть какіе-нибудь внѣ-семейные интересы; вы встрѣчаетесь съ новыми людьми, съ новою обстановкой; вы, наконецъ, какъ я уже сказалъ разъ, можете, за вашъ личный страхъ, бороться съ невзгодой. Крестьянка лишена всѣхъ этихъ преимуществъ. Она даже бороться не можетъ, а можетъ только втихомолку проливать слезы. Въ продолженіе всей ея жизни у нея постоянно что-нибудь да отнимаютъ. Замужство отнимаетъ у нея мать и отца, заработки — мужа, рекрутчина — сына, совершеннолѣтіе дочери — дочь. И на всѣ эти притязанія слѣпой судьбы она можетъ отвѣтить только слезами! Кто видитъ эти слезы? Кто слышитъ, какъ онѣ льются капля по каплѣ, податчивая драгоцѣннѣйшее человѣческое существованіе? Ихъ видитъ и слышитъ только русскій крестьянскій малютка, но въ немъ онѣ оживляютъ нравственное чувство и полагаютъ въ его сердцѣ сѣмена любви и добра. Школа материнскихъ слезъ — добрая школа, господа, и не утратитъ вѣры въ свою силу тотъ, кто воспитался въ этой школѣ. Но вы, господа, — я обращаюсь теперь уже къ вамъ — вы, главы крестьянскихъ семействъ, что дали вы вашимъ женамъ и матерямъ взаимнѣ ихъ самоотверженности и любви? Видѣли ли вы ихъ слезы, знаете ли объ нихъ? Я знаю, вы настолько совѣстливы, что не нужно даже ждать вашего отвѣта на мой вопросъ; этотъ отвѣтъ навѣрное

осудить васъ. По этому поводу позвольте мнѣ еще разъ возвратиться къ уже высказанной мною прежде мысли. Господа! васъ ожесточаетъ горе и вѣчно преслѣдующая нужда, и, конечно, это въ значительной степени облегчаетъ вашу вину; но знайте, что въ кругу одинаково несчастныхъ людей горе и нужда должны быть сплотивающимъ звеномъ, а не сѣменемъ раздора. Иначе самое существованіе сдѣлается невозможнымъ и исчезнетъ всякая надежда на лучшее будущее. Вникните пристальнѣе въ слова мои, провѣрьте ихъ судомъ собственной совѣсти, и вы навѣрное сами придете къ тому, что относительная слабость женщины должна вызывать не презрѣніе къ ней, а ласку и покровительство. Вотъ почему я пользуюсь этою братскою трапезой, чтобъ возгласить тостъ за улучшеніе участи русской крестьянской женщины, охранительницы, устроительницы русской крестьянской семьи! Ура!

Громкое „ура“ отвѣчаетъ на вызовъ Крамольникова. Несмотря на нѣкоторую витіеватость его рѣчи, крестьяне поняли сущность ея. А крестьянки даже весело улыбались и громко выражали свое удовольствіе учителю за урокъ, данный мужьямъ и сыновьямъ. Ободренный успѣхомъ, Крамольниковъ продолжалъ:

— Теперь приступаю къ главному предмету моей бесѣды съ вами—къ русскому крестьянину. Изъ объясненій почтеннаго вашего односельца, котораго мы нынѣ вкупѣ чествуемъ, вы сами видите, сколько онъ поднялъ трудовъ и сколькимъ подвергался опасностямъ. Увы! этотъ примѣръ не единственный и не исключительный: вы всё находите въ томъ же положеніи, какъ и почтеннѣйшій Ипполитъ Моисеичъ. Я не говорю уже о крѣпостномъ правѣ, порождавшемъ помѣщиковъ, которые, злоупотребляя своимъ положеніемъ, требовали отъ крестьянъ шестидневной изнурительной барщины, для которыхъ тѣлесное наказаніе было обычною формою отношеній къ крестьянину, которые, наконецъ, доходили до такого малодушія, что по ночамъ воровали изъ крестьянскихъ огородовъ овощи. Крѣпостное право умерло и больше не возвратится. Но даже и теперь, когда, по манію Державнаго Освободителя, цѣпи рабства спали съ васъ, освободились ли вы отъ тѣхъ тягостей и опасностей, которыя на каждомъ шагу осаждаютъ существованіе русскаго крестьянина? Изъ словъ Ипполита Моисеича видно, что онъ не разъ былъ на одинъ волосъ отъ смерти: онъ замерзалъ и тонулъ. Своей ли охотой и для своихъ ли дѣлъ онъ

рисковалъ въ этихъ случаяхъ жизнью? Нѣтъ, онъ, конечно, предпочелъ бы остаться дома въ теплѣ, чѣмъ тащиться съ подводой въ зимнюю вьюгу и въ весеннюю ростепель. Нужда выгоняла его изъ домашняго тепла. Но этого мало: Ипполитъ Моисеичъ, сравнительно, даже не много рисковалъ, ибо по самому роду своихъ занятій онъ могъ подвергаться только опасностямъ извѣстнаго характера и притомъ хотя съ трудомъ, но все-таки отвратимымъ. А есть занятія, которымъ предается все то же почтенное крестьянское сословіе и при которыхъ рискъ жизнью составляетъ, такъ сказать, обыкновенную и почти неизбѣжную принадлежность. Стоитъ побывать лѣтомъ вълюбомъ городѣ, чтобъ увидѣть штукатуровъ и маляровъ, висящихъ на воздухѣ въ утлыхъ садкахъ, кровельщиковъ, ползающихъ по крышамъ четырехъ-этажныхъ домовъ, каменщиковъ, стучащихъ молотомъ на необозримой высотѣ, носильщиковъ, взбирающихся съ тяжелою ношей по выстроеннымъ на живую нитку лѣсамъ. Стоитъ постранствовать по нашимъ деревнямъ и болотамъ, чтобъ увидѣть землекоповъ, роющихся въ нѣдрахъ земли, торфяниковъ, работающихъ по поясъ въ водѣ. Стоитъ посѣтить первую попавшуюся фабрику, чтобъ увидѣть цѣлый муравейникъ людей, снующій между колесами машинъ, изъ которыхъ каждое въ одно мгновеніе можетъ превратить человѣка въ массу крови и мяса. Малѣйшая неловкость, ничтожнѣйшее неосторожное движеніе — и человѣкъ пересталъ существовать. Но этого мало, что онъ умираетъ: онъ не просто умираетъ, а умираетъ безслѣдно. Ибо это даже не человѣкъ: при жизни — это рабочая единица, часто неизвѣстная и по имени; по смерти — это „мертвое тѣло“. Выбыла рабочая сила изъ строя — не пройдетъ мгновенія, какъ она уже замѣнена другою. Киньте камень въ воду — пустое пространство, которое при этомъ образуется въ массѣ воды, конечно, немедленно заплываетъ, но все-таки вы видите нѣкоторое время на поверхности кругъ, который свидѣтельствуетъ, что здѣсь нѣчто произошло. Смерть крестьянина, зарабатывающаго свой хлѣбъ и свои подати на чужбинѣ, даже этого круга не оставляетъ по себѣ... Ни дѣлъ, ни памяти... Спрошу у всѣхъ честныхъ людей: чье существованіе можетъ сравниться съ этимъ безмолвнымъ геройствомъ, наградой которому служить одно забвеніе? Намъ часто приводятъ въ примѣръ жизнь солдата и тѣ опасности, которыми она окружена. Я согласенъ, что существованіе солдата благородно и самоотверженно, но, клянусь.



на каждую пожертвованную солдатскую жизнь приходится по малой мѣрѣ сто пожертвованныхъ крестьянскихъ жизней! И не забудьте при этомъ, что солдатъ все-таки знаетъ характеръ угрожающей ему опасности, что онъ жертвуетъ собою, понимая, что эта жертва должна принести извѣстные плоды. Крестьянинъ — ничего не знаетъ. Онъ идетъ впередъ, потому что ему идти больше некуда, идетъ впередъ — и никогда не имѣетъ увѣренности, разверзнется или не разверзнется подъ нимъ земля... Но, скажутъ мнѣ, случайныя опасности не могутъ же служить мѣриломъ для оцѣнки чьей бы то ни было жизни. Случайности могутъ встрѣтиться вездѣ, и ударъ грома одинаково поражаетъ человѣка, къ какому бы званію онъ ни принадлежалъ. Прекрасно. Но возраженіе это, очевидно, теряетъ всякую силу тамъ, гдѣ опасность, такъ сказать, составляетъ краеугольный камень всего человѣческаго существованія, гдѣ она настигаетъ человѣка до того легко, что представляется уже не случайностью, а какъ бы неразрывною частью всей жизненной обстановки. Ударъ грома, конечно, безразлично убиваетъ человѣка всякаго званія, но каждому понятно, что, на примѣръ, пастухъ, проводящій цѣлые дни въ полѣ и въ лѣсу, легче подвергается опасности быть убитымъ грозой, нежели человѣкъ, который во всякое время можетъ укрыться отъ непогоды подъ кровлей надежнаго жилища. Но допустимъ однако, что это возраженіе, само по себѣ неправо, должно быть уважено. Оставимъ міръ случайностей и взглянемъ на бытъ русскаго крестьянина внѣ этой сферы, въ кругу такихъ занятій, которыя ужъ никакъ не могутъ быть названы случайными, но представляютъ собой естественную обстановку всей его жизни. Занятія эти суть: пахота, бороньба, молотьба хлѣба, сѣнокосъ, отвозка сельскихъ произведеній на базаръ для продажи и т. д. Всѣ эти занятія, какъ справедливо выразился одинъ изъ почтенныхъ нашихъ односельчанъ, имѣютъ издали видъ гулянья, но спросимъ себя по совѣсти, такъ ли это? Нѣтъ, это не гулянье, ибо для того, чтобъ вспахать полъ-десятины земли (обыкновенный дневной крестьянскій урокъ), нужно пройти пѣшкомъ не меньше двадцати верстъ по почвѣ, въ которой вязнуть ноги, пройти, упираясь въ мѣломъ въ соху. Это — не гулянье, ибо для того, чтобъ скосить одну пятую десятины луга (тоже дневной урокъ), нужно сдѣлать безчисленное количество взмаховъ косы, причемъ напряженіе человѣческихъ мышцъ равняется по малой мѣрѣ напряже-

нію, дѣлаемому при поднятіи двухпудовой тяжести. Это — не гулянье, потому что во время сопровожденія воза до базара стужа захватываетъ дыханіе, снѣгъ лѣпитъ глаза, не говоря уже о физической усталости, которая неизбежна при нашихъ разстояніяхъ и которая не полагается ни во что. А рубка дровъ? а пилка теса и досокъ? а земляныя работы? Однимъ словомъ, куда бы я ни обратилъ взоры, какъ бы ни старался отыскать крестьянское занятіе сколько-нибудь льготное — я ничего не нахожу, кромѣ самой горькой, никогда не прерывающейся страды. Вся жизнь крестьянина есть сплошная страда, хотя онъ самъ почтилъ этимъ наименованіемъ только лѣтнее время. Нѣтъ, не только лѣтомъ (лѣто — это крестный путь крестьянина), но круглый годъ, и зиму, и осень, и весну — никогда онъ не освобождается отъ ига страды. О, господа! я — человѣкъ уже въ лѣтахъ, и мнѣ стыдно плакать, но я чувствую, что слезы неудержимо подступаютъ къ глазамъ моимъ! Онѣ грозятъ прервать мою рѣчь въ самомъ началѣ ея, ибо передо мной стоитъ еще вопросъ громадной важности, котораго я до сихъ поръ не коснулся — вопросъ о томъ, какія радости, какія удобства и льготы купилъ себѣ русскій крестьянинъ цѣною столькихъ опасностей и непосильныхъ трудовъ?

Къ сожалѣнію, окончаніе рѣчи Крамольникова осталось для меня тайною, ибо съ этой минуты сновидѣнія мои приняли рѣзко-хаотическій характеръ. Я помню, что кто-то стремглавъ прибѣжалъ и голосомъ, исполненнымъ ужаса, крикнулъ: „ѣдутъ! ѣдутъ!“ Я помню, что за этимъ крикомъ послѣдовала невообразимая паника, среди которой Крамольниковъ остался невозмутимымъ, и мнѣ показалось даже, что на его губахъ играла улыбка. Я помню звонъ колокольчика, и потомъ еще чей-то голосъ: „а, голубчики!“... Затѣмъ все исчезло...

Утромъ я всталъ съ головою болью, и первую мою мысль было: а нѣтъ ли еще какого-нибудь помощника архиваріуса или главноначальствующаго надъ курьерскими лошадьми, котораго бы тоже можно было подѣздить по части юбилейныхъ торжествъ?

## Дѣти Москвы.

Въ какомъ ты блескѣ нивѣ зрима,  
Княженій, царствъ великихъ мать!  
Москва! Россіи дочь любима!  
Гдѣ равную тебѣ сыскать!

Твои сыны, питомцы славы,  
Прекрасны, горды, величавы,  
А дѣвы—розами цвѣтуть...

*И. Дмитріевъ.*

## I.

Немногое, сказанное въ этихъ стихахъ, исчерпывало почти все содержаніе моего отрочества. Съ самыхъ раннихъ лѣтъ я тяготѣлъ къ Москвѣ, чувствовалъ себя сыномъ ея. Здѣсь я получилъ первыя впечатлѣнія бытія, здѣсь же заложены были во мнѣ начальныя основанія русской грамматики по Востокову. Съ наслажденіемъ, полнымъ благоговѣнія, декламировалъ я стихи Ивана Ивановича Дмитріева, не упуская при этомъ изъ вида, что авторъ ихъ, самъ сынъ Москвы, былъ въ свое время министромъ юстиціи. Меня не смущала даже странность, оказывавшаяся при синтаксическомъ разборѣ перваго четверостишія, а именно, что, по своеобразной генеалогіи, придуманной поэтомъ, Россія, будучи матерью Москвы, становится бабушкой относительно княженій и царствъ. Напротивъ, это казалось даже трогательнымъ. Ежели мать—баловница по ремеслу, то для бабушки и придумать другое занятіе трудно. Какихъ желать лучшихъ условій для процвѣтанія княженій!

Княженія! это слово, изданное Карамзинымъ въ двѣнадцати томахъ (въ то время еще у всѣхъ въ свѣжей памяти), наполняло мою душу восторгомъ. Казалось, что и на меня, сидящаго въ четырехъ стѣнахъ „заведенія“, падаетъ оттуда какой-то лучъ, и что не признай я за этимъ волшебнымъ словомъ освѣщающаго значенія—я немедленно утону въ безразсвѣтной тьмѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ утрачу и право именовать себя „питомцемъ славы“. А для меня это право было очень важно, ибо оно давало въ будущемъ возможность, умалчивая о не весьма славныхъ чинахъ, въ родѣ коллежскаго регистратора или отставнаго корнета, прямо подписываться: „къ сему заемному письму питомецъ славы такой-то руку приложилъ“.



Вообще я былъ юноша восторженный, любящій и благодарный. Я всёхъ благодарилъ: великаго князя Святослава — за то, что снѣлъ конину, спалъ подъ открытымъ небомъ и имѣлъ свиданіе съ Иоанномъ Цимисхиємъ; великую княгиню Ольгу — за то, что она искусно отомстила древлянамъ смерть Игоря; великаго князя Владиміра — за то, что онъ сказалъ: *веселіе Руси есть пити* (я уже въ то время догадывался, что слова эти предвѣщали вольную продажу вина); царя Иоанна III — за оказанную имъ распорядительность относительно Новгорода; царя Иоанна IV — за то, что онъ покорилъ Казань и принялъ подъ свою державу богатую Сибирь („Богатая Сибирь, наклоньшися надъ столами“)... Но въ особенности я былъ благодаренъ учителю русскаго языка за то, что онъ на всё эти темы заставлялъ насъ писать „сочиненія“, въ которыхъ я съ гордою настойчивостью употреблялъ выраженія въ родѣ: „стольный градъ“, „стоigny“, „дружина“, „стягъ“ и проч.

И по какому-то странному психическому процессу всё эти признательности сердца приурочивались мной всецѣло, исключительно — къ Москвѣ. Даже Святославъ, Ольга, Владиміръ неразрывно связывались съ представленіемъ о Москвѣ, хотя, разумѣется, они и въ мысляхъ держать не могли, что гдѣ-то на сѣверѣ, въ отдаленномъ будущемъ, явятся „собиратели“, и будутъ, подобно Гоголевской Коробочкѣ (съ значительной впрочемъ примѣсю Чичиковской изобрѣтательности), класть въ одну кучу и медь, и пухъ, и сушеные грибы, и даже мертвыя души. Хорошъ былъ стольный городъ Новгородъ, но онъ омрачилъ себя вѣчевою неурядицей; еще лучше былъ стольный городъ Кіевъ, но и онъ омрачилъ себя, подпавъ подъ иго иновѣрца; одна Москва ничѣмъ себя не омрачила, и за это удостоилась высшей въ мірѣ награды: именовать сыновъ своихъ „питомцами славы“ (тогда мнѣ казалось, что званіе это представляетъ собой что-то въ родѣ общедоступнаго камеръ-юнкерства, для полученія котораго не требуется протекціи).

Москва! какъ много въ этомъ словѣ

Для сердца русскаго слилось!

— всечасно восклицалъ я, и опять, по тому же странному психическому процессу, рядомъ съ этими стихами припоминались мнѣ и слова великаго князя Святослава: *не посрамимъ земли русскія, но ляжемъ костьми, мертвые бо срама не имуть!*

Умремъ! ляжемъ костями!—вотъ слова, которыя пламенемъ горѣли въ моей благодарной душѣ, какъ будто и тогда уже чувствовалось, что смерть есть единственное въ своемъ родѣ благо, которому предназначено въ будущемъ освобождать „питомцевъ славы“ отъ узы срама.

Мой культъ въ Москвѣ былъ до того упоренъ, что устоялъ даже тогда, когда ради воспитательныхъ цѣлей (а больше съ тайной надеждой на легкое полученіе чина титулярнаго совѣтника) я долженъ былъ, по волѣ родителей, переселиться въ Петербургъ. И тутъ продолжала меня преслѣдовать Москва, и всегда находила во мнѣ пламеннаго и скорога заступника своихъ стогновъ. Я до сихъ поръ не могу забыть споровъ о томъ, гдѣ больше кондитерскихъ, въ Москвѣ или въ Петербургѣ, и тѣхъ вопіющихъ натяжекъ, которыя я долженъ былъ дѣлать, чтобъ отстоять хотя въ этомъ отношеніи славу „порфиросной вдовы“ передъ выскочкой Петербургомъ. Я припоминалъ и о кондитерской Тени на Арбатѣ, и еще о какой-то кондитерской у Никитскихъ воротъ, и благодаря тому, что политическіе мои противники игнорировали бѣольшую часть равносильныхъ кондитерскихъ, которыми изобиловали Мѣщанскія, Мастерскія, Офицерскія и проч., выходилъ изъ споровъ побѣдителемъ. Этого мало: когда мы, москвичи (а насъ было въ „заведеніи“ довольно), раздѣзжались лѣтомъ на каникулы, то всякій разъ, приближаясь къ Москвѣ, требовали, чтобъ дилижансъ остановился на горкѣ, вблизи Всесвятскаго, затѣмъ выдѣзали изъ экипажа и цѣловали землю, воспитавшую столько отставныхъ корнетовъ, въ просторѣчій именующихъ себя „питомцами славы“.

Такъ шло дѣло вплоть до упраздненія крѣпостного права. Я вышелъ изъ „заведенія“, поступилъ на службу, и, какъ говорится, жилъ—не тужилъ. Себя называлъ „питомцемъ славы“, а на отечество и его исторію смотрѣлъ съ точки зрѣнія маневровъ Ходынскаго поля. Быть можетъ, читатель не повѣритъ, но это было именно такъ: будучи уже балбесомъ лѣтъ двадцати-пяти, я все еще сны наяву видѣлъ. Россія представлялась мнѣ мѣстороженіемъ сказочныхъ витязей, „прекрасныхъ, гордыхъ, величавыхъ“, а исторія ея—какимъ-то свѣтозарнымъ кругомъ, въ которомъ княженія смѣняли другъ друга, не оставляя послѣ себя ничего, кромѣ славы.—Слава! слава! слава!—восторженно твердилъ я наяву и во снѣ:

Грозные полки идутъ,  
 Золотое вьется знамя,  
 На штыкахъ играетъ пламя,  
 Ба—ррабаны громко бьютъ,  
 Гррромко бьютъ! \*)

И что еще удивительнѣе,—все это не мѣшало мнѣ въ то же время и „заблуждаться“, что въ ту пору (да, кажется, и теперь) было строго воспрещено. Вотъ какъ странно перебиты и перепутаны были тогдашнія сновидѣнія „питомцевъ славы“!

Даже тогда, когда подъ стѣнами Севастополя совершилась великая искупительная жертва, и когда, вслѣдъ затѣмъ, въ обществѣ начали ходить слухи о предстоящихъ реформахъ—и тогда я не вдругъ освободился отъ угнетавшаго меня угара, но все продолжалъ вѣрить, что никакія силы въ мірѣ, никакое волшебство не въ состояніи разжаловать меня изъ „питомцевъ славы“ въ непомнящіе родства (а о пришествіи „червонныхъ валетовъ“ я даже и не подозрѣвалъ). Ничто не казалось страшнымъ потому тѣхъ витязей, которые менѣе полувѣка тому назадъ побывали въ Парижѣ и всю Европу наполнили громами побѣдъ и славы. Реформы!—но вѣдь это только добавочный лучъ къ тому солнцу славы, въ которомъ мы, „питомцы славы“, и безъ того искони утопали! Реформы!—вѣдь это лишь новый вариантъ на тему „разумѣйте языцы“, которая и прежде, съ юныхъ лѣтъ, составляла излюбленное содержаніе нашихъ сновидѣній! Надъ чѣмъ же тутъ задумываться? И я не только не задумывался, но отвлеченная лучезарная точка зрѣнія и на этотъ разъ осталась во мнѣ преобладающею. Ничто практическое, будничное не смущало паренія моей мысли. Мысль сдѣлалась нетерпѣливою, нервной; она даже не довольствовалась единичною какою-нибудь реформою, но стремилась впередъ и впередъ, прозрѣвая въ близкомъ будущемъ цѣлый рядъ преуспѣяній. Сперва—воля крестьянамъ, потомъ—воля вину, затѣмъ—начатки самоуправленія; хочешь—чини мосты, хочешь—пѣтъ; хочешь—на паромѣ переѣзжай, хочешь—вплавь переправляйся!—и, наконецъ, открытыя настезъ двери въ суды: придите

\*) Стихи эти принадлежатъ покойному поэту Ершову. Не могу впрочемъ сказать навѣрное, дословно ли правильно цитирую я эти стихи, но ежели и есть неточность, то она совершенно ничтожна.



и судитесь, сколько вмѣстить можете! Все это уже заранѣе прозрѣвала моя мысль, и все это именно такъ и случилось...

Свершилось! добрая вѣсть о паденіи крѣпостного права зъ одинъ день облетѣла всю Россію. Самоотверженность, съ которою „питомцы славы“ принесли на алтарь отечества свои „права“ (теперь я позабылъ, въ чемъ они состояли, но тогда не только помнилъ, но даже по пальцамъ ихъ перечислялъ), наполняла меня гордостью, а безграничныя перспективы, которыя при этомъ открывались, приводили въ восторгъ. Всѣ художественныя инстинкты моей души были разомъ взбуждены; я не загадывалъ, не примѣривалъ, не опредѣлялъ, я только метался. Въ увлеченіи своемъ я даже того не понималъ, что мои новые восторги служатъ косвеннымъ укоромъ моимъ старымъ восторгамъ. Я былъ такъ радъ, что могу, наконецъ, говорить, что дѣйствительно говорилъ много и съ убѣжденіемъ, говорилъ съ утра до вечера, волнуясь, радуясь, негодуя... Но чтѣ всего ужаснѣе и чего я въ то время совсѣмъ не замѣтилъ — по мѣрѣ того, какъ „разговоръ“ овладѣвалъ мною, я совершенно нечувствительно договаривался, договаривался и, наконецъ, договорился до того, что началъ изображать прежнюю „славу“ въ нѣсколько смѣшномъ видѣ.

Клянусь, я сдѣлалъ это „такъ“, безъ яснаго разумнія, но во всякомъ случаѣ это была очень горькая ошибка съ моей стороны. „Смѣшной видъ“ — вещь очень опасная, особливо если онъ служить подспорьемъ для подкрѣпленія восторговъ и притомъ является орудіемъ въ рукахъ „питомца славы“, и безъ того одержимаго художественными инстинктами. „Смѣшной видъ“ беретъ человѣка въ полднѣ и иногда сразу рѣшаетъ споръ, надъ которымъ не худо бы и призадуматься. Притомъ, прибѣгнувъ къ „смѣшному виду“, я вовсе не рѣшался расчитаться съ прошедшимъ и выйти изъ заколдованнаго круга отвлеченныхъ понятій о „славѣ“; нѣтъ, я упорно пребывалъ все въ томъ же кругѣ, но только безконечно расширилъ предѣлы его. „Слава“ попрежнему продолжала оставаться моимъ девизомъ и питать мои идеалы, но слава до того уже лишенная границъ, что я не могъ ни указать на центръ ея, ни опредѣлить ея содержанія иначе, какъ съ помощью сопоставленій и картинъ. Вотъ тутъ-то и сослужило мнѣ службу прошлое, но уже не въ видѣ примѣра для подражанія, а въ формѣ архивной справки, въ которой все, и слогъ, и содержаніе, — все представляло сплошной „смѣшной видъ“.

Не знаю, надѣялся ли я при этомъ сохранить за собой наименованіе „питомца славы“, но, кажется, что не только надѣялся, но даже во имя этого наименованія и творилъ чудеса критики и разоблаченія. Откровенія сыпались за откровеніями. Сколько вѣковъ мы твердили о силѣ — и оказались слабыми; сколько вѣковъ мнили себя богатыми — и оказались бѣдными. А между тѣмъ и богатство, и сила состояли въ всякихъ сомнѣній (иначе на чемъ же основывалось бы наше представленіе о „славѣ“?), но только неизвѣстно было, гдѣ, въ какихъ нѣдрахъ они лежатъ. Свиданіе Святослава съ Иоанномъ Цимисхіемъ не давало по этому предмету никакихъ разъясненій, а потому гораздо болѣе цѣлесообразнымъ представлялось свиданіе кабатчика Антошки Стрѣлова съ лабазникомъ Осипомъ Ивановымъ Деруновымъ. Ужъ они-то навѣрное знаютъ, гдѣ раки зимуютъ! Стрѣловъ! Деруновъ! Прожженные! Идите и проповѣдите, како на обухѣ рожь молотить!

Все это было и великодушно, и „славно“, а отчасти даже и справедливо. Но какимъ образомъ я не догадывался, что, возлагая на Стрѣлова, Дерунова и прочихъ „непомнящихъ“ обязанность строить будущую славу Россіи, я тѣмъ самымъ устранилъ самого себя отъ всякаго участія въ строительствѣ — этого я рѣшительно не беруся объяснить. Послѣдствія доказали однакожъ, что „смѣшной видъ“, вмѣстѣ съ незнаніемъ, въ какихъ нѣдрахъ скрываются сила и богатство Россіи, были первымъ шагомъ къ обезличенію „питомцевъ славы“, и что за симъ, какъ ни упорны были ихъ усилія продолжать именовать себя таковыми, но въ ближайшемъ будущемъ ихъ уже ждала иная кличка, болѣе соотвѣтствующая „смѣннымъ“ вѣніямъ времени а именно кличка „червонныхъ валетовъ“.

Дальнѣйшимъ испытаніемъ моихъ представленій о „славѣ“ явились выкупныя свидѣтельства. Не могу не сознаться, что даже въ самый разгаръ моихъ симпатій къ меньшей братіи надежда на выкупныя свидѣтельства никогда не оставляла меня. Языкъ говорилъ: „до послѣдней капли крови!“ а тайный голосъ шепталъ: „дадутъ же однако что-нибудь!“ И дѣйствительно выкупныя свидѣтельства были отпечатаны, и я не имѣлъ силы отказаться отъ нихъ! Не могъ же однако я не понимать, что самоотверженность, эта обязательная спутница „славы“, по самому существу своему, безвозмездна! И не настолько же я неразуменъ, чтобы рассчитывать на такое счастливое стеченіе

обстоятельствъ, которое поможетъ мнѣ и капиталъ пріобрѣсти, и „славу“ соблюсти!

И какъ диковинно мы — не я одинъ, а всѣ мы, „питомцы славы“ — поступили съ этими выкупными свидѣтельствами! Одни, увлекшись ученіемъ объ искусствѣ на обухѣ рожь молотить, накупили плуговъ, молотилокъ, вѣялокъ, въ чаяніи утратить ими нѣдра земли; другіе, болѣе вѣрные чистымъ принципамъ „славы“, раздѣлили выкупную ссуду по равной части между трактирами: Московскимъ, Новотроицкимъ и Саратовскимъ. То была послѣдняя вспышка доказать, что представленіе о „славѣ“ еще не умерло, но сколько было по этому случаю выпито водки — про то знаетъ только грудь да подолека!

Во всякомъ случаѣ, ни армія, ни флоты, ни кадетскіе корпуса, однихъ словомъ, ничто изъ всего цикла учрежденій, составлявшихъ когда-то необходимую обстановку „славы“ — при этомъ не выиграли. Изъ цѣлой массы выкупныхъ свидѣтельствъ ни одного клочка не было дано на поддержаніе славы дѣйствительной, той, которая дозволяла намъ съ полнымъ основаніемъ восклицать: „съ нами Богъ! никто же на ны!“ Все сполна было истрачено на покунку устрашающихъ машинъ, тотчасъ же оказавшихся негодными, и на безчисленное количество рюмокъ водки, на днѣ которыхъ все больше и больше выяснялся образъ „червоннаго валета“ съ бубновымъ тузомъ на спинѣ.

Эти первыя эмансипаціонныя рюмки привели за собой множество другихъ. Вслѣдъ за крестьянскою волею объявлена была воля вину, и въ природѣ произошло нѣчто неслыханное. Ни взятіе Хотина, ни сраженіе подъ Синопомъ не производили такихъ восторговъ. Безконечный лиризмъ охватилъ большихъ и малыхъ, сильныхъ и слабыхъ. Слѣпыя прозрѣли, чающіе движенія воды взяли подъ мышку одръ и на рысяхъ побѣжали въ кабакъ. Даже торжественныхъ одъ не предстояло надобности сочинять, потому что каждый кабакъ, въ эту всерадостную минуту, былъ самъ по себѣ воплощенной торжественной одой, освобождавшей „питомцевъ славы“ отъ непосильныхъ витійственныхныхъ упражненій.

„Поврежденіе нравовъ“, признаки котораго были уже замѣчены при первыхъ выдачахъ выкупныхъ свидѣтельствъ, пріобрѣло тѣмъ большую яркость, что усложнилось поврежденіемъ умовъ. Пьяный лиризмъ, охватившій сердца при извѣстіи о паденіи откуповъ, мало-



по-малу улегся и уступилъ мѣсто пьяному эпосу. Создалось особое пьяное ремесло, тяжелое, мрачное, отъ котораго пахло самоубійствомъ. Прежде люди предавались кутежамъ, какъ бы отбывая повинность молодости и въ расчетъ со временемъ остепениться; теперь—они дѣлались пьяницами на вѣкъ безъ всякой надежды на вытрезвленіе. Прежде при словѣ: „пьяница“ — воображенію представлялось нѣчто въ родѣ особеннаго сословія, ряды котораго преимущественно наполнялись между приказными; теперь это названіе сдѣлалось всесословнымъ, почти всенароднымъ. Въ такомъ положеніи застали насъ земскія учрежденія.

Но такъ какъ подъ вліяніемъ „упоительныхъ напитковъ“ мы уже не могли въ это время отличить воды отъ суши, дороги отъ забора, то очевидно, что подобная же неясность должна была закраситься и въ наши понятія о своемъ и чужомъ. Начали пропадать земскія деньги. Ничто не спасало: ни коллегіальные порядки, ни контроль властей, ни замки. Отъ „хладныхъ финскихъ скалъ до пламенной Колхиды“, повсюду слышалась одна и та же, до назойливости однообразная пѣсня: „унесли!“ Правда, что и тутъ еще замѣчались проблески представленія о „славѣ“ — унесенныя деньги, собственно говоря, не были украдены, а только раздѣлены поровну между трактирами: Патрикѣвскимъ, Лопашовскимъ и Эрмитажемъ—но за эти проблески начали уже сажать въ тюрьму.

„Червонный валець“ созрѣлъ, вышлифовался и выработался окончательно...

И что всего прискорбнѣе—мѣстороженіемъ его оказалась та самая Москва, сыны которой еще такъ недавно съ гордостью именовали себя „питомцами славы“. Оставалось только ждать толчка, который выдвинуть бы это пороженіе новыхъ вѣяній времени изъ укромныхъ угловъ, въ которыхъ оно скрывалось, и представилъ на судъ публики въ цѣломъ рядѣ существъ, изнемогающихъ подъ бременемъ праздности и пьяной тоски, живущихъ со дня на день, лишенныхъ всякой устойчивости для борьбы съ жизнью и не признающихъ иныхъ жизненныхъ задачъ, кромѣ удовлетворенія вождельній минуты.

Обязанность эту приняли на себя новые гласные суды.

## II.

Что такое воръ? какого рода художественный образъ представляет собой человѣкъ, имѣющій о чужой собственности понятія, очевидно, недостаточныя и запутанныя? въ какой формѣ могутъ установиться отношенія между „воромъ“, съ одной стороны, и обывателями и полиціей, съ другой?—вотъ вопросы, которые на первомъ же шагѣ встрѣчаютъ современнаго человѣка при вступленіи на поприще жизни.

Классическія традиціи отвѣчаютъ на эти вопросы довольно опредѣленно, но какъ-то черезъ-чуръ ужъ голо и непремѣнно съ подчеркиваніемъ. Для классиковъ не существовало той сложности мотивовъ, которая нынче, какъ свои пять пальцевъ, извѣстна самому простодушнѣйшему изъ прокуроровъ и адвокатовъ. Сверхъ того, классики, въ своихъ представленіяхъ о ворѣ, строго придерживались принципа словесности: доблестями высшаго разбора (вѣрность, самоотверженіе, любовь къ престолу и проч.), и таковыми же пороками (измѣна, коварство, кровосмѣшеніе и т. д.) надѣляли особъ высшаго сословія, а доблестями и пороками низшаго разбора—надѣляли чернь.

Со словомъ: „воръ“—классическое преданіе соединяло понятіе, не имѣющее ничего общаго съ идеей о „питомцѣ славы“. Воръ представлялся чѣмъ-то отвратительнымъ, заклеяннымъ самой природой. Фаталистически осужденный на присвоеніе чужой собственности, онъ, въ согласность съ этимъ предопредѣленіемъ, такъ и устраивалъ всю свою жизнь. Дѣтство и отрочество употреблялъ на то, чтобы изощрить природенную склонность къ воровству непрерывными практическими упражненіями; когда же приходилъ въ совершенный разумъ, то дѣлалъ изъ нея для себя ремесло. Понятно, что при подобномъ художественномъ воззрѣніи на вора, нельзя было вообразить себѣ его иначе, какъ въ видѣ человѣка, непрерывно ворующаго, очень часто излавливаемаго, заключаемаго въ участковый клоповникъ и, по недостатку уликъ, обратно оттуда для воровства выпускаемаго. Словомъ сказать, если вѣрить классическимъ воззрѣніямъ, воръ есть членъ особенной касты, имѣющей резиденціи: въ Петербургѣ—въ домъ Вяземскаго, въ Москвѣ—въ домъ Шипова; человѣкъ, постоянно живущій подъ угрозой переломанія реберъ, ради кошелька, нерѣдко заключающаго въ себѣ не больше двухъ двугривенныхъ, и, несмотря

на эту угрозу, бессознательно влекущийся къ этому кошелку, единственно во имя цѣлей, составляющихъ провиденціальное его назначеніе. На картинкахъ вора писали (и нынѣ нерѣдко такъ пишется) очень типично: въ подлой, запятанной одеждѣ, въ рваныхъ сапогахъ, съ гнусной фізіономіей, явственно говорящей о принадлежности къ низкому званію и испещренной ссадинами и синяками, съ понурыми взорами, хищнически устремленными на чужой карманъ, съ руками, свидѣтельствующими о цѣпкости и проворствѣ, которое было бы выше всякихъ похвалъ, еслибъ примѣнялось на пользу ближнему, и которое награждается карой закона и тумаками частныхъ лицъ, коль скоро примѣняется къ взлому запертыхъ помѣщеній. Таковъ классическій образъ вора,—образъ до того незатѣливый и строго опредѣленный, что самый простодушный изъ будочниковъ могъ прямо отыскать его въ толпѣ, взять за шиворотъ и вести въ участковый клоповникъ.

Классическія представленія о „мошенникѣ“ хотя нѣсколько тоньше, но тоже далеко не исчерпываютъ всей полноты содержанія этого типа. Классическій „мошенникъ“ уже смотритъ опрятнѣе. Онъ прилично одѣтъ и, судя по наружному виду, успѣлъ выбиться изъ „простого званія“. Вотъ уступка, которую сдѣлало классическое воззрѣніе относительно людей этой корпораціи. За то во всѣхъ прочихъ отношеніяхъ мошенникъ такъ незрѣло, почти по-дѣтски скомпонованъ, что питать къ нему довѣріе нѣтъ никакихъ средствъ. Увѣрять въ этого человѣка можетъ только или слѣпенькая старушка, которая любитъ, чтобъ ей оказывали небольшія услуги, безвозмездно, ради одной почтительности, или очень молоденькая дѣвица, только-что кончившая культурное воспитаніе, для которой и то уже благо, что не успѣла она на улицу выйти, какъ ужъ на встрѣчу ей кавалеръ идетъ. Но люди мало-мальски одаренные здравымъ смысломъ сейчасъ же замѣтятъ: а) что у мошенника платье хотя и „хорошее“, но все-таки поношенное, съ чужого плеча; б) что лицо у него не безъ намѣренія нарисовано на-перекоски; и в) что ноги выгнуты колесомъ, ступни несоразмѣрно длинны, а руки безъ перчатокъ и красны, какъ у лапчатого гуся. Сверхъ того, ни одинъ художникъ-классикъ никогда не отказывалъ себѣ въ удовольствіи надѣлать „мошенника“ озирающимся видомъ, который такъ и говоритъ: а вотъ погодите, какую сейчасъ съ вами штуку сыграю. Очевидно однакожъ, что ни-



какой онъ штуки не сыграеть, ибо съ озирающимъ видомъ и вывернутыми ногами никто его до большого дѣла не допуститъ. Напротивъ того, обыватель самый смиренный—и тотъ, насмотрѣвшись вдоволь на классическаго „мошенника“, не только не устрашится, но улыбнется и скажетъ:—хорошъ „мошенникъ“, но это не тотъ, которому суждено когда-нибудь надуть меня!

Классическое представленіе о казнокрадѣ уже значительно полнѣе, и причина этому очень понятная: самое занятіе казнокрадствомъ предполагаетъ извѣстную внѣшнюю облагороженность. На картинкахъ, посвященныхъ изображеніямъ казнокрады, мы по бѣльшей части встрѣчаемъ жуира, съ полнымъ брюшкомъ, предвѣщающимъ толкъ въ кушаньяхъ и винахъ, съ заплывшими, но лукаво смѣющимися глазками, съ нѣсколько маслянымъ (все-таки признакъ подлога происхожденія!), но открытымъ лицомъ, на которомъ написано безграничное гостепріимство. Вообще говоря, концепція эта и остроумна, и не лишена жизненной правды: но все дѣло портитъ тотъ исключительно провіантско-коммиссаріатскій характеръ, который слишкомъ уже густо ложится на всю обстановку картины. Зачѣмъ, напримеръ, эти лампадки, которыя горять передъ образами въ дорогихъ окладахъ? зачѣмъ этотъ уголъ окованнаго сундука, выглядывающій изъ глубины картины? зачѣмъ эти ключи, которыми вооружены руки казнокрады, въ знакъ того, что онъ сейчасъ только опустил украденное сокровище на дно сундука и теперь благодаритъ своего Создателя за ниспосланный ему насущный хлѣбъ? Все это, коли хотите, довольно затѣйливо, а быть можетъ даже и умно, но умно какъ-то по-дѣтски. Вамъ нужно видѣть „всего“ человѣка, а вы видите только профессиональную, провіантскую его обстановку, да и то не всю, а только ту часть ея, за которую казнокрадъ несомнѣнно долженъ пойти подъ судъ. Невольно приходитъ на умъ вопросъ: неужели это кругленькое брюшко составляетъ необходимое послѣдствіе и какъ бы тавро казнокрадства? неужели этотъ человѣкъ только тѣмъ и занимается, что опускаетъ въ сундукъ украденное сокровище, и потомъ, совсѣмъ по-дурачки, благодаритъ Создателя, держа въ рукахъ ключи? Нѣтъ, это не такъ. Навѣрное у него есть семейство, въ которомъ онъ являетъ себя примѣрнымъ мужемъ и отцомъ; есть начальники, относительно которыхъ онъ являетъ себя примѣрнымъ исполнителемъ предначертаній и почтительнымъ подчиненнымъ; есть

подчиненные, между которыми въ двухъ словахъ сложилась его репутація: „строгъ, но справедливъ“; есть пріятели, быть можетъ, даже вовсе непричастные казнокрадству, которые его любятъ, потому что онъ во всякое время готовъ „одолжить“. Наконецъ, онъ служить гласнымъ въ городскомъ или земскомъ собраніяхъ, состоитъ членомъ благотворительныхъ обществъ, и во всѣхъ этихъ собраніяхъ и обществахъ его мнѣніе имѣетъ вѣсъ, какъ согласное съ обстоятельствами дѣла и притомъ почти всегда либеральное. Конечно, *должны быть* у него минуты, когда онъ прячетъ украденное сокровище, но, во-первыхъ, для этого, по нынѣшнему времени, совсѣмъ не нуженъ окованный сундукъ, а во-вторыхъ, это именно только *минуты*, и притомъ до того исключительныя, что ихъ-то навѣрное никто у него подмѣтить не могъ. Странное дѣло! даже жена казнокрада досконально не знаетъ, откуда идетъ добыча и какъ она велика, и только догадывается, что Богъ нѣчто послалъ, а художникъ, изволите видѣть, все видитъ и знаетъ! Да и не только думаетъ, что знаетъ, а такъ-таки прямо и рекомендуетъ почтеннѣйшей публикѣ: вотъ, дескать, человекъ, который сейчасъ укралъ!

Такая простота въ обращеніи съ внутреннимъ естествомъ человека свидѣтельствуетъ о несомнѣнной и великой простотѣ нравовъ. Времена процвѣтанія классическихъ традицій, очевидно, совпадали съ миеологическимъ золотымъ вѣкомъ, когда, съ одной стороны, не существовало науки о томъ, какъ на обухѣ рожь молотить, а съ другой—не было ни выкупныхъ свидѣтельствъ, а слѣдовательно и поврежденія нравовъ, ни вольной продажи сивухи, а слѣдовательно и поврежденія умовъ. Мошенники дѣйствовали просто, то-есть ловили обывателей арканами, а ихъ столь же просто брали тогдашніе будочники за шиворотъ и отправляли въ часть.

Нынѣ хищничество всѣхъ видовъ и формъ (вотъ чтò значитъ примѣсь элемента „питомцевъ славы“: даже новое слово — „хищникъ“ — придумали, взамѣнъ стараго и столь опредѣленнаго слова: „воръ“!) до того усложнилось, или, лучше сказать, слилось съ всевозможными ремеслами, изъ которыхъ одни положительно ставятся въ примѣръ благонамѣренной дѣловитости, другіе же хотя и не ставятся въ примѣръ, но слывуть въ обществѣ подъ именемъ милыхъ шалостей, — что даже очень тонкій наблюдатель врядъ-ли сумѣетъ въ точности опредѣлить, гдѣ кончается благонамѣренность и гдѣ на-

чинается „хищничество“. Я, по крайней мѣрѣ, нимало не буду удивленъ, ежели будочники усомнятся, какъ имъ въ данномъ случаѣ поступать, т.-е. брать ли воровъ за шиворотъ, согласно указаніямъ до-реформенной практики, или дѣлать подъ козырекъ, согласно съ правилами вѣжливости, установившимся вслѣдствіе вольной продажи вина? Въ самомъ дѣлѣ, это очень трудно, ибо все въ данномъ случаѣ запутано, темно, загадочно. Кто знаетъ, быть можетъ, въ образѣ какихъ-нибудь арканщиковъ скрываются совсѣмъ не мошенники, а упраздненные іомудскіе и каракалпакскіе принцы (ихъ развелось такъ много, благодаря успѣхамъ русскаго оружія), которые, ловя арканами обывателей, выражаютъ этимъ способомъ тоску по родинѣ и утраченному величію? или, быть можетъ, это какіе-нибудь „питомцы славы“, которые, во имя „славы“, вчера размѣняли въ Москвѣ, въ гостинницѣ „Крымъ“, послѣднія выкупныя свидѣтельства, а сегодня, преслѣдуемые тѣмъ же представленіемъ о „славѣ“, нагрянули на беззащитныхъ обывателей, дабы, обременивъ себя добычею (вѣдь всѣ заправскіе средневѣковые рыцари такъ поступали), вновь возвратиться въ гостинницу „Крымъ“ и тамъ уже окончательно утонуть въ лучахъ солнца славы, то есть предварительно попасть въ острогъ, а оттуда, быть можетъ, и въ мѣста не столь отдаленныя?

Вотъ эта-то всесословность дѣйствій, предвидѣнныхъ такими-то статьями уложенія о наказаніяхъ, и представляетъ собой источникъ великой современной полицейской скорби. Дѣло идетъ не объ томъ, какъ поступить съ мошенникомъ низкаго званія, съ гнусною фізіономіей и въ запятнанномъ пальто (какого можно и должно прямо брать за шиворотъ), а о томъ, какъ подойти къ тоскующему іомудскому принцу, о помолвкѣ котораго съ дочерью концессіонера Губошлепова на дняхъ объявлено, или къ „питомцу славы“, еще вчера дирижировавшему танцами на балу у предводителя дворянства?

Но этого мало: современное воровство, утративъ кастовый характеръ и страннымъ образомъ перепутавшись съ благонамѣренностью, пошло и еще далѣе, усложнилось до того, что сдѣлалось неосязаемымъ, не допускающимъ мысли ни о поличномъ, ни объ отвѣтчикѣ. Господа „арканчики“ слишкомъ добры: ихъ арканы все-таки еще могутъ отъ времени до времени фигурировать на столѣ вещественныхъ доказательствъ въ залѣ засѣданій суда; но что сказать объ арканѣ духовномъ, который видимо и недосыгаемо паритъ надъ совре-



меннымъ человѣкомъ и въ то же время самымъ реальнымъ и грандіознымъ образомъ заявляетъ о своихъ хищническихъ свойствахъ? кто этотъ новоявленный, загадочный „воръ“? какіе отличительные его признаки? какія мѣры представляетъ жизнь для обороны противъ него?

На эти вопросы ни современный судъ, ни современная жизненная практика, ни современное искусство просто-на-просто не даютъ никакого отвѣта. Судъ хотя и выбрасываетъ ежедневно въ публику цѣлую массу фактовъ, но самъ, въ большинствѣ случаевъ, дѣйствуетъ на основаніи классическихъ традицій, т.-е. караетъ „мерзавца“ завѣдомаго и нимало не разъясняетъ представленія о „мерзавцѣ“ невидимомъ, но всѣми явственно уже чувствуемомъ. Жизнь и искусство успѣли взбуроражить сомнѣнія, пробудили въ современномъ человѣкѣ чувство тупого безпокойства, но въ концѣ концовъ тоже указали только на пустое пространство...

Классическія традиціи упразднены, какъ недостаточныя и, видимо, не удовлетворяющія современному уровню цивилизаціи, а новыхъ ученій о „новомъ воровствѣ“ не издано, кромѣ развѣ упомянутаго выше ученія о томъ, какъ на обухѣ рожь молотить, каковое однажды тоже въ счетъ нейдетъ, потому что признается не только неззорнымъ, но и обѣщающимъ несмысленные прибыли для тѣхъ, кто принялъ твердое намѣреніе слѣдсовать его указаніямъ. Такимъ образомъ все утрачено: и надежда спокойно спать, положивши деньги на текущій счетъ, и руководящая нить въ различеніи мазуриковъ, которые украдутъ лишь *столько, сколько успѣютъ*, отъ такихъ, которые, какъ говорится, не оставляютъ и синь-пороха, да, сверхъ того, заставятъ бесплодно метаться и звать: „Господи, да чтожь это! да какимъ же это образомъ... все, все, все!“

Воспитанный въ лонѣ классицизма, я до сихъ поръ относился къ сословію воровъ поверхностно и въ различеніи ихъ руководился исключительно наружными признаками. Я не боялся ни за мой кошелекъ, ни за мою шкатулку, ибо былъ увѣренъ, что куда я живу въ мирѣ съ будочникомъ, который вообще мною завѣдуетъ—онъ оградитъ меня во всѣхъ путяхъ моихъ! Онъ знаетъ, говорилъ я себѣ, всѣхъ воровъ, не только по наружному виду, но и по имени и отчеству, и стало бытъ ежели воръ полѣзетъ ко мнѣ ночью въ окно, то онъ крикнетъ: „Эй, Ванька! сегодня въ этомъ домѣ не воруй, а во-

руй вонъ тамъ, по сосѣдству!“ Но теперь, когда внѣшніе признаки перепутались и стерлись, когда воруютъ не по ночамъ, а среди бѣла дня, когда воръ-мошенникъ, какъ каста, пересталъ быть опаснымъ, а явился угрозой, въ видѣ тонкаго начала, насыщающаго атмосферу, когда сами будочники остановились въ недоумѣніи передъ величіемъ реформы, превратившей „питомца славы“ въ „червоннаго валета“ — признаюсь, я струсилъ!

Каждый день вынимаю я изъ шкатулки послѣднее мое выкупное свидѣтельство, смотрю на него и никакъ не могу взять въ толкъ, мнѣ ли оно принадлежитъ, или какому-то Иксу, котораго я даже назвать по имени не могу. Мысль эта до такой степени мутитъ меня, что иногда просто хочется, чтобъ у меня поскорѣе украли это злосчастное выкупное свидѣтельство. Вѣдь сравнительно это все-таки болѣе благоприятный исходъ, нежели покончить жизнь въ духовномъ арканѣ, брошенномъ вѣрною, но невидимую рукою!

Представленіе объ этомъ духовномъ арканѣ, разжигаемое почти ежедневными повѣствованіями газетъ то о „червонныхъ валетахъ“, то о банкротствахъ самыхъ несомнѣнныхъ столповъ, сдѣлалось до такой степени обыкновеннымъ, будничнымъ, почти обязательнымъ, что незамѣтно вошло въ мой ежедневный обиходъ.

Я присутствую на балѣ, смотрю на выходы милыхъ молодыхъ людей, которые такъ ловко танцуютъ и такъ убѣдительно объясняютъ своимъ дамамъ, между второй и третьей фигурами кадрили, что прелюбодѣяніе есть одна изъ привлекательнѣйшихъ формъ современнаго общежитія—и не могу свободно отдаться наслажденію, которое возбуждаетъ во мнѣ и эта ловкость, и эти умные разговоры, и этотъ соединенный блескъ свѣчей и женскихъ бюстовъ. Мысль, что у меня лежитъ въ карманѣ бумажникъ, и что покуда я зѣваю по сторонамъ, а этотъ очаровательный юноша дѣлаетъ въ пятой фигурѣ соло, онъ, этотъ бумажникъ, словно волшебствомъ можетъ очутиться совсѣмъ въ другомъ карманѣ—эта горькая мысль отравляетъ всѣ мои радости. Конечно, я не только не имѣю прямыхъ основаній указать на кого-либо изъ этихъ обворожительныхъ молодыхъ людей, какъ на причину этой отравы, но даже самому себѣ сознаться въ своей подозрительности стыжусь—но и за всѣмъ тѣмъ не могу унять расходившагося чувства самосохраненія, не могу не страдать! И зачѣмъ только я этотъ бумажникъ съ собой бралъ! въ сотый разъ мысленно укоряю я себя:—

оставилъ бы его дома... Но вѣдь и дома... ахъ, какъ отлично поддѣлываютъ нынче ключи! точно ассигнаціи или векселя; и не узнаешь фальшиваго отъ настоящаго!

Другой случай. Я прихожу въ Казанскій соборъ, съ твердымъ намѣреніемъ испросить себѣ „ангела вѣрна“, безъ котораго, по нынѣшнему строгому времени, шагу ступить нельзя. Но едва начинаю я заводить глаза и отлагать житейское попеченіе, какъ рядомъ со мной становится почтеннаго вида мужчина, на котораго я невольно заглядываюсь. Онъ такъ благообразенъ въ ореолѣ своихъ сѣдинъ, такъ скромно вошелъ въ Божій храмъ и сталъ на мѣсто, такъ смиренно поклонился на все стороны, такъ вкусно сотворилъ первое крестное знаменіе и затѣмъ съ такимъ сердечнымъ сокрушеніемъ палъ на колѣни, что я просто-на-просто думаю: вотъ милый старикашка! чай, и грѣхи-то у него куриные, а онъ такъ безпокутитъ себя! Подумавши это, я, конечно, вновь обращаюсь къ молитвѣ, и помаленьку опять начинаю отлагать житейское попеченіе. И вдругъ чувствую, что меня что-то кольнуло въ бокъ. Въ сущности, однакожь, меня ничто не кольнуло, а только вспомнилось, что въ карманѣ моемъ лежитъ бумажникъ. Опять эта проклятая идея! И гдѣ же, въ виду кого! Въ виду этого почтеннаго, благообразнаго, убѣленнаго сѣдинами мужчины, который... Каюсь: я сто разъ, тысячу разъ неправъ; но развѣ терзанія, которыя я въ эту минуту испытываю, не служатъ достаточнымъ возмездіемъ за несправедливыя подозрѣнія, которыя родились во мнѣ при видѣ благоговѣйно склонившагося старца?

Третій случай. Я сижу въ итальянской оперѣ и въ ожиданіи поднятія занавѣса думаю: такъ какъ мы, „питомцы славы“, рождены для вдохновеній, то ужъ теперь-то я до-сыта наслушаюсь соловьиныхъ трелей, которыя изведутъ мою душу изъ темницы паскудной дѣйствительности и перенесутъ ее въ міръ „сладкихъ звуковъ и молитвъ“. Но едва раздались первые аккорды увертюры, какъ я уже ощущаю безпокойство, сначала смутное, а потомъ все болѣе и болѣе отчетливое, и опять-таки преимущественно сосредоточивающееся около того пункта, гдѣ находится мой бумажникъ. Я начинаю озираться (вотъ кому приличествуетъ озираться, господа классики! не мошеннику, а тому, который имѣетъ основаніе трепетать передъ мошенником!), я не могу спокойно сидѣть на мѣстѣ и безпрестанно вглядываюсь въ фізіономію моихъ сосѣдей по креслу. Я отлично пони-



маю, что въ эту минуту и въ этомъ мѣстѣ бояться мнѣ нечего — и все-таки боюсь. Не реального чего-нибудь, а волшебства. Зачѣмъ я его взялъ съ собой! тоскливо спрашиваю я себя:—вѣдь здѣсь нуженъ только двугривенный, чтобъ отдать за сохраненіе шубы... и эта шуба, ахъ, эта шуба, гдѣ-то она теперь! Между тѣмъ аккорды, одинъ другого слаще, слѣдуютъ своимъ чередомъ. Занавѣсь безшумно взвивается, и цѣлый громъ рукоплесканій возвѣщаетъ, что началось производство трелей. Но я ничего не слышу, все думаю: а что, если этотъ старичокъ, у котораго глаза бѣгають и носъ крючкомъ—что, если онъ и есть тотъ самый волшебникъ и магъ, который въ совершенствѣ постигъ тайну обращать чужіе кредитные рубли въ старую газетную бумагу и, наоборотъ, свою собственную газетную бумагу—въ кредитные рубли? Гонимый этою мыслью, я съ трудомъ досаживаю до конца перваго дѣйствія, и едва успѣваетъ застыть въ воздухѣ послѣдняя трель, какъ я уже вскакиваю съ кресла и бѣгу въ корридоръ: шуба! гдѣ моя шуба!?

Наконецъ четвертый случай: я захожу въ гастрономическую лавку. Я облюбовалъ фунтъ семги и фунтъ винограду; товаръ мой уже свѣшенъ и завернуть—остается, стало быть, заплатить и уйти. Но едва протянулась моя рука къ карману, въ которомъ лежитъ мой бумажникъ, какъ я припоминаю, что мнѣ слѣдуетъ уплатить всего какихъ-нибудь рубль пятьдесятъ копѣекъ, а въ бумажникѣ у меня цѣлыхъ сто рублей. Между тѣмъ въ лавкѣ людно, одинъ покупатель смѣняетъ другого, во всѣхъ углахъ раздается чавканье, и нѣтъ никакой надежды, чтобъ этотъ гомонъ хоть на минуту перемелжился. Я тревожно всматриваюсь въ пеструю толпу и рѣшительно ничего не могу различить. Всѣ люди какъ люди, у всѣхъ лица одинаково напоминаютъ стертые пятиалтынные стараго чекана, ни на одномъ не написано: „сія фізіономія принадлежитъ вору“, но ни на одномъ однакожь не видно и яснаго ручательства, что чужой кошелекъ—святыня! И вотъ я рѣшаюсь выждать, пока толпа отольетъ; жду полчаса, жду часъ. Это становится настолько оригинальнымъ, что приказчики начинаютъ отъ времени до времени взглядывать на меня, а одинъ даже довольно развязно напоминаетъ: „вотъ, господинъ, ваша покупка!“ Но я все еще крѣплюсь, перехожу отъ одного лакомства къ другому, словно надумываюсь, что бы еще купить, какъ вдругъ въ публикѣ происходитъ шопоть, и до ушей моихъ долетаетъ странное слово, отъ

котораго краска бросается мнѣ въ лицо. Наконецъ старшій приказчикъ подходитъ ко мнѣ и говорить:

— Господинъ! коли ежели вы дѣйствительно... такъ извольте взять ваши покупки за *благодарность* и пожалуйста въ слѣдующій магазинъ!

Представьте себѣ! и публика, и приказчики приняли меня за шп... то-бишь, за члена торговой полиціи!

Положимъ, что моя подозрительность преувеличена до болѣзненности; положимъ, что подъ вліяніемъ процесса московскаго есуднаго банка и рассказовъ о подвигахъ „червонныхъ валетовъ“ я сдѣлался нервень, раздражителень; но вѣдь не все же въ моихъ опасеніяхъ представляется плодомъ разстроеннаго воображенія! есть же и въ нихъ какое-нибудь реальное основаніе, коль скоро они до того неотступно преслѣдуютъ меня, что доводятъ почти до состоянія ясновидѣнія! Да и одного ли меня? О, ты, читающій эти строки, ты, отъ рожденія своего безопасно думавшій, что жизнь среди „питомцевъ славы“ навсегда освобождаетъ тебя отъ обязанности заператься на ключъ и спускать шторы всякій разъ, какъ приходится вынимать деньги на расходъ кухаркѣ — развѣ не вопіялъ ты на всѣ лады: „караулъ! унесли!“ — когда, подобно трубному звуку, разразилась надъ тобой вѣсть о крушеніяхъ московскаго банка, Баймакова, Лури и проч.? Развѣ не метался ты, восклицая въ безсильномъ недоумѣніи: „да какъ же это! да неужто же въ самомъ дѣлѣ! да почему же, наконецъ, правительство, начальство, полиція“?!.. Не клялся ли ты, что впредь никогда, никогда?..

Да, основаніе для опасеній есть, и притомъ не фиктивное, а вполне реальное. Спрашивается однакожь: въ какомъ положеніи долженъ находиться принципъ собственности, когда со всѣхъ сторонъ несетя одинъ и тотъ же вопль, когда одинъ и тотъ же трепеть обуялъ всѣ сердца? Что онъ носрамленъ и поруганъ — въ этомъ, конечно, нѣтъ сомнѣнія, но чтѣ всего жестче — онъ посрамленъ и поруганъ не одними „червонными валетами“, но и мною съ тобой, благосклонный читатель. Ибо и мы съ тобою не по поводу принципа собственности вопіемъ и мечемся, а исключительно по поводу того, что *у насъ* украли столько-то рублей. Такъ что еслибы *у насъ* украли въ десять разъ меньше, мы въ десять разъ меньше же метались бы, а еслибы украли только гривенникъ, то пожалуй даже и пошутили

бы: вотъ такъ дуракъ! на гривенникъ польстился! А вѣдь по настоящему-то это не такъ; по настоящему, мы должны метаться не только за себя и за други своя, но и преимущественно за принципъ. Вотъ какъ мечутся, напримѣръ, прокуроры — безмездно, но въ чаяніи повышенія, и адвокаты гражданскихъ истцовъ — за опредѣленное по цѣнѣ иска вознагражденіе.

Предположимъ впрочемъ, что принципъ собственности еще какъ-нибудь да прорвется сквозь облаву, устроенную „червонными валетами“, и найдетъ себѣ охрану въ сводѣ законовъ (вѣдь тамъ, собственно говоря, и находится дѣйствительное его мѣстожительство), но что навѣрное и на многіе годы останется посрамленнымъ и лишеннымъ всякой охраны — это человѣческая мысль, додумавшаяся, подъ гнетомъ испуга, до серьезнаго убѣжденія, что отнынѣ вся задача человѣческаго существованія должна быть сосредоточена на защитѣ рубля.

Вопли, наполняющіе вселенную, по поводу волшебныхъ исчезновеній рубля, не только назойливы своимъ однообразіемъ, но и прямо паскудны. Мало того, что у меня „отнимаютъ“, но еще заставляютъ ломать голову надъ вопросомъ: откуда наскочило это отнятіе? Да и этого мало: положительнымъ образомъ удостовѣряютъ, что и завтра повторится тотъ же процессъ отнятія, а за нимъ и опять послѣдуютъ тѣ же тщетныя усилія выбиться изъ-подъ гнета вопросовъ: какъ, зачѣмъ, почему? И такимъ образомъ будто бы пройдетъ вся жизнь. Эти скверные вопросы оцѣпили все мое существованіе, взяли въ полонъ мою душу, отъучили меня мыслить, отбили отъ дѣла, отъ всего, что сообщало моей жизни мало-мальски порядочный смыслъ. Я — маленькій человѣкъ, но если мнѣ суждено съ каждымъ днемъ все больше и больше сокращать мою порцію, то я хочу, по крайней мѣрѣ, знать, ради чего наслано на меня это насильственное сокращеніе и какъ называется та бездна, которая притягиваетъ къ себѣ всѣ соки и ничего назадъ не отдаетъ?

Да, это именно бездна, а не лично тотъ или другой „червонный валетъ“. „Червонный валетъ“ подвернулся тутъ только для прилику, какъ *corpus delicti*, къ которому можно привязаться, чтобъ отвести глаза и приличнымъ образомъ выйти изъ затрудненія. Съ единичнымъ червоннымъ валетомъ не трудно управиться (да и управляются: всѣ мѣста не столь отдаленныя кишатъ этою новою чело-



вѣческою разновидностью), но противъ *неумиращаго червоннаго валета* — я безсиленъ. Въ виду этой неумираемости я долженъ сложить оружіе. Ибо я не могу *существовать*, если въ умѣ моемъ безвыходно мечется мысль, что на меня ежеминутно откуда-то надвигается нѣчто загадочное, непредвидѣнное, могущее въ конецъ меня подорвать. Я не могу ни предусматривать, ни производить, ни накоплять, ни распредѣлять — зачѣмъ? для чего? Къ чему ведутъ все извороты и усилія ума, на что нужны трудъ, талантъ, аккуратность, умѣренность, если завтра, сейчасъ, черезъ мигъ покажется изъ-за угла медузина голова и...

Я знаю, что когда этотъ мигъ настанетъ, когда все уже совершится, тогда явится прокуроръ и приметъ мой хладный прахъ въ свое завѣдываніе. Онъ все взвѣситъ, все разберетъ и за все отомститъ. Отомститъ — кому? Лично вотъ этому червонному валету, который унесъ у меня столько-то рублей? Помилуйте! да неужто же я до того мелоченъ, непонятливо золъ, чтобъ не уразумѣть, что во всей этой исторіи червонный валець ни при чемъ, что онъ только вещественный знакъ тѣхъ неличныхъ отношеній, передъ которыми самыя похвальныя усилія прокуроровъ и ихъ товарищей разобьются, какъ волна разбивается о гранитный утесъ?

Но допустимъ даже, что я мелоченъ и золъ и что личная месть могла бы удовлетворить меня; однако и этотъ крохотный результатъ едва-ли ужъ такъ несомнѣнно-достижимъ, какъ это можно предположить съ перваго взгляда. Легко сказать: прокуроръ отомститъ, но вѣдь не сдло же онъ будетъ выдѣлывать на судъ, а выйдетъ на встрѣчу ему адвокатъ, вынетъ изъ кармана святое евангеліе (онъ ужъ съ недѣлю назадъ его въ синодальной лавкѣ кушилъ и все рылся: „плевелы... плевелы... плевелы... а! вотъ, наконецъ, нашель!“) и проклянетъ часъ своего рожденія, убѣждая вселенную вообще и господъ присяжныхъ въ особенности, что истинный виновникъ постигшаго меня умертвія не сей „питомецъ славы“, велѣніями судебъ превратившійся въ червоннаго валета, а я самъ, дуракъ и простофиля, введшій его въ соблазнъ.

Кто устоитъ въ неравномъ боѣ?

## III.

Тоска! некуда дѣваться, не къ чему приступиться, не объ чемъ думать! Стучаться въ запертую дверь — безплодно; ломиться въ нее — надорвешь силы. Вышла-было линія — воровать, да и та повернулась не на пользу, а по направленію къ скамьѣ подсудимыхъ. Даже коренные, прожженные хищники — и тѣ удивляются: воруютъ, а никакъ-таки наворованное къ рукамъ пристать не можетъ — все, словно сквозь сито, такъ и плыветъ, такъ и плыветъ... куда?

— У меня, братъ, третьяго-дня деньги унесли, — говорю я вмѣсто привѣта входящему ко мнѣ Глумову.

— А у меня вчера унесли, — привѣтствуетъ меня и онъ въ свою очередь.

— У меня Сидоръ Кондратьичъ унесъ, а у тебя кто?

— У меня? а прахъ ихъ знаетъ! Говорятъ на Ивана Иваныча, да я не вѣрю. Впрочемъ и ты, любезный другъ, на Сидора-то Кондратьича клеветьешь, кажется.

— Какъ клеветьешь! Сказываютъ, что за день передъ тѣмъ, какъ объявиться, онъ сто тысячъ унесъ, веселый такой былъ!

— Не въ томъ дѣло. Вѣдь и мой Иванъ Иванычъ третьяго-дня уйму денегъ унесъ, а сегодня все-таки ни ему, ни семьѣ его жрать нечего!

— Чортъ знаетъ однако, что ты говоришь! Куда же онъ-денги дѣвалъ?

— Угадай, любезный, подумай! Ты вѣдь любишь помечтать на тему: кабы у бабушки... ну, и потрудись!

— Да и тебѣ, пожалуй, не мѣшаетъ подумать!

— Нѣтъ, братъ, я давно ужъ думать оставилъ. Живу просто... ну, живу — и шабашъ!

Глумовъ остановился противъ меня, пристально взглянулъ мнѣ въ глаза и заплѣлъ: — Ah! ah! que j'aime, que j'aime les milimilitairrrres!

— Вотъ какъ я нынче живу! — прибавилъ онъ: — и вчера въ „Буффѣ“ былъ, и сегодня Гранье пойду слушать! Люблю, братецъ, я, люблю эту французскую безпардонность, ибо подобіе земного нашего странствія въ ней вижу!

Но шутка Глумова даже улыбки не вызвала на мое лицо. Я —

человѣкъ аккуратный и счетъ деньгамъ знаю. Сверхъ того, я понимаю (очень многіе этого не понимаютъ, а женщины — сплошь и рядомъ), что если у меня нѣтъ въ карманѣ расходныхъ денегъ, то мнѣ, пожалуй, и обѣдать не дадутъ. Такъ что ежели я, проснувшись утромъ, замѣчаю исчезновеніе дробы, которую я наканунѣ вечеромъ считалъ закономъ предоставленною мнѣ собственностью, то это меня огорчаетъ. А тутъ, представьте себѣ, не дробы, а прямо цѣлыя числа пропадаютъ, обращаются въ нули — каково же должно быть мое огорченіе! Да вдобавокъ еще — начнешь жаловаться, вопіять, а тебѣ въ упоръ плоскія шутки отпускаютъ: говорятъ, что Сидоръ Кондратьичъ здѣсь ни при чемъ! Вѣдь покуда я былъ увѣренъ, что третьеводнишнія мои деньги именно Сидоръ Кондратьичъ укралъ — все-таки какъ-то легче мнѣ было! Думалось: можно будетъ и поприжать молодца! посидить съ мѣсяць въ Тарасовкѣ (я ужъ въ общую складчину и на кормовыя пожертвовалъ) — смотришь, анъ копѣечекъ по десяти и выдавить изъ себя! А еще съ мѣсяць посидить — и еще копѣечекъ по десяти выдавить! Помаленьку да полегоньку, да съ Божьею помощію, въ одномъ мѣстѣ давнута, а въ другомъ діагностику сдѣлають — гляди, полтина-то и набѣжала! Полтина... вѣдь это почти кушъ! Полтина... гр... однакожь только полтина! а другая-то полтина куда же дѣвалась?

Должно быть, много скорби вылилось на моемъ лицѣ подѣ влияніемъ этихъ думъ (въ особенности же послѣдней), потому что даже чертвое сердце Глумова тронулось моимъ горемъ.

— Копилъ, чай? — сказала онъ голосомъ полнымъ участіемъ.

— Какъ же, братецъ! Жена, дѣти... предусматривалъ тоже... чортъ знаетъ что такое! Теперь пристають: „вотъ, папаша, всегда вы такъ дѣлаете!“ А прежде приставали: „папаша! да отчего же вы Сидору Кондратьичу вашихъ денегъ не отдадите? вѣдь онъ на текущій счетъ изъ восьми процентовъ беретъ!“

— Да, другъ, понимаю я это: тяжело! Давеча утромъ, ни свѣтъ ни заря, ко мнѣ совсѣмъ неизвѣстный генералъ прибѣжалъ; я еще спалъ, такъ разбудить велѣлъ. Выхожу: — что вашему превосходительству угодно? спрашиваю. „Помилуйте! говоритъ: дѣдуша мой копилъ, батюшка покойникъ копилъ, я самъ... да-съ, самъ-съ! копилъ-съ! И вдругъ какой-то проходимецъ въ одну минуту все это въ трубу выпустилъ!“ И весь, знаешь, трясется, брызжетъ, руками



машеть: „до Государя, говорить, дойду!“ — Жаль, говорю, что ваше превосходительство такъ, въ одинъ мигъ... да я-то тутъ при чемъ? — „А вы, говорить, тоже въ числѣ кредиторовъ значитесь, такъ не угодно ли на кормовыя пожертвовать, чтобъ ему, негодяю, впредь неповадно было?“

— Ты... подписалъ?

— И не подумалъ. Ивана-то Иваныча — въ долговое?! Этакато умнѣйшаго, обстоятельнѣйшаго... словомъ сказать, финансиста?! Вѣдь я десять лѣтъ сряду въ него какъ въ Провидѣніе вѣровалъ! въ церковь не ходилъ — все къ нему! шептался съ нимъ! перемигивался! душу передъ нимъ выкладывалъ! Иной разъ на сотню выложишь, въ другой — на цѣлую тысячу! И чтобъ я сталъ мины подъ этого человѣка подводить! Напротивъ! я все утро сегодня убѣждалъ, что первый нашъ долгъ — объ семьѣ его позаботиться... и убѣдилъ!

— Ну, нѣтъ! мы своего Сидора Кондратьича запрятали-таки. И я на кормовыя подписался.

— Чтожъ — и это ничего! правильно! Вы „правильно“ поступили, а мы — великодушно! Но ни мы, ни вы одинаково ничего не получимъ. За то, кабы ты видѣлъ, какой въ немъ, въ Иванѣ-то Иванычѣ, переворотъ вдругъ сдѣлался, когда онъ объ рѣшеніи-то нашемъ узналъ! Все воровство вдругъ соскочило, одно просвѣтленіе осталось! И слезы-то, и смѣется-то, и губы трясутся, и кланяется (руки однако не протягиваетъ: понимаетъ, что недостойнъ), и лепечетъ... „Все, говорить, вся моя жизнь, все до послѣдней капли крови — все отнынѣ принадлежитъ кредиторамъ! И ежели, говорить, я всего, до послѣдней копѣйки... о, Господи!“

— Тес... А кто его знаетъ, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ отдасть!

— Нѣтъ ужъ, чтѣ ужъ! Я, братъ, говорилъ съ нимъ объ этомъ. — Вотъ, говорю, дружище, въ новую жизнь вступаешь! „Въ новую“, говорить. — Вѣдь это, говорю, все равно, что снова съ коллежскаго регистратора начинать... трудно! А впрочемъ не ропщи: ежели съ усердіемъ да съ терпѣніемъ — пожалуй, и опять въ тайные совѣтники произведутъ! — „Ахъ, говорить, не для себя я, а для господъ кредиторовъ... Господи! кабы только силы да разумнѣя!“ И вдругъ — опять слезы, опять губы трясутся, опять просвѣтленіе. — Отдашь? говорю. „Вотъ какъ передъ Истиннымъ!.. какъ на исповѣди, такъ

такъ очевидно, такъ осязательно, что фигура его, подробно описанная газетными репортерами, такъ и металась у меня передъ глазами. Полянскій—тотъ, по крайней мѣрѣ, заплакалъ, а Ландау...

— Нельзя такъ! нельзя! нельзя! нельзя! — почти грозно восклицалъ я.

— Чудакъ ты, братецъ! Вдругъ закричалъ — точно изъ ляписнаго раствора промывательныя ему поставили! А ты образумься, пойми! вѣдь и у твоего Сидора Кондратьича, небось, на молочишко осталось, такъ чтожъ: копѣчку на рубль тебѣ получить хочется?

— Нѣтъ, тутъ не объ копѣчкѣ рѣчь, а о принципѣ! Нельзя такъ! нельзя!

— Нельзя да нельзя — что нельзя-то?

— Воровать нельзя! запрещается воровать! Да-съ, запрещается-съ!

— Запрещается—а воруютъ! Нѣтъ, ужъ ты выйди лучше на площадь, закричи „карауль“ — можетъ и полѣгчить!

Слова эти какъ будто отрезвили меня, но не вдругъ однако. Нѣ-которое время утроба моя еще колыхалась, и я совершенно явственно слышала, какъ въ ней урчало: нельзя! Но такъ какъ я человѣкъ впечатлительный, то минуты черезъ двѣ мнѣ ужъ самому казалось нѣсколько страннымъ, съ чего я вдругъ такъ разгорячился. Какъ будто и въ самомъ дѣлѣ до того ужъ меня ущемило оттого, что на дняхъ какія-нибудь три-четыре цифры, по недоразумѣнью, обратились въ нули! Пожалуй, со стороны могутъ еще подумать, что я жадный... Я-то жадный! Я-то!.. да вотъ у меня выкупное свидѣтельство осталось — два ихъ было, да одному Сидоръ Кондратьичъ на дняхъ другое назначеніе далъ — ну, хотите, я это самое выкупное свидѣтельство сейчасъ же, сію минуту...

На мое счастье, Глузовъ прервалъ теченіе моихъ мыслей и не далъ совсѣмъ уже созрѣвшему порыву самоотверженія вылетѣть изъ груди.

— Ну, вотъ, теперь у тебя восторженность какая-то въ лицѣ явилась! — сказалъ онъ: — опять, должно быть, художественную картину воспроизвелъ!

— Ахъ, отстань, пожалуйста! преевратительная это у тебя привычка — выраженіе лица подглядывать!

— Зачѣмъ подглядывать — прямо видно! Пары держу, что еще

минута, и ты закричалъ бы: „человѣкъ! шампанскаго!“ Ну-ну, не сердись, не буду! Ты объ „червонныхъ валетахъ“ имѣешь понятіе?

— Знаю.

— Такъ вотъ, по моему, отличнѣйшій наглядный примѣръ. Полянскій, Ландау—это, положимъ, загадочные люди, а въ „червонныхъ валетахъ“ даже загадочности никакой нѣтъ. Все извѣстно: и сколько наворовали, и гдѣ сколько истратили—все есть! Только одного не видать: какимъ образомъ тысячные документы въ десяти-рублевыя бумажки превращались.

— Ну, какъ не видать!

— Именно не видать. Укралъ онъ, положимъ, облигацію, или документъ въ тысячу рублей выманилъ—ну, извѣстно, первымъ долгомъ въ трактиръ навѣдался, документъ за буфетъ размѣнять послалъ, просидѣлъ три-четыре часа за полштофомъ—смотритъ, анъ у него въ рукѣ только десятирублевая бумажка зажата! Ну, и опять, стало быть, завтра воровать надо!

— Наѣлъ да напилъ, можетъ быть?

— Нѣтъ, и этого не было, потому что у нихъ вѣдь водка главную роль играетъ—куда же тутъ тысячу разсорить! А такъ вотъ: одинъ взялъ съ него куртажныя, другой—за „поворованное“ учель (какъ прежде за постоянное да за полежаемое брали) третій—за то взялъ, что у такихъ парней и Богъ не велѣлъ много денегъ оставлять; четвертый—за то, что воровъ князьями да графами величалъ; пятый—за то, что въ участокъ не препроводилъ... Такъ она и разошлась, вся тысяча-то, словно невидимый духъ ее разнесъ.

— Да, но ты все-таки можешь объяснить себѣ, куда она разошлась. Эти первый, второй, третій, которыхъ ты сейчасъ назвалъ,—все-таки они воспользовались!

— Нѣтъ, они не воспользовались, потому что и съ каждымъ изъ нихъ та же исторія завтра повторится. Опять пойдутъ и куртажныя, и за „поворованное“, и за величаніе... А послѣ-завтра ужъ съ тѣхъ возьмутъ, которые вчера взяли... А выйдетъ на повѣрку, что изъ тысячи-то рублей—на сто, много на двѣсти пропито да проѣдено, а прочее все на различныя невещественныя статьи изведено.

— Такъ что въ результатѣ окажется, что воръ для того только и воруетъ, чтобъ издержки воровства покрыть? Это что-ли ты хочешь сказать?



— Именно. А сверхъ того еще и то, что ежели бы воры понимали, изъ-за какой малости они беспокоятъ себя, такъ, право, девять-десятихъ изъ нихъ давно бы эту привычку кинули.

— Да ты никакъ даже жалѣешь ихъ?

— Да, заправскихъ воровъ, тѣхъ, которые со взломомъ или безъ взлома, но во всякомъ случаѣ рискуютъ своими боками и заранѣе знаютъ, что не попасть имъ въ мѣста не столь отдаленныя нельзя, — тѣхъ жалѣю. А объ тѣхъ, которые крадутъ невидимо, которые занимаются только тѣмъ, что мой рубль, съ Божьею помощью, обращаютъ въ полтинникъ, — объ тѣхъ ничего не говорю: еще не вникъ.

— А по моему такъ и въ заправскомъ ворѣ ничего достойнаго симпатіи нѣтъ.

— Ремесло у него тяжелое — вотъ чтò. Украсть на полтинникъ, а измучиться на сто рублей — развѣ это не каторга? Особенно ежели кто еще не забылъ, что онъ въ благородномъ пансіонѣ воспитаніе получилъ.

— Напримѣръ, твой Иванъ Ивановичъ?

— А какъ бы ты думалъ! Вотъ я тебѣ давеча говорилъ, что у него даже руку кредиторамъ подать смѣлости не хватаетъ, — у него, которому, не дальше, какъ третьяго-дня, стоило только пальцемъ поманить, чтобъ вся эта ватага, сложивши на груди руки крестомъ, въ умиленіи внимала, какъ онъ, понюхивая табачокъ, бормочетъ: купить-продать, продать-купить! Нѣтъ, прѣпасть еще въ немъ совѣсти, прѣпасть! Ужъ по одному этому, по одной этой несмѣлости ты можешь угадывать, какую онъ ночь долженъ былъ провести накануне того дня, какъ ему „объявиться“ пришлось! Чай и дѣтство-то все, и невинность вся прошла, и папенька, и маменька, и первая любовь (онъ за „нею“ двадцать тысячъ взялъ, и тутъ же ихъ, вмѣстѣ съ прочими, ухнулъ) — все, все передъ глазами его пронеслось! Это ужъ не художественные инстинкты исполошились, а кровь, собственная кровь заговорила! И прибавь къ этому: онъ даже не украсть, въ строгомъ смыслѣ слова, а только не оправдалъ довѣрія... Почему же онъ совѣстится и держать себя такъ, какъ будто въ самомъ дѣлѣ украсть?

— Да, да, въ благородномъ пансіонѣ воспитывался, похвальные листы получалъ... Вотъ и червонные валеты, и они тоже...

— И ихъ двѣ трети изъ „питомцевъ славы“ — знаю я это. Помнишь Дмитріева:

Твои сыны, питомцы славы,  
Прекрасны, горды, величавы,  
А дѣвы — розами цвѣтутъ?

— Какъ же! Какъ же! Передъ приходомъ твоимъ только-что вспомнилъ! А помнишь ли, какъ ты послѣдній стихъ передѣлалъ: *И двоекъ розами сткнутъ?*.. Видно, мы ужъ съ малолѣтства „славу“ — то въ смѣшномъ видѣ любили представлять?

— Ну, что было, то прошло. Нынче ни того, ни другого ужъ нѣтъ: ни дѣвы розами не цвѣтутъ ни дѣвокъ розгами не сѣкутъ. Развѣ подъ пьяную руку на Козихѣ, да и то — что за радость, какъ на мировую пятьдесятъ рублей сдерутъ!

— Да, некрасивая это штука — червонные валеты, и нездоровится отъ нея „питомцамъ славы“! А для меня, признаюсь, еще того прискорбиѣе, что на скамьѣ подсудимыхъ опять будутъ фигурировать дѣти Москвы. Давно ли сидѣли струсберговцы; давно ли гремѣли адвокаты, доказывая, что они-то и суть излюбленные люди, дѣти Москвы, и что иныхъ дѣтей Москва отнынѣ и производить не можетъ — и вотъ, точно еще недоставало для полноты картины — опять дѣти, да вдобавокъ еще... червонные валеты!

— И замѣть, что если относительно струсберговцевъ нужно было еще доказывать, что они — дѣти Москвы, то тутъ даже доказательствъ никакихъ не потребуется. Прямо валяй стихами:

Въ какомъ ты блескѣ нынѣ зрима!

Всякій присяжный засѣдатель чутьемъ пойметъ.

— И представь себѣ, что вѣдь это та самая Москва, которая впервые собрала Русь...

— А теперь собираетъ „червонныхъ валетовъ“? — представляю! Но, во-первыхъ, такому городу, который самъ себя называетъ „сердцемъ Россіи“, надо же что-нибудь собирать; а во-вторыхъ, опять-таки повторяю: я и вообще ничего противъ господъ воровъ не имѣю, а червонныхъ валетовъ — даже люблю. Русскіе парни! душевные, разымчатые! Не мошенничество у нихъ на первомъ планѣ, а выдумка и смѣшной видъ — гдѣ, въ какой другой странѣ ты это найдешь? И притомъ скромны... ну, право же скромны! украдетъ

красенькую, четвертную — и будет! И сейчас же спишитъ изъ этой красенькой удѣлить рубль тому, кто его графчикомъ назоветъ. Спроси-ка объ нихъ у трактирныхъ половыхъ, у извозчиковъ — всѣ въ одинъ голосъ скажутъ: „душевные господа, первый сортъ господа!“ Нѣтъ! Право... не знаю, какъ ты, а я чѣмъ больше съ ними знакомлюсь, тѣмъ чаще говорю себѣ: хорошо съ такими парнями недѣлку-другую пожить — утѣшать!

— Ну, меня не особенно къ нимъ тянетъ!

— Это оттого, что ты въ Петербургѣ засидѣлся, освѣжаться рѣдко ѣдишь. А въ сущности, чтѣ такое Петербургъ? — тотъ же сынъ Москвы, съ тою только особенностью, что имѣетъ форму окна въ Европу, вырѣзаннаго цензурными ножицами. Особенность, можетъ быть, и полезительная, да живетъ при ней какъ-то ужъ очень невесело.

— А по твоему лучше въ Москвѣ? по твоему весело, какъ надъ тобой, какъ надъ дуракомъ, утѣшаются, да тутъ же, съ хохотомъ и съ визгомъ, и существованіе твое кстати подрываютъ?

— Дуракомъ никому не весело быть — это я знаю; да вѣдь не въ томъ и задача веселыхъ русскихъ „выдумокъ“, чтобъ „дураку“ было весело, а въ томъ, чтобъ вотъ у нихъ, разымчатыхъ парней, сердце играло, да и посторонніе чтобъ не очень обижались, что въ ихъ глазахъ съ прохожаго человѣка пальто снимаютъ. Русскій человѣкъ любитъ смѣшной видъ и многое за него прощаетъ — какъ ты хочешь, а что-нибудь это да значить!

— А именно?

— Да хоть бы то, что русскій человѣкъ не видитъ мірового событія въ явленіи, которое само по себѣ ломанаго гроша не стоитъ; не кричитъ, не мститъ, не хранитъ затаенной злобы, а можетъ быть даже — инстинктивно, разумѣется, — связываетъ съ этимъ явленіемъ своего рода внутренній вопросъ... Согласись самъ, можно ли сердиться, напимѣръ, на такую выдумку, объ которой я на дняхъ отъ одного москвича слышалъ. Встрѣчается червонный валетъ въ трактирѣ или въ другомъ публичномъ мѣстѣ съ иностранцемъ, и, разумѣется, какъ малый общительный, вступаетъ съ нимъ въ разговоръ. Не забудь, что червонный валетъ хоть и „воръ“, но это отнюдь не мѣшаетъ ему быть обворожительнымъ молодымъ человѣкомъ. Манеры у него — прекрасныя, разговоръ — текуцій, и при этомъ такія обстоя-



тельные свѣдѣнія о Москвѣ, объ ея торговлѣ, богатствахъ, нравахъ, обычаяхъ и проч., которыя прямо свидѣтельствуютъ о всестороннемъ и очень добросовѣтномъ изученіи. Иностранецъ тѣмъ болѣе очарованъ, что съ этими манерами и свѣдѣніями соединяется безграничный досугъ и чисто славянская готовность услужить, успокоить челоѣка, находящагося вдали отъ родины, среди чужихъ. Мало-по-малу— конечно, не въ одинъ и не въ два дня— очарованіе приноситъ желаемый плодъ: иностранецъ, въ свою очередь, дѣлается изліятельнымъ. Происходитъ обмѣнъ мыслей, произносятся жалобы на обиліе за границей капиталовъ, дѣлающее помѣщеніе ихъ до крайности затруднительнымъ, и въ результатѣ оказывается, что Россія есть единственная въ мірѣ благословенная страна, въ которой капиталъ безъ труда (ежели не украдутъ) можетъ приносить очень серьезный процентъ. Какъ только разговоръ установился на этой почвѣ, такъ червонный валетъ ужъ смотритъ на своего собесѣдника какъ на „фофана“. И вдругъ— мысль! продать этому „фофану“ казенныя присутственныя мѣста. Сказано — сдѣлано. Весь клубъ червонныхъ валетовъ въ движеніи: одинъ бѣжитъ къ экзекутору присутственныхъ мѣстъ и предупреждаетъ его, что на дняхъ его посѣтитъ знатный иностранецъ, интересующійся вопросомъ о чижовкахъ вообще и московскихъ въ особенности; другой—наскоро нанимаетъ помѣщеніе и устраиваетъ въ немъ псевдо-нотаріальную контору; третій—спѣшитъ щегольнуть такими фальшивыми документами, чтобъ лучше настоящихъ были; четвертый — готовится разыграть роль владѣльца-продавца; пятый, шестой—просто радуются и думаютъ: вотъ-то удивится фофанъ! Словомъ сказать, всѣ заняты и всѣмъ весело. Въ назначенный день происходитъ осмотръ; экзекуторъ, какъ истинно-гостепріимный хозяинъ, показываетъ: вотъ чижовка! вотъ еще чижовка! и еще, и еще, и еще чижовка. Червонный валетъ служить при этомъ переводчикомъ, стучить кулакомъ объ стѣну и говорить: „Милордъ! посмотрите, какая толщина!“ Потомъ ѣдутъ къ нотаріусу, получаютъ съ иностранца задаточныя деньги, провожаютъ его въ гостинницу, и затѣмъ—все исчезаетъ. Ни нотаріуса, ни очаровательнаго молодого челоѣка, ни владѣльца дома—ничего. Остаются лицомъ къ лицу экзекуторъ, который еще разъ готовъ казенныя чижовки лицомъ показать, и знатный иностранецъ, который никакъ не можетъ втолковать экзекутору, что онъ этотъ домъ купилъ и надѣется получить на

свой капиталъ не меньше десяти процентовъ... Скажи по совѣсти: будь ты въ числѣ присяжныхъ засѣдателей, неужели ты могъ бы разсердиться на такую „выдумку“?

— Да вѣдь сердиться и не требуется: требуется только сказать, совершено ли мошенничество, о которомъ идетъ рѣчь, или не совершено?

— То-то, что не это одно. Нужно и еще на вопросъ отвѣтить: виновенъ ли такой-то въ совершеніи мошенничества, или невиновенъ?

— Конечно, виновенъ! тутъ и сомнѣнія не можетъ существовать!

Признаюсь, я сказалъ это хоть и бойко, но насколько было въ этой бойкости искренности—это еще вопросъ. Какъ ни страннымъ это можетъ показаться, но рассказъ Глумова о продажѣ зданія присутственныхъ мѣстъ произвелъ во мнѣ нѣкоторое раздвоеніе: съ одной стороны представлялась законопреступность дѣянія, съ другой—выдумка. Ежели первая стояла вѣдъ всякихъ сомнѣній, то вторая.. можно ли, при обсужденіи дѣла, въ которомъ главную роль играетъ „выдумка“, обойти эту „выдумку“? справедливо ли исключить ее изъ счета обвиняемаго? На всякій случай предположите, на примѣръ, что, по безпримѣрной снисходительности суда, въ числѣ прочихъ вопросовъ, предложенныхъ на разрѣшеніе присяжныхъ, значится слѣдующій: „заключаетъ ли въ себѣ выдумка объ отчужденіи зданія казенныхъ присутственныхъ мѣстъ настолько завлекательности, чтобъ заинтересовать людей, коихъ природное веселонравье въ значительной степени возвращено и выхолено въ благородномъ пансіонѣ воспитаніемъ?“—что могутъ отвѣтить на него присяжные?

По моему мнѣнію, тутъ можетъ произойти одно изъ двухъ: или присяжные, убоясь скандала, попросятъ ихъ отъ отвѣта уволить, или же они сойдутъ въ глубины своей совѣсти и, не найдя тамъ ничего, кромѣ веселости, вынесутъ отвѣтъ: „да, выдумка достаточно завлекательна“. Это будетъ, конечно, скандалъ, но скандалъ вѣдъ и въ первомъ случаѣ неминуемъ, потому что самое отступленіе передъ трудностями разрѣшенія доказываетъ ясно, что вопросъ только по формѣ представляется скабрѣзнымъ, а по существу затрогиваетъ самыя чувствительныя струны человѣческаго существованія.

Но—возразитъ мнѣ читатель—присяжные вѣдъ могутъ отвѣтить и такъ: „нѣтъ, ничего завлекательнаго въ выдумкѣ червонныхъ ва-

летовъ не видится“. Да, они несомнѣнно могутъ и такъ отвѣтить, но клянусь, что подобнымъ отвѣтомъ они все-таки отнюдь не избѣгутъ скандала. Ибо, кромѣ официальныхъ присяжныхъ, въ залѣ суда присутствуетъ еще цѣлая толпа присяжныхъ не-официальныхъ, которые навѣрное найдутъ вынесенный приговоръ не только противорѣчащимъ вѣяніямъ времени, но и прямо кляузнымъ. „Суди, да не засуживай!“ — вотъ общій голосъ, который несется на встрѣчу мертворожденному рѣшенію; я, право, не знаю, насколько выиграетъ отъ этого „институтъ“ присяжныхъ.

— И ихъ, разумѣется, поймали? — продолжалъ я, обращаясь къ Глумову.

Разумѣется, поймали, и притомъ со всѣми онѣрами: съ раскаяніемъ, съ разоблаченіями, съ дѣтскими противорѣчіями. Но ты вотъ что сообрази: во-первыхъ, они взяли съ знатнаго иностранца за свою выдумку не больше четырехъ-пяти тысячъ рублей, что, при разверстѣ между членами братства и за исключеніемъ издержекъ, дало не болѣе полутора-двухсотъ рублей на человѣка; во-вторыхъ, они все дѣло вели почти открыто, и не только не замечали своихъ слѣдовъ, но навѣрное отпраздновали свою побѣду надъ „фифаномъ“ самымъ шумнымъ образомъ и притомъ непремѣнно въ такомъ мѣстѣ, куда самая простодушная полиція — и та получила свободный доступъ. Развѣ таковы признаки настоящаго мошенника? Мошенника современнаго закала, на примѣръ, который прямо изъ кармана не воруетъ, а невидимо превращаетъ рубль въ полтинникъ, не оставляя за собой ни поличнаго, ни отвѣтчиковъ, ни даже истцовъ?

— Хорошо, оставимъ на время „червонныхъ валетовъ“. Какое же, по твоему, средство избавиться отъ того невидимаго вора, о которомъ мы сейчасъ упомянули? Какимъ образомъ такъ устроить, чтобъ хоть завтрашній-то день, благодаря ему, не стоялъ передъ нами угрозой?

— Ты это насчетъ того, что-ли, чтобъ завтра было что дать на расходъ кухаркѣ? Ну, на это и безъ экстренныхъ мѣропріятій средства еще найдутся.

— Нѣтъ, ты не шути — тутъ не о кухаркѣ рѣчь, а вообще... Жить сдѣлалось неловко — вотъ что! Деньги — какія-то загадочныя сдѣлались, кредита — нѣтъ... Прежде вотъ „портфель“ былъ, ну,



„балансъ“ тоже, а теперь, сказываютъ, и „портфель“, и „балансъ“ — все потеряли.

— На этотъ счетъ я могу тебя успокоить: обращено вниманіе!

— Слава Богу! Ты развѣ слышала что-нибудь?

— Достоверно знаю. Вчера, какъ изъ собранія кредиторовъ шелъ — Левушку Колѣнцова встрѣтилъ. „Поздравь меня, говоритъ, я ужъ въ Семиозерскъ не ѣду!“ — Что такъ? говорю: то охотился, а теперь вдругъ... „Другая миссія представляется, говоритъ. *Entre nous soit dit*, на дняхъ имѣеть быть возбужденъ... ну, вотъ, насчетъ этого „портфеля“... такъ я“... И назвалъ мнѣ такую миссію, и съ такимъ, братецъ, содержаніемъ, что я отъ удовольствія пальцемъ его прямо въ животъ ткнул!

— Ну, хорошо... ну, будетъ, положимъ, комиссія... что же эта комиссія сдѣлаетъ?

— Да печаль твою развеетъ — и то хорошо. „Портфель“ отыщеть, „балансъ“ подведетъ...

— Поди, чай, опять сто-одинъ томъ „Трудовъ“ издадутъ?

— Ужъ это само собой!

— Прескверная эта привычка у нашихъ комиссій... Да при томъ и „Труды“ — то... Представь себѣ, вѣдь Левушка Колѣнцовъ участіе въ нихъ принимать будетъ!

— Довѣря, что-ли, въ тебѣ онъ не возбуждаетъ? — напрасно! Не знаю, какъ насчетъ „баланса“, а насчетъ „портфеля“ ему Богъ табой разумъ далъ, что онъ любого финансиста за поясъ заткнетъ!

— То-то, что только насчетъ портфеля!

— А ты не торопись! сперва пускай „портфель“ сыщеть, а потомъ догадается, что и безъ „балансу“ нельзя — и „балансъ“ поднесетъ.

— То-то на экономическихъ обѣдахъ радость будетъ! Только, воля твоя, а у меня эти сто-одинъ томъ „Трудовъ“ изъ головы не выходятъ. Покуда они потрошатъ, да соображаютъ, да округляютъ...

— А мы будемъ жить, время проводить. Вотъ объ струсберговцахъ еще забыть не успѣли, а ужъ червонные валеты грядутъ! И не увидимъ, какъ время пролетитъ!

— Но вѣдь ты самъ сейчасъ говорилъ, что въ общественномъ смыслѣ, какъ знаменіе времени, значеніе „червонныхъ валетовъ“ — неважное!

— И все-таки! Конечно, въ громадномъ процессѣ отнятія и исчезновенія, охватившемъ вся и все, роль этихъ молодыхъ людей второстепенная и эпизодическая, но не забудь, что большая часть ихъ еще очень недавно называла себя „питомцами славы“, „дѣтьми Москвы“ и другими звонкими именами, какія нынче даже и адвокату на языкъ не вдругъ взбредутъ. Вѣдь это тоже чего-нибудь да стоитъ! Такъ вотъ ты и займись ими, пока Левушка Колѣнцовъ будетъ „портфель“ и „балансъ“ отыскивать. А о прочемъ не тужи и, главное, не копи денегъ, потому что Сидоръ Кондратычъ, коли захочетъ—все равно отниметъ!

Я рѣшился послѣдовать совѣту Глумова. Хоть я и увѣренъ, что все идетъ къ лучшему въ лучшемъ изъ міровъ, и что не только „портфель“ съ „балансомъ“, но современемъ даже и „стыдъ“ будетъ отысканъ (недаромъ Глумовъ говоритъ: „стыдъ—это главное! покуда „стыда“ не будетъ—ничего не будетъ!“), но въ ожиданіи этихъ благъ время все-таки проводить надо. Такъ я и поступаю. Сегодня—окриляюсь надеждами; завтра—увядаю. Одинъ день читаю въ газетахъ: „усилія г. Колѣнцова повидимому близки къ осуществленію, и есть надежда, что не только портфель будетъ отысканъ, но и балансъ подведенъ“. А на другой день въ тѣхъ же газетахъ читаю: „съ появленіемъ на сцену новыхъ дѣйствующихъ лицъ, гг. Бритнева и Юханцева, надежды г. Колѣнцова разсѣялись какъ дымъ. Портфель вновь исчезъ, и на этотъ разъ, кажется, безвозвратно...“

А время между тѣмъ идетъ да идетъ. И всё, слава Богу, живы.

## Похороны.

Скучно жить на свѣтѣ, господа! \*

*Гоголь.*

Мы уныло шли за траурными дрогами, изрѣдка только перебрасываясь отрывочными замѣчаніями. Быть можетъ, намъ не объ чемъ было бесѣдовать другъ съ другомъ (хотя почти всѣ, составлявшіе печальный кортежъ, были по профессіи литераторы), но, можетъ быть, и самая обстановка, среди которой совершалась погребальная церемонія, располагала къ угрюмой сосредоточенности.

Хоронили Пимена Коршунова, русскаго литератора, не особенно знаменитаго, но и не вовсе безвѣстнаго — такъ, средней руки. Хоронили на счетъ семидесяти-пяти рублей, которые ассигновалъ Литературный Фондъ, предварительно впрочемъ удостовѣрившись, что покойный шилъ водку только передъ обѣдомъ и „не предаваясь“. Стояло хмурое октябрьское утро, но, благодаря наступившимъ морозамъ, на улицахъ было сухо и слегка скользко; низко, почти надъ самыми домами, стояла непроглядная масса сѣрыхъ облаковъ, изъ которыхъ попархивалъ первый снѣжокъ. Близкихъ по крови у Коршунова не было; изъ близкихъ по духу собралось на похороны четыре-пять сотрудниковъ газеты, въ которой, подъ конецъ жизни, участвовалъ покойный. Эти послѣдніе ближе жались къ гробу, но и ихъ горесть формулировалась какъ-то черезъ-чуръ несложно, словно одна только мысль и представлялась уму: „вотъ и умеръ!“ Вообще весь кортежъ состоялъ изъ пятнадцати-двадцати человекъ, разбившихся по группамъ. Всѣмъ было не по себѣ, всѣ шли понуривши голову, какъ будто каждый думалъ: „вотъ скоро надорвусь и я... да и надъ чѣмъ надорвусь!“ Только какой-то проворный газетчикъ, ликуя подъ впечатлѣніемъ успѣшной розничной продажи, порхалъ отъ группы къ группѣ и таинственно сообщалъ всѣмъ, и хотѣвшимъ, и нехотѣвшимъ слушать: „вчера разошлось двадцать-восемь тысячъ нумеровъ!“

На Театральной улицѣ, противъ дома, гдѣ помѣщается цензурное вѣдомство, отслужили литію. Самъ покойный пожелалъ этого, и наканунѣ смерти говорилъ: „пускай хоть по поводу моего пересе-



ленія въ лучшій міръ совершится сближеніе литературы съ цензурой!“ Во время литіи цензурный сторожъ пронесъ въ ворота ведро алыхъ чернилъ, и кто-то громко безъ предварительной цензуры съострилъ: „вотъ писательская кровь, невинно проліянная!“ Но и эта острота ни въ комъ не вызвала отголоска, и затѣмъ кортежъ убійственно-медленнымъ шагомъ потянулся дальше.

Чувство безконечной отчужденности и наготы овладѣвало всякимъ при взглядѣ на эту бѣдную обстановку. Думалось, что везуть какого-то отщепенца, до котораго никому изъ „публики“ дѣла нѣтъ (а онъ именно для „публики“ -то и жилъ, и ради „публики“ безвременно зачахъ и сошелъ въ могилу). Да и своихъ не особенно поражала эта потеря, потому что „свои“ ужъ давно освоились съ могилами. Даже больше чѣмъ просто „отщепенство“ тутъ видѣлось: казалось, что только по ошибочному неизреченному благосердію допущена эта бѣдная церемонія, предметомъ которой служила совершенно особенная и притомъ не вполнѣ безопасная человѣческая разновидность, именуемая русскимъ писателемъ.

По мѣрѣ того какъ дроги приближались къ мѣсту назначенія (Митрофаніевское кладбище), кортежъ, и безъ того немногочудный, постепенно рѣдѣлъ. Одни разбрелись по попутнымъ кондитерскимъ и кухмистерскимъ, обѣщавшись „нагнать“, — и не нагнали; другіе окончательно возвратились по домамъ, мотивируя свое отсутствіе спѣшностью предстоящей срочной работы. У Обводнаго канала оказалось на-лицо не больше шести-семи челвѣкъ, которые прежде не догадались, а теперь ужъ совѣстились. Обстоятельство это однакожъ послужило къ оживленію кортежа; оставшіеся скучились, и бесѣда между ними пошла бодрѣе. Но предметомъ этой бесѣды служилъ не Пименъ Коршуновъ („онъ умеръ“ — этимъ все было сказано), а то, что наболѣло на душѣ у каждаго, что у всѣхъ на памяти свело въ могилу десятки надорвавшихся людей, что каждаго изъ пережившихъ преслѣдовало по пятамъ, устраяя всякую мысль о возможности освободиться когда-нибудь отъ ига жгучей боли.

О, литература! о, змѣя-мачиха всѣхъ этихъ отщепенцевъ! ты, постылая! ты, напоющая оцтомъ и желчью сердца своихъ дѣятелей, ты, ты была предметомъ ихъ внезапно оживившагося собесѣдованія! Много сѣтованій, много гнѣва слышалось въ ихъ рѣчахъ, но еще больше безконечной любви къ постылому ремеслу и какой-то дѣтской

увѣренности, что все-таки только тутъ, на этомъ тернистомъ пути, кипящемъ всевозможными гадами, можно спасти душу.

Разумѣется, начали со слуховъ, имѣвшихъ ближайшее прикосновеніе къ современности. Какое отношеніе можетъ имѣть эта животрепещущая современность къ литературѣ? чего нужно ждать? будетъ ли лучше? Всѣ эти вопросы какъ-то искони фаталистически тяготѣютъ надъ литературой, а по временамъ врываются въ нее съ особенною назойливостью. Натурально, что они перенеслись и сюда. Кто-то изъ собесѣдующихъ высказался, что лучшія времена недалеко и что въ виду этого требуется только осторожность и терпѣніе; но остальные отнесли къ этимъ надеждамъ скептически, хотя терпѣть соглашались, потому что „не терпѣть“ — нельзя. Одинъ даже такой высказался, который прямо объявилъ, что надѣяться можно только на розничную продажу, а больше ни на что; что современные условія литературнаго ремесла таковы, что самое существованіе литературы представляется чѣмъ-то несомвѣстнымъ съ здравыми традиціями о внутреннемъ убѣжденіи; что вообще, если относительно массы смертныхъ принято говорить: „благо живущимъ“, то въ примѣненіи къ русскимъ писателямъ правильнѣе выражаться такъ: „благо умирающимъ, и еще бдльшее благо — умершимъ“. Высказавши это, онъ указалъ рукой на колебавшійся впереди на дрогахъ гробъ, и это напоминаніе невольно вызвало у нѣкоторыхъ чуть замѣтную дрожь.

— Я не говорю уже о томъ, — продолжалъ расходившійся ораторъ: — что мы терпимъ отъ глада и труса, что мы живемъ чуть не въ засадѣ, но мы не знаемъ даже, для чего и для кого мы пишемъ. Кто насъ слышитъ и что извлекаетъ этотъ слышачій изъ обращеннаго къ нему слова? Многіе изъ насъ готовы положить душу (да и дѣйствительно полагають ее) „за други своя“, а кто знаетъ объ этомъ? Кто отличить страстнаго литературнаго труженика отъ легковѣсной литературной балалайки, которая, по случаю распутной подвижности темперамента, готова сватать себя любому проходящему? Кому вдомѣкъ, что гдѣ-то, въ какой-то лишенной свѣта и воздуха литературной норѣ, ежемгновенно совершается жертвоприношеніе, при которомъ сердце истекаетъ кровью и сгараетъ многострадальная писательская душа подъ бременемъ непосильныхъ болей?

Рѣчь эта несомнѣнно страдала нѣкоторыми риторическими преувеличеніями, но сущность ея была небезосновательна. Стали разны-

сбивать: что такое русская публика? изъ какихъ элементовъ она составляется? кто эти прекрасные незнакомцы, ради которыхъ русскій писатель волнуется въ своей конурѣ? Съ какими намѣреніями они подписываются на журналы, покупаютъ книги? что они вычитываютъ въ этихъ книгахъ? можетъ быть, видятъ въ нихъ только пресловутую „фигу“? а можетъ быть кромѣ „фиги“ и видѣть-то нечего?

— Ахъ, господа, господа!—вздохнулъ кто-то, когда дѣло дошло до „фиги“, какъ мѣрила для оцѣнки содержанія русской книги.

Что современная русская литература небогата силами — это, конечно, не подлежитъ сомнѣнію. Но не въ этой относительной бѣдности скрывается главная бѣда. Есть нѣчто гнетущее, что при самомъ рожденіи кладетъ на русскую мысль своеобразную печать. Литература наша и доднесь представляетъ два совершенно отличные типа: съ одной стороны — недоконченность, невысказанность, боязнь; съ другой стороны — такая ясность, которая равносильна наглости, доведенной до разврата. Очевидно, въ воздухѣ носится еще крѣпостное право. Оно провело заповѣдную черту, подъ которой похоронило громадное количество явленій, и закупорило наглухо цѣлыя міриады существованій, которыя бьются гдѣ-то на днѣ, тщетно усиливаясь выйти на божій свѣтъ. И оно же вызвало и пригрѣло безчисленное множество литературныхъ паразитовъ, которые съ изумительнымъ легкомысліемъ вливаютъ ядъ распутства въ русскій жизненный обиходъ.

Да, крѣпостное право упразднено, но еще не сказало своего послѣдняго слова. Это цѣлый громадный строй, который слишкомъ жизненъ, непроникающъ и силенъ, чтобъ исчезнуть по первому маію. Обыкновенно, говоря объ немъ, разумѣютъ только отношенія помещиковъ къ бывшимъ крѣпостнымъ людямъ, но тутъ только одна капля его. Эта капля слишкомъ специфически пахла, а потому и приковала исключительно къ себѣ вниманіе всѣхъ. Капля устранена, а крѣпостное право осталось. Оно разлилось въ воздухѣ, освѣтило нравы, оно избрѣло путы, связывающія мысль, поразило умы и сердца дряблостью. Наконецъ, оно же вызвало цѣлую орду прихлебателей-хищниковъ, которыхъ дѣятельность такъ блестяще выразилась въ безчисленныхъ воровствахъ, банкротствахъ и всякаго рода распутствахъ.

Само начальство изнемогаетъ подъ бременемъ борьбы съ этимъ недугомъ. Возьмемъ для примѣра хоть литературу: кажется, ей дана самая широкая свобода, а между тѣмъ она бьется и чувствуетъ себя



точно въ капканѣ. Во всѣхъ странахъ, гдѣ существуетъ точь въ-точь такая же свобода—вездѣ литература процвѣтаетъ. А у насъ? У насъ мысль, несомнѣнно умѣренная, на которую въ цѣлой Европѣ смотрятъ какъ на что-то обиходное, заурядное — у насъ эта самая мысль коломъ застряла въ головѣ писателя. Писатель не знаетъ, въ какія чернила обмакнуть перо, чтобъ выразить ее, не знаетъ, въ какія ризы ее одѣть, чтобъ она не вышла ужъ черезъ-чуръ доступною. Кутааетъ-кутааетъ, обманываетъ всевозможными околичностями и аллегоріями, и только выполнивъ весь, такъ сказать, сложный маскарад-ный обрядъ, вздохнетъ свободно и возмолвить: „слава Богу, теперь, кажется, никто не замѣтитъ!“

Никто не замѣтитъ? а публика? и она тоже не замѣтитъ? Ужели есть на свѣтѣ обида болѣе кровная, нежели это нескончаемое эзопство, до того вошедшее въ обиходъ, что нерѣдко самъ эзопствующій перестаетъ сознать себя Эзопомъ.

Дойдя до этого заключенія, всѣ отдали полную справедливость либеральнымъ намѣреніямъ начальства. Не начальство стѣсняетъ — оно, напротивъ, само неустанно хлопочетъ—стѣсняетъ сама жизнь, пропитанная ингредиентами крѣпостного права. Чтѣ можетъ начальство противу разнообразныхъ и всемогущихъ вліяній, которыя, подобно безчисленнымъ электрическимъ токамъ, со всѣхъ сторонъ устремляются къ одному центру—литературѣ? чтѣ можетъ оно, въ виду громовъ, готовыхъ разразиться каждую минуту и невѣдомо по какому поводу? чтѣ можетъ оно, наконецъ, въ виду того литературнаго распутства, которое ревниво комментируетъ мысль противника, а по временамъ не откажется и прилгать?

Вотъ почему покойный Коршуновъ никогда не ропталъ на литературное начальство, хотя, какъ человекъ грѣшный, иногда и любилъ ввести его въ заблужденіе.

— Поддержатъ, братъ, насъ некому—вотъ въ чемъ бѣда! — сколько разъ говаривалъ онъ мнѣ:—читатель у насъ какой-то совѣмъ особенный! словно непомнящій родства: ни любовь его, ни негодованіе—ничто въ грошъ не ставится!

Когда я напоминалъ объ этихъ словахъ покойнаго, то всѣ опять принялись разыскивать, изъ какихъ элементовъ состоитъ русская читающая публика. Перечисляли, перечисляли (выходило какъ-то удивительно разношерстно по внутреннему содержанію и однообразно

по костюму), и въ концѣ концовъ опустили руки. Въ заключеніе рьяный ораторъ, который такъ краснорѣчиво говорилъ о писательскихъ жертвоприношеніяхъ, какимъ-то болѣзненно-надорваннымъ голосомъ крикнулъ:

— Читатель! русскій читатель! защити!

Но возгласъ этотъ потерялся въ шумѣ деревьевъ, охраняющихъ Митрофаніевское кладбище.

Мы были у цѣли. Церковь была полна народа и гробовъ. Гробы были почти сплошь бѣдные, — только одна усопшая раба божія Пулхерія, 1-ой гильдіи купчиха, смиренно возвышалась на катафалкѣ, противъ самаго алтаря, въ богато изукрашенной домовинѣ. По ея поводу за обѣдней пѣли „хорошіе“ пѣвчіе, и, благодаря этому обстоятельству, и Пимень воспользовался сладкогласнымъ пѣніемъ. Мы скромно поставили нашего друга поодаль и терпѣливо ожидали очереди. Нашелся добрый батюшка, изъ недавно кончившихъ курсъ, который посвятилъ себя умершему литератору и сказалъ по поводу этой смерти, увѣнчавшей отверженное существованіе, отличнѣйшее, полное глубокаго состраданія слово. О, Пимень! еслибы ты могъ изъ своей домовины слышать эти простыя, полныя любви слова, ты навѣрное, по великой своей скромности, воскликнулъ бы: „батюшка! я человѣкъ маленький, и, право, рисковать изъ-за меня“ ...

Наконецъ, мимо насъ пронесли съ парадомъ усопшую 1-ой гильдіи купчиху Пулхерію, и церковь мало-по-малу начала пустѣть. Вынесли и мы своего покойника, шли довольно долго между рядами памятниковъ и рѣшетокъ, и, наконецъ, нашли уголокъ, въ которомъ готова была свѣжая могила. Черезъ полчаса все было кончено.

Съ кладбища мы зашли-было въ одну изъ ближайшихъ кухмистерскихъ, гдѣ обыкновенно устраиваются поминальныя торжества, но минутъ съ пять потолкались передъ буфетомъ, поглазѣли на собравшуюся публику и, не совершивъ возліанія, разбрелись по домамъ.

Я зналъ Коршунова довольно хорошо. Это былъ человѣкъ всецѣло литературный, жившій одною жизнью съ русской литературой, не знавшій никакихъ интересовъ, кромѣ интересовъ литературы, не вкусившій ни одной радости, которая не имѣла бы источникомъ литературу. Онъ съ жадностью слѣдилъ за всѣми подробностями

литературнаго движенія, за всякой литературной полемикой; онъ ничего не зналъ, ни съ чѣмъ не хотѣлъ имѣть общенія, кромѣ литературы. Нынѣ этотъ типъ мало-по-малу исчезаетъ, но еще въ недавнее время такихъ людей встрѣчалось достаточно. Я не могу сказать навѣрно, насколько цѣнны и существенны были интересы, ихъ волновавшіе, но навѣрное знаю, что, только благодаря ихъ горячей преданности, ихъ беззавѣтной, не поддавшейся никакимъ невзгодамъ любви, ихъ самоотверженному долготерпѣнію, русская литература не прекращала своего существованія.

Эти люди на весь міръ смотрѣли лишь постольку, поскольку онъ представлялъ матеріалъ для литературнаго воздѣйствія. Многіе, даже въ то глухое время, надъ этимъ посмѣивались. Говорили: „Вы все съ вашими мизерными литературными интересишками поситесь. Ну, что такое ваша литературная безсильная страпня въ сравненіи съ плавнымъ и неусыпающимъ движеніемъ административнаго механизма! Вотъ гдѣ истинный центръ жизни, вотъ гдѣ настоящее творчество! А задача литературы—забавлять и безвреднымъ образомъ занимать досуги читателей“.

Въ то время такого рода приговоры считались безапелляціонными. Въ любомъ указѣ губернскаго правленія предполагалось больше творческой силы, нежели, напримѣръ, въ произведеніяхъ Гоголя. И точно: указъ губернскаго правленія объявлялъ о рекрутскомъ наборѣ, напоминая о своевременномъ вносѣ податей, предписывалъ о пополненіи продовольственныхъ запасовъ, предупреждалъ, угрожалъ, понуждалъ. Словомъ сказать, и прямо, и косвенно врѣзывался въ жизнь множества людей: однимъ давалъ возможность тучнѣть, другихъ заставлялъ вытягиваться въ струнку. Напротивъ того, дѣйствіе повѣсти Гоголя, относительно большинства читателей, ограничивалось только взрывомъ хохота, и только въ рѣдкихъ случаяхъ производило что-то похожее на отрезвленіе. Но для того, чтобъ оцѣнить это отрезвленіе, надобно было самому быть уже достаточно трезвымъ.

Коршуновъ и подобные ему очень хорошо понимали, какая область имъ отмежевана. Они нисколько не обижались мнѣніями о ничтожествѣ литературныхъ „интересишковъ“, въ сравненіи съ величественнымъ воздѣйствіемъ административнаго механизма, а просто припили ихъ къ свѣдѣнію. Но за то они ушли въ раковину и уже упорно не выхо-



дили изъ нея. Однажды убѣдившись, что жизнь есть администрація, они относились къ ней отчасти робко, отчасти какъ къ чему-то фантастическому, заповѣдному и неподдающемуся анализу. Сонное видѣніе, которое подчасъ могло воплотиться и ушибить—вотъ въ чемъ заключалось представленіе о жизни въ понятіяхъ тогдашнихъ литературныхъ пустынножителей.

Все существованіе литературнаго подвижника проходило въ этой отчужденности, посреди которой душа человѣческая не знала иного идола, кромѣ литературнаго „дѣланія“. Всѣ жизненные силы и привязанности были сосредоточены тутъ, а остальной міръ близкихъ по крови и воспитанію представлялся какъ бы безсодержательною формою, которая напоминала о себѣ лишь въ качествѣ докучнаго спутника, навязаннаго слѣпою судьбою. Но эти не особенно блестящіе труженики были люди свободные духомъ и исполнѣ чистые сердцемъ, въ которыхъ литература нуждалась едва-ли не больше, нежели въ личностяхъ, бьющихъ въ глаза своею блестящею одаренностью. Повторяю: если бы ихъ не было, литература перестала бы существовать. Они имѣли безповоротныя привязанности и безповоротныя вражды; они и любили, и ненавидѣли одинаково беззавѣтно и страстно. Тогдашняя литература какъ-то сама собой подѣлилась на два лагеря; причеиъ не допускалось ни смѣшеній, ни компромиссовъ, ни эклектизма. Говорятъ, что это было односторонне; но лучше ли было бы, если бы существовала разносторонность — въ этомъ позволительно усомниться. По крайней мѣрѣ довольно странно представить себѣ Бѣлянскаго, отъ времени до времени понюхивающаго съ Булгаринымъ табачокъ. Во всякомъ случаѣ, если это и была односторонность, то она спасала литературу отъ податливости. Ежели и въ наши дни тяготѣніе къ дому терпимости составляетъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, язву, которая подтачиваетъ лучшія основанія литературной профессіи, то можно себѣ представить, чтд было бы, если бы это тяготѣніе существовало — тогда?

Къ счастью, тогда была замкнутость—явленіе, конечно, не особенно плодотворное, но охранявшее литературный декорумъ и положительное начало нѣкоторымъ литературнымъ преданіямъ, на которыя не безъ пользы можно ссылаться и нынѣ. Право, не безъ пользы.

Коршуновъ иробавлялся почти исключительно рецензіями. Да болѣе любезнаго сердцу дѣла и подыскать было невозможно, потому

что въ то время въ отдѣлѣ критики и библиографіи сосредоточивалась вся жизнь литературы. Пименъ не былъ „критикомъ“, но рецензентъ изъ него вышелъ отличный: цѣпкій, обладавшій фразой и умѣвшій прятать концы въ воду. Тогдашнія рецензіи были своего рода руководящія статьи, имѣвшія предметомъ не столько разбираемую книгу, сколько высказъ по ея поводу совершенно самостоятельныхъ мыслей. Краткость не была въ числѣ достоинствъ этихъ статей, но за то въ нихъ всегда что-нибудь „проводилось“. Разумѣется, очень часто (даже болѣе чѣмъ часто) проводимое, благодаря безчисленнымъ покровамъ, подъ которыми оно скрывалось, было понятно только членамъ „кружка“, но—случайно—оно могло проникнуть и далѣе. Я заранѣе соглашаюсь, что теперь ни на одну изъ этихъ статей никто не соплется, что имъ суждено покоиться безмятежнымъ сномъ въ тѣхъ толстыхъ томахъ, гдѣ онѣ увидѣли свѣтъ; но иногда все-таки сдается, что не безслѣдны онѣ были. Въ свое время нѣкто надъ ними задумывался; въ свое время онѣ производили въ человѣческихъ душахъ извѣстное наслоеніе, и притомъ періодически и все въ одну и ту же сторону. Что нынче онѣ совѣмъ, совѣмъ непужны—это безспорно, но тогда...

Не надо забывать, что тогда совѣмъ другое было. Движенія имѣли меньше простора, но за то они были, такъ сказать, по-неволю пріурочены, такъ что область ангельская рѣзко отличалась отъ области аггельской. Журналовъ и книгъ было меньше, но между ними не было межеумковъ, которые сегодня кажутъ кукишъ въ карманѣ, а завтра раболѣпствуютъ. И хоть я не буду утверждать это навѣрное, но кажется, что и читатель мало-по-малу узналъ, въ чемъ заключается секретъ тѣхъ безконечныхъ баснословія, которыми отличалась литература того времени.

Нечего и говорить, что Коршуновъ былъ бѣденъ какъ Ирѣ. Тогдашній журнальный гонораръ очень мало походилъ на нынѣшній, да сверхъ того и самое поле литературной дѣятельности было до крайности ограничено. Трапеза, предлагаемая однимъ или двумя органами печати (изъ наиболѣе распространенныхъ, потому что прочіе сами едва дышали), была слишкомъ скудна, чтобъ напитать всѣхъ желающихъ. Поэтому тѣ, которые почерпали средства къ жизни только въ литературномъ ремеслѣ, положительно бѣдствовали. Коршуновъ былъ блѣденъ и тощъ отъ недостаточнаго и худого питанія,

но онъ не только не жаловался на это, но просто, кажется, забывалъ, что существуетъ впроголодь. Его волновало совсѣмъ другое: невозможность высказаться.

Цензура того времени была строгая и притомъ разнообразная, разбросанная по всевозможнымъ вѣдомствамъ. Я не говорю, чтобы цензоръ были люди жестокіе, но они сами постоянно находились какъ бы на скамьѣ подсудимыхъ, потому что въ ихъ сторону отовсюду направлены были стрѣлы. Ежели прибавить къ этому, что вслѣдствіе такой разбросанности цензуры всякій (даже не цензоръ по профессіи) вычеркивалъ изъ корректуры или изъ рукописи все, что ему лично приходилось не по вкусу, то ясно будетъ, какъ мудро было проскользнуть.

Пишущая братія это знала, и потому всякій замахивался какъ можно шире, въ предвидѣніи, что ежели три четверти и будетъ выброшено, то все-таки хоть что-нибудь возвратится нетронутымъ. Даже Булгаринъ не пренебрегалъ этимъ приѣмомъ, потому что и въ отношеніи къ нему цензура была неліцепріятна. Конечно, никто не считалъ его „разбойникомъ пера“, но такъ какъ и онъ могъ провраться, то, слѣдовательно, и изъ-за него могла выйти „исторія“. Сверхъ того, онъ былъ бѣльмою на глазу, потому что подсиживалъ писателей противоположнаго лагеря, и стало быть въ то же время подсиживалъ и цензуру, яко виновную въ слабомъ смотрѣніи. Цензоръ Крыловъ всѣмъ безразлично говорилъ: „я никакъ не желаю, чтобъ мнѣ изъ-за васъ лобъ забрили!“ Это было очень похоже на шутку; но какая ужасная шутка! Когда Мусинъ Пушкинъ былъ назначенъ попечителемъ учебнаго округа, то многіе цензоръ содрогались при одномъ напомниманіи объ немъ и зачеркивали всегда двѣ-три строки лишнихъ. Они усиливались попасть ему въ мысль, но вмѣсто того часто попадали на гауптвахту, откуда, какъ извѣстно, недалеко и до рекрутскаго присутствія. Это былъ тотъ самый Мусинъ-Пушкинъ, которому нѣкогда профессоръ Горловъ посвятилъ свой курсъ политической экономіи, и въ посвященіи упомянулъ о всѣхъ чинахъ, должностяхъ, званіяхъ и орденахъ своего патрона. Вышла почти цѣлая страница, и я помню, что въ школѣ мы эту страницу пѣвали хоромъ на мотивъ „Вѣрую во единого“. Вотъ какой это былъ строгій человѣкъ, что даже несомнѣнно либеральный партизанъ принципа *laissez passer, laissez faire*—и тотъ, какъ



могъ, ублажалъ его. Чтѣ же мудренаго, если корректура возвращалась къ автору не только изъязвленная и вся облитая красными чернилами, какъ кровью, но и доведенная почти до степени бормотанія. Въ тогдашнее время эти цензурныя проказы назывались „окошками въ Европу“.

Вотъ въ какомъ щекотливомъ положеніи находилась литература и какую изумительную школу обязывались пройти ея служители! Нынче все это замѣнено предостереженіями и арестомъ книгъ и журналовъ, чтѣ, конечно, несравненно удобнѣе.

И вотъ, все, чтѣ не могло прорваться въ печать, высказывалось въ интимныхъ собесѣдованіяхъ, имѣвшихъ чисто кружковой характеръ. Замкнутость и общія невзгоды удивительно какъ сближали людей. На эти бѣдныя и скудные вечера такъ и тянуло. И несмотря на то, что почва для собесѣдованій имѣла характеръ чисто-отвлеченный, и что, благодаря общему единомыслию, критики почти не существовало—все-таки скуки не чувствовалось. Участники расходились съ этихъ вечеровъ поздно, восторженные, полные ежели не намѣреній, то какой-то сладчайшей музыки. И будочники (городовыхъ тогда не было) не только не хватали ихъ, но добродушно улыбались, словно понимали, что эти люди совсѣмъ занапрасно терпятъ муку мученскую отъ своего начальства, которое въ свою очередь, такую же муку мученскую терпитъ отъ своего начальства (это была цѣлая лѣстница). Да, тогдашніе будочники ничего не знали ни о подрываніи авторитетовъ, ни о потрясаніи основъ, о чемъ нынче всякій подчасокъ безъ малѣйшаго затрудненія на бобахъ разведетъ.

О, будочники и всѣхъ сортовъ квартальные добраго стараго времени! да оскудѣетъ рука моя, если она напишетъ недоброе слово объ васъ! Миръ и благоволеніе да почіютъ надъ могилами вашими, если вы ужъ достигли пристани, и да удесятерится вашъ пенсіонъ, если вы еще продолжаете пользоваться таковымъ!

Какъ бы то ни было, но Коршуновъ существовалъ. Три четверти этого существованія были поглощены вопросомъ: пройдетъ или не пройдетъ? остальную четверть наполнялъ отвѣтъ: нѣтъ, не пройдетъ. Но иногда случалось нѣчто чудесное: прошло! совсѣмъ прошло! Это была радость; это были тѣ рѣдкіе солнечные, теплые дни, которые по временамъ прорываются и среди сумерокъ туманной петербургской осени.

Да, бывали сладкія минуты, доставляемыя и цензурою; но нужно было пройти сквозь цѣлый искусь горчайшихъ испытаній, чтобъ оцѣнить эту случайную минутную сладость. Нынѣшняя печать не знаетъ такихъ минутъ, потому что она свободна.

Наконецъ наступила эпоха возрожденія. Радовались всѣ, а литература—по преимуществу. Изъ сферъ отвлеченныхъ, заоблачныхъ, она сходила на арену дѣйствительности, дѣлалась участницей жизненнаго праздника, будила общество, ставила вопросы и блюла за ихъ рѣшеніемъ. Да, блюла и даже дѣлала выговоры и замѣчанія. Отовсюду неслись сочувственные отголоски и присылались корреспонденціи, снѣшившія довести до свѣдѣнія блюстителей возрожденія, что

. . . . . лѣсъ проснулся,  
 Весь проснулся, вѣткой каждой,  
 Каждой птицей встрепенулся  
 И весенней полонъ жаждой...

Литература гордилась этимъ пробужденіемъ, записывала на скрижаляхъ своихъ его признаки и приписывала себѣ инициативу его. Цензура, съ своей стороны, тоже не препятствовала общему веселію, хотя въ государственномъ бюджетѣ по прежнему назначалась соотвѣтствующая сумма на заготовленіе красныхъ чернилъ и карандашей. Въ концѣ концовъ веселье до того обострилось, что въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ г. Валентинъ Коршъ объявилъ прямо: „живемъ хорошо, а ожидаемъ—лучше“, и съ этимъ девизомъ переѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ и приступилъ къ редактированію „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“.

Пименъ не то чтобъ порицалъ общее ликованіе, а какъ бы держался въ сторонѣ отъ него. Это многимъ казалось страннымъ, а между прочимъ и мнѣ.

— Помилуй, голубчикъ, — говорилъ я ему: — какъ же ты не раздѣляешь общей радости! Сравни недавнее положеніе русской литературы съ теперешнею почти свободой ея—и ты, конечно, знаешь, что это ужъ не фантазмагорія, а фактъ. Во-первыхъ, литература не имѣетъ надобности прибѣгать къ эзоповскимъ аллегоріямъ, а можетъ говорить яснымъ и выразительнымъ языкомъ. Во-вторыхъ, она смѣло вкладываетъ пальцы въ родныя язвы и, не вы-

жидая начальственныхъ по сему предмету мѣропріятій, сама предлагаетъ средства къ уврачеванію. Въ-третьихъ, она не только не трепещетъ передъ начальствомъ, но прямо сознаетъ себя силой, съ которой нельзя не считаться... Ужели это не побѣда?

На это онъ отвѣчалъ мнѣ не то уныло, не то загадочно:

— Такъ-то такъ, и я, конечно, вмѣстѣ съ прочими, очень признателенъ начальству за его благосклонную къ литературѣ снисходительность; но, признаюсь, одно обстоятельство тревожитъ меня.

— Чтò же тутъ можетъ тревожить?

— Боюсь я: гаду много въ литературѣ заведется. До сихъ поръ русскіе писатели держались особнякомъ; а если кто изъ нихъ и чувствовалъ въ себѣ поплзновеніе къ податливости, то или совѣстился высказываться, или же понималъ, что въ результатѣ этой податливости можетъ быть только грошъ, такъ что, собственно говоря, и компрометтировать себя не изъ чего. А теперь съ этой „практической ареной“ — смотри какая скачка съ препятствіями пойдетъ! Изъ всѣхъ щелей бойцы выльзутъ, и всякій непременно будетъ добиваться, чтобъ ему дали возможность товаръ лицомъ показать. Ну, и насрамятъ.

Прежде всего это было несправедливо и даже какъ будто своекорыстно. Гадливость, высказанная Коршуновымъ относительно бойцовъ, выползающихъ изъ щелей, показалась мнѣ до того неожиданной, что въ головѣ моей невольно мелькнула мысль: ужъ не стоитъ ли онъ на стражѣ литературнаго единоторжія? Но не успѣлъ я надлежащимъ образомъ формулировать мой вопросъ, какъ онъ, Пимень, уже угадалъ его.

— Нѣтъ, я не объ этомъ, — сказалъ онъ совершенно наивно: — я не за кусокъ свой боюсь — Христось съ ними, пускай конкуррируютъ! — а за литературу. Право, за литературу!

— Но гдѣ же факты? — воскликнулъ я: — чтò даетъ поводъ сомнѣваться въ будущемъ нашей литературы?

— И фактами похвалиться не могу — времени для фактовъ еще мало, но имѣю предвидѣніе... Я вижу людей, лица которыхъ должны были бы потускнѣть, а между тѣмъ они сіяютъ. Но мало того, что эти господа не чувствуютъ себя сконфуженными — они, напротивъ, забѣгаютъ впередъ и объ томъ только и думаютъ, какъ бы повычурнѣе лягнуть то, передъ чѣмъ они еще вчера, у всѣхъ на глазахъ, раболѣпствовали. Развѣ это не страшно?



Въ виду подобныхъ предвидѣній споръ, очевидно, утрачивалъ всякую реальную почву, и поэтому возражать было бесполезно. Но, кромѣ того, оставался и еще вопросъ, который въ высшей степени тревожилъ меня: чтò же онъ, Пимень, предполагаетъ дѣлать съ собой?

— Неужели же ты бросишь литературу?—спросилъ я.

— Нѣтъ, не брошу,—отвѣтилъ онъ:—во-первыхъ, дѣваться мнѣ нѣкуда; во-вторыхъ, чѣмъ же я лучше другихъ? а въ-третьихъ, и новость дѣла меня не страшить: стѣить только привыкнуть да изловчиться—и все пойдетъ какъ по маслу. Вѣдь всѣ эти такъ-называемые „жизненные вопросы“ таковы, что, право, любая курица можетъ объ нихъ написать съ три короба руководящихъ статей.

— Да, но вѣдь и статьи въ такомъ случаѣ будутъ куриныя?

— А ты думалъ, что теперь потребуются статьи орлиныя?

Какъ ни странны были эти отвѣты, но они меня успокоили, потому что въ нихъ проглядывала покорность судьбѣ. Надо сказать при этомъ, что въ началѣ эпохи возрожденія Пимень участвовалъ въ одномъ толстомъ журналѣ, но вскорѣ какъ-то такъ случилось, что журналъ прекратилъ существованіе, и вслѣдствіе этого представилась такая дилемма: или класть зубы на полку, или вступить на арену „живыхъ вопросовъ“. Къ счастью, какъ разъ кстати, въ это самое время нашъ общій другъ, Менандръ Прелестновъ, затѣялъ въ Петербургѣ новую газету и устроилъ при ней Пимена въ качествѣ передовика. Первые шаги Коршунова на этомъ новомъ поприщѣ были, конечно, довольно робки и нерѣшительны, но мало-по-малу онъ сталъ поправляться, поправляться—и черезъ мѣсяцъ такъ изловчился, что уже не оставалось желать ничего лучшаго. Однако, странное дѣло, всякій разъ, когда я принимался за чтеніе Коршуновскихъ статей, меня почему-то такъ и обдавало какимъ-то специфическимъ куринымъ запахомъ...

Тѣмъ не менѣе, несмотря ни на возрожденіе, ни на куриный запахъ статей, Пимень все-таки не утратилъ старой привычки трепетать. Я помню, однажды онъ принесъ мнѣ статью, смыслъ которой заключался въ томъ, что ежели будочникъ накрылъ вора на мѣстѣ преступленія и не настолько физически силенъ, чтобъ одиночно стащить его въ кварталъ, то всякій мимоидущій обыватель немедленно обязывается оказать ему содѣйствіе. Статья была написана горячо,

убѣжденно и даже нѣсколько назойливо, то-есть совсѣмъ такъ, какъ приличествуетъ страстно клохчущей курицѣ. Положеніе слабосильнаго будочника, въ виду грозящей обществу опасности, было изображено такимъ перекатнымъ бурмицкимъ слогомъ (*style perlé*), какимъ умѣютъ писать только могикины сороковыхъ годовъ; напротивъ того, обязанность мимоидущаго обывателя была обрисована кратко и отрывисто, штрихами рѣзкими, почти приказательными. Однимъ словомъ, такъ эта статейка была хороша, умѣтна и благовременна, что я тутъ же не преминулъ поздравить Пимена съ успѣхомъ.

И вдругъ онъ меня поразилъ.

— Хорошо-то хорошо,—сказалъ онъ:—я самъ понимаю, что по нашему мѣсту лучше не надо. Да вотъ въ чемъ штука: пройдетъ или не пройдетъ?

— Помилуй, любезный другъ! — разгорячился я: — да какое же, наконецъ, имѣешь ты право сомнѣваться въ этомъ? Могу удостоверить тебя, что не только пройдетъ, но даже, если позволительно такъ выразиться, пройдетъ *съ удовольствіемъ!*

— А помнишь, Булгаринъ говаривалъ: о дѣйствіяхъ и намѣреніяхъ начальства не слѣдуетъ отзываться не только въ смыслѣ порицанія, но *ниже въ смыслъ похвалы*. Стало быть, содѣйствіе слабосильному будочнику... Но позволь! прежде всего отвѣтъ мнѣ на вопросъ: имѣемъ ли мы право публично заявлять, что бываютъ слабосильные будочники?

— Почему же не заявить?

— Потому что это хотя и отдаленное, но тѣмъ не менѣе все-таки несомнѣнное порицаніе. Кто опредѣлилъ будочника? — кварталный! Кто опредѣлилъ кварталнаго? — частный приставъ! А затѣмъ и пошло, и пошло. Вспомни-ка, какъ объ этомъ въ Булгаринѣ пишется?

— Тò Булгаринъ, а теперь...

— Нѣтъ, мой другъ, въ сущности, Булгаринъ отлично понималъ, въ чемъ тутъ суть. Ни порицанія, ни похвалы — вотъ истинный принципъ во всей чистотѣ. Потому что гдѣ есть похвала, тамъ есть ужъ разсужденіе, а гдѣ разсужденіе — тамъ корень зла. Отъ разсужденія недалеко до анализа, отъ анализа — до порицанія. А потомъ пойдутъ несвоевременныя притязанія, подрыванія, потрясанія... Нашему брату-публицисту нужно азбуку-то эту наизусть знать!

— Какія однакожь у тебя допотопныя теоріи! Разумѣется, осторожность никогда не лишняя, но не слишкомъ ли ужъ ты пересодилъ, голубчикъ? Вспомни, что теперь совѣмъ другое время, что теперь всякое благонамѣренное указаніе, особливо ежели оно сдѣлано благовременно...

Однако, какъ я ни старался разувѣрить его, онъ такъ-таки и остался при своемъ: пройдетъ или не пройдетъ?

Разумѣется, прошло.

Вообще статьи его не только проходили, но и производили впечатлѣніе, такъ что одинъ статскій совѣтникъ искалъ даже случая познакомиться съ нимъ. Пимень самъ рассказывалъ мнѣ объ этомъ замѣчательномъ казусѣ.

— Пришелъ, братецъ, ко мнѣ на квартиру, рекомендуется: статскій совѣтникъ Растопыріусъ. „Статьи ваши, говоритъ, превосходны, но чтобъ онѣ окончательно сдѣлались образцовыми, необходимо привести ихъ въ соотвѣтствіе. Нужно, чтобъ вы познакомились съ нѣкоторыми видами и соображеніями, которые поставятъ васъ на настоящую точку. Не сдѣлаете ли вы, говоритъ, мнѣ честь пожаловать ко мнѣ на чашку чаю?“

Разумѣется, какъ человѣкъ робкій и подверженный начальству, Пимень не осмѣлился ослушаться. Онъ купилъ готовую фрачную пару и пошелъ. Но тутъ произошло нѣчто неслыханное. Когда m-r Растопыріусъ подвелъ его къ m-me Растопыріусъ, и когда послѣдняя протянула ему ручку, Пимень, вмѣсто того, чтобъ почтительно пожать эту ручку, бросился на хозяйку и обнялъ ее. И затѣмъ тотчасъ же упалъ въ обморокъ. Разумѣется, его немедленно же убрали. На этомъ попытка сближенія съ статскими совѣтниками и кончилась. Мало того: съ этихъ поръ Растопыріусъ даже открыто сталъ называть Пимена неблагонамѣреннымъ.

Но кромѣ вопроса о томъ, пройдетъ или не пройдетъ, было и еще одно слово, которое не сходило у него съ языка.

— Гаду много! — безпрерывно восклицалъ онъ: — гаду! гаду! гаду!

И называлъ по именамъ. Но чтò всего хуже, я и самъ, по временамъ, становился въ туиикъ передъ его обличеніями. Дѣйствительно, хотя вполнѣ сформировавшихся, окончательно созрѣвшихъ гадовъ въ то время еще нельзя было указать, но нѣчто намекающее ужъ было.



Были, такъ сказать, гады ближайшаго будущаго, заявлявшіе въ настоящемъ только о безконечной податливости. Большинство ихъ копошилось въ газетахъ и, работая изо дня въ день, забывало сегодня, что говорило вчера, и заботилось лишь о томъ, чтобъ выходило бойко и занозисто. По истинѣ, это были совсѣмъ-совсѣмъ легкомысленные люди (но еще не распутные), хотя нѣкоторые изъ нихъ были несомнѣнно талантливы и пользовались извѣстностью.

Признаюсь, этими постоянными напоминаніями о гадахъ Пименъ достаточно-таки смущалъ меня, а однажды даже поставилъ въ весьма щекотливое положеніе.

Подобно Пимену, и я, грѣшный человѣкъ, изрѣдка пописывалъ передовыя статейки, но манера у меня была нѣсколько иная. Въ то время какъ Пименъ мысленно облеталъ всю Европу и призывалъ во свидѣтельство древнія и новыя законодательства, чтобъ доказать, что будочникъ безъ свистковъ—все равно, что мужикъ безъ портковъ, я ту же мысль проводилъ тонами двумя пониже. Я не прибѣгалъ къ громоздкой обстановкѣ, не блисталъ ученостью, но дѣйствовалъ по преимуществу съ помощью образовъ. Я изображалъ уныніе и безпомощность обывателей, отданныхъ на жертву грабителямъ, живописалъ отчаяніе будочника при видѣ безнаказанно убѣгающаго вора, и этой мрачной картинѣ противопоставалъ другую, болѣе свѣтлую: картину спокойствія обывателей, достигаемаго однимъ введеніемъ свистка. И ежели „серьезныя“ статьи Пимена находили многочисленныхъ сочувственниковъ, то и моя скромная манера имѣла своихъ поклонниковъ. У Пимена былъ статскій совѣтникъ Растопыриусъ (уроженецъ суровой Финляндіи), у меня—статскій совѣтникъ Раскаряка (уроженецъ благословенной Малороссіи), которому, вдобавокъ, уже дано было слово, что къ предстоящей Пасхѣ онъ будетъ произведенъ въ дѣйствительные статскіе совѣтники.

И вотъ однажды сидитъ у меня статскій совѣтникъ Раскаряка, и мы мирно бесѣдуемъ. Радеемся происходящему, а въ будущемъ предаемся сугубой радости. Онъ говорить:

— Но представьте, какія перспективы!

Я отвѣчаю:

— А за этими перспективами еще перспективы! И еще, и еще, и еще!

Словомъ сказать, жуируемъ.

Вдругъ вбѣгаетъ Пимень. Блѣденъ, волосы на головѣ растрепаны, глазныя яблочки вылѣзаютъ изъ орбитъ, ничего не видитъ... Не видитъ даже статскаго совѣтника Раскаряку, который учтиво всталъ при появленіи его (чутьемъ узналъ, что вошелъ публицистъ) и застылъ въ позѣ, ясно говорившей о готовности отрекомендоваться.

— Гады! гады! гады! — внѣ себя рычалъ Пимень, держа себя за голову.

Первая мысль моя была: не прошло!

— Чтò такое? чтò случилось? — воскликнулъ я, бросаюсь къ нему.

— На, читай!

Онъ подаль мнѣ номеръ только-что начавшей выходить газеты „И шило брѣть“. Въ передовой статьѣ шла рѣчь о тѣхъ же самыхъ перспективахъ, о которыхъ мы только-что разговаривали съ статскимъ совѣтникомъ Раскарякою. Выражалось изумленіе передъ безконечностью перспективъ; бросался взглядъ на прошлое и приподнималась завѣса будущаго; ставился вопросъ: выдержитъ ли наше молодое общество, или не выдержитъ? Словомъ сказать, всѣ виды и предположенія, сейчасъ проектированныя Раскарякою, были изложены почти съ буквальною точностью.

— Что-жъ тутъ такого... ужаснаго? — изумился я: — не самъ ли ты, не далѣе какъ вчера, въ статьѣ о передачѣ пожарной части въ вѣдѣніе городскихъ думъ...

Но Пимень ничего не слышалъ и только восклицалъ:

— Ужасно, ужасно! ахъ, это ужасно!

Я привыкъ къ подобнымъ выходкамъ моего друга; но статскій совѣтникъ Раскаряка — не привыкъ. Онъ нѣкоторое время стоялъ въ нерѣшимости, словно прислушивался и соображалъ. И вдругъ онъ позеленѣлъ и какъ-то непріятно заёрзалъ губами.

— Однако, милостивые государи, въ васъ блохъ-то еще довольно! — процѣдилъ онъ сквозь зубы и, не подавая мнѣ руки, гордо прослѣдовалъ въ переднюю.

Но чѣмъ же я-то тутъ виноватъ?!

Разумѣется, я не позволилъ себѣ ни одного слова упрека Пимену, но въ глубинѣ души все-таки не могъ не сказать себѣ: такъ-

то вотъ мы всегда! Безъ надобности раздражаемъ людей несвоевременными выходками, а послѣ жалуемся, что у насъ „не проходитъ“! А вѣдь отъ жалобъ, какъ извѣстно, одинъ шагъ и до раскаянія...

Къ удивленію моему, я впоследствии узналъ (Коршуновъ самъ признался мнѣ въ этомъ), что точь-въ-точь такія же мысли волновали въ это время и Пимена, и что онъ, немедленно послѣ ухода Раскаряки, уже спохватился и началъ обдумывать на эту тему передовую статью для завтрашняго нумера.

Я съ умысломъ останавливаюсь на этомъ фактѣ, ибо онъ очень назидателенъ. Мы, писатели, вообще слишкомъ легко относимся къ статскимъ совѣтникамъ и подчасъ даже бываемъ склонны подтрунить надъ ними. Мы думаемъ, что статскій совѣтникъ — не важная птица и что отъ нея литературѣ ни тепло, ни холодно. Но, къ сожалѣнію, это мнѣніе заключаетъ въ себѣ самое пагубное самообольщеніе.

Во-первыхъ, нѣтъ въ природѣ субъекта, относительно котораго русскій писатель могъ бы считать себя вполне безопаснымъ. Одни вліяютъ на него непосредственно, подвергая различнымъ непредвидѣностямъ и даже лишая средствъ къ пропитанію; другіе — вліяютъ посредственно, распространяя въ обществѣ слухи, что литература есть вертепъ, въ которомъ безчинствуютъ разбойники пера. Идетъ по улицѣ смѣшной прохожій, а ты, легкомысленный писатель, ужъ и цѣпляешься за него! А почему ты знаешь, какую тайну хранить въ себѣ этотъ смѣшной прохожій?!

Во-вторыхъ, что касается специально статскихъ совѣтниковъ, то отнюдь не слѣдуетъ забывать, что каждый изъ нихъ заключаетъ въ себѣ зерно дѣйствительнаго статскаго совѣтника, а дѣйствительный статскій совѣтникъ, въ свою очередь, предполагаетъ въ себѣ зародышъ такого пышнаго цвѣта, одинъ видъ котораго можетъ сразу убить человѣка...

Всѣ эти превращенія нужно предвидѣть, и вмѣсто того, чтобъ трунить надъ статскими совѣтниками, гораздо расчетливѣе ихъ угождать. дабы они, взойдя на высоту величія и славы, помнили намъ это. Скажутъ, быть можетъ, что изъ ста статскихъ совѣтниковъ девяносто девять, навѣрно, такъ и отцвѣтутъ въ этомъ чинѣ — такъ стоитъ ли, дескать, съ ними церемониться? Допустимъ, что и такъ. Но если даже одинъ изъ сотни разовьется какъ слѣдуетъ, то представьте, какое онъ дастъ отъ себя благоуханіе, и какъ это благоуханіе отзовется



на литературѣ, смотря по тому, былъ ли расцвѣвшій субъектъ пре-небреженъ или угобженъ въ скромномъ чинѣ статскаго совѣтника!

И еще скажу: прежде, нежели приступить къ насмѣшкамъ надъ статскимъ совѣтникомъ, необходимо соразмѣрить свои силы и на всякій случай приготовить приличное отступленіе. Я не прорицаю раскаянія, но нахожу, что все-таки лучше вести себя такимъ образомъ, чтобъ и раскаиваться было не въ чемъ. Однако мы видимъ, что въ большинствѣ случаевъ (особенно въ газетномъ дѣлѣ) бываетъ совершенно наоборотъ. Иной газетчикъ одинъ разъ сгрубитъ, въ другой разъ сгрубитъ, видитъ, что ему сходитъ съ рукъ, а подписка между тѣмъ прибавляется — начнетъ допускать даже прихоти. Все-то ему немило, все не такъ, все надо перемѣнить и даже вверхъ дномъ перевернуть. И вдругъ статскій совѣтникъ начинаетъ когти выпускать. Выпускаетъ-выпускаетъ... хлопъ! Какой, съ Божьею помощью, перевернуть! Въ одно прекрасное утро читатель беретъ въ руки газету, въ надеждѣ, что статскаго совѣтника въ конецъ раскастятъ—и не вѣрять глазамъ своимъ. Оказывается, что въ одну ночь статскій совѣтникъ и выросъ, и похорошѣлъ, и поумнѣлъ, и что всѣхъ сомнѣвающихся въ этомъ слѣдуетъ признать людьми неблагонадежными и сокрушить.

Опять-таки повторяю: я и не говорю, что такіе возвраты на путь высокопочитаія неприличны или безсовѣстны. Но спрашивается: зачѣмъ предпринимать такіа дѣйствія, въ конечномъ результатѣ которыхъ должна оказаться одна вонь?

Увы! Раскаряка высказалъ горькую истину! Много, ахъ, какъ много водилось за Пименомъ блохъ! Непрерывно его щекоча и покусывая, эти блохи не давали его литературно-публицистическому дарованію развиваться въ томъ благовременномъ направленіи, которое во Франціи извѣстно подъ именемъ оппортунистскаго, а у насъ куда носить кличку газетнаго легкаго поведенія.

Я знаю впрочемъ, что Пимень дѣлалъ очень серьезныя усилія, чтобъ быть свободнымъ отъ блохъ. Всю жизнь находясь подъ гнетомъ нужды и зная твердо, что внѣ легкаго поведенія нѣтъ дѣятельности, онъ затыкалъ себѣ уши, чтобъ не слышать, зажималъ носъ, чтобъ не обонять, и закрывалъ глаза, чтобъ не видѣть. Обезпечивши себя

такимъ образомъ, онъ строчилъ довольно свободно и приводилъ въ восторгъ статскаго совѣтника Растопыріуса. Но вдругъ, въ самомъ разгарѣ публицистическихъ затѣй, когда одна перспектива быстро смѣняетъ другую, когда въ нѣкоторомъ отдаленіи уже мелькаетъ чуть не фаланстеръ (были же военныя поселенія!) — его укуситъ „блоха“. Пименъ вскакиваетъ какъ ужаленный, хватается себя за голову, вопить: „это ужасно! ужасно!“ — и бѣжитъ вонъ изъ дому. И шляется Богъ вѣсть гдѣ (быть можетъ, на томъ самомъ Митрофаніевскомъ кладбищѣ, куда судьба привела его теперь), до тѣхъ поръ, пока „сладкая привычка жить“ не возьметъ верхъ и не загонитъ опять домой за постылый письменный столъ. Тогда онъ опять дѣлался смиренъ, опять начиналъ строчить, и строчилъ до тѣхъ поръ, пока новая „блоха“ не уязвила его...

Такъ и прошла вся эта жизнь...

Правда, что, благодаря усиліямъ, которыя Пименъ постоянно надъ собой дѣлалъ, „блохи“ появлялись, сравнительно, довольно рѣдко; правда и то, что онѣ нигдѣ окрестъ не производили ни малѣйшей пертурбаціи; но вѣдь статскому совѣтнику Раскарякѣ нѣтъ дѣла ни до усилій, ни до пертурбацій; онъ догадывается, что „блохи“ все-таки существуютъ, и говорить: „достаточно-таки еще въ васъ блохъ, милостивый государь!“

Я помню, какъ Пименъ огорчился, когда нашъ другъ Менандръ Прелестновъ впервые провозгласилъ въ своей газетѣ, что „наше время — не время широкихъ задачъ“ (онъ сдѣлалъ это сгоряча, не предупредивъ Пимена).

— Слушай! читай! на, читай! — восклицалъ Коршуновъ, подавая мнѣ газеты: — говорилъ я тебѣ, что изъ этихъ „живыхъ вопросовъ“ ничего, кромѣ распутства, не выйдетъ! Куда теперь идти?

Но я уже прежде прочелъ эту статью и, право, не нашелъ въ ней ничего „такого“. Такъ, глупость — надо же объ чемъ-нибудь писать! Поэтому я, насколько могъ, утѣшалъ Пимена.

— Ты преувеличиваешь, мой другъ! — говорилъ я. — Во-первыхъ, Менандръ, открывая вопросъ о непригодности въ наше время „широкихъ задачъ“, этимъ самымъ бросаетъ въ публику такую широкую задачу, надъ разрѣшеніемъ которой закружится не одна голова. Во-вторыхъ, если ты подозреваешь, что Менандръ нарочно пустилъ фортель чтобъ „прельстить“, то это напрасно; онъ просто

закидываетъ уду общественному мнѣнію и прочимъ газетчикамъ. Нужны ли широкія задачи или ненужны—это, конечно, бабушка на-двое сказала, но полемика по этому поводу навѣрное возникнетъ и Менаандръ будетъ себѣ подѣ сънію ея „украшать столбцы“. Въ-третьихъ, наконецъ, никто тебѣ не мѣшаетъ въ завтрашнемъ номерѣ написать разъясненіе, какъ слѣдуетъ понимать и т. д.

Но въ-горячахъ мои резоны нимало не утѣшили и не убѣдили его. Признаюсь, теперь, когда я разсуждаю хладнокровно, то пони-маю и самъ, что Менаандръ дѣйствительно поступилъ неладно. Въ извѣстномъ смыслѣ для него было бы выгоднѣе поставить совсѣмъ противоположный тезисъ, а именно: доказывать, что такъ какъ подробности и мелочи давно всѣмъ опротивѣли, то теперь-то и наступило настоящее время „широкихъ задачъ“. Навѣрное „украшеніе столбцовъ“ было бы достигнуто этимъ путемъ гораздо существеннѣе...

— И отъ кого вышла эта распутная фраза!—волновался Пименъ: —отъ Менаандра, котораго я считалъ послѣднимъ изъ Могикановъ именно по части широкихъ задачъ („style perlé“ —почему-то мелькнуло у меня въ головѣ)! отъ Менаандра, который зналъ лучшія времена русской литературы! отъ Менаандра, котораго всѣ обвиняли въ излишней щепетильности и даже брезгливости! Отъ Менаандра, который... вѣтъ, это все онъ, все Гамбетта! Повѣрь, что лавры ошпортуниста Гамбетты не даютъ Менаандру спать.

Высказавшись такимъ образомъ и не вникая никакимъ убѣжденіямъ, онъ схватилъ шанку и убѣжалъ. Но все-таки, хоть частью, онъ послѣдовалъ-таки моимъ внушеніямъ, потому что на другой день я уже читалъ въ газетѣ „разъяснительную“ статью. Растолковывалось, что вчерашнее предостереженіе имѣло въ виду не тѣ широкія задачи, которыя, дѣйствуя благотворно на умственный уровень общества, тѣмъ самымъ полагаютъ начало полному развитію новыхъ и уже разрѣшенныхъ формъ жизни, но тѣ, которыя, имѣя лишь видъ „широкихъ задачъ“, какъ волкъ въ овчарню, проникаютъ въ публику съ цѣлью произвести въ ней замѣшательство. Статья принадлежала перу Пимена —и тоже... прошла! И чтѣ всего замѣчательнѣе —Менаандръ сдѣлалъ къ этой статьѣ примѣчаніе, гласившее такъ: „Мы и сами именно такъ и разумѣли наши вчерашнія слова, какъ понимаетъ ихъ нашъ почтенный сотрудникъ. *Ред.*“

Долгое время послѣ того Пименъ не казалъ ко мнѣ глазъ: со-



вѣстился. Но вотъ въ одно прекрасное утро онъ приближалъ ко мнѣ свѣтлый и радостный.

— Не прошло!

— Не можетъ быть!

— Не прошло и баста! не прошло! не прошло! не прошло!

— Да расскажи толкомъ, чѣмъ такое случилось?

— Не прошло—вотъ и все! А какую, братецъ, я штуку написалъ! Вѣдь я... ну, просто самъ Растопыріусъ навѣрняка простилъ бы меня за невѣжество, совершенное надъ его женой, и опять пригласилъ бы на чашку чаю! Да, есть Провидѣніе, есть! Рече безумецъ въ сердцѣ своемъ: нѣсть! анъ оно—вотъ оно! Спасибо, спасибо, спасибо старикамъ! прихлопнули! Фу ты!

— Но ежели ты самъ сознаешь, что написалъ „штуку“ — зачѣмъ ты ее писалъ?

— Не могу! не понимаю! Газета, братецъ,—это дьявольское навожденіе какое-то! Такъ тебя и тянетъ въ омутъ, такъ и пронизываетъ распутствомъ насквозь. Одуматься не дадутъ! передохнуть нѣтъ средствъ! такъ и стоять надъ душой: сейчасъ! сію минуту! пожалуйста оригиналь! Ну, и...

— А Менандръ какъ принялъ это извѣстіе?

— Ъздилъ. Да только на извозчиковъ напрасно потратился. Отвѣтили: „да послужить сіе вамъ урокомъ, что ежели порицанія не допускаются... безусловно, то и въ похвалахъ надлежитъ избѣгать излишней разнузданности!“

— Вотъ какъ!

— Да, братецъ, ни порицаній, ни похвалъ! Я давно говорилъ: вотъ истинный принципъ во всей его чистотѣ!

— Стало быть, ты въ статьѣ допустилъ „излишнюю разнузданность“ въ похвалахъ?

Пимень, вмѣсто отвѣта, заалѣлся.

— О, Пимень! Пимень!

Начали мы вдводемъ обдумывать, какимъ бы образомъ устранить на будущее время повтореніе подобныхъ казусовъ. Самымъ цѣлесообразнымъ средствомъ представлялось совсѣмъ уйти изъ газетной атмосферы. Но куда?—вотъ вопросъ. Толстыхъ журналовъ мало, да и тамъ всё мѣста заняты, негдѣ унасть яблоку. Поступить на част-

ную службу?—и тамъ переполнено до краевъ; люди, изъ-за пяти-сотъ рублей годовыхъ, готовы другъ съ другомъ на ножи...

— Вотъ кабы ты на фортепянахъ умѣлъ, такъ въ тапёры бы можно...—рискнулъ я пошутить.

— А чтò ты думаешь! важно было бы!

— Знаешь ли чтò? не предложить ли газетчикамъ устроить по вечерамъ... нѣчто въ родѣ фельетоновъ en action? Ты бы, какъ передовикъ и, стало быть, человѣкъ солидный, забуфетомъ стоялъ... отлично!

Но Пименъ, вмѣсто отвѣта, только вздохнулъ: знакъ, что онъ начинаетъ впадать въ угрюмость.

— Я, братецъ, не только въ тапёры, но даже въ кассиры на желѣзнодорожную станцію не гожусь,—наконецъ вымолвилъ онъ:—пробовалъ я это... помнишь, *тогда*? да не выгорѣло! Я двадцать лѣтъ сряду въ литературѣ вращаюсь, двадцать лѣтъ одною ею живу. И ничего другого не понимаю. Знаю, что изъ моей дѣятельности ничего не выходитъ, а все тянусь, все думаю: а вотъ погоди. Сны какіе-то наяву вижу—такъ и проходитъ день за днемъ. Это умственное цыганство до того въѣдается, что нужно именно что-нибудь совѣмъ чрезвычайное (вотъ какъ *тогда*), чтобъ человѣкъ пришелъ въ себя. Но если онъ и пойметъ, что вся его жизнь есть не болѣе, какъ безконечная цѣпь пустяковъ—чтò пользы въ томъ? Ну, пойметъ, и только. Ахъ, вѣдь у насъ даже „своего мѣста“ нѣтъ, того „своего мѣста“, куда всякій бѣжитъ, когда его настигнетъ бѣда!—Вотъ я, напримѣръ. Особенными талантами природа меня не наградила; я не генералъ въ литературѣ, а простой солдатъ. Но вѣдь и солдатъ, если выслужилъ срокъ, вправѣ воротиться въ „свое мѣсто“ и тамъ забыть о солдатствѣ. А куда пойдетъ солдатъ-литераторъ? Литературное ремесло имѣетъ свойство до того оболванивать человѣка, что онъ вездѣ, кромѣ литературы, представляетъ только лишній ротъ. И у меня отецъ и мать есть (овець духовныхъ въ смоленской епархіи пасутъ и волною ихъ питаются,—прибавилъ онъ въ скобкахъ), да зачѣмъ я къ нимъ пойду? Во-первыхъ, я и тамъ буду все объ своемъ паскудствѣ тосковать и бѣгать по помѣщикамъ, нельзя ли гдѣ газетки почитать; а во-вторыхъ, меня будетъ ежеминутно точить мысль, что я лишній ротъ, каковыхъ въ моей семьѣ не полагается. А ужъ какъ мнѣ опостылѣло литературное ремесло, если бы ты зналъ! такъ опостылѣло! такъ опостылѣло!

Пименъ въ волненіи нѣсколько разъ прошелся по комнатѣ.

— Иногда вся внутренность горитъ, — продолжалъ онъ: — саднить, ноетъ, сосетъ, не знаешь, куда дѣваться отъ тоски. Если бы слезы можно было выжать, легче бы было, да негдѣ ихъ взять. Нѣтъ, никогда этого не бывало! никогда, даже въ самые горькіе дни плѣненія вавилонскаго не знали такой мертвенной тоски, такого холоднаго отчаянія! „Наше время не время широкихъ задачъ“ — этимъ все сказано! Тутъ и скудоуміе, тутъ и распутство, и желаніе сказать нѣчто пріятное... Ахъ!

— Слушай! да надо же выходъ найти!

— Оставаться по прежнему въ вертепѣ — вотъ и выходъ. Тянуть безконечную канитель невѣдомо объ чемъ, распинаться невѣдомо по поводу чего, поучать невѣдомо чему, преслѣдовать невѣдомо какія цѣли, жить въ постоянномъ угарѣ, упразднить мысль и залѣплять глаза пустословіемъ, балансировать между „съ одной стороны нужно сознаться“ и „съ другой стороны нельзя не признаться“ — вотъ удѣлъ современнаго литературнаго солдата! Другого ничего не выдумаешь. И когда, послѣ такого-то трудового дня, начнешь на сонъ грядущій припоминать, что было — ну, хоть убей, ничего не припомнишь! Чувствуешь только усталость физическую, и затѣмъ обрывки, виногретъ — и ничего больше. Даже для сновъ настоящаго матеріала нѣтъ.

Онъ отеръ потъ, выступившій на лбу, и остановился передо мной.

— Патроны наши, — сказалъ онъ, — тѣ на сонъ грядущій, хоть счетомъ барышей отъ розничной продажи могутъ заняться, а мы?

Но тутъ онъ окончательно разсердился.

— Мы-то, мы-то, скажи, изъ-за-чего себя нудимъ?

Да, были „блохи“ у Пимена. Но чѣмъ пышнѣе расцвѣтала пресса, чѣмъ либеральнѣе становились ея замашки, тѣмъ смиреннѣе и какъ-то унылѣе становился мой другъ. „Блохи“ скрывались одна по одной и наконецъ пропали совсѣмъ. Онъ не ерошилъ волосъ, не восклицалъ въ тоскѣ: „ахъ, это ужасно!“ а неумоимо и безропотно строчилъ съ утра до вечера, не чувствуя ни удовольствія, ни омерзѣнія...

Менандръ ступешевался. Не успѣвъ совладать съ „разнузданностью въ похвалахъ“, онъ до того раздражилъ своими „наглými“ усилями попасть въ тонъ минуты („все это одно крокодилово притворство!“



говорилъ про него статскій совѣтникъ Растопыриусъ), что вынужденъ былъ уступить мѣсто другимъ, болѣе споривистымъ дѣятелямъ. Сначала явилась либеральная газета „Чего изволите“, затѣмъ — и еще болѣе либеральная: „И шило брѣветъ“. Но Пимень до того уже потерялъ нюхъ, что не могъ отличать степеней либерализма, и безразлично работаль то тутъ, то тамъ.

Оня почти совсѣмъ пересталь ходить ко мнѣ; я же посѣщаль его довольно часто и всегда заставаль за работой.

— Не помѣшалъ ли я?—спросилъ я его однажды.

— Нѣтъ, какая помѣха! Работа такого сорта, что на всякомъ мѣстѣ можно точку поставить! Было бы пристойное количество „строчекъ“, а объ остальномъ, то-есть о противорѣчiяхъ, неясностяхъ и даже пошлостяхъ, я давно уже не забочусь. Все равно, читатель сжуётъ.

— Объ чемъ же ты пишешь? все, чай, о перспективахъ?

— Нѣтъ, о перспективахъ писать теперь ужъ черезъ-чуръ широко. По нашему, это называется „распливаться“. Нынче мы больше по части патріотистики и пламени сердець, къ которымъ, ради оживленія столбцовъ, пристегивается и взнуздываніе. Вотъ, напримѣръ, я написалъ статью: „Гдѣ корень зла?“—хочешь, прочту?

— Нѣтъ, ужъ не надо! Ахъ, Пимень, Пимень! зачѣмъ ты это пишешь?

— Какъ сказать, зачѣмъ! знаю грамматику, синтаксисъ, учился правописанію, умѣю разставлять знаки препинапія—вотъ и пишу. Неужто же, обладая такими сокровищами, оставлять ихъ втунѣ?

— А знаешь ли, чтѣ я замѣтилъ. Прежде, бывало, хоть ты и не подписывался подъ статьями, а я все-таки узнаваль твою манеру. Прочтешь и скажешь: вотъ это Коршуновъ писалъ. И даже отгадаешь: а вотъ это словечко Менандръ лично отъ себя вклеилъ! А нынче, какъ ни стараешься угадать—всѣ статьи на одинъ манеръ пишутся!

— Это у насъ новая метода завелась, съ тѣхъ поръ, какъ отъ передовика ничего, кромѣ правописанія, не требуется. Чтѣбъ всѣ какъ одинъ человекъ. Выгодно это, голубчикъ. Во-первыхъ, публика читаетъ и думаетъ: стало быть, однакожь у нихъ есть что-нибудь за душой, коли они такъ сѣлись! а во-вторыхъ—дешево.

— Это почему?

— А потому что если однажды данъ извѣстный шаблонъ, то нѣтъ нужды дорожить сотрудничествомъ той или другой личности. Всякій встрѣчный можетъ любую статью написать, все равно какъ свадебныя приглашенія. Важнѣе всего—аккуратность, чтобъ не задерживать типографію. Поэтому и передовики нынѣшніе присмирѣли: знаютъ, что мѣсто свято пусто не будетъ. Прежде мы упирались, растабарывали объ убѣжденіяхъ, а нынче этого ужъ не полагается.

— Однако, некрасиво ваше положеніе!

— Покуда еще ничего, можно терпѣть, а вотъ въ ближайшемъ будущемъ... Я, напримѣръ, покуда еще не стѣняюсь и почти совсѣмъ *туда* не хожу: покажешься на минуту, сдашь чтò слѣдуетъ— и былъ таковъ. А скоро, пожалуй, и прихоти заведутся: придется различные виды и соображенія выслушивать. А еще того горше: вечера для обмѣна мыслей устроить, да съ отставными полководцами, да съ „дипломатами“, да съ разсказами изъ народнаго быта... Вотъ когда худо-то будетъ! Придется самолюбіе хозяйки дома щекотать, выслушивать полководческое фрондерство и въ антрактахъ освѣжаться протухлыми побасѣнками!

— А развѣ есть ужъ признаки, предвѣщающіе что-нибудь подобное?

— Есть. На меня ужъ и теперь косятся, что мало разговариваю. На дняхъ я *тамъ* былъ—сама выбѣжала. „Вы, говорить, Коршуновъ?“—Я, говорю. „Ахъ, какой вы не любезный!“

— Съ чего-жь это она?

— Стало быть, разговоръ былъ. Въ Аспазіи она къ нашему Периклу готовится—ну, и принимаетъ участіе. Да, терпятъ меня покуда, любезный другъ! но только терпятъ. А такъ какъ и ангельскому терпѣнію предѣлъ есть, то по-неволѣ спрашиваешь себя: чтò будетъ, когда этотъ предѣлъ настанетъ? Разумѣется, стану просить милости. Не гожусь въ передовики—можетъ быть, къ „намъ пишутъ“ опредѣлять, или „Тайнства мадридскаго двора“ переводить велять. Все равно какъ въ домѣ терпимости: сперва гостей занимать заставляють, а потомъ, какъ розы-то отцвѣтутъ, начнутъ въ портерную за пивомъ посылать.

До этого однако не дошло, хотя мнѣ самому не разъ приходилось слушать отзывы: „ахъ, какой непріятный у Коршунова характеръ!“ И не только Аспазія, но и самъ Периклъ отзывался такъ.

Пимень имѣлъ даже по этому поводу объясненіе, но, къ счастью, успѣлъ доказать, что до его „характера“ никому никакого дѣла нѣтъ. Я убѣжденъ однакожь, что едва-ли бы онъ доказалъ это, если бы у него не было кой-какой опоры въ прошломъ. Ради этого прошлаго его, очевидно, щадили, ибо какъ ни „разносторонни“ современные дѣятели политики и литературы, но есть еще ниточка (очень тоненькая), которая связываетъ ихъ съ прошлымъ. Вотъ когда и они сойдутъ со сцены, то на ихъ мѣсто придутъ „новѣйшіе“ дѣятели — этихъ ужъ ничто не будетъ связывать. Тогда, натурально, Коршуновыхъ выметутъ помеломъ.

Изрѣдка впрочемъ и Пимень оживлялся, и именно въ тѣхъ случаяхъ, когда у него накоплялся запасъ анекдотовъ о Периклахъ. Главное горе Перикловъ заключалось въ томъ, что они вѣчно были въ поискахъ за идею, которую впрочемъ безразлично называли и идею, и фортелемъ. Какую бы идею начать проводить? на какой бы фортель подняться?—вотъ задача, которую предстояло разрѣшить. Читатель капризентъ, и однообразныя статьи надоѣдаютъ ему. Однообразіе можно допустить только въ исключительныхъ случаяхъ. Вотъ, напримѣръ, во время войны—ахъ, какая розничная продажа была! Но разъ исключительныя обстоятельства кончились, надо подниматься на фортель. И не одинъ фортель, а даже нѣсколько таковыхъ не худо найти. — Какъ вы, напримѣръ, насчетъ либерализма полагаете? а? хорошо? Съ Богомъ, начинайте-ка рядъ статей! Или насчетъ святости подвига? а? вѣдь подвигъ-то, батюшка, очищаетъ человѣка, даетъ его жизни смыслъ? Тиснемте-ка статейку... а? Главное, дремать не нужно, да почаще оглядываться кругомъ. Да вотъ и еще тема... мирные успѣхи! По возвращеніи съ поля брани, это даже самое подходящее дѣло... въ носъ бросится — а? Эту штуку пять лѣтъ хлебай — не расхлебаешь! Начать хоть съ желѣзныхъ дорогъ... или нѣтъ, это ужъ старо! Просто начнемъ съ земледѣльческой промышленности! „Россія — страна земледѣльческая“ ... это хоть тоже старо, но вмѣстѣ съ тѣмъ и всегда ново, потому что Россія, дѣйствительно, страна земледѣльческая; стало быть, какъ ни вертись, а этой темы не минешь! Не въ томъ бѣда, что мы земледѣльцы, а въ томъ, что мы нашъ продуктъ въ зернѣ отпускаемъ... а? Отсюда, прямой выводъ: заводите маслобойни, винокурни, мельницы — главное, мельницы! А когда съ земледѣльческою промышленностью покончимъ,



можно и за горнозаводскую промышленность взяться: рельсы, паровозы, пароходы, желѣзо листовое и прокатное, гвозди... Нужна ли покровительственная система, или не нужна... а? Потомъ и до рубля доберемся... Ахъ, этотъ рубль! сколько публицистическихъ усилій, сколько полемики потрачено, чтобъ онъ настоящимъ рублемъ смотрѣлъ, а онъ все на полтинникъ смахиваетъ! Придется, пожалуй, и послову: „взглянулъ—словно рублемъ подарилъ“ говорить такъ: взглянулъ, словно полтинникомъ подарилъ! Да, надо, надо какъ-нибудь этому горю помочь! И поможемъ, съ Божьей помощью... да! А наконецъ, когда наговоримся досыта, можно и заключеньице сформулировать: впрочемъ—тутъ чтò бы мы ни говорили, мы знаемъ заранее, что наши слова все равно что къ стѣнѣ горохъ... а? какъ вы думаете? хорошо будетъ? а?

Но какъ ни любопытны были эти анекдоты, а настоящей веселости въ нихъ все-таки не было. И самъ Коршуновъ повидимому сознавалъ это, потому что, истощивъ свой запасъ, онъ неизмѣнно заканчивалъ одною и тою же утрюмою фразой:

— И всѣ эти фортели я обяываюсь, съ Божьею помощью, развить!

Такимъ образомъ онъ промаячился года три сряду.

Одно было недурно: Коршуновъ получалъ хорошій гонораръ за свои работы. Но лишнихъ денегъ у него все-таки не бывало, потому что „свое мѣсто“ поглощало навѣрное половину заработка.

Да, и у Коршунова было „свое мѣсто“, которое довольно часто напоминало ему себя. Отецъ Пимена былъ старъ и добывалъ мало, да и овцы, которыхъ онъ пасъ, имѣли волну скудную. А семья была большая: семь дочерей при одномъ сынѣ, Пименѣ. На этого сына былъ сначала расчетъ, что онъ, по крайней мѣрѣ, хоть дьякономъ будетъ, а онъ вдругъ ускользнулъ. И долгое время, покуда Пименъ бѣдствовалъ, едва зарабатывая на хлѣбъ лично для себя, между нимъ и отцомъ шла ожесточенная полемика. Отецъ ужъ припскалъ сыну невѣсту и намѣтилъ дьяконское мѣсто, но сынъ бунтовалъ. Дѣло доходило до жалобъ и просьбъ о высылкѣ по этапу, вслѣдствіе чего Пименъ скрывался, не имѣя постоянного пристанища. Но наконецъ Пимену посчастливилось. Заработокъ его увеличился, и онъ первая же „лишнія“ деньги послалъ домой. Тогда его оставили въ покоѣ.

Въ „своемъ мѣстѣ“ смекнули, что несмотря на странное занятіе, Пимень все-таки добытчикъ, и, разумѣется, рѣшились пользоваться этимъ. Овъ чаще и чаще началъ получать отписки съ родины, и каждая неизмѣнно заключала въ себѣ напоминаніе объ деньгахъ. То сестру выдаютъ замужъ и надо готовить приданое, то коровушка пала, то милость Божья пристигла — хлѣбъ градомъ выбило. Коршуновъ вытягивался въ нитку, чтобъ удовлетворять этимъ требованіямъ, самъ же постоянно нуждался. Разумѣется, онъ понималъ, что единственно на этихъ денежныхъ соображеніяхъ и держатся кровныя связи, но чувствовалъ ли онъ по этому поводу сердечную боль — это сказать трудно. Вообще онъ упоминалъ о домашнемъ очагѣ рѣдко и сдержанно, и никогда не порывался въ побывку домой, говоря, что пріѣздъ его только прибавитъ лишній ротъ въ семьѣ.

Но, кромѣ кровной связи, имѣлъ ли Пимень какую-нибудь вольную сердечную привязанность? Ощущалъ ли онъ, хотя въ молодые годы, то блаженное таяніе сердца, которое ощущаетъ всякій юноша въ періодъ весенняго расцвѣтанія? Увы! эти вопросы даже въ голову никому не приходили — до такой степени своеобразною казалась личность Коршунова. Ходили, правда, анекдоты о яко бы любовныхъ его похожденіяхъ, но всѣ очень хорошо понимали, что это только анекдоты, скорѣе служившіе къ подтвержденію противнаго. Вообще на него смотрѣли какъ на человѣка, для котораго вопросъ о сближеніи половъ составляетъ нѣчто совсѣмъ постороннее, его не касающееся. Даже когда возникъ такъ-называемый женскій вопросъ — и тутъ онъ уклонялся, несмотря на то, что этотъ вопросъ стоялъ на чисто теоретической почвѣ. Иногда впрочемъ, замѣчая, что онъ ужъ черезъ-чуръ утрируетъ въ этомъ смыслѣ, яневолью нападаль на мысль, что причина этого явленія заключается не столько въ холодности темперамента, сколько въ непреодолимой застѣнчивости. Повидимому онъ слишкомъ настойчиво говорилъ себѣ, что такъ ужъ сложилась его жизнь. Бываютъ люди, которымъ на роду суждено глубокое и горькое заточеніе, и онъ принадлежалъ къ числу этихъ людей. Просто было почти нелѣпо вообразить его себѣ любящимъ и любимымъ. Пимень, смотрящій въ книжку, Пимень съ перомъ въ рукахъ — вотъ настоящій Пимень. Но Пимень тающій, палимый страстью къ женщинѣ, Пимень, шепчущій признанія любви и просвѣтленный увѣ-

ренностью въ взаимности—помилюйте, это какое-то баснословіе, это почти клевета!

Точно такъ же было и по части дружбы. Пименъ вращался исключительно въ литературной средѣ, гдѣ во взаимныхъ отношеніяхъ примѣшивается очень значительная доля раціонализма. Я не отрицаю, что связи вслѣдствіе этого становятся болѣе прочными, но думаю, что въ то же время онѣ пріобрѣтають окраску исключительно дѣловую и совершенно утрачиваютъ тотъ ласкающій элементъ, который такъ присущъ инстинктивной дружбѣ. Бываютъ однакожь минуты, когда человѣкъ имѣеть право быть малодушнымъ, когда онъ чувствуетъ непреодолимую потребность жаловаться, роптать, проклинать, не ображая, глупо это или умно, полезно или бесполезно — и вотъ въ эти-то минуты ему необходимо, чтобъ дружеская рука сняла хоть часть того бремени, которое давить его. Ничего подобнаго Коршуновъ положительно не зналъ: онъ малодушествовалъ, жаловался и проклиналъ — въ пространство.

Онъ не былъ настолько силенъ и одаренъ, чтобъ составить около себя кружокъ, а слѣдовательно не могъ создать для себя и искусственной дружбы. Онъ самъ былъ по природѣ поклонникомъ, страстнымъ и беззавѣтно преданнымъ, но поклонниковъ не имѣлъ и пользовался только благосклоннымъ сочувствіемъ. Сверхъ того, составъ кружка, которому онъ былъ преданъ, часто мѣнялся; люди вымирали и исчезали, а наконецъ кружокъ и совсѣмъ распался. Приблизившись къ старости, Пименъ очутился въ невѣдомой средѣ, окруженный незнакомыми людьми, и все-таки вынужденный работать съ ними. Эти насильственные сближенія до того изнуряли его, что нерѣдко онъ буквально ходилъ какъ потерянный.

Таковы были кровныя и вольныя связи Пимена. Совокупность ихъ составляла мученическое существованіе, хотя видимыхъ пытокъ и не было. Дома онъ видѣлъ голыя стѣны квартиры; внѣ дома—видѣлъ деревянныхъ людей. Развѣ можно представить себѣ пытку болѣе злостную?

И вотъ, онъ умеръ. Умеръ въ одинъ день съ первой гильдіи купчихой Пулхеріей Конопатчиковой, которая спокойно и непостыдно отошла въ вѣчность, окруженная заботливыми попеченіями законныхъ наслѣдниковъ. Пименъ же и умеръ словно украдкой, такъ что



о смерти его узнали отъ квартирной хозяйки, которая прежде всего побѣжала въ участокъ, а потомъ ударилась за деньгами въ Литературный Фондъ, потому что въ послѣднее время Коршуновъ почти совсѣмъ не работалъ.

На кладбищѣ громко говорили, что купчиха Конопатчикова оставила шести сынамъ — каждому по двадцати-пяти тысячъ, и тремъ дочерямъ — каждой по десяти. Да старшему сыну отказала лавку, а Божіе благословіе раздѣлила между всѣми поровну. Все это и батюшка въ своей проповѣди упомянулъ, не въ осужденіе усопшей, но въ похвалу. Чтѣ же оставилъ послѣ себя Пименъ?

Страшно сказать, но ничего яснаго. Человѣкъ жилъ, неутомимо трудился, и по мѣрѣ того, какъ его трудъ приводился къ окончанію, онъ тутъ же и улетучивался.

Вотъ я сказалъ, что Пименъ нѣкогда участвовалъ въ творествѣхъ извѣстныхъ наслоеній, которыя, быть можетъ, и не прошли безслѣдно. Но кто же разберетъ, чтѣ въ этихъ наслоеніяхъ принадлежитъ ему и чтѣ другимъ атомамъ общей рабочей массы? Да и кому охота возвращаться къ этимъ забытымъ наслоеніямъ, а тѣмъ болѣе разбираться въ нихъ?

Даже историкъ русской литературы и общественности — и тотъ не отыщетъ Пимена, потому что надъ рабочею массою всегда рѣшетъ какое-нибудь выдающееся имя. Этому имени — и честь, и слава, и поклоненіе. И слава, и страданія, и подвигъ — все достойно вмѣнится ему въ сугубую похвалу. А Пимену даже по истинѣ мученическая его жизнь ни во что не вмѣнится, потому что объ ней нигдѣ не упоминается и она нигдѣ не оставила слѣдовъ своей крови.

Я помню, онъ мнѣ говорилъ: „когда я умру, то на памятникѣ моемъ надобно написать: „литература освѣтила ему жизнь, но она же напоила ядомъ его сердце“. Да, это надпись хорошая и вполне согласная съ истиной, но вопросъ въ томъ, будетъ ли когда-нибудь памятникъ на его могилѣ?

Допустимъ, однакъ, что памятникъ — ужъ прихоть. Гораздо проще другой вопросъ: долго ли мы, схоронившіе Пимена, будемъ ощущать, что смерть его оставила послѣ себя пустоту? долго ли воспоминаніе объ немъ будетъ жить между нами?

Онъ жилъ — и умеръ... Благо умершимъ!

## Старческое горе

или

### НЕПРЕДВИДѢННЫЯ ПОСЛѢДСТВІЯ ЗАБЛУЖДЕНІЙ УМА.

(Разсказъ.)

Про Каширина всё говорили: „вотъ истинно милый человѣкъ!“ А нѣкоторые прибавляли: „это человѣкъ свѣтлаго ума, любезный, преданный дѣлу и замѣчательно интересный; однимъ словомъ, человѣкъ, знакомствомъ съ которымъ слѣдуетъ гордиться“. Люди самыхъ противоположныхъ лагерей сходились въ любви къ Каширину и въ признаніи его достолюбезныхъ качествъ. Съ своей стороны, и онъ всёхъ любилъ, со всёми здоровался и всякому имѣлъ сказать что-нибудь пріятное. И всегда это пріятное выражалось съ такою сердечностью, какъ будто оно было адресовано исключительно тому лицу, къ которому обращалось, а вовсе не представляло собой банальной фразы, которую можно примѣнить ко всякому встрѣчному. И всякому представлялось (особливо самолюбивымъ людямъ), что это не была съ его стороны только ловкость, а именно интимное выраженіе достолюбезныхъ свойствъ его природы.

Словомъ сказать, хотя Филипу Филипычу (такъ зовутъ Каширина) перевалило за пятьдесятъ, но онъ рѣшительно не помнитъ, чтобъ до послѣднихъ непредвидѣнныхъ невзгодъ существованіе его было когда-нибудь омрачено продолжительнымъ и существеннымъ огорченіемъ.

Какимъ образомъ явился Филипъ Филипычъ на сцену жизни и откуда, „изъ какихъ“ онъ былъ родомъ—никто объ этомъ достоверныхъ свѣдѣній не имѣлъ; самъ же онъ очень ловко уклонялся отъ вопросовъ на эту тему. Въ дѣйствительности онъ былъ родомъ изъ-подъ Пронскаго города, сынъ мелкопомѣтнаго помѣщика, и даже дондесъ у него живетъ въ тѣхъ мѣстахъ тетка Агаѣя Ивановна, старая дѣвица, въ пользу которой Каширинъ отказался отъ своего родового наслѣдства. Наслѣдство это, по старому крѣпостному счету, заключалось въ трехъ мужеска поль душахъ, при двадцати-пяти десятинахъ земли. Когда состоялась крестьянская эмансипація, то за души выдали деньги, которыхъ Филипъ Филипычъ взялъ себѣ,

а землю, съ находящеюся на ней ветхой усадьбой, съ движимымъ имуществомъ, съ лѣсами, водами, рыбными ловлями и прочими угожьями, предоставилъ тетенькѣ Агаеѣ Ивановнѣ. Съ своей стороны, Агаея Ивановна, въ знакъ благодарности, ежегодно присылала ему къ Рождеству двухъ замороженныхъ индѣекъ, каковаго презента онъ впрочемъ всегда ожидалъ съ большимъ страхомъ, потому что боялся, чтобъ кто-нибудь изъ „друзей“, провѣдавъ объ этомъ, не заговорилъ „въ шутиломъ русскомъ тонѣ“ о славномъ и знаменитомъ родѣ Кашириныхъ.

Воспитаніе Филипъ Филипычъ получилъ, по своему времени, хорошее, и собственно съ момента поступленія въ казенное заведеніе начиналъ свою историческую жизнь. Вѣроятно отецъ его былъ тоже права достоблюзнаго и чувствовалъ себя хорошо въ роли ласковаго теляти — и это въ значительной степени помогло молодому Каширину. Благодаря этому обстоятельству, богатый сосѣдъ (онъ же и любитель просвѣщенія) приглубилъ маленькаго Филю и сначала воспиталъ его съ своими дѣтьми дома, потомъ помѣстилъ на свой счетъ въ университетскій пансіонъ, отсюда онъ перешелъ въ московскій университетъ, и наконецъ, умирая, завѣщалъ своему питомцу небольшой капиталъ. Впослѣдствіи, когда молодые потомки богатаго барина пошли бойко по службѣ, то и они помогли Каширину. Филипъ Филипычъ поддерживалъ эти связи, но не только безъ навязчивости, а даже болѣе нежели съ скромностью. Смолоду онъ даже скрывалъ объ этомъ обстоятельствѣ отъ своихъ „друзей“, хотя друзья очень хорошо понимали, что у него есть гдѣ-то „рука“, благодаря которой онъ преуспѣваетъ на бюрократическомъ поприщѣ. Впрочемъ онъ очень аккуратно посѣщалъ своихъ патроновъ и патронессъ въ дни семейныхъ и торжественныхъ праздниковъ и изрѣдка являлся къ нимъ, по приглашенію, запросто отобѣдать. Иногда „коренные“ друзья, прогуливаясь съ Филипомъ Филипычемъ по Невскому, видали, какъ какая-нибудь высокопоставленная дама дружелюбно кивала Каширину изъ коляски, и онъ, почтительно отдавая поклонъ, краснѣлъ. И ежели эти „друзья“ были литераторы, то они очень остроумно по этому повсду подшучивали надъ Каширинымъ; но ежели „друзья“ были бюрократы, то они задумывались и крѣпко сжимали счастливу руку. Сверхъ того, раза два-три въ годъ бывали такіе случаи, что сами патроны и патронессы (древо стараго добраго ба-



рина оказалось многовѣтвистымъ) сами назывались къ своему интеллектуальному protégé на „вечерокъ“ и привозили дѣтей съ гувернантками. Въ такіе дни онъ покупалъ печенья къ чаю, конфектъ, фруктовъ, шампанскаго, курилъ въ квартирѣ духами, облакался во фракъ, спускалъ на окнахъ драпри, чтобъ не видно было съ улицы свѣта, и строго-на-строго приказывалъ швейцару (онъ жилъ въ четвертомъ этажѣ, но всегда въ такомъ домѣ, гдѣ былъ заведенъ швейцаръ) отнюдь не пускать „друзей“. Патроны, патронессы, ихъ дѣти и гувернантки кушали чай, конфекты и фрукты, выпивали по бокалу шампанскаго, хвалили квартиру Каширина и находили, что у него очень „мило“. Онъ же старался быть почтительно-гостепріимнымъ (но безъ всякаго искательства), предоставлялъ въ распоряженіе гувернантокъ и дѣтей piano mécanique (для этого собственно онъ его и пріобрѣлъ), а дамамъ показывалъ альбомы съ фотографическими карточками, кипсеки и платокъ, подаренный Гарибальди одному изъ его друзей, а отъ послѣдняго перешедшій къ нему. Вообще онъ былъ безконечно сіяющъ и любезенъ, хотя внутренно и мучился, чтобъ кто-нибудь изъ литературныхъ „друзей“ не пронюхалъ о пиршествѣ и не положилъ его въ основаніе разсказовъ болѣе или менѣе юмористическаго свойства.

Въ университетѣ Каширину удалось слушать лекціи Грановскаго, тогда только-что начавшаго свою воспитательную дѣятельность. Это положило неизгладимую печать на всю его жизнь: дало ему вкусъ къ изящному и — что важнѣе всего — утвердило въ намѣреніи неуклонно идти по стезѣ чести и благородства. И онъ шелъ по этой стезѣ до конца, и очень глубоко скорбѣлъ, видя, какъ нѣкоторые изъ его товарищей, тоже ученики Грановскаго, поступали на службу, „пробытка ради“, въ московскую гражданскую палату и тамъ находили себѣ успокоеніе подъ сѣнью „крѣпостныхъ дѣлъ“. Самъ же онъ всегда выбиралъ службы самыя благородныя, съ легкимъ фронтдирующимъ оттѣнкомъ (фронтдировать не служа онъ не могъ, потому что не имѣлъ достаточно обезпеченныхъ средствъ къ жизни), а именно: сначала поступилъ на службу въ вѣдомство „Предвкушенія свободъ“, потомъ, когда благородство изъ этого вѣдомства перешло въ вѣдомство „Плаваний и Внезапныхъ открытій“, то и онъ, вслѣдъ за нимъ, перешелъ туда же, и наконецъ, когда времена окончательно созрѣли, онъ окончательно утвердился въ вѣдомствѣ „Дивидендовъ“

и Раздачь“. Навѣрное онъ попалъ бы и въ преобразованное судебное вѣдомство, яко наиблагороднѣйшее и несмѣняемѣйшее, если бы ко времени введенія реформъ не почувствовалъ себя состарѣвшимся и обрюзгшимъ.

То же живое слово Грановскаго воспитало въ немъ и склонность къ литературѣ. Собственно говоря, самъ онъ не былъ литераторомъ, но перевелъ однакожь, съ кѣмъ-то вдвоемъ, статейку для „Отечественныхъ Записокъ“ времени Бѣлинскаго и, кромѣ того, изобрѣлъ два-три счастливыя выраженія, которыми и воспользовались литераторы настоящіе, сдѣлавшіеся впоследствии знаменитыми. Сверхъ того, онъ въ особенности любилъ непропущенныя цензурой статьи или хотя отдѣльныя мѣста изъ нихъ, и страстно коллекціонировалъ ихъ. Вообще онъ смолоду охотно искалъ общества литераторовъ и былъ всегда испытаннымъ и вѣрнымъ ихъ другомъ, хотя многіе изъ нихъ оплачивали за эту дружбу легкомысленнымъ предательствомъ. Въ сороковыхъ годахъ съ талантливостью какъ-то фаталистически соединялась склонность къ пересмѣшничеству и даже немного къ вѣроломству. Каширинъ очень часто и больно страдалъ отъ этого, но, къ чести его должно сказать, никакія личныя огорченія не заставили его отвернуться отъ литературы, а тѣмъ менѣе мстить ей. И когда учрежденъ былъ Литературный Фондъ, то онъ за особенную себѣ честь поставилъ быть однимъ изъ его учредителей и печальниковъ.

Вообще все существованіе Филипа Филипыча имѣло подкладку несомнѣнно гуманную и либеральную. Хотя же онъ и не высказывалъ своего либерализма вслухъ, но при случаѣ такъ характерно произносилъ: „гм“ и даже: „аге!“ — что въ умѣ сколько-нибудь прозорливаго собесѣдника не могло оставаться никакихъ сомнѣній насчетъ душевнаго его настроенія.

Каширинъ прожилъ жизнь тихо и аккуратно. Занимая по службѣ мѣста благородныя и снабженныя хорошимъ содержаніемъ, онъ не только не нуждался, но всегда жилъ вполне прилично. Онъ не прижимался съ деньгами, но и не расточалъ оныхъ. Имѣя обширный кругъ знакомыхъ, гдѣ всегда видѣли его съ удовольствіемъ, онъ почти не жилъ дома, и это значительно сокращало его расходы. Говорили, будто онъ копилъ про черный день; но ежели это и была правда, то во всякомъ случаѣ присовокупленія его были самыя умѣ-

ренныя. Главный расходъ его составляли: квартира, одежда и сигары, и эти статьи были доведены у него до самой безукоризненной респектабельности. Затѣмъ онъ держалъ при себѣ приличнаго лакея, непременно изъ нѣмцевъ. Никогда онъ дома не обѣдалъ, и, проработавъ утромъ за казенными бумагами, исчезалъ до поздней ночи, заходя домой только на короткое время, чтобъ переодѣться. Обѣдать любилъ преимущественно въ семейныхъ домахъ, гдѣ можно было сказать что-нибудь любезное хозяйкѣ дома, но не отказывался изрѣдка отобѣдать и въ „кабачкѣ“, въ кутящей компаніи, причемъ самъ пилъ очень умѣренно, но платилъ свою часть наравнѣ со всѣми и даже уплачивалъ иногда за какого-нибудь *pique-assiett'a*, которыхъ всегда бываетъ немало между собутыльниками. Еще особенность: бумажникъ Каширина всегда бывалъ изобильно снабженъ деньгами, и между кредитками непременно выглядывали двѣ-три крупныхъ. Это было тоже своего рода право на респектабельность.

Начальство отдавало Каширину справедливость, а нѣкоторыхъ изъ начальниковъ онъ даже имѣлъ честь считать въ числѣ своихъ друзей. Въ особенности онъ чувствовалъ себя счастливымъ, когда у департаментскаго кормила стояло начальство либеральное. Въ такія времена онъ называлъ департаментъ своею семьей, позволялъ себѣ ходить на службу въ коротенькой жакеткѣ и входилъ въ „кабинетъ“ безъ доклада, съ сигарой въ зубахъ. Но и начальство *не-либеральное* не особенно смущало его, потому что онъ обладалъ однимъ драгоценнѣйшимъ качествомъ, которое всегда выручало его. Это качество было написано на его фizioноміи и выражало собой готовность выслушать и исполнить, слегка окрашенную готовностью „доложить“. Начальники либеральные въ особенности цѣнили эту послѣднюю готовность и пользовались ею не безъ пользы для себя. Начальники *не-либеральные* болѣе всего напирали на первыя двѣ готовности, но иногда, замѣтивъ, что гдѣ-то, въ уголку, скромно мерцаетъ еще какая-то робкая готовность, вдругъ осѣнялись мыслью: а что, не послушать ли, что имѣетъ этотъ фалалея доложить? И тогда Каширинъ докладывалъ внятно, вразумительно, точно жемчугъ низалъ, такъ что не было никакой возможности не понять. И бывали примѣры, что, по выслушаніи, начальники —самые закосяблые—исправлялись.

Самую загадочную сторону жизни Каширина представляли его



отношенія къ женскому полу. Достоувѣрно было извѣстно, что онъ любилъ женское общество, искалъ его, и вслѣдствіе этого преимущественно посѣщалъ семейные дома. Женщины тоже повидимому любили его общество, что можно было заключить уже по тому одному, какъ расцвѣтали лица знакомыхъ дамъ при встрѣчѣ съ нимъ. Но справедливость требуетъ сказать, что въ этомъ расцвѣтаніи гораздо яснѣе проглядывало простое чувство благосклонности, довѣрія и дружбы, нежели стремленіе къ секретному потрясенію семейныхъ основъ. Да и самъ онъ, всѣмъ своимъ поведеніемъ, какъ бы свидѣтельствовалъ, что ему дорога только дружба и довѣріе женщинъ. Не говоря уже о томъ, что онъ былъ скромнень какъ могила, ничто ни въ его манерахъ, ни въ голосѣ, ни во взглядѣ не представляло повода для игривыхъ догадокъ. Онъ никогда не зачашалъ въ одинъ и тотъ же домъ и никогда не показывалъ, что между семейными домами, которые онъ посѣщалъ, ему больше по душѣ тѣ, во главѣ которыхъ стоятъ красивыя хозяйки. Казалось, что и *la belle madame* Растопыря, и хорошенькая *madame* Карноухова, и добродушно-безобразная Матрена Ивановна Стрекоза равно ему милы. Онъ одинаково усердно посѣщалъ и красивыхъ, и некрасивыхъ, и одинаково старался снискивать ихъ довѣріе, благосклонность и дружбу. Иногда эти дамы, даже въ присутствіи мужей, шопотомъ сообщали ему свои маленькія тайны, и мужья отнюдь не формализировались этимъ, ибо знали, что Каширинъ — „другъ по преимуществу“. Большею частью онъ разсказывалъ дамамъ о своихъ друзьяхъ-литераторахъ, о томъ, что Бѣлинскій и въ преферансѣ игралъ съ тѣмъ же пыломъ страсти, съ какимъ писалъ критическія статьи; о томъ, что Тургеневъ каждое утро моетъ лицо въ трехъ водахъ; о томъ, что Гончаровъ спитъ до двухъ часовъ дня и т. д. И дамы внимали этимъ разсказамъ съ удовольствіемъ, потому что это были дамы интеллигентныя, либеральныя. Очень возможно, что въ минуты особеннаго сердечнаго таянія онъ и побаловывалъ его за интересно проведенные часы, но навѣрное онъ поступали такъ безъ всякой примѣси увлеченія и съ тѣмъ, разумѣется, что въ будущемъ это ихъ ни къ чему не обязываетъ. По крайней мѣрѣ именно такимъ образомъ злые языки объясняли загадочное отсутствіе любовнаго элемента въ жизненной обстановкѣ Каширина. „Это такая по части женскихъ немощей подлая душа, — говорили они: — что дамочка и ахнуть не успѣетъ, какъ онъ уже, въ скромной

роли недостойно благодѣтельствованнаго, продолжаетъ прерванный разговоръ!“ И это было весьма возможно. Ибо нѣтъ ничего удобнѣе и пріятнѣе, какъ обожатель, который съ женской благосклонностью не только не сопрягаетъ никакихъ обязательствъ, но даже никогда ни о чемъ не поминаетъ и только скромно и преданно ждетъ.

Но существовала и другая легенда о томъ же предметѣ. А именно, говорили, будто у Каширина имѣется въ заднихъ комнатахъ кухарка Амалія, которой онъ платитъ нѣсколько болѣе нежели обыкновенной кухаркѣ, и которая, въ одно и то же время, занимается приготовленіемъ для него утренняго кофе и смотритъ за его бѣльемъ. И будто бы онъ придумалъ эту комбинацію въ видахъ экономіи, по примѣру отставныхъ чиновниковъ, которые, получая ограниченный пенсіонъ, не могутъ тратить много на свои удовольствія. Эту легенду впрочемъ пустили въ ходъ друзья-литераторы, и потому солидные люди, не останавливаясь на ней, прямо относили ее къ области беллетристики.

Какъ бы то ни было, но отношенія Каширина къ женской немощи такъ и остались неразгаданными.

Однако холостая жизнь и сопряженная съ нею бездомовщина не остались безъ вліянія на Каширина. Отъ всей его фигуры такъ и разлило старой дѣвой. И чѣмъ далѣе онъ придвигался къ старости, тѣмъ замѣтнѣе становилось это. Привычка быть всегда среди людей (или, по крайней мѣрѣ, въ гостяхъ) выработала въ немъ особаго рода щепетильность, которая подъ конецъ сдѣлала бесѣду съ нимъ чрезвычайно однообразною. Дамочки любятъ скромныхъ обожателей, но въ то же время онѣ не прочь и отъ того, чтобъ отъ времени до времени колѣнопреклоненія ихъ были пересыпаемы какою-нибудь милою словесною гнусностью. Поэтому, когда онъ, рассказавъ весь запасъ анекдотовъ, начиналъ рассказывать ихъ вновь, то онѣ потихоньку вздыхали и находили, что онъ какъ-то черезъ-чуръ ужъ мало слѣдитъ за вѣкомъ. Время шло впередъ и вносило оживляющее, реформирующее начало и въ сферу анекдотовъ. Требовался анекдотъ сильный, возбуждающій, щекочущій чувственность (даже Матрена Ивановна—и та не избѣгала общихъ законовъ прогресса), а Каширинъ все продолжалъ рассказывать о томъ, какъ онъ, въ 1845 году, ловилъ съ Аполлономъ Майковымъ пискарей въ Парголовскомъ озерѣ. Сверхъ того, съ лѣтами онъ слегка ожирѣлъ, влѣдствіе хорошей

пищи, а это тоже имѣло не совѣсьмъ хорошее вліяніе на избрѣтательность ума. Онъ сталъ пріобрѣтать особыя, свойственныя одному человѣку привычки, съ трудомъ отказывался отъ тѣхъ или другихъ удобствъ, наблюдалъ извѣстные часы, началъ лѣниться, любить халатъ и т. д. Сказать ли правду—иногда онъ даже задумывался: а чтò, если бы предположеніе о кухаркѣ Амаліи привести въ исполненіе? То заманчивое и вполне экономическое предположеніе, въ которомъ Амалія представлялась кумулирующею двѣ должности...

Со времени окончанія университетскаго курса, разъ поселившись въ Петербургѣ, онъ уже не покидалъ его, и только однажды въ нѣсколько лѣтъ позволилъ себѣ коротенькую экскурсію за границу. Провинціи онъ боялся какъ огня, и даже командировокъ не бралъ, потому что всюду чаялъ встрѣтиться съ тетенькой Агаѳьей Ивановной. Неоднократно, бывшіе его „благодѣтели“ приглашали его погостить на лѣто въ свое великолѣпное прожское имѣніе, но онъ постоянно уклонялся отъ этихъ любезныхъ приглашеній, и именно изъ-за той же Агаѣи Ивановны. Казалось, если бы она умерла, это во многомъ развязало бы Филипу Филипычу руки: онъ сталъ бы и командировки брать, и ѣздить на лѣто въ гости къ высокопоставленнымъ друзьямъ. Но, съ другой стороны, если Агаѣя Ивановна умретъ, то послѣ нея неминуемо останется имущество, и по этому случаю его, конечно, будутъ разыскивать, яко законнаго наслѣдника. А этого онъ боялся еще всего, потому что тогда не только всѣмъ будетъ извѣстно, что онъ владѣлецъ двадцати-пяти десятинъ земли (это-то, пожалуй, и теперь многіе знали), но всѣ получатъ право говорить объ этомъ гласно, не стѣсняясь, начнутъ его поздравлять и т. д.

Выше было сказано, что Каширинъ избѣгалъ говорить о своемъ происхожденіи. Съ лѣтами эта странность не только не ослабѣвала, но пріобрѣтала все болѣшую и болѣшую силу, и всего больше страдала отъ этого тетенька Агаѣя Ивановна. Съ одной стороны, Филипъ Филипычъ отлично понималъ, что тетенька нимало не виновата въ томъ, что она существуетъ. По временамъ онъ даже съ теплымъ чувствомъ припоминалъ, какъ, въ дѣтствѣ, она кормила его, тайно отъ отца, сдобными лепешками. Но, съ другой стороны, ему становилось досадно, когда онъ ловилъ себя на этихъ воспоминаніяхъ. Ему хотѣлось совѣсьмъ-совѣсьмъ забыть и объ тетенькѣ, и обо всемъ „прошломъ“. Не имѣя возможности производить свой родъ отъ Рюрико-



вичей, онъ съ любовью останавливался на гипотезѣ, въ которой представлялъ себя явившимся въ пространствѣ и времени изъ чего-то въ родѣ пѣны морской. Поэтому, когда однажды тетенька, сколотивши деньжонокъ, собралась-было навѣстить „милаго Филю“ въ Петербургѣ, онъ очень серьезно этимъ встревожился. Мысль, что она придетъ въ третьемъ классѣ, въ затасканномъ заячьемъ салонѣ, что онъ долженъ будетъ, по долгу родства, встрѣтить ее на дебаркадерѣ, что его могутъ при этомъ *увидѣть* и что во всякомъ случаѣ лакей Готлибъ несомнѣнно выразить глубочайшее изумленіе при видѣ столь мало аристократической старухи, не давала ему спать. И онъ въ первый разъ въ жизни рѣшился вполне серьезно и даже рѣзко разъяснить милой тетенькѣ, какого рода характеръ должны имѣть ихъ отношенія на будущее время.

Тѣмъ не менѣе, хотя Каширинъ съ лѣтами и утрачивалъ прежнюю упругость и покладистость, которыя дѣлали его особенно достолюбезнымъ, но все-таки онъ отнюдь не могъ жаловаться на судьбу. Знакомство у него было обширное, и онъ могъ черпать въ этомъ морѣ безъ опасенія быть назойливымъ. Конечно, у него не было такихъ друзей, которыхъ мысль постоянно стремилась бы къ нему, которыхъ сердце болѣло бы объ немъ, но все-таки были люди, которые видѣли его съ удовольствіемъ. Эти люди, быть можетъ, не особенно замѣчали его отсутствіе, но, встрѣчаясь съ нимъ, непременно и совершенно искренно восклицали: „а! вотъ и онъ!“ Начальство тоже аттестовало его способнымъ и достойнымъ, и всякій разъ, когда имѣлось въ виду что-нибудь серьезное, непременно заводилась рѣчь и объ Каширинѣ. Онъ всегда былъ на очереди и звалъ объ этомъ, хотя въ этомъ отношеніи надъ нимъ тяготѣлъ какой-то фатумъ. Слухи о томъ, что ему предстоятъ „постъ“, ходили часто и держались долго и упорно, но въ концѣ концовъ дѣло всегда какъ-то сводилось на нѣтъ. Такимъ образомъ онъ дослужился до очень крупнаго чина и все-таки не пошелъ дальше второстепенной должности. Это, разумѣется, довольно больно щекотало его самолюбіе, но онъ умѣлъ превозмогать себя, и исторія обыкновенно кончалась тѣмъ, что Филиппъ Филипычъ дня три, четыре послѣ этого высиживалъ въ домашнемъ карантинѣ, на бульонной порціи, но потомъ попрежнему являлся въ департаментъ для полученія присвоеннаго ему содержанія.

Впрочемъ, несмотря на эти маленькія непріятности, Филиппу Фи-

липычу грѣхъ было роптать. Служба у него была легкая, благородная, хорошо оплаченная, одна изъ тѣхъ службъ, по поводу которыхъ говорятъ: умирать не надо. Урочныхъ работъ не было, и всѣ занятія главнымъ образомъ заключались въ томъ, что онъ былъ членомъ множества комиссій и во всякой умѣлъ заявить себя съ пріятной и полезной стороны. А это еще болѣе расширяло кругъ его знакомства и, стало быть, разнообразило и его ежедневный обѣденный меню.

Какъ бы то ни было, все время такъ-называемаго сезона Каширинъ не только жилъ въ свое удовольствіе, но даже не примѣчалъ, какъ время летитъ.

За то лѣтомъ онъ скучалъ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ почувствовалъ приближеніе лѣтъ зрѣлости. Знакомые разъѣзжались; комиссіи прекращали занятія; въ департаментъ чиновники являлись неаккуратно и слонялись точно на бивакахъ; Петербургъ казался пустымъ. Когда Каширинъ былъ молодъ, онъ поочередно разъѣзжалъ по знакомымъ, которые ютились въ ближайшихъ къ Петербургу дачныхъ мѣстностяхъ и у которыхъ онъ гостилъ по нѣскольку дней. Но съ годами онъ пріобрѣлъ привычки, которыя не легко мирились съ разъѣздами и бивачной жизнью, и въ то же время утратилъ легкость и нестомчивость, необходимыя для пользованія лѣтними удовольствіями. Онъ уставалъ во время прогулокъ, безъ особенной готовности принималъ участіе въ катаньяхъ на лодкахъ и въ чухонскихъ таратайкахъ, и вообще понималъ, что быть гостемъ на дачѣ даже у близкихъ людей стѣснительно. Поэтому лѣто сдѣлалось для него сезономъ трактирныхъ обѣдовъ и желудочныхъ разстройствъ, какъ прямого послѣдствія этихъ обѣдовъ. Вечеромъ онъ обыкновенно отправлялся въ увеселительное мѣсто: по праздникамъ—въ Павловскъ, по буднямъ—преимущественно въ Демидронъ. Тутъ онъ былъ увѣренъ встрѣтить ежели не коренныхъ своихъ знакомыхъ, то ихъ дѣтей. И такова была въ немъ потребность общества, что онъ не только не брезговалъ молодыми людьми, но даже старался „быть съ молодыми молодымъ“, и вслѣдствіе этого охотно принималъ видъ милого старичка-мерзавца, и по временамъ отпускалъ скромную гнусность насчетъ атуровъ дѣвицы Филиппъ. Аллеи Демидрона оглашались громкимъ и сочувственнымъ хохотомъ „дѣтей“, внимая которому, Филипъ Филипычъ выступалъ горделивой походкой индѣйскаго пѣтуха, от-

нюдь не подозрѣвающаго, что въ ближайшемъ будущемъ ему окопчательно предстоитъ сдѣлаться каплуномъ.

Впрочемъ эти скромныя гнусности представляли въ общемъ обиходѣ его жизни исключеніе. Онѣ были вынуждены одиночествомъ, потребностью общества и необходимостью стоять на одномъ уровнѣ съ молодежью. Съ наступленіемъ сезона Каширинъ забывалъ объ нихъ и начиналъ съ самымъ серьезнымъ видомъ переливать изъ пустого въ порожнее.

И вдругъ все это безмятежіе, созданное цѣною такихъ усилій и такъ зрѣло и строго со всѣхъ сторонъ обдуманное и комбинированное, разомъ рухнуло.

Выше было сказано, что Каширинъ былъ либераль. Либерализмъ этотъ былъ смирный, не особенно требовательный, и состоялъ въ томъ, что онъ тихое житіе предпочиталъ житію тревожному. Кромѣ того, онъ любилъ почитать „книжку“, и думалъ, что это „ничего“; по временамъ задавалъ себѣ вопросы: „за что? почему?“ и когда не находилъ на нихъ отвѣта, то грустилъ. И еще нерѣдко онъ останавливался на мысли: „что изъ сего произойдетъ?“ и когда, по соображеніямъ его выходило, что ничего хорошаго произойти не можетъ, то опять-таки грустилъ. И эти вопросы, и эту грусть онъ считалъ вполне безопасными, ни для кого не соблазнительными, и въ качествѣ чловѣка интеллигентнаго даже полагалъ, что чловѣку, кончившему курсъ наукъ, невозможно безъ нихъ обойтись. Разумѣется, однакожь, со всѣмъ этимъ либеральнымъ арсеналомъ онъ обходился съ крайнею осторожностью, дабы не ввести простодушныхъ людей въ соблазнъ, а подозрительнымъ людямъ не подать повода къ предположеніямъ о потрясеніяхъ и попираніяхъ. Сверхъ того, какъ извѣстно уже, въ его существованіи большую роль играла склонность къ литературѣ, и онъ имѣлъ слабость не считать ее ни распространительницей моровыхъ повѣтрій, ни складомъ ядовитыхъ веществъ, ни разбойничьимъ при-тономъ.

Съ такимъ умѣреннымъ, осторожнымъ и отчасти грустящимъ міросозерцаніемъ онъ прожилъ всю жизнь и не имѣлъ причинъ жаловаться, чтобъ это сколько-нибудь ему повредило при прохожденіи должностей. Начальники тоже знали его за чиновника откровенно-либеральнаго; но такъ какъ они и сами были откровенно-либеральные, то не видѣли



никакого ущерба для дѣла въ томъ, что человѣкъ, безпрекословно выполняющій мѣропріятія и преднамѣренія, по временамъ грустилъ. Правда, что иногда начальство, грозя пальчикомъ, называло его „амарантовымъ“ (не краснымъ — нѣтъ!), но называло такъ шутя и любя. Да и онъ зналъ, что это дѣлается „шутя“, и ежели краснѣлъ при этихъ наименованіяхъ, то краснѣлъ не отъ угрызений совѣсти, а именно только отъ внутреннего ликованія.

И вдругъ времена созрѣли. Выбралась минута, когда всѣ эти вопросы и грусти встали предъ Каширинымъ въ совершенно непредвидѣнной имъ безобразной наготѣ. Минута, въ продолженіе которой весь его скромный жизненный обиходъ пролетѣлъ передъ его испугнутою мыслью, въ видѣ безконечнаго и сплошнаго преступленія. Минута, въ продолженіе которой онъ долженъ былъ ознакомиться съ истиной, что „такъ нельзя“, узнать, что присутствованіе въ комиссіяхъ „не терпитъ суеты“, и что пользованіе дивидендами и грусть по этому поводу суть вещи несомвѣстимыя. Минута, въ которую онъ долженъ былъ убѣдиться, что для либеральной грусти нѣтъ возврата, что она ничѣмъ не смывается, не заглаживается: ни раскаяніемъ, ни твердымъ намѣреніемъ впредъ идти веселыми стопами, и что слѣдовательно...

Главное во всемъ этомъ переполохѣ заключалось для Каширина въ томъ, что онъ долженъ былъ отъ А до Z пересмотрѣть свой бюджетъ и большинство его статей подвергнуть радикальной переработкѣ.

Надежнѣйшею доходною статьею этого бюджета представлялась пенсія; затѣмъ, къ счастью, онъ не только не истратилъ оставленнаго ему пронскимъ благодѣтелемъ капитала, но и сдѣлалъ въ теченіе многолѣтней службы нѣкоторыя сбереженія. Эти сбереженія были не весьма значительны, но все-таки нѣчто представляли. Въ итогѣ общій годовой доходъ образовалъ сумму приблизительно въ три съ половиной тысячи рублей. На эти деньги предстояло жить изо дня въ день, поддерживая себя на высотѣ той респектабельности, которая вошла уже въ его привычки и — что еще важнѣе — служила самымъ прочнымъ основаніемъ заведенныхъ имъ связей.

За приведеніемъ въ ясность цифры годового дохода, само собою разумѣется, послѣдовало подробное разсмотрѣніе расходныхъ статей бюджета.

Оставаться ли ему при прежней квартирѣ (онъ платилъ за нее, съ отопленіемъ, девятьсотъ рублей въ годъ, а съ швейцаромъ и дворникомъ и всю тысячу рублей), или переѣхать на новую, болѣе соответствующую его нынѣшней финансовой силѣ? Этотъ вопросъ Каширинъ, почти не думая, рѣшилъ въ пользу старой квартиры. Здѣсь онъ жилъ больше пятнадцати лѣтъ, и въ теченіе этого длиннаго періода времени успѣлъ устроить свое гнѣздо такъ, что оно отвѣчало всѣмъ причудамъ стараго холостяка. Какъ человѣкъ отъ природы солидный, онъ и въ молодости неохотно перемѣщался съ квартиры на квартиру; теперь же самая мысль о переѣздѣ представлялась ему ненавистною. По особенной случайности, и хозяинъ дома, въ которомъ жилъ Филипъ Филипычъ, тоже былъ человѣкъ солидный и исконный домовладѣлецъ, воздерживавшійся отъ надстроекъ и дѣлавшій на квартирантовъ лишь „христіанскія“ надбавки (Каширинъ однакожь помнилъ время, когда онъ за эту самую квартиру платилъ только четыреста рублей въ годъ). Съ своимъ домовладѣльцемъ Филипъ Филипычъ даже близко сошелся, обѣдывалъ у него и проводилъ за пульткой вечера. Разстаться съ нимъ представлялось какъ бы измѣною. Сверхъ того, каждый шагъ въ этой квартирѣ напоминалъ ему что-нибудь пріятное и даже памятное. Вотъ здѣсь ему подали конвертъ, извѣщавшій его о награжденіи орденомъ св. Анны 2-й степени (это былъ первый полученный имъ орденъ, помимо всякихъ петлицъ и даже помимо св. Станислава вторья); вотъ на томъ мѣстѣ онъ получилъ извѣстіе о назначеніи его членомъ общаго присутствія, а вотъ тамъ самъ директоръ вручилъ ему (лично для этого пріѣзжалъ!) звѣзду Станислава 1-й степени, причемъ выразилъ увѣренность, что Каширинъ и впредь будетъ лучшимъ украшеніемъ въдомства Дивидендовъ и Раздачъ. Въ этой квартирѣ онъ сосредоточилъ тысячу бездѣлушекъ, которыя съ такимъ тщаніемъ собиралъ въ теченіе цѣлой жизни; здѣсь хранились разные сувениры, вышитыя подушки, коврики, подаренные дамами; этою квартирой онъ гордился, когда у него разъ или два въ годъ собирались знакомыя дамы, слушали ріано-мѣсаникъ и кушали конфекты, фрукты и мороженое. И вдругъ — разстаться съ этимъ дорогимъ, излюбленнымъ гнѣздомъ!.. Никогда!

Итакъ, вотъ первая статья расхода въ тысячу рублей (почти треть всего доходнаго бюджета), которую ни подъ какимъ видомъ урѣзать нельзя.

Вторая статья — лакей Готлибъ. Готлибъ, яко нѣмецъ, получалъ съ ѣдой чотыреста восемьдесятъ рублей въ годъ, а съ праздничными выходило даже нѣсколько болѣе пятисотъ рублей. Расходъ этотъ оказывался несомнѣнно непосильнымъ. Ежели на мѣсто Готлиба нанять Ивана или Прохора, то, конечно, это обойдется рублей на двѣсти дешевле, но за то, во-первыхъ, отъ Прохора навѣрное будетъ вонять, во-вторыхъ, онъ непременно будетъ ходить въ гости въ барскихъ брюкахъ и сюртукахъ, въ-третьихъ, станетъ постепенно пропивать господское бѣлье, въ-четвертыхъ, изъ квартиры-игрушечки сдѣлаетъ свинной хлѣвъ. Въ результатѣ окажется убытокъ, вдвое болѣшій противъ того, чего стоитъ самъ Прохоръ со всеми своими потрохами. Ежели же нанять не Прохора, а Амалію, то еще бабушка на-двое сказала, дешевле ли она обойдется, нежели Готлибъ, особливо если Амалія... Хотя же онъ, при почтенныхъ своихъ лѣтахъ, и надобности существенной не находилъ въ женскомъ уходѣ, но въдъ съ другой стороны... Но предположимъ, что онъ и устоитъ противъ искушенія — кто же однако поручится, что одинъ фактъ пребыванія Амаліи въ его квартирѣ не подастъ повода для безчисленныхъ и притомъ незаслуженныхъ анекдотовъ? Вотъ если бы онъ держалъ дома обѣдъ, и Амалія могла совмѣстить въ своемъ лицѣ и кухарку, какъ это водится у отставныхъ чиновниковъ, населяющихъ Колтовскія — ну, тогда...

О, вопросы о выѣденномъ яйцѣ! о, мучительнѣйшіе, горчайшіе изъ всѣхъ вопросовъ человѣческаго существованія! Какимъ тяжелымъ гнетомъ лежите вы на этомъ бѣдномъ человѣчествѣ, которое получаетъ какихъ-нибудь три тысячи пятьсотъ рублей въ годъ и обязывается обрядить и пріютить на нихъ свою голову! И сколь не-сноснѣйшимъ еще гнетомъ вы должны лежать на томъ человѣчествѣ, которое на тотъ же предметъ располагаетъ не болѣе какъ 20 — 30 копѣйками въ день!

Въ концѣ концовъ дѣло Готлиба было выиграно, и такимъ образомъ расходъ по двумъ первымъ статьямъ составилъ полторы тысячи рублей въ годъ.

Статья третья: прачка. Каширинъ былъ и самъ по себѣ чисто-плотенъ, но, сверхъ того, онъ до извѣстной степени и обязанъ былъ быть чисто-плотнымъ. Нельзя проводить болѣшую часть дня въ гостяхъ и въ то же время не представлять собой образца самой щеголе-



ватою опрятности. Ежели знакомые радушно принимаютъ у себя и кормятъ обѣдами и ужинами, ежели жены ихъ удостоиваютъ знаками довѣрія и дружбы, то по малой мѣрѣ эти люди вправѣ ожидать, чтобъ предметъ этого радушія и дружбы носилъ чистое и благоуханное бѣлье. Каширинъ понималъ это, и потому никогда не тратилъ на прачку, духи, губки и прочія туалетныя принадлежности менѣе трехсотъ рублей въ годъ. Объ немъ говорили, что отъ каждой части его тѣла пахнетъ особенными духами, и онъ гордился этимъ. Онъ гордился, что на всемъ тѣлѣ у него ни пятнышка, ни прыщика, что лысина на его головѣ не лоснится и не отливаетъ желтизною, а имѣетъ видъ матово-бѣлой поверхности съ легкимъ розовымъ оттѣнкомъ, что ни на щекахъ, ни на носу у него нѣтъ непріятныхъ синихъ жилокъ, что бакенбарды его щегольски расчесаны вѣеромъ, а усы и подбородокъ тщательно каждый день выбриты. Могъ ли онъ думать о сокращеніяхъ по этой статьѣ теперь, когда потребность въ людскомъ радушіи и дружбѣ дѣлалась для него болѣе нежели когда-нибудь необходимою?—Разумѣется, не могъ! Напротивъ того, теперь-то именно и предстояло напрячь всѣ свои силы къ тому, чтобъ ни зрѣніе, ни обоняніе радужныхъ амфитріоновъ ни на минуту не были оскорблены по его поводу.

Итого — по тремъ статьямъ — тысяча восемьсотъ рублей.

Статья четвертая: одежда и обувь. Здѣсь Каширинъ надѣялся достигнуть существенныхъ сбереженій. Обыкновенно онъ заказывалъ платье у Шармера, и не видѣлъ причины отказаться отъ этой фирмы и на будущее время. Но до сихъ поръ онъ былъ по истинѣ черезчуръ расточителенъ относительно одежды. Онъ освѣжалъ свой костюмъ каждый сезонъ и даже въ домашнемъ неглижѣ позволялъ себѣ прихотливое разнообразіе. Вслѣдствіе этого у него образовался громадный запасъ платья, очень мало ношеннаго, о которомъ онъ рѣдко вспоминалъ и которое висѣло въ шкафу безъ всякаго употребленія. Теперь наступило самое время утилизировать этотъ запасъ, и все, что можно, пустить въ ходъ. Но какъ онъ ни старался сократить свои расходы по этой статьѣ, все-таки оказывалось, что безъ четырехсотъ рублей въ годъ вполне respectableмъ человѣкомъ остаться нельзя (прежде онъ тратилъ на этотъ предметъ не менѣе чѣмъ полторы тысячи рублей). Съ пониженіемъ этой цифры начинается та рубрика людей, которая извѣстна подъ именемъ: *Hommes déclassés*.

Это люди въ панталонахъ съ осыпавшимися конечностями, въ сюртукахъ съ лоснящимися и прорванными локтями, въ сапогахъ, напоминающихъ своей формой рыбу камбалу. Попасть въ эту рубрику... ужасно! ужасно! ужасно!

Итъ, лучше смерть, чѣмъ жизнь поносна!

Конечно, есть люди которые и въ пиръ, и въ мѣръ, и утромъ, и въ полдень, и вечеромъ являются въ одномъ и томъ же пиджакѣ, но...

Итого: двѣ тысячи двѣсти рублей.

Статья пятая: экипажъ. Къ экипажу Каширинъ и прежде приобѣгалъ довольно рѣдко. Смолоду онъ пріучилъ себя къ мысли, что моціонъ необходимъ, а впослѣдствіи привычка къ чужимъ обѣдамъ еще болѣе укрѣпила его въ непреложности этой истины. Всѣ знакомые были убѣждены, что Каширинъ ходитъ пѣшкомъ не изъ скарденности, а по принципу, и въ то же время, понимая, что онъ не имѣетъ средствъ содержать собственный экипажъ (онъ и самъ не скрывалъ этого), даже одобряли въ немъ ту инстинктивную гадливость, которая заставляетъ респектабельнаго человѣка лишь въ крайнихъ случаяхъ прибѣгать къ извозчику. Но, увы! Каширину перевалило за пятьдесятъ; онъ чувствовалъ припадки одышки и началъ припадать на одну ногу... Это значительно усложнило дѣло. А сверхъ того и обычныя петербургскія ненастья, которая, въ силу пословицы: „гдѣ тонко, тамъ и рвется“, вдругъ предстали передъ Филипомъ Филипычемъ во всей своей безразсвѣтности... Словомъ сказать, какъ ни изворачивайся, а безъ двухсотъ рублей по этой статьѣ обойтись нельзя.

Итого: двѣ тысячи четыреста рублей.

Статья шестая: расходы мелочныя. Они неуловимы, но несомнѣнны. Недаромъ они заслужили названіе расходовъ общежитія по преимуществу; недаромъ расходы самыя существенныя очень часто ступшевываются передъ ними. Изъ-за расходовъ этой категоріи люди отказываютъ себѣ въ правильномъ питаніи, впадаютъ въ неоплатныя долги, разоряются. Всѣ эти Верты, Сюзетты, Эмилиі—все это расходъ мелочной, расходъ общежитія, не подходящій ни подъ какую рубрику солиднаго домашняго бюджета. Но и помимо Вертъ, нельзя, напимѣръ, отказать себѣ въ удовольствіи съѣздить отъ времени до времени въ театръ, особенно къ французамъ. Это предохраняетъ отъ одичалости и, сверхъ, того, даетъ прекрасное содержаніе для соп-

versations de société. А если ѣздить въ театрѣ, то не сидѣть же гдѣ-нибудь въ дешевыхъ мѣстахъ, когда половина залы наполнена знакомыми. Затѣмъ нельзя, встрѣтившись на улицѣ съ пріятелемъ, направляющимъ стопы свои въ ресторанъ, не войти съ нимъ вмѣстѣ и чего-нибудь не съѣсть. Нельзя не отвезти дорогой именинницѣ или поворожденной конфектъ. Наконецъ, обѣдая каждодневно въ людяхъ, невозможно, отъ времени до времени, не дѣлать маленькихъ подарковъ прислугѣ. Ибо въ противномъ случаѣ какой-нибудь хамъ будетъ захлопывать дверь у васъ передъ носомъ, будетъ снимать съ васъ пальто совершенно такъ, какъ бы сдиралъ хожу, будетъ въ вашемъ присутствіи ковырять въ носу, наконецъ, подавая за обѣдомъ блюдо, будетъ толкать въ плечо, чтобъ не зѣвали, брали скорфе. Ахъ, эти мелочные расходы! Очень рѣдко ихъ принимаютъ въ расчетъ, но кто же не знаетъ, какую роль они играютъ въ человѣческомъ существованіи! Спросите любого лакея (хама!), получающаго пятнадцать рублей въ мѣсяцъ жалованья, и тотъ скажетъ, что изъ нихъ десять уйдутъ „такъ, между пальцевъ“. Обыкновенно на выручку тутъ приходятъ случайные доходы, но у Каширина таковыхъ не предвидѣлось, и онъ волей-неволей долженъ былъ занести эту статью въ свой бюджетъ въ цифрѣ строго опредѣленной. Долго онъ колебался между четырьмя и пятью стами рублей, и наконецъ вынужденъ былъ сознать, что менѣе чѣмъ пятью стами рублями и думать извернуться нельзя.

Итого: двѣ тысячи девятьсотъ рублей.

Статья седьмая: сигары. При одной мысли объ этой статьѣ Филиппъ Филипычъ поблѣднѣлъ, и ему даже показалось, что въ кабинетѣ его уже запахло папиросами. Дѣло въ томъ, что онъ выкуривалъ не менѣе двухъ сотенныхъ ящиковъ въ мѣсяцъ, платя за сотню отъ 15 до 20 рублей, что составляло въ годъ расхода болѣе четырехсотъ рублей. Цифра громадная, особливо въ виду того, что свободныхъ суммъ въ доходномъ бюджетѣ остается всего шестьсотъ рублей. Тѣмъ не менѣе, она являлась до такой степени необходимой и даже неизбежной, что Каширинъ рѣшился просто не думать объ ней. Онъ занесъ ее расходомъ и махнулъ на все рукой.

Свободной суммы осталось всего-на-все двѣсти рублей, и вотъ тутъ-то выступилъ во всей безобразной наготѣ:



## О Б Ъ Д Ъ!!!

О правильномъ, ежедневномъ обѣдѣ Каширинъ, конечно, уже не помышлялъ; онъ понималъ, что карьера его, какъ прихлебателя, не только не кончилась, но, такъ сказать, вступила въ новый и острый фазисъ. Однакожь возможны случаи, когда, несмотря на обширность круга знакомыхъ и ихъ радушіе, самый изворотливый прихлебатель можетъ найтись въ необходимости отъ времени до времени отобѣдать на свой собственный счетъ. Таковы случаи болѣзненныхъ припадковъ, которые въ послѣднее время повторялись съ Каширинымъ очень нерѣдко; затѣмъ случаи проливного дождя, бурь, градобитій, морозныхъ повѣтрій, непріятельскихъ вторженій и т. д., когда даже чувство приличія не позволяло являться къ обѣду „запросто“ (могутъ сказать: вотъ до чего проголодался человекъ, что даже среди грома и молній разнюхалъ, чтд готовится на кухнѣ). Наконецъ и такіе случаи возможны, что придешь обѣдать къ Оомѣ Оомичу, и вмѣсто обыкновеннаго привѣтствія: „пожалуйте! кушать накрыто!“ — услышишь, что Оома Оомичъ „приказали долго жить“. Знакомые же у Каширина все были такіе, которые болѣе или менѣе склонялись къ закату дней; слѣдовательно убыль въ ихъ рядахъ была даже естественна. Вотъ Петръ Петровичъ съ утра до ночи кашляетъ, а Лукерья Ивановна сказывала, что и съ ночи до утра никому покою кашлемъ не даетъ; Лука Лукичъ постоянно на плечо жалуется; Иванъ Иванычъ одну ногу волочить; Семень Семенычъ — съѣсть тарелку супа и запыхается, словно семь верстъ пробѣжалъ. Можно ли, въ виду этихъ немощей, рассчитывать на вѣрный обѣдъ? Ряды стариковъ рѣдѣютъ и будутъ рѣдѣть... а ихъ дѣти? Можно ли предполагать, что они будутъ поддерживать родительскія традиціи? Увы! они и теперь поглядываютъ на Филипа Филипыча исподлобья — точно хотятъ сказать: однакожь, братъ, аппетитъ у тебя! — чтд же будетъ тогда, когда одышки, параличи и ревматизмы, одержавъ побѣду и одолѣніе надъ старыми орлами, развяжутъ руки этимъ выглядывающимъ исподлобья орлятамъ?

Но этого мало — а лѣто? Лѣто попрежнему Дамокловымъ мечемъ виситъ надъ головой Каширина, — лѣто мертвое, голодное, требующее во что бы то ни стало обѣда на собственный счетъ! Прежде, когда онъ вкушалъ отъ дивидендовъ и когда бюджетъ его представ-

ляль избытокъ, этотъ экстраординарный расходъ не особенно тревожилъ его; но нынѣ, когда въ бюджетъ предвидѣлось всего двѣсти рублей...

— А вѣдь съ двумя стами рублями, пожалуй, не обернешься! — мучительно размышляль Филиппъ Филиппычъ: — если на лѣтнее время да на непредвидѣнные случаи положить только пять мѣсяцевъ въ году, то-есть полтора ста дней, то и тогда, считая по два рубля за каждый обѣдъ... Не въ греческую же кухмистерскую, въ самомъ дѣлѣ, идти!

Во всякомъ случаѣ, доходный бюджетъ оказывался исчерпаннымъ безъ остатка. Съ грѣхомъ пополамъ концы сводились съ концами; но стоило явиться малѣйшей случайности, чтобъ равновѣсїе нарушилось и произошелъ мучительный скандалъ. Передъ Кашириннымъ стояло своего рода Прокустово ложе, въ которомъ онъ обязывался ожидать заката дней своихъ, не шевелясь и даже не позволяя себѣ черезъ-чуръ свободнаго вздоха.

Въ первый разъ въ жизни ему сдѣлалось жутко.

На первыхъ порахъ Каширинъ однакожь не только не ощутилъ никакой перемѣны, но даже какъ бы вошелъ въ моду. Никто не заперъ передъ нимъ дверей, а всякій, напротивъ, спѣшилъ выразить ему свое сочувствїе. Посыпались вопросы: „какимъ образомъ? почему?“ и, главное, „за что?“ На вопросы эти Филиппъ Филиппычъ отвѣчалъ скромнымъ мычанїемъ, не позволяя себѣ критики, но въ то же время предоставляя каждому измѣрить всю глубину его невинности. Въ виду этой скромности, симпатїи, разумѣется, еще болѣе усилились. Тайный совѣтникъ Стрекоза недоумѣло шевелиль густыми бровями и не то уныло, не то неодобрительно покачивалъ головой; статскїй совѣтникъ Растопыря растерянно спрашивалъ себя: „куда же мы, наконецъ, идемъ?“ Что же касается до второстепенныхъ чиновниковъ вѣдомства Раздачь, то они даже рѣшили прямо протестовать, устроивъ въ честь Каширина обѣдъ, и только по внимательномъ обсужденїи послѣдствїй этой демонстраціи отложили приведенїе ея въ исполненїе до болѣе благопрїятнаго времени.

Дамы тоже приняли дѣятельное участїе въ этихъ симпатїяхъ. Онѣ наперерывъ другъ передъ другомъ зазывали Каширина къ себѣ, заставляли каждаго кушанья брать по два раза и вообще чествовали.

— Въ четвергъ у насъ будетъ Каширинъ. Душка! вы прїѣдете?  
— говорила Марья Ивановна, приглашая Анну Петровну.

— Каширинъ? Это не тотъ ли Каширинъ, который...

— Ну, да, Каширинъ... тотъ самый Каширинъ, который высоко держалъ знамя... конечно, вы слышали?

Такія знаки вниманія очень тронули Филипа Филипыча; однакожь у него не закружилась отъ нихъ голова и онъ продолжалъ вести себя съ замѣчательнымъ тактомъ. Онъ не только не жаловался на неблагодарность начальства, но даже оправдывалъ его. *Начальство не могло иначе поступить*. Но и онъ, съ своей стороны, *не могъ поступить иначе*. Онъ не пожертвовалъ своими убѣжденіями и сохранилъ свое достоинство—а это главное. Ему предстоялъ къ будущей Пасхѣ чинъ тайнаго совѣтника, но онъ сказалъ себѣ, что лучше на всю жизнь остаться дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ, нежели выпустить изъ рукъ знамя, которое онъ въ теченіе всей жизни высоко держалъ. Въ свое время онъ былъ нуженъ—и всякій кличъ во всякое время и на всякомъ мѣстѣ находилъ его готовымъ и способнымъ. Теперь обстоятельства перемѣнились; потребовались люди иного закала, онъ сдѣлался ненужнымъ—онъ понимаетъ это и не ропщетъ. Возьмите вотъ этотъ сюртукъ: сегодня онъ новъ, фасонистъ—и его носятъ съ удовольствіемъ; завтра въ немъ продрались локти—и его бросаютъ. Знамя, которое онъ высоко держалъ, оказалось несоотвѣтствующимъ требованіямъ времени—онъ созналъ это и спряталъ знамя въ карманъ. Но онъ надѣется, что спряталъ его не навсегда и что наступитъ моментъ, когда начальство наконецъ оцѣнитъ. Скоро ли этотъ моментъ наступитъ—онъ не знаетъ, но вѣритъ, глубоко вѣритъ, что пѣсня его далеко не спѣта. Тогда онъ вынетъ знамя изъ кармана и опять начнетъ высоко держать его. Притомъ же ему время и отдохнуть. До сихъ поръ онъ безъ устали трудился; теперь—пора и ему узнать, что такое свобода. Чувство свободы, *mesdames*,—это такое чувство... ахъ какое это чувство! Все равно что послѣ длинной-длинной зимы въ первый разъ выѣхать, въ теплый апрѣльскій вечеръ, на Елагинъ Островъ, на *pointe*! Вотъ это какое чувство! Дышется полной грудью, а мысли такъ и плывутъ, все свѣтлыя, радостныя мысли. А главное, на немъ не лежитъ теперь никакихъ обязанностей, такъ что онъ всего себя можетъ посвятить своимъ друзьямъ. Притомъ же онъ имѣетъ вполнѣ обезпеченный



кусокъ, а потому и въ матеріальномъ отношеніи особеннаго стѣсненія не предвидитъ. Вообще онъ больше доволенъ, чѣмъ огорченъ, и ежели кто-нибудь будетъ по этому случаю ощущать угрызенія совѣсти, то, конечно, не онъ...

— А Богъ когда-нибудь всёхъ разсудитъ! — смиренно прибавлялъ онъ въ заключеніе.

Съ трогательнымъ изумленіемъ внимали „чины“ этимъ разумнымъ рѣчамъ и отъ полноты души восклицали: „вотъ истинный христіанинъ!“ А дамы и дамочки къ сему присовокупляли: „*ma chère! il est sublime d'abnégation!*“

— А мнѣ такъ сдается, что мы съ вашимъ превосходительствомъ еще послужимъ! — обнадеживалъ его тайный совѣтникъ Стрекоза, ласково похлопывая по колѣнкѣ.

На что Каширинъ, съ своей стороны, отвѣтствовалъ:

— Что касается до меня, то не могу и не имѣю надобности скрывать: я всегда готовъ.

И съ этими словами предлагалъ *madame* Стрекозѣ руку, чтобъ вести ее въ столовую.

Словомъ сказать, со всёхъ сторонъ на него сыпались приглашенія и напоминанія, а ежели онъ манкировалъ, то и нѣжные упрёки.

По счастливой случайности, въ это же критическое время ему повезло и въ преферансъ. Какъ будто сама судьба охраняла его крыломъ своимъ. Имѣя обыкновеніе каждый день, по возвращеніи домой, записывать свой проигрышъ или выигрышъ, онъ къ концу перваго мѣсяца свободы сосчиталъ, что остался по картамъ въ барышѣ на семьдесятъ-одинъ рубль сорокъ-пять копѣекъ. Стало быть, надежда на случайныя статьи дохода еще не исчезла. Составляя свой бюджетъ, онъ понималъ, что существуетъ особая и очень существенная статья: „занятіе картами“: но такъ какъ онъ не зналъ, какъ ее сосчитать, доходомъ или расходомъ, то и предпочелъ лучше не упоминать объ ней вовсе. Теперь же оказывалось, что это статья несомнѣнно доходная, и что ежели на будущее время взглянуть на нее серьезнымъ окомъ, то... Это такъ его ободрило, что онъ почти свѣтло взглянулъ въ лицо будущему и тутъ же включилъ въ свой доходный бюджетъ новую статью: „Отъ занятія картами 800 руб.“, добавивъ впрочемъ въ скобкахъ: „доходъ неокладный“.

Словомъ сказать, ничего въ его обиходѣ, казалось, не измѣнилось,

и только утро сдѣлалось какъ будто нѣсколько длиннѣе. Прекращеніе обязательной ходьбы въ департаментъ оставило за собой пустоту, которую онъ наполнялъ лишь съ трудомъ. Онъ ходилъ изъ комнаты въ комнату, внимательно перечитывалъ газеты (одну онъ выписывалъ самъ, другую ему обязательно сообщалъ домовладѣлецъ), свистѣлъ, напѣвалъ, даже вертѣлъ ручку на *riapo-mésanique*, чего прежде съ нимъ никогда не бывало. Но болѣе всего его выручала такъ-называемая „писанная“ литература. Въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ во всякое время ходятъ по рукамъ таинственные и до крайности либеральные „записки“ и „проекты“. То статскій совѣтникъ Растопыря пустить въ ходъ „И мою ленту“; то тайный совѣтникъ Стрекоза потихоньку показываетъ знакомымъ „Мой посильный вкладъ“; то престарѣлый „Опытный сановникъ Чимпандзе“ излагаетъ кратко „А мое мнѣніе— все истребить и симъ способомъ прекратить дальнѣйшее распространеніе язвы“. По временамъ появится и изъ провинціи какой-нибудь выходецъ съ лона природы и тоже по секрету докладываетъ свою „капельку“. И въ каждой изъ этихъ „лентъ“ высказывается: вотъ это—прекратить, а вотъ это — развить. И въ каждой авторъ попеременно то иронизируетъ, то содрогается, то предается сладкимъ упованіямъ. И каждая „капелька“ читается съ жадностью, служить предметомъ нескончаемыхъ разговоровъ „потихоньку“, во свидѣтельство, что руссійское свободомысліе, подобно достославному курилкѣ, не умираетъ. Каширинъ предавался чтенію подобныхъ записокъ съ увлеченіемъ. Онъ чутьемъ пронюхивалъ о существованіи чего-нибудь новенькаго въ этой области и непремѣнно доставалъ. Наглотавшись вольномыслія, онъ смѣло глядѣлъ въ глаза предстоящему обѣду „въ гостяхъ“, зная напередъ, что тема для собесѣдованія готова. А ежели при этомъ появлялись въ газетахъ еще какія-нибудь неожиданныя производства и назначенія, то разговоръ достигалъ размѣровъ такого преступнаго дерзновенія, что нѣкоторые изъ присутствующихъ даже наматывали себѣ на усь...

Покончивши съ утромъ, онъ выходилъ въ четыре часа на Невскій и прогуливался, стараясь при этомъ какъ можно меньше упадать на ногу. По временамъ заходилъ куда-нибудь съ визитомъ и узнавалъ новости дня, причемъ непремѣнно обнаруживалось нѣчто до того изумительное (и смѣшно, и больно!), что съ языка его невольно срывалось: „да куда же мы, въ самомъ дѣлѣ, идемъ!“ Въ

шесть часовъ, предварительно переодѣвшись, онъ у кого-нибудь обѣдалъ и во время обѣда разсуждалъ о мѣрахъ, предлагаемыхъ въ только-что прочитанной „запискѣ“ земскаго дѣятеля Пафнутаева. Разсуждалъ солидно и умно, и притомъ стараясь, чтобъ Пафнутаевскія мысли были понятны даже для дамъ. Послѣ обѣда, если устраивалась пулъка, то садился за преферансъ, причѣмъ держалъ карты такъ, чтобъ любопытствующій Растопыря не могъ видѣть его игру. Ежели же пулъка не составлялась, то отправлялся въ театръ или же въ другой знакомый домъ, гдѣ, по его соображеніямъ, хозяинъ долженъ былъ выть отъ тоски, въ ожиданіи, не зайдетъ ли кто на огонекъ. Здѣсь немедленно дѣлалось распоряженіе о привлеченіи другихъ партнеровъ; затѣмъ раздвигались столы, и вечеръ незамѣтно проходилъ среди возгласовъ: „нассъ“, „куплю“, „семь безъ козырей“ и т. д. И въ заключеніе ужинъ, а за ужиномъ, разумѣется, новое изложеніе Пафнутаевскихъ идей...

Въ этомъ пріятномъ круговоротѣ прошелъ весь зимній сезонъ. Подъ конецъ Каширинъ такъ возгордился, что порою ему даже думалось, что начальство уже сознало свою ошибку и что не сегодня, такъ завтра къ нему прискачетъ изъ департамента курьеръ съ запечатаннымъ конвертомъ. Однако дни проходили за днями, а курьеръ не пріѣзжалъ. Это въ одно и то же время и изумляло, и пугало его. Изумляло потому, что, перечисляя въ своемъ умѣ персоналъ вѣдомства „Дивидендовъ и Раздачъ“ и отдавалъ впрочемъ каждому должное, онъ по справедливости находилъ, что въ этомъ департаментскомъ букетѣ онъ представлялъ собою цвѣтокъ, по малой мѣрѣ не уступавшій, въ смыслѣ красоты и благоуханія, прочимъ, стоящимъ у источника дивидендовъ, цвѣткамъ. Пугало—потому что для человѣка, всю жизнь игравшаго дѣятельную роль въ извѣстномъ дѣлѣ, не можетъ быть ничего страшнѣе, какъ мысль: „а что, ежели обо мнѣ забыли?“

Разсуждая по совѣсти, онъ не могъ не придти къ убѣжденію, что хотя онъ и отлично-достоинный цвѣтокъ, но что цвѣтковъ приблизительно такой же красоты и такого же благоуханія все-таки существуетъ въ природѣ больше чѣмъ достаточно. Что, слѣдовательно, нѣтъ ничего легче, какъ составить во всякое время какой угодно департаментскій букетъ. Возьми Иванова, Федорова, Гаврилова, перемѣшай ихъ съ Перерепенкой, Козулей и Уховертовымъ, а въ середину,



для красы, воткни что-нибудь подушистѣе — и букетъ готовъ. Сначала, быть можетъ, онъ будетъ благоухать нѣсколько робко, но чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе и смѣлѣе. Гавриловы, Уховертовы и Козули на то и созданы, чтобъ соотвѣтствующимъ образомъ благоухать подъ начальственнымъ руководствомъ. Но этого мало: всего важнѣе то, что они растутъ рѣшительно вездѣ, на всякомъ мѣстѣ, такъ что стѣдить только протянуть руку, чтобъ сорвать Ѳедорова или Перерепенку, совершенно равносильныхъ Козулѣ и Иванову. Поэтому, когда по какимъ-нибудь причинамъ Уховертовъ выбываетъ изъ букета, то немедленно на его мѣстѣ появляется Гавриловъ, который уже давно пробивался тутъ же, гдѣ-то подъ мочалкой, обвязывающей букетъ, но его покуда не примѣчали.

Филипъ Филипычъ долженъ былъ сознаться, что все это вполнѣ вѣрно и безспорно, и что даже онъ самъ, во времена своего департаментскаго благополучія, открыто проповѣдовалъ теорію безпрятственной замѣны Ивановыхъ Ѳедоровыми — и наоборотъ. Себя онъ, разумѣется, выключалъ тогда изъ этого оборота, такъ какъ думалъ совершенно искренно, что лично онъ благоухаетъ особо и несравненно, но теперь, за неприбытіемъ курьера съ запечатаннымъ конвертомъ, въ его голову начали западать на этотъ счетъ сомнѣнія. Чтѣ, ежели и онъ принадлежитъ къ тому безчисленному сонмищу Ивановыхъ, Ѳедоровыхъ, Гавриловыхъ и проч., которые неприхотливо прозябаютъ при всякомъ проѣзжѣмъ шляхѣ и съ которыми можно поступить по вдохновенію, то-есть или воспользоваться ими, какъ составною частью букета, или просто сорвать, понюхать и бросить?

Оставалось впрочемъ въ запасѣ одно утѣшеніе: Ивановы и Гавриловы — люди безцвѣтные, индифферентные, а онъ — завѣдомый либераль. Слѣдовательно, когда либеральныя начинанія восторжествуютъ, то безъ него не обойтись... Но тутъ его мысль какъ-то сама собой останавливалась, словно встрѣчала какое-то совсѣмъ забытое соображеніе. Чего онъ однакожь желаетъ? Торжества либерализма? Но развѣ либерализмъ уже не торжествуетъ? развѣ того, чтѣ есть — мало? развѣ желать либерализма бѣдшаго и сугубаго не значить престо-на-просто желать разнузданности страстей?

То-то вотъ оно и есть...

Онъ началъ взвѣшивать и соображать, и, какъ, человѣкъ солидный, не замедлил придти къ убѣжденію, что все, чтѣ требуется, уже

есть, и что дальнѣйшія ожиданія свидѣтельствуютъ лишь о прихотливой затѣйливости нетвердаго ума. Слѣдовательно онъ былъ *тогда* неправъ. И тогда былъ неправъ, когда, по поводу того или другого назначенія, испускалъ фронтдирующее мычаніе, и тогда, когда, по поводу какого-нибудь административнаго мѣропріятія, либерально восклицалъ: „эге!“ А ежели онъ былъ неправъ (теперь онъ уже признавалъ это не токмо за страхъ, но и за совѣсть), то что же мѣшаетъ ему исправиться, воссоединиться, ежечь „знамя“ въ печкѣ, однимъ словомъ, раскаяться? Но тутъ его мысль опять прерывалась, и притомъ безъ всякихъ объяснительныхъ мотивовъ, самымъ оскорбительнымъ образомъ.

— Ну, нѣтъ, mon cher! — говорилъ онъ себѣ съ ироническимъ злорадствомъ: — шалишь! Теперь твоему раскаянію ужъ не повѣрятъ... не такъ-то просто! Теперь хоть ты источники слезъ пролей — и тогда скажутъ, что это крокодиловы слезы!

Подумавши это, онъ однакожь слегка покраснѣлъ и даже тревожно оглянулся вокругъ, какъ бы опасаясь, чтобъ Пафнутевъ не сдѣлался свидѣтелемъ его маловѣрія.

Какъ бы то ни было, но не ѣдетъ департаментскій курьеръ... да и не пріѣдетъ!!

Какъ нарочно, лѣто въ этомъ году выдалось изъ ряда вонъ скучное. Наиболѣе короткіе знакомые, словно сговорившись, разъѣхались раньше обыкновеннаго, и вдобавокъ кто за границу, кто въ дальнюю деревню, такъ что всякая надежда около кого-нибудь пощечиться исчезла безвозвратно. Каширинъ вспомнилъ, что гдѣ-то на Пескахъ, въ Слоновой улицѣ, живетъ титулярный совѣтникъ Каверзневъ, у котораго онъ когда-то воспринималъ отъ купели сына. Чуть-чуть было онъ не рѣшился направить свои стопы къ нему: пріѣхалъ-моль къ крестному сыну запросто хлѣба-соли отвѣдать, но подумалъ немного и отложилъ свое намѣреніе. Не потому, чтобъ онъ былъ прихотливъ насчетъ ѣды, но потому, что аппетитъ покуда еще не одержалъ побѣды надъ совѣстливостью.

Волей-неволей пришлось коротать время одному. Скука была страшная, пожирающая; день, и безъ того длинный, въ одиночествѣ казался нескончаемымъ. Съ трудомъ успѣшь сбыть утро, какъ уже со страхомъ помышляешь о предстоящемъ вечерѣ. Каширинъ началъ усиленно играть на ріано mécanique и ежедневно переигрывалъ по

нѣсколько разъ всѣ пьесы репертуара. На его несчастіе, и Пафнутьевъ временно умолкъ, такъ что и рукописныхъ „лептъ“ не оказывалось. Въ этой крайности онъ предпринялъ ходить къ Доминику, гдѣ часа полтора или два просиживалъ въ бильярдной, наблюдая за чудесами клапшtosовъ и карамболей; но и тутъ случился скандалъ. Такъ какъ Филиппъ Филипычъ ничего не потреблялъ, а слѣдовательно и не расплачивался, то послѣ нѣсколькихъ посѣщеній гарсоны стали перешептываться между собой, подозрительно кивая въ его направленіи. И вотъ однажды, когда онъ уже взялся за ручку двери, чтобъ выйти на улицу, одинъ изъ гарсоновъ подошелъ къ нему и учтиво пригласилъ заплатить за съѣденный пирогъ. Каширинъ пирога не ѣлъ (онъ даже, по изнѣженности своей, не понималъ, какъ можно что-нибудь ѣсть у Доминика), однако протестовать не рѣшился, вынулъ гривенникъ и заплатилъ. Но, разумѣется, съ тѣхъ поръ къ Доминику ни ногой.

Однако надо же было что-нибудь выдумать, чтобъ убить время. Однажды, прочитавъ въ газетѣ, что молодая француженка ищетъ поступить компаньонкой къ пожилому холостяку или вдовцу, онъ отправился по адресу. Разумѣется, онъ желалъ только провести время, но оказалось, что „вдовецъ“ ужъ нашелся и повидимому даже поладилъ. Такъ что когда Каширинъ явился, то посѣщеніе было принято совѣмъ въ другую сторону, и вслѣдствіе этого прерватнаго толкованія онъ „едва унесъ ноги“.

Тогда онъ обратилъ вниманіе на нянекъ и боннѣ, и это дѣйствительно на время развлекло его. Какъ вдругъ въ газетѣ „Краса Демидрона“ появилась такого рода статья:

### НОВЫЙ ДОНЪ-ЖУАНЪ.

„Недавно появился въ Петербургѣ особаго рода цѣнитель женскихъ красотъ, который избралъ предметомъ своихъ любострастныхъ наблюденій нянекъ и боннѣ. Прочитавъ въ газетахъ объ ищущихъ мѣста нянькахъ, онъ является по адресу, и ежели находитъ молодую особу по своему вкусу и при томъ безъ покровителей, то безъ церемоній предлагаетъ послѣдовать за нимъ въ трактиръ, на что нѣкоторыя, по неопытности, и соглашаются. Но не всѣ. Такъ, напримѣръ, на дняхъ этотъ господинъ удостоилъ своимъ посѣщеніемъ дѣвицу Р. (11-ая рота Измайловскаго полка, 417, согласна въ отъѣздъ), особу



весьма бойкую и замѣчательно-красивой наружности; но едва началъ онъ формулировать свое предложеніе, какъ изъ-за ширмъ выскочилъ нашъ репортеръ Помойкинъ (находившійся, впрочемъ, тамъ съ цѣлями, заслуживающими всякой похвалы) и, въ свою очередь, предложилъ любострастному Донъ-Жуану прослѣдовать внизъ по лѣстницѣ—

Кувыркѣ, кувыркѣ...

„Что послѣдній и выполнилъ при общемъ хохотѣ высыпавшихъ изъ квартиръ на шумъ жильцовъ. Къ сожалѣнію, г. Помойкинъ, впопыхахъ, не любопытствовалъ узнать фамилію этого господина, но примѣты его таковы: достаточно старъ, волосъ на головѣ мало, лысина содержится опрятно, бакены вѣеромъ, одѣтъ прилично и даже щеголевато, употребляетъ духи, на одну ногу принадесть. Нѣкоторые изъ жильцовъ дома № 417 увѣряютъ, что видѣли его въ казначействѣ получающимъ пенсію.

„Предостерегаемъ воспитательницъ нашего молодого поколѣнія и убѣждаемъ ихъ оставаться неуклонно на высотѣ своего призванія. А вы, господинъ Донъ-Жуанъ! подумали ли вы, какую преступную игру вы предприняли и на кого обратили ваши взоры, исполненные любострастного огня!“

Послѣ этого ему оставалось и еще одно развлеченіе: отыскивать по объявленіямъ пропавшихъ собакъ, но для такой забавы у него былъ уже черезъ-чуръ большой чинъ.

Обѣдать онъ чаще всего ходилъ въ Лѣтній садъ, и, разумѣется, старался употребить какъ можно больше времени на выполненіе этого обряда. Но четыре тощихъ блюда съѣдались съ обидною быстротою, и къ семи часамъ Филиппъ Филиппычъ не безъ страха примѣчалъ, какъ подкрадывается къ нему вечеръ. Въ былое время онъ сладилъ бы съ вечеромъ легко: закатился бы въ Демидронъ—и дѣло съ концомъ; но при теперешнемъ положеніи бюджета Демидроновъ не полагалось, и онъ волей-неволей возвращался домой, гдѣ въ качествѣ развлеченія его ожидалъ чай съ филиповскимъ калачомъ.

Пробовалъ онъ раньше спать ложиться, но выгоды отъ того не получилъ, потому что чѣмъ раньше ложился съ вечера, тѣмъ раньше просыпался утромъ.

Къ довершенію всего, чортъ принесъ изъ Полтавской губерніи Растопырю. Приѣхалъ Растопыря одинъ, безъ жены, и сейчасъ же

отъявился къ сердечному другу. Каширинъ, впопыхахъ, было-обрадовался, думалъ: Растопыря — онъ гостепріимный! Но Растопыря былъ тоже себѣ на умѣ; какъ ввалился, такъ сейчасъ же объявилъ:

— Я, дружище, въ Петербургъ всего на недѣлю пріѣхалъ. Утромъ—въ департаментъ и по дѣламъ буду хлопотать, а обѣдать и вечерокъ провести—къ тебѣ!

И вотъ, вмѣсто того, чтобъ на счетъ Растопыри малороссійское сало ѣсть, онъ же долженъ былъ на собственныя деньги ежедневно брать у Палкина два рублевые обѣда и выслушивать, какъ изнѣженный Растопыря, уписывая за обѣ щеки, нѣтъ-нѣтъ да и замѣтитъ: „воля твоя, а отъ супа чѣмъ-то воняетъ!“

Наконецъ наступилъ августъ и вечера потемнѣли. Поились дожди, потянуло холодомъ, сыростью, улицы утонули въ грязи. Скука и одиночество начали давить еще сильнѣе. Но, увы! все это безвременье происходило только въ Петербургѣ. Въ провинціи, напротивъ того, судя по газетнымъ корреспонденціямъ, давно не запоминали осени столь благодатной, благоухающей, волшебной. И никогда въ Парижѣ, на водахъ и морскихъ купаньяхъ кокетки не предъявляли такого роскошнаго декольтѣ и не бывали такъ увлекательны. Петербуржцы слѣзжались безпримѣрно туго, а тѣ, которые пріѣзжали, требовали времени для приведенія въ порядокъ своихъ логовищъ и занимались переборками и разборками съ медленностью по истинѣ возмутительной. Наконецъ къ концу сентября кое-какъ все уладилось.

Каширинъ ринулся въ сезонный круговоротъ съ увлеченіемъ и страстностью человѣка, который долго и безнадежно терпѣлъ. Прежде всего онъ побѣжалъ къ Растопырѣ, который сейчасъ же накормилъ его самымъ свѣжимъ саломъ и очень любезно вспомнилъ, съ какимъ радушіемъ Филинъ Филипычъ лѣтомъ угощалъ его раковымъ супомъ и телятиной съ огурцомъ.

— И чѣмъ это отъ супа воняло — право, даже и теперь понять не могу! — прибавилъ онъ однакожь въ заключеніе.

Потомъ Каширинъ направился къ археологу-библіографу Скорбному-Головану, который обѣдать не далъ, а сообщилъ, что ѣздилъ лѣтомъ въ Испанію, такъ какъ узналъ, что тамъ скрывается собственноручно писанная Барковымъ и доселѣ никому неизвѣстная трагедія, которую, послѣ долгихъ и изнурительныхъ поисковъ, и пріобрѣлъ,

уплативъ за нее половину своего имѣнія. Потомъ по очереди отобѣдалъ у Птицыныхъ, Бердлевыхъ, Карнауковыхъ, Чистосердовыхъ, Чертополоховыхъ и прочихъ кассационныхъ, апелляционныхъ и дивидендныхъ чиновъ. Последняго посѣтилъ Стрекозу, и притомъ посѣтилъ церемонно („отъявился“), въ воскресный день, потому что, признаться, началъ опасаться этого сановника, который съ минуты на минуту ожидалъ производства въ дѣйствительные тайные совѣтники. Попржежнему въ этомъ высокопоставленномъ домѣ пахло какимъ-то специфическимъ запахомъ, смѣсью пастилы, амбрé и старческихъ огрѣховъ; попржежнему лицо хозяина отливало коричневымъ, почти гнѣдымъ цвѣтомъ и попржежнему Стрекоза принялъ Каширина съ благожелательною снисходительностью, то-есть пожалъ обѣ руки, поцѣловалъ въ лобъ и даже подарилъ ему кдосъ „исполинской“ пшеницы, привезенный изъ саратовскаго имѣнія.

— Ну, а какъ ваше „знамя“? по старому? — полюбопытствовалъ, въ заключеніе, маститый старецъ, проникательно заглядывая въ глаза Филипу Филипычу.

— Гдѣ ужъ... какое теперь знамя! — нѣсколько смущенно отвѣтствовалъ послѣдній.

— То-то! теперь надо это оставить! — наставительно изъяснилъ Стрекоза: — конечно, на всякій случай терять изъ вида не слѣдуетъ, но теперь... Ну, такъ милости просимъ напередки по старому, а сегодня обѣдать не прошу, потому что еще разбираемся: не знаю и самъ, чѣмъ Матрена Ивановна накормить меня.

Такимъ образомъ въ этотъ день Каширинъ былъ вынужденъ отобѣдать въ ресторанахъ. Но все-таки онъ былъ за тысячу верстъ отъ мысли, что обѣдъ, съѣденный имъ въ прошлый сезонъ, передъ отъѣздомъ семейства Стрекозы въ Саратовъ, былъ послѣднимъ его обѣдомъ въ этомъ домѣ.

Казалось, все вошло въ прежнюю колею; однако проникательный человекъ уже въ самомъ началѣ сезона могъ подмѣтить, что въ отношеніяхъ „кружкѣ“ къ Каширину завелась какая-то загадочная трещина, на которую покаместъ еще трудно прямо указать, но которая существуетъ уже несомнѣнно.

Начать съ того, что положеніе Каширина, какъ человека, пострадавшаго за „знамя“, настолько уже для всѣхъ опредѣлилось,



что „интересоваться“ имъ не было никакого повода. Даже сама la belle madame Растопыря поняла, что странно какъ-то, по прошествіи цѣлаго года, продолжать хвалиться передъ публикой: „вотъ тотъ самый Каширинъ, который высоко держалъ знамя и за это приказомъ отъ такого-то числа, мѣсяца и года ввергнуть въ безсрочную меланхолію, съ пенсіей въ размѣрѣ половиннаго оклада содержанія и безъ участія въ дивидендахъ“. Увы! мы столько съ тѣхъ поръ пережили, и въ это время столько знаменъ было изъято изъ употребленія и столько людей ввергнуто въ меланхолію, что, право, было даже нелѣпо смотрѣть на Каширина какъ на какой-то выдающійся пунктъ. Послѣ Каширинскаго знамени было знамя Разгильдяевское, послѣ Разгильдяевскаго—Разуваевское, и еще, и еще... Кто знаетъ нашу склонность къ знаменамъ, тотъ пойметъ, что недостатка въ этомъ отношеніи быть не могло, также какъ не могло быть недостатка и въ мѣрахъ по ввергнутію носителей этихъ знаменъ въ меланхолію. Такъ что, въ виду этихъ послѣдующихъ событій, Филипъ Филиппычъ, съ своимъ старенькимъ истрепаннымъ знаменемъ, представлялся уже чѣмъ-то въ родѣ „оставнаго козы барабанщика“.

Во-вторыхъ, что касается до меланхоліи, то и она, сама по себѣ взятая, т.-е. лишенная просвѣта въ будущемъ, скоро утомляетъ. Мы слишкомъ практическіе люди, чтобъ долго интересоваться „нюнями“, и пострадавшій человѣкъ имѣетъ право на наше вниманіе лишь постольку, поколику его окриляетъ надежда воспрянуть. Но вотъ прошелъ уже цѣлый годъ со времени ввергнутія въ меланхолію, а съ Филипомъ Филипычемъ не только не произошло перемѣны къ лучшему, но даже самъ онъ иногда откровенно признавался, что ничего отраднаго впереди не предвидитъ. Стало быть, въ будущемъ онъ способенъ только пользоваться услугами друзей, а не оказывать таковыя, одолжаться, а не одолжать. А это дѣлало его похожимъ на тѣхъ назойливыхъ субъектовъ, съ шаблонными просительными письмами въ рукахъ, которые вѣчно о чемъ-то клячатъ (по словамъ—на бѣдность, а въ сущности—на вышивку), и ужъ, конечно, никому удовольствія доставить не могутъ.

Въ-третьихъ, наконецъ, заграничный курсъ упалъ до нѣльзя, а цѣна на съѣстные припасы соотвѣтственно поднялась. Въ такихъ условіяхъ по-неволѣ начнешь рассчитывать и роптать, что при домашней трапезѣ постоянно присутствуетъ лишній ротъ, и притомъ

такой, отъ котораго однимъ саломъ не отдѣлаешься. Этотъ ротъ потребуеть и лишней ложки борща, и лишней галушки, и лишняго куска жаренаго, и лишней рюмки вина. А сосчитайте-ка все — вый-детъ мало-мало рубль серебромъ каждый разъ.

Такова была эта трещина, которой покуда никто еще не созна-валъ, но которая непремѣнно и въ очень недалекомъ будущемъ должна была оказаться.

Сверхъ того, въ этомъ кружкѣ всему давалъ тонъ Стрекоза, и потому когда на вопросъ, почему Филипъ Филиппычъ въ такое-то воскресенье не обѣдалъ у его превосходительства, онъ, нѣсколько застыдившись, отвѣчалъ, что не получилъ еще приглашенія, то боль-шинство „друзей“ задумалось. Ибо Стрекоза слылъ за человѣка про-ницательнаго и дѣйствительно былъ таковымъ. Одинъ Скорбный-Го-лованъ не задумался и продолжалъ относиться къ Каширину съ воз-растающею задушевностью, но посѣщать археолога-библіографа было не особенно лестно, потому что въ домѣ его царила безконечная не-урядица. Самъ онъ сидѣлъ въ кабинетѣ и штудировалъ Баркова, а жена всѣмъ и каждому жаловалась, что, благодаря этому занятію, стало совѣмъ невозможно жить, потому что даже маленькія дѣти — и тѣ до такой степени пристрастились къ сквернословію, что иначе не говорили другъ съ другомъ, какъ тирадами изъ Барковскихъ тра-гедій. И вдобавокъ у Скорбныхъ-Головановъ подавался какой-то со-вѣмъ неестественный обѣдъ, состоящій изъ молока, растительныхъ веществъ и до пѣльзя заношеннаго холоднаго ростбифа, который очевидно зажаривался однажды на всю недѣлю.

Тѣмъ не менѣе, начало сезона все-таки прошло благополучно. Кстаги же появилась въ обращеніи новая рукописная „записка“, авторомъ которой былъ уже не Пафнутевъ, а отставной корнетъ и нынѣ земскій дѣятель Голубятниковъ. У Голубятникова было страш-ное орудіе — иронія; съ этимъ-то орудіемъ онъ напалъ на Пафну-тєва. Все, что Пафнутевъ утверждалъ, Голубятниковъ отрицалъ — и наоборотъ. И къ довершенію всего обѣ записки были либераль-ныя и обѣ возбуждали въ „обществѣ“ страстный переполохъ. Поль-зуясь этой сумятицей, Каширинъ очень ловко эксплуатировалъ ее, лакомясь то у Растопыри, то у Чертополоховыхъ, то у Птицыныхъ и проч., и всѣхъ убѣждая отложить окончательное рѣшеніе возбуж-денныхъ „вопросовъ“ до тѣхъ поръ, когда со стороны Пафнутєва

послѣдуетъ отвѣтъ, въ которомъ онъ, конечно, во всей полнотѣ разъяснить сущность Пафнутьевскихъ идей.

Но Пафнутьевъ медлилъ отвѣтомъ, и въ половинѣ сезона трещина начала обнаруживаться. Сначала она показывалась понемногу, потомъ — рѣзче и рѣзче. То свойство, которое Каширинъ приобрѣлъ вмѣстѣ съ отставкой и влѣдствіе котораго онъ оказывался рѣшительно неспособнымъ кого-либо „одолжить“, вдругъ вышло наружу во всей наготѣ. Никто прежде не задавалъ себѣ вопроса: „съ какой стати этотъ человѣкъ повадился къ намъ обѣдать?“ Теперь же этотъ вопросъ формулировался какъ-то самъ собою и притомъ одновременно у всѣхъ. Всѣ поняли, что отъ Филипа Филипыча ждать нечего, а стало быть и кормить его незачѣмъ.

А рядомъ съ этимъ вопросомъ рождался и другой: не занять ли у него денегъ?

Прежде всѣхъ рѣшился на эту попытку Растопыря, и въ первый же разъ, какъ Филипъ Филипычъ пришелъ къ нему обѣдать, онъ отвелъ его въ сторону и, отважно хлопнувъ по плечу, сказалъ:

— А чтѣ, дружище, не дашь ли ты мнѣ тысячку рублей на нѣсколько дней перехватить?

— Гдѣ? — какъ-то нескладно спросилъ Каширинъ, какъ будто не понимая, въ чемъ суть.

— Гдѣ? чудакъ; братецъ, ты! ну, у себя или у меня... гдѣ хочешь.

Но Каширинъ уже понималъ и только растерянно глядѣлъ на своего амфитріона.

— Обѣдать! — крикнулъ Растопыря, и хотя впоследствии ни однимъ намекомъ не укорилъ друга, но съ тѣхъ поръ въ отношенія ихъ начала замѣтно вкрадываться холодность.

За Растопырей послѣдовали: Чертополоховъ, Бердяевъ, Чисто-сердовъ и проч., и со всѣми повторялась одна и та же сцена. Каширинъ никому денегъ не далъ и у всѣхъ остался обѣдать. Но чтѣ всего прискорбиѣе, онъ долженъ былъ отказать въ подобной же просьбѣ хорошенькой мадамъ Карнауховой, которая еще наканунѣ, сидя съ нимъ рядомъ за обѣдомъ, пожала ему ногу своей ножкой.

Каширинъ не могъ не знать, что этого ему никогда не простятъ, но онъ словно одеревенѣлъ и продолжалъ посѣщать „друзей“ по-прежнему. Къ довершенію всего онъ съ самаго начала сезона такъ



счастливо игралъ въ преферансъ, что это наконецъ дѣлалось неприлично. Общее мнѣніе было таково, что онъ подсматривалъ въ карты, и вслѣдствіе этого Растопыря началъ свои карты прятать подъ столъ. Но если бы даже признать за вѣрное, что въ данномъ случаѣ никакой фальши не было, а дѣйствовало одно счастье, то и тогда эти постоянные выигрыши были просто неприличны. Сегодня три рубля, завтра пять рублей — въ мѣсяцъ-то сколько этихъ рублей набѣжить!

Словомъ сказать, видимо подготовлялось что-то натянутое, ежели не явно враждебное. Всѣ замѣчали это, одинъ Каширинъ продолжалъ не замѣчать: до такой степени онъ уже освоился съ ролью прихлебателя. Напротивъ того, онъ легкомысленно радовался, что статья бюджета: „занятіе картами“ — все больше и больше тучиѣть, и что, быть можетъ, недалеко ужъ время, когда онъ, при ея пособіи, приобрѣтетъ себѣ еще одинъ билетъ внутренняго съ выигрышами займа (два онъ уже имѣлъ).

Но время шло, а вмѣстѣ съ нимъ все яснѣе и яснѣе обозначалась разъ намѣченная трещина. Однажды Филипъ Филипычъ пришелъ къ Растопырѣ обѣдать (Растопыря былъ закадычный другъ, и потому весьма натурально, что онъ же долженъ былъ открыть враждебныя дѣйствія), и вдругъ оказалось, что одного прибора недостаетъ. Разумѣется, приборъ потребовали, но хозяинъ почему-то счелъ долгомъ обратиться къ Каширину (какъ будто именно для него-то и доставало прибора), сказавъ:

— Ну, для тебя какъ-нибудь потѣсимся... старый дружище!

Въ этотъ же день случилось и другое происшествіе. Лакей, подавая ветчину съ горошкомъ, толкнулъ Филипа Филипыча въ плечо, какъ бы понуждая его не медлить. Между тѣмъ не далѣе какъ недѣлю тому назадъ онъ далъ этому лакею рубль, и потому поведеніе его не могло не показаться загадочнымъ. Стало быть, Растопыри не очень-то стѣсняются въ выраженіи мнѣній о своемъ другѣ, ежели даже рублевая подачка не дѣйствуетъ на хамово отродье!

А вслѣдъ затѣмъ и третье происшествіе. Когда, послѣ обѣда, раскинули столы для преферанса, то хозяинъ подалъ карты Бердяеву, Чертополохову и Птицыну (четвертую взялъ самъ), а Каширину карты не далъ, сказавъ:

— Ты, дружище, не сердись, что тебя не сажаю. Въ послѣд-

нее время ты началъ такъ часто выигрывать, что, признаться, ужъ тяжеленько стало.

Однако Филипъ Филипычъ и тутъ смолчалъ, и даже нѣсколько времени повертѣлся около madame Растопыри. Но подѣ конецъ не выдержалъ и ушелъ домой.

Сцены болѣе или менѣе такого же содержанія повторялись и въ другихъ домахъ. Каширинъ чувствовалъ, что роль его дѣлается болѣе и болѣе невыносимою, и все-таки не рѣшался порвать. Однажды, переходя черезъ улицу къ подѣзду Карнауховыхъ, онъ собственными глазами убѣдился, что хорошенькая madame Карнаухова, стоявшая у окна (еще у него мелькнуло въ головѣ: вѣрно выглядываетъ своего гусара, корнета Стрекозу!), увидѣвъ его, вдругъ отпрянула; а когда онъ черезъ минуту позвонилъ, то прислуга, отворившая ему дверь, съ смущеннымъ видомъ отвѣтила, что барыня нездорова и кушать не будутъ. Выйдя послѣ этого на улицу, онъ нарочно остановился у ближайшаго угла, чтобъ наблюсти, и увидѣлъ, что велѣдъ за нимъ къ подѣзду подлетѣлъ гусаръ Стрекоза, а черезъ четверть часа поползли: Чистосердовъ, Растопыря, Чертополоховъ и самъ Карнауховъ, очевидно всѣ четверо изъ департамента. И всѣ вошли въ подѣздъ и больше не выходили.

Но этого мало: къ полному своему огорченію онъ убѣдился, что про него начинаютъ распространять клеветы. Однажды прибѣжалъ къ нему Скорбный-Голованъ, въ состояніи безпримѣрной восторженности, и долго ничего не могъ объяснить толкомъ, а только безпорядочно махалъ руками и восклицалъ:

— Подлецъ Растопыря! подлецъ! подлецъ! подлецъ!

Причемъ смѣшивалъ фамилію Растопыри съ фамиліей одного изъ дѣйствующихъ лицъ Барковскихъ трагедій, чтѣ съ внѣшней стороны выходило даже совсѣмъ неприлично.

Успокоившись однакожь, онъ разсказалъ, что Растопыря распускаетъ о Каширинѣ самыя ядовитыя слухи. Говорить, что Филипъ Филипычъ потихоньку беретъ у него изъ ящика сигары, прячетъ въ карманъ и уноситъ домой; что однажды la belle madame Растопыря видѣла, какъ онъ положилъ кусокъ ветчины между двумя ломтями хлѣба и тоже препроводилъ въ карманъ; что онъ, Каширинъ, не довольствуется тѣмъ, что выпиваетъ за столомъ вдвое противъ другихъ, но что неоднократно лакей Степанъ подстерегалъ, какъ онъ ходилъ

въ буфетный шкапъ и тамъ выпиваль рюмку за рюмкой; что однажды, на смѣхъ, въ бутылку изъ-подъ хересу налили керосину, и онъ, Каширинъ, выпилъ не сморгнувъ, и только въ теченіе всего вечера отплевывался и время отъ времени вполголоса произносилъ: „ахъ, подлецы!“; что самъ Растопыря, замѣтивъ однажды, что Каширинъ съ особенною умильностью взглядывалъ на бутылку съ мадерой и, желая убѣдиться въ справедливости лакейскихъ показаній, спряталъ бутылку за оконныя драпри (но такъ, чтобъ Каширинъ видѣлъ это), и дѣйствительно черезъ два часа бутылка оказалась порожнею...

Каширинъ былъ возмущенъ до глубины души, потому что онъ рѣшительно ничего подобнаго не дѣлалъ.

Но вмѣсто того, чтобъ принять эти слухи только къ соображенію, онъ оказался настолько неразумительнымъ, что вздумалъ объясняться. Когда онъ явился съ этимъ къ Растопырямъ, то самого Растопыря не было дома, а madame Растопыря приняла его особенно весело, какъ будто знала, о чемъ пойдетъ рѣчь. И дѣйствительно, все время, покуда онъ, одну за другой, излагалъ свои претензіи, она безъ умолку хохотала, такъ что онъ наконецъ остановился и спросилъ:—Что же тутъ смѣшного?

— Ха-ха! какой вы уморительный! — отвѣтила милая хозяйка, и вновь залилась веселымъ смѣхомъ.

Тогда онъ скромно напомнилъ ей, что было время, когда она не смѣялась и когда онъ... Но „красавица“, не прекращая хохота, съ такимъ наивнымъ любопытствомъ взглянула ему въ лицо, что онъ просто оторопѣлъ.

— Итакъ, я долженъ изъ этого заключить...— началъ было онъ, но тутъ воротился домой самъ Растопыря и не далъ докончить фразу.

Ту же претензію онъ изложилъ и Растопырѣ, который выслушалъ его съ участіемъ, но не только не отрекся, а, напротивъ, сейчасъ же повинился и, въ заключеніе, даже обнялъ его.

— Ну, прости, дружище! виновать! не буду! — утѣшалъ онъ Каширина:— не слѣдовало, ахъ, не слѣдовало мнѣ этого говорить! знаю, что не слѣдовало! Другъ вѣдь ты! старый... дружище!

Но тутъ же впрочемъ присовокупилъ:

— Признайся однако, голубчикъ, вѣдь было-таки немного! Хереску-то изъ-подъ драпри... хватилъ-таки малость!



При этой непредвидѣнной выходкѣ, сопровождавшейся неудержимымъ смѣхомъ милой хозяйки, Каширинъ почувствовалъ, что онъ холодѣетъ. Онъ съ инстинктивнымъ ужасомъ взглянулъ на своихъ „друзей“, какъ будто передъ нимъ стояла страшная голова Медузы, а не посконное рыло начиненнаго галушками полтавскаго обывателя.

— За что вы меня... ненавидите?—вырвалось наконецъ изъ его измученной груди.

А между тѣмъ времена все зрѣли да зрѣли, а наконецъ и со-всѣмъ созрѣли.

Въ одно прекрасное утро одно заслуживающее довѣрія лицо (можетъ быть, даже самъ Стрекоза), встрѣтивъ Растопырю (Растопыря, какъ ловкій полтавецъ, съумѣлъ пріютиться въ трехъ вѣдомствахъ и по-всѣмъ тремъ получалъ присвоенное содержаніе, такъ что чиновники въ шутку называли его „трижды подчиненнымъ“), предложило ему слѣдующій краткій вопросъ:

— Кстати! вѣдь вы, кажется, знакомы съ *господиномъ* Каширинымъ?

Растопыря смутился и началъ бормотать что-то невнятное. Не отрицалъ, но и не утверждалъ, говорилъ, что онъ никогда не былъ особенно близокъ... что притомъ давно ужъ предположилъ... и что наконецъ онъ сейчасъ же, сію минуту...

— Смотрите? какъ бы не гово...—послѣдовалъ доброжелательный совѣтъ.

Растопыря прибѣжалъ домой—точно съ цѣпи сорвался. И такъ какъ это произошло именно въ четвергъ, когда у него собирались къ обѣду пріятель, и время уже близилось къ половинѣ шестого, то онъ, какъ говорится, и рвалъ, и металъ. Призвавъ *madame* Растопырю, объявилъ ей, что присутствіе въ ихъ домѣ Каширина долше терпимо быть не можетъ; потомъ началъ топать ногами, бѣгать по комнатѣ, кричать, вопить:

— Вонъ его! гнать его! гнать! гнать! гнать!

И вдругъ въ ту самую минуту, когда пароксизмъ его гнѣва достигъ высшей степени, онъ очнулся и увидѣлъ, что въ дверяхъ стоитъ Филипъ Филипычъ, какимъ-то образомъ ухитрившійся упредить распоряженіе объ отказѣ ему отъ дома.

Каширинъ былъ блѣдень, щеки его тряслись, зубы стучали. Шатаясь, воротился онъ въ переднюю, безъ помощи лакея надѣлъ пальто и вышелъ на лѣстницу. Тамъ онъ встрѣтилъ Чертополохова, который при видѣ его сухо-учтиво приложился къ шляпѣ, но руки не подалъ, потому что, какъ оказалось впослѣдствіи, въ это же утро и у него былъ разговоръ съ Стрекозой по поводу знакомства съ *господиномъ* Каширинымъ.

Очутившись на улицѣ, Филипъ Филипычъ нѣсколько минутъ не могъ сообразить, чтѣ такое съ нимъ произошло. Мимо него прошли: Бердяевъ, Чистосердовъ и наконецъ Шилохвостовъ, новая звѣзда, только-что взошедшая на горизонтѣ „Дивидендовъ и Раздачъ“. И они, конечно, имѣли такой же разговоръ, потому что тоже ограничились формальнымъ поклономъ безъ рукопожатія. Но Каширинъ все еще находился въ туманѣ, и передъ глазами его инстинктивно рисовалась освѣщенная столовая Растопыри, столъ, обремененный закусками, около которыхъ столпились гости, и посреди ихъ гостепріимный хозяинъ ораторствовалъ:

— Разумѣется, въ виду этого, я вынужденъ былъ употребить героическія мѣры...

— Конечно! конечно! — восклицали гости, за исключеніемъ впрочемъ Шилохвостова, который въ эту минуту разрѣшалъ въ своемъ умѣ вопросъ, отречется ли онъ, подобно сему, и отъ Растопыри, когда очередь дойдетъ и до него!

— Ахъ! онъ намъ такъ надоѣлъ! — сантиментально присовокупляла съ своей стороны *la belle madame* Растопыря.

Однако привычка прилебательства взяла-таки свое, и Каширинъ безсознательно побрелъ по направленію къ квартирѣ Скорбнаго-Голована.

Но тутъ его ужъ окончательно добили. Скорбный-Голованъ бросился къ нему со слезами, обнялъ, замочилъ ему губами щеки и даже слегка порыдалъ у него на груди. Но въ заключеніе крикнулъ:

— Миша! Петя! Катичка! Милочка! Марейнка! Зиночка! идите! идите сюда!

И когда молодое поколѣніе Скорбныхъ-Головановъ собралось, то археологъ-библіографъ, указывая Каширину на невинныхъ дѣтей, возопилъ:

— Вотъ! уже шесть человѣкъ на-лицо, а мы съ женой еще мо-

лоды! Судите сами, голубчикъ, могу ли я? Я знаю, что я малодушень и отчасти даже вѣроломень, но могу ли я... скажите, могу ли?!

Каширинъ ничего не отвѣтилъ на эти изліянія и сейчасъ же вышелъ. На этотъ разъ онъ уже совершенно отчетливо понялъ, что и Скорбный-Голованъ имѣлъ утромъ разговоръ.

Каширинъ долго пролежалъ больной, и во все время болѣзни ни одна душа не освѣдомилась объ немъ. Наконецъ ему полегчало, и первая мысль, представившаяся его уму, была та, что прошлое безповоротно рухнуло и что впереди предстоитъ лишь полное и безнадежное отчужденіе. Надъ его существованіемъ прошла какая-то донелѣпности жестокая случайность, которая наполнила его душу инстинктивнымъ страхомъ. Онъ никогда ничего подобнаго не предвидѣлъ, а потому и приготовиться не могъ. Онъ даже и теперь не понималъ, а только чувствовалъ, что сдѣлалось что-то жестокое. Къ несчастію, отставка не надумила его, не заставила подумать о подготовкѣ иной обстановки, которая могла бы выручить въ случаѣ измѣны „друзей“. Онъ по крайней мѣрѣ всю послѣднюю половину жизни провелъ какъ человѣкъ касты и, несмотря на полученные уроки, остался вѣренъ ей. Эта каста, ограниченная въ численномъ смыслѣ, отличается, сверхъ того, зависимостью, какъ главною характеристическою чертою, и это дѣлаетъ ее легко-доступною для всякаго рода колебаній. Нигдѣ не бывають такъ часты измѣны, какъ тутъ. Но этого-то именно и не примѣтилъ Каширинъ, и вотъ теперь измѣна разразилась надъ нимъ чѣмъ-то неслыханнымъ, передъ чѣмъ блѣднѣли и ступевывались всѣ заботы о респектабельности и равновѣсіи бюджета.

Погрязши въ кастѣ, онъ растерялъ всѣ постороннія связи и даже къ новой русской литературѣ относился довольно индифферентно. Не порицалъ прямо, но находилъ, что она не даетъ плодотворныхъ Пафнутаевскихъ элементовъ. Съ бывшими провскими своими патронами онъ тоже разстался (весьма впрочемъ дружелюбно), да врядъ ли они и могли быть ему полезными въ данную минуту. Они жили за границей и — въ чаяніи, что когда-нибудь ихъ опять помянуть, — фрондировали; объ отечествѣ же вспоминали лишь по поводу туго выслаемыхъ оттуда доходовъ.



И вдругъ онъ вспомнилъ вновь, что на Пескахъ, на Слоновой улицѣ, въ пяти-оконномъ деревянномъ домикѣ, существуетъ чиновникъ Каверзневъ, у котораго онъ нѣкогда воспринималъ отъ купели старшаго сына...

Воспоминаніе это оживило его, ибо по мѣрѣ того, какъ здоровье его восстанавливалось, въ немъ просыпалась и жажда общества. Въ работахъ объ ея удовлетвореніи онъ очень вѣрно сообразилъ, что по праздникамъ и не очень выдающіеся чиновники пекутъ пироги и приглашаютъ къ своей трапезѣ друзей. Поэтому хотя и не безъ нѣкоторой борьбы, но въ первое же воскресеніе онъ купилъ фунтъ конфектъ для крестника и, какъ только пробило три часа, отправился на Пески.

Титулярный совѣтникъ Каверзневъ былъ чиновникъ очень маленькій и очень смиренный. Занимая мѣсто помощника столоначальника, онъ едва сводилъ концы съ концами, да и то благодаря тому, что имѣлъ даровую квартиру въ домѣ тестя, отставнаго коллежскаго ассесора Монументова, когда-то завѣдывавшаго департаментскими курьерами и сторожами, а нынѣ проживавшаго на пенсіи въ крошечномъ мезонинѣ того же дома. Каверзневъ женился всего пять лѣтъ тому назадъ и имѣлъ ровно пять человѣкъ дѣтей. Человѣкъ онъ былъ не особенно блестящихъ способностей, но покорный, безгранично преданный семьѣ и удивительно добрый. Жена у него была молоденькая, тоже до крайности добрая и очень симпатичной наружности особа, хотя частые роды уже успѣли сообщить ея лицу утомленное и слегка заношенное выраженіе. Вообще это было семейство согласное, жившее душа въ душу, въ полномъ отчужденіи отъ живого міра, но не тяготившееся этимъ отчужденіемъ.

Когда Каширинъ пришелъ, въ первой комнатѣ, служившей одновременно и столовой, и залой, былъ уже накрытъ столъ. Въ углу, на особомъ столикѣ, стояла совсѣмъ готовая закуска и водка, а въ воздухѣ носился пріятный запахъ начинки. Каверзневъ самъ выбѣжалъ отворить дверь, потому что ожидалъ къ обѣду друга своего, Косача. Увидѣвъ передъ собой Филипа Филипыча, онъ слегка смутился, однакожъ понялъ, что посѣщеніе такого чиновнаго гостя приноситъ ему величайшую честь. Суетясь и забѣгая впередъ, онъ проводилъ гостя въ гостиную, гдѣ сидѣли въ ожиданіи обѣда: жена Каверзнева, старикъ Монументовъ и помощникъ экзекутора Здобновъ.

Оба послѣдніе тоже нетерпѣливо ждали Косача, чтобъ приступить къ водкѣ, и при видѣ нежданнаго гостя ощутили то самое чувство, которое долженъ испытывать человѣкъ, уже поднесшій ко рту рюмку и вдругъ убѣждающійся, что, благодаря какому-то проказливому волшебству, содержимое мгновенно исчезло изъ рюмки.

— А я сегодня вышелъ прогуляться да и надумалъ: дай-ко крестнаго сына провѣдаю! — началъ Филиппъ Филиппычъ. Онъ предположилъ-было прямо сказать: „дай-ко у крестнаго сына за-просто хлѣба-соли отвѣдаю!“ — но почему-то это не вышло.

Затѣмъ онъ потребовалъ, чтобъ ему показали дѣтей. Старшенькаго, Бориньку, какъ крестника, онъ поцѣловалъ и перекрестилъ, сказавши при этомъ: „вотъ такъ!“, прочихъ — только перецѣловалъ. Въ заключеніе вынулъ изъ шляпы коробку съ конфетами и подарилъ крестнику, присовокушивъ:

— Подѣлись съ братцами и сестрицами, да смотрите, не обижайте другъ друга!

Эта церемонія длилась съ четверть часа и къ концу ея прибылъ Косачъ, молодой малый, служившій въ томъ же департаментѣ помощникомъ регистратора. Всѣ вздохнули легче, потому что думалось, что съ окончаніемъ церемоніи цѣлованія дѣтей Филиппъ Филиппычъ снимется съ мѣста. Но онъ не уходилъ. Прошло еще съ четверть часа, а онъ отыскивалъ все новыя и новыя темы для разговора. Говорилъ исключительно онъ одинъ; хозяйева отвѣчали односложными словами и вымученными улыбками, какъ это всегда бываетъ съ людьми, которые совсѣмъ ужъ собрались ѣсть и не знаютъ, какъ выпроводить человѣка, остановившаго ихъ, такъ сказать, на ходу; гости же просто-на-просто удалились въ уголь, и если бы Каширинъ не заглушалъ себя самъ, то навѣрное услышалъ бы, какъ старикъ Монументовъ вполголоса выговаривалъ Косачу:

— А все по твоей милости, вѣтрогонъ! гдѣ о сю пору шатался?

Прошло еще четверть часа. У всѣхъ лица подернулись усталостью, вытянулись и даже словно похудѣли. Къ запаху начинки присоединился запахъ гари: подгоралъ пирогъ. Старшій сынъ Боринька стучалъ въ столовой посудой, къ чему его очевидно поощрялъ Монументовъ, молчаливо, но несомнѣнно приглашая:

— Стучи, батюшка, стучи!

Наконецъ, видя, что надобно же когда-нибудь рѣшиться, Каширинъ, слегка зардѣвшись, сказалъ:

— А знаете ли чтѣ! вѣдь я къ вамъ безъ церемоній! Иду и думаю: дай-ко я у крестнаго сына за-просто хлѣба-соли отвѣдаю!

Только тогда Каверзневъ внимательнѣе взглянули въ лицо Филипу Филипычу и замѣтили изнуреніе, которое произвели въ немъ послѣднія происшествія и болѣзнь. Они поняли добрыми своими сердцами, что, должно быть, на этого человѣка большое горе обрушилось, если онъ рѣшился идти къ нимъ не въ качествѣ посажнаго или крестнаго отца, а на правахъ простого гостя. И одновременно у обоихъ вырвалось восклицаніе:

— Ахъ, ваше превосходительство!

Ихъ лица просіяли; Каверзневъ стремглавъ побѣжалъ въ кухню, гдѣ распорядился, чтобъ супъ и пирогъ поставлены были на столъ, и въ то же время пошелъ въ кондитерскую за шмандткухеномъ; что же касается до Людмилы Петровны (такъ звали жену Каверзнева), то она инстинктивно подала Каширину руку, которую послѣдній очень галантно поцѣловалъ. Замѣчательно, что онъ почти мгновенно оправился отъ своего смущенія и немедленно почувствовалъ себя со-всѣмъ хорошо, какъ будто дѣло сдѣлалъ. Даже гости повеселѣли, словно у всѣхъ была одна мысль: слава Богу, хоть какой-нибудь да конецъ!

Обѣдъ прошелъ великолѣпно, и Филипъ Филипычъ очень серьезно сдѣлалъ честь своему крестному сыну. Конечно, эту ѣду нельзя было сравнить съ ѣдою у Растопыри (одно сало возможно ли позабыть!), ни тѣмъ паче съ ѣдою у Стрекозы — ну, да вѣдь тѣ обѣды невозвратно канули въ вѣчность, и слѣдовательно... Вотъ только вина было маловато: одна бутылка медаку на всѣхъ. Правда, что Мону-ментовъ восполнялъ этотъ недостатокъ, вставая послѣ каждой перемѣны изъ-за стола и проглатывая рюмку водки; но это-то именно и подтверждало, что медаку въ этомъ домѣ придавалось особое значеніе, и что, стало быть, обходиться съ этимъ напиткомъ надлежало съ осторожностью. Зато шмандткухенъ произвелъ рѣшительный фуроръ между дѣтьми, и хотя Каширинъ не ѣлъ его, но внутренно долженъ былъ сознаться, что давно не видалъ такихъ счастливыхъ дѣтскихъ лицъ.

Послѣ обѣда составила пулька по одной сотой копѣйки, и



когда Филиппъ Филиппычъ выразилъ сомнѣніе, что при такой цѣнѣ пожалуй не изъ чего будетъ за карты заплатить, то Каверзневъ успѣшилъ его успокоить, сказавъ, что „у насъ, ваше превосходительство, карты дешевенькія, въ клубѣ по три гривенника покупаемъ, а онѣ между тѣмъ только слава, что распечатаны, а все равно что новыя“. И дѣйствительно, когда подали карты, то Каширинъ очень любезно сознался, что онѣ „даже лучше, чѣмъ новыя“.

Играли: Монументовъ, Здобновъ и Каширинъ; хозяинъ и Косачъ отказались, говоря, что они хоть и играютъ, но неохотно и только чтобъ не разстроитъ партіи. Монументовъ очень наивно поглядывалъ на чужія карты, и Здобновъ, зная эту привычку его, пряталъ свои карты подъ столъ; этому же примѣру, послѣ двухъ-трехъ ремизовъ, послѣдовалъ и Филиппъ Филиппычъ. Оба мѣстныхъ партнера играли до чрезвычайности прижимисто; напротивъ, Каширинъ рисковалъ и, какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, извлекъ изъ своего риска пользу. Въ результатѣ онъ оказался въ выигрышѣ 85 копѣекъ, изъ которыхъ 30 уплатилъ за карты, а остальные 55 принесъ домой.

День былъ проведенъ, и Каширинъ остался доволенъ имъ. Но впереди дней предстояло еще много—надо было и объ нихъ подумать. Сначала онъ совѣтился и ходилъ къ Каверзневымъ только по праздникамъ, въ будни же сидѣлъ дома и обдумывалъ планъ сочиненія. Сочиненіе это предполагалось озаглавить такъ: „Имѣй уши слышати—да слышитъ!“, а содержаніе его должно было заключать въ себѣ, во-первыхъ, оправданіе образа дѣйствій „пишущаго эти строки“ и, во-вторыхъ, указаніе нѣкоторыхъ бесполезныхъ мѣръ, которыя, не останавливая правильнаго и разумнаго развитія дивидендовъ, въ то же время полагали твердыя преграды для обнаружившагося въ семъ вѣдомствѣ стремленія къ излишествамъ. Но такъ какъ это была матерія сухая, то понятно, что она въ скоромъ времени наскучила Каширину, вслѣдствіе чего онъ попробовалъ забѣжать къ Каверзневымъ и въ будни, и тоже остался доволенъ, хотя очень хорошо замѣтилъ, что на второе блюдо подали говядину со всѣмъ вываренною. Наконецъ, понемножку да помаленьку, онъ началъ учащать, и не успѣли Каверзневые встать въ оборонительное положеніе, какъ онъ уже сдѣлался у нихъ домашнимъ человѣкомъ и постояннымъ гостемъ. Однажды онъ даже рискнулъ отобѣдать и у

Здобнова (и отобѣдалъ); но тотъ обошелся съ нимъ до такой степени пронически, что въ самомъ зародышѣ уничтожилъ всѣ попытки къ установленію начетистыхъ отношеній дружества.

Для Каверзневыхъ это былъ своего рода бичъ. Ежели трижды подчиненный Растопыря имѣлъ основаніе жаловаться на паденіе вексельнаго курса и вздорожаніе съѣстныхъ припасовъ, то тѣмъ болѣе право на эти жалобы могъ предъявить Каверзневъ. Со счетами въ рукахъ онъ могъ доказать, что Каширинъ обходится ему отъ 15-ти до 18-ти рублей въ мѣсяць — гдѣ ихъ взять? Сверхъ того, Каширинъ постоянно выигрывалъ въ карты, и этимъ отвадилъ отъ Каверзневыхъ Здобнова и Косача. Даже старикъ Монументовъ началъ прятаться отъ него и требовалъ, чтобъ ему приносили обѣдъ въ мезонинъ. Изъ человѣка безконечно добраго Каверзневъ, въ какихъ-нибудь два-три мѣсяца, сдѣлался угрюмымъ и раздражительнымъ. Людмила Петровна хотя наружно улыбалась, но внутри у нея тоже все елокотало. Эти простые и добрые люди смотрѣли на своихъ дѣтей и со страхомъ думали: „Каширинъ все съѣстъ!“ Однажды они рѣшились на крайнюю мѣру: съѣли вареную говядину до обѣда, а за обѣдомъ подали пустой супъ и макароны; но Каширинъ и этого не понялъ, или, лучше сказать, не хотѣлъ понять. Къ довершенію всего, дѣлаясь съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе наглымъ, Филипъ Филиппычъ и дѣтямъ пересталъ возить гостинцы, такъ что и они вознегодовали.

Надо было быть очень робкимъ и очень дисциплинированнымъ, чтобъ столько времени выносить терзанія, которыя выпали на долю Каверзнева. Мало того, что Каширинъ обѣдалъ и опивалъ его, но вдобавокъ Здобновъ и Косачъ открыто смѣялись надъ нимъ...

— Онъ тебя и со всѣми твоими потрохами купить и продать можетъ, — говорили они: — а ты его шамандткухенами кормишь!

Однакожь и для самой беззавѣтной заботности бывають предѣлы, дальше которыхъ идти некуда. И вотъ, дойдя до этихъ предѣловъ, Каверзневъ рѣшился.

Однажды, когда Каширинъ всего меньше думалъ о разрывѣ и даже рассчитывалъ, что на будущее время ему и лѣтомъ будетъ нескучно, онъ получилъ по городской почтѣ письмо, въ которомъ прочиталъ слѣдующее:

„Ваше превосходительство!

„Милостивый государь!

„Съ стѣсненнымъ сердцемъ я приступаю къ настоящему письму, но, помилуйте, я человекъ недостаточный и притомъ семейный! Я очень хорошо понимаю, что посѣщенія вашего превосходительства приносятъ намъ честь, но ограниченность состоянія и въ семь не дозволяетъ намъ наслаждаться, какъ бы того душевно желали. И притомъ, ваше превосходительство! постоянно выигрывая въ карты, вы тѣмъ самымъ изволили отвратить отъ нашего семейства давнихъ и преданныхъ друзей, кои, будучи тоже состояніи недостаточнаго, не въ силахъ онаго перенести, хотя бы и желали.

„Ваше превосходительство! клянусь повторительно: съ стѣсненнымъ сердцемъ пишу настоящее письмо! Но взойдите въ положеніе угнетеннаго отца и мужа и съ свойственнымъ вашему превосходительству великодушіемъ простите пріемлемой мною смѣлости!

„Съ чувствами глубочайшаго высокопочитанія и несомнѣнной преданности имѣю честь пребыть

„Вашего превосходительства,

„Милостивый государь!

„покорнѣйшій слуга

„Илья Каверзневъ“.

Къ удивленію, Филипъ Филипычъ отнесся къ этому письму довольно спокойно. Повидимому его скорѣе удивило не содержаніе письма, а его безсвязность и редакціонные недостатки. Онъ всегда утверждалъ, что нынѣшнее поколѣніе „не умѣетъ писать“ — и вотъ доказательство на-лицо.

— И это помощникъ столоначальника нацараналъ! — воскликнулъ онъ съ горечью: — такіе ли въ наше время помощники бывали!

Я знаю, что рассказъ мой дошелъ до того кульминаціоннаго пункта, за которымъ необходимо слѣдуетъ катастрофа, а потомъ и естественное ея разрѣшеніе. Настоящіе художники-беллетристы именно такъ и поступаютъ: сначала постепенно завязываютъ узелъ, а по-



томъ постепенно его развязываютъ. Поэтому ничего нѣтъ мудренаго, что и читатель, избалованный этими развязываніями, ждетъ отъ меня, что я поступлю съ Кашириннымъ рѣшительно, то-есть или женю его, или сдѣлаю пьяницей, или, наконецъ, совсѣмъ уморю.

Ничего подобнаго я однакожъ не сдѣлаю по причинамъ вполне уважительнымъ. Во-первыхъ, я не имѣю претензіи быть художникомъ и ничего „изъ головы выдумать“ не могу; во-вторыхъ, я прошу принять во вниманіе, что герой моего разсказа—старикъ, и въ силу одного этого условія не представляетъ достаточныхъ элементовъ для завязываній и развязываній. Поэтому, и желая оставаться въ согласіи съ истиной, я говорю прямо: какимъ образомъ Филиппъ Филиппычъ вышелъ изъ своего послѣдняго огорченія и перенесъ ли при этомъ какую-нибудь душевную или нравственную ломку—не знаю. Не знаю, потому что мой герой такъ быстро послѣ этого исчезъ съ петербургскаго горизонта, что я даже не могъ услѣдить за нимъ.

Знаю впрочемъ, что онъ поселился въ Пронскомъ уѣздѣ, въ крохотномъ имѣньицѣ, нѣкогда великодушно уступленномъ имъ тетенькѣ Агаѣѣ Ивановнѣ.

Лѣтомъ прошлаго года, находясь по дѣламъ въ Пронскомъ уѣздѣ, я случайно попалъ туда въ такое время, когда собирался мировой съѣздъ. Въ качествѣ почетнаго мирового судьи прибылъ и Каширинъ. Узнавъ, что я литераторъ, онъ благосклонно пожелалъ со мной познакомиться, а наконецъ затаячилъ меня и въ свою усадьбицу. По наружности это былъ старикъ бодрый и даже щеголеватый. Одѣтый по лѣтнему, въ легонькую визитку, бѣлый жилетъ и таковыя же брюки, онъ скорѣе походилъ на завсегдатая павловскихъ или петергофскихъ садовъ, нежели на обывателя пронскихъ палестинъ. Особенной словоохотливостью онъ не отличался, но, справедливо предполагая, что все, относящееся до русской литературы, должно интересоваться меня, очень любезно разсказалъ мнѣ больше сотни анекдотовъ про Грановскаго, Бѣлинскаго, Некрасова, Тургенева и другихъ литературныхъ корифеевъ сороковыхъ годовъ, и въ заключеніе, вздохнувъ, прибавилъ:

— Да, было, было все это; было—и прошло!

Даже о пойманномъ Майковымъ въ Парголовскомъ озерѣ пискарѣ не умолчалъ и тоже прибавилъ:

— Да, поймалъ пискаря, да такъ съ пискаремъ на всю жизнь и остался!

Усадьба у него оказалась очень хорошенькая, и, судя по его рассказамъ, онъ серьезно намѣревался устроить изъ нея нѣчто въ родѣ „виллы“ и съ этою цѣлью треть всей земли обратить подъ садъ. Здѣсь я познакомился и съ тетенькой Агаѳьей Ивановной; старушкѣ было подъ восемьдесятъ, но она сохранила всѣ зубы, всѣ волосы и почти юношескую остроту зрѣнія въ соединеніи съ замѣчательной подвижностью.

— Теперь только я жить начала!—сказала мнѣ эта милая женщина, окидывая безконечно-любящимъ взглядомъ своего безцѣннаго племянника.

Филипъ Филипычъ радушно выводилъ меня по всѣмъ комнатамъ дома, который онъ почти весь заново перестроилъ и, благодаря петербургской мебели, ухитилъ очень удобно и красиво. Въ одной изъ комнатъ мы застали за работой Палагею Семеновну, дѣвицу высокаго роста, „разсыпчатую“, съ привлекательными формами тѣла и притомъ совсѣмъ пучеглазую, о которой Каширинъ сказалъ просто:

— А это моя Палагея Семеновна!

И затѣмъ она ни за обѣдомъ, ни за чаемъ не появлялась; быть можетъ, впрочемъ, это случилось только потому, что она „стыдилась“ посторонняго человѣка, такъ какъ не разъ Агаѳья Ивановна, положивъ на тарелку самый лучшій кусокъ (пупочекъ, стегнушко), отдавала подачку прислугѣ, говоря:

— Снесите это Палагеюшкѣ!

Обѣдомъ Филипъ Филипычъ накормилъ меня отличнымъ, причемъ безпрестанно и онъ, и тетенька понуждали: „кушайте!“ Очевидно онъ жилъ на свои три тысячи шестьсотъ рублей паномъ. Охотно хвалился наливками, которыя были дѣйствительно превосходны, но скорбѣлъ, что никакъ не можетъ добиться такого сала, какое ѣдалъ въ Петербургѣ у Растоныри.

Повидимому онъ всѣмъ простилъ и даже про Растонырино вѣроломство вспоминалъ безъ горечи. Съ нѣкоторыми изъ бывшихъ друзей онъ исподволь возобновилъ сношенія и даже удостоился очень лестнаго письма отъ Стрекозы, которому послалъ въ презентъ удивительно выкормленнаго индюка.

„Превосходнѣйшаго вашего индюка мы скушали,—писалъ ма-

ститый сановникъ,—въ сообществѣ извѣстныхъ вамъ пособниковъ, укрывателей и попустителей, и такъ оказался хорошъ и соответствующъ предназначенной ему роли, что не токмо желудочнаго обремененія, по съѣденіи, не ощутили, но даже какъ бы небольшое облегченіе“. Что же касается Каверзнева, то Каширинъ každогодно къ Рождеству посылалъ ему цѣлую груду поросятъ, гусей и куръ.

Въ Пронскѣ же Филипу Филипычу было суждено встрѣтиться и съ Пафнутьевымъ, что пролило еще болѣе сіяющій свѣтъ на его существованіе. Къ сожалѣнію, я не могъ познакомиться съ Пафнутьевымъ, потому что онъ былъ въ то время въ отсутствіи. Но Каширинъ сообщилъ мнѣ, что ежели сочиненіе его „Имѣй уши слышати—да слышитъ!“ значительно подвинулось впередъ, то именно благодаря Пафнутьеву, въ которомъ онъ нашелъ драгоцѣннѣйшаго для себя сотрудника.

Послѣ обѣда онъ попытался прочесть мнѣ первую (вѣроятно и единственную) главу этого сочиненія. Первую страницу прочелъ бойко; на второй, подъ вліяніемъ изобильно принятой пищи и лѣтняго зноя, языкъ его началъ слегка заплетаться, а на третьей онъ какъ-то вдругъ и незамѣтно уснулъ. Я вышелъ на цыпочкахъ изъ кабинета и направился къ Агаѣ Ивановѣ, но и она спала; потомъ толкнулся къ Палагеѣ Семеновѣ, но и ее нашелъ спящею. Все въ домѣ и около дома дремало, дремало, дремало; даже большой кохинхинскій пѣтухъ—и тотъ пересталъ интересоваться курами. Тогда и я, выбравши въ гостиной кресло помягче, протянулъ ноги и тоже моментально заснулъ.

А въ восемь часовъ, напившись чаю, уѣхалъ отъ Каширина и больше его не видалъ.

### Дворянская хандра.

Я пріѣхалъ въ деревню, чтобъ поселиться въ ней навсегда. Ёхалъ я совсѣмъ не затѣмъ, чтобъ просвѣщать, распространять здравыя понятія о платежѣ недоимокъ, устранять неурожаи и вообще способствовать улучшенію быта; не затѣмъ, чтобъ принять дѣятельное участіе въ распоряженіи земскими деньгами, и ужъ, конечно, не затѣмъ, чтобъ производить опыты по части сельскаго хозяйства. Просто чувствовалась потребность зѣживо имѣть гробъ—вотъ я и пріѣхалъ.



Эта потребность была очень сильная, почти страстная. Но что всего страннѣе — она загорѣлась во мнѣ совсѣмъ не потому, чтобъ я прикончилъ какіе-то счеты съ жизнью, чтобъ я сдѣлалъ какое-то свое дѣло, а именно потому, что я ровно ничего не начиналъ и никакихъ у меня счетовъ назади не было. Умственное пустодумство удивительно какъ утомляетъ. Оно всегда сопряжено съ беспорядочною сутолокой, которая загромаждаетъ жизнь разнообразнымъ цѣпкимъ хламомъ и самымъ предательскимъ образомъ вводитъ въ заблужденіе. Благодаря этой сутолокѣ, долго, очень долго думаетъ человѣкъ, что онъ вращается среди дѣйствительныхъ интересовъ, и даже представляетъ себя силою, дѣйствующимъ лицомъ. И вдругъ его словно освѣтить, перешибетъ пополамъ. И начнетъ ежемгновенно, неотступно, назойливо, и во снѣ, и на яву, представляться одно: гробъ! гробъ! гробъ!

Я ѣхалъ однакожъ не безъ опасеній. Я думалъ, что гробъ дается не разомъ и что съ пріѣздомъ моимъ начнется хотя и въ другомъ вкусѣ, но все-таки сутолока. Со стороны домочадцевъ возникнутъ требованія разъясненій, распоряженій и прочія сельскохозяйственныя приставанія; со стороны мужиковъ — явятся поползновенія по части такъ-называемаго сліянія, въ которыхъ сыграютъ свою роль и вопросъ о пьянствѣ, и вопросъ о грамотности, и вопросъ о ссудосберегательныхъ кассахъ. И въ заключеніе, какъ найдѣйствительнѣйшій символъ сліянія — ведро водки. Со всѣмъ этимъ, думалось мнѣ, придется вести борьбу, покуда наконецъ не воцарится настоящее безмолвіе, изъ котораго выдвинется настоящій гробъ. Но, къ моему благополучію, всѣ эти опасенія оказались преувеличенными.

Нынѣшняя деревня — не та, въ которой кипать ревизскія души, а та, которую представляетъ собой помѣщичья усадьба — истинный кладъ для гробоискателя. Въ нынѣшней деревнѣ вы не встрѣтите ни малѣйшей суеты, ни тѣни сельскохозяйственныхъ заботъ и волненій, а слѣдовательно — никакихъ вопросовъ и сомнѣній. Есть, разумѣется, уголки, въ которыхъ и донинѣ ютятся выжиги и „колотятся изъ послѣдняго“, но это исключенія. Общій характеръ — тишина и уныніе, которыя я назвалъ бы самоотверженіемъ, если бы при этомъ не приходило на мысль представленіе о выкупныхъ свидѣтельствахъ. Урокъ дня, то-есть то, что нужно для пропитанія, отопленія и проч., исполняется какъ-то самъ собой, въ опредѣленный часъ, безъ шума, безъ бѣготни. Прежде стонъ, бывало, стоялъ и надъ застоль-

ными, и надъ скотнымъ и птичнымъ дворами; нынче — благодать. Не только въ стѣнахъ помѣщичьяго дома, но и на дворѣ — ни звука, кромѣ такъ-называемыхъ голосовъ природы: завыванья вѣтра, шума деревьевъ, чириканья и карканья птицъ, лая собакъ и т. п. Изрѣдка доносится, правда, съ поселка (ежели онъ недалеко) хлопотливое галдѣніе ревизскихъ душъ, но и оно не нарушаетъ обязательной для всѣхъ (и живыхъ, и мертвыхъ) гармоніи голосовъ природы, а, напротивъ, только дополняетъ ее и сливается съ нею. Можно (особливо ежели требованія комфорта довести до минимума) провести цѣлый день не слыхавши звука человѣческаго голоса и самому не издавши такового. Ходить, думать, глядѣть въ окно и даже, по возможности, не читать. И лишь на самое короткое время зажигать огонь. Для человѣка одинокаго и притомъ перешибленнаго пополамъ — это своего рода купель силоамская, приводящая за собой исцѣленіе отъ всѣхъ недуговъ.

Усадьба у меня старинная. Господскій домъ — громадный, выстроенный изъ такого отличнаго лѣса, что и теперь все вполне исправно. Просторно, пронасть воздуха и тепло. Когда-то, на красномъ дворѣ, рядомъ съ домомъ, было нагромождено множество всякаго рода службъ, но нынѣ всѣ эти постройки снесены отчасти по ветхости, а преимущественно за ненадобностью. Лѣтомъ на этихъ „нарушенныхъ“ мѣстахъ растутъ непролазныя массы крапивы и репейника, зимою — изъ-за снѣжныхъ напосовъ виднѣются неправильныя кучи ломанаго кирпича и мелкаго мусора. Въ сосѣдствѣ съ ними, но нѣсколько подалѣ, словно монументъ, свидѣтельствующій о благополучномъ переходѣ отъ крѣпостныхъ порядковъ къ вольнонаемному труду, стоитъ небольшой, сложенный изъ тонкаго лѣса скотный дворъ, въ которомъ помѣщаются двѣ коровы, двѣ лошади, ломаный инструментъ и прочій приличествующій вольнонаемному труду сельско-хозяйственный инвентарь. Впереди дома — цвѣточный (когда-то) садъ, съ запущенными дорожками, покато спускающійся къ рѣчкѣ; сзади дома — паркъ, настоящій паркъ, съ старинными могучими деревьями, которыхъ шумъ даже человѣку, далеко не одержимому мизантропией, можетъ внушить мысль о гробѣ. Внизу, по теченію рѣчки — небольшая мельница, у зіяющей двери которой вѣчно торчитъ засыпка, не знающій куда дѣваться отъ праздности, такъ какъ, за общимъ оскудѣніемъ, помелецъ наѣзжаетъ рѣдко, да и то налегкѣ.

Понятно, что при такой внутренней обстановкѣ прїѣздъ мой не могъ вызвать никакой особенной суматохи! Я написалъ, что явлюсь тогда-то, и въ назначенное время все было готово къ моему приему. Печи истоплены, стѣны и потолки обметены, полы вымыты, мебель разставлена въ старинномъ порядкѣ, даже обѣдъ изготовленъ. „Распоряженій“ до такой степени не потребовалось, что когда я снялъ шубу (дѣло происходило въ половинѣ февраля), то мнѣ оставалось только сказать, что *покуда* мнѣ ничего не нужно. Домочадцы, встрѣтившіе меня, разошлись по своимъ угламъ; я слышалъ, какъ хлопнула сперва одна дверь, потомъ другая, третья, все глуше и глуше— и вдругъ я остался одинъ... И въ этой свѣтлой, большой и хорошо натопленной залѣ очутился лицомъ къ лицу съ гробомъ...

Точно такъ же не потребовалось никакой борьбы и по части „сліянія“. Еще на желѣзной дорогѣ одна сосѣдка по вагону, добродушная помѣщица, узнавши, что я намѣреваюсь возобновить порванную связь со старыми „прахами“, сочла долгомъ предупредить меня:

— Нынче, батюшка, отъ мужичка благодарности не спрашиваютъ. Равнодушные какіе-то они стали: ни помощи, ни привѣта. Все—на деньгахъ. Сколько слѣдуетъ ему по условію—получилъ и шабашъ. Спасибо—не ждите.

Такъ, въ самомъ дѣлѣ, и оказалось. При самомъ вѣздѣ моемъ къ крестьянскій поселокъ (давно ли я былъ тутъ „въ отца мѣсто“?), я сейчасъ же убѣдился, что мое появленіе ни въ комъ ничего не пробудило. Ни благодарныхъ воспоминаній, ни отрадныхъ надеждъ, ни даже изумленія. Мужики, пилившіе у своихъ избъ дрова (въ этой мѣстности преобладаетъ дровяной промыселъ), на мгновеніе приподняли головы, очевидно потому, что вниманіе ихъ было привлечено топотомъ мчавшихъ меня лошадей, и опять принялись за свое дѣло. Я опасался сниманія шапокъ, поклоновъ (иногда даже въ воображеніи моемъ мелькали радостныя улыбки)—ничего не бывало! Точно муха передъ ними пролетѣла. И мужики показались мнѣ какіе-то новые. Прегніе были восторженные, слезоточивые; нынѣшніе—равнодушные, зачерствѣлые. Прегній мужикъ всѣми внутренностями тянулъ къ барскому дому; нынѣшній—даже по надобности проходя мимо господской усадьбы, совершенно ее игнорируетъ, словно это не притягательное мѣсто, а только вѣхъ на пути. Бабы, качавшія на мірскомъ колодцѣ воду—и тѣ не оторопѣли при моемъ внезапномъ



появленіи, не оставили своего занятія, а только безучастно проводили глазами мои сани. И отлично. Всѣ предположенія насчетъ „сляпнїй“ и судо-сберегательныхъ кассъ устранились разомъ. Не будетъ поцѣлуевъ, но не будетъ и подкузменїй — ничего. Даже на традиціонное ведро водки повидимому расходовъ не потребуется. Прекрасно, прекрасно, прекрасно.

Но у меня вертѣлось въ головѣ еще одно опасеніе: я полагалъ, что возвращеніе въ домъ предковъ вызоветъ лично во мнѣ чувство умиленія. Воскреснутъ въ памяти забытыя дѣтскія игры, встанутъ передъ глазами, какъ живыя, любезныя сердцу лица. Очевидно, это должно населить гробъ хотя и призраками, но все-таки помѣшаетъ ему быть настоящимъ гробомъ. Однако и тутъ обошлось благополучно. Чтобъ покончить разомъ съ этимъ опасеніемъ, я тотчасъ же объѣжалъ весь домъ и останавливался въ каждой комнатѣ, стараясь припомнить. Вотъ маменькина комната и въ ней длинный столъ, за которымъ она обыкновенно раскладывала изъ мѣдныхъ тазиковъ по банкамъ варенье; этотъ столъ и теперь стоитъ на старомъ мѣстѣ и на поверхности его еще сохранились кружки, свидѣтельствующіе о пребывавшихъ тутъ нѣкогда банкахъ съ вареньемъ; и сама маменька, словно живая, сидитъ вонъ на томъ кожаномъ креслѣ и держитъ въ рукахъ серебряную ложку... Вотъ папенькинъ кабинетъ (теперь онъ мой) и въ немъ небольшой четырехугольный столъ съ разрисованною на верхней доскѣ пашечницею, передъ которымъ покойный, сидя въ обитомъ кожею вольтеровскомъ креслѣ, читывалъ „Московскія Вѣдомости“... Вотъ дѣвичья, въ которой лѣтомъ толпа горничныхъ, облѣпленныхъ массаами мухъ, съ утра до вечера чистила ягоды, горохъ, грибы и проч., а зимой, тоже съ утра до вечера, раздавалось жужжаніе веретенъ... Вотъ дѣтская, въ противоположность другимъ комнатамъ узенькая, низенькая, въ которой обитало великое множество клоповъ... Повторяю: я объѣжалъ все это и множество другихъ комнатъ (вотъ тутъ была спальня дѣдушки, когда онъ прїѣзжалъ въ деревню „въ гости“; вотъ тутъ рядомъ — спальня его „сударки“, передъ которой подличалъ и ходилъ на заднихъ лапкахъ весь домъ; вотъ тутъ жилъ когда-то дяденька „буянь“, котораго въ хорошія комнаты не пускали и который ѣдалъ изъ одной чашки съ собакой Трезоромъ; вотъ тутъ ютились тетеньки-сестрицы, къ которымъ я бѣгивалъ тайкомъ за мятными пряниками; вотъ тутъ поймали Генріету Карловну съ учите-

лемъ Васи́лемъ Ива́нычемъ и т. д.)—и, о чудо!—никакого умиленія не ощутилъ! Возвратился въ залъ, посмотрѣлъ въ окно—оттуда виднѣется рѣка, въ настоящее время скованная льдомъ, и спять-таки никакого умиленія! Кабинетъ, дѣтская, рѣка—все имена нарицательныя, которыя такъ и остались нарицательными. Отчего это? оттого ли, что самыя воспоминанія, сопряженныя съ этими нарицательными именами, не заключаютъ въ себѣ ничего умилительнаго, или оттого, что человѣкъ, перешибленный пополамъ, самъ по себѣ дѣлается недоступнымъ для чувствъ умиленія, такъ какъ между его дѣтствомъ и старчествомъ легла цѣлая пустота, которая поглотила все безъ остатка, кромѣ страстнаго желанія обрѣсти гробъ.

Какъ бы то ни было, но я понялъ, что гробъ найденъ и что отнынѣ начинается существованіе, въ которое не вторгнутся ни сельскохозяйственные доклады, ни „слиянія“, ни умиленія. Я наскоро пообѣдалъ, надѣлъ халатъ и немедленно почувствовалъ себя спокойно, безмольно, почти-что мертво!..

Впрочемъ мнѣ все-таки не удалось лечь въ гробъ сразу. По обыкновенію, сейчасъ послѣ пріѣзда, пришелъ отрекомендоваться сельскій батюшка. Но и онъ оказался какой-то сосредоточенный, однословный, угнетенный, угрюмый, точно только затѣмъ и пришелъ, чтобъ посмотрѣть, какъ я улягусь въ гробу, а онъ меня потомъ отпѣвать начнетъ.

— На жительство... совсѣмъ?—началъ онъ словно нехотя.

— Да, совсѣмъ.

— Великое это слово... „совсѣмъ“!

Я махнулъ головой въ знакъ согласія.

— Просторно вамъ здѣсь однимъ будетъ!..

— Да, комнатъ много.

— Хозяйствовать не станете?

— Нѣтъ.

— И не надо!-

Разговоръ на минуту прервался.

— Жизнь здѣсь...—началъ онъ опять.

— Я не для „жизни“.

— А коли не для „жизни“, такъ настоящее мѣсто — здѣсь! Да... именно, именно здѣсь!

Онъ какъ-то тоскливо взглянулъ на меня, покачалъ головой, потомъ посмотрѣлъ на буфетный шкапъ и продолжалъ:

— Вотъ ежели въ этомъ разѣ водка... спаси Богъ!

— Не потребляю. А вы?

— Спаси Богъ!

Опять молчаніе.

— Въ паркахъ—шумъ отъ вѣтровъ; опять же вороны гнѣзда вьютъ... Ставни по ночамъ стучать будутъ! Проржавѣли, поди, петли-то...

— Не знаю, не спрашивалъ.

— Оторопь возьметъ, оторопь! Главное—ставни на ночь плотно заперать!

— Прежде запирали; конечно, будутъ и теперь запираеть.

— Ну, съ Богомъ!

Онъ подаль мнѣ руку и исчезъ... „Чтожь! оторопь такъ оторопь—тѣмъ лучше“, подумалось мнѣ. Она будетъ напоминать мнѣ прошлое: вѣдь я всю жизнь, если сказать по правдѣ, ничего кромѣ оторопи и не испытывалъ...

Впослѣдствіи я узналъ, что здѣшній батюшка — отличнѣйшій человекъ. Водки не пьетъ дѣйствительно, устроилъ въ селѣ школу, въ которой безвозмездно учитъ крестьянскихъ дѣтей; съ мужичками живетъ въ ладахъ, читаетъ имъ по воскресеньямъ краткія поученія о томъ, како благоугодити Господеви, и за свадьбы беретъ побожески, не придираясь. Вообще обстановку имѣетъ скромную, почти бѣдную. А смотритъ онъ угнетенно, потому что жена у него—франтиха и сластѣна—ежеминутно его точитъ. То упрекнетъ, что онъ не по-людски одѣвается, „ходитъ словно мельница крыльями машетъ—то-ли дѣло у насъ въ городу уланы стоятъ!“, то ставитъ ему въ вину, что онъ кануны соблюдаетъ: „все у него либо преподобнаго Мартиніана, либо подъ Тимошея-мученика!“ А онъ ей въ отвѣтъ: „ты бы, дура, прежде смотрѣла!“

Меня на минуту заняла мысль: каково-то ему, человеку скромному и повидимому даже чѣмъ-то проникнутому, жить въ селѣ Лисья-Ямы, въ норѣ, на цѣпи, съ глазу-на-глазъ съ попадѣй-сластѣной и франтихой? И онъ на цѣпи, и она на цѣпи... Она скалитъ зубы и скачетъ, и онъ скалитъ зубы и скачетъ. И оба благодарятъ Прови-



дѣніе, что у каждаго цѣпь настолько коротка, что не пускаетъ ихъ загрызть другъ друга. Этимъ и процвѣтаетъ семейный союзъ.

Если кто думаетъ, что вслѣдъ за этимъ вступленіемъ появится на сцену дворовая дѣвица (плодъ секретной любви покойнаго папеньки) и затѣмъ произойдетъ интереснѣйшее кровосмѣшеніе, или что изъ-подъ куста выпорхнеть породистая помѣщичья дочка и подастъ поводъ къ цѣлому ряду пріятныхъ сценъ съ робкими поцѣлуями, трепетными пожатіями рукъ, трелями соловья и проч., — тотъ пусть не читаетъ дальше этихъ признаній.

Ничего этого не будетъ: во-первыхъ, потому, что ничего подобнаго не было въ дѣйствительности, а во-вторыхъ, и потому, что я поставилъ себѣ задачей писать о гробѣ, только о гробѣ.

Мысль объ этомъ приличнѣйшемъ, по настоящему времени, убѣжищѣ давно уже шевелилась во мнѣ и наконецъ вполне созрѣла по слѣдующему очень характерному случаю.

Не очень давно тому назадъ умершему православному человѣку нужно было отыскать приличное „послѣднее убѣжище“. Разумѣется, пошли переговоры съ кладбищенскими властями, и вотъ во время этихъ переговоровъ матушка-игуменья нѣкоего знаменитаго монастыря, на который указалъ знаменитый покойникъ еще при жизни, такимъ образомъ рекомендовала свой товаръ:

— У насъ на монастырскомъ кладбищѣ — очень хорошо. Тишина, порядокъ просторъ. И зимой-то придешь посмотрѣть — залюбуешься, а лѣтомъ, какъ распускаются деревья — точно въ раю! И не вышешь бы! Совѣтую.

И видя, что слова ея производятъ благопріятное впечатлѣніе, присовокупила:

— И еще тѣмъ у насъ хорошо, что для всѣхъ состояній такса уставлена — по-божески! — кому что требуется. И богатые люди, и средняго состоянія, и бѣдные — всѣхъ милости просимъ! И перваго класса мѣста, и втораго, и третьяго — все распредѣлено, смотря кому какъ. Поближе къ благодати — и плата выше; подалше отъ благодати — и плата понижается. За церемоніаль плата особенно, и тоже по состоянію. Есть большая служба, есть средняя служба, есть и малая. Большое освѣщеніе, среднее и малое. Также и насчетъ поми-

новеній. Нудить никого не нудимъ, а кто какъ любить, такъ для себя и выбираетъ. Совѣтую.

Вотъ тогда-то и блеснула у меня въ головѣ мысль: именно мнѣ это самое и нужно. Но такъ какъ всѣ эти неудобства я могъ получить хозяйственнымъ образомъ, то-есть у себя, въ своемъ собственномъ кладбищѣ, то ясно, что для меня былъ прямой расчетъ воспользоваться этимъ преимуществомъ. Тамъ, думалось мнѣ, я все найду: и мѣсто первѣйшаго класса (безвозмездно), и свой собственный готовый гробъ; а что касается до церемоніала, то навѣрное тамошняя самая большая служба будетъ стѣить вдвое дешевле, нежели здѣшняя самая малая.

Сверхъ того, мнѣ хотѣлось умереть безъ тревогъ, постепенно, и буде возможно, то естественною смертью. Я—человѣкъ предразсудочный и притомъ робкій; мнѣ все кажется, что если я буду продолжать „соваться“, какъ совался до сихъ поръ, то существованіе мое навѣрное пресѣчется самымъ неожиданнымъ и притомъ злокачественнымъ образомъ. Я знаю, что это страхъ ложный (на тѣхъ же похоронахъ знаменитаго человѣка одинъ изъ моихъ друзей, служащій въ департаментѣ возмездій и воздаяній, указывая на громадную толпу, окружавшую гробъ,—сказалъ мнѣ: „въ обществѣ говорятъ, будто бы мы не допускаемъ передовыхъ людей естественною смертью умирать—вотъ вамъ блестящее опроверженіе этой гнусной клеветы!“), но чтѣ же дѣлать, если онъ до того присущъ мнѣ, что я освободиться отъ него не могу? Тогда какъ ежели я заблаговременно переселюсь въ „свой собственный гробъ“—навѣрное всякій страхъ напрасной смерти пройдетъ самъ собою, за неимѣніемъ пищи. „Соваться“ мнѣ тамъ—незачѣмъ, да и департаментъ возмездій и воздаяній будетъ далеко... Никто и не увидитъ, какъ я изню, пронаду самымъ естественнымъ образомъ!

Съ любовью и не торопясь прилаживался я къ своему гробу и, признаюсь, не безъ удовольствія говорилъ себѣ: какъ это однако хорошо, что у меня свой собственный гробъ есть! Надоѣло „слоняться“, „соваться“ и вообще производить свойственныя досужему человѣку дѣйствія—взялъ, юркнулъ въ свой собственный гробъ и пропалъ въ немъ. А у другихъ, у „недосужихъ“, и этого нѣтъ. Вотъ онъ ѣдетъ зимникомъ по рѣкѣ, передъ самыми окнами моего дома, съ возомъ на мельницу—онъ и радъ бы юркнуть, да недосужно ему. И у него,

пожалуй, есть свой собственный гробъ, тамъ на селѣ; но это такой гробъ, въ которомъ не постепенно умирать, а ежесекундно и безъ отдыха жить надо. Во-первыхъ, истому, что онъ, обитатель этого гроба — ревизская душа, а во-вторыхъ потому, что жизнь сама по себѣ, помимо его воли, помимо разумѣнія, даже помимо инстинктовъ самосохраненія, впиалась да и не отпускаетъ его.

Какая это жизнь—это другой вопросъ. Я по крайней мѣрѣ увѣренъ, что въ эту самую минуту онъ глядитъ на мой гробъ и думаетъ: „вотъ гдѣ настоящая-то жизнь!“ И всегда онъ такъ думалъ: и тогда, когда я „совался“ и „пламенѣлъ“, и теперь, когда я, истомленный „сованіями“, исподволь прилаживаюсь къ гробу. Всегда онъ завидовалъ моей тоскѣ и моимъ изнываніямъ, называлъ ихъ жировыми и говорилъ: „хоть бы недѣльку такъ-то пожить!“

Я изнываю отъ тоски, отъ неудовлетворенной жажды поступковъ, наконецъ отъ стыда, а онъ думаетъ: „вотъ оно, хорошее-то житье!“ И думаетъ правильно, потому что его-то собственное житье ужъ таково, что даже суздальскимъ богوماзамъ, этимъ присяжнымъ изобразителямъ адскихъ мученій—и тѣмъ не найти красокъ, чтобы достойнымъ образомъ воспроизвести это житье!

Собственно говоря, только это вѣчно-присущее сравненіе между его гробомъ и моимъ и напоминаетъ ему обо мнѣ. Во всемъ остальномъ—ему до меня дѣла нѣтъ. Ни совѣтовъ ему моихъ не нужно, ни сочувствія. Въ томъ дѣлѣ, которое сопровождаетъ его жизненную агонію, я никакихъ поученій дать ему не могу, да и онъ самъ эти поученія встрѣтитъ съ нетерпѣніемъ, скажетъ: „уйди! не мѣшай!“ Что же касается до сочувствія, то и тутъ послѣдуетъ тотъ же отвѣтъ: „уйди! не мѣшай!“ Онъ не приметъ его за иронію только потому, что вообще ничего непрямого, иносказательнаго не разумѣетъ, а просто-на-просто подумаетъ, что мое сочувствіе есть обыкновенное интеллигентное „сованіе“, только на этотъ разъ ужъ совсѣмъ неумѣстно примѣненное. „И безъ тебя тошно—а ты лѣзешь!“

Да, лучше ужъ не „соваться“, а сидѣть смиренно въ своемъ собственномъ гробу и потихоньку умирать. Слава Богу! папенька съ маменькой, накапливая тальки да овчины, да прижимая къ рублю копѣйку, наколотили такъ достаточно, что даже всесокрушающая рука времени не успѣла уничтожить всего. Угли дома не отгнили, потолки не повалились, полы не перекошились—чего еще нужно! А главное,



никто не мѣшаетъ, никто даже не подозрѣваетъ, что въ этомъ гробу кто-то копошится. Много такихъ гробовъ разбросано по окрестности, и о большинствѣ даже неизвѣстно, чьи они и шевелится ли въ нихъ кто-нибудь. И стоятъ они, постепенно чернѣя и осѣдая, подъ вліяніемъ времени и непогодъ. Пройдетъ еще одно поколѣніе — даже гробовъ не будетъ, а просто-на-просто будутъ торчать почернѣвшіе, безглазые черепа.

При моемъ душевномъ настроеніи это было чрезвычайно удбно. Мнѣ именно нужно было исчезнуть такъ, чтобъ никто не отыскалъ. Я машинально повторялъ про себя старинное мудрое реченіе: „мертвые срама не имутъ“ — и мысль, что напилось наконецъ убѣжище, въ которомъ никто не достигнетъ меня, приводила меня въ восхищеніе.

Замѣчательная особенность: вотъ онъ, тотъ самый, который идетъ за возомъ на мельницу, онъ не только не понимаетъ моего недуга, но даже меня, человѣка изнемогающаго, считаетъ за привередника. Можетъ быть, ему некогда разбирать, сколько постыднаго сорнаго налета наслѣло на жизнь, но можетъ быть и то, что его обычный *modus vivendi* ужъ таковъ, что самая способность что-нибудь различать притупилась. Ежели у человѣка съ младенческихъ пеленокъ единственный способъ передвиженія состоитъ въ томъ, что его перетаскиваютъ съ мѣста на мѣсто за волосы, то, конечно, онъ будетъ ощущать при этомъ физическую боль, но все-таки врядъ-ли пойметъ, что этотъ способъ передвиженія ненормальный. Ненормальный — для кого? Вотъ для нихъ, для тѣхъ, которые худо ли хорошо ли, а ползутъ-таки на собственныхъ ногахъ — можетъ быть! Но для него — онъ нормальный, потому что иначе какъ же могло бы случиться, чтобъ тасканіе за волосы совершалось среди бѣла дня, у всѣхъ на виду, и ни у кого бы не перевернулось сердце при этомъ зрѣлищѣ!

Такъ-то и тутъ: не понимаетъ онъ да и только. Но быть свидѣтелемъ этого непониманія, видѣть, какъ оно расползлось по всѣмъ жизненнымъ тропинкамъ и заполонило вселенную — ужасно! Въ сущности, это собственно только и ужасно. Съ моимъ личнымъ, частнымъ недугомъ я, пожалуй, довольно легко бы совладалъ, а вотъ этотъ общій и частью даже чужой недугъ — онъ-то именно и составляетъ ту непосильную гирю, которая заставляетъ человѣка осѣдать все глубже и глубже, покуда онъ не очутится лицомъ къ лицу передъ отверстымъ гробомъ.

Почему чужой недугъ претворяется въ свой собственный и даже пуще гнететь—это отчасти объясняется бѣдшимъ или мѣньшимъ досужествомъ. Досужество даетъ человѣку возможность развертывать перспективы, отыскивать связующіе элементы. А какъ только начинается чувствоваться связь между собою и „остальнымъ“, такъ тотчасъ же дѣлается невыносимо больно. Горы чего-то неслыханнаго, какой-то безразсвѣтной мглы начинаютъ надвигаться со всѣхъ сторонъ и давятъ, и давятъ безъ конца. Чтобъ вынести эти горы на своихъ плечахъ, надо быть или очень сильнымъ, или — очень нахальнымъ. Робкимъ и слабымъ — не остается ничего больше, какъ исчезнуть.

Я устроился сразу и отлично: надѣлъ халатъ и замолчалъ. Комната — цѣлая анфилада; можно ходить взадъ и впередъ до усталости. Ходишь и молчишь; даже въ головѣ настоящихъ мыслей нѣтъ, а мелькаетъ что-то неопредѣленное. Отрывки старыхъ вождельній, звуки... Прислуга является ко мнѣ рѣдко, въ опредѣленные часы, чтобъ сказать, что подано кушать или принести стаканъ чаю. Были попытки завести разговоръ о томъ, что сегодня съ утра мжица мжить, или о томъ, что нынѣшнюю зиму волковъ до ужаси много, въ деревнѣ днемъ по улицѣ бѣгаютъ; но такъ какъ съ моей стороны поощреній не послѣдовало, то и эти неважные разговоры улеглись сами собою. Когда-то я интересовался вопросомъ объ одиночномъ заключеніи и даже съ жаромъ доказывалъ, что это — самый благородный способъ отмщенія нарушенной правды, потому, дескать, что онъ даетъ нарушителю возможность примириться съ самимъ собою. Вотъ какой я былъ... филантропъ! Какъ бы то ни было, но эта старинная предилекція, должно быть, и сказалась теперь. Я нашелъ для себя именно одиночное заключеніе — разумѣется, смягченное анфиладою комнатъ и возможностью во всякое время нарушить обрядъ молчанія.

Только принесетъ ли оно съ собою примиреніе? разсвѣтъ ли мглу, которая такъ и виситъ надо мною, несмотря на внѣшній свѣтъ и просторъ? — вотъ въ чемъ вопросъ.

Покажѣсть однако я чувствую себя очень хорошо. По крайней мѣрѣ та страшная мысль, что я ничего не могу, ничего не знаю, что я — пятое колесо въ колесницѣ, которая разбила мою жизнь, уже не терзаетъ меня такъ неотступно, какъ прежде. Имѣя впереди только гробъ, мнѣ не нужно ни мочь, ни знать, а тѣмъ больше претендо-

вать на званіе нелишняго колеса: я и колесницы-то никакой не вижу. Какъ хотите, а это выигрышь. Мнѣ нужно одно: чтобъ молчаніе, объемлющее меня, не нарушалось ни единымъ призывомъ къ жизни. Мнѣ такъ довольно всякихъ „не могу“, „не знаю“, и понятіе о нихъ до того отождествляется въ моихъ глазахъ съ понятіемъ о жизни, что всякое напоминаніе о послѣдней представляется напоминаніемъ о первыхъ.

Но одиночество и само по себѣ имѣетъ втягивающую силу. Оно нашептываетъ думы, не имѣющія ничего общаго съ думами живыхъ людей. Что-то совершенно особенное; не скажу, чтобъ фантастическое или безсвязное, но никогда не кончающееся и притомъ доступное для безконечныхъ видоизмѣненій. Думы плывутъ безостановочно, сами собой, не беря старыхъ ранъ и не смущая тревогами будущаго. Для человѣка, перешибленнаго пополамъ и имѣющаго за плечами цѣлое бремя всевозможныхъ „сованій“, одно воспоминаніе о которыхъ заставляетъ краснѣть—это до того хорошо, что всякій перерывъ, всякое внѣшнее вторженіе кажется несноснымъ, тяжелымъ. Думается, что еслибы среди этого одиночества вдругъ появился свѣжій человѣкъ съ цѣлымъ запасомъ вѣстей изъ міра живыхъ—это не только не заинтересовало бы, но скорѣе даже огорчило бы меня. Я слушалъ бы только машинально, изъ приличія, но внутри у меня кипѣла бы все та же неясная работа безконечно тянущихся представлений, звучала бы все та же струна. Это бываетъ съ людьми, которые серьезно освоились съ одиночествомъ, да еще съ людьми, которыхъ поразила сильная мысль, что-то въ родѣ откровенія. Вся обыденная жизнь проходитъ мимо этихъ людей, какъ бы не прикасаясь къ нимъ. Есть одна свѣтящаяся точка, въ которую неизмѣнно вперенъ ихъ взоръ, и этой одной точки совершенно достаточно, чтобъ наполнить ихъ существо до краевъ.

Однимъ словомъ, одиночество должно оказать мнѣ великую услугу: оно спасетъ меня отъ жизни. Умирать хотя и заживо, но въ-время—не только необходимо, но и полезно, поучительно: я на этомъ стою. Я знаю, что вообще достойнѣе и сообразнѣе съ человѣческимъ назначеніемъ говорить: „благо живущимъ!“ Но знаю также, что бываютъ такія изумительныя обстановки, въ которыхъ и умѣстнѣе, и приличнѣе говорить: „благо умирающимъ и еще бѣднѣе благо—умершимъ!“



Ничего не знать, ничего не мочь, быть пятымъ колесомъ въ колесницѣ, при всякомъ удобномъ случаѣ слышать: „не твоего ума дѣло!“ — развѣ подобными признаками можно характеризовать какое бы то ни было общественное положеніе?

Я охотно допускаю, что „смертный“ по природѣ самолюбивъ и склоненъ къ самоиѣннѣю, но вѣдь отпоръ этому самоиѣннѣю даетъ сама жизнь или, лучше сказать, свободный процессъ ея. Этотъ процессъ, самъ по себѣ, cadaго ставитъ на свое мѣсто, для cadaго очерчиваетъ извѣстное пространство, за предѣлы котораго переходить не полагается. Для чего же понадобилось, независимо отъ неминусовой жизненной оцѣнки, заранѣе встрѣчать человѣка словами: твой умъ безсиленъ, дряблъ, неумѣстенъ?

И какимъ изумительнымъ логическимъ путемъ можно было дойти до построения такой отчаянной теоріи, которая убиваетъ жизнь въ самомъ зародышѣ и, слѣдовательно, даже тѣхъ жалкихъ практическихъ результатовъ, которыхъ отъ нея ожидаютъ, въ сущности, дать не можетъ?

Право, это совсѣмъ не такой праздный вопросъ, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда, и есть не мало людей, которыхъ самая постановка его терзаетъ безмѣрно. Разушѣтся, и его можно разрѣшить сразу, безъ дальнѣйшихъ оговорокъ, юркнувши въ гробъ; но, во-первыхъ, какъ я уже сказалъ выше, не у всякаго есть въ распоряженіи *удобный* гробъ, а во-вторыхъ, говоря по совѣсти, развѣ гробъ — разрѣшеніе?

Говорятъ, что покуда имѣется на-лицо, съ одной стороны, цѣлая масса людей, у которыхъ нѣтъ времени обратиться съ какимъ бы то ни было запросомъ къ самимъ себѣ, а съ другой — достаточное количество индивидуумовъ, которые преднамѣренно чуждаются мерцаній совѣсти и не чувствуютъ отъ этого ни малѣйшаго ущерба — до тѣхъ поръ не представляется даже повода принимать въ соображеніе, что существуютъ какія-то бродячія единицы, разбросанныя по лицу земли, безъ опоры, безъ связи и умирающія отъ боли, каждая въ своемъ углу. Этого мало: на общественномъ рынкѣ пользуется неограниченнымъ кредитомъ цѣлая философская система, которая прямо утверждаетъ, что все существующее уже по тому одному разумно и законно, что оно существуетъ...

Я знаю, что эта философія никакихъ практическихъ разрѣшеній

не даетъ и что, вдобавокъ, ее всего приличнѣ назвать заплечною; но попробуйте-ка протестовать противъ нея! Попробуйте сломить это желѣзное кольцо, которое отъ начала вѣковъ сдавило человѣка и заставляетъ его фаталистически вертѣться въ пустотѣ! Увы! старинная мудрость завѣщала такое множество афоризмовъ, что изъ нихъ, камень по камню, сложилась цѣлая несокрушимая стѣна. Каждый изъ этихъ афоризмовъ утверждался на костяхъ человѣческихъ, запечатлѣнъ кровью, имѣетъ за собой цѣлую легенду подвижничества, протестовъ, воплей, смертей. Каждый изъ нихъ поражаетъ крайнею несообразностью, прикрытой ради приличія какой-то пошлою мѣткостью, но взгляните въ эту пошлость поглубже, и вы навѣрное увидите на днѣ ея цѣлый мартирологъ.

Эти легенды воплей, этотъ мартирологъ—развѣ они не представляютъ достаточнаго фундамента, на которомъ какой угодно бессодержательный афоризмъ можетъ безспорно утвердить свое право на существованіе?

Вотъ отчего заплечная философія процвѣтаетъ; у нея имѣются сзади цѣлыя массы жертвъ. Но кромѣ того, ужасная сама по себѣ, она дѣлается еще болѣе ужасною вслѣдствіе того, что прежде всего вторгается въ домашній, будничныи обиходъ человѣка, становится на стражѣ его удобствъ и привычекъ, и только тогда, когда уже видитъ силу сопротивленія окончательно сломленной, погубляетъ и душу. Отъ этого встрѣчается много людей, даже не чуждыхъ умственной гастрономіи, которые не только мечутся отъ тоски при произнесеніи заплечныхъ афоризмовъ, но и не чувствуютъ ни малѣйшей неловкости. Жизненный процессъ у этихъ людей раскалывается на двѣ половины: въ одной—матеріальная гастрономія, въ другой—гастрономія умственная, и ежели нѣкоторое время обѣ эти гастрономіи живутъ какъ бы отдѣльною жизнью, то обыкновенно дѣло все-таки оканчивается тѣмъ, что онѣ до того перепутываются, что утрачивается всякое мѣрило для опредѣленія, гдѣ кончается одна и гдѣ начинается другая.

Я долго, слишкомъ долго руководился этой заплечной философіей, прежде чѣмъ мнѣ пришло на умъ, что она заплечная. Будучи тридцатилѣтнимъ балбесомъ, я, какъ ни въ чемъ не бывало, выслушивалъ афоризмы въ родѣ: „выше лба уши не растутъ“, „по Сенькѣ шапка“, „знай сверчокъ свой шестокъ“—и не только не находилъ

тутъ никакого мартиролога, но даже восхищался ихъ мѣткостью. Да и время тогда было совсѣмъ особенное. То было время, когда люди безмысленно глядѣли другъ другу въ глаза и не ощущали при этомъ ни малѣйшаго стыда; когда самая потребность мышленія представлялась презрительною, ненавистною, опасною: по-неволѣ приходилось прибѣгать къ афоризмамъ, которые хоть по наружности представляли что-то похожее на продуктъ мышленія.

Наконецъ циклъ заплечной философіи истощился, поставивъ самихъ приверженцевъ своихъ лицомъ къ лицу съ глухой стѣной. Почувствовалась потребность въ иныхъ девизахъ, не столь мѣткихъ, но за то болѣе снисходительныхъ. Эти девизы явились, и мы всё, непрерывъ другъ передъ другомъ, бросились на встрѣчу имъ. То было время всеобщихъ „сованій“. Насталъ моментъ, когда всѣхъ освѣтило солнце откровенія, когда представлялось, что чаша горечи переполнилась до краевъ и что заплечный мастеръ задохнулся въ ней. Я заметался вмѣстѣ съ другими, но не отъ боли, а отъ тысячи неопредѣленныхъ порывовъ, которые вдругъ родились въ моей груди и потянули меня на просторъ. Все мое существо, казалось, очистилось, просвѣтлѣло; новая кровь катилась по жиламъ, и ради этой новой крови, ради ея сладкихъ волненій, я готовъ былъ забыть даже недавнее заплечное прошлое. „Зоветь!“ — раздавалось со всѣхъ сторонъ, и хотя чудо признанія заставляло себя ждать, но признаки, позволявшіе угадывать сердцемъ его близость, чуялись всюду...

Я вышелъ на призывъ очень бойко. Написавши на знамени: „ничто человѣческое мнѣ не чуждо“, я искренно увѣровалъ, что воистину вступилъ въ область этого „человѣческаго“. Я жаждалъ жить, и въ особенности жаждалъ „участвовать“. Но, несмотря на эту страстную жажду, нельзя сказать, чтобъ я былъ черезъ-чуръ требователенъ и нетерпѣливъ. Напротивъ, практика заплечной философіи уже настолько вѣлася въ меня, что я не только инстинктивно чувствовалъ, но даже понималъ, что „вдругъ“ — невозможно.

„Не вдругъ!“ — повторялъ я на всѣ лады, и повторялъ совершенно съ тѣмъ же энтузіазмомъ, съ какимъ выкрикивалъ и другой свой девизъ: „да здравствуетъ обновленіе!“ Представлялось, что слова: „не вдругъ“ — ничего не останавливаютъ, а только спасаютъ. И въ то же время хотѣлось уберечь дѣло обновленія отъ вліяній дурного глаза, выхолить его на славу. Я зналъ, что у него множество нена-



вистниковъ, и вознамѣрился побѣдить ихъ терпѣніемъ и даже по-вадливостью. Пусть знаютъ, пусть видятъ, твердилъ я, что мы ничьихъ интересовъ не затрогиваемъ и желаемъ лишь одного, чтобъ никто не потерялъ и чтобъ всё выиграло! Мнѣ не приходило на мысль, что, твердя слишкомъ часто одно и то же „не вдругъ“, я наконецъ могу при немъ одномъ и остаться. Нѣтъ, я этого не боялся, потому что былъ слишкомъ увѣренъ въ живучести своего порыва. Я вообще въ то время ничего не боялся: ни самоотверженно лѣзть впередъ, ни предусмотрительно кричать: „не вдругъ!“

Къ чему я тогда ни примазывался! въ какомъ „хорошемъ“ дѣлѣ ни предлагалъ своихъ услугъ! Всѣ тогдашніе вопросы были моими личными кровными вопросами. Я пламенѣлъ не только общею идеею гласности и устности (это была тогдашняя всеобщая панацея), но и всѣми ея деталями, и вездѣ предъявлялъ искренность, расторопность, готовность, радость. Утромъ я просыпался съ словами: „сегодня намъ предстоитъ быть участниками новой радости, которая должна ознаменовать и упрочить наше молодое обновленіе“; ночью — мой первый сонъ начинался словами: „радость, которая еще сегодня утромъ составляла только предметъ гаданій нашихъ, свершилась“... Мои восторги были не только искренни, но и до того разнообразны, что я положительно не успѣвалъ съ ними во всѣ мѣста, куда они меня влекли, хотя быстрота моихъ мельканій по лагерю радостей и надеждъ была по истинѣ изумительна. И за всѣ эти мельканія я ничего не требовалъ, кромѣ счастья быть свидѣтелемъ общаго обновленія и скромно сознавать, что я тутъ былъ, медъ-пиво пилъ...

Я торжествовалъ и — что всего хуже — принималъ мое торжество за нѣчто серьезное. Дѣйствительно, на первыхъ порахъ мои „сованія“ не только не встрѣтили отпора, но катились впередъ, отъ станціи до станціи, словно по покатоги. Въ лагерѣ радостей и надеждъ меня ожидали только объятія и сочувственныя улыбки. Я уже не говорю о второстепенныхъ дѣятеляхъ обновленія — эти положительно не могли нагордиться другъ другомъ, какъ половые Палкинскаго трактира: въ ту минуту, когда хозяинъ пригласилъ француза-повара, — но даже въ средѣ самихъ „строителей“ все говорило о ласкѣ, о поощреніи, о благосклонномъ снисхожденіи. Правда, что въ этомъ снисхожденіи чувствовался оттѣнокъ чего-то похожего на изумленіе, но именно этотъ-то оттѣнокъ мы впопыхахъ и просмотрѣли. Если бы

мы спохватились во-время, то убѣдились бы, что тутъ скрывается нѣчто во всякомъ случаѣ загадочное. Что собственно послужило поводомъ для этого изумленія: размѣры ли нашего слабоумія, разывравшагося до рѣзвости, или гадливое опасеніе, что вотъ и это рѣзвещающееся слабоуміе, чего добраго, предъявитъ какія-то требованія?

Наконецъ однако мы надоѣли. Года два сряду мы любовались другъ другомъ, на третій — любоваться было уже нечѣмъ. Мы весь свой багажъ разбросали разомъ и ничего не сумѣли подобрать, такъ что очутились совсѣмъ съ пустыми руками. Все измѣнилось кругомъ насъ: спросъ на наши услуги вдругъ понизился до минимума, снисходительныя улыбки превратились въ откровенно-кислосладкія; одни мы не измѣнились и продолжали выказывать назойливѣйшую готовность идти въ огонь и въ воду. Тогда, чтобъ отдѣлаться отъ насъ, потребовалось употребить насильство...

Что было потомъ — лучше не вспоминать. Скажу одно: человѣку, который гордо шелъ въ храмъ славы и вмѣсто того попалъ въ хлѣвъ — и тому едва-ли пришлось испытать столько горечи. Ошибки маршрута, особливо въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ и храмъ славы, и хлѣвъ стоять рядомъ, не представляютъ еще особенно мучительной неожиданности; но замѣна вчерашняго лихорадочнаго „сованія“ сегодняшнимъ оцѣпенѣніемъ, это — болѣе, нежели неожиданность: это цѣлый переворотъ. Нить жизни порвана, привычки нарушены, всѣ планы, всѣ стремленія, все, чѣмъ жилъ человѣкъ — все разомъ упразднено. Сколько жгучаго презрѣнія долженъ чувствовать человѣкъ къ самому себѣ въ минуту совершенія этого переворота! Вѣдь онъ все тотъ же: дѣятельный, преданный, одушевленный — и вдругъ... За чтѣ?

За чтѣ! поймите, какая масса безпомощности, самоуничиженія, напрасныхъ укоровъ, безсильнаго ропота слышится въ одномъ этомъ вопросѣ!

Съ перваго раза нельзя даже понять, что такое случилось. „Выше лба уши не растутъ!“ „Знай сверчокъ свой шестокъ“... Опять! опять эта постылая, ненавистная „мудрость въковъ“! Въ бывалое время она входила въ одно ухо и выходила въ другое; теперь — она хлещетъ по щекамъ! Все лицо горитъ, весь организмъ трясется. „Пятое колесо въ колесницѣ“ — кто первый выдумалъ это чудовищное сравненіе? „Ничего не знаю“, „ничего не могу“ — кто возвелъ эти ужас-

ныя слова въ доктрину? Куда бѣжать, куда провалиться отъ этихъ заплечныхъ афоризмовъ? Объ „сованіяхъ“, конечно, нечего и думать; но куда бѣжать?

И вотъ на встрѣчу выдвигается... гробъ!

Отлично, отлично, отлично!

Теперь самое существенное, это — довести мысль до той степени неопредѣленности, при которой она совпадаетъ съ жужжаніемъ. И затѣмъ — позабыть. Погрузиться со всѣмъ прошлымъ и настоящимъ на самое дно, такъ чтобъ выкарабкаться оттуда было нельзя, если бы даже и пришла въ голову блажь опять лѣзть на встрѣчу стариннымъ сованіямъ.

Какъ я уже сказалъ выше, внѣшняя обстановка съ самаго начала удивительно какъ благопріятствовала этому погруженію. Но чѣмъ дальше, тѣмъ лучше. Нѣтъ ни происшествій, ни даже простого благорастворенія воздухонъ — ничего такого, что вызвало бы попытку выйти изъ гроба. На дворѣ замѣчаются, правда, признаки весны, но не той свѣтзарной, зажигающей весны, о которой повѣствуется въ книжкахъ, а какой-то мокрой, сонливой, кислой. Тяжелыя сѣрыя тучи повисли надъ домомъ, поселкомъ и паркомъ и съ утра и до ночи сѣютъ на землю мокрый снѣгъ. Съ 1-го марта подулъ съ юго-запада вѣтеръ, но настоящего тепла не принесъ, а только сырость да слякоть; иней, одѣвавшій паркъ узорчатою одеждою, сползъ, и деревья стоятъ голыя и беспорядочно хлещутъ по воздуху отяжелѣвшими вѣтвями; дорога исковеркалась и побурѣла; рѣка покрылась полыньями; въ саду снѣгъ источило словно червоточиной и по мѣстамъ обнаружилась взбухшая земля; люди ходятъ мокрые, иззябшіе, хмурые; деревья совсѣмъ почернѣла. Говорится въ сказкахъ о жаворонкахъ, о волшебныхъ метаморфозахъ воскресенія природы, но ни жаворонковъ, ни воскресенія нѣтъ, а есть унылая картина неопрытнаго превращенія твердаго черепа зимы въ непролазныя хляби весны. Только вордны суетливѣе прежняго хлопочутъ вокругъ гнѣздъ и неистовымъ крикомъ какъ бы возвѣщаютъ, что одна тоска, зимняя, кончилась, и началась другая тоска, весенняя.

Что же касается до происшествій, то я заранѣе рѣшился устраняться отъ нихъ и потому даже наблюденій никакихъ не дѣлаю.



Иногда впрочемъ я подхожу къ окошку, гляжу на поселокъ, но особеннаго любопытства не ощущаю. Тамъ во множествѣ кипать черныя точки, погруженныя въ вѣчную страду. Кипать — и только. Борются — и не сознають борьбы; устраивають, ухищивають — и не могутъ дать себѣ отчета: чтѣ и зачѣмъ? И не хотятъ знать ни высшихъ соображеній, ни высшихъ интересовъ, кромѣ впрочемъ одного, самаго высшаго: интереса фды. Конечно, я понимаю, что въ этомъ-то интересѣ и сила вся, но странная вещь! — какъ только я наталкиваюсь на него (а не натолкнуться — нельзя), такъ тотчасъ же чувствую непреодолимое желаніе обойти, замать. Разумѣется, впрочемъ, такъ обойти, чтобъ никто этого не замѣтилъ...

Вообще я долженъ сознаться, что меня всегда гораздо сильнѣе трогаль вопросъ о недостаткѣ такъ-называемыхъ „свободъ“, нежели вопросъ о недостаткѣ фды. Фда — вещь неизмѣнная (трудно даже вообразить: какъ это нѣтъ фды!), а я воспитанъ въ традиціяхъ красивыхъ линій и интересовъ исключительно спекулятивнаго свойства. Конечно, я не чуждъ и представленія о безкормицѣ, но не „такой“. вмѣстѣ съ Генрихомъ IV я охотно желаю всѣмъ и каждому курицу въ супѣ, но именно курицу, а не ржаной хлѣбъ, хотя бы и безъ примѣси лебеды. Сверхъ того, я могу довольно легко представить себѣ и трагическую сторону безкормицы, но именно трагическую, красивую: вопли, стоны, проклятія, голодную смерть, а не обрядовое голоданіе, сопровождаемое почтительно сдерживаемымъ урчаніемъ въ животъ и плаксивую суетою, направленною въ одну точку: во чтѣ бы то ни стало оборониться отъ смерти.

Тѣмъ не менѣе, иногда мнѣ сдается, что — будь у меня, вмѣсто множества высшихъ интересовъ, только одинъ, самый высшій — навѣрное меня не грызла бы такая бѣшенная тоска. Очень возможно, что она замѣнилась бы болью еще болѣе жестокой, но у этой боли существовала бы реальная подделка, на которую я могъ бы сослаться съ увѣренностью быть понятымъ. А теперь, съ своими „свободами“, куда я пойду? Съ какими глазами покажусь я вотъ хоть на этой почернѣвшей отъ мужицкаго тука улицѣ, на которой день-деньской все кипать, все кипать?

Поэтому-то я и не выхожу изъ гроба, и не наблюдаю ни надъ чѣмъ. Нѣтъ у меня нужной для этого подготовки. Однакожь это не мѣшаетъ мнѣ утверждать по совѣсти, что хотя мои „высшіе инте-

ресы“ — и не „самые вышіе“, но все-таки они — не прихоть, не фанаберія, а дѣйствительная и стѣняющая боль сердца. И эта боль тѣмъ несноснѣе щемитъ меня, что я обязываюсь глотать свою отраву безмолвно и въ одиночку.

Однажды впрочѣмъ я соблазнился и чуть-было совѣмъ не выпрыгнулъ изъ гроба. Вотъ по какому случаю. Пришелъ сельскій батюшка, весь встревоженный, и сообщилъ мнѣ, что на селѣ случилось происшествіе.

— Появился мужичокъ одинъ, изъ фабричныхъ, — разсказывалъ онъ: — нашъ онъ, коренной здѣшній, да не по здѣшнему рѣчь ведетъ. Говорить: рука Божія якобы не надъ всеми равно благостно и равно попечительно простирается, но иныхъ угобжаетъ прензбыточно, а другихъ и отъ малаго немилостивнѣ отстраняетъ...

— Воля ваша, батюшка, а тутъ что-то не такъ! — усомнился я.

— Ну, да, конечно, онъ по своему, по-мужицкому, объясняетъ, а редакцію-то эту ужъ я...

— Понимаю. Чтò жъ дальше?

— То то вотъ: какъ въ этомъ разѣ поступить?

— То-есть, какъ же такъ поступить?

— Дать ли дѣлу ходъ, или такъ оставить?

— Батюшка! помилосердуйте!

— Признаться, я и самъ... Только вотъ мужички обижаются... Кабатчикъ, значить... въ личную себѣ обиду принялъ — ну, и прочихъ взбунтовалъ!

Я заинтересовался и пошелъ на село. Передъ волостнымъ правленіемъ волновалась небольшая кучка народа, изъ которой неслись смутные крики. Но не успѣлъ я дойти до мѣста судбища, какъ приговоръ уже былъ объявленъ и приводился въ исполненіе: виноватаго „стегали“. Здоровенный мужичина самъ снялъ съ себя портки, самъ легъ и самъ кричалъ: „честной міръ! господа честные! простите! не буду!“ А впослѣдствіи я, сверхъ того, узналъ, что только благодаря предстательству батюшки дѣло кончилось такъ легко, и что не будь этого предстательства — кабатчикъ непременно бы настоялъ, чтобъ возмутителя его спокойствія отослали въ станъ.

Я возвратился домой и, признаюсь, нѣкоторое время чувствовалъ себя изрядно взбунтованнымъ. Помилуйте! Я ужъ совѣмъ было началъ „погружаться“, а вмѣстѣ съ тѣмъ и самое представленіе о роз-

гахъ уже стало помаленьку заплывать, и вдругъ... Да, братъ, „выше лба уши не растутъ!“ — машинально повторилъ я, и чуть-чуть не задохся вслѣдъ затѣмъ — до такой степени весь воздухъ, которымъ я дышалъ, казалось мнѣ, провонялъ, протухъ...

Объ чемъ собственно шла рѣчь? — объ фдѣ. Кажется, предметъ общепонятный и общедоступный, а между тѣмъ честной міръ рѣшеніемъ своимъ засвидѣтельствовалъ, что и дѣла ему до него нѣтъ, что онъ не желаетъ даже, чтобъ его беспокоили подобными разговорами. Что означаетъ этотъ фактъ? То ли, что міръ хотѣлъ „уважить“ кабатчика? или то, что въ его представленіи вопросъ объ фдѣ сформулировался такъ: ѣшь, чтò у тебя подъ носомъ?

Какъ бы то ни было, но отъ мысли, что заправскій узелъ все-таки тамъ, на посѣлкѣ, никакъ не уйдешь. Какъ ни взмывай крыльями вверхъ, ни стучи лбомъ объ землю, какъ ни кружись въ пространствѣ, а посѣлка все-таки не миновать. Тамъ настоящей цупъ земли, тамъ — разгадка всѣхъ жизненныхъ задачъ, тамъ — ключъ къ разумнѣю не только прошедшаго и настоящаго, но и будущаго. И нужно пройти туда... но какъ же туда пройти, коль скоро тамъ только одно слово и произносится внятно: „стегать“?!

Во всякомъ случаѣ, кто не можетъ выѣхать посѣлка, тотъ лучше пусть и не прикасается къ нему. Потому что иначе къ прежнимъ высшимъ мотивамъ тоски пришлось бы прибавить еще новый, самый высшій...

Такъ я и поступаю, то-есть стараюсь поступать. Я не хочу тоски, а хочу жить въ гробу безъ прошлаго, безъ будущаго, даже безъ настоящаго. Да, и безъ настоящаго, хотя это и кажется на первый взглядъ нелѣпнымъ. Я убѣжденъ, что можно до такой степени убить въ себѣ чувство жизни, что самая реальная, осязательная дѣйствительность — и та не то что *покажется*, а во истину сдѣлается призрачною, неуловимою. Стѣны будутъ двигаться, полъ начнетъ колебаться подъ ногами. Галлюцинація получится полная, но въдъ только она и можетъ привести за собою настоящее, заправское забвеніе.

Чтобъ достигнуть этого результата, необходимо прежде всего отбучиться отъ настоящихъ человѣческихъ мыслей и замѣнить ихъ другими, полу-человѣческими. Во-первыхъ, это засвидѣтельствуетъ о несомнѣнномъ поворотѣ въ сторону благонамѣренности, а во-вторыхъ удивительно какъ помогаетъ жить, то-есть умирать. По началу,



разумѣется, встрѣтятся затрудненія, но извѣстные механическіе приемы мигомъ упростятъ дѣла. Такъ, напримѣръ, настойчивымъ повтореніемъ вслухъ первой попавшей подъ руку бессмыслицы можно разбить какую угодно мысль.

Къ тому же у cadaго человѣка есть на-готовѣ цѣлый запасъ исторій, которыя преимущественно щекочутъ его животненные инстинкты, и потому нравятся. Несмотря на крайнюю несложность содержанія, эти исторіи имѣютъ то драгоцѣнное качество, что ихъ, по желанію, можно обставлять новыми и новыми деталями, вслѣдствіе чего онѣ никогда не кажутся ни заношенными, ни исчерпанными. Таковы, напримѣръ, исторіи любовныя. Какое свѣтозарное облако можно соткать по такому простому поводу, какъ столкновеніе двухъ существъ, изъ которыхъ одно называется мужчиною, а другое — женщиною! и какими яркими, разнообразными колерами будетъ это облако отливать! Или другой примѣръ: процессъ личнаго обогащенія; и его тоже можно всякими огнями освѣтить. И сто тысячъ — богатство, и милліонъ — богатство, и сотня милліоновъ — богатство. Затѣмъ: сначала идетъ процессъ накопленія (какой отличный случай для внимательства элемента „чудеснаго“!), потомъ — процессъ распредѣленія... то-есть, на себя, на свои собственные нужды, а отнюдь не... По истинѣ, можно до такихъ complicаций дойти, что сразу и не справиться съ ними! И еще примѣръ: исторіи сельско-хозяйственныя. Самъ-другъ, самъ-семь, самъ-двѣнадцать — какое разнообразіе! А съ другой стороны — цѣна продуктовъ можетъ быть — рубль, а можетъ быть — грошъ. Какъ тутъ быть? По неволѣ приходится рыться въ воспоминаніяхъ объ экономическихъ обѣдахъ (эти воспоминанія не только можно, но и должно освѣжать какъ можно чаще). Словомъ сказать, является цѣлый міръ мыслей, думъ, представленій, не весьма цѣнныхъ, полу-человѣческихъ, но способныхъ воспринимать всякую произвольную деталь. Благодаря этому свойству, не успѣешь и оглянуться, какъ образуется громадный клубокъ, передъ которымъ цѣлыя поколѣнія будутъ стоять въ изумленіи, покуда не придетъ „невѣжа“ и не скажетъ: „наплевать!“

Но когда-то это еще случится, а покажѣтъ ресурсъ все-таки есть. Я очень серьезно отнесся къ этой программѣ и рѣшилъ во чтѣ бы ни стало ее осуществить. И вотъ стѣны вокругъ меня зашатались, полъ заколебался подъ ногами... Проблески стариннаго стыда,

воспоминанія о высшихъ вопросахъ, представленіе о посёлкѣ—все исчезло. Остались только зеленые круги въ глазахъ, какъ неизбежное послѣдствіе болѣзненной усталости.

Я знаю, мнѣ скажутъ, что это срамъ. Да, это срамъ, отвѣчу я, и даже высокой пробы; но онъ освобождаетъ меня отъ прошлаго, а въ данномъ случаѣ только это и требуется.

Я уже начиналъ совсѣмъ утрачивать чувство дѣйствительности, какъ нечаянный случай снова возвратилъ меня къ нему. Привязался ко мнѣ старикъ Дементьичъ съ „докладомъ“: время-де погребъ набивать льдомъ. Нѣсколько дней сряду я только мычалъ въ отвѣтъ: а! гм! Наконецъ онъ повидимому испугался и почти во все горло проскандовалъ свой вопросъ.

Вотъ по этому-то ничтожному поводу и завязался у насъ разговоръ.

— Отъ Ивана Михайлыча человѣкъ на мельницу пріѣзжалъ; спрашивалъ, давно ли вы въ усадьбу пріѣхали?—доложилъ Дементьичъ.

— Отъ Ивана Михайлыча! помню! какъ же... помню, помню! да неужто онъ живъ?—встрепенулся я.

— Живы-съ.

— Да вѣдь ему ужъ *тогда* было подъ-семьдесятъ—помнишь?

— Много имъ годовъ. А все до послѣдняго время здоровы были. Только въ прошломъ году, отъ несчастьевъ отъ этихъ, словно кабы...

— Отъ какихъ несчастьевъ?

— Да съ молодыми господами что-то подѣлалось. Да и Марья Ивановна, дочка ихняя, померла. Теперь живутъ самъ-другъ съ младшей внучкой... въ родѣ какъ убогонькая она... Поѣдете, что-ли, провѣдать?

— Конечно, конечно... Какъ-нибудь... съѣзжу!

Дементьичъ ушелъ, а я началъ припоминать. Это было лѣтъ двадцать тому назадъ, въ самый разгаръ моихъ „сованій“. Иванъ Михайлычъ ужъ и тогда былъ старикъ старый. Какъ сейчасъ вижу его: длинный, прямой, худощавый, но ширококостный и плечистый, съ головой, остриженной подъ гребенку и украшенной окладистой сѣдой бородою, вѣчно въ застегнутомъ на всѣ пуговицы черномъ

сюртукъ солиднаго покроя. Самъ лично онъ не „совался“ — года не позволяли — но сердцемъ и мыслью былъ неотлучно съ нами (насъ было таки довольно). Мы были молоды, а онъ, казалось, вдвое моложе насъ. Онъ воодушевлялъ насъ, вселялъ въ насъ бодрость и вѣру, — въ насъ, которые и сами были всецѣло сотканы изъ бодрости и вѣры! Въ его старческомъ сердцѣ словно цвѣтъ какой-то загадочный распустился; въ его старческихъ глазахъ — искрилось пламя. Никакихъ сомнѣній онъ не допускалъ, а тѣмъ болѣе — ироніи, къ которой былъ даже строгъ. И радовался такою безмѣрною радостью, какою можетъ радоваться только острожникъ, выдержавшій безконечно долгій искусь, утратившій всякую надежду на освобожденіе и вдругъ, волшебствомъ какимъ-то, очутившійся на волѣ. И мы чувствовали на себѣ силу этой радости и окружали старика всевозможными знаками уваженія. Чудно было видѣть, какъ сильный лучъ свѣта вдругъ освѣтилъ могильную плиту, но вмѣстѣ съ тѣмъ и необыкновенно отрадно. Казалось, плита поднялась и дала выходъ совсѣмъ новому, сильному человѣку, который не зналъ, какъ надышаться, наглядѣться, наликоваться. Конца края его ликованію не было, потому что этотъ ожившій, согрѣтый лучомъ мертвецъ создавалъ перспективы за перспективами, одна другой радостнѣе, лучистѣе...

Въ то время у него была дочь, еще довольно молодая. Красива ли была она, или дурна, мнѣ какъ-то никогда не удавалось замѣтить; но я помню, что въ этой семьѣ все было и уютно, и свѣтло, и тепло, и какъ-то особенно легко. Должно быть, оттого, что въ ней царствовалъ какой-то удивительный ладъ. Всегда большой наплывъ постороннихъ — и ни малѣйшей сутолоки, всегда немолчный говоръ — и никакого надоѣдливаго шума. Домъ этотъ служилъ средоточіемъ не потому, что туда можно было во всякое время уйти отъ нечего дѣлать, а потому, что всякій надѣялся освѣжиться въ немъ. Удивительное дѣло, сколько тогда матеріала для безконечныхъ бесѣдъ было — нынче этого даже представить себѣ нельзя! Точно все родились вновь и на каждомъ шагу обрѣтали совсѣмъ новые предметы, нужные, животрепещущіе, настоятельные. Да и дѣйствительно, много было и животрепещущаго, и настоятельнаго, да вотъ пришло что-то загадочное, чего и ждать, казалось, было нельзя, пришло и подкосило...

Впоследствии, когда все мѣстнымъ „сованіямъ“ (я забылъ



сказать, что жилъ въ то время въ деревнѣ, гдѣ собственно и сосредоточивалась тогдашняя кипучая дѣятельность) былъ положенъ крутой и внезапный конецъ, я бросился вонъ изъ деревни и уѣхалъ „соваться“ въ другія мѣста. А Иванъ Михайлычъ остался на мѣстѣ, и хотя цвѣтокъ, случайно распутившійся въ его сердцѣ, завялъ значительно, но все-таки онъ продолжалъ заботливо охранять его корень, въ чаяннѣ, что опять проглянуть лучи и согрѣютъ его. Повторяю: въ качествѣ острожника, почувствовавшего просторъ полей, онъ сдѣлался наивенъ какъ юноша, и какъ юноша же былъ доступенъ только впечатлѣннѣмъ радости и надежды. Я лично уже не видѣлся съ нимъ, но отъ постороннихъ слышалъ, что онъ точно такъ же, какъ и я, какъ и всѣ мы, не одинъ разъ расцвѣталъ и не одинъ разъ увядалъ. Надежда — вещь слишкомъ привязчивая, чтобъ могла легко и скоро превратиться въ стыдъ. Но годъ или два тому назадъ Ивана Михайлыча постигло двойное несчастье: сперва умерла дочь, а потомъ случилось что-то загадочное съ внуками, которыхъ онъ выростилъ и на которыхъ не могъ надышаться. По словамъ Деметьюча, въ самое короткое время его такъ свернуло, что отъ прежняго бодрого и физически-сильнаго старика осталась одна развалина. Теперь онъ живетъ вдвоемъ съ уцѣлѣвшею внучкой; оба думаютъ объ одномъ; оба чувствуютъ себя раздавленными и оба боятся проговориться другъ передъ другомъ. Именно только благодаря этой осторожности ихъ жизнь еще кое-какъ виситъ на волоскѣ. Никто къ нимъ не ѣздилъ, да и некому: тѣ, которые когда-то составляли ихъ кругъ, давно ужъ разсыпались и ушли неизвѣстно куда. Вотъ я — воротился, вспомнилъ, что у меня случайно уцѣлѣлъ свой собственный гробъ, а другіе — гдѣ? Ужели все еще „суются“ и питаются пощечинными надеждами!

Воспоминанія эти встревожили меня. Съ недѣлю я не упоминалъ объ Иванѣ Михайлычѣ: все надѣялся, что какъ-нибудь обойдется. Въ моемъ безмолвіи всякая непредвидѣнность, всякій выходъ изъ предѣловъ программы не на шутку пугали меня. Конечно, я ни подъ какимъ видомъ не могъ освободиться приличнымъ образомъ отъ визита къ Ивану Михайлычу, но зачѣмъ же спѣшить? И я не знаю, чѣмъ бы это кончилось, если бы не пришелъ ко мнѣ на выручку Деметьючъ, который въ одно прекрасное послѣ-обѣда доложилъ, что закладываютъ лошадей.

Я ѣхалъ съ замираніемъ сердца, словно ожидая, что мнѣ придется увидѣть нѣчто даже худшее, нежели гробъ. Сиротливо раскинулась по обѣимъ сторонамъ дороги родная равнина, обнаженная, расхищенная, точно послѣ погрома. При взглядѣ на эти далекія, оголенные перспективы, не рождалось никакой мысли, кромѣ одной: гдѣ же тутъ пріютъ? кто тутъ живетъ? зачѣмъ живетъ? въ какихъ выраженіяхъ проклинаетъ часъ своего рожденія? Я никогда не былъ панегиристомъ старыхъ порядковъ, но можно ли было представить себѣ даже во снѣ, что на смѣну прошлому придетъ такое настоящее? А сколько было радостей-то! сколько надеждъ! Ахъ, эти радости! есть же такіе углы въ Божьемъ мірѣ, гдѣ онѣ не оживляютъ, а только отравляютъ существованіе!

Наконецъ прѣехали перелѣсокъ (я не узналъ его: тутъ прежде былъ хорошій, старинный лѣсъ), и изъ-за снѣжныхъ сугробовъ вынырнула усадьба Ивана Михайлыча. И прежде она была не изъ рядныхъ, а теперь и вовсе глядѣла разореннымъ вороньимъ гнѣздомъ. Почернѣла, даже словно сгорбилась. Я осторожно подѣхалъ къ заднему крыльцу (парадное было заколочено и дорогу къ нему занесло снѣгомъ), и въ бывшей дѣвичьей былъ встрѣченъ Юліей Петровной, внучкой Ивана Михайлыча.

Это была дѣвушка болѣзненная, маленькаго роста, горбатенькая. Лицо у нея — блѣдное, почти прозрачное, и эта прозрачность сообщала ему по временамъ свѣтящіяся точки. Смѣсь дѣтскаго и преждевременно состарѣвагося поражала въ этомъ лицѣ: глаза смотрѣли совѣмъ по-дѣтски, восторженно, какъ-то вдаль, дальше предмета, непосредственно стоящаго передъ глазами, а на вискахъ и на лбу ужъ легли старческія тѣни. Даже голосъ ея звучалъ двойственно; въ общемъ онъ напоминалъ неустановившіеся голоса переходной эпохи 12 — 13-лѣтняго возраста, но по временамъ (даже слишкомъ часто) въ немъ прорывались такіе дряхлые звуки, что, слыша ихъ, вы невольно представляли себѣ цѣлую раздавленную жизнь.

Приняла она меня прилично, хотя и не особенно радушно. Можетъ быть, долгая строго-уединенная жизнь ужъ отучила ее отъ той пріятливости, которою нѣкогда, казалось, были пропитаны даже стѣны этого дома.

— Дѣдушка васъ ждетъ, — сказала она, подавая мнѣ руку.

— Онъ здоровъ?

— Здоровъ, но не надо его волновать. Конечно, при встрѣчѣ послѣ долгой разлуки нельзя обойтись безъ воспоминаній, но есть предметы—вы меня понимаете? — которыхъ положительно не слѣдуетъ касаться. Онъ и безъ того слишкомъ объ нихъ помнить.

Я нашелъ Ивана Михайлыча въ столовой. Передо мной стоялъ прямой и длинный старикъ, до того худой и обнаженный отъ мускуловъ, что даже кости у него, казалось, усохли. Блѣдно-сѣрая голова, словно мхомъ поросшая волосами, ничѣмъ бы не отличалась отъ головы мертвеца, если бы изъ глубокихъ глазныхъ впадинъ не выглядывали двѣ свѣтящіяся точки. Увидѣвъ меня, онъ протянулъ ко мнѣ свои длинные, худыя руки.

— Пріѣхали?.. куда?.. ха-ха!—привѣтствовалъ онъ меня.

Я бросился къ нему, и вдругъ внутри у меня что-то нахлынуло, закипѣло, защемило. Я не ждалъ отъ него смѣха... Ужасная это, ужасная боль! Я весь вспыхнулъ, затрясся и, мучительно надрываясь отъ боли и въ то же время какъ бы усиливаясь освободиться отъ нея, крикнулъ:

— Ну, да, въ гробъ, въ гробъ, въ гробъ!

Казалось, эта выходка поразила его. Онъ взялъ мою руку; одною рукою держалъ ее, а другою гладилъ, какъ бы желая успокоить.

— Ну, дайте я на васъ посмотрю!—сказалъ онъ, подводя меня къ окну, и затѣмъ, внимательно осмотрѣвши, прибавилъ: — все въ порядкѣ. Теперь рассказывайте. А впрочемъ, чтожъ я! прежде познакомьтесь. Юлія—внучка моя. Теперь она у меня одна...

Онъ спохватился и не кончилъ.

— Рассказывайте, рассказывайте!—повторилъ онъ.

Мнѣ всегда казалось, что я могу рассказать очень многое. Длинная жизнь, вся до краевъ наполненная „сованіями“ — есть, кажется, чтò поразсказать. Но теперь, при этомъ, такъ сказать, ультиматумъ, я вдругъ сталъ въ тупикъ. Не то чтобъ я позабылъ или застыдился — нѣтъ, этого не было. Напротивъ, какъ нарочно, вся моя жизнь, со всѣми деталями, пронеслась въ эту минуту предо мной; а что касается до стыда, то, право, онъ не могъ дѣлать никакого диссонанса въ домѣ, гдѣ и безъ того все говорило о стыдѣ. Нѣтъ, просто показалось нелюбопытнымъ, ненужнымъ.

— Рассказывать-то, вѣрно, нечего... ха-ха! — засмѣялся онъ.

— Пожалуй что такъ, — согласился я.



— Это, сударь, бываетъ, особливо въ такихъ углахъ вселенной, гдѣ по части благочинія черезъ-чуръ благополучно. Вспоминаешь-вспоминаешь и все какъ-то около одного предмета вертишься: около вывѣски съ надписью: „Управа благочинія“ ... ха-ха!

— Дѣйствительно, это воспоминаніе господствуетъ...

— Такъ-то господствуетъ, что я вотъ еще въ восемьсотъ-четырнадцатомъ году (восемьдесятъ-восемь лѣтъ, сударь, мнѣ!) началъ надеждами горѣть и потомъ все горѣлъ, все горѣлъ, а ежели начать рассказывать... Плюхи да плюхи, на каждомъ шагу плюхи... вотъ мерзость какая! Ну, дѣлать нечего, давайте смотрѣть другъ на друга и молчать. Юлія! ты у меня умная: скажи, вѣдь молчать—лучше?

— Да, дѣдушка, лучше.

— Я и говорю: лучше... ха-ха! Только я вотъ еще чтѣ говорю: молчаніе — вещь обоюдоострая; иногда она помогаетъ забывать, а иногда—жжетъ, бередитъ. Точно вотъ слезы, которыхъ не можешь выплакать, или стыдъ, который, хочешь не хочешь, а долженъ глотать. Такъ ли, господинъ надеждоносець... ха-ха!

Я прислушивался къ его смѣху, и мнѣ положительно дѣлалось неловко. Хохочущій старикъ — право, это цѣлая трагедія. Какую нужно необъятную боль,—чтобъ добраться до дна старческой дремоты, разбудить всѣ скопившіяся тамъ боли, перебрать ихъ одну за одной и обострить—до хохота!

— Что касается до меня,—сказаль я:— то я во всякомъ случаѣ полагаю, что молчаніе цѣлесообразнѣе. Съ помощью его мы извлекаемъ свой личный стыдъ изъ публичнаго обращенія и перестаемъ служить посмѣшищемъ. Я, собственно, ради молчанія и воротился въ деревню.

— А вы изъ стыдящихся?—вдругъ прервала меня Юлія Петровна и такъ пристально взглянула на меня, что я невольно сконфузился.

— Она у насъ стыдящихся не одобряетъ, — съ своей стороны пояснилъ Иванъ Михайлычъ.

— Не одобряете? но чтѣ же дѣлать, если результатъ всей жизни выражается словами: довольно жить?—возразилъ я.

— Она такихъ результатовъ не признаетъ. Не понимаетъ, что для насъ, старыхъ надеждоносцевъ... если мы и къ такимъ результатамъ приходимъ... я то ужъ заслуга... ха-ха!

Старикъ захохоталъ такимъ горькимъ и продолжительнымъ хохотомъ, что Юлія Петровна встрезожилась.

— Дѣдушка! оставьте этотъ разговоръ! онъ васъ волнуетъ! — обратилась она къ нему.

— Мудрая, а не въ силахъ понять, что у насъ другого разговора не можетъ быть! Ты говоришь: волнуетъ, а я, напротивъ, утверждаю: развлекаетъ, позволяетъ занимательно провести время... Такъ ли, сосѣдь?

— Не знаю, право...

— Нѣтъ, навѣрное. Вотъ, напримѣръ, я говорю: какъ началось — и чѣмъ кончилось! Восклицаніе, кажется, не особенно мудрое, а между тѣмъ оно облегчаетъ меня! И я очень радъ, что есть человекъ, который меня пойметъ и вмѣстѣ со мной постыдится... Такъ вѣдь?

Онъ взглянулъ мнѣ въ глаза и ласково потрепалъ рукой по колѣнкѣ.

— Еслибы я молчалъ — эта мысль глодала бы мои внутренности, шла бы за мной по пятамъ. А теперь, сдѣлавши изъ нея составную часть *causerie de société*, я все равно что отнял у нея всякое значеніе. Оттого-то я и повторяю: какъ начиналось и чѣмъ кончилось... ха-ха!

— Да начиналось ли?

— То-то вотъ... Она впрочемъ, умная-то моя, не сомнѣвается. Не только „начиналось“, а началось, говорить, и не вчера, а отъ начала вѣковъ. И придетъ, несомнѣнно придетъ! Юля! вѣдь такъ?

— Такъ, дѣдушка, придетъ.

— Она и на насъ, стыдящихся, какъ-то особенно смотреть. Нѣчто въ родѣ Закхеевой смоковницы въ насъ видить... ха-ха!

— Дѣдушка, я никого не осуждаю! Я говорю только...

— Что нужно вѣрить?

— Нужно, дѣдушка.

— И что есть люди, которые не падаютъ духомъ?

— Есть.

— Аминь!

— Аминь, — повторила Юлія Петровна.

Всѣ умолкли, а старикъ понурилъ голову, словно задремалъ. Черезъ минуту однакожь онъ вновь встрепенулся и взглянулъ въ

окно. Небо было ясно, и на краю небосклона разливался тихій свѣтъ вечерней зари.

— Сколько разъ, въ былыя времена,—словно про себя прошепталъ Иванъ Михайлычъ:—я провожалъ глазами эту зарю и говорилъ себѣ: завтра я опять увижу ее тамъ на востокѣ.

— А теперь?

— А теперь говорю: сейчасъ она потухнетъ, и затѣмъ начнется ночь...

— Дѣдушка!

— Да, ночь... и навсегда! Ни надеждъ, ни „насъ возвышающихъ обмановъ“... ничего, кромѣ ночи!

— Нѣтъ, дѣдушка, этого не будетъ!

Я оглянулся и умилился. Глаза Юленьки горѣли; лицо ея было все какъ въ лучахъ; даже въ голосѣ слышались мощныя, звонкія ноты.

— Заря опять придетъ,—продолжала она,—и не только заря, но и солнце!

Старикъ махнулъ рукой вмѣсто отвѣта.

— Есть добрые, не падающіе духомъ! есть! И они увидятъ солнце, увидятъ, увидятъ, увидятъ!—повторила она.

Иванъ Михайлычъ быстро повернулся и протянулъ мнѣ руки.

— Ну, прощайте! — сказалъ онъ: — тяжело! Говорить мы ни объ чемъ не умѣемъ, а только умѣемъ раздражать себя... Тяжелы эти повторенія старой сказки объ упованіяхъ! Не ѣздите ко мнѣ... не нужно! Не затѣмъ мы живемъ, чтобъ заниматься causeries de société... Будемъ изнывать каждый въ своемъ углу... Довольно.

## Больное мѣсто.

### I.

Уныло доживалъ вѣкъ старикъ Разумовъ въ родномъ своемъ городѣ Подхалимовѣ. Пять лѣтъ тому назадъ онъ пріѣхалъ сюда, окончивъ счеты съ долготѣтней службой, купилъ домикъ въ Проломной улицѣ, устроилъ, ухитилъ себѣ гнѣздо на славу и думалъ: „вотъ теперъ-то начнется настоящій покой!“ И дѣйствительно, „покой“



начался, но не совѣмъ тотъ, на который рассчитывалъ Разумовъ. Начался „спокой“ одиночнаго заключенія, подавляющій, преисполненный безразсвѣтной мглы, тотъ „спокой“, который, однажды захвативъ человѣка, окружаетъ его непроницаемой стѣной, безъ дверей, безъ оконъ. Сидитъ человѣкъ за этой стѣной и ни о чемъ другомъ не мыслить, кромѣ того, что и въ немъ самомъ, и внѣ его все кончилось.

Несмотря на свои шестьдесятъ лѣтъ, Разумовъ былъ старикъ бодрый, румяный и сильный. Начавши трудную жизненную карьеру съ должности писца въ подхалимовскомъ земскомъ судѣ, онъ не погрязъ въ безыменной массѣ подъячихъ, но сумѣлъ выдѣлиться изъ нея настолько выгоднымъ образомъ, насколько это возможно для человѣка, у котораго нѣтъ иной опоры, кромѣ замѣчательной дѣловой цѣпкости, способствующей не менѣе замѣчательною выносливостью хребта. Разумѣется, въ его возвышеніи большую роль игралъ случай, который далъ Разумову возможность сначала „понравиться“, а потомъ сдѣлаться „необходимымъ“, но и собственной его заслуги было все-таки не мало. Трудно безъ особенно счастливаго случая выбраться изъ подъяческой тьмы въ излучины воинствующей бюрократіи, но еще труднѣе не потеряться въ нихъ и не развратиться. И высокой похвалы заслуживаетъ тотъ, кто не до конца погубить при этомъ „разсужденіе“, а ограничится только тѣмъ, что покорить его, поставить въ предѣлы.

Разумовъ вышелъ въ отставку съ хорошей пенсіей и съ чиномъ тайнаго совѣтника, но не совѣмъ по своей охотѣ. Напротивъ, это случилось въ самую цвѣтущую пору его бюрократической дѣятельности, когда онъ всего менѣе ожидалъ, что услуги его скоро ужъ не понадобятся. Разумовъ никогда не занималъ вполнѣ самостоятельнаго мѣста, но какъ второстепенный дѣятель онъ былъ незамѣнимъ. Это была своего рода неуязвимая департаментская репутація, передъ которою спасовалъ даже отважный генераль-маіоръ Отчаянный. Цѣлая свита угрюмыхъ сановниковъ прошла передъ нимъ въ продолженіе его многолѣтняго жизненнаго искуса, и каждый изъ нихъ неизмѣнно начиналъ съ того, что судилъ ему въ перспективѣ преисподнюю. Но онъ понималъ, что стоитъ на твердой почвѣ, и не страшился. Тридцать-пять лѣтъ сряду ничего не страшился и только изрѣдка жаловался на боль въ поясицѣ. И вдругъ, совѣмъ не ожи-

данно, почувствовалъ, что почва, которую онъ считалъ неподвижною, начинаетъ шевелиться подъ нимъ. И точно: неведомгѣ пришелъ деликатный тайный совѣтникъ Губошлеповъ (по странной игрѣ случая, несмотря на свою чисто русскую фамилію, онъ назывался Василій Карлычъ), и безъ угрозъ, въ два слова, пресѣкъ жизнь, передъ которою въ недоумѣніи остановился самъ генераль-маіоръ Отчаянный.

— Какой это такой пономарь ко мнѣ давеча представлялся? — спросилъ онъ въ самый день своего вступленія въ должность, пораженный высокою и какъ-то черезъ-чуръ ужъ сановитою фигурой Разумова.

Ему доложили, что это былъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Разумовъ, чиновникъ опытный, неутомимый и даже въ нѣкоторомъ родѣ незамѣнимый по своей части.

— У меня нѣтъ „незамѣнимыхъ“! — кратко отрѣзалъ Губошлеповъ и тогда же порѣшилъ въ сердцѣ своемъ положить конецъ служебному поприщу Разумова.

Нельзя сказать, чтобъ Губошлеповъ былъ золъ, но несомнѣнно, что внутри его царствовали постоянныя сумерки. Эти сумерки помогали ему отравлять жизнь подчиненныхъ, не подвергая при этомъ самого себя никакимъ запросамъ со стороны совѣсти. Онъ принадлежалъ къ той породѣ бюрократовъ, которые думаютъ, что бюрократическій омутъ только тогда освѣжается, когда сидящій на берегу рыболовъ отъ времени до времени закидываетъ въ него уду и ловкимъ движеніемъ руки подсекаетъ суетящуюся въ омутѣ рыбную бѣль. Чтѣ оказывалось въ результатѣ этой подсечки: безобидная ли плотва, или вороватая щука — это было для него безразлично. Онъ за результатами не гнался, а просто-на-просто выполнялъ обрядъ. Изъ этого неумнаго занятія онъ выработалъ совершенно неумную доктрину, которая, къ удивленію, въ извѣстныхъ сферахъ однакожъ создала ему цѣлую репутацію. По крайней мѣрѣ, когда въ бюрократическомъ мірѣ шла объ немъ рѣчь, то все какъ будто понимали, объ комъ и объ чемъ они говорятъ. „Этотъ человекъ съ душкомъ! у него — система!“ — вотъ мнѣніе, которое сложилось объ немъ въ сознаніи каждаго чиновника, и мнѣніе это онъ, конечно, старался всеми мѣрами поддержать.

Я всегда говорилъ и теперь утверждаю: существуетъ цѣлый замкнутый міръ, въ которомъ такимъ словамъ, какъ, напримѣръ:

„мысль“, „система“, не дается почти никакой цѣны. Есть выраженія, которыя нравятся только потому, что они таинственно-заманчивы, хотя внутренній смыслъ ихъ всегда остается неразгаданнымъ. Въ результатѣ получается смѣшеніе, и то, что въ средѣ обыкновенныхъ смертныхъ зовется глупостью, въ этомъ странномъ мірѣ получаетъ названіе „идеи“, а то, въ чемъ трудно усмотрѣть что-нибудь, кромѣ пустопорожности, украшается именемъ „системы“. Этотъ особенный міръ родился впрочемъ недавно, какъ поправка и улучшеніе тому міру, который ни „идей“, ни „системъ“ не зналъ, а зналъ только „ежовыя рукавицы“. Но дѣйствительно ли онъ принесъ улучшение — на это я положительнаго отвѣта дать не могу. Думая однакожь, что простыя, безхитростныя „ежовыя рукавицы“ имѣли на своей сторонѣ преимущество прямодушія и откровенности, и что вообще помѣщеніе такихъ, напримѣръ, словъ, какъ, „идея“, „система“ и т. п. въ словари, которые, въ видахъ общественной безопасности, должны отличаться безусловною ясностью, представляеть собою не обезпеченіе, а скорѣе угрозу.

Какъ бы то ни было, но въ одно прекрасное утро Губошлеповъ, закинувъ въ подвѣдомственный ему омутъ уду, вытащилъ оттуда Разумова. Рыбина оказалась большая, даже рѣдкостная, но не настолько впрочемъ, чтобъ такой доктринеръ рыболовства, какъ Губошлеповъ, могъ затрудниться, какъ насчетъ ея поступить.

— Вы, кажется, выслужили право на пенсію? — молвилъ онъ однажды Разумову послѣ того, какъ покончили съ нимъ обычное объясненіе.

Разумовъ покраснѣлъ, точно его вдругъ по затылку ударили. Ему показалось, что стѣны Губошлеповскаго кабинета начинаютъ шататься и самъ онъ какъ будто скользить.

— Выслужилъ-съ, — отвѣтилъ онъ однако довольно твердо.

— А при этомъ, ежели чинъ тайнаго совѣтника при отставкѣ... гм?... — продолжалъ тайный совѣтникъ Губошлеповъ, но безъ жестокости, а именно только съ полнѣйшимъ „неразсужденіемъ“. — Полный окладъ пенсіи и... чинъ тайнаго совѣтника.. гм? Итакъ, до свиданія... любезный коллега!

Губошлеповъ очень развязно протянулъ ему руку, и старикъ Разумовъ почтительно прикоснулся къ ней концами своихъ похолодѣвшихъ пальцевъ.



Въ этотъ день Разумовъ возвращался домой совсѣмъ пустой, точно внутренности изъ него вынули. Не то чтобъ онъ жаловался или негодовалъ, а какъ будто никакъ не могъ вспомнить что-то очень нужное, и въ то же время потерялъ способность воспринимать ощущенія. Онъ шелъ обычной дорогой, безошибочно поворачивалъ въ тѣ самыя улицы и переулки, куда слѣдовало, но дѣлалъ это совсѣмъ машинально. Проходя мимо знакомой колбасной лавки, онъ, какъ всегда, зажалъ носъ, но сдѣлалъ это лишь инстинктивно, а не потому, чтобъ его поразила окружавшая лавку смрадная атмосфера. На одномъ переходѣ, гдѣ обыкновенно протекалъ грязный ручей, онъ сдѣлалъ обычный прыжокъ, хотя на этотъ разъ, благодаря какому-то исключительному стеченію обстоятельствъ, никакого ручья въ этомъ мѣстѣ не было. И при этомъ онъ все время нервно шевелилъ губами, такъ какъ ему казалось, что онъ ведетъ бесѣду съ какимъ-то воображаемымъ пріятелемъ и что разговоръ ихъ состоитъ изъ слѣдующихъ немногихъ, но назойливо повторяемыхъ фразъ:

— Глупо-то какъ! — говоритъ онъ, Разумовъ, впрочемъ безъ злобы, а съ какимъ-то наивнымъ изумленіемъ.

— Умнаго нѣту! — вторитъ ему воображаемый пріятель.

— Нѣтъ, ты пойми: глупо-то какъ! — опять настаиваетъ онъ.

И такъ далѣе.

Въ этой мысленной бесѣдѣ онъ дошелъ до Лиговки, и только тутъ, задѣвши ногой за перила моста, очнулся на минуту. Но, увидѣвши себя въ знакомой мѣстности, опять тронулся въ путь.

— Мухи не обидѣлъ! — вдругъ мелькнуло у него въ головѣ. — Мухи, мухи не обидѣлъ!

И ему показалось, что вся окрестность разомъ повторила это восклицаніе. И извозчикъ, ѣдущій порожнякомъ, и мальчишка, катящій ручную телѣжку съ беремемъ пустыхъ бутылокъ, и лавочникъ высунувшійся изъ подвала. Всѣ смотрятъ на него, всѣ изумленно качаютъ головами и въ одинъ голосъ вопіютъ:

— Мухи не обидѣлъ! мухи, мухи не обидѣлъ!

— Въ такомъ полубодренномъ положеніи дошелъ онъ наконецъ до своей квартиры и дернулъ за звонокъ.

— Въ горлѣ... — прохрипѣлъ онъ отворившей ему дверь прислугѣ: — въ горлѣ... воды бы! да Ольгу Аеанасьевну поскорѣ сюда...

Принесли воды; прибѣжала Ольга Аеанасьевна.

— Вотъ, сударыня... и уволили насъ!—произнесъ онъ, выпивъ залпомъ два стакана воды.

Ольга Аванасьевна сразу не поняла, но и ей показалось, что стѣны дома шатаются и что она начинаетъ куда-то опускаться, скользить...

— Уволили... совсѣмъ... въ чистую!—повторилъ онъ, вразумительно отчеканивая каждое слово, чтобъ она поняла.

— Чтò же ты сдѣлалъ?—какъ-то изумленно воскликнула она.

## II.

Гаврило Степанычъ Разумовъ женился поздно, когда ужъ ему было лѣтъ подъ сорокъ. Ни молодости, ни такъ-называемаго періода страстей у него не было; всю жизнь онъ прожилъ степенно, по-старчески оглядываючись. Ни тогда, когда у него была одна своя голова на плечахъ, ни послѣ, когда онъ обзавелся ужъ семьей—ни разу онъ не почувствовалъ поползновенія выйти изъ намѣченной колеи, „рискнуть“. Собственно говоря, это была не жизнь, а тиски, съ которыми онъ, съ самой бурсы, до того свыкся, что даже не чувствовалъ ихъ давленія. Содержаніе этого существованія было полумистическое и въ то же время совершенно рутинное. Ничего у Разумова не было ни самостоятельнаго, ни собственнаго, ему принадлежащаго; все исходило изъ какого-то загадочнаго произволенія и все туда же возвращалось; причеиъ на немъ, Разумовѣ, оставалась однакожь отвѣтственность за это загадочное и не отъ него зависящее. И мысли, и дѣйствія, и желанія его—все кружилось вокругъ этого загадочнаго и, безъ разсужденія принимая тѣ готовые формулы, которыя оно предлагало, въ нихъ однѣхъ находило для себя питаніе. Въ зрѣлыхъ лѣтахъ такою всепроникающей формулой явилась служба и сопряженное съ нею „дѣло“.

Разъ прилѣпившись къ „дѣлу“, разъ взявши на себя обязательство выполнить его „по сущей совѣсти“, Гаврило Степанычъ почувствовалъ жизнь свою до краевъ наполненною. Онъ былъ нечестолубивъ и, кажется, даже не понималъ честолубія. Не потому, чтобъ, искушенный рядомъ жизненныхъ обидъ, онъ смирился передъ мыслью, что маленькимъ людямъ положенъ и маленькій предѣлъ—нѣтъ, онъ ни о какихъ предѣлахъ не думалъ, а просто шелъ, не обинуясь,

по той колеѣ, на которую поставила его судьба, и старался только о томъ, чтобъ поступать по „сущей совѣсти“, разумѣя подъ этимъ: какъ приказано. Повышенія и награды хотя и настигали его, но въ установленномъ порядкѣ, а не потому, чтобъ онъ искалъ ихъ; даже „необходимъ“ онъ сдѣлался не на какія-нибудь „потворства начальственнымъ страстямъ“ (что въ чиновничьемъ быту не рѣдкость), а просто потому, что лучше другихъ „вникалъ“, лучше другихъ умѣлъ неясному мельканію начальственной мысли найти связное и ясное выраженіе.

Онъ лелѣялъ только „дѣло“, мыслилъ только объ „дѣлѣ“ и въ этомъ „дѣлѣ“ умѣлъ находить матеріалъ для безчисленнаго множества вопросовъ, взглядовъ, соображеній и т. д. Онъ гордился этимъ и изрѣдка даже говорилъ: я служу только „дѣлу“. Было даже удивительно, какъ „дѣло“ приковывало его къ себѣ, охватывало его всего, совершенно независимо отъ своего содержанія, а только потому, что оно „дѣло“. „Дѣло“ раскрывалось передъ его умственнымъ взоромъ съ самымъ неожиданнымъ разнообразіемъ подробностей, съ безчисленными микроскопическими развѣтвленіями, изъ которыхъ, въ свою очередь, выбѣгали другія микроскопическія развѣтвленія; однимъ словомъ, со всею суматохою своеобразной трупной жизни. И онъ не успокоивался до тѣхъ поръ, пока всѣ эти подробности и развѣтвленія не укладывались по своимъ мѣстамъ, пока трупная суматоха не утомлялась и „дѣло“ не представлялось достаточно выясненнымъ для того, чтобъ можно было изъ трупныхъ посылокъ вывести логическія трупныя заключенія. Тогда онъ пускалъ „облупленное яичко“ въ ходъ и принимался за препарированіе другого трупа, состоящаго на очереди.

Есть на Руси великое множество людей, которые повидимому отказались отъ всякой попытки мыслить и которымъ однакожь никакъ нельзя отказать въ названіи мыслящихъ людей. Это именно тѣ мистики, которыхъ жизненный искусь заранѣе осудилъ на разработку тезисовъ, бросаемыхъ извнѣ,—тезисовъ, такъ сказать, являющихся на арену во всеоружіи непререкаемой истины. Они не анализируютъ этихъ тезисовъ, не вникаютъ въ ихъ сущность, но умѣютъ выжать изъ нихъ всѣ логическія послѣдствія, какія они способны дать. Это люди несомнѣнно умные, но умные, такъ сказать, за чужой счетъ и



являющіе силу своихъ мыслительныхъ способностей не иначе какъ на вещахъ, не имѣющихъ къ нимъ лично ни малѣйшаго отношенія.

Хотя такого рода занятія въ большинствѣ случаевъ оказываются до крайности изнурительными, но Гаврило Степанычъ даже отъ этого не страдалъ, благодаря своему желѣзному организму, закаленному еще съ дѣтства бурсацкимъ воспитаніемъ. Сухой, широкоплечій и мускулистый, онъ не зналъ ни хворости, ни даже усталости, тѣмъ больше, что однообразно-регулярный образъ жизни былъ одною изъ коренныхъ привычекъ, пріобрѣтенныхъ имъ независимо отъ какой-нибудь предвзятой мысли, а просто потому, что онъ даже понятія не имѣлъ о развлеченіяхъ, а тѣмъ менѣе о прихотяхъ. Только разъ въ жизни онъ почувствовалъ что-то похожее на радость—это именно тогда, когда состоялся его переводъ изъ Подхалимова въ Петербургъ—но это случилось уже такъ давно, что пріятное раздраженіе, произведенное этимъ переводомъ, безъ труда утонуло въ представленіи о „дѣлѣ“ и объ той „сущей правдѣ“, потребность въ которой глубоко коренилась въ его съ дѣтства дисциплинированной природѣ.

Однако, приближаясь къ сорока годамъ, онъ началъ испытывать, что въ существованіи его есть какой-то пробѣлъ. Не то чтобъ онъ почувствовалъ пустоту холостого одиночества, но явилась смутная потребность внести въ жизнь извѣстный распорядокъ, который обезпечивалъ бы отъ неправильностей, неизбѣжныхъ при холостомъ существованіи. Или, лучше сказать, чтобъ въ квартирѣ чувствовалось присутствіе заботливой руки, которой только однажды нужно дать направленіе, чтобъ жизненная обстановка разъ навсегда вылилась въ извѣстную форму, въ которой и установилась бы прочно и неизблемо. Холостой человѣкъ хоть изрѣдка, но все-таки долженъ промыслить о себѣ; долженъ кому слѣдуетъ растолковать, распорядиться насчетъ своего жизнестроительства, а это неминуемо отнимаетъ у „дѣла“ время и, слѣдовательно, наноситъ послѣднему ущербъ. Напротивъ, женатый человѣкъ можетъ разомъ освободиться отъ всѣхъ мелочей, особливо ежели выборъ будетъ сдѣланъ безъ претензій на связи и блескъ. Гаврило Степанычъ довольно долго задумывался надъ этимъ шагомъ, но потребность выйти изъ безхозяйственности заговорила наконецъ такъ настоятельно, что нужно было покончить съ этимъ вопросомъ. И вотъ онъ принялъ рѣшеніе, одно изъ тѣхъ

готовыхъ рѣшеній, которыя имѣютъ за себя достоинство исконной общепризнанности.

У сослуживца его, Аонасія Иваныча Негропонтова, отца многочисленной семьи, была дочь Ольга, дѣвушка уже не первой молодости (ей было въ то время подѣтридцать) и некрасивая, но кроткая, разумная и настолько самостоятельная, что послѣ смерти матери она много лѣтъ завѣдывала всѣмъ хозяйствомъ у вдоваго отца. На ней-то и остановилъ Разумовъ свой выборъ. Въ одинъ изъ рѣдкихъ воскресныхъ вечеровъ, когда онъ позволялъ себѣ, въ видѣ „экстры“, оставить „дѣло“, онъ, безъ особенныхъ приготовленій и предварительныхъ ухаживаній, улучилъ минуту, когда Ольга Аонасьевна была одна, и совершенно спокойно и разсудительно сообщилъ ей о своихъ намѣреніяхъ.

— Словомъ сказать, съ матеріальной стороны вы будете по возможности обезпечены. Только, можѣтъ быть, вамъ скучненько съ старикомъ покажется?—заклучилъ онъ, какъ бы желая послѣднею фразой смягчить черезъ-чуръ ужъ разсудительный тонъ своего любовнаго объясненія.

Но Ольга Аонасьевна даже не поняла этой тонкости. Такъ давно, въ домѣ старика-отца, она была со всѣхъ сторонъ окружена стариками, что, казалось, совсѣмъ даже не имѣла понятія о томъ, что существуетъ различіе между старостью и молодостью.

— Какой же вы „старикъ“?—молвила она, взглянувъ ему прямо въ глаза.

— Нѣтъ, голубушка, старикъ я, —подтвердилъ онъ:—я отъ природы старикъ—это нужно правду сказать. Никогда у меня никакихъ этакихъ „эпизодовъ“ въ жизни не было...

— А ежели не было, то тѣмъ и лучше,—отвѣтила она, выражая этимъ косвенное согласіе на сдѣланное предложеніе.

— Ну, вотъ и слава Богу! стало быть, теперь только родительскаго благословенія испросить надо!

Само собой разумѣется, родительское благословеніе не замедлило, и черезъ мѣсяць „молодые“ были обвѣнчаны.

Гаврило Степанычъ не ошибся: выборъ его дѣйствительно оказался чрезвычайно удачнымъ. Его жизнь потекла невозмутимо спокойно и до послѣднихъ мелочей правильно. Правда, что эта правильность была черезъ-чуръ уже однообразна, но вѣдь, въ сущности,

ему ничего другого и не нужно было, кромѣ однообразія. Утромъ онъ проводилъ время за „дѣломъ“ въ департаментѣ и, по возвращеніи домой, былъ увѣренъ, что обѣдъ не заставитъ его дожидаться; вечера проводилъ дома, отдавая себя всецѣло тому же „дѣлу“. Покуда онъ въ кабинетѣ „занимался“, Ольга Аѳанасьевна тутъ же сидѣла съ работой, и изрѣдка они обмѣнивались замѣчаніями. Этого было вполне достаточно, чтобъ поддерживать между ними дружественную связь, главное основаніе которой лежало, по мнѣнію Гаврила Степаныча, совсѣмъ не въ разговорахъ о „постороннихъ“ предметахъ, а въ томъ, чтобъ мужъ, яко глава, добывалъ необходимыя средства и чтобъ дома, благодаря заботливости жены, было уютно, не голодно и тепло.

Черезъ три года Ольга Аѳанасьевна родила мужу сына, котораго назвали Степаномъ. Гаврило Степанычъ уже совсѣмъ было потерялъ надежду на потомство, и вдругъ... Съ этой минуты жизнь его какъ бы раздвоилась, и онъ впервые почувствовалъ, что съ нимъ случилось что-то въ родѣ „эпизода“. Даже женитьба не произвела въ немъ такого волненія, такого сладкаго и въ то же время щемящаго избытка счастья, который заставляетъ опасаться, что чаша не черезъ-чуръ ли наполнена. Между новымъ объектомъ жизни — сыномъ — и старымъ объектомъ — „дѣломъ“ — сразу установилась прочная связь, и хотя старый объектъ уже не господствовалъ надъ жизнью, а только служилъ новому объекту, но тѣмъ болѣе явилось причинъ ухаживать за „дѣломъ“ и употреблять все усилія, чтобъ закрѣпить за собой навсегда этотъ единственный источникъ, обеспечивавшій благоденствіе семьи.

Никогда, ни прежде, ни послѣ, Гаврило Степанычъ не былъ такъ счастливъ, такъ бодръ и дѣятеленъ. Болѣе дѣтей у Разумовыхъ не было, и хоть Гаврило Степанычъ по временамъ позволялъ себѣ дѣлать женѣ укоры въ безплодіи, но очевидно онъ дѣлалъ это въ видѣ шутки, а втайнѣ былъ даже доволенъ, что у него имѣется только одинъ объектъ, на которомъ всецѣло сосредоточивалась вся его нѣжность. Однимъ словомъ, на немъ повторилось обычное въ старческой сферѣ явленіе. Какъ будто природа, всегда скупая относительно стариковъ, случайно поступилась въ пользу его одною изъ своихъ завѣтныхъ тайнъ и, освѣтивши теплымъ лучомъ его существованіе, опять и навсегда закрыла доступъ въ лоно свое. Понятно, какъ глубоко онъ долженъ былъ дорожить этой уступкой.



## III.

При отставкѣ матеріальныхъ средства Разумова, конечно, значительно сократились. Хотя Гаврило Степанычъ и получилъ хорошую пенсію, но все-таки она далеко не равнялась полному окладу содержания, которымъ онъ пользовался, состоя на службѣ. Сверхъ того, на службѣ и кромѣ штатныхъ окладовъ все что-нибудь прилипаетъ къ рукамъ усерднаго чиновника: то полугодовые и годовые оклады, даваемые въ награду, то остаточныя, распределяемыя между чиновною братіей къ Рождеству, и т. п. Благодаря этимъ экстреннымъ подачкамъ, жизнь шла своимъ чередомъ, — жизнь впрочемъ скудная и строгая, все благополучіе которой заключалось въ томъ, что съ теченіемъ года какимъ-то чудомъ сводились концы съ концами. Но впереди и того не предвидѣлось, а стало быть нечего было и думать объ томъ, чтобъ вести прежній образъ жизни. Надо было прежде всего оставить Петербургъ и поселиться въ провинціи.

Но онъ былъ не одинъ, у него былъ Степа, которому къ этому времени минуло четырнадцать лѣтъ и который прошелъ ужъ четыре класса гимназіи. Чтобъ не произошло въ его ученіи неизбѣжной при переводѣ въ провинціальную гимназію ломки, предстояло разстаться съ нимъ, а это было самое несносное. Онъ уѣдетъ, а Степа останется въ Петербургѣ... Только тогда, когда эта горькая перспектива съ полною ясностью предстала передъ нимъ — только тогда Гаврило Степанычъ понялъ, какое ужасное злодѣйство обрушилось на его голову по манію Губошлепова. До сихъ поръ онъ даже не представлялъ себѣ, чтобъ могъ пройти хоть одинъ день, въ который онъ бы не видѣлъ Степу. Онъ и прежде не имѣлъ времени особенно заниматься съ нимъ, баловать его, но чувствовалъ непреодолимую потребность каждую минуту сознавать, что сынъ тутъ, подлѣ него. И эта потребность покаместъ была удовлетворена. Поэтому, когда онъ понималъ, что скоро наступитъ моментъ, который прекратитъ разъ навсегда возможность наслаждаться чувствомъ „ощущенія близости“, то внутри его все словно заметалось и загорѣлось.

— Губошлеповъ! чтѣ такое... Губошлеповъ? — безотвязно стучало въ его головѣ. — Есть ли въ немъ человѣческое естество? есть ли внутренности? чтѣ тамъ таится, въ этихъ загадочныхъ, словно прокопченныхъ глубинахъ? есть ли у него „домъ“, друзья, близкіе?

любить ли его кто-нибудь, любить ли онъ самъ кого-нибудь, или просто такъ... существуетъ? Мыслить ли онъ? ощущаетъ ли радость, горе, физическую боль? питается ли? или надѣнетъ съ утра виць-мундиръ и скрежещетъ зубами? Ахъ... Губошлеповъ!

Что-то есть ужасное, неумолимое, неотразимое въ этихъ людяхъ, у которыхъ смолоду какъ бы прокопчены внутренности. Ни разсужденія, ни чувства, ни даже самыхъ простыхъ человѣческихъ порывовъ. Ни силы, ни слабости. Стоять они, какъ гильотина, посередь дороги: кто посильнѣе — тотъ проходитъ мимо нея и плюетъ; кто послабѣе, того она захватываетъ и обезглавливаетъ. Воплощенное безстрастное неразуміе — вотъ настоящій сатана! Ахъ... Губошлеповъ!

Зачѣмъ? чтѣ случилось? чтѣ нужно было доказать? для чего понадобилось растоптать всѣ привязанности человѣка, всѣ его привычки, всю жизнь? Чтѣ такое? чтѣ такое? Ахъ, Губошлеповъ!

Разумовъ, блѣдный, ходилъ взадъ и впередъ по кабинету и не могъ оторваться отъ назойливыхъ вопросовъ. Губы его вздрагивали, внутри жгло, во рту чувствовалась сухость, глаза машинально перебѣгали отъ одного предмета на другой, какъ бы всматриваясь, дѣйствительно ли привычная обстановка еще существуетъ и стоитъ на своемъ мѣстѣ. Въ заднихъ комнатахъ уже хлопотала Ольга Аванасьевна, приступившая къ сборамъ; до слуха Гаврила Степановича долеталъ стукъ заколачиваемыхъ ящиковъ, возня перетаскиваемыхъ сундуковъ. Степа уныло бродилъ по комнатамъ, съ заплаканными глазами, точно не зная, куда дѣваться отъ тоски. Но Гаврило Степанычъ ничего не слышалъ и не видѣлъ и все повторялъ:

— Губошлеповъ! Чтѣ такое... Губошлеповъ?

Но задачу эту такъ и пришлось оставить неразрѣшенной.

Рѣшено было: Степу оставить на попеченіи семьи Негропотовыхъ, а самимъ ѣхать въ родной городъ Подхалимовъ, гдѣ у Гаврила Степаныча жилъ еще двоюродный братъ, Акимъ Семеновичъ Коловратовъ, семидесятилѣтній старикъ, занимавшій мѣсто протоіерея въ кафедральномъ соборѣ.

Съ Коловратовымъ Гаврило Степанычъ оставался въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ, хотя въ теченіе своей тридцатилѣтней пестербургской службы былъ на родинѣ всего одинъ разъ, а именно, женившись, ѣздилъ въ Подхалимовъ отрекомендовать роднымъ молодую жену. Коловратовъ гордился Разумовымъ, а съ тѣхъ поръ,

какъ послѣдній получилъ чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника, титуловалъ его не иначе какъ „ваше превосходительство“ и внутренне называлъ даже „вельможей“. И когда однажды Гаврило Степанычъ, въ отвѣтъ на черезъ-чуръ прозрачный намекъ на это вельможество, написалъ: „посмотрѣлъ бы ты, какъ сей знатный вельможа, съ женою и сыномъ, при одной женской прислугѣ, въ четвертомъ этажѣ, во дворѣ, въ четырехъ небольшихъ покойчикахъ ютится, то, чаю, не высокое бы о такомъ вельможествѣ понятіе возымѣлъ“, то Коловратовъ не только остался при прежнемъ убѣжденіи, но даже слегка попенялъ своему другу: „хотя скромность твоя приноситъ тебѣ довольную честь, но позволь тебѣ, ваше превосходительство, замѣтить, что между присными и близкими и прямое изложеніе вещей не можетъ почестся нескромностью“. Вообще между друзьями шла довольно оживленная переписка. Разумовъ, желая преизобиловать въ духѣ своего друга, ставилъ въ письмахъ теологическіе и нравственные вопросы. Коловратовъ же, по силѣ возможности, откликаясь на эти вопросы, въ свою очередь, возлагалъ на Разумова ходатайство по нѣкоторымъ нуждамъ мѣстной епархіи, и такъ какъ Разумову, вслѣдствіе связей въ среднемъ чиновничьемъ мірѣ, почти всегда удавалось успѣвать въ этихъ ходатайствахъ, то мнѣніе о его силѣ и вельможествѣ все больше и больше укрѣплялось въ Подхалимовѣ, преимущественно впрочемъ въ кругу церковниковъ.

Коловратову уже было за семьдесятъ и онъ больше двадцати пяти лѣтъ состоялъ каедральнымъ протоіереемъ. Человѣкъ онъ былъ вдовый и бездѣтный, и послѣ смерти жены принялъ къ себѣ въ домъ свояченицу съ дочерью Аннушкой. На Аннушкѣ (въ описываемую эпоху ей минуло тринадцать лѣтъ) онъ, такъ сказать, сосредоточилъ послѣдніе лучи своего потухающаго сердца. Въ свою очередь и она заботливо ухаживала за дѣдушкой, и, несмотря на избалованность, общала сдѣлаться современемъ отличною, серьезною дѣвушкой. Жили они въ просторной квартирѣ большого соборнаго дома, жили дружно, не огорчая другъ друга и вполне удовлетворяясь тѣми скромными радостями, которыя выпадаютъ на долю людей, живущихъ, такъ сказать, за предѣлами общей жизни. Онъ былъ уже настолько ветхъ, что въ свободное отъ церковныхъ службъ время большею частью дремалъ въ старинномъ вольтеровскомъ креслѣ, предаваясь „приличествующимъ сану размышленіямъ“ и изрѣдка перечи-



тывая „Часы Благоговѣнія“. Хозяйствомъ же и вообще всѣмъ домомъ завѣдывала свояченица, женщина пожилая, смиренная и молчаливая. Очень возможно, что оба эти потускнѣвшія подь бременемъ лѣтъ существованія незамѣтно потонули бы въ пучинѣ унынія, еслибы не освѣщала ихъ неугомонная рѣзвость Аннущки. Она одна представляла жизненный принципъ среди этихъ молчаливыхъ стѣнъ, одна приносила туда звукъ и движеніе. Даже преосвященный любилъ ласковаго и живого ребенка и шутя отзывался объ отношеніяхъ къ ней Коловратова: „старый да малый союзъ заключили—оба вопіютъ: помози!“

Коловратовъ не безъ горестнаго изумленія узналъ объ отставкѣ Разумова, хотя фраза въ письмѣ послѣдняго: „и при семъ пожалованъ чиномъ тайнаго совѣтника“ до извѣстной степени смягчила его огорченіе. Самъ преосвященный, выслушавъ рассказъ объ этомъ, сказалъ: „да, чинъ не малый“; но черезъ минуту однако присовокупилъ: „но необходимо при семъ имѣть въ виду, что нынѣ великое тайныхъ совѣтниковъ изобиліе, а посему и надобность вѣроятно не во всѣхъ видится“. Какъ бы то ни было, но Коловратовъ началъ дѣятельно готовиться къ приему родственника и друга; а такъ какъ Гаврило Степанычъ просилъ о пріисканіи ему небольшого дома, на покупку котораго ассигновалъ прикопленные на черный день пять тысячъ рублей, то скоро и это порученіе было выполнено.

Разумовъ пріѣхалъ въ Подхалимовъ въ одинъ изъ холодныхъ январскихъ дней, какъ разъ передъ сумерками. Старый протопопъ, который съ утра на этотъ день недомогалъ, сидѣлъ въ просторномъ креслѣ, обращенный лицомъ къ западу, и слѣдилъ за потухающимъ солнцемъ. Когда Разумовъ подошелъ къ нему, онъ молча указалъ ему на подернутый блѣдно-розовымъ сіяніемъ западъ и старческимъ, расслабленнымъ голосомъ запѣлъ: *Свѣте тихій*. И, дойдя до стиха: *Видѣше свѣтъ вечерній*, склонилъ голову на грудь и сказалъ:

— Да будетъ, друже, и вечеръ жизни твоей подобенъ сему тихому свѣту вечернему! Аминь.

Всѣ были въ волненіи; Гаврило Степанычъ тяжело дышалъ, Ольга Аванасьевна полегоныку всхлипывала, Аннущка разливалась рѣвкой. Только старая свояченица молчаливо хлопотала въ сосѣдней комнатѣ за самоваромъ. Затѣмъ друзья обнялись и повели бесѣду.

Нѣсколько разъ у Коловратова былъ на языкѣ вопросъ: „какая причина?“ однако онъ воздержался и только замѣтилъ:

— Одно неудобство усматриваю: вель ты доселѣ жизнь умственную, а у насъ въ этомъ отношеніи недостаточно. Какъ бы не впасть въ уныніе!

На что Гаврило Степанычъ отвѣтилъ:

— Ничего! все въ свое время найдется, а можетъ и дѣло какое набѣжить. Вотъ, Богъ милостивъ, съ устройствомъ покончимъ, а потомъ...

Онъ какъ-то растерянно оглядѣлся кругомъ, какъ бы ища: что же потомъ?

— Главное, думать объ этомъ не для чего, — продолжалъ онъ слегка дрогнувшимъ голосомъ. — Думай не думай, а стараго не воротишь. На новомъ мѣстѣ надо и жить по новому. И то сказать: подшестьдесятъ катить — въ эти года не „дѣло“, а спокой нуженъ!

Съ недѣлю прожилъ Гаврило Степанычъ въ соборномъ домѣ, а потомъ переехалъ на Проломную улицу, въ собственное гнѣздо. И съ этихъ поръ началось для него то унылое существованіе, на которое однимъ почеркомъ пера осудилъ его деликатный тайный совѣтникъ Губошлеповъ.

Устроившись дома, Гаврило Степанычъ сдѣлалъ официальные визиты губернатору и прочимъ „начальникамъ частей“, не потому впрочемъ, чтобъ заискивалъ, а потому, что, по мнѣнію его, того требовалъ этикетъ. Сверхъ того, быть можетъ, втайнѣ онъ дѣлалъ предположенія и насчетъ бесполезности указаній, которыя можетъ подать „молодымъ лкдямъ“ его умудренная долготѣнею службой опытность. Все, дескать, послужу: если прямо нельзя, такъ хоть совѣтъ подамъ. Однако въ этомъ отношеніи онъ грубо ошибся. Подхамимовскіе правители были люди хотя и молодые, но необыкновенно бойкіе; поэтому они не знали ни препятствій, ни затрудненій, въ совѣтахъ нужды не чувствовали и при этомъ были совершенно искренно убѣждены, что такъ-называемыя „законныя основанія“ только стѣсняють, а никакой опоры не даютъ. Никому изъ нихъ не только не пришло на мысль полюбопытствовать у пріѣзжаго заматерѣлаго бюрократа, какъ смотрять на тотъ или другой предметъ въ бюрократическихъ сферахъ Петербурга, но большинство даже не понимало, какіе тутъ могутъ быть „предметы“, и просто-на-просто стѣснялось,

объ чемъ говорить съ этою новою личностью — очевидно „не нашего общества“. А главное, изобиліе тайныхъ совѣтниковъ было такъ для всѣхъ очевидно, что никто даже не задумался надъ тѣмъ, что въ Подхалимовѣ сдѣлалось однимъ тайнымъ совѣтникомъ больше. И притомъ такимъ тайнымъ совѣтникомъ, который долженъ былъ существовать на полторы тысячи рублей годового пенсіона.

Пришлось оставить всякія мечты о небезполезныхъ совѣтахъ, отказаться отъ знакомствъ въ высшихъ губернскихъ сферахъ и ограничиться тѣснымъ кружкомъ церковниковъ. Но сфера эта такова, что церковничій день совершенно идетъ вразрѣзъ съ днемъ обыкновенныхъ смертныхъ. Поэтому даже въ тѣ дни, когда Гаврило Степанчычъ бывалъ „въ гостяхъ“, у него все-таки оставалась пропасть порожняго времени, которое онъ не зналъ куда дѣвать и чѣмъ наполнить.

Это бездѣйствіе мучило его. Съ тѣхъ поръ какъ онъ уѣхалъ изъ Петербурга — словно вотъ ножомъ отрѣзало. Исчезло „дѣло“, около котораго вращалась вся жизнь, которое въ одно и то же время и изнуряло, и питало. Еслибы спросить его по совѣсти, въ чемъ заключалось это „дѣло“, онъ наврядъ-ли нашелся бы, что отвѣтить на этотъ вопросъ. Это было какое-то рѣшето, сквозь которое процѣживалась жизнь цѣлой массы чиновниковъ, — и ничего болѣе. Процѣживаясь, эти люди не оставляли никакихъ слѣдовъ своего личнаго пребыванія въ этихъ клѣточкахъ, хоть и выходили изъ нихъ искалченными и ни къ чему другому неспособными. „Дѣло“ составлялось изъ множества отдѣльныхъ клочковъ; нѣкоторые изъ нихъ задерживались въ памяти, въ качествѣ анекдотовъ, другіе — немедленно же улетучивались; но общаго впечатлѣнія, связности во всякомъ случаѣ не существовало. Да и самые клочки, послужившіе основаніемъ „дѣлу“, въ большинствѣ носили фантастическій характеръ, не имѣли ни между собою связи, ни точекъ соприкосновенія съ заправскою жизнью. Тѣмъ не менѣе они все-таки представляли матеріалъ для обязательной работы, и это въ значительной степени выкупало ихъ непривлекательность. Нѣтъ нужды, что человѣкъ калѣчился, кружась въ пустотѣ, и терялъ всякую самостоятельность — все-таки онъ хоть какъ-нибудь истрачивалъ свой день, а сверхъ того и получалъ пропитаніе.

Съ Разумовымъ случилось именно то, что бываетъ со всякимъ



чиновникомъ, которому, послѣ долговременнаго подневольнаго корпѣнія, приходится жить на свободѣ. Онъ не понималъ этой свободы, а, напротивъ, слишкомъ хорошо понималъ, что ему нечего дѣлать. Куда ни обращалъ онъ свою мысль — все оказывалось или неподручнымъ, или неприступнымъ. Читать — но въ шестьдесятъ лѣтъ и чтеніе утрачиваетъ свою привлекательность. Да и какъ читать, что читать человѣку, который, съ тѣхъ поръ какъ вышелъ изъ семинаріи, до того былъ поглощенъ переборкою „ключковъ“, что даже свободной минуты не имѣлъ, чтобъ заглянуть въ книгу. Смолоду и онъ читывалъ, но вѣдь съ тѣхъ поръ матеріалъ для чтенія прошелъ сквозь такое множество превращеній, что, игнорируя эту послѣдовательную переработку, почти неизбѣжно было стать въ тупикъ. Недаромъ же рассказывали про генераль-маіора Отчаяннаго, который, по выходѣ изъ кадетскаго корпуса, не читавъ ни одной книги, вдругъ набрелъ на „Исторію Государства Россійскаго“, и такъ былъ ошеломленъ вольномысліемъ, въ ней заключающимся, что исцарапалъ краснымъ карандашемъ всѣ двѣнадцать томовъ и прислалъ ихъ въ департаментъ съ резолюціей: „сообразить и доложить съ справкою, какому оный Карамзинъ наказанію подлежитъ, а также и о цензорѣ Бируковѣ“. И только тогда успокоился, когда Разумовъ (къ нему въ отлѣненіе этотъ „ключокъ“ попалъ) объяснилъ, что Карамзинъ былъ тайный совѣтникъ и пользовался милостью монарховъ. Самъ Гаврило Степанычъ не разъ смѣялся, рассказывая это происшествіе, а вотъ теперь то же самое повторилось и надъ нимъ. Попробовалъ онъ почитать, взялъ въ публичной библіотекѣ книгу — и не повѣрилъ глазамъ своимъ. Точно вотъ возвратился изъ полувѣкового путешествія, въ продолженіе котораго жилъ гдѣ-то затертый льдинами, и вдругъ узналъ, что Карла X нѣтъ и въ поминѣ, а на его мѣстѣ чуть не Гамбетта сидитъ. Кто этотъ Гамбетта и какъ это онъ вдругъ.... вѣдь онъ, поди, напакоститъ!

Предсказаніе Коловратова исполнилось: въ самое короткое время Разумовъ не зналъ, куда дѣваться отъ унынія и скуки. Только лѣтомъ, во время каникулъ, онъ расцвѣлъ, потому что въ это время въ Подхалимовъ пріѣхалъ въ побывку Степа. Однако и тутъ не обошлось безъ горькихъ замѣтокъ. Хотя и отецъ и сынъ попрежнему безпредѣльно любили другъ друга, но не въ природѣ вещей было, чтобъ Степа всего себя отдалъ старику-отцу. Этого впрочемъ и прежде

не было, когда Разумовы всей семьей жили въ Петербургѣ. И тогда Гаврило Степанычъ видѣлъ сына довольно рѣдко и былъ доволенъ тѣмъ, что „чувствовалъ“ близость его. Но вѣдь тогда существовало „дѣло“, которое сдерживало его отцовскія чувства, а теперь была свобода, пользуясь которой, онъ, конечно, готовъ былъ всякую минуту жизни посвятить своему дѣтищу. Но этого-то именно и не понималъ Степа и продолжалъ отдавать отцу столько же времени, какъ и прежде.

Степа былъ молодъ и его влекло къ молодому. Онъ охотно уходилъ къ Коловратовымъ, куда привлекала его Аннушка. Даже дома онъ предпочиталъ проводить время скорѣе съ матерью, нежели съ отцомъ, потому что мать не выпытывала, не „говорила“, а молча гладила по головѣ и любовалась имъ. Да, наконецъ, объ чемъ „говорить“ и зачѣмъ „говорить“ у себя, въ своемъ домѣ, въ кругу родныхъ! Тѣмъ и хорошъ „свой“ домъ, что въ немъ можно и говорить, и молчать, и веселиться, и скучать, и умныя вещи, и глупости дѣлать. А присутствіе Гаврила Степаныча именно въ этомъ смыслѣ и стѣняло. Онъ спрашивалъ, выпытывалъ, „говорилъ“...

Видѣлъ все это старикъ Разумовъ и, конечно, былъ далекъ отъ обвиненій. А все-таки... Болѣло, ахъ, болѣло его старческое сердце, и съ каждымъ днемъ все глубже и глубже погружался онъ въ пучину той безразсвѣтной пустоты, на которую обрекло его одиночество.

#### IV.

Когда, возвращаясь, послѣ объясненія съ Губошленовымъ (кончившагося его отставкой) домой, Разумовъ представлялъ себѣ, что вся природа, взирая на него, вопіетъ: „мухи не обидѣли!“ — онъ былъ правъ только отчасти. Онъ смѣшивалъ двѣ различныя вещи: свое личное отношеніе къ „дѣлу“ и то, что составляло содержаніе этого „дѣла“. То-есть, онъ думалъ, что если онъ дѣлаетъ „дѣло“ по „сущей совѣсти“, то этимъ самымъ и содержанію дѣла придается характеръ „сущей совѣсти“. Или еще точнѣе: онъ прямо предполагалъ, что „дѣло“ и „сущая совѣсть“ суть понятія, другъ другу вполне отвѣчающія, другъ безъ друга немислимыя.

Эта точка зрѣнія принадлежала не ему одному; она искони была и продолжаетъ быть достояніемъ большинства. Существуютъ извѣстные понятія и представленія, которыя возникаютъ словно загадоч-

нымъ произволеніемъ и сразу становятся прямо, неколебимо, дѣлаясь исходными точками дальнѣйшаго жизнестроительства. Высшая польза должна быть предпочитаема пользѣ частной, высшій интересъ долженъ тяготѣть надъ частнымъ интересомъ—вотъ тезисы, за которыми надлежитъ идти. Справедливѣе этого, конечно, нельзя себѣ ничего представить, особливо ежели есть на-готовѣ вполнѣ ясное опредѣленіе, что такое высшая польза, высшій интересъ. Но такъ какъ для громаднаго большинства людей подобныя опредѣленія только подразумѣваются („такъ быть должно“) и такъ какъ это большинство произноситъ извѣстныя выраженія, не уясняя критически ихъ содержанія, то естественно, что отсюда должно проистекать великое множество недоразумѣній.

Въ массѣ „клочковъ“, которые ежедневно перебиралъ Разумовъ, было достаточно такихъ, которые для однихъ оканчивались нравственной обидой, для другихъ—матеріальнымъ ущербомъ. Конечно, эти ущербы и обиды, въ мнѣніи Разумова, прикрывались представленіемъ о „вышемъ интересѣ“ („такъ быть должно“), но бѣда состояла въ томъ, что онъ принималъ это представленіе на вѣру и даже не пытался анализировать его составныя части. Едва-ли впрочемъ слова эти значили что-нибудь больше простого „приказанія“.

Во всякомъ случаѣ онъ былъ вполнѣ добросовѣстенъ, думая и говоря, что служить „дѣлу“ *по сущей совѣсти*. Но вѣдь рядомъ съ его добросовѣстностью могла существовать и другая добросовѣстность, которая тоже, съ своей точки зрѣнія, имѣла основаніе считать себя правою. Вотъ этого-то онъ и не принималъ въ расчетъ. Разумѣется, еслибы онъ могъ, на основаніи твердыхъ данныхъ, опровергнуть эту *другую* добросовѣстность, то онъ обѣлилъ бы себя вполнѣ; но онъ не опровергалъ, а просто отвергалъ. И даже, пожалуй, не отвергалъ, а просто-на-просто ни о чемъ „постороннемъ“ не думалъ, а выполнялъ свои обязанности „по сущей совѣсти“.

Можно было бы предположить, что онъ намѣренно остерегается опредѣленій, чтобъ не войти въ разладъ съ самимъ собой и не очутиться въ положеніи человѣка, сознающаго, что ему приходится или покориться, или съечь корабли и затѣмъ погибнуть. Есть много людей, которые поступаютъ такимъ образомъ, то-есть стараются „не думать“, потому что размышленіе приводитъ иногда за собой такіе неожиданныя и трагическіе выводы, съ которыми ужиться нѣтъ воз-



возможности. Но Разумовъ и тутъ поступалъ опять-таки вполне искренно: онъ „не думалъ“, потому что незачѣмъ думать („такъ быть должно“). Это „недуманіе“ было не вынужденное, а составляло одну изъ составныхъ частей той „сущей правды“, которой онъ такъ искренно всю жизнь поклонялся.

Отсутствіе ясныхъ опредѣленій помогало ему быть жестокимъ, хотя жестокость не лежала въ его природѣ; оно затемняло въ немъ представленіе о силѣ наносимыхъ обидъ, хотя лично никто такъ чутко и участливо не относился къ слову „обида“, какъ онъ. Всѣ знали его за человѣка добраго, сердечнаго и притомъ безмѣрно осторожнаго въ частныхъ сношеніяхъ. Но ненавистіе—нерѣдко случалось—кляли его и настойчиво утверждали, что онъ, именно онъ—внушитель тѣхъ бѣдъ, которыя обрушивались надъ ихъ головами. Онъ самъ навѣрное больше всѣхъ удивился бы, еслибы ему удалось слышать такіе отзывы.

Но онъ ничего не слышалъ и продолжалъ поступать по „сущей совѣсти“. Бывали, конечно, минуты, когда и на него наносило вѣтромъ что-то въ родѣ трупнаго запаха, и когда онъ по-неволѣ задумывался. Въ такія минуты онъ выходилъ изъ-за письменнаго стола, къ которому считалъ себя прикованнымъ, безпокойно шагаль взадъ и впередъ по кабинету, какъ бы подъ вліяніемъ ощущеній физической боли, и старался припомнить тотъ „высшій интересъ“, который на сей предметъ полагается. И, разумѣется, въ концѣ концовъ припоминалъ и... успокоивался.

Однажды однакожь и съ нимъ былъ „случай“. Ходила къ нему на домъ нѣсколько дней сряду какая-то просительница, упорно добиваясь личнаго свиданія; но такъ какъ онъ, поступая по сущей совѣсти, просителей у себя на дому не принималъ, то, конечно, эту женщину не допустили до него. За всѣмъ тѣмъ она добилась-таки своего, и въ одно утро, когда Гаврило Степанычъ выходилъ изъ дома на службу, она, встрѣтивъ его на крыльцѣ, крикнула ему въ догонку: „сатана! сатана! сатана!“ Это ужасно, до крови его оскорбило, однакожь онъ не бросился на обидчицу и даже никому не пожаловался. И только тогда успокоился, когда, по приходѣ въ департаментъ, потребовалъ „дѣло“ и убѣдился, что это не онъ, а генералъ-майоръ Отчаянный. Онъ же только выполнилъ „по сущей совѣсти“.

Ольга Аванасьевна гораздо болѣе его взволновалась этимъ происшествіемъ и даже въ первый разъ въ жизни горько жаловалась на мужа, что онъ этакое дѣло оставилъ „такъ“. И всѣ Негропಂತовы, Аргентовы, Беневоленскіе, Птицыны—всѣ въ одинъ голосъ говорили Ольгѣ Аванасьевнѣ и доказывали Гаврилѣ Степанычу, что ни одинъ изъ нихъ не оставилъ бы этого дѣла „такъ“.

— Мать-съ!—отвѣчалъ обыкновенно на эти докучки Разумовъ: —мать-съ, а материнскія чувства какъ намъ судить?

Очевидно, что внутренно онъ даже сочувствовалъ этой женщинѣ, хотя въ то же время былъ совершенно искренно убѣжденъ, что помочь ей нельзя, что это не будетъ „по сущей совѣсти“. Тѣмъ не менѣе, онъ былъ очень доволенъ, что могъ въ свое оправданіе сказать: „это генераль-маіоръ Отчаянный, а не я!“ Хотя, въ сущности, въ Отчаянномъ гнѣздилась только инициатива, а онъ, Разумовъ, обставилъ эту инициативу „законными основаніями“.

Потому и по выходѣ въ отставку онъ ни разу не почувствовалъ потребности подвергнуть свое прошлое изслѣдованію, хотя обиліе досуга и давало ему полную возможность сдѣлать это. Онъ былъ такъ убѣжденъ, что „не обидѣлъ мухи“, что иногда ему становилось даже совѣстно. Это какъ-то не въ натурѣ русскаго человѣка—прожить вѣкъ, никого не обидѣвши. Предполагается, что ежели ты никого не обижаешь, то это значитъ, что ты—слабоспльная, ничего незначащая дрянь, которую всякій можетъ обидѣть. И что, стало-быть, ты—„дуракъ“, „разиня“, „рукосуй“ и т. д. И дѣйствительно, Гаврило Степанычъ даже въ разговорахъ съ близкими не всегда охотно обращался къ своему прошлому: до такой степени ему было ясно, что, въ сущности, онъ тамъ никакой другой роли не сыгралъ, кромѣ роли „рукосуй“.

Но одинъ-на-одинъ самъ съ собою онъ припоминалъ. И что всего хуже—припоминалъ именпо, какой онъ былъ „фофанъ“ и „разиня“, какія кровавыя обиды онъ принялъ, сквозь какой жестокой искусь прошелъ. Начиная съ статскаго совѣтника Недотыки (которому ему первоначально удалось „понравиться“ и который положилъ начало его чиновничьему подвижничеству)—это была цѣлая картинная галерея. Одинъ генераль-маіоръ Отчаянный чего стоилъ! Онъ и теперь, двадцать-пять лѣтъ спустя, метался передъ Разумовымъ какъ живой, потрясая эполетами, угрожая указательнымъ пальцемъ, брызжа

слюной и колебля департаментскія стѣны криками: „сейчасъ же!“, „сію минуту!“, „немедленно!“, „не выходя изъ присутствія!“ Даже въ Подхалимовѣ, въ Проломной улицѣ, Гаврилъ Степанычу казалось при этомъ воспоминаніи, что весь его домъ трясется и стонетъ отъ неестественныхъ начальственныхъ празднословій. Какъ онъ переносилъ все это? какъ не разнесло ему въ то время голову отъ этого крика? какъ онъ... Но что же „какъ“? — переносилъ, и все тутъ.

А то былъ еще дѣйствительный статскій совѣтникъ Зильбергрошъ — тотъ не кричалъ, а каждымъ словомъ, каждымъ движеніемъ язвилъ. Говорилъ — шипѣлъ, глядѣлъ — обливалъ презрѣніемъ. Прощѣдитъ сквозь зубы слово и взглянетъ: а хочешь, я тебя сейчасъ ногтемъ раздавлю? Иногда нарочно посреди доклада остановить и задумается. „Гм... такъ вы говорите: „а посему я полагаю“... это, то-есть, я... я... А почему вы думаете, что я *такъ* полагаю?“ И потомъ засмѣется загадочно, беззвучно, ехидно... „Ну, скажете, ступайте: до завтра, можетъ быть, и надумаетесь!“ Такъ и уйдешь, бывало, ни съ чѣмъ, и потомъ живешь цѣлый день между смертью и жизнью... А завтра онъ, ни слова не говоря, возьметъ и подпишетъ.

А Лихошерстовъ? а Ненаѣдовъ? а баронъ Доброѣзій?

Одинъ Байбаковъ генералъ оставилъ послѣ себя добрую память, потому что былъ лѣнивъ, въ департаментъ не ходилъ, а принималъ у себя на дому, въ одномъ нижнемъ бѣльѣ. Но и тотъ, чортъ знаетъ, гдѣ руки держалъ...

При этихъ воспоминаніяхъ, несмотря на старческое малокровіе, щеки Разумова загорались краской стыда; онъ бралъ себя руками за голову, затыкалъ уши и закрывалъ глаза, чтобъ не видѣть и не слышать.

И въ результатѣ всей этой свиты воспоминаній — отставка и сладкое убѣжденіе, что не обидѣлъ мухи... Ахъ, фофанъ! Ахъ, ротозѣй!

А онъ-то старался, усердствовалъ! Уловлялъ самыя непредвидимыя движенія души, усиливался угадать самыя безпардонныя мысли, просиживалъ ночи, подыскивая для нихъ „законныя основанія“... Дуракъ! дуракъ! дуракъ!

По милости его, Зильбергрошъ даже умницей прослылъ. Онъ, Разумовъ, самъ собственными ушами слышалъ, какъ въ его присутствіи нѣкоторый оберъ-тузъ сказалъ Зильбергрошу: „очень-очень



остроумно и даже, можно сказать, ехидно вы, Карль Адамычъ, махинацію эту подвели!“ А кто подвелъ махинацію? кто взлелѣялъ ее въ ночной тишинѣ? онъ подвелъ! онъ взлелѣялъ! онъ, Разумовъ! А Зильбергрошъ за нее похвалу получилъ!

Разумѣется, всѣ эти припоминанія и ретроспективные ропоты Гаврило Степанычъ допускалъ только внутренно, но однажды не вытерпѣлъ и проговорился даже Ольгѣ Аѳанасьевнѣ.

— Не такъ бы намъ въ ту пору поступать надо было! — сказалъ онъ, напомнивъ ей нѣсколько дѣйствительно характерныхъ случаевъ прошлаго.

— А какъ же бы ты поступилъ? — удивилась она.

— А такъ бы вотъ... купилъ бы листъ гербовой: просить, молъ, такой-то, а о чемъ...

— А потомъ куда бы ты пошелъ?

— Ну... куда? Мало-ли... славу Богу, не клиномъ свѣтъ сошелся! То-то вотъ мы съ тобой смиренны ужъ очень, всю жизнь къ сторонкѣ жались да твердили: ахъ, какъ бы не задѣть кого да не обидѣть! Вотъ насъ за это...

— Ахъ, другъ мой! другъ мой!

Сказавши это, Ольга Аѳанасьевна грустно покачала головой, и послѣ того разговоръ на эту тему уже не возобновлялся.

„То-то вотъ и есть, что клиномъ сошелся!“ — мелькнуло у него самого въ головѣ. До такой степени клиномъ, что вотъ теперь, когда онъ, по манію тайнаго совѣтника Губошлепова, пущенъ въ пространство, онъ не знаетъ, куда приклонить голову. Онъ не только чувствуетъ себя непригоднымъ къ какому бы то ни было настоящему дѣлу, но даже беспокоится, куда бы ему „идти“ въ тотъ урочный часъ, въ который онъ, состоя на службѣ, имѣлъ обыкновеніе „уходить“ въ департаментъ. Онъ переноситъ изъ комнаты въ комнату свою скуку, слоняется, смотритъ въ окно, брюзжитъ и каждую минуту чувствуетъ, что онъ даже въ своемъ собственномъ домѣ лишній, мѣшаетъ.

И все-таки повторяю: ежели онъ и винилъ въ чемъ нибудь свое прошлое, то совѣтъ не въ томъ, что кого-то когда-то обидѣлъ, придавилъ, обездолилъ, а, напротивъ, скорѣе въ томъ, что онъ именно никого, *даже мужи* — не обидѣлъ...

## V.

Во всякомъ случаѣ приходилось подчиниться насущнымъ результатамъ этого прошлаго и уживаться съ насильственной праздностью, имъ завѣщанною. И дѣйствительно, послѣ первыхъ трехъ лѣтъ „спокойя“, Разумовъ настолько смирился, что даже обуревавшая его скука бездѣятельности мало-по-малу улеглась. Онъ еще не дошелъ до признанія нормальности своего положенія, но мало-по-малу утрачивалъ силу противодѣйствія и дѣлался неспособнымъ роптать. И въ то же время онъ началъ очень быстро дряхлѣть.

Жизнь его была кончена—въ этомъ нельзя было сомнѣваться. На-лицо оставался только пепелъ, подъ которымъ не только ничего не всыхивало, но и не тлѣло. Собственно говоря, ему предстояло не жить, а быть лишь зрителемъ, какъ жизненный процессъ мало-помалу ослабѣваетъ и меркнетъ въ его организмѣ. Вотъ и сегодня что-то ослабло и притушилось, а тамъ, глядишь, изъ-за угла сторожить и еще нѣмочь. И такимъ образомъ идетъ день за день, безъ всякой надежды на просвѣтъ, все къ разрушенію, исключительно къ разрушенію. Ужасно обидно это сознание безповоротности, безсилія, особливо ежели въ прошломъ не было ни тепла, ни свѣта, ни страсти, ни радости, ничего, кромѣ „сущей совѣсти“. Ахъ, эта „сущая совѣсть“!

Но подлѣ него ютилась другая жизнь, молодая, только-что начинающаяся, и мысль старика не могла оторваться отъ этой жизни. Существовали данныя, которыя сообщали этой мысли тревожный, гнетущій характеръ. Нельзя сказать, чтобъ личныя качества Степы возбуждали неудовольствіе или норицаніе; напротивъ, Гаврило Степаннчъ зналъ навѣрное, что это юноша честный, трудолюбивый и притомъ до крайности кроткій, любящій, сердечный. Но въ самомъ воздухѣ носилось что-то такое, что именно эти-то качества дѣлало несостоятельными, что могло грубо прикоснуться къ этой чувствительной, нѣжной натурѣ, обидѣть и затереть ее.

Когда Гаврило Степаннчъ раздумывалъ объ этомъ, то по временамъ ему приходило на мысль что-то новое, неожиданное. А именно, онъ чувствовалъ, что въ эти тревожныя думы, повидимому посвященныя исключительно настоящему, врываются какіе-то смутныя отголоски изъ его чиновническаго прошлаго. Словно далекій, чуть слыш-

ный стукъ или неопредѣленное напоминаніе, въ родѣ того, какое иногда испытывается при чтеніи книги. Помнится, что гдѣ-то когда-то затрогивался извѣстный предметъ, но гдѣ и когда — не доищешься. Только случайность можетъ раскрыть кроющуюся тутъ связь и иногда раскрываетъ ее очень трагически.

Но покажѣтъ явленіе это выразилось еще не настолько рѣзко, чтобъ заставить его серьезно вдуматься въ него. Поэтому Разумовъ всѣ свои тревоги сосредоточилъ только на тѣхъ случайностяхъ, которыя, такъ сказать, вытекали исключительно изъ личнаго положенія его сына. Онъ чувствовалъ потребность знать его жизнь изо дня въ день, и потому требовалъ, чтобъ сынъ какъ можно чаще и подробнѣе писалъ объ себѣ и о своихъ знакомствахъ. Разумѣется, Степа выполнялъ это требованіе аккуратно. Письма его, искреннія и подробныя, перечитывались по нѣскольку разъ; комментировалось каждое слово; обсуждался каждый шагъ, особливо ежели онъ возвѣщалъ о новомъ знакомствѣ; угадывалось, нѣтъ ли какой нужды, которую пріятно было бы по мѣрѣ силъ удовлетворить. Во всякомъ случаѣ, общее впечатлѣніе получалось довольно успокоительное: Степа жилъ въ надежномъ семействѣ, занимался отлично и обычнымъ порядкомъ переходилъ изъ класса въ классъ. Ужъ три года минуло съ тѣхъ поръ, какъ Гаврило Степанычъ вышелъ въ отставку; въ это время Степа два раза гимназистомъ побывалъ на каникулахъ въ Подхалимовѣ, и въ оба раза родители не нарадовались на него. Въ третій разъ онъ пріѣхалъ студентомъ университета. Жизнь широко растворила двери передъ юношей, — жизнь, напоминавшая о томъ, что наступила пора обязательной самостоятельности, пора необходимости промыслить о себѣ самому. Старый отецъ умилился, но сердце его забилось еще тоскливѣе. — Жизнь! чтѣ такое жизнь? — съ тревогою спрашивалъ онъ себя поминутно и чувствовалъ какой-то паническій страхъ, когда, послѣ многихъ бессильныхъ потугъ, приходилъ къ убѣжденію, что онъ никакого сколько-нибудь обстоятельнаго отвѣта на этотъ вопросъ дать не въ состояніи.

Свою собственную жизнь онъ, конечно, могъ себѣ растолковать, *но развѣ такая жизнь прилична его сыну?* Его личная жизнь исчерпывалась словами: „повинны бѣша работѣ“. Встарину и всѣ такъ жили. Жизнь сразу вкладывалась въ извѣстныя рамки и незамѣтно изживалась до тѣхъ поръ, пока клубокъ до послѣдняго вершка



не развертывалъ намотанную на него нитку. Послѣдній вершокъ нитки истраченъ — и отъ человѣка ничего не осталось, совсѣмъ ничего: ни словъ, ни дѣлъ. Бывали, конечно, и встарину исключенія, случались и тогда катастрофы, но большинство не знало ихъ. Большинство такъ мало ждало отъ жизни, что и опасеній имѣть не могло: немного лучше, немного хуже — вотъ и все. Такова была и его жизнь; но развѣ Степа на то рожденъ и воспитанъ, развѣ на то въ него положили всю душу, всѣ чаянія, чтобъ онъ съ такимъ же тупымъ терпѣнiемъ тянулъ ляжку, какъ и отецъ, какъ и *всѣ*? Нѣтъ, это было бы и несправедливо, и обидно.

Притомъ же онъ зналъ, что съ тѣхъ поръ многое измѣнилось, что нынче даже нельзя безсрочно оставаться въ однѣхъ и тѣхъ же рамкахъ, во-первыхъ, потому, что это прямо свидѣтельствуетъ о неспособности, а во-вторыхъ, и потому, что нынче, болѣе нежели когда-либо, даже самыя скромныя существованія находятся подъ угрозой чего-то непредвидѣннаго, самыя нищенскія пожеланія — и тѣ рискуютъ увидѣть себя разбитыми, растоптанными. Это послѣднее „званіе времени“ онъ испыталъ на собственной шкурѣ. Чтѣ такое онъ былъ? — ползучій червь! Въ чемъ заключались его пожеланія? — въ томъ, чтобъ оставаться ползучимъ червемъ, покуда само собой не оскудѣетъ его скромное, ползучее существованіе. Однако и этому нищенскому требованію не суждено было осуществиться. Почему не суждено было? какимъ образомъ? — вотъ этого-то онъ и не могъ себѣ разъяснить, хотя чувствовалъ, что *нынче* иначе не можетъ и быть.

Ему представлялась по этому поводу какая-то нелѣпная суматоха, которая однихъ топить, другихъ — выбрасываетъ на поверхность. Безсмысленно, безразчетно, безъ всякаго плана. Но ежели даже его нищенски-старческое существованіе сдѣлалось жертвой этой суматохи, то такая же будущность ожидаетъ существованіе молодое, нетронутое, неизломанное, такое существованіе, которое по самой полнотѣ своей должно предъявлять къ жизни требованія неизмѣримо болѣе широкія и рѣзкія? И что же! вотъ въ эту-то загадочную суматоху, въ самый ея развалъ именно и вступилъ его сынъ. Какъ теперь поступить? какой совѣтъ ему дать? съ какимъ напутствіемъ поставить его передъ раскрытыми настежь дверьми жизни?

Когда слова: „совѣтъ“, „напутствіе“, мелькнули въ его головѣ, онъ почувствовалъ, что тотъ неясный стукъ прошлаго, который и

прежде по временамъ застигалъ его врасплохъ, начинаетъ слышатся явственнѣе и явственнѣе, что выдѣляются изъ тѣмъ нѣкоторыя очертанія, которыя беспокоятъ, отнимаютъ у мысли ея обычное безмятежіе. Однакожь и на этотъ разъ дѣло ограничилось одною смутною тревогой. Проблески появились, освѣтили случайно тотъ или другой уголокъ картины и опять утонули. Существенный результатъ отъ этихъ проблесковъ получился только одинъ: какъ ни надумывался Гаврило Степанычъ, какой совѣтъ высказать сыну — ничего придумать не могъ. Много зналъ „совѣтовъ“, полны карманы ихъ были у него, но не рѣшался онъ выговорить *эти* совѣты. Сказать сыну застарѣлое общее мѣсто было совѣстно, а сказать что-нибудь дѣльное и дѣйствительно полезное — онъ не могъ, потому что не зналъ, чтѣ по нынѣшнему времени считается полезнымъ и дѣятельнымъ. Можетъ быть, подлость. Такъ онъ и промолчалъ.

Притомъ же, какъ только молодой студентъ явился въ Подхалимовъ, Гаврило Степанычъ сейчасъ же замѣтилъ, что онъ значительно измѣнился противъ предшествующаго года. Въ немъ проявилась небывалая прежде живость, пылкость, почти-что восторженность. На первый разъ эта восторженность имѣла, такъ сказать, педагогическую окраску: онъ гордился своими гимназическими успѣхами, ни объ чемъ такъ охотно не говорилъ, какъ о „наукѣ“, нѣкоторыми учителями восторгался, о другихъ отзывался чуть не съ презрѣніемъ (не нравилось, ахъ, какъ не нравилось это Гаврилѣ Степанычу: а ну, какъ узнають!) и заранѣе предвкушалъ лекціи университетскихъ профессоровъ. Но кто можетъ поручиться, что онъ и впоследствии удержится на той же педагогической почвѣ, то-есть будетъ исключительно восторгаться „наукой“ и съ тѣмъ же усердіемъ „учиться“ въ университетѣ, съ какимъ „учился“ въ гимназій? Кто поручится, что онъ не увлечется сначала — товариществомъ, а потомъ пожалуй и тѣмъ, чтѣ на языкѣ современныхъ бѣлыхъ нигилистовъ извѣстно подъ именемъ „мечтаній“ и „заблужденій“? Предостеречь ли его? сказать ли ему, что мечтанія — пустяки, а заблужденія — пагубны?

Конечно, *по сушей совѣсти*, Гаврило Степанычъ не могъ одобрить ни мечтаній, ни заблужденій. Вся его прошлая служебная дѣятельность представляла самое непререкаемое доказательство этого неодобренія. У него была незыблемая точка зрѣнія на эти предметы, и этой точки зрѣнія онъ навѣрное не поступился бы никому. Спра-

шивается однакожь: какимъ путемъ онъ къ ней пришелъ?—Увы! онъ пришелъ къ ней эмпирически, даже не подозрѣвая, что идетъ рѣчь о какой-то точкѣ зрѣнія, и только уже въ концѣ своей служебной карьеры догадался, что въ основаніи его дѣятельности лежалъ такъ-называемый принципъ. Но вѣдь тогда онъ ужъ составилъ (хотя и смолоду не былъ молодъ) и въ убѣжденіяхъ своихъ больше руководствовался изреченіями: „плетью обуха не перешибешь“ и „выше лба уши не растутъ“. Молодость же, а особенно молодость свѣжая, невымученная, могла имѣть и иную точку зрѣнія и руководствоваться совсѣмъ другими изреченіями. Какимъ образомъ доказать, что правильна старческая, а не молодая точка зрѣнія? Гдѣ найти поддержку своему старчеству, кромѣ посконнаго уличнаго благоразумія, къ которому юность обыкновенно относится нѣсколько пренебрежительно, свысока? Имѣеть ли она право относиться такъ высокоумно къ мудрости вѣковъ?—конечно, не имѣеть, но то-то и есть, что имѣеть ли, не имѣеть ли, дѣло не въ томъ, а въ томъ, что относится она такъ, и ничего съ этимъ не подѣлаешь. И, наконецъ, эти „мечтанія“ и „заблужденія“—не представляютъ ли они тѣхъ неизбѣжныхъ, фаталистическихъ спутниковъ, безъ которыхъ самое представленіе о молодости не можетъ считаться правильнымъ?

Какъ ни кинь—все клинь. Но допустимъ даже, что онъ, старикъ Разумовъ, сумѣеть съ непререкаемою очевидностью доказать сыну, что „мечтанія“—пустяки, а „заблужденія“—пагубны; убѣдить ли онъ? Не предпочтетъ ли Степа его очевиднымъ доказательствамъ неочевидныя внушенія своего молодого темперамента? „Ахъ, убьется! убьется!“ день и ночь—мучительно твердилъ себѣ Гаврило Степанычъ и молчалъ...

Ясно, что задача была ему не подъ силу и что, въ извѣстномъ смыслѣ, восемнадцатилѣтній, еще не успѣвшій прикоснуться къ жизни Степа былъ неизмѣримо сильнѣе, нежели онъ, старый, умудренный опытомъ старикъ.

А Степа, между тѣмъ, нимало не подозрѣвая отцовскихъ тревогъ, беззавѣтно и полною грудью пилъ ароматъ молодости, посреди котораго онъ виталъ, словно окутанный лучистымъ облакомъ. Подобно отцу, онъ былъ нѣсколько дикъ съ чужими, но въ кругу близкихъ давалъ полную волю своей общительности, искренности и восторженности. Въ его присутствіи Гаврило Степанычъ весь сіялъ.



хотя это не мѣшало ему потихоньку вздыхать. Ольга Аѳанасьевна не выражала своей радости, но все ея существо освѣщалось улыбкой. Даже старикъ Коловратовъ—и тотъ отдыхалъ подь его говоръ, хотя и не всегда похваляя его юношеское дерзновеніе.

Но, разумѣется, самымъ сочувственнымъ для него существомъ въ этой средѣ была Аннушка. Ей минуло шестнадцать лѣтъ, ему восемнадцать, и между обоими сверстниками сразу образовались самыя искреннія товарищескія отношенія. Могло ли изъ этихъ отношеній выродиться когда-нибудь нѣчто другое—ни онъ, ни она объ этомъ не думали. Находясь почти безсмѣнно вмѣстѣ, они чувствовали себя хорошо, счастливо—и этого было покамѣсть достаточно. Никакихъ „трепетовъ“ они не ощущали, никакія нескромности не смущали ихъ воображенія. Все въ нихъ еще дышало тою раннею молодостью, когда чувственный инстинктъ спитъ, а ежели по временамъ и пробуждается, то не сознаетъ себя.

Бесѣды ихъ были нескончаемы; говорилъ впрочемъ исключительно онъ, а она только слушала. Ей было нечего сказать, тогда какъ въ его головѣ, несмотря на относительную скудость гимназической подготовки, сложился ужь цѣлый, разнообразный міръ. Этотъ міръ былъ для нея не только новъ, но и заманчивъ. Онъ говорилъ порывисто, страстно, волнуясь. Иногда въ рѣчахъ его слышалась и искусственность—ясно, что онъ подражалъ манерѣ облюбованныхъ учителей,—но безъ этой искусственности развѣ можно себя представить истинную молодость? Аннушка инстинктивно повторяла его слова, усвоивала его пріемы, и въ скоромъ времени у нихъ образовался даже цѣлый условный языкъ. Иногда они переговаривались на этомъ условномъ языкѣ при старшихъ, и это возбуждало общій наивный смѣхъ, впрочемъ не обидный, а только свидѣтельствовавшій, какой непочтатый родникъ нѣжности жилъ въ этихъ потухающихъ сердцахъ.

Никто не вмѣшивался во взаимныя отношенія молодыхъ людей—до такой степени они были для всѣхъ ясны. Только Ольга Аѳанасьевна, яко женщина, разрѣшала себѣ втайнѣ строить какіе-то планы относительно будущаго, но и она помалчивала, потому что Гаврило Степанычъ навѣрное пугнулъ бы ее за нихъ. Вообще, отказавшись отъ намѣренія нацутствовать сына при вступленіи въ жизнь, старикъ Разумовъ рѣшился предоставить его самому себѣ. Чѣмъ больше онъ взглядывался въ Стену, тѣмъ больше убѣждался, что онъ

твердо пойдет по избранной имъ *честной* дорогѣ. Только что стоить въ концѣ этой дороги?

## VI.

Но въ слѣдующую же зиму Гаврило Степанычъ совсѣмъ неожиданно былъ взволнованъ до глубины души. Негропонтовъ писалъ, что съ Степой творится что-то мудреное: „скачаетъ, чуждается близкихъ, даже къ ученію, повидимому, охоту теряетъ“. Къ этому извѣстію присоединился и еще одинъ тревожный признакъ: Степа, который дотолѣ писалъ часто и, такъ сказать, любилъ изливать въ письмахъ душу, началъ писать рѣдко и какъ-то черезъ-чуръ ужъ форменно. Тщетно старался старикъ Разумовъ узнать причину этой рѣзкой перемѣны: Степа настойчиво уклонялся отъ разъясненій, а изъ Негропонтовыхъ никто и самъ не могъ уразумѣть, что случилось. Нѣсколько разъ Ольга Аванасьевна предлагала мужу послать ее въ Петербургъ, но Гаврило Степанычъ упорно отклонялъ эти предложенія: имъ вдругъ овладѣлъ безотчетный страхъ. Онъ чувствовалъ, что почва опять колеблется подъ его ногами, что впереди стоитъ какал-то неотразимая и совсѣмъ новая обида, которая окончательно подорветъ его жизнь, подорветъ непременно, неизбежно... И подъ вліяніемъ чувства самохраненія онъ всячески отдалялъ рѣшительную минуту.

— Успѣемъ! — отговаривался онъ женѣ: — еще дождемся! вѣдь только радости ползкомъ ползуть, а горе да бѣда всегда вскачь на встрѣчу летятъ. Настигнутъ.

Одновременно съ этимъ замѣчена была перемѣна и въ обращеніи Аннушки. Она по старому была ласкова съ Ольгой Аванасьевной и даже, пожалуй, крѣпче нежели прежде жалаась къ ней, но относительно Гаврила Степаныча сдѣлалась значительно сдержаннѣе. Неохотно отвѣчала на его вопросы, какъ-то принужденно здоровалась, встрѣчаясь съ нимъ, избѣгала смотрѣть ему въ глаза. Долго Разумовъ не обращалъ на это вниманія, но наконецъ и ему сдѣлалось ясно, что гутъ скрывается что-то недоброе. Вспомнилось при этомъ, что Степа постоянно переписывается съ Аннушкой, что прежде она охотно дѣлилась получаемыми ею извѣстіями, а теперь примолкла, скрываетъ.

— Такъ вотъ онъ гдѣ, узель-то! — догадывался старикъ и рѣшился во что бы то ни стало выяснить это дѣло.

— Степа продолжаетъ переписываться съ тобой?—спросилъ онъ однажды Аннушку.

— Пишетъ.

— Прежде ты дѣлилась съ нами его писмами, а теперь скрываешь... отчего?

— Ахъ, дядя! не всегда вѣдь удобно.

— Что же однако онъ пишетъ тебѣ?

— Да ничего особеннаго... Вообще...

— Вотъ ты говоришь теперь: „ничего особеннаго“, а сейчасъ сказала: „неудобно показывать“. Если бы ничего особеннаго не писалъ—какое же неудобство показать?

— Ахъ, дядя! точно вы меня въ допросъ взяли!

При словѣ „допросъ“, Гаврила Степаныча болѣзненно вздернуло.

— Не допрашиваю я тебя, а прошу!—продолжалъ онъ какъ-то особенно мягко, взявши ее за руку.—Прошу! прошу! прошу!

Она слегка поблѣднѣла и какъ будто заколебалась. Наконецъ изъ глазъ ея хлынули слезы; она вырвала руку и стремглавъ выбѣжала изъ комнаты, почти крича:

— Не могу! не могу! не могу!

Послѣ этой сцены старикъ серьезно задумался. До сихъ поръ у него была возможность истолковывать происшедшую въ сынѣ перемѣну случайностью, но теперь онъ положительно зналъ, что случайности нѣтъ, а есть какой-то фактъ, который отъ него скрываютъ. А при этомъ и прошлое... Положительно изъ этого прошлаго выдѣлялись все болѣе и болѣе ясныя очертанія... „Ахъ, горе! великое, вижу, горе упадетъ на мою сѣдую голову!“ говорилъ онъ самъ съ собою, но никому не жаловался, такъ какъ съ дѣтства былъ дисциплинированъ въ школѣ терпѣнія. Даже съ Коловратовымъ избѣгалъ говорить, хотя послѣдній съ самаго начала предлагалъ обстоятельно допросить Аннушку.

— Нѣтъ, зачѣмъ? — отвѣчалъ онъ на эти настоянія:— свое тамъ у нихъ... намъ прикасаться не слѣдъ...

Такъ прошло цѣлое томительное полугодіе. И безъ того безмолвный домикъ Разумовыхъ окончательно погрузился въ оцѣпенѣніе. Старики сидѣли каждый въ своемъ углу, а ежели и сходились въ урочные часы, то вздыхали и избѣгали говорить. Послѣ „допроса“



Аннушка сдѣлалась еще сдержаннѣе; продолжала посѣщать Разумовыхъ, но молчала. Иногда Гаврило Степанычъ подстерегалъ ея взглядъ, устремленный на него съ такимъ любопытствомъ, какъ будто она разсматривала диковинку.

Постоянно видѣть себя въ разобщеніи отъ всего живого и въ то же время быть вынужденнымъ глотать въ одиночку какія-то загадочныя предчувствія—вотъ настоящій скорбный путь. И около кого сосредоточены эти предчувствія?—около сына!.. Дни и ночи проводилъ Разумовъ въ бесплодныхъ отгадываніяхъ, дни—ходя безцѣльно изъ комнаты въ комнату, ночи—ворочаясь съ боку на бокъ. И все его преслѣдовала одна и та же страшная въ самой своей неясности мысль: чтò такое? чтò случилось?

— Ахъ, хоть бы смерть! вотъ кабы смерть!

И онъ инстинктивно начиналъ перебирать свое прошлое по мелочамъ; но чѣмъ больше предавался этой переборкѣ, тѣмъ меньше поводовъ находилъ установить свою прикосновенность къ тревожившей его задачѣ. Нѣтъ, никого онъ не обидѣлъ! Напротивъ, его обидѣли, его вытолкнули на старости лѣтъ въ пространство, надъ нимъ насмѣялись, его растоптали, разбили, а онъ...

— Мухи не обидѣлъ!—въ тысячный разъ повторялъ онъ, усиливаясь разсѣять и успокоить наплывавшія со всѣхъ сторонъ сомнѣнія.

И все-таки онъ выдержалъ: не умеръ и даже не заболѣлъ. Чувствовалъ только, что жизнь сдѣлалась какъ бы несообразностью, что теперь самое время было бы умереть, да вотъ смерти нѣтъ. Съ этимъ чувствомъ и дождался лѣта.

Въ урочное время Степа вновь появился въ родительскомъ домѣ.

По наружности онъ не измѣнился. Онъ крѣпко обнялъ мать при свиданіи и такъ же, какъ и прежде, приласкался къ отцу. То-есть, почти такъ же. „То, да не то“—почуялось Гаврилѣ Степанычу,—но кто же знаетъ?—можетъ быть, именно потому и почуялось, что онъ уже самъ себя заранѣе предрасположилъ къ подозрѣніямъ.

— Скажи пожалуйста, чтò такое?—обратился онъ къ сыну вскорѣ послѣ пріѣзда.

— Чтò именно?

— Ну, да самъ знаешь... точно впервой слышишь!

— Ахъ... это! Пустяки... такъ...

— Затосковаль, учиться пересталь... на курсъ-то перешель ли?

— Разумѣется, перешель.

— Ну, и слава Богу; а то, было, я...

Однакожь дома видали Степа довольно рѣдко. Ужь черезъ часъ послѣ прїѣзда онъ убѣжалъ къ Коловратовымъ и остался тамъ весь вечеръ: то же повторялось и въ слѣдующіе дни. Степа приходилъ домой ночевать, а днемъ оставался на глазахъ лишь самое короткое время и затѣмъ исчезалъ. Только издали видаль Гаврило Степанычъ, какъ онъ ходитъ съ Аннушкой въ крошечномъ садикѣ при Разумовскомъ домѣ.

— А вѣдь Степа-то совсѣмъ насъ обросилъ! — сказалъ онъ однажды Ольгѣ Аванасьевнѣ.

— Чтò же ему съ нами сидѣть? — удивилась она.

— Все-таки. Годъ не видались, прїѣхаль — можно бы минуту отцу удѣлить!

— Ахъ, Гаврило Степанычъ! Гаврило Степанычъ! а ты умѣй смотрѣть на него да радоваться!

Но старикъ не удовлетворился этимъ объясненіемъ и, спустя нѣкоторое время, опять присталь къ женѣ.

— Вижу я! вижу! — говорилъ онъ, шагая въ волненіи по комнатамъ.

— Чтò же ты видишь?

— Все вижу и все... понимаю!

— Старики мои — это они тебя взбуроражили.

— Нѣтъ, не старики, а вообще... Не по прежнему онъ... нѣтъ въ немъ этого... прежняго! Бывало, хоть и на минутку прибѣжить — повернется, а сейчасъ видишь!

Такъ и остался Гаврило Степанычъ при своемъ убѣжденіи и вѣрилъ этому убѣжденію, потому что его подсказывало ему ревнивое отцовское чувство. Вотъ и ничѣмъ, кажется, не обнаруживаетъ Степа охлажденія, а видитъ отцовскій глазъ убыль, чувствуетъ вѣщее отцовское сердце утрату. „Не по прежнему!“ „не тотъ!“ — болѣзненно поетъ все нутро отцовское.

Догадывался ли Степа, какое горе точить отца? Вѣроятно догадывался, судя потому, что онъ и самъ старался, какъ могъ, усилить внѣшнія выраженія ласковости. Но даже и эти усилія замѣчалъ Гаврило Степанычъ, и ихъ истолковывалъ не къ своей выгодѣ.

„Прежде и не старался, а хорошо выходило“, твердил онъ себѣ: „бывало, прибѣжить-повернется—сейчасъ видишь!“

Конечно, Степа могъ бы сказать въ свое успокоеніе, что противъ такой странной логики ничего не подѣлаешь; но, въ сущности, это была логика вѣрная.

Однажды вечеромъ вся семья собралась у Коловратовыхъ. Гаврило Степанычъ, котораго неразгаданное горе сдѣлало въ послѣднее время молчаливымъ, на этотъ разъ охотно поддерживалъ общую бесѣду. Дѣло было за чаемъ, и молодые люди присутствовали тутъ же. Старикъ Разумовъ, какъ говорится, расходился, и такъ какъ у него на первый планъ все-таки выступали служебныя воспоминанія, то понятно, что они же главнымъ образомъ и теперь составили канву для разговора. Рассказывалъ онъ, какъ два раза чуть съ ума не сошелъ: въ первый разъ—отъ крика генераль-маіора Отчаяннаго, во второй—отъ ехидства Зильбергроша.

— Чтò за человекъ былъ этотъ Зильбергрошъ—даже представить себѣ трудно! — объяснялъ Разумовъ: — глядеть, бывало, на тебя и постепенно зеленѣеть, даже губы у него начинаютъ трястись. Такъ, ни отъ чего. Просто, видѣть равнодушно не могъ человекъ, которому онъ можетъ вредъ сдѣлать: какъ, молъ, я до сихъ поръ его не раздавилъ?

Во время этихъ розсказней Степа нѣсколько разъ удивленно взглядывалъ на отца, но расходившійся старикъ не замѣчалъ этихъ взглядовъ и продолжалъ:

— И сколько онъ награды, этотъ Зильбергрошъ, получилъ—и все изъ-за меня! Всѣ эти мѣропріятія—кто ихъ обнатурилъ, съютилъ, кто имъ ходъ и осуществленіе далъ?—все я! Я ночей не досыпалъ, куска не доѣдалъ, а онъ... награды получалъ! Однажды самъ главноначальствующій, при мнѣ, въ моемъ присутствіи, его благодарилъ—и хоть бы онъ пикнулъ! Хоть бы слово вымолвилъ: вотъ-молъ, ваше сіятельство, сотрудинокъ мой!

Гаврило Степанычъ жаловался долго, пространно и въ то же время бесплодно, заднимъ числомъ. Выходило жалко и нелѣпо. Несмотря на это, въ старческомъ кругу Коловратовыхъ настолько привыкли къ этому безобидному переливанію изъ пустого въ порожнее, что и теперь, какъ всегда, слушали Разумова съ снисходительною внимательностью. Поощренный этимъ, онъ не замедлил, конечно,



перейти и къ перечисленію самыхъ мѣропріятій, приче́мъ, разумѣтся, самоувѣренно приписывалъ себѣ ежели не инициативу, то осуществленіе.

— Вѣдь *они*—какъ!—говорилъ онъ:—вожде́льнiе у нихъ есть—это точно; но ни словесности, ни подготовки, ни соображеній, ни законныхъ основаній—ничего этого нѣтъ! Все это онъ на тебя вали́ть. Приде́тъ, крикне́тъ: хочу!—а ты ужъ и статью подыщи, и въ приличную форму облеку—все ты! Можетъ быть, онъ и вожде́льнiя-то своего не понимаетъ—и оня́тъ-таки ты! Объясни ему досконально, чего онъ желаетъ, да полегоньку, смотри—не то онъ, того и гляди, обидится! Онъ одно-два слова цыркне́тъ, а ты ему цѣлое соображеніе сейчасъ выложи, какъ и что!.. Да съ улыбочкой, словно и самъ недоумѣваешь: такъ ли, дескать, я, ваше-ство, понялъ? Ну, какъ не такъ! разумѣтся, такъ!

И за примѣрами ходить недалеко. Такую-то мѣру—чай, помните?—это все онъ, Разумовъ, выхолилъ. А вотъ такую-то какъ, чай, забыть!—и эту стрѣлу онъ же, Разумовъ, пустилъ. И вотъ эту. Словомъ сказать, гдѣ ни копни въ департаментъ—вездѣ онъ свой слѣдъ оставилъ, вездѣ подъ всякой дѣловой обложкой его рука сохранилась!

Да и случаи у него бывали—истинно диковинные случаи. Былъ случай такой-то, а еще вотъ какой, и наконецъ третій—еще курьезнѣе. Путали его, сильно путали, и такъ, и эдакъ провести старались, но онъ вездѣ вывертывался, вездѣ выходилъ побѣдителемъ!

— Ну, да вѣдь и то сказать, и побѣждать въ ту пору было легко, потому что сила на нашей сторонѣ была,—заклучилъ онъ:—какъ ни измышляй, какъ ни извивайся выюномъ, а противъ силы...

Но онъ не кончилъ, потому что въ эту самую минуту два стула съ шумомъ отодвинулись отъ стола. Это были стулья, на которыхъ сидѣли Степа и Аннушка. Оба разомъ молча встали и направились въ другую комнату.

— Что же! и чай не допили?—крикнулъ имъ велѣдъ Гаврило Степанычъ.

— Не нужно!—сухо и не оборачиваясь, отвѣтилъ Степа.

Разумовъ понялъ, что ораторское увлеченіе его обратило въ бѣгство сына, и въ головѣ его мелькнуло: „ахъ, такъ вотъ онъ что!“ Во всякомъ случаѣ это сухое „не нужно!“ облило его какъ ушатомъ

воды. Разказы о временах чиновническаго подвижничества оборвались, и весь остальной вечеръ прошелъ тускло, почти безмолвно.

Назадъ возвращались всё Разумовы вмѣстѣ. Гаврило Степанычъ, идя дорогой, обдумываль, объясниться ли ему съ Степой, или нѣтъ. Ежели объясниться — пожалуй и узнаешь, да еще хуже будетъ; ежели не объясниться... но что же можетъ быть мучительнѣе тайны, которая легла между отцомъ и сыномъ! Вотъ ужъ сколько мѣсяцевъ онъ изнываетъ подъ игромъ этой тайны — неужто и впередъ такъ будетъ? Мало, видно, страданій на его долю послано, мало насильственной праздности, мало одиночества, старческихъ недуговъ — нѣтъ, нужно прибавить къ этому что-то неслыханное, неизъяснимое, чтò разомъ погребло всё старческія упованія, чтò въ одинъ мигъ затушевало всё перспективы, кромѣ одной: перспективы могилы...

— Хоть бы смерть... ахъ, кабы смерть!

Наконецъ онъ предпочель-таки объясниться, чѣмъ продолжать пить отраву капля по каплѣ.

— Чтò ты такъ вдругъ изъ-за стола вышелъ? — обратился онъ къ Степѣ.

— Я?... такъ... я — ничего...

— Нѣтъ, ты не ничевдбай, а говори прямо: разговоръ мой тебѣ не понравился?

— Я, папенька... ахъ, папенька, право бы, я на вашемъ мѣстѣ не вспоминаль... — съ трудомъ проговорилъ Степа.

— Объ чемъ не вспоминаль?

— Объ *этомъ*...

— А! такъ вотъ оно чтò! То-то я... Скажи пожалуйста, чтò же въ моемъ разговорѣ тебѣ не по нутру?

— Ахъ, папенька, развѣ я могу!

Гаврило Степанычъ горько усмѣхнулся и съ минуту помолчалъ.

— Нынче молодые люди... — началъ-было онъ, но, какъ бы что-то вспомнивъ, поперхнулся и продолжалъ задвленнымъ голосомъ: — Такъ, значить, ты... пре-зи-ра-ешь?

— Ахъ, нѣтъ! Папенька! умоляю васъ! оставьте! оставьте этотъ разговоръ! Я не буду... я былъ глупъ! это не мое дѣло! я никогда, никогда ничѣмъ не выражу!

— Стало быть, во всякомъ случаѣ... ты не одобряешь? — безжалостно настаиваль Гаврило Степанычъ.

— Папенька! ради Бога!

— Да вѣдь я же *по сущей совѣсти* поступалъ! Выслушай, разсуди, пойми! *По сущей совѣсти!*

## VII.

Объясненіе это однакожь не раскрыло сердце, а, напротивъ, какъ будто заперло ихъ. Старикъ Разумовъ былъ подавленъ и въ то же время чувствовалъ себя глубоко оскорбленнымъ. Онъ относился къ Степѣ безъ раздраженія, но церемонно, какъ бы боясь навязываться; Степа, съ своей стороны, въ присутствіи отца сидѣлъ опустивши глаза. Ко всему этому, Ольга Аванасьевна, не понимая, въ чемъ суть, и думая, что Гаврило Степанычъ, по-старчески, почувствовалъ оскорбленнымъ свое авторское самолюбіе, приставала къ Степѣ, чтобъ „онъ попросилъ у папеньки прощенія“, и это выходило тѣмъ недѣльнѣе, что иногда она надѣдала съ своими приставаніями въ присутствіи самого старика Разумова. Въ первый разъ въ жизни разсердился на нее Гаврило Степанычъ.

— Все умна была, — выговорилъ онъ: — а вотъ теперь, когда до настоящаго дѣла дошло, такъ и ума не стало. Только досада беретъ, на вашу породу глядя!

Умолкла Ольга Аванасьевна, а за нею умолкъ и весь домъ, словно мгла опустилась на всѣ эти бѣдныя существованія. Мало-по-малу Гаврило Степанычъ сталъ избѣгать встрѣчъ съ сыномъ и чаще прежняго началъ уходить къ Коловратову, убѣдившись напередъ, что ни Степы, ни Аннушки нѣтъ въ соборномъ домѣ. Онъ ни объ чемъ подробно не разказывалъ Коловратову, но старики чутьемъ понимали другъ друга. Старый протопопъ смотрѣлъ потухающими глазами въ потухающіе глаза своего друга и угадывалъ, что тамъ, въ этомъ потухающемъ сердцѣ, завязывается великое, неутолимое горе.

— Худо? — не то спрашивалъ, не то соболѣзновалъ онъ.

— Жить тяжело, — подтверждалъ Разумовъ.

— Смирйся!

— Да вѣдь смиренію-то срокъ полагается. Отстрадалъ, испунилъ — вотъ и конецъ. А тутъ гдѣ конецъ найдешь? Жизнь-то ужъ написана — какъ ты ее по новому, новыми словами напишешь? Погубилъ бы себя — такъ и погибель твоя не нужна!



Старики временно умолкали, вторя другъ другу покачивающимися головами.

— Вотъ, говорятъ, трудно нынче молодымъ людямъ жить, — снова начиналъ Разумовъ: — а старикамъ развѣ легче? Вотъ и моя жизнь: вся до тла сгорѣла, и тлѣть-то повидимому нечему — такъ нѣтъ, живи, мучься!

— Спокою духъ просить, а по обстоятельствамъ выходить иное... Помнишь, когда ты пріѣхалъ, сумерки наступили, я на вечернюю зарю тебѣ показывалъ? — припоминалъ Колловратовъ.

— „Видѣвше свѣтъ вечерній“... — горько-иронически усмѣхался Разумовъ.

— Да, думалось тогда, а вотъ не привелось...

— То-то, друже, что не всякому безъ печали до этого „свѣта вечерняго“ дожить приводится. Вотъ и я въ то время вмѣстѣ съ тобой мнилъ, что меня „тихій свѣтъ“ осіялъ, анъ замѣсто того...

Нескончаемо велись эти разговоры, какъ нескончаема была и печаль, ихъ породившая. Гаврило Степанычъ чувствовалъ, что они не врачуютъ, а пуще растрavляютъ его раны; но все-таки ему легче было растрavлять себя въ обществѣ стараго друга, нежели изнывать дѣма, одинъ-на-одинъ съ давящей мглюю, которал, казалось, такъ и ползла на него изъ всѣхъ угловъ. Дѣма онъ чувствовалъ себя глубоко несчастливымъ. Ольгу Аванасьевну онъ щадилъ, боялся высказать ей, какая бѣда его постигла, такъ что подѣлиться горемъ было рѣшительно не съ кѣмъ. Онъ сидѣлъ въ своемъ углу и молчаливо давился своимъ горемъ. „Неужто же все... вся прошлая жизнь?“ думалось ему: „неужто нѣтъ въ этой жизни ничего... смягчающаго?“ Разумѣется, самъ-то онъ очень хорошо понималъ, что „смягчающаго“ и даже вполне „обѣляющаго“ въ его жизни было очень много, что вездѣ въ этой жизни наткнешься или на Отчаяннаго, или на Зильбергроша, или, по малой мѣрѣ, на „такъ водится“. Онъ понималъ даже, что это была совсѣмъ не какая-нибудь необыкновенная жизнь, что „всѣ“ такъ жили, „всѣ“ этой дорогой шли... Иногда онъ „по всѣмъ вѣдомствамъ“ пролеталъ мыслью и находилъ, что, въ сущности, вездѣ одно и то же. Вездѣ все то же „дѣло“ дѣлалось, да и теперь дѣлается, только формы, можетъ быть, разныя. И на службѣ, и въ частной жизни. И самъ Степа, если доживетъ до поры самостоятельности, тоже будетъ это самое „дѣло“ дѣлать, въ какую

бы нору ни прятался отъ него, какими бы замысловатыми названіями ни прикрывалъ свою „новую“ дѣятельность. Атмосферу надо измѣнить, всю атмосферу—вотъ тогда, можетъ быть...

— Такъ это! именно все такъ!—заключалъ онъ обыкновенно. — Ничѣмъ „особеннымъ“ попрекнуть я себя не могу. А впрочемъ и то сказать: не въ томъ дѣло, что я правъ, а правъ ли, разправъ ли—какъ его-то въ этомъ увѣришь?

Старъ онъ—вотъ въ чемъ настоящая-то бѣда, да еще въ томъ, что въ его положеніи старость есть синонимъ отчаянія. Ни обновить, ни погубить себя—ничего онъ не можетъ. Нѣтъ у него силы для жертвы, а главное—не нужна, не нужна его жертва. Онъ долженъ сидѣть на берегу моря; въ глазахъ его налетитъ ураганъ и развирѣбуютъ волны, въ глазахъ его будутъ бороться и погибать пловцы, а онъ осужденъ бесплодно метаться на своемъ мѣстѣ и испускать стоны. Кто услышитъ эти стоны, да и кому они нужны? Въ этомъ закружившемся сплошномъ вихрѣ, въ этомъ громадномъ стонѣ цѣлой природы какое назначеніе можетъ имѣть его бессильный старческій стонъ? Старикъ! ты лишній! ты мѣшаешь!—вотъ чтѣ слышится ему среди гвалта и воплей разгорѣвшейся сѣчи, той неумолимой, беспощадной сѣчи, въ которой и прошлое, и настоящее, и будущее, кажется, соперничаютъ другъ съ другомъ въ жестокости. Ринется ли и онъ въ эту сѣчу? съ чѣмъ?!

Нѣтъ у него ни настоящаго, ни будущаго; есть только прошлое, но съ этимъ прошлымъ идти некуда. Если бы это было прошлое органическое, исторически объяснимое, онъ все-таки имѣлъ бы основаніе выйти съ нимъ на арену. Правъ ли онъ былъ бы, или неправъ—это вопросъ особый, но, защищая это прошлое, онъ защищалъ бы нѣчто *собственное*, перечувствованное, пережитое. Но такого прошлаго у него не было: его прошлое было случайное, не собственное, *приказанное*... Не ясно ли послѣ этого, что онъ дѣйствительно лишній и можетъ только мѣшать?

Но чтѣ всего хуже—онъ узналъ объ этомъ только вчера, и узналъ не самъ собой, а случайно. А до тѣхъ поръ онъ былъ совершенно убѣжденъ, что и съ его прошлымъ прожить можно. Опочить отъ дѣлъ, погрузиться въ покой, безмятежно испустить духъ, устремивъ глаза въ потухающую вечернюю зарю и напѣвая: „Свѣте тихій“. И точно: свѣтъ просіялъ для него, но не тихій, а зловѣщій, и просіялъ... че-

резь сына. Онъ думаль, что сынъ—утѣха, а вышло, что онъ—просіаніе. Какимъ-то проклятымъ образомъ переплелись эти два совсѣмъ несомвѣстныя понятія, и нѣтъ возможности распутать ихъ. И утѣха, и просіаніе — какой адъ! Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! Утѣха, утѣха, утѣха!

Слышишь ли ты это, Степа? Подсказываетъ ли тебѣ сердце, что какое бы громадное несчастіе ни придавило тебя, это же самое несчастіе во сто кратъ, въ тысячу кратъ тяжелѣйшимъ молотомъ придавить безпомощную голову твоего отца! Нѣтъ у этого отца ни настоящаго, ни будущаго, нѣтъ даже прошлаго, но вѣдь и въ этомъ человѣкѣ-обрывкѣ трепещетъ сердце... Тобой полно это сердце, тобой, однимъ тобой!

Вотъ она, старуха-просительница: пришла Богъ вѣсть откуда, почувявъ бѣду; шаталась по улицамъ, стучалась во всѣ двери, не знала, гдѣ голову приклонить, терпѣла, ждала... и дождалась-таки! Крикнула ему вслѣдъ: „сатана! сатана! сатана!“ Вотъ сколько любви могутъ вмѣщать въ себѣ эти тлѣющія отцовскія и материнскія сердца!

Высказать ли все это Степѣ?—нѣтъ, не нужно. Словами и за одинъ присѣвъ нельзя это выразить; выйдетъ несвязно, беспорядочно, непослѣдовательно. Многіе годы нужно это рассказывать, исподволь, постепенно наводить человѣка. Да и повода теперь для такой исповѣди нѣтъ. Съ чего вдругъ взбуторажился, старикъ? кто тебѣ мѣшаетъ жить... живи! Глотай въ молчаніи послѣднюю обиду, которую облюбовала для тебя судьба! Но не ропщи, не стони... о, жалкій, безпомощный старикъ!

Вотъ чтѣ думалось Разумову. Это были совсѣмъ новыя мысли, но онѣ до такой степени охватили его, что, казалось, заслонили отъ него весь остальной міръ. Что-то жестокое пронзало его сердце всякій разъ, какъ онъ встрѣчался съ сыномъ, до того жестокое, что на послѣдокъ онъ началъ даже желать, чтобъ вакантное время поскорѣе прошло. Не того онъ боялся, что „просіаніе“ доканаешь его, а того, что оно его замучитъ; а эти мученія, быть можетъ, отразятся и на самомъ виновникѣ „просіанія“. Чтѣ нужды, что сынъ далъ ему казнь — пусть онъ остается для него утѣхой, къ которой не примѣшивается ни капли горечи. Когда онъ уѣдетъ, равновѣсіе, можетъ быть, возстановится. Конечно, отравы „просіанія“ не прекратитъ своей развѣдающей



работы, но хорошо ужъ и то, что источникъ этой отравы не перестанетъ ежеминутно напоминать о себѣ: вотъ я, который растопталъ твою жизнь! И имя ему попрежнему будетъ одно: утѣха, утѣха, утѣха!

Даже Ольга Аванасьевна смутно поняла, что у Гаврила Степаныча нехорошо на душѣ и что этому нехорошему оказывается нечуждымъ Степа. Поэтому, когда наступилъ конецъ августа, то обычныхъ выраженій горести, предшествующихъ разставанію, почти-что не было. Въ часъ отъѣзда старикъ Разумовъ смотрѣлъ мрачнѣе обыкновеннаго; Ольга Аванасьевна принужденно улыбалась и напоминала, какъ бы не опоздать на поѣздъ; самъ Степа чувствовалъ себя неловко и торопился. Одна Аннушка горько и долго плакала, но Гаврило Степанычъ почти съ ненавистью смотрѣлъ на эти слезы.

Съ нѣкотораго времени онъ не влюбилъ Аннушку: онъ чувствовалъ, что Степа ничего не скрываетъ отъ нея. Слѣдовательно, ежели Степа представлялъ собой „просіяніе“, то она представляла— „укоръ“. Этого укора, идущаго не кровнымъ путемъ, Разумовъ совсѣмъ не понималъ. Онъ помнилъ, съ какимъ волненіемъ она однажды отвѣтила ему: „не могу! не могу! не могу!“—и навсегда запечатлѣлъ въ своемъ сердцѣ этотъ фактъ, какъ выраженіе досаднаго оскорбленія. Не ей судить, не ея ума дѣло. Именно одну досаду производило ея вмѣшательство.

Какъ бы то ни было, но съ отъѣздомъ Степы въ маленькомъ домѣ Разумова установилось сравнительное спокойствіе. Хотя Гаврило Степанычъ замѣтно опускался и хирѣлъ, но мысль его уже не столь исключительно сосредоточивалась на „просіяніи“, а чаще и чаще отклонялась въ сторону „утѣхи“. Что-то „утѣха“ наша теперь въ Петербургѣ дѣлаетъ? Легко ли ей живется? тепло ли? удобно ли? кто приласкаетъ, согрѣетъ, приголубитъ ее?—ежечасно вопрошали другъ друга старики.

### VIII.

Не прошло однакожъ мѣсяца, какъ Гаврило Степанычъ получилъ изъ Петербурга слѣдующее письмо:

„Дорогой и добрый другъ!

„Есть вещи, которыя заставляютъ меня глубоко страдать и о которыхъ говорить при мнѣ, нимало не стѣняясь. Иные съ похвалою, дру-

„гіе — болѣе нежели съ порицаніемъ. И то, и другое несносно. Когда я „оскорбляюсь, то мнѣ возражаютъ, что это до меня не касается, и „что стоитъ только „совсѣмъ порвать“, чтобы относиться къ этого „рода вещамъ съ такою же объективною, съ какою относятся къ „нимъ другіе. Но я не могу. Я слишкомъ слабъ, слишкомъ люблю. „Для меня безконечно дороги воспоминанія о неистоимой нѣжности, „которая вездѣ и всегда сопровождала меня — какъ я порву съ ни- „ми? Для чего вы такъ любили, такъ холили меня? Для чего из- „нѣжили мое сердце? Можетъ быть, я и устоялъ бы, порвалъ бы, „что-ли, а теперь — не могу. Простите меня. Я знаю, какъ мое „письмо поразитъ васъ, знаю, что отъ меня на васъ надеть послѣдній „ударъ — и все-таки не могу. Тоскливо, горько; сердце рвется на „части. Не могу, не могу. Выдержите ли вы?

„Прощайте! Цѣлую ваши руки, — тѣ руки, которыя никогда „не протягивались ко мнѣ иначе, какъ съ ласкою. Прощайте. Пере- „дайте мамашѣ, что моя послѣдняя мысль будетъ принадлежать ей. „И вамъ, мой дорогой, безцѣнный отецъ.

„*Степанъ Разумовъ*“.

Прошло болѣе часа послѣ полученія письма. Старикъ Разумовъ продолжалъ сидѣть въ своемъ креслѣ, устремивъ неподвижные глаза на фатальный листокъ, лежащій на письменномъ столѣ. Казалося, что, застигнутый впечатлѣніемъ паническаго страха, онъ до такой степени утратилъ жизненную энергію, что уже не можетъ собственнымъ усиленіемъ выбиться изъ оцѣпенѣнія. Наконецъ въ кабинетъ вошла Ольга Аонасьевна и, увидавъ письмо Степы, прочитала его.

— Чтѣ ты такое сдѣлалъ? — въ ужасѣ вскрикнула она, сама не понимая, къ кому обращенъ ея вопросъ — къ живому человѣку или къ трупу.





ПРОГРАММА ИЗДАНИЯ.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
М. Е. САЛТЫКОВА (Н. ЩЕДРИНА)

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

— *въ двѣнадцати томахъ обыкновеннаго формата:*

- Томъ I.—ГУБЕРНСКІЕ ОЧЕРКИ.—Матеріалы для біографіи М. Е. Салтыкова, съ портретомъ автора, его факсимиле и могильнымъ памятникомъ.
- II.—Господа Головлевы.—Сатиры въ прозѣ.
- III.—Помпадуръ и помпадурши.—Невинные рассказы.
- IV.—Благонамѣренныя рѣчи.—Культурные люди.
- V.—Мелочи жизни.—Сборникъ.
- VI.—Сказки.—Пестрыя письма.—Недоконченныя бесѣды.
- VII.—Исторія одного города.—Убѣжище Монрепо.—Признаки времени.
- VIII.—Дневникъ провинціала.—За рубежомъ.
- IX.—Господа Ташкентцы.—Пошехонскіе рассказы — Круглый годъ.
- X.—Въ средѣ умѣренности и аккуратности.—Письма о провинціи.—Итоги.
- XI.—Современная идиллія.—Письма къ тетенькѣ.
- XII.—Пошехонская старина.—Брусинъ, рассказъ.

Каждый томъ—1 руб. 75 коп., съ перес. 2 руб.

По подпискѣ на 12 томовъ—18 р., съ перес.—21 р.

Складъ изданія:

въ книжномъ магазинѣ типографіи М. М. Стасюлевича,  
Слб., Вас. Остр., 5 л., 28.



Типографія М. М. Стасюлевича, Спб., Вас. Остр., 5 л., 28.

X







